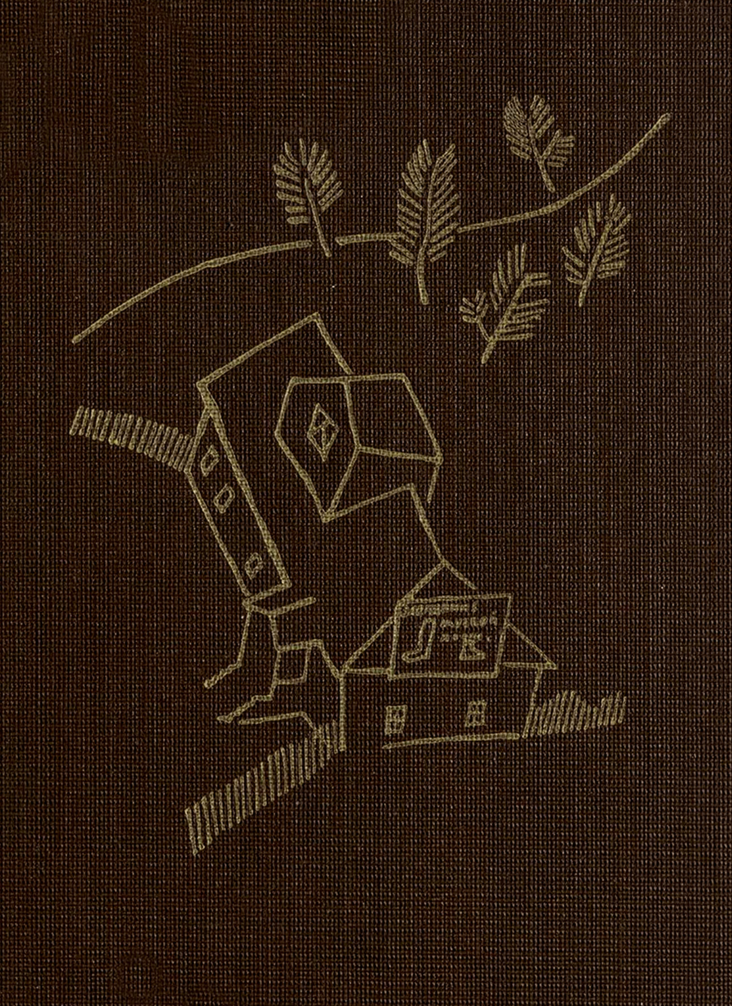
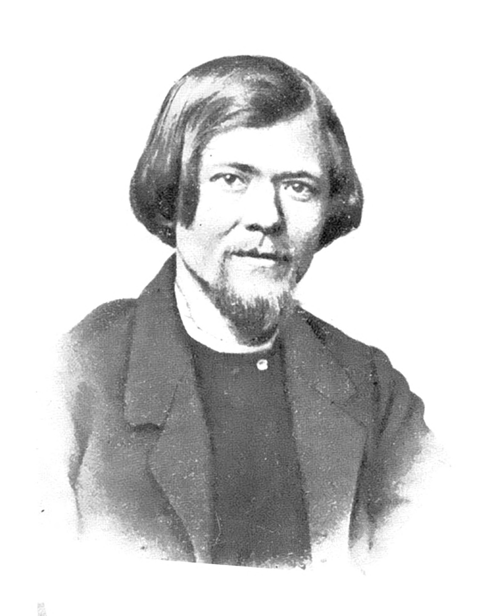


ACADEMIA



А. И. ЛЕВИТОВ

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ

XIX

ВЕК

А. И. ЛЕВИТОВ

1835—1877

ACADEMIA

МОСКВА ◦ ЛЕНИНГРАД ◦ 1933

А. И. ЛЕВИТОВ

СОЧИНЕНИЯ

РЕДАКЦИЯ
СТАТЬЯ И КОММЕНТАРИИ
И. С. ЕЖОВА

2
ТОМ

ACADEMIA
МОСКВА ◦ ЛЕНИНГРАД ◦ 1933

Переплет и супер-обложка по рисункам

А. П. Могилевского

А. И. ЛЕВИТОВ

ОЧЕРКИ, РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

НРАВЫ МОСКОВСКИХ ДЕВСТВЕННЫХ УЛИЦ

ОЧЕРК

Писано, памятуя о погибающем друге

I

Иван Сизой матушке Москве белокаменной, по долгом странствовании вне ее, здравия желает, всем ее широким четырем сторонам низкий поклон отдает.

Год с лишком шатался я по разным местам, а все нигде не видал того, что я так люблю в Москве, — это ее глухих, отдаленных от центра города улиц, которые давно как-то назвал *девственными*, с их, так влекущей к себе сердце мое, поразительной и своеобразною бедностью.

Конечно, этого добра, то-есть бедности, нам не занимать стать, и, как я сказал уже, больше года шатаясь по деревням и селам, по городам и красным пригородам, я имел-таки не мало случаев видеть голод и холод в мещанских хороминах, молчаливое и безустанно работающее уныние в мужицких избах; но это что же за бедность? Лица не московские, пораженные этою болезнью, не живые лица, а как бы каменные статуи, изображающие собою беспредельное горе, и я только плачу втихомолку, когда такая статуя окинет меня своими впалыми без малейшего признака слез глазами. Плачу,

говорю, и вместе с тем глубоко страдаю от той нравственной боли, которою всегда уязвляют мою душу эти глаза, ибо в них мои собственные глаза имеют способность читать такого рода красноречивую вещь:

— Ты, брат, тово, не гляди лучше на меня,— мне и без тебя тошно. Мало ты мне, друг, утехи своим гляденьем даешь. Ты бы там иначе как-нибудь для меня порадел...

Всякий своею похотью влеком и прельщаем; следовательно, и я, как всякий, имею свою похоть, то-есть болею при виде бедности не-московской; ибо она молчалива и убита, ибо трудно ей спророчить, когда она разбогатеет и хоть сколько-нибудь оживет. Напротив, бедность московских девственных улиц меня радует даже, потому что она рычит и щетинится, когда ей покажется не очень просторно и не очень сытно в ее темных и тесных берлогах, — в каковых движениях жизни я замечаю несомненные признаки того, что бедность эта скоро поправится и разбогатеет, хотя, может быть, и не вдруг, хотя богатства ее будут далеко не те, про которые говорят, что они неисчерпаемы. Ну, да ничего! Нам и это на-руку, потому что голодному рту не до горячего, — ему бы только мало-мальски чем-нибудь тепленьким пораспарить свое иссохшее небо...

II

В Москве у меня бездна литературных и университетских друзей, которые меня весьма терпят и у которых, следовательно, я удобно

мог бы сложить свой страннический посох, но, послав их в душе моей к богу в рай, я по прибытии в Москву направился прямо в девственную улицу, где жил мой старинный друг, старый отставной унтер-офицер, который был кум, то-есть у которого, благодарение создателю, мне довелось привести «в крещеную веру» троих детей.

В девственной улице я не заметил никакой перемены. В сравнении с другими столичными улицами, она была тиха до мертвенности. Огни, светлевшиеся из окон ее маленьких, деревянных домишек, были похожи на деревянные гнилушки, которые так уныло светятся ночью из-под печки деревенской избы. Единственные признаки жизни показывала только единственная харчевня девственной улицы. Из ее тусклых окошек, освещенных каким-то красноватым светом, порой вырывались какие-то неясные звуки, по которым решительно нельзя было определить, поют ли там песни или плачут, — такие это были смешанные звуки. И временем, когда каким-нибудь гостем широко распахивалась харчевенная дверь, сердито и шумно взвизгивая на своих заржавевших петлях, звуки делались слышнее, и тогда человек неопытный, случайно проходящий по девственной улице, непременно бы остановился против заведения и пугливо прислушался к этим звукам, потому что неопытному пешеходу в них бы заслышалось слово: караул, — слово, отчаянно-крикливо вырвавшееся из чьего-то горла, но остановленное на половине своего излета и снова как бы впихнутое в это горло чьим-то лютым кулачищем.

Но я не счел этого звука за такой караул, ради которого следовало бы остановиться около харчевни, потому что мне коротко известны обычаи девственной улицы. Это был просто крупный разговор, который вел закутивший мастеровой с своею благоверной, пришедшей с целью вытащить благоверного из заведения и отвести «на спокой на фатеру».

— Пош-шол вон! — кричит на жену повелительным горловым баритоном урезавший здоровую муху кутила. — Пош-шол вон! — повторяет он еще повелительнее, забывши в подпитии, что ежели хочешь прогнать откуда-нибудь свою жену, чтоб она не мешала молодецкому развертеу, так нужно сказать ей вовсе не «пошел вон», а «пошла вон».

Затем начинались плаксивые тоны жены:

— Иван Прокофьич! Что же мы завтра есть станем?

— Об этом ты не горюй! Что об этом горевать — об еде-то? Эх ты, бесстыдница! О чем нашла горевать, а? Гаврик! — обращается кутила к фамильярно улыбавшемуся половому: — о чем она, дурища, горюет-то? Об еде, ха-ха-ха! Пош-шол вон! — и затем муж, как глава над своею женой, употребляет даже некоторую силу и пытается пропихнуть ее в скрипучую дверь на тихую морозную улицу.

Итак, вы видите теперь, что серьезного караула в харчевне девственной улице быть не может, потому что, в конце концов, ежели караул слышится иногда из окон, веселящих улицу своим красным и, примечено мною, как-то злобно и насмешливо моргающим светом, так

вовсе нечего прислушиваться к нему, потому что все это ни более, ни менее, как «своя от своих»...

Историю эту, с целью получить в конце ее незловредный караул, можно продолжать таким образом:

— Остались ли деньги-то у тебя? Ай уж все пропил? — спрашивает жена, усевшись, наконец, с супругом за один стол около грязного, загаженного мухами графинчика из толстого стекла с мутною водкой.

— Какие, чорт, деньги? Пропивать-то мне нечего... Это уж я на сертук валю. Вот добрая душа, Гаврик, в двух серебра принял, а домой я и в твоем платке как-нибудь дотащусь.

Мастеровой слезливо начинает обыкновенный рассказ про то, как часто понесешь работу к барину и как, идучи к барину, рассуждаешь, что вот-де сейчас получу деньги, прямо на рынок, искуплю там говядины, сапожки, может, али штанишки какие-нибудь старенькие не попадутся ли, а там накуплю товару — и валяй опять за работу. Чудесно! Знай денежки огребай. Рассуждаешь таким-то манером, а потом и не увидишь, как очутишься в кабаке.

— Он говорит, барин-то: «Иван Прокофьич! Ты с меня деньги-то недельки две пообожди. Знаешь, говорит, за мною не пропадет». Я ему говорю: «Знаю, что не пропадут, только, ваше б-дие, мне деньги оченно нужно. Сами изволите знать: жена, детей четверо»... — «У меня, — говорит барин и смеется, — у меня, может, детей-то этих штук с сорок найдется, да ведь я ни к кому не пристаю. Приходи уж через неделю,

что с тобой делать, а теперь мне некогда, прощай». С тем от него и ушел, — добавляет мастеровой, возвышая голос: — а от него, с великой злости, прямо в кабак, а из кабака сюда, потому, что же я завтра без денег стану делать?

После этого крикливого вопроса и начинается, что называется, самая катавасия, потому что, кроме сюртука, принятого добродушным Гаврилой в двух рублях, чета начинает валить еще на три рубля, которые с большим удобством олицетворяет истасканный шерстяной салоп супруги.

— Видишь теперь, какая у меня супруга? — спрашивал мастеровой у полового, выставляя ему на вид собственно то обстоятельство, что супруга с видимою охотой куликнула две рюмки залпом, как бы стараясь сразу сравняться с своею главой. — Сласть у меня супруга, сговорчивая. Она мне ни в чем никогда не перечит. Что я скажу, то и баста.

Супруга, между тем, не без грации закусила две рюмки солониной с солеными огурчиками, а супруг продолжает:

— Мы с ней двенадцать годов душа в душу живем! Гаврил! Слушай, я тебе расскажу, как я женился на ней. Она в это время молодая была и из лица не в пример теперешнего красивее; а князь, у кого она в то время на содержании была, призывает меня и говорит: «Вот тебе, Иван Прокофьев, невеста! Ты, говорит, с ней не пропадешь, потому приданого за ней даю сто рублев, акромя, говорит, постели и разных вещей»... Я ему и говорю: «Покорнейше благодарим, ваше сиятельство!» Сказал так-то и же-

нился; а она, шельма этакая, целый год после законного брака шаталась к нему, к князишку-то своему. Вот она, Гаврил, какая изверг у меня! Ты, Гаврил, не гляди на нее, что она такою смиренной глядит. Шельма она у меня преестественная, Гаврил! Ты думаешь, милый человек, через кого я теперича погибаю — через нее, через анафему! Вот через кого! У! Будь ты проклята! Возьму, вот, да как начну по морде-то охаживать, так, небось, забудешь про княжество-то про свое!

Половой, слушая эти излияния, мялся на одном месте и насмешливо улыбался с видом человека, который, ежели бы не стеснялся своим лакейским положением, непременно сказал бы:

«Комиссия, право, эти женитьбы нашинские!.. Что криво да косо, то Кузьме-Демьяну... Всегда уж нашему брату-мастеровому, бедному человеку, такую-то сволочь подсунут, что целый век казнишься да страдаешь, глядя, как она кровные мужнины деньги, на офицеров прохожих любуючись, на чаях да на кофиях проживает!.. Идолы бабенки, а паче тот идол, кто их, тонкостям этим научимши, нашему брату на шею наваливает...»

— Ты вот что, — отнеслась достаточно уже выпившая супруга к мужу: — ты поменьше болтай, а то ведь за болтанье-то вашего брата по щекам лупят...

— Ну, уж ты с этим делом, надо полагать, подождешь немного, по щекам-то. Право, подождешь! — сатирически предполагает муж, выпивая приличный чину и званию столичного башмачника стакашек.

— Нет, не подожду, — настаивает супруга, выпивая тоже приличный стакан.—Долго я тебя, пьяного дурака, не учила.

— Вряд ли выучишь. Я тебя, пожалуй, поскорее поучу.

— Ну, уж это не хочешь ли вот чего? — осведомляется супруга, повертывая перед очами возлюбленного послюнявленный кукиш.

— А ты не хочешь ли вот чего? — в свою очередь любопытствует супруг, ухватив супругу за жидкие космы.

Случайно отворенная в это время дверь заведения заскрипела на своих петлях, и изнутри кабака вылетело женски-визгливое «караул» и басовитые отрывистые слова: «Вот тебе, шельма, вот тебе!» Слышно было сдержанное хихиканье полового Гаврилы, сопровождаемое протяжным возгласом: «Ох! И комедианты же эти сапожник с сапожницей! Право, комедианты! Этак-то они у нас цепляются друг с дружкой каждый божий вечер!..»

Но девственная улица ничуть не была удивлена этими выкриками. До того, должно быть, она прислушалась к ним, что даже тени внимания не пробудили они на ее безжизненно-молчаливом лице.

И, кроме этой, другие, более крикливые, сцены разыгрывались на улице, но и они не делали ее веселее, потому что, против русского обыкновения, они не собирали около себя толпы проходящих зевак, дружный и шумливый говор которых уверил бы человека, в первый раз занесенного в этот край, в том, что край этот вовсе не какое-нибудь заколдованное царство, осу-

жденное могучим чародеем на вечный и беспробудный сон.

— Кар-р-раул! Кар-р-раул! — орет какой-то молодои голос в непроницаемой темноте уличного конца.

— Ты что же это? — спрашивает крикуна хрипучий бас будочника. — Ты опять свои шутки шутишь? Мало я тебе онамедни шею за них намылил? Ежели мало, так скажи, я тебе еще прибавлю.

— Дядюшка! Да ведь скучно!.. День-то денской сидючи за работой, чего не придумаешь?.. Выбежишь когда на улицу-то украдкой, улица-то, сейчас умереть, светлым раем тебе покажется, — ну, тогда ты не вытерпишь и в радости заорешь...

— То-то в радости! Гляди, ты у меня иным голосом, пожалуй, вскрикнешь, как вот ножнами начну тебя по мягким-то оторачивать... Уймись, парень! Ей-богу, уймись!

— Не буду, дядюшка, однова дыхнуть, не буду, — с хохотом уверяет прежний голос: — только теперича в последний раз позволь...

— Ну, парень, придется мне, должно быть, с моего места встать... Разозлил ты меня, паренек!

И затем уличную тишину нарушает какое-то шуршанье, словно бы какой одышливый и ленивый человек собирался в дальнюю путь-дорогу.

— Кар-р-раул! — снова из всех легких трубит паренек, захлебываясь от хохота.

После этого слышится легкое захлопывание калитки и шлепанье босых ног по оттеплевшему снегу.

— Экой парень — разбойник! Удрал уж... — говорит будочник, с прежним сопеньем и пыхтеньем усаживаясь на покинутое было пригретое место. — Кажинный день так-то он меня беспокоит...

Поровнялись со мной какие-то две еще не очень пожилые женщины с вениками подмышками, с узелками в руках, с лицами, прорезывавшими даже ночной, ничем не освещаемый мрак девственной улицы алым румянцем, которым, как пожаром, освещались их пухлые щеки.

— Что же, хороша нонича фатера-то у тебя? — спрашивала одна подруга другую.

— Эдакая ли фатера чудесная — страсть! — отвечала подруга. — Мы ее онамедни чудесно обновили. Пришел эфта в прошлое воскресенье *мой* (у меня ныне столяр), солдатика-приятеля привел. Пришодчи, как следует, поздравили с новосельем, водки полуштоф солдатик-то из-за обшлага вытащил, я ему селедку с лучком оборудовала. Полштоф выпили, другой послали; другой выпили — третий, а там и за четвертым. И так-то, милая ты моя, все мы нарезались тогда, не роди мать на свет божий! Словно бы безумные толкались. Нарезамшись, мой-то и сцепился с солдатиком драться, — я сейчас же к своему на заступу пошла; а солдатик видит, что не совладать ему с нами, взял да у столяра ухо напрочь, совсем с хрущом и оттяпал. Завизжал столяр так-то жалостно, и кровища из него хлестала, аки бы из свиньи зарезанной. И дивись, милая, с другой фатеры, ежели не в нашей улице, так бы нашего брата за такую историю, знаешь, бы как в шею турнули, в три

бы шеи турнули; а наш хозяин (благородный у нас хозяин-то!) хошь бы словечушко вымолвил. «Ничего, говорит: господь с ними! На то, говорит, и праздник дан человеку».

— У нас, мать, по всей нашей улице хозяева все страсть как смирны, — подтвердила другая товарка. — У меня тоже кажный праздник, почитай, и-их какие кровопролития сочиняют! Тоже одному молодчику, не хуже твоего, два пальца и половину носа скусили. Азарны эти мужики.

— С ними поводись только! Я уж, когда они так-то сцепятся, прямо им сказываю: «Да ступайте на двор, лешаки, — там, говорю, просторнее». Так-то они у меня, милая ты моя, за всякое воскресенье аккурат не на живот, а на смерть чешутся!..

— Это у них истинно, что каждое воскресенье творится неупустительно, — сказал мне вдруг вышедший из-за угла старик — мой кум, к которому я шел. Я тоже, признаться, поджидал его, потому что сам он, тоже неупустительно, возвращался в это самое время из кабака, в котором обыкновенно он проводил летние и зимние вечерки.

— Издали еще разглядел я тебя, — продолжал старик, обнимая меня. — Смотрю этта и думаю: а ведь это *куп* идет!

По вечерам, то-есть, огорошив в кабаке полуштоф и туго набивши нос забористым зеленчатым, старик приобрел способность выговаривать буквы *м* и *н*, как *п* и *б*, и потому в таких случаях он обыкновенно звал меня *куп*, а ежели в дальнейшем разговоре надобилось ему упо-

требить слово небо, он просто-напросто, избегая греха сказать небо, указывал рукою в потолок, и все это понимали как нельзя более хорошо.

— Откуда тебя бог принес? — спрашивал меня старина, видимо обрадованный. —Давно ли?

— Прямо с дороги и прямо к тебе, — ответил я.

— Вот за это люблю, что не забыл друга.

— Ну, что тут, как у вас? — любопытствовал я. — Новенького чего нет ли?

— Чему у нас новенькому быть? — спросил, в свою очередь, кум как бы с некоторым унынием. — Все у нас, друг милый, по-старому. Есть, что ли, деньжонки-то у тебя? А то я, покуда лавки не заперты, что-нибудь из одежи бы на угощенье спустил...

— Есть, — утешил я старину: — и насчет одежи ты не беспокойся.

— То-то, ты гляди у меня: финтифлюшек-то, знаешь, небось, не очень-то я люблю...

И потом, прихвативши в попутном кабаке некоторый штоф и в попутной лавочке два десятка соленых огурцов, мы с кумом благополучно спустились в его плачевный подвал.

III

Кумов подвал был разительно схож с самим кумом. Оба они представлялись наблюдающему глазу немытыми и нечищенными от самого их сотворения.

И, действительно, кума погладили один только раз во всю его семидесятилетнюю жизнь, и именно погладили в военной службе, и при всем

том, что это глаженье уже известно, какое бывало в старину, при всем том, что оно продолжалось не менее как тридцать годов, кум все-таки остался не чем более, как саратовским мужиком, который, хотя вволю насмотрелся разных людских хитростей, но из которых, тем не менее, сам он ни одною настолько не поинтересовался, чтобы изучить ее и, в свою очередь, повеселить ею добрых людей. Он даже не усвоил себе той кавалерской выправки, которая отличает всякого отставного солдата, и ежели у него и были длинные и густые чернобурые усищи, так это были вовсе не те бравые, нафабренные, так называемые «разусы», которые так ухарски закорючены на смеющейся щеке разухабистого военного детины, а усы дугою, строгие, молчаливые, хохлацкие, так сказать, усы.

Чуть ли еще не в год кумовой отставки пришли в Москву из глубины дмитровских дебрей толстые бревна, из которых на живую руку был сметан дом девственной улицы с своим подвалом, приютившим старика-солдата. И так как всякому известно, что каждый россиянин из самого отличного материала делает самые скверные вещи, то хозяин, сгубив столетнюю лесную красоту на построение своей безобразной домовины, глубоко задумался собственно над тою мыслью, что в подвал-то, пожалуй, ни одного жильца не заманишь. Так поражены были даже невзыскательные глаза московского домохозяина неуклюжестью подвала и каким-то гневным унынием, воцарившимся в нем с первых дней его постройки...

Опечалился хозяин при взгляде на дело рук своих до того даже, что стал служить молебны об изгнании из хоромины некоего, как он говорил, «унывного» духа, нагонявшего на него оторопь; но, несмотря ни на что, дух, вероятно, в видах покарания хозяйского безобразия, испортившего столько прекрасных деревьев, из хоромины не выходил. Слышали даже соседские кухарки и рассказывали об этом под секретом, что по ночам словно бы плачет кто в том подвале, шепчет что-то неразборчивое и временами — редко, впрочем — хохочет чему-то...

Во время такого порядка вещей, когда хозяин окончательно уже отчаялся в возможности заманить в подвал какого-нибудь жильца, к нему пришел отставной солдат, старый такой, молчаливый и даже как будто сердитый. Посмотрел на этого солдата хозяин и тут же тихомолком подумал: «А! Это он пришел ко мне подвал нанимать! Лучше быть нельзя»; а солдат, как только взглянул на подвал, сейчас же подумал: «Вот чудесная хата! Лучше требовать невозможно»; а сам подвал, как только его обозрели, угрюмо и почти неслышно прошептал: «Мало в мои стены веселья этот солдат принесет! А мне-то и на-руку, потому не охотник я музыкантить-то!.. Такого жильца я долго жду!» — при этом, говорят, в первый и последний раз улыбнулись с радости тогда еще новые стены подвала, точно так же, как и у солдата очень что-то шевелились в это время усищи, как бы стараясь стрясти с себя чужую, случайно налетевшую на них и запутавшуюся в их непроходимой чаще улыбку.

В этом-то, так сказать, печально говорящем подвале целые двадцать лет тянулась печальная жизнь солдата. В пять лет моего с этими интересными субъектами знакомства я не мог подметить ни в том, ни в другом ни малейшей перемены, и как за год перед настоящим моим посещением я оставил их, уныло-серьезных и гневно-молчаливых, точно такими же нашел их и теперь. Даже горемыки-жильцы подвалов в девственных улицах, наваливавшиеся на простого старика, как наваливаются осенние листья на терпеливую землю, были все те же, за исключением разве только одного отставного капитана, тем, впрочем, только и замечательного, что он нанял себе помещение на огромной кумовой печи, куда он втащил нечто в роде кушетки, служившей ему постелью и вместе с тем сундуком. Капитан этот нисколько не характеризовал бы собою московских девственных улиц, если бы про него не рассказывали с божбой, что он никогда ничего не ест и не пьет, ибо никто ни разу не видал, чтоб он когда-нибудь удовлетворял этим простым требованиям человеческого организма. Кроме этого заслуживавшего внимания обстоятельства, капитан бросался в любопытные глаза тем еще, что не любил платить за квартиру и, говоря настоящее дело, не любил даже и того, когда ему напоминали об этом. Старый, расслабленный и поросший весь как бы какою щетиной, он по целым дням молчаливо переезжал с печи на кушетку и обратно, ничем не беспокоясь и никого не беспокоя; но как только кум заикался ему, что, дескать, ваше выщебородие, нельзя ли,

дескать, насчет недоимочки за фатеру, — капитан сначала производил на печи какой-то необыкновенный шум, смешанный с визгом и рычаньем, потом показывал с печи свое обрамленное седобурыми волосами лицо, оскалив зубы, и начинал воевать, то-есть бросал с печи в приютившего его человека чем ни попало.

— Зар-р-ряжай ружье! — орал он старческим, но азартным голосом. — Кладсь! П-ли! Я вас, черти! Рр-рота, за мной! Д-дети, скорым шагом марш! С богом!

— Ну, пошла писать военная кость! — с хохотом толковали многочисленные кумовы жильцы, собирая с печи, из-под капитанской храброй руки, различные тряпки и горшки, махотки и полешки.

— Будет, будет, ваше вышебородие! Перестаньте только, Христа ради! — умолял кум жильца о прекращении батального огня.

— Ур-ра! Наша взяла! — окончательно вскрикивал старый вояка, снова ныряя на неопределенное время в запечное пространство.

— Очень тронулись! — такими словами рекомендовал мне кум своего нового жильца. — Что будешь делать с бедностью? Иной раз сунешь ему на печку-то щец, хлебца, не токма что свои деньги... Выручишь их, свои-то деньги, с моими жильцами! Надоедает временем только — ужасти как... Раздразнят его башмашниковы ребятенки, так он целый день, лежа на печи, ртом-то все так-то выделывает: пу! пу! п-пу! Артиллерией, значит, по ним на дальних расстояниях действует. Вот докуда

спятил: по маленьким-то ребятенкам из пушек палит!..

— Ну, а из прежних жильцов никто не съехал от тебя? — спросил я.

— Из прежних?.. Нет, никто. Здесь уж все так-то: как укоренится кто на каком месте, так уж или с этого места прямо в гроб идет, или, ежели он подхалюза какая. так фарталом прогоняют на другую фатеру. Кресты есть из таких-то для нашего брата-съемщика — и-их какие тяжелые! Потому наш брат должен им потрафлять каждую минуту, чтобы только не доходили они до фартала, судиться бы только не ходили, потому они к этому делу все равно как к каше с маслом привыкли...

И, действительно, все кумовы жильцы, которых я знал у него прежде, жили у него и теперь, как бы сговорившись умереть в его темном подвале. Попрежнему над всем гвалтом крикливой подвальной жизни властительно царил назойливый голосище старой свахи Акулины, трехаршинной бабы, в ужасающих всякую душу лохмотьях и с рыжею, жидковатою бородой. Попрежнему эта ямщик-баба расшевеливает во мне уснувшую было глубокую антипатию к ней тем, что к каждому слову, с которым она обращается ко мне, прибавляет самым сладким голоском «ваше благородие» и «сударь-барин», рассчитывая этими словами взять меня на удочку и слизать с меня полуштоф сладкой водки, особенно ею ценимой. А вот и эта старая девушка, неотходно сидящая в кухне на своем громадном, окованном железными полосами сундуке. Как назад тому много лет застало

ее на этом сундуке известие, что человек, любивший ее, уехал на родину жениться и увез ее кровных сто двадцать рублей, так она, без малейшего слова, раскачнула тогда еще молодою головой, да так и теперь ею постоянно раскачивает, — только теперь эта голова сокрушилась уже, замоталась и стала такая седая, сморщенная, некрасивая.

— Здравствуй, Фаламей Ильич! — говорю я старому приятелю моему — башмачнику, тоже кумову жильцу, который терпеть не мог, когда кто-нибудь называл его настоящим именем Варфоломея.

— Здравствуйте, сударь, Иван Петрович! — радостно приветствовал меня Фаламей, вставая с кадушечки, на которой он тачал башмаки, и лобызаясь со мною. — Давно мы, сударь, с вами компании не водили. Вы что тут ерзаете, мазурики? — обратился он к своим многочисленным ребятенкам, быстро отколупывая у них на головах масла маслаком своего собственного большого пальца правой руки.

Толпа ребятишек, неутомимо сновавшая и горланившая по подвалу, как и все подвальное, была, в свою очередь, такою же, какою я оставил ее, хотя приметил, что теперь она стала гораздо гуще, а следовательно, и неугомоннее; но и это обстоятельство нисколько не изменяло кумова апартамента, потому что башмачник Фаламей не обделял никого из девчонок и мальчишек, составлявших молодое поколение подвала, когда задавал им трепака и колупал масло, отчего молодое поколение носило на своих головенках одинаково чесавшиеся больнушки, от

которых, следственно, ревело точно так же и в настоящем случае, как ревело за год перед этим, ни на полтона даже не повышая и не понижая своих голосов.

Да, все обстояло в подвале попрежнему, потому что очень трудно такой жизни построиться на какой-нибудь другой лад по той простой причине, что подо всем этим прекрасным небом нельзя найти лада, который был бы сколько-нибудь хуже этого. И господи! До того шло там все по-старому, что сам я, как и прежде, обманул ожидания ребячьей стаи, облепившей меня, потому что был вне всякой возможности дать что-нибудь на гостинцы этой малолетней, вечно голодающей, братии.

Уныло и молчаливо отошла от меня, как говорят поэты, розовая юность, а я, как и всегда, что особенно люблю, стал прислушиваться к стенам подвала, которые на сей раз говорили мне так:

«Ну, что, Иван Петрович? Что, кум ты мой золотой? Куда ходил? Что выходил? Э-эх ты, ветер степной, Иван Петрович! Право, ветер! Вот тебе от нас первый привет. Думали мы, что ты, гуляючи по хорошему божьему свету, хоть чуточку поумнеешь, хоть немножко посократишься, а он все такой же... Что задумался-то? Глаза-то что на нас так пристально выпучил? Нечего на нас пучить глаз, потому узоры на нас все те же...»

Шептали мне черные стены эти слова с какою-то особенно выразительною насмешкой, словно бы насмешкой этой они меня хотели образумить и наставить на какой-то, совершенно неизвестный мне, истинный путь.

Так, я помню, в старину, когда я был еще совсем малым ребенком, старая бабка моя, смотря на разные мои, как она говорила, дурецкие выходки, укоризненно и насмешливо покачивала своей седою головой и язвила меня острыми стрелами разных народных пословиц, в роде, примерно, следующей:

— Эх, дитя! Не будет в тебе путя...

До слез, бывало, пронимали меня эти многозначительные бабкины слова. Открывши в шопоте стен кумова подвала нечто схожее с ними, я бы тоже, вероятно, заплакал и теперь, ежели бы давно уже разлившаяся по телу моему злобная желчь не вытеснила из меня все без остатка мои горячие, искренние слезы.

IV

— Вот за это я тебя, куп, страсть как не люблю! — этим восклицанием вывел меня из моей задумчивости старик-кум (назовем его давнишним именем, приобретенным им в полку, где его прозвали Обгорелый). — Так вот за это я тебя недолюбливаю, — повторил Обгорелый.— Выпьешь ты, дружок, малость какую-нибудь и сейчас же задумаешься, лицо у тебя в синие пятна ударит, и словно бы ты в такие времена разорвать кого на мелкие части надумываешь. Право! Это мне очень не по нраву. Выпей-ка, авось, может, поотпустит тебя злоба-то твоя.

— Что же это, я все у тебя оглядел, увидал, что все на прежних местах стоит, — сказал я, — а про Катю не спрошу: где она у тебя?

— Помалчивай до поры до времени, — с какою-то плутоватою улыбкой ответил мне кум.— Мы тут такую-то крутую кашу завариваем, и, как есть, братец ты мой, к самой каше ты подоспел. Вот счастливый какой, а еще все судьбой своей недоволен!

А Катя, про которую я сейчас осведомлялся у солдата, была существом такого рода: во всех вообще девственных улицах существует обыкновение распускать про всякого человека, вновь основавшего свой притон в их тишине, молву, что будто у этого человека страсть сколько деньжищев и добрища всякого, вряд ли на три подводы уложишь. Конечно, этому, повидимому, странному обыкновению удивляться много не следует, потому что страсть поврать про чужие деньжища и добрище свойственна всей гольтепе вообще. По этому случаю, лишь только переехал солдат в свой подвал, как сейчас же про него вся улица, как в трубу, затрубила:

— Одних шинелей у него три, — по секрету перешептывались между собою соседские бабенки: — сапогов четыре пары, голенищев старых видимо-невидимо навалено. Кому копит, а? Скажи, пожалуйста, кому копит старый идол? — даже с некоторым негодованием вопрошала одна из бабенок. — Околеет ведь, старый шут, глаз некому будет закрыть.

— Ты про шинели-то да про голенищи не толкуй лучше, — вступалась другая: — а ты вот что послушай: видели у него бумажек денежных вона сколько!.. — и при этом бабенка, припрыгнувши, чтобы быть порослее, взмахнула рукой над своею головой, желая означить тем, сколько

именно у идола-солдатища было денежных бумажек. — Теперича, — продолжала она: — видели у него также целый сундук с образами, и все-то они, батюшки мои, в серебряных ризах у него разодеты, все-то в серебряных...

На основании этих рассказов одна согрешившая девочка некоторою темною ночью взяла да и подкинула свою новорожденную дочку к богачу-солдату.

— Она у него счастлива будет! — рассуждала молодая мать. — А то, поди-ка, из воспитательного дома кому еще на руки попадется...

— Вона сокровище какое господь мне, старому шуту, послал! — сказал кум, вывертывая ребенка из разных лохмотьев. — То тридцать лет с ружьем няньчился, теперь же вот с чужой дитей придется поняньчиться, а там уж, верно, судьба за прялку меня усадит...

Поворчал-поворчал Обгорелый таким образом, а все-таки послушною нянькой уселся, наконец, за детскую колыбель и своими песнями, петыми хотя и на волчиный манер, выбаюкал себе такую прелестную девочку, про которую многочисленные жильцы говорили, что об ней, все равно как об царевне какой, ни в сказке нельзя сказать, ни пером написать.

Я совершенно не знаю, каким образом и для чего именно на тощей и так гибельно воняющей почве подвалов родятся существа с головками, улыбающимися и цветущими, как улыбаются и цветут на холсте прелестные создания великих художников, — не понимаю, для чего даются этим существам белокурые волосы, кого в том подвале хотела природа *удовлетворить*,

творя этот гибкий, как наша стройная отечественная сосна, стан: но знаю и сказываю о том обстоятельстве, что ундер-офицерский подкидыш, прозванный горем подвальным царевной, про которую нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать, — был, есть и будет царевной моего одинокого сердца...

Повинуясь могучим стремлениям нашего времени, я долгое время шатался в кумов подвал, внося, насколько мог, в мерзость его запустения понятия о ином, внеподвальном свете. Я много раз примечал, как цветущая, белокурая головка улыбалась, радуясь такому свету; но улыбка эта, давшая мне столько радостей, всегда же и глубоко мучила меня, ибо в то время, когда в ней зарождалась другая правда, ничуть не похожая на правду кумовой жилицы — бородастой свахи Акулины, сам подвал в этот момент, мне казалось, начинал покачиваться, словно бы жалея о чем, и, как-то сокрушительно улыбаясь, шептал мне:

«Ах, Иван Петрович! Голова ты эдакая болезная! Ну, на что *это* нам? Ну, что мы с *этим* добром поделаем? Помни ты мое верное слово, Иван Петрович! Будет у нас с тем добром не в пример больше слез, больше и воздыханий».

И так крепко донял меня подвал такими словами, что я однажды сказал подвальному цветку:

— Прощай, Катя! Ухожу из Москвы на родину. Хочу посмотреть, попрежнему ли наша матушка степь своей красотой сияет.

Говорю так и смеюсь, и она смеется.

— Ой, — отвечала она: — не ходите, Иван Петрович! Люди, Иван Петрович, переменнее степи всегда бывают, об этом во всякой книжке говорится, какую мы только с вами читали.

Я даже хотел было остаться, смотря на ту улыбку, с которою Катя говорила о том, что люди изменчивее степи. Так много обещала эта веселая, добрая улыбка! Но, к счастью или к несчастью, подвал опять зашептал мне:

«Ты что же это, Иван Петрович, оставаться хочешь? Гляди ты у меня: я тебя *тогда* своими старыми стенами в прах раздавлю»...

Унося мою больную голову от гибели в этих, так мрачно глядевших, стенах подвала, я пошел. Пошел я, куда глядели мои глаза, и когда, возвратившись назад, спросил у кума, где Катя, он только ответил мне, что я счастливец, подоспевший к весьма крутой каше. Ответ, как видите, весьма замысловатых и таинственных свойств; но я, изучивший нравы девственных улиц, сразу понял, по какому именно поводу и из каких круп заварилась эта крупная каша, — понял до того ясно, что мое сумасшедшее сердце снова дрогнуло и заныло от той страшной боли, которою подарило его это ясное понятие о предстоявшей каше.

— Да, куманек! — снова повторил кум, задумчиво разглаживая свои усищи. — Признаться сказать: заварили хлебово! Не знаю только, как иному молодому народу придется его расхлебывать. Про себя не толкую, потому стар я, ну, и, значит, хлебывал вволю... Вот как хлебывал — до крови!.. Ну, а молодым как покажется — не знаю, и ежели, то-есть, не божья

воля, так лучше бы мне скрозь земь провалиться, чем голубчику моему — дите моей кровной — то кушанье из своих рук подносить...

— А вы, дяденька, не ропщите, пытаму судьба наша известно от кого происходит...— вмешался в нашу беседу молодой, еще неизвестный мне, парень в синей чуйке, в смазных сапогах и ситцевой красной рубахе, видимо, мастеровой. Он был еще очень молод и потому сделал старому солдату свое юное замечание весьма сконфуженным тоном, и притом неуклюже переминаясь на деревянном, выкрашенном черною краской стуле.

— Молчи уж ты, голова! — сердито отозвался кум на замечание молодца. — Мы от судьбы-то в лапах от люльки и по сю пору находимся, так мы ее лучше тебя не в пример понимаем, какая она до нашего брата милостивая... Кум! выпьем с тобой, да не по рюмочке, а по стаканчику, потому скорбит мое сердце. Ох, какая лютая казнь одолела его у меня! Тебе, кум, об этой казни своей прежде времени не скажу, потому пуще меня ты, пожалуй, винище жрать примешься. Знаю я тебя!

Но я давно уже понял лютую кумову казнь и потому с яростью истого плебея, приученного и, следовательно, привыкшего топить горе в стакане, выжрал стаканище, предложенный мне солдатом, опустил мою голову, послушно склоняющуюся пред всяким несчастьем, и стал по обыкновению прислушиваться к тайному подвальному шопоту, а подвальный шопот на этот раз был таков:

«Иван Петрович,—глухо и печально шептали стены:—знаешь, небось, ты нашу жизнь-то собачью? Ведь Катька-то у нас задурила... Ведь в степь-то тебя чорт понапрасну таскал... Может, она, Иван Петрович, эта самая Катька-то, такой бы женой была верной, да доброй, да умной»...

А солдат в то же время с тщетно сдерживаемым рыданьем говорил молодому парню — нашему собеседнику:

— Выпей и ты, парень! Выпей сразу побольше, потому тебе, паренек, надо час свой великий в полной муниции встретить.

— А я, дяденька, как вы сами изволите знать, — заикнулся было молодой парень: — насчет хмельного ни-ни, то-есть, чтобы, то-есть, одну каплю когда — ни под каким видом.

— Будет, будет, жених, раздобары раздобарывать! — грозно прикрикнул на него кум. — Сами женихами бывали, знаем поэтому, как это ни капли-то, ни под каким видом... Пей, говорю. И ты, кум, выпей! Повторим мы с тобой, голова, потому мы постарше и знать свое дело завсегда мы должны во всяческой полности.

И, действительно, я давно уже знал свое горькое, всегдашнее дело — плакать и пить, и потому я с еще большим азартом повторил громадный стаканище.

— Так-то вот лучше! — проговорил кум, когда вся наша компания хватила по стакану. — Теперь словно бы отлегло маленько, — полегче будто бы стало...

— Это точно, что будто полегче безделицу!— вступился молодой парень. — Только, дяденька,

вы теперь беспременно меня поддержать должны, потому как это она в любви с *ним* находится и как я должен с ней от него под честной венец итти, и мне это теперича вот в какой ясности приставляется—страсть! Сердце у меня от эвтого приставленья во-как зажгло!..

— Пей, парень, ежели приставляется! — командовал солдат. — Когда маленечко ополоумеешь, всегда лекше становится. Ну, — прибавил старичина, внезапно озлобляясь: — ежли бы *он* мне попался когда, искрошил бы я его в мелкие дребезги! Хоронится завсегда, словно знает, что я бы его зубами изгрыз.

— Нет, вот бы мне господь когда-нибудь подал его в ручки ночкой какой-нибудь темненькою, — я бы тово... Прямо скажу: может, с живого-то вряд ли бы и слез, — продолжал мастеровой солдатскую речь.

— А кто это *он*-то? — спросил я, чувствуя, как горячая кровь обливала сердце мое и душила меня, чувствуя, что и я, даже не в темную ночь, если бы встретился с *ним*, так с живого тоже вряд ли бы слез с него.

— *Он*-то кто? — переспросил меня парень. — Афицер один, богатый... А я допрежь ее знал, как на родную мать издали глядел на нее и глазами своими ее любовал... Может, уж года с три той моей великой любови прошло.

В это время за окнами послышался глухой стук московской пролетки, — той шикарной, налощенной пролетки, с фордеком, на которых так называемые московские извозчики-лихачи катают барынь, по народному говору, *вольного обращения*, и вслед за этим стуком в подвал

вошла Катя, шурша толстым платьем из черного глясе, сияя дорогой цветистою шляпой и золотыми браслетами на ослепительно-белых и маленьких ручках.

— Банжур, дяденька!— сказала она старому солдату как-то особенно разухабисто и фамильярно. — Ах! Иван Петрович! — обратилась она ко мне: — какими судьбами?

— Дитя мое, дитя мое! Что ты с нами, с горемычными сделала? — ответил я с громким плачем пьяного и, следовательно, необыкновенно тонко чувствовавшего сердца.

Потом я уж ничего не помню о той крутой каше, которая варилась в это время в подвале.

— Акулина! Акулина! — кричал, как мне помнится, мой кум. — Бежи скорее за причтом,— я уж всем им говорил, какая у нас история... А вы держите крепче, а то вывернется, ускачет.

— Ты опять тут, ты опять пришел! — кричала Катя, очевидно было и для меня пьяного, на молодого мастерового. — Я ведь сказала тебе, что не пойду за тебя.

— Рази лучше скверной девкой-то быть? — кричал в свою очередь мастеровой.—Опомнись, Катя, опомнись!.. Ведь они над нашим братом потешаются только, господа-то...

— Иван Петрович, — громко кричала мне Катя: — заступитесь за меня: не давайте меня благословлять. сироту, поневоле... Будьте свидетелем: не хочу я за него итти...

Но я уже не мог быть свидетелем для Кати в том, что ее благословляют поневоле за неми-

лого замуж, по многим причинам, из которых самые главные были следующие:

— Ну, ты теперь ее жених, — угрюмо бубнил солдат: — следовательно, все равно муж... Прибей ее, шельму, чтоб она от закона не отказывалась.

— Как же! — истерически всхлипывала Катя. — Погляжу я, как вы меня прибьете...

— А ты думаешь, не прибьем? — орал мастеровой. — Ты думаешь, сердце мое не болит? Вот тебе, будь ты проклята! Я, может, жизнь свою загублю, в церковь божию с тобой идучи, а ты в такое-то время по злодее по моем сокрушаешься.

Послышался звук пощечин и отчаянный крик женщины.

— Молодец, Абрам! — говорил солдат. — Так ее и следует. Опосля слюбится...

Но, повторяю, я ничему не мог быть свидетелем в это время, потому что сидел совершенно разбитый этою сценой, — сидел я, а Катя кричала мне:

— Подлец, подлец! Что же ты не заступишься? Зачем же ты иное-то всегда мне говорил?.. Зачем же в книжках твоих про заступу всегда слабому говорилось?

Сидел я, говорю, немея от этих оскорблений, а подвал мне, кроме всего этого, свою речь вел:

«Видишь, Иван Петрович! Всегда я тебе толковал: уйди ты от нас, потому будет у нас от твоих слов большое горе... Господи, — взмолился старый подвал, как бы подвижник какой святой: — когда *только* эти слова *будут итти мимо нас?..*»

— Ох, горе! Ох, горе! — сокрушенно взывал мой старый кум. — Но, может, к хорошему, может, остепенится — в настоящий закон и послушание богом данному мужу войдет. Н-ну, ежели только *он* попадется мне когда в темном месте!..

— С бог-о-м, рр-ре-е-бята! — командовал с печи старый сумасшедший капитан. — Кл-ладсь! П-л-ли! В ш-ш-тыки на вр-ррага. Ур-ра!..

Так смертельно раздразнили его Фаламеевы ребятишки.

Затем вся компания без исключения, вследствие ни с чем не сообразной выпивки, потеряла сознание, и я уже ничего больше не помню...

1864

САМОВАР ИСАЯ ФОМИЧА

I

Про Исая Фомича все село одним голосом говорило:

— Ах! Ежели бы не пил Исай, чтоб это только за мужик был чудесный!

И точно: синего сукна чуйка вместе с вытяжными с напуском сапогами и высокой поярковою шляпой безотлучно пребывали на Исае. Был он, кроме своего хорошего наряда, высок ростом, серьезен лицом, опушенным черной окладистою бородой, а ходил тихой и важною поступью, которая всякому говорила:

— Гляди-ка, мол, ребята, на старшину! Вот как они, старшины-то, расхаживают!

Но старшиной Исай не был, потому что кому бы только ни принимался он рассказывать про какое-нибудь свое дело, всякий рассказ свой начинал такими словами:

— Помолились мы, братец ты мой, как всякому христианину подобает, господу богу и порешили: быть, дескать, так. Тут сейчас же, как следствует, учинили питру немалую. По-божьему сказываю: три дня от той питры в головах зазванивало...

Наконец, то ли ему самому надоело всегда одни и те же слова про себя говорить, то ли надоело слушать, как чужие люди всегда про него

одними и теми же словами толкуют, — взял он однажды крякнул негромко, запахнул свою синюю чуйку, подпоясал ее по-стариковски, под самое брюхо, красным суконным кушаком и сказал:

— Будет! Хоша выпивкой своей ни себя, ни добрых людей не срамил, только, сказываю, что будет, — дочь растет.

Проговоривши эти слова, Исай Фомич, чего с ним никогда не бывало, даже кулаком легонько по столу пристукнул для того, чтобы слово вернее было.

Подходили к нему после этого случая знакомые мужики и говорили:

— Пойдем, Фомич!

— Куда?

— Как куда? Рази ты ныне тово... пропустил уж?

— Бог миловал ныне; а наперед потерпит грехам али нет, не ведаю.

Были на базарах разные разговоры об этих отказах. Одни приятели, крестясь в базарном кабаке пред зеленым косырем, пошумливали:

— Слава богу! Вон Исай Фомич от лютости своей отстает. Ох! как бы нам так-то!..

— Богатеть он стал — Исай-то Фомич! — понимали другие. — Разжирел с своей братьей-мужиками водиться перестал. Поди, чай, теперь в купецкие хоромы норовит залезть.

А то были еще приятели, от которых Исаю пришлось обоими кулаками отбиваться.

— Ну да выпей, голубь, испей, Христа ради! Будь друг! — пристают.

— Я же тебе русским языком говорю, что перестал, заклятие такое крепкое на себя положил.

— Да и я ономнясь заклятие положил на себя, покрепче твоего не в пример будет, да ведь пью же.

— Ну и пей, коли пьешь.

— Так, значит, не станешь? — начинал покрикивать кабак, битком набитый сельским торговым народом.

— Не стану.

— Брось его, чорт с ним совсем! Что ты к нему, к аспиду, пристаешь? Вишь брюхо начал растить, — вмешивался кто-нибудь из гулявшей кучки.

— Нет! Я от него не отстану. Я его по-божью: я его сейчас вот этим самым полуштофом в морду царапну, потому он меня обижает, — от моего сладкого угощенья отказывается...

В былые времена крепкую бы драку завел Исай Фомич за такие разговоры, а теперь смирно выходил он из сборного базарного места, крепче подтягивал свой красный кушак и торговал, и торговал безустанно.

В скорости мир, действительно, выбрал его в старшины.

II

Пошел Исай Фомич по селу пузатым таким старшиной, подпоясанным, важным, лоб свой пятидесятью, может, морщинами обложил.

Суд и расправу творил он, как сам про себя ближним людям рассказывал, *вельми...*

На базаре драка. В кровь и смерть исполосовалась кучка выпивших приятелей; а наутро, когда хмель вылетал из проломленных голов, обиженные шли к обидчикам и говорили:

— А мы, ребята, с жалобой на вас к самому Исаю Фомичу на-лицо. Вот что!

— Буде, буде грешить-то! — скорбными голосами отвечают обидчики. — Вы по-божьему дело-то делайте, а мы свое в точности справим. Чем к этой собаке итти, привертывай лучше к кабаку. Там мы это сполна порешим.

— То-то! Глядите, чтоб опосля таких оказиев ни-ни, чтоб ни под каким видом... — протяжно и наставительно усовещевали обидчиков искалеченные обиженные и мимо суда старшины отправлялись мириться и вновь драться в гостеприимное кабачарово.

Припугнувши таким образом соседскую жизнь, Исай Фомич смотрел на нее, как она сгибалась перед ним в три погибели, и с тайною, беззлобной усмешкой в душе приговаривал:

— Так-то вот лучше — посмирнее-то! Сам господь наш, батюшка, смиренство-то любит. А я ведь не для чего другого вас к тому приучаю... Не из корысти какой, а так, чтобы только не мешали вы мне, не грызлись промеж себя и судиться ко мне не шатались...

При таком досуге и почете с каждым днем все выше и выше взбирался в гору Исай Фомич. Мещане из соседнего города, скупая по селам всякую всячину, стали к нему заезжать ночевать, пообедать, покормить лошадей. Зачастую также в его просторной, из толстых дубовых бревен срубленной избе гостили синие длинные

сибирки этих кочующих торговцев, а по летним воскресеньям и праздникам стали к нему наезжать покутить судейские господа в суконных сюртуках с ясными медными пуговицами — и все это людье было на самой дружеской ноге с богатым и серьезным старшиной.

А между тем дочка Исая Фомича все растет и растет, и вместе с ее с каждым днем все более и более расцветающей красотой, так сказать, разрастались и увеличивались красоты и удобства просторной избы, которую хозяйский глаз и деньги старались сделать как можно подходящею под *купецкий манер*.

На узеньких деревянных подоконниках появились горшки с тощею геранью, с разноцветными гелиотропами, с низкою, но раскидистою божьею травкой; в самых окнах появилось нечто в роде штор, в виде клочков белого коленкора, пожелтевших, засиженных мухами, а стены избы украсились лапистыми зелеными обоями, и вдобавок разноцветно смеющимися, плачущими, шутовствующими и, главным образом, богатырствующими рядами шла по этим стенам та знаменитая русская галлерея которая в своих обладателях выказывает отменный вкус, неодолимо повертывающий их головы от однообразных и бедных картин деревенской жизни к жизни уездного города, три церковных шпица которого с зелеными крышами острога и дома градского головы так и сверкают, так и разманивают завистливые глаза расторговавшегося мужика.

Наконец оборудовал Исай Фомич свое домовище именно в ту самую стать, которая по де-

ревням и селам дает таким домам название *полной чаши*. Видимая благодать постоянно царила над ним. Безустанным и бдительным сторожем расхаживал около него серьезный хозяин, не в пример прочим сельским оборвышам и лапотникам, в будни даже в синей чуйке, шляпе и сапогах, из его крикливых ворот бойко выезжали большие, жирные лошади, запряженные в новые телеги, с пестрыми дугами, с голосистыми медными погремушками, выходили толстые и, как сам хозяин, серьезные коровы, на улице перед домом расхаживал и неистово ревел рыжий, глазастый бык, распугивая своими рожищами заигравшихся соседских ребятишек,—а на дворе и на огороде, на дороге перед домом и в самых секретных засараинах, в междуамбарных переулках и подполинах копошилось, прыгало, летало и визжало такое обилие разной домашней удобозарезываемой и съедаемой жизни, которое решительно могло обеспечить не на один год десять семейств, в пять раз многочисленнее семейства Исая Фомича.

Но ежеминутно созерцая свое, с каждым днем увеличивавшееся, богатство, важный старшина, вопреки всеобщему людскому обычаю, видимо, нисколько не утешался этим богатством. Он все более и более сморщивался и даже как бы о чем-то сильно печалился.

— Вот теперь мужику господу богу молиться да за великие его милости денно и нощно благодарности бы воздавать, — толковали про Исая соседи, — а он, словно колдун при смерти, морщится завсегда. И чего только надобно еще этому змею подколодному?.. А уж истинно, что

ест он на торгу и на суде всякого православного христианина, словно змея подколодная.

— А то и надоть ему, что утроба у него ненасытная, вот он и ест, вот он и ежится от того, что хошь и есть у него вострые зубы, а все же душа-то человеческая у такого едуна поперек горла всегда колом становится... А больше ему что же надоть? Ничего.

— Такие ли есть? Возьми купцов городских: гладить нашего брата по головам они тоже не очень-то любят, а все же, как Исай, об таких делах не печалятся, потому знают: вздыхать тут не о чем.

— Ну, да то городские!..

Разгадывали всегдашнюю тоску и заботу Исая Фомича и другим манером. Полагали, не собирается ли он на город перебраться, — не хочет ли он там выстроить себе палат белокаменных, двухэтажных, с лавкой и лабазами внизу, с жильем для себя наверху, с жильем, из которого стеклянная, растворчатая дверь ведет на балкон с перилами из самых хитрых балясин, — не хочет ли он на этом балконе с господами чаев распивать, чтобы всякий, кто только мимо тех палат пройдет, ради приятелей его, господ, и ему, мужику сивому, великий поклон отдавал...

И в самом деле: из того села, в котором властвовал и печалился старшина, кажется, рукою можно было достать до уездного города. Не только что с конца сельской улицы, прилегавшего к городу, а даже и с середины ее ясно виднелись, как уже сказал я, церковные главы, зеленые казенные крыши, помещичий дом

с хитрым сходом в веселый, как бы смеющийся всеми своими разноцветными растениями, палисадник, и вдобавок ярче всего бил в глаза город соседке-селу балконом при высоком доме градского головы, разукрашенным причудливо выточенными перилами, с обществом на нем из первых уездных бар, распивающих душистый чай из сияющего серебряного самовара, с мужиками под балконом, ссыпающими без шапок в головинские амбары кровавым потом добытое зерно, и сизыми мохноногими голубями, которые, как барабанщик, отчетливо и гулко ворковали ссыпавшим хлеб мужикам, словно бы про то, как хорошо и жирно живется в головинских двухэтажных хоромах, как приятно на балконе, прилаженном к ним:

вечер майский
Ром ямайский
В чай китайский
Наливать, и проч.

А когда приходил к Исаю Фомичу какой-нибудь мужичонка-подхалюза, полюбивший всякую послугу богатому человеку, с словом в роде того, что дескать:

— Исай Фомич! Толкуют тут про вас некие люди, что вот так и так, мол... утроба у вас, говорят, тово... ненасытная, аки бы... право! А разговаривает про вас таким-то манером не кто другой, как Петрушка Жарких...

— Н-ну тебя! — сердито отзывается старшина, отмахиваясь рукой. — Есть мне когда!..

Но не останавливается подхалюза.

— Теперича опять, — продолжает он, намереваясь попросить у богача пудик мучицы

в долг, — что якобы всякому мирскому едуну христианская-то душа поперек горла-то колом становится...

— Да откачнись же ты от меня...

— К слову, Исай Фомич, говорю, ей-богу-с! Пытаму теперича все в один голос как в трубы трубят: старшина, трубят в городе, в купцы собирается...

— Н-н-ну их в омут головой всех, лешаков этих пустозвонных!

— А я как насчет мучицы хотел было вашу честь утруждать, — наконец-то объяснял подхалюза свою задушевную цель. — Пытаму как для всех нас, сирот горемычных вообче, один отец — батюшка господь милосердый, да вы...

— Да что ты ко мне, как банный лист, привязался? — вспыхивает старшина, хватаясь за бирку, на которой он намечивал принимаемый овес, и подхалюза, избегая *холодной*, находившейся в полном распоряжении у старшины, пускался стремглав восвояси к своим горемычным сиротам, для которых, по словам его, для всех вообще один только отец: господь бог батюшка, да старшина села Малого Лошадья Исай Фомич, какому и в купцах ровный вряд ли найдется...

III

Долго таким образом сельский люд ломал свои нехитрые головы, раздумывая над гневными морщинами, пролегавшими по лицу гневного старшины; а дело между тем было совсем простое и даже как бы немножко глу-

поватое, так что начальнику, судящему *вельми*, и заниматься-то долго этим делом не следовало бы.

Ранним утром одним, когда из труб всего села по расцвеченному воскресавшим солнцем небу разливался сизыми волнами пахучий дым,— этим утром к Исаю Фомичу въехал в ворота гость на дрянной лошаденке и совсем в нищенской телеге.

И был этот гость самый что ни на есть паскудный мещанинишка во всем городе. Всю жизнь свою он только одно дело и делал: ездил по селам, скупал кошек; а возвратившись с товаром в город, пропивал этот товар и снова уезжал по селам. Иногда, — впрочем, это редко случалось, — жена мещанинишки засаживала его на недолгое время в сибирку, так как торговец колотил ее и тогда, когда собирался в дорогу, и тогда, когда возвращался с нее. Говорю только, что аресты эти производились весьма редко, потому что хуже горькой редьки надоели в городническом правлении крики, раны и явки этого, так сказать, образцового союза. Звали все этого мещанина обыкновенно Кошкодер или Язва, так что настоящее его имя даже и крестный отец с батюшкой-попом совсем позабыли, а не только что посторонние люди.

Подъезжает Язва к воротам Исая Фомича, возжи, как барский кучер, наотлет для храбрости держит; а сам думает:

«Ах! как бы не прогнал. Мужик, акромя что с политикой, здоровенный: а деньжишки, какие были. все я. как на зло. в Волчинском кабаке пропил. Ну, да нам это с полгоря, ежели,

к примеру, взашей получим, потому мы и на дороге покормим. Ей-богу! для нас это ни хлад, ни зной — все единственно!»

А Исай Фомич, редких только купцов да приказных встречавший на крыльце, теперь сам, своими белыми руками, отворил тому прощалыжнику широкие ворота, улыбается ему, словно бы празднику светлому, в какой веселый колокольный звон светлой радостью во всякой христианской душе отзывается, и говорит:

— Добро жаловать, Алексей Нефедыч! Давно мы с вашею милостью хлеба-соли не важивали.

Припрыгнул даже на месте приезжий, когда услыхал от старшины свое всеми позабытое имя.

«Господи! От кого он это узнал, что меня зовут Алексеем, Нефедычем величают? Сорок с лишком лет на свете живу, и, может, в сорок первый только удалось мне свое настоящее крещеное прозвище услышать. Должно быть, ему нужда какая большая до меня приспичила».

— Заспесивился, друг пресладкий, должно быть! — пришпоривал старшина голопятую мещанскую амбицию. — Сидишь так-то иной раз под окном, видишь, как Алексей Нефедыч мимо едет и головой не кивнет, а не то, чтобы к приятелю привернуть. Ну, думаю: должно, знаться не хочет.

— Всегда мы к вам с нашим почтением, Исай Фомич, а не токма что... Ей-богу-с! И как теперича господь достатком вас снабдил, мы это должны чувствовать и вздыхать, — говорил вслух Язва, а про себя втихомолку думал:

«Ну, ей-богу же нужда какая-нибудь пристигла мироеда этого, и он теперича беспременно ехать на мне куда ни на есть собирается. Ничего, съездим, лишь бы выпивка заправская была».

— Перед господом все равны: и богатый и бедный, — ободрял старшина. — Знаешь, небось, как на страшный суд-то пойдем мы. Первосвященники и воеводы, мужики и князья — всех нас за дела богомерзкие на одной веревочке в огонь-то вечный потянут.

— Это точно! — согласился Язва; а сам пуще вдумывается, что бы это такое означало, что мужик этот, чорта, можно сказать, своею гордостью превзошедший, разговорился с ним.

«Э-э! — мелькнуло, наконец, в голове у мещанина: — понял теперь. Это он теперь под меня такую загвоздку подпустит, чтоб я к дочери его какого-нибудь барина из городских приказных посватал. Дело! Готовься теперь, Язва! Будет тебе теперь выпивки, пожалуй, не на один месяц», — и с этою думой Язва вошел в старшинину избу.

Всею своей распаривающей теплотою пахнула изба на продрогшего утреннею зарей мещанина. Живо разнежила она его забористою косушкой и кипящим молочным кулешом так, что не прошло и часу после того, как приехал торговец, а уж он, забывши свой недавний страх быть вытуренным в три шеи с богатого двора, важно заседал теперь в переднем углу, под светлыми, разукрашенными яркими цветами, иконами и, словно бы богач какой первогильдейский, свысока уже разговаривал со старшиной, с коим

до этого времени он не иначе встречался, как снявши засаленный картузишка за несколько саженей.

Долго тянулся этот нескончаемый разговор, обыкновенный на всех постоялых дворах.

Совершенно трезвый, Исай Фомич, соображаясь с своими тайными целями, говорил примерно так:

— Вот ты давеча, Ликсей Нефедыч, заговорил, что ежели аки бы богач и теперича бедный...

— Нет, стой! — восклицал Ликсей Нефедыч. — Погоди про это дело...

— Подожди, я тебе растолкую, — прерывал старшина, в котором против воли, наконец, стала пробуждаться амбиция богатого человека, убитая было посторонними глубокими соображениями:

— Растолкуй! — просил Язва, побежденный этою воскресшей уверенностью в себе богача. — Растолкуй! Я люблю поучиться у умного человека, Исай Фомич, околеть мне на сем месте, — люблю! Пытаму, ежели б мы эвтого не любили, ежели бы, то-есть, человеческий род... да не по писанию... да не по господу... Пошли еще косушечку, Христа ради! Как расторгуюсь, сейчас я тебе с благодарностью...

После другой косушки, благополучно огорошенной приятелем-мещанином, Исай Фомич приступил прямо к делу.

— А я к тебе с просьбой, Ликсей Нефедыч, и с немаленькой.

— Что такое? — спросил Язва. — Я для тебя, одно слово, звезду с небушка готов снять, потому в городе мы живем, али нет, сказывай?

Ха, ха, ха! Городской теленок, пословица говорится, умнее деревенского парня.

— Ну, об этом ты не разговаривай так-то, — вступился Исай Фомич. — Тварь, так она тварь и есть, а человек человеком во всю свою жизнь остается. А я тебе вот об чем захотел сказать: облюбуй ты мне где-нибудь самоварчик получше, везде ты ездишь, везде ты все знаешь.

— Самоварчик? Какой самоварчик? — испуганно осведомился Язва и даже с места приподнялся немного при этом слове.

— А просто самоварчик, из которого господа, купцы и опять иные, ваша братья, мещане чайку пьют. Вот что!

— Да это ты что же задумал-то? — укоризненно переспросил Язва. — Да ты... да тебе бы не в пример лучше опять бы тово... по-старому... водочки бы...

— Ну, уж это дело наше...

— А коли захочешь чайку попить, — навязчиво советовал Язва, — так пошел бы к попу али бы к целовальнику (у вас целовальник богатый), дал бы им двугривенный, они б тебе на целую неделю самовар отпустили.

— Свой захотел купить, — мрачно опровергал Исай Фомич возражение противника.

— Слушай, Исай Фомич! Люблю я тебя, ей-богу, все равно как отца родного. Право, люблю. Говорю тебе: за какое дело ты примаешься? Разве крестьянское дело самовары покупать? Опомнись: ведь ты хошь и старшина и богатый, а все же ты мужик.

— Ты не толкуй, а ты лучше, как я тебе сказывал, облюбуй мне самовар где-нибудь по зна-

комству, чтоб знал я, что меня не обманывают, что хороший то самовар, а не какой-нибудь.

— Ни-ни! — упорствовал Язва. — Опомнись! Я тебе в этом деле не слуга, покупай сам. Ты лучше скажи мне: Язва, мол, сними с неба звезду, я тебе ее, сейчас умереть, в скором времени предоставлю, а самовар сам покупай.

— Чудак!—откровенно воскликнул Исай Фомич. — Как же я сам буду его покупать? Ведь ты что сказал сейчас? Ведь ты сказал, что я мужик. Так оно и есть, и, конечно, что денег у меня, может, поболе твоего, а все же я охреян. Моих ли рук дело самовары покупать? Ну, куплю я его, а у него, может, машину какую купец сворует, винт какой-нибудь отвинтит... Скажет купец: где ему, мужлану, все это разглядеть? Дай-ка, скажет, я этого мужлана пожарче самовара нагрею. Опять же и стыдиться я здорово стану, когда буду покупать его. Вона, вона, загорланят, мужик-то чаю захотел. Должно, заорут, на старости лет белены объелся, на молодой девке обженился. А в селе-то что пойдет?.. Ну-ка, скажи?

И при этом старшина тоскливо махнул рукой, поломавшей на своем веку пропасть всякой работы и совершенно бессильной в таком малозначащем деле, как покупка самовара.

— Это точно! — задумчиво согласился Язва, намереваясь раздобыть у хозяина еще сколько-нибудь взаймишки. — Позорить и шугукать над тобой здорово будут галманы-то ваши...

— И разговаривать про то нечего! Захают совсем. проходу не будут давать. Смотри, хошь ты-то не выдай.

— Эва, что выдумал? — даже с некоторым негодованием воскликнул Язва. — Я-то выдам? Тебя-то? Первого друга-то?

— То-то, то-то, гляди! На дне моря найду. А самовар, Христом-богом прошу, купи, — купи такой самовар, чтобы все энти машинки, крантики, винтики, чтобы все до одного были целы, чтоб он ясный был, большой, толстый...

— Ну, когда так, нечего делать с тобой, — с отчаянной решимостью согласился Язва. — Не могу тебе ни в чем отказать. Пошли еще безделицу водчонки, — полштоф, что ли, али там сколько знаешь; а я тебе тем временем расскажу, какие у меня есть на примете ахтительные самоварчики.

— Такой я знаю самовар у бабочки одной дворовой, — начал Язва свою повесть, — такой самовар прелестный — страсть! Прямо сказать, не очень-то он велик, но зато аккуратен, ах, как аккуратен! Он у ней всегда стоит в горнице, на лежанке — и чаю-то она никогда не пьет, потому орудовать им она не привыкла, а так он у ней для красы стоит, и уж истинно, что он один все вдовье убожество этой горницы скрашивает. Такая от него светлынь прет, словно бы от жар-птицы какой!..

— Ну что же? Вот ты его и огляди попристальнее и скажи мне, а там вечерком когда-нибудь, чтобы люди не видели, вместе к той бабочке съездим и купим, ежели в руку пойдет.

— Не продаст она теперь, баба-то эта... Амбиции теперича она большой предалась, стерва этакая!..

— Что так?

— Да видишь дело какое: тетка у ней нищенка была. Лет тридцать она по большим дорогам шаталась, у проезжих милостыньку выпрашивала, а недавно вот взяла и померла. Померши-то,—кто бы об этом подумал?—одними бумажками оставила своей племяннице десять рублей на серебро. Вон она? Слышь? Десять рублей бумажками, да две шубы, да семь рубах, да тулуп, — словом, теперича эна какую гору добра предоставила. А племянница, добро-то как получила, сейчас же и говорит: я, говорит, в город еду чай покупать, потому как я теперича богачка, так стану, говорит, я денно и нощно чай пить. Вишь, бабий-то разум глупый какой!

— Известное дело: волос долог, да ум короток, — добавил Исай Фомич. — Так, значит, теперь того самовара не укупить у ней?

— Нет, оно, Исай Фомич, отчего бы не укупить? Укупить бы его сразу можно, потому деньги теткины она давно уже все проерыжничала, да ты взглянь, какая история случилась: поставила она его однажды в сенях, а сама вздремнуть привалилась. А мальчишки давно уже добирались до этого самого самовара, — рассмотреть им хотелось, что это за чудовище... И вот, как только заснула тетка, сейчас же один пострел хвать за кран, отвернул его, а из крана горячая вода цап ему на руку. Тот драла, орет, — обварил его кипяток, — гурьба за ним, кричат: Афоньку Аринин самовар укусил. Когда вытекла вся вода, жар-то и пошел писать, да вот как расписался, что не токма самовара, а и усадьбы-то всей словно бы на том месте

никогда и не стаивало. Ведь вот какая шельма— бабенка-то эта! Поди-ка, укупи у ней что-нибудь, у ведьмы, не токма что такой самовар прелестный!

— Ну, это теперича покончено, — угрюмо заметил старшина. — Может, другого где не наметил ли?

— И другой заметил, Исай Фомич! У нас их много, самоваров-то этих окаянных... Только шельмы же они — эти самоваришки! Дай-ка я еще стаканчик хлебну, — приставал уже совсем опьяневший Язва.—Я тебе про их про все расскажу: их ныне страсть сколько развелось. Да вот чего тебе лучше? Купи у Кривецкого целовальника, он бы тебе — я знаю беспременно — за пустяки уступил свой самоварище, как боров какой толстый, смотреть на него страшно, потому весь он от нечистоты зеленый сделался, словно бы только его из тины болотной вытащили.

— Да это что, что зеленый! Это сейчас кирпичом можно его очистить, — хвалился Исай Фомич своим уменьем обращаться с самоварами. — Лишь бы подешевле продал его целовальник.

— Целовальник-то сам, я тебе по-божьему сказываю, друг, вот уже шесть годов как помер, а теперь у него жена осталась, так это дело с ней нужно обделывать. Ах! мудрены тоже эти бабы, бог с ними! Трудно с ними нам, мужчинам, возжаться-то! Я тебе, Исай Фомич, хочешь, вот про эту самую целовальничиху расскажу, как после мужа-то довелось ей солдатика одного конного полюбить. Любил-любил он ее так-то, возжался-возжался с ей, с дурой, и ви-

дит, что нечего с ее взять, а ему надо беспременно что-нибудь с ей получить, пытаму всей этой коннице поход сказали, вот он думал-думал, — воин-то храбрый, — думал-думал, сказываю, да однажды с конем совсем к кабаку и подъехал. Пика эта при нем находится, и сабля, и всякая оружия. (Боятся бабы оружия-то — страсть как!) Только входит кавалер в кабак и говорит: что же ты, говорит, такая-растакая, дашь мне что-нибудь на дорогу, али нет? Целовальничиха ему в ответ: что же, говорит, я тебе могу дать, кавалер любезный, акромя как моей *страшной* любви? Он ей и говорит: нет уж, будет. Лучше же, говорит, я вот самоварина этот с собой зацеплю. Сказал и зацепил, — сейчас же на лошадь его — и был таков. Целовальничиха ах да ох, — собрались мужики, стала она упрашивать их, чтобы догнали разбойника, штоф водки обещалась поставить, а лошадь солдатова все им задами-то по глазам, все задами-то — пыль великую подняла даже, — так в пыли этой солдатик и скрылся... Вот какая история чудная!

— Где же теперь самовар-от этот? — полюбопытствовал Исай Фомич.

— Самовар-то? А кто его знает, борова толстого? Может, он теперь с солдатом ездит, да где же солдату его возить за собой? Продал кому-нибудь солдатик тот самовар, — стоит он теперь где-нибудь, а где стоит, чорт его знает. Они ведь тоже, самовары-то эти, не хуже людей здоровы странствовать-то!..

— Так, значит, и этого самовара нельзя купить? — грустно спросил Исай Фомич.

— Отчего же? Может, он вблизи где-нибудь,— может, его солдатик-то в первом кабаке пропил?

— А ты почем это знаешь?

— Все это я, как я теперича тебя полюбил, все это я тебе разыщу, только хошь эстолько пошли мне водчонки, — сказал Язва, указывая на самую малую часть своего ногтя, имевшую обозначить, сколько именно требовалось ему водчонки от угостительного хозяина.

Решился, должно быть, Исай Фомич во что бы то ни стало добыть себе самовар и вследствие этой решимости сейчас же раздобыл еще водки для прощалыжника-мещанина, а прощалыжник снова запел:

— Опять еще: поп один у меня вдовый, приятель есть, страсть какой приятель пресладкий! Молодой еще поп, из ученых; а вот поди ты, третий год уже вдовеет. У него тоже есть самовар, — вот так самовар, ты такого и не видал совсем, — весь в узорах и не пузатый, как везде, а в роде кувшинчика, ему один приятель из Москвы прислал. Меня уже стряпчий наш подсылал к тому попу: не продаст ли, дескать? «Жизни лишусь, — сказал поп, — а самовара не продам, потому, говорит, у меня на сем свете два друга только и есть: книжка, говорит, да самовар»... Чуден тоже: нашел друзей! А? Говорят, это он после жены, маленечко того... Тут вот у него, в голове-то, треснуло что-то, вот он, сказывают сельские, по ночам по летним откроет окно, поставит на него самовар, усядется сам около него, либо с книжкой, либо, чаще, с гитарой — и пойдет... Самовар гулкий такой

на кипенье, ровно бы голубище какой азартный весной около голубки воркует, а поп себе на гитаре заливает. И говорят, что в безумии-то эфтом играет он по ночам не из одного божества, а и другое кое-что... из светского, говорят, иногда играет... Только все больше жалобное, так что хаживали прежде мужики с бабами слушать его, а потом перестали, потому, сказывают, сердце уж оченно ломит, когда смотришь, как это он, бледный такой, играет и плачет, играет и плачет... И нет-то около него ни единой души, только лишь одна тишь страшной полночи божьей да самовар, как бы живой человек в этой тиши, шушукает, словно бы разгоняючи своим шопотом великое хозяйское горе... Вот он какой поп-то, горемычный! — сказал Язва после некоторого молчания и затем прибавил: — Прощенья просим, Исай Фомич! Покорнейше благодарим на угощенье, на ласковом слове.

— Так как же мы насчет нашего-то дела? Посидел бы, еще бы потолковали, как тому делу быть?

— А это уж после, друг любезный, когда-нибудь. Теперича у меня у самого маленькое делишко завелось, благо до города недалеко от вас. Там ведь у меня в городе-то жена есть — шельма, приказные к ней шатаются, солдаты, сволочь всякая, так я ее тово маленько... прикаторшить ее надоть, шельму. Давно уж я ее, анафему, не каторшил. Совсем каторжная завихрилась бы, ежели бы я ее по времени не колотил, как тварь какую-нибудь нечестивую... До свиданья!

Скоро, однакож, чрез посредство более деловитого и менее пьющего, нежели каким был Язва, человека Исай Фомич приобрел себе самовар со всеми, как он говорил, машинками, крантиками и винтиками. Посылал старшина за самоваром на его прежнее местожительство нарочную пароконную подводу, которая привезла его в громадной сосновой кадушке, наполненной соломой и хлопьями; а работник и работница, принимая с телеги привезенное сокровище, с сдержанным и как бы благоговейным шопотом, говорили:

— Примай, примай, Марья, под бочки-то! — шептал работник.

— Подхватывай, подхватывай, сам-то. Не выскользнул бы, — вишь пузастый да склизкий какой... Какие теперича распорядки по двору у нас пойдут? Старые, что ли, останутся, али на господскую стать начнут ломить? Бог ее ведает, — тоскливо спрашивала работница, всею душою своею, а не только что одними руками вцепившись в дорогого гостя.

— При с господом! — закончил работник уже в сенях, — и скоро после этого закипел самовар.

С изумлением и даже с испугом всматривалась мужицкая изба в светлое брюхо невиданной машины, которая нахально взляпалась на большой обеденный стол и шумела на нем так же гневно и вместе с тем так же безалаберно, как шумит в своем одурелом купецком семействе какой-нибудь дуролом-хозяин.

«Я вас теперь! — металлически погаркивает самовар со стола на молчаливые стены избы. — Все у меня теперь иначе пойдет: самой малой

безделицы от всех этих мужицких распорядков здесь не останется. Иные распорядки мы с Исаем Фомичем в городе заводить примемся. Д-да-с!»

Гаркал такие непристойные слова самовар, и в тишине избы, наполненной предвечерними сумерками, звенели эти слова так, как бы вылетали они из уст живого, насмешливого человека, который во все горло смеется над каким-нибудь приятелем, имевшим неосторожность столкнуться с ним на тесной житейской дороге.

И живые существа избы тоже присмирели вместе с нею. Работник с работницей молчаливо стояли около печного устья, жалобно подперши руками подбородки и устремивши все внимание на крикливо звонивший самовар; старуха Исаиха вздыхала около коника, вытаскивая из него чашки и блюдечки, которые как-то страдающе дребезжали в ее руках, трясущихся при виде непривычного дела; сам Исай Фомич сидел в переднем углу, опершись руками об стол, и думал:

«Господи! Все ты, батюшка, видишь и над всем ты назришь. Для себя ли эдакое неподобное я затеваю?.. Все для ней — для детища моего единокровного — затеял я это... Хошь бы она — дитятко мое милое — наших трудов крестьянских не знала, как мы с старухой, ее лелеючи, кровь свою лили, чтобы ей во всю свою жизнь не отведать... Аминь!..»

«Милости просим теперича, сваты любезные, гости дорогие захожие, — продолжал старшина свою сладкую думу. — Хошь от купца богатого жалуйте, хошь от господина чиновного, — теперь у нас все есть; а то ведь вы нашей сиволапой

братьей брезгаете. Говорите вы, минуючи нашу братью: у него — у лешака сивого — и самовара-то нет... Приходите теперь, мы теперь, для вашего удовольствия, и самоварину завели...»

Думал так-то Исай Фомич, а толстый самоварина раскалялся все пуще и пуще и гаркал все нахальнее и нахальнее — из его широкого горла валил густыми клубами дым с угарным запахом от непрогорелых лучин, а из узорных прорезей нижней решетки ослепительно ярко глядели раскаленные угли, которые в окончательно накрывшем избу мраке легко могли бы быть приняты за белые зубы человека, хохочущего над бедным ближним, мечтающим о том, что вот-таки, наконец, он поймал свое, так долго и безуспешно преследуемое, счастье...

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Много ли, мало ли времени утекло после покупки самовара Исаем Фомичем, только покупка эта кончилась вот чем.

Одним летним вечером на балконе зеленоголового дома градского головы, который так назойливо бросался в глаза селу — месту деятельности и власти Исая Фомича, на этом, говорю, балконе собралось обыкновенное уездное общество. Были тут эти неизбежные, потертые лица судьи, стряпчего, учителя уездного училища с небольшою бородой и головинского товарища-купца, какой-то пристеги-приказницы, принимаемой ради вдовства и убожества, и дальнего родственника, отставного военного кандидата, давно когда-то, когда еще ныне богатый голова по роду своего происхождения состоял на рекрутской очереди, нанявшегося за него в охот-

ники, — сидели, говорю, эти лица на балконе за чаем — и все они с одного разу затемнялись величавой фигурой старой, седой головихи, которая учила только что пришедшую в дом молодую невестку, как следует обращаться с самоваром.

— Ну, ты, мужланиха! — бубнила сердитая старуха на расконфуженную в прах молодую.— Прикрой его крышкой-то, али у тебя руки отболели? Ведь ты эдак-то нас всех переваришь, да и самовар-то распаяется. Не стоишь ведь ты самовара-то, деревенщина.

Молодая терпеливо печет белую, трясущуюся от испуга руку, стараясь плотнее прикрыть самоварное жерло, пышащее яркими и дымными искрами.

— Вот не было печали, черти накачали! — продолжает ведьма. — Отдавали купцы, отдавали господа, чиновники отдавали, нет! полюбилась мужичка: ни ткать, ни прясть, ни початочки мотать, а не то чтобы насчет политики что... о-о-хо-хо! Вот оно и верно выходит, что старые-то люди сложили: полюбится сатана, лучше ясного сокола! Ступай уж лучше, дура, отсюда, — не твоей, дура, губе с господами компанью вести...

И так как головинская молодая была дочь Исая Фомича, то мир давно уже его сместил из старшин, потому что Исай Фомич в скорости после выдачи дочери замуж по-старинному принялся за винцо. И чем более проходило времени после замужества его дочери, тем он лютее и лютее накидывался на винище, тем чаще и чаще стали видать его в кабаках.

Отвыкши в свои хорошие дни от всякой лишней компании, и теперь он, даже и в кабаке, все больше один как будто с полуштофом зеленым разговаривает:

— Дочка! дитятко мое золотое! — часто восклицает он со слезами, находясь в подпитии. — Ведь я думал, *там* тебе лучше будет, ведь я для этого только и купил его, разбойника!..

1864

ГАЗЕТА В СЕЛЕ

I

У почтовой конторы, в городе Черная Грязь, стояла мужицкая телега, около которой суетились сам хозяин телеги (обтерханный такой мужичонка с рыженькой, клочковатою бородой и с каким-то необыкновенно испуганным лицом) и почтамтский сторож, отставной унтер-офицер, с большими седыми усами, серьезный и повелительный старик. Он сердито покрикивал на мужика, помогая ему взвалить на телегу какой-то большой тюк, пуда в два.

— Ну, ну! — командовала военная кость. — Чего стал? Наваливай, наваливай! Что же, в самом деле, сам я, что ли, стану вместо тебя это дело делать?

— Ослобони, бога для, милый человек,—умолял мужик. — Сейчас бы мы с тобой дернули за это по махенькой, вот те Христос, дернули бы!

— Поговори! — прикрикнул солдат, и тюк грузно упал в телегу. — Тут, братец, никакая махенькая не поможет. Вези, как приказано. Слышь: не забудь, как тебе его высокоблагородие господин почтмейстер наказывал говорить: так и так, мол, Архип Петрович! Милость, мол, вам большая вышла. В самой Москве, мол, узнали про вас господа сенаторы и вот, мол,

газету вам шлют. Почтмейстер, мол, оченно вас с такой милостью проздравляют... А что ежели ты, шельма, мне про питье энто говоришь, так ты мне деньгами сейчас подавай, потому как же иначе-то?.. Так вот вынимай же и помни. Слышь?

— Слушаю! — печально откликнулся мужик, усаживаясь в телеге как можно подальше от тюка.

— И избави тебя боже потерять али бы так иначе попортить, — беда! — все строже и строже внушал солдат. — Тут весь свет описан... Моря опять... Ты скажи: маленькие они, моря-то, али нет?..

— О, господи! — мысленно перекрестился мужик. — Где им быть маленьким?

— Пытаму, ежели ты *ево* потеряешь, рази ты можешь другую такую же сочинить, а?

— Где уж?

— То-то же! Марш!

— Нн-у, тр-рогай! — в свою очередь скомандовал мужик послушной лошади, и телега тронулась. Солдат счел своим долгом постоять на крыльце конторы и посмотреть, *как* именно поедет таинственный тюк.

— Смотри же, сберегай! — еще раз крикнул он с крыльца. — Как можно сберегай, — все силы...

— А я вот его свитенкой прикрою, — торопливо ответил мужик издали, — чтобы он не тово... Чтобы он как-нибудь... бог е ведь знает...

— Прикрой, прикрой, — согласился унтер. — Оно лучше будет так-то, сохранней! — Потом он тихим шопотом прибавил: — Скажи, пожалуйста: народец какой, а? От самих господ

сенаторов не хотел посылки отвезть. Я, говорит, боюсь, как бы мне не проштрафиться... Экой народ необразованный, право!

— Вот напасть! — толковал тоже и мужик уже на дороге. — Что ежели она пропадет?

И вслед за тем он пристально осмотрел окрестные поля и дорогу впереди и назади, приподнявшись для этого на телеге во весь рост, а потом перекрестился, завернул роковой тюк в свою свиту, твердо сел на него и принялся есть зеленый, словно бы из кирпича сделанный, с конопляным маслом, калач, прихваченный им в дорогу *для скуки* на городском базаре...

II

Через час уже мужик ехал широким-широким полем. В нем совершенно терялся и сам мужик, и его лошадь, и телега. Словно муха ползли эти три существа по тугой дороге, между кособокими вешками, густыми хлебами — и ни эти хлеба и вешки, ни раскаленное небо, ни ослепительно-яркое солнце, никто и ничего не подсказывало мужику, что это такое везет он; а он все думает, все это он упорно всматривается в горящую полдневным пожаром даль, не покажется ли там кто-нибудь, кто бы сказал ему, что это такое именно. Зеленый калач пришел к концу, — ничего не осталось делать, как только сидеть и думать, думать и пугаться. Тоска!..

— Надо полагать: штрафные это какие-нибудь? — наконец предположил мужик. — Но-нича это пошли все штрафы... Беда!

«Это точно!» — тосковали сожженные солнцем хлеба, деревья и травы.

— А, может, и другое что? — продолжалась мужицкая дума тоскливая. — Может, и набор какой, ведь оно не узнаешь.

«Как узнать! — соглашались хлеба, деревья и травы. — Простому, слепому человеку про это никак невозможно узнать».

Но не слышит мужик этих голосов тайных, которые редко кто может слышать. Все молчит около него, — и едет он — и тоскует, и думает, что как бы в селе на миру, чего доброго, не притаскали его за такие дела всем миром-собором.

— Тут как раз на поронцы наскочишь, да еще, пожалуй, полведра велят ставить. Нонича на этот счет осторожно!..

Но вот впереди показалась небольшая партия солдат, с ружьями, тяжелыми ранцами, в расстегнутых шинелях, в красных ситцевых нагрудниках, толсто подбитых ватой. У редкого из них не было в руках гармоники, а один из партии так даже играл *барыню* на самодельковой скрипке и в то же время, несмотря на страшную жару, бойко подплясывал. При виде этой веселой группы у мужика немного отлегло от сердца.

— Эй, земляк! — вдруг заговорил скрипач, подбегая к телеге.—Как тебя звать-то? Я забыл...

— Был Лука!

— Я так и думал. Купи, Лука, трубку у меня. А? Вот так трубка! Вся она из цельного азиятского камня сделана, а достал тот камень со дна морского один арап, с него после всю шкуру

содрали, потому он был кошшунник, которые, знаешь, может, кошшунствуют какие.

— Ах ты чорт! — похвалили скрипача товарищи, усаживаясь в телегу к Луке. — Он у нас, дядя Лука, шутник, только злости в нем нет. Ты его не бойся, нас кстати подвезешь.

— Вы вот что, ребятушки царские слуги, — сказал Лука. — Вы проходите лучше, а то совсем пристанет у меня лошаденка. Где мне вас одному поднять, тут, может, три подводы нужны.

— Ну, ну, ничего! Мы слезем, ранцы-то вот хоть нам успокой.

— Ранцы клади, ребята; а сами так сторонкой идите, потому есть тут у меня в телеге сигналы такие казенные.

— Какие такие сигналы? — живо спросил скрипач.

— Навалил там в городе, а какие не знаю. Наказали беречь. Надо полагать, что какой-нибудь штраф али бы што...

— Дай-ка я взгляну, что там такое у тебя, — вызвался скрипач, и вслед за тем он растормошил свитку, скрывавшую тюк, важно наморщил брови и по складам прочитал наклеенную на нем надпись: «газ-з-е...».

— Ребята! Бежи в поле, — вдруг вскрикнул грамотей. — Опасно...

Солдаты стремглав прыснули от телеги, а скрипач продолжал, обращаясь к Луке:

— Так ты не знаешь, что это?

— Да кабы знал...

— Давай полтинник и благодари бога, что я случился тут...

— А что?

— А вот что: не будь тут меня, сейчас бы тебя, может, в мелкие куски растерзали, — *энти*-то! Ты этого не знал? Доставай деньги проворнее, а я покуда побегу корни рыть.

Мужик начал развязывать большой кожаный кошель, висевший у него на шее; а солдат принялся пристально осматривать местность и говорил:

— Где теперь найдешь этот корень? Он прозывается корень *дражнилка* — шиш ему в рот! Только в полдень его и отыщешь.

И партия, и телега остановились. Все ждали. Завязался такого рода разговор:

— Чорт! — говорил наставительно солдат Луке. — Ведь *она* живая...

— Кто?

— Да эта-то, что ты везешь-то! Ведь *она*, леший, одного, што ль, тебя загубила, а? Ведь вон тоже в Хирсонской губернии случай мне выпал повидать, как одному такому-то навязали, так ведь он беситься стал. Семь его монахов, может, пятьдесят зорь на страшной свече отчитывали, эдакую тяжелую книгу всю от доски до доски над ним прочитали, а он все пуще и пуще бесился, — всю печь в избе съел. Сидит и жует глину-то, и говорит: я теперь енарал стал... А какой он енарал? За какие баталии енаральство получил?

Лошадь одиноко стояла посреди дороги с уныло-понуренной мордой, потому что и сам Лука убежал при последних словах чародея от телеги к солдатам, расположившимся на отдых на дорожной насыпи, а чародей неумолчно толковал:

— Ведь вот теперича что будешь делать? — спрашивал он, горестно размахивая руками. — Ведь вот есть тут всякие травы: вот тебе богатырь-трава, вот ониськин узел, вот тебе слеза каменная, а корня дражнилки нет. Ищите, ребята, все Христа ради, — он толстый — корень-то этот, — я их видал не мало на своем веку... Наш-ш-ол! Теперича не бойся, Лука! Отсчитал деньги-то?

— Отсчитал!.. — ответил Лука.

— Ну, получай с богом. Всего луччива... Его тебе, братец, надолго хватит...

— Как же мне им орудовать? — спросил Лука.

— А вот видишь как: вот ты поедешь, а *она* тебе сейчас приставляться начнет в разных видах. Белая такая сделается и будет тебя издали дразнить всячески, — перекидываются они иной раз в скотину какую, пишшаньем пугают, скачут тоже перед очами-то, словно бы козлы рогатые али бы нечистые... Только ты все не бойся, — все иди, все иди и, как тебе подойдет десятая верста, ты сейчас же не давай маху-то, а прямо этот самый корень, как можно крепше, вгоняй себе в живот, а сам приговаривай: Иван, мол, царевич! Приходи, мол, ко мне во терем песни играть. Вот тебе и все! Н-ну, с богом! Счастливо оставаться.

— Прощайте, солдатушки! Спасибо, что выручили, — прощался Лука, понукая лошадь, которую очень разморил полуденный зной.

— Но! Но! Волк тебя заешь, — стращал он своего меренка, которому, видимо, хотелось еще постоять на теплом месте и отдохнуть.

— Смотри, брат, — еще раз крикнул солдат издали. — Будь осторожен. Видишь, уж начинается, — видишь, как *она* лошадь-то попридерживает. Это завсегда так бывает. Переложи-ка получше промеж ноздрей меренка-то, изловчись да чесани его хорошенько, *она* тогда, может, на минутку и посократится...

III

На другой день ранним утром, едва-едва только успело пройти в поле крикливое сельское стадо, а уж дьячок и исправляющий должность наставника при училище в селе Разгоняе сидел в переднем углу своей новой горницы, облокотившись на стол руками, и во что-то пристально вдумывался. Подле него, с самым тревожным видом, стояла дьячиха. Время от времени они таинственно о чем-то перешептывались.

— Так как же? — спрашивала дьячиха.

— Да как? — отвечал муж. — Я, ей-богу, не придумаю, — всю ночь глаз не сомкнул. Хорошо бы, если бы эдак было: ехал, примерно, какой-нибудь большой чиновник через наше село, узнал про мое рвение и донес по начальству; а начальство в виде награды и дальнейшего поощрения и выслало мне *его*... не в пример прочим, — понимаешь? Так-то бы хорошо, а то, пожалуй, распечатаешь, а *она* тебя сейчас: лишить его, скажет, и дьячковского, и наставнического места! Чудна ты, погляжу я на тебя, как это ты ничего не понимаешь: ведь *она* вся, как есть, печатная... Ну, будь, что

будет! Бог не без милости! — проговорил наконец дьячок с отчаянною решимостью после некоторого молчания. — Давай умываться да посылай за полштофом. Нечего, верно, делать-то, потому тут вникать надо...

Дьячиха, всегда противоборствовавшая посылке за полштофами, на этот раз с видимой охотой зазвонила ключами и принялась, секретно уткнувшись в длинный зеленый сундук, отсчитывать пятаки и гривны, потребные для приобретения полштофа. Дьячок между тем, успевший уже умыться и с особым усердием помолиться богу, облачился теперь в праздничное полукафтанье и потом снова уселся в передний угол, где вместе с различными церковными принадлежностями, как-то: требником в переплете из толстой черной кожи, закапанной воском, — бутылкой с деревянным маслом, смиренно притаившейся в самом темном уголке, — вместе, наконец, с узлом ветхих риз, вышедших из употребления, лежал и вчерашний тюк, который с такою опасностью для своей жизни притащил к нему из города Лука. Над всем этим любопытно свешивались с домашнего иконостаса прошлогодние вербы, красные святовские яйца в вырезных из разноцветной бумаги вяхирях и пучки разных высохших цветов и благовонных трав, которыми старшая дьячковская дочь с таким искусством и любовью убирала домашние иконы. Сидел дьячок на своем хозяйском, насиженном месте и тревожно думал: чем все это кончится? А в окно уже начали западать первые лучи восходящего солнца, и так ярко осветили они перед ним его светлую, новую

горницу с ее незатейливыми удобствами, с ее добришком, копленным целые тридцать лет, что все это показалось хозяину несравненно дороже того, чем на самом деле было, и он еще пуще задумался.

«Что ежели в самом-то деле, — мелькало в его голове, — распечатаю, а там скажут: а дьячок села Разгоняя за грубость и за пьянство посылается в монастырь на полгода на послушание, и впредь его никуда не определять».

Толстый тюк смотрел на него в это время и насмешливо, и сердито за один раз.

— Матушка царица небесная! Спаси и помилуй! Не для меня, а детей малых ради!

— На вот! — сказала наконец дьячиха, ставя на стол полуштоф. — Только, ради бога, муж, гляди, не очень чтобы часто прикладывайся к нему...

— Такой ли случай? — вскрикнул дьячок. — Не больше как для прочищения мозга хочу выпить, а она про прикладыванье...

Тут он, благословясь, хватил большую чайную чашку водки, крякнул и принялся осторожно разрезывать рогожу, в которую был упакован тюк. По долгом и тщательном обделывании этого дела, оно наконец, как и всякое дело, кончилось: все веревочки обрезаны, рогожа и толстая холстина облуплены, и ждущим глазам дьячка представился объемистый пакет с палатской печатью и с такого рода почетною надписью: «Господину исправляющему должность наставника Разгоняевского сельского училища, почтеннейшему клирику Архипу Вифаидскому».

— Вот так-то! — с чуть заметной улыбкой и чуть слышно проговорил чтец. — Господину исправляющему должность наставника и почтеннейшему клирику! Из самой-то губернии!.. Дождись-ка, поди, другой кто. Н-ну-с! — почти уже совсем отдохнув, произнес он, наливая еще водки в чашку. — Распечатаем с божией помощью.

«Достоуважаемый г. наставник! — значилось в самом пакете.—Европа исстари смотрела с завистью на наше пространное отечество... его неисчислимые богатства... а также и всеобщее рвение к просвещению, которое в нынешнее время, когда и проч. А посему, надеясь на ваше просвещенное внимание, прилагаемые при сем экземпляры «Столичных Ведомостей» всеми зависящими от вас средствами и проч. Затем, навсегда есмь ваш и проч.».

— Гм! Что ж такое? Это дело не грешное! — проворчал дьячок с немалым достоинством, расположившись к нему величественным и вместе с тем в некотором роде даже почтительным слогом письма. — Налей-ка мне, жена, еще безделицу винца-то. Надо тут ум да ум...

— Смотри ты, — умоляла жена. — Не много ли? Будь ты, ради Христа, осторожнее. Про детей вспомни... На кого их оставишь?

— Отстань! Видишь ли, что тут печатью изображено? Прочитай, ежели разберешь: «господину исправляющему должность наставника» и пр., и пр. «Архипу Вифаидскому». Д-да-с! Ведь это печать, а не скоропись. Постигни!

— От кого же это?

— А уж это не твоего ума дело. С тобой ежели до гроба разговаривать об этом, так ты все-таки не поймешь ни словечка, потому что тут вся наука, — и при этом дьячок самодовольно щелкнул пальцем по «Столичным Ведомостям».

Дьячиха обиделась за этот разговор и, желая в то же время доказать супругу свою понятливость, спросила: «Война, что ли?»

— Ну, с тобой не сговоришь, — сказал дьячок. — Поди-ка ты, лучше, пошли работника в училище, чтобы он сказал там: ребятишки, мол, ступайте по домам, — ныне ученья не будет, да чтобы отцы беспременно сейчас к моему дому собрались — бумагу из губернии слушать. Беспременно чтобы собирались, а то, скажи, беда им будет. Учитель, мол, за непослушание в губернию отпишет.

Скоро вслед за этим распоряжением по улице звонко разнесся оглушительный гам юных питомцев Архипа Вифаидского. Быстро разбегаясь по улицам, одни из них безмерно-радостно вскрикивали: «Ученья нет! Ученья нет! Ноне мастер праздник сделал», а другие, сознавая важность возложенного на них дьячковским Кузьмой поручения, усердно орали:

— Собирайтесь к нашему мастеру бумагу из губернии слушать. Из самой губернии та бумага пришла...

— Она вчера дяде Лукашке совсем как живая являлась... Он ее вез в телеге, а она вырвалась от него да к дьячку-то пешком и пришла...

— Что врешь-то?

— Нет, я не вру. Это ты все брешешь-то, — и маленькие кулачишки загуляли. Большая суматоха пошла по селу, когда матери выбежали разнимать сразившихся ребятишек. Только одна улица не меняла своего обыкновенного, унылого вида: стояла она, по-всегдашнему, безмолвная и печальная, и тому, кто слушал, грустно шептала:

«Господи! Хошь бы ребятишек-то моих дьячок отучил полыскаться ни за што ни про што!.. Да где уж ему? Радость такая долго, поди, моего сиротского лица не украсит!..»

IV

Если не море, так по крайней мере целое озеро лысых и косматых голов волновалось у дьячковского высокого крыльца, изукрашенного узорчатыми перилами и роскошно прикрытого свежей, гладко причесанной соломой. В растворчатые окна дома толпа ясно могла видеть, как дьячок стоял перед зеркалом и расчесывал большим костяным гребешком свои длинные волосы.

— Зачем повещали? — спрашивал у всей толпы зараз седой сгорбленный старик. — Ко мне внук прибежал, говорит: иди скорей, дед, к дьячкову дому, а то беда будет.

— Говорят, книжка какая-то из Питера пришла, и будто та книжка живая. Выведет ее дьячок к нам, а она сейчас скажет: здравствуйте, ребята! Садись-ка все да учите меня. Всех будет учить.

— Что ты?

— Ей-богу! Она уж про все про это с Лукашкой толковала, когда он ее из города вез. Ты вот спроси у его.

А Лука между тем, осажденный со всех сторон тысячью вопросов, решительно растерялся.

— Что же она тебе, как являлась-то? Ты расскажи: говорят, она пишшаньем пужала тебя?

— Нет, про это что грешить. Пишшать не пишшала, а так это быдто белое что-то завиднелось под вешкой, только я вспомнил, как мне солдат говорил, так сейчас же и сделал. Оно тут же и разошлось.

— Как же она расходилась?

— А так все эдак кверху, кверху, ровно бы турман, только не в пример больше будет турмана-то...

— И руками махала?

— Махала тоже и руками, — удовлетворял Лука. — Жалостно эдак махала, прощалась бы што ли с кем...

— Смотри, парень, не околей! — предположил кто-то в толпе. — Это она с тобой, знать, прощалась-то.

— Ну, я на этот счет спокоен, потому у меня корень. Еще у меня его много осталось.

— То-то, ты гляди, — вспомни... Ведь у тебя, парень, робят много.

— Идет, идет! — зашептала толпа и притаила дыхание, а в дверях показался дьячок, с важно наморщенным лицом, с листом в одной руке у груди и с огромною связкой каких-то бумаг в другой.

— Вона, вона их сколько! — послышалось в толпе. — Подсобите подите: рази не видите, чуть держит.

— Она, она! — внезапно чему-то обрадовавшись, прошептал Лука. — Как есть она! Я ее сразу узнал.

— Тише ты, леший! О чтоб тебя!..

И воцарилось молчание.

Дьячок обводил толпу строгими и даже как бы наказующими глазами. Все замерло окончательно.

— Что это он сердитый какой! Когда это с ним бывало?

— С несчастьицем, должно, с каким-нибудь!..

Послышалось сдержанное женское всхлипывание.

— Православные! — громко вскричал дьячок. — Вот смотрите, что мне пишут из нашей губернии и что из столицы.

При этом он отрекомендовал народу и присланный лист, и столичную связку.

— Мы на это не согласны! — возразил некто Григорий Петров, сапожник и первый запевало на сходках, но тут же был остановлен всем миром.

— Тише, тише! Что ты, оголтелый, в экую пропасть суешься?

Григорий Петров благоразумно юркнул в середину, всхлипывание баб раздавалось все громче и громче, а дьячок властительно продолжал:

— Пишут мне, видите как — не скорописью. а печатью: господину исправляющему должность разгоняевского наставника, почтеннейшему клирику Архипу Вифаидскому.

— Вот так-то! — позавидовал кто-то дьячковским титулам.

— Пишут так: исстари Европа... а посему внушите мирным селянам вашего прихода, дабы... потому что умственная пища... потому что лекарство душевное... и так как тьма и вообще недостаток просвещения... а посему к искоренению... употребить все меры. Поручаю себя и всегда есмь и проч... Поняли? — спросил дьячок, прочитавши лист.

— Как не понять...

— Изъявляйте желание и несите деньги.

В толпе поднялся глухой гул, над которым царствовал тонкий плач бабы. Григорий Петров снова выступил вперед и торжественно произнес:

— Мы на это не согласны!

— *Она* вон, Лукашка сказывал, учить нас всех поголовно сбиралась, — дружно поддерживала толпа Григория Петрова.

— А когда нам учиться-то, сам, небось, знаешь?

— Мы таких книг сроду и не видывали, живых-то! И кто только делает их, о господи?

— А приказные и делают, господа. Это недавно выдумали.

— Жили и без них!

— Ро-о-димые! Со-о-ко-лики! — громче всего, наконец, разнесла по толпе сокрушенная баба.— Ш-што-о нам теперича, сиротам, с *ей* делать?..

V

Разошлась толпа и, словно пчелы в ульях, загудела по избам.

— Что это дьячок читал вам? — спрашивала молодая красивая бабенка своего угрюмого мужа.

— А то и читал, что баб теперь все равно, как мужиков, будут в солдаты брить. Вот что!

— Ну уж! Слова никогда нельзя сказать, сейчас лаять примется.

— Тебе только дела-то, что лаять.

— У тебя много по кабакам-то делов...

— Ты у меня, сейчас умереть, замолчи лучше, баба! — прикрикнул муж, и баба убралась за перегородку.

А другой мужик, молодой еще, рассказывал совсем иначе:

— Вынес он ее, матушку, грамоту-то, а она большая такая, да белая... Только я и вижу сейчас, что мне ее не изнять, взял да ушел. Онисья там, я с огорода слышал, в голос кричала: должно, что жалостно выходило.

— Что же ты сам не послушал? — укорил его большак-дед, ковырявший лапоть в переднем углу. — Нам бы тогда сказал; а еще грамотный.

— А не в догадку стало, — закончил молодой, пробираясь на полати.

— А это опять к тому подбираются, чтобы назад... По воле штоб... Слухи такие ходят... — таинственно шептал в своей убогой коморке двум-трем мужикам отставной солдат. — Беспременно фальшь какая-нибудь. Я видал в Питере настоящие газеты, — те не такие. Эта, ишь, смурая какая-то, ровно бы свита старая.

— Не такие те?

— Не такие! Не так... просто... — и при этом солдат сделал какой-то поясняющий жест.

А на пчельнике, густо засаженном березками и липами, тоже шел тихий, едва слышный разговор — и все про *нее*.

— Говорят: по ночам будет шастать...

— Я *ее* беспременно тогда расшибу, так-таки вдребезги и расхлопну, потому я их, ведьмов-то, не очень боюсь. Я как схвачу ее за язык-то, — длинные у них языки, красные, — у меня не вот-то скоро вырвется...

Две бабы затесались к самому дьячку. Одна из них, подавая ему старинный пятак, говорила:

— Продай, Архип Петрович, газетки мне на пятак!

— На что тебе? — спросил обрадованный было дьячок. — Ведь ты грамоте не знаешь?

— Я от живота... Сказывали, что с вином ее дюже будто бы хорошо от живота...

— О, дура! — ответил ей дьячок и потом обратился к другой: — Тебе что?

— А Лукашка сказал мне вчера: вот бы тебе к Архипу Петровичу, Марфа, сходить...

— Зачём?

— А ему, говорит, прислали *энту*, а в *ей*, солдат сказывал, все моря описаны...

— Никаких тут морей не описано, — осердился дьячок. — И что тебе за охота пришла глядеть на них?

— А как же, кормилец! Там мой Ефимушка стоит у моря-то. Онамедни он так в письме прописал: а стоим, говорит, мы, родимая матушка, у самого Черного моря...

— О, дура! Ступай отсюда, и без вас мне до смерти тошно!.. *Она* у меня у самого вот где сидит, — и при этом дьячок указал на свою собственную шею.

VI

Вечером, после сходки, г. исправляющий должность сельского учителя впал в сильную тоску по тому поводу, что как бы это ему половчее сочинить ответный рапорт палате. С этою целью он заранее распорядился насчет штофа и целого блюда соленых огурцов — и принялся. Домашних ни души не осталось в горнице, потому что они, видя, как хозяин то и дело клюкает и все больше и больше впадает в тоску, до грозы разбрелись спать по дальним амбарам, по овинам, по ригам и гумнам.

Всю ночь горел огонь в дьячковской горнице, доселе обыкновенно засыпавшей вместе с приходом вечернего стада. Наконец, к утру уж, труженик прищуренными и слезящимися глазами разбирал на белейшем листе бумаги следующее:

«Еще исстари благопопечительное и благомудрое... но врагам нашим — супостатам никогда не восторжествовать над нами, потому что, во-первых, мы русские, во-вторых... в-третьих, уповая и надеясь, не постыдимся...»

— Этак-то, пожалуй, не позвончей ли еще ихнего будет? — сказал, наконец, сочинитель, самодовольно улыбаясь и награждая себя за свое бдение зараз двумя рюмками.

«А что касается до Столичных Ведомостей, то, при всем моем рвении, поселяне нашего прихода покупать их не согласились, ибо не просвещенны, потому я самолично отправил их на хранение, впредь до обратного востребования, в колокольный чулан, где они будут находиться в полной безопасности и чистоте, а то у меня

ребят много, пожалуй, изорвут как-нибудь или замарают. Имея честь донести о сем, повергаю себя к стопам ног ваших» и проч.

В то же время, как дьячок дописывал свою отповедь, один сосед-помещик во весь дух мчался на своих лошадях в уездный город с жалобой к благочинному на дьячка Вифаидского в тех смыслах, что якобы Вифаидский, хотя за болезнью своего священника и состоит исправляющим должность сельского разгоняевского наставника, но в газете ничего не смыслит, и что, по всем правам, ее следовало получить ему — недорослю из дворян Ореховнику, что он, Ореховник, и повергает на благоусмотрение высшего начальства...

1865

ВЕРНОЕ СРЕДСТВО ОТ РАЗОРЕНЬЯ

Посвящается А. К. С—ву

I

Дело это началось одним осенним утром, пасмурным таким утром, печальным, с проливными потоками дождя, непрестанно лившимися с свинцового неба, с крикливым ветром, буйно разбивавшим городские фонари и срывавшим раззолоченные столичные вывески. Сизые волнующиеся туманы со всех сторон обложили Москву и самым зорким глазам не давали рассмотреть ее, так сказать, всероссийских, неописанных див.

И вот таким-то утром, положившим печать какой-то угрюмой мертвенности на столичные улицы, под непрерывное и могуче-басистое гуденье *сорока сороков*, которому, как бы в концерте, отрывисто вторили крепостные пушки, стрелявшие *по орудиям*, на Кремлевскую площадь изо всех соборов и приходских церквей собирались громко певшие церковные клиры для того, чтобы по окончании кремлевской службы тронуться одним всеобщим крестным ходом вокруг всей Москвы.

Море разнообразных толов, то благоговейно молящихся, то до испуга любопытствующих, разлилось по площади. Неразборчивый, но в высокой степени мощный гул этого моря, смешиваясь с громом выстрелов и звоном колоколов, одною согласною речью говорил всякой душе

о чем-то до того сильном и важном, что неминуемо обдавало эту душу невольным, все существо человека проникавшим ужасом.

Последняя нота молебного гимна глухо и печально погасла наконец в сыром, как бы вровень с краями наполненном чем-то воздухе, и, словно по сигналу, народное море дружно, за один раз, колыхнулось в эту секунду — и крестный ход поплыл...

Сначала шли старинные жестяные фонари, сквозь узорчатые прорези которых слабо виднелись тонкие желтенькие огонечки, беспомощно дрожавшие и слезливо помаргивавшие от сильного ветра, который неистово дул прямо в лицо крестному ходу, как бы намереваясь побороться и даже победить эту непобедимую, важно и торжественно двигавшуюся силу. Несли эти фонари, утвержденные на высоких зеленых шестах, какие-то необыкновенно серьезные лица, которые, очевидно, вполне сознавали всю важность своих передовых постов. Не сморгнув, встречали они бойкие порывы налетавшего на них ветра и лишь изредка повелительными басками покрикивали сопровождавшим шествие жандармам и макаркам (так в Москве называют будочников) взять кого-нибудь, кто забегал вперед с тою целью, чтобы прямо в лицо поклониться святым полкам небесного воинства, которые были изображены на хоругвях, шествовавших за фонарями.

Как птицы реяли в воздухе шелковые холсты хоругвей, сверкая золотом, которым написаны были венцы и сияния, окружавшие лики. Кротко смотрели эти лики, так много страдавшие и

молившиеся, на осеняемую ими толпу, — шли, ничуть не возмущаясь буйством ветра, обсыпавшего их целыми реками дождевых каплей, как в многотрудной жизни своей хаживали они, ничем не возмущаясь и ни от чего не останавливаясь, на борьбу с людскою неправдой. За хоругвями двигался весь залитый в толстую, расцвеченную драгоценными каменьями парчу важный, как сборище царей, хор священников с крестами и благовонно дымящимися кадилами.

Словно труба апокалипсического ангела, имеющая некогда возвестить всему миру про страшный суд божий, гремел из среды этого хора один голос, протяжно певший:

— Миром господу помолимся!

И, послушное этим словам, ниц падало все это необозримое мирское море, переливчатыми и таинственно шумевшими волнами катившееся по следам хора, и согласно, одною невыразимо-глубоко вздыхавшею грудью стонало:

— Господи, помилуй! Господи, помилуй!

И было о чем молиться миром, и было же тут над чем можно было застонать и разорваться от тоски этому миру, потому что светлое небо все застлали туманы. Буйный ветер, валя с ног целые кучи народа, не в силах был однакоже разогнать этих туманов, а дождь так и щелкал по усердно молившимся лицам, так и щелкал, так и щелкал...

II

Накануне описанного происшествия случилось в Москве, как и везде может случиться,

другое происшествие, а именно вот какое: у ворот одного замоскворецкого купеческого дома, с великолепным подъездом на дворе, с зеркальными окнами, с дремучим садом, деревья которого, обитые осенними дождями, с угрюмым безучастием смотрели с раскрашенного досчатого забора на тихую и пустую улицу, сидел молодой, бравый подкучер, в ситцевой краснолапистой рубахе, в кафтане, не по погоде, игриво и храбро накинутом на широкие плечи, в поярковой шляпе, *с сурьезом* надвинутой на лоб, и пел томным дискантом под тягучие звуки новой целковинной гармоники:

Еж-ж-жель ты, моя мил-л-лая,
Эф-ф-той ночью не придешь...

затем, вдруг переходя в басовую, пугающую ноту, он ужасающим манером мычал вместе с басами гармоники:

Я ф-фа тиши тибя ллас-каю,

и потом еще более томным дискантом доканчивал:

Биз тибя, как раз, помрешь...

Так молодой паренек забавлялся очень долго, и очевидно было, что эта забава была не столько забавой, сколько поэтическим упражнением в составлении *нового стишка*, на какое дело, как известно, такие мастера все вообще московские хозяйские молодцы.

— Ничего, очень складно выходит. Как есть как в песеннике, — похваливал поэт свою доморощенную поэму. — Поглядим, что дальше выйдет... Посмотрим, как оно под конец пойдет.

Но не увидал паренек, как *оно под конец пойдет*, потому что, при последних словах его, встряхивая нечесаными, но густыми и необыкновенно черными космами и сияя по-московски свежим и здоровым лицом, с парадного крыльца сбежала горничная. Быстро забегала она по широкому двору и звонкоголосно закричала:

— Митрей, Митрей! Где ты, чорт, прохлаждаешься? Хозяин зовет.

— Хошь бы минутку спокою! Как дьяволы с крючьями пристают! — прошептал Митрей, поднимаясь однакоже с приворотной лавки. — Ну, что ты орешь? Что тебе? — азартно спрашивал он перебившую его фантазию горничную.

— Достанется тебе, дьявол! *Сам* услыхал, как ты тут песни орешь и на гармонии этой играешь. Говорит мне: ступай ты, говорит, рабыня, разыщи его и сейчас ко мне на хозяйские очи представь!

— Коего я там лешего буду делать? — озлобленно спрашивал Дмитрий. — Рази я его пьяных бельм, ты думаешь, сроду не видывал, што ли?

— Не знаю, не знаю, милый, только, бога для, иди, потому, ежели не пойдешь, сейчас мне расчет. Так-то ты, скажет, рабыня, волю мою творишь? Я уж с ним и говорить-то по-нашему, по-простецкому, разучилась.

— Ну, гляди, девка! — решился наконец Дмитрий. — Я вот по тебе все сполняю, мотри же, и ты, в случае чего, ежели когда, охоте моей не перечь... Ах ты, чортова жисть, сичас умереть! Право, чортова жисть!.. — и парень

шел вслед за горничной, отчаянно поматывая намасленною свечным салом головой и тяжко вздыхая.

Пришли. Стал подкучер на хозяйские очи, сердито понуривши в пол свои собственные, молодецкие глаза; горничная пугливо притаилась за его широкими плечами, а сам хозяин на диване на мягком валялся. Пред ним, как быть должно, на маленьком, с кривыми точеными ножками столике стоял графин водки, грибочки, ветчинка, капустка и проч.

— Митрей! — взговорил хозяин с горьким плачем. — В доме моем уныние и печаль, а ты песни играешь, на гармонии зудишь. Што же это будет такое?

При этом купец отчаянно всплеснул руками и, обратясь к горевшим золотыми ризами иконам, снова повторил вопрос:

— Што же это будет такое? Нигде я к богу моему в моих сокрушениях великих воззвать и восскорбеть не могу.

Застонал хозяин после таких слов своих и уткнулся сокрушенною, по его словам, головой в кожаные подушки дивана. Рабы молчаливо смотрели, что будет дальше.

«Какую-такую камедь разыграет, — посмотрим», — думал Дмитрий, поглядывая на хозяина исподлобья.

«Антиресно знать, какую он штуку еще отмочить ухитрится?» — раздумывала в свою очередь горничная.

Долго длилось молчание. По временам только нарушали его хозяйские тяжелые вздохи да всхлипывания.

— Боже! — сокрушался купец. — Ах, тяжело! Ах, горька моя чаша! Оч-чень, оч-чень даже довольно у меня тяготы на душе!

«А шут те велит все эту одну очищенную жрать? Пил бы шинпанское али бы какое другое вино», — безжалостно отнеслась Дмитриева бессловесная душа к тяжелой купеческой чаше.

— Раба! — словно бы вдруг проснувшись, приказывал хозяин горничной. — Поди позови супругу. Ох-х! Горька моя чаша, потому много ты мне талантов дал, многою властью меня над многими меньшими братьями, аки бы иссопом и елеем, умастил и украсил. Учить мне надо ту меньшую братью, спокоить, да не буду ввер-р-жен... О, боже! отведи от меня ч-ч-а-ш...

И в то время, как купец дрожащею рукой старался налить рюмку, в кабинет его, послушная на зов своей главы, вошла супруга.

— Будет, будет тебе, Абрам Сидорович! — упрашивала она его. — Успокоился бы, право!

— Па-аг-губа моя! — всплакался в это время хозяин пуще прежнего и принялся жену по щекам бить: — за житницей ты не назришь, рабам моим управы ты никакой не даешь... Вон отсюда пошла, дабы злоба моя на тебя, шельма ты эдакая, не возгремела в доме моем и тишины его праведной не смутила бы. О, ч-ч-ча-а-ша!..

Едва-едва успевши выслушать столь душеполезное поучение, супруга стремглав выкатилась из кабинета, а супруг, продолжая свою роль исправителя домашних нравов, с новым притоком слез и воздыханий обратился к проштрафившемуся парню:

— Н-ну, Митрей! Младость только твою и сокрушенье родителей твоих убогих и престарелых в расчет принимаю и за грех твой из храмины моей честной тебя не гоню. Обратись и покайся! Каким ни на есть раскаянием изгони из себя беса козлогласования, пьянства и все, как следует... Нынешним днем отселева до Чистых Прудов приказываю тебе, труда для ради, али бы бдения,—понимаешь?—тридцать концов сделать. Пеш и сокрушон отыди в путь свой, душой умились, а гармонью сожги. А пуще всего: не сквернословь, потому уста... самое главное! Слышишь?

— Слушаю-с, — басом отвечал Дмитрий, проворно повертываясь к двери, но не поднимая однакоже кверху своей озлобленной головы.

— Стой, погоди! Не все сказал, — воротил его хозяин. — Кайся как можно искреннее, — умил-л-ление, пос-с-т... первое дело! По дороге зайди к Марье Петровне, к Онисиму Лукичу, к Степану Петровичу. Скажи им, Митрей, от меня (ведь ты видел слезы мои, Митрей, а?), — скажи же: хозяин, мол, оч-чень в расстройке, — мысли его, как осенние бури, метутся, — слезами он, аки бы росой утренней, умывается. Приказал, мол, он звать вас к себе на дружний совет, на душевные слезы. А после к батюшке зайди и учтиво ему доложи: молебен у нашего хозяина ноне с водосвятием... всем чтобы клиром... в лучших ризах. Одно слово, чтобы велелепие и святыня вполне... Хозяин, мол, сказывал, что великому-де молитвенному бдению у нас быть, потому несчастье... Так и скажи, только учтивее докладывай, потому они наши настав-

ники, пастыри. Слышь, Митрей? Они о душах наших сокрушаются. Так ты того, гляди, не лицемерь... Узнаю что, избави боже, дух вон вышибу!.. Пош-шол!..

— Што, Митрей, што? Пошто призывал? — спрашивали в захват подкучера чады и домочадцы, окружившии его любопытною стаей.

— А ничего, — ответил Дмитрий.—Известно, что у него ни чорта не поймешь. Говорит: кайся! Да вы спросите у него: кто его, старого лешего, к французинке возит?.. А то — кайся! Было бы в чем.

— Б-будет тебе, Митрей! — пугливо зажужжала на подкучера домашняя челядь. — Услышит, так еще пуще он тебя проберет. В часть, пожалуй, прикажет...

— Пог-г-глижу!.. — побахвалился парень и пошел, медленно передвигаясь с ноги на ногу, бурча себе под нос какие-то сердитые слова, а гармоника между тем не брала во внимание хозяйского горя и, разрезывая своим визгом дюжий гул осенней непогоды, продолжала тосковать о том, что

Еж-ж-жель ты, моя мил-л-лая,
Еф-ф-фтой ноч-ч-чью не придешь,
Я ф-фа тиши тибя л-ласкаю,
Биз тибя, как р-раз пом-м-решь...

III

Все ближние, други и искренние Абрама Сидоровича Переметчикова, московского первой гильдии купца и потомственного почетного гражданина, созванные к нему на молебствие и

дружний совет подкучером Дмитрием, зная нрав своего благоприятеля, сейчас же, как только их пролетки останавливались пред зеркальным подъездом, принимали на свои лица выражение великого сокрушенья и даже как бы какого убожества и тихо принимались шагать по широкой парадной лестнице, устланной мягким ковром и убранной роскошными цветами. Шли они, вздыхая и благоговейно крестясь, а с ними вместе поднимались в хозяйскую резиденцию в беса изогнутые и в пух и прах разлакированные лестничные перила. С игривостью, совершенно презирающей хозяйское сокрушенье, вели они благочестивого посетителя к широким площадкам с мраморными статуями, со светлыми зеркалами, весело отражавшими в себе изящную красоту этих статуй. Широкий барин, у которого Переметчиков некогда благоприобрел этот дом, щедрою рукой пустил по лестничным стенам мифологические медальоны с различными веселенькими пейзажиками, от которых с ненавистью отплевывались постные купецкие лица, — клали на себя широкие крестные знаменья и тихо шептали:

— Боже! Изжени ты лукавство это женское, препаскудное! И што только такое этот Абрам Сидоров делает? В чью это он голову бьет, мерзости такие в своем честном доме оставляючи? Сейчас бы это ежели на мои руки, все бы я это писание прочь. Позвал бы красильщика и сказал: жарь, мол, парень! Действуй, мол, помелом-то!..

Но, поднявши кверху прекрасные руки, строго смотрели на проходящего осла античные лица

каменных женщин,—с медальонов въявь и вслух хохотали над ним веселые, танцующие группы древних лесных и полевых богов, хохотали и прыгали, — прыгали и, вздымая над увенчанными главами руки свои в красивые дуги, звонко кричали:

«Куда ты? Куда ты, болван? Куда, сивая борода, по парадному прешь? Здесь жил le comte de Petrovo-Koudrjaschevsky. Вышлет он на тебя сейчас своих ливрейных, — выпорют они тебя на конюшне, а мы им поможем. Мы такие сцены в старину любливали...»

Хохот и пляска! Неблагопристойность и нагота самая что ни на есть смердящая!

— О, чорт бы вас побрал! — шепчет Лука Петрович и, совершенно уверенный, что вольные руки le comte de Petrovo-Koudrjaschevsky неразгибисто сложены теперь на ретивой груди, что непробудно спят под седыми, мохнатыми бровями палящие графские очи, продолжает переть к благоприятелю по парадной и шептать:

— Все это, ешшо скажу, сичас умереть на сем месте, я с одного бы маху похерил. Вишь, вишь: бес какой-то картинку какую подлющую намалевал — в трубы трубят, в бубны трепешшут, опять же винище это из эких ли здоровенных стаканов жрут!.. Тьфу!.. А бабы? Эки бабы были подлые в старину, а? Эки бабы! Срамниц таких по нашим местам теперича ни за што не найдешь...

Но — что игривая медяница блестит своей серебристою кожей, пробираясь под палящими солнечными лучами в густой зеленой траве, —

игриво и даже как бы обидно-насмешливо сверкает вверх изящная графская лестница. Не отставая от нее ни в беге, ни в насмешках, спешат с нею вместе и фарфоровые цветные банки и скачущие в медальонах группы. А дальше: по следам молнийного блеска извилистых, лакированных перил с торжественною задумчивостью входили статуи. При всем старании, они весьма плохо скрывали свои умные, почти живые улыбки, которые время от времени летали по их каменным устам, когда смрадная пасть Луки Петрова, лаявшая на вечную красоту, разносила хулящий шопот по ярко освещенным сеням, — улыбались они, говорю, и шли с уверенностью почетных гостей и, когда вокруг их вертелись, смеялись и веселились над вонючим лисьим тулупом купца цветы, боги и освещавшие их огни, они старались сдержать общий смех и шептали:

«Да тише вы, тише, пожалуйста!»

Обращались тогда малолетние цветочные головки к своим менторам и, сморщившись точно таким же образом, как дитя, когда негодует на неправду злых взрослых, вскрикивали:

«Да как он может это говорить? Да и что этот Лука Петров говорит? Говорит: я бы их всех с одного маху похерил. И зачем он на *сем* месте умирать хочет, когда у нас тут беспрестанная жизнь и веселье, говор и смех...»

«Да тише! — повторяли статуи. — Он ничего не может сделать, он чучело и теперь — вы не смотрите, что он живой, — поэтому он ни вас похерить, ни сам умереть на *сем* месте не может...»

А на самой верхней площадке остановился между тем могучий Геркулес и, повертывая коренастым дубом, заговорил оттуда статуям:

«Ну, что вы говорите: он не может умереть на сем месте? Дуну на него—и кончено! Но я, убивавший гидр и львов, не хочу марать рук об гадину».

— Я — гадина? Я г-ггад-дина р-рази? А ты х-хто такой? — вдруг раздается по сеням, каковой голос даже слышит сильно подвыпивший швейцар из отставных вахмистров, покойно дремлющий внизу.

И молившею толпой окружили героя старинные богини, — упали они пред ним на колена, ярким светом небесных звезд горевшие очи свои одним общим даром все они обратили к нему и замолились с злобным, беспощадным плачем:

«Убей его, убей! Он сказал сейчас: таких срамниц-баб, какими мы будто бы были, по ихним местам и не найдешь теперича! Разве мы не знаем, какие бабы-то у них?..»

«А бабы у них известно какие... — шепнул из-за куста козлоногий сатир. — Бабы у них, главным образом, насчет Суконных бань...»

— К-ка-а-к? Суконных бань? — неистово взревел голос, который слышен был выпившему швейцару. — Ты р-р-рази мою жену в Суконных банях з-за-астал?..

«Застал!» — утвердительно ответил сатир, скрываясь в куст, не забывши однакоже подмигнуть своими косыми глазами и брыкнуть косолапыми ногами.

— Вр-р-решь, под-длец! Я на тебя в часть завтра. Пять золотых и голову сахару Ивану Фомичу снесу.

«Ну и неси!» — послышалось насмешливое слово из тайной чащи девственного леса древней Эллады.

— И отнесу! А теперь вот тебе, подлец! Тьфу! Прямо вот в рожу тебе, козел ты эдакой, чор-р-рт, получай!..

— Ах, Лука Петрович! Зачем же это вы завсегда, как придете к нам, на картинки плюетесь? — сказал Луке Петровичу внезапно соскочивший сверху лакей. — Да еще и пальчиком изволите размазывать. Это не хорошо-с, — хозяин за это взыскивают.

— Мол-лчи, чортов сын! Дома хозяин?

— Дома-с, — пожалуйте-с.

— Сымай шубу, а разговоров со мной не разговаривать. Терпеть не люблю!

— Вот чорт-то! — подивился лакей втихомолку, когда Лука Петрович ввалился в залу.— Ведь вот и богатый купец, а не пьяным его ни разу не видал. Приказчик у них живет, седой весь, как леший, а и тот говорит, что, как он после смерти родителя запил на пятнадцатом году, так ни разу и не проснулся. Вот какой чорт-народ по белому свету расхаживает. Даже чудно, ей-богу!..

IV

Наконец все, кого ждал Переметчиков, собрались в его великолепном графском доме. Честного народа сошлось много, и беседа, следовательно, завязалась не кое-какая, а все, как говорится, и по писанию, и из-под политики.

Крестились все сначала страсть как, когда всенощное бдение шло. Протяжные, умиленные

вздохи молившихся время от времени перебивал тихонький шопот про нового дьякона, голос которого, так сказать, передвигал с места на место колонны зала и спугивал засевшую на углах потолка паутину. Тихо сползли с верха ее серо-дымчатые, ленивые волны и, встретивши на дороге здоровое и жаркое людское дыханье, они совсем неподвижно останавливались в воздухе, как бы раздумывая, на чью бы это им лучше голову сесть, чьи волоса, опутанные их досаждающим венцом, с большим негодованием встряхнутся на узком лбе и потом, упавши на широкий нос и толстые губы, заставят эти губы с большим остервенением вскрикнуть:

— О, штоб тебе! Вот искушенье, сейчас умереть! Чуть было не ругнулся я.

— Каков голосок? — тихо шептал кто-то за колонной. — Органистый голосок!

— Да-с, ничего! — отвечал другой шопот. — Приобрели украшение. Крестовоздвиженские прихожане к себе уж переманивали, да нет, не пошел. Я, говорит, и здесь взыскан.

— Гм! Это хорошо! Значит, хороший он человек! Без фанаберии, значит, человек. Ну, да будет: не перебивай ты меня разговорами, дай помолиться-то...

Наконец тройное заключительное «господи помилуй» раскатисто заключило службу. Вместе с легкокрылыми ангелами, неизменно присутствующими на молитвах, улетел в небо звонкий дишкант, замерли тенора, и под конечное гуденье грозной октавы, долго еще плававшей по зале вместе с благовонными волнами ладана.

суетливо тронулся доселе смирно стоявший люд, заговорил, зашаркал...

Батюшка с сверкающим крестом в руках поздравлял хозяина с благодатью. Хозяин кланялся и на тихую речь батюшки громким и крайне безнадежным голосом кричал:

— Ах, батюшка! Надежда моя одна на всевидящее око и на вас! Иов я в жизни моей, как есть Иов. Превзыдоша главу мою... Но я не ропщу, я знаю, я умею, я всегда готов... Живу только молитвой, беседой, добродетелью... О, боже!.. Милости прошу садиться.

В углу хозяйский сын и какой-то седой купец в длинном сюртуке, в дутых козловых сапогах, оба страшные охотники до церковного пения, дружески разговаривали с регентом, вокруг которого толпились серьезные лица басов, красавцы-тенора и хорошенькие альты и дишканты.

— Вот как я вам скажу, господа, — говорил регент. — Ежели вы мне сейчас сторублевую в руки, так наплюйте мне в лицо, ежели я в следующее воскресенье не представлю вам этого Вавилу Петрова. Я уже с ним говорил. «Будьте спокойны, говорит, я, говорит, с моим превеликим удовольствием». Вот, господа, прямо скажу: уж разуважили бы вас тогда, потому баса такого и на заказ не сделаешь. В Туле он однажды апостола читал, как раз около него предводительская дочь стояла — девица. «Вел-вел я, говорит, все, говорит, ровно веду: ни вниз, ни вверх, а сам думаю: постой, мол, погляжу я, какая ты на расправу; да как, говорит, полысну с маху, как, этта, гр-р-ромыхну, — барышня моя цоп на пол. Словно бы ее пулей прострелило!

Три дня после, сказывают, летаргией одержима была! Ей-богу!»

— Три дни! Тсс! — прошептал купец, медленно помахивая седой, подстриженной в скобку, головой.

— Л-л-летаргией! Вон он как ее чесанул! — каким-то всхлипывающим голосом восторгался хозяйский сын, жмуря глаза и потирая руки.

— Где же тут против нас устоять крестовоздвиженским, когда мы эдакое сокровище к себе притянем! — продолжал регент. — Да еще он что говорил: «я, говорит, господин регент, когда в Туле был, так хоша у меня и был верх, но не такой, каким, говорит, теперича я снабжден». Ведь он из усманских мещан, так когда это он чувства свои примется выражать — потеха! «Гущины, сказывает, такой не имел, потому пил в те времена самую малость». Ну, и скажу вам, — при этом регент поцеловал кончики своих пальцев: — и приобрел же он в этой Москве гущину, потому для всякого интересно послушать, как это он, словно буря, голосом своим деревья ломает...

— Это точно, что в действительности не человеческому органу подобен, а как бы дубраве какой дремучей, — подтвердил регентовы слова некто мрачный, чье лицо сплошь все поросло густыми черными волосами.

— Неужто страшнее тебя с виду? — замирая осведомился хозяйский сын.

— Страшней-с, может, в двадцать пять раз,— самоотверженно ответил некто.

— И неужели, голубчик, — в свою очередь переспросил седой купец, вдохновенно поднимая

голову: — и н-неуж-жели, голуб-б-чик, ежели, к примеру, свесть тебя с Вавилой Петровым, для того, то-есть, чтобы потягаться, — неужели ты ему преферанс отдашь?

— Отдам-с! — лаконически ответил мрачный. — Мне с ним не совладать-с, как по голосу, так и по силе, ни за что не совладать-с. В Шустровом трактире — на Пречистенке, изволите знать-с? — сразились это мы в биллиардной тянуться: схватимся за кий — раз! В двух, а то в трех местах в ту же секунду изломленье давал. Бревешко такое нам гладенькое принесли, потолще вот, пожалуй, моей руки будет; то вытерпело, одначе Вавил меня, как перо, махнул.

— Боже ты мой! — подивился старый купец, а хозяйский сын отнесся к регенту таким образом, попрежнему замирая и всхлипывая:

— Вы, ради создателя, не уходите подольше. Как тятенька засядут в горку, сейчас я к ним в кабинет. Только чтобы в надежде было, чтобы беспременно Вавила Петров у нас в хору был.

— Будьте благонадежны-с! — заверял регент с большим умилением.—Помня ваши и тятеньки вашего благодеяния, я теперь такие дела для господней церкви обделываю, такие дела бедовые! Ну, да помолчу до поры до времени, там увидим, па-а-смотрим после.

— Ш-што, што такое? — с усилившимися судорогами пристали к дельцу ретивые души. — Ради бога, скажите, что такое еще?

— Вам только одним говорю, так и быть! Смотрите же: никому ни гу-гу! От Сургучова дискантик-то этот, Сашка-то Милушкин, к нам переходит...

Проговоривши эти слова, регент отставил правую ногу и весело захохотал.

— Ш-што ты? -- растягивали купцы, тоже заливаясь самым искренним смехом.

— Ей-богу! От Криволапина обоих альтов скупил, тенора...

— Б-ба-а-тюшки! Святители! Вот шельма-то! Вон он где иезуит-то. Ах ты, иезуит-чорт!

— А тут еще тенор из Питера от самого Шереметьева подвернулся. Проездом ехал, ей-богу! Услыхал я, — сейчас в гостиницу к нему. Выпили: и я его, можно сказать, с одного маху объехал.

— Объехал?

— Объехал. Ну, уж зато и стоит же он мне коку с соком. Хочу, господа, вспоможенья просить, потому один, пожалуй, не выдержишь, лопнешь. Ей-богу! Сами вы видите, как я хлопочу для вас...

Между тем старшая хозяйская дочь, усевшись на диванчик к сторонке, чтобы никто не мешал, вела, в свою очередь, не менее интересный разговор с выслужившимся из бурбонов майором Белокопытовым, которого сам Переметчиков, на своем языке, звал всегда воеводой.

— Майор! — шептала Саша, устремляя на него серьезные черные глазки. — Вы клянетесь?

— Клянусь,—так же серьезно отвечал майор, бренча на гитаре:

Сс-своих с победой пр-роздравляю,
Сс-себя с отор-рванной рукой.

— Милый мой! — шептала Саша, и тут уж в глазках ее вместо прежней серьезности засве-

тился какой-то другой огонь, гораздо лучше осветивший ее красивое, страстное личико.

— Моя богиня! — снежничал майор и, закрывшись гитарой, приложил свои вечно шевелившиеся и потому как бы живые усы к девственной щечке.

Зарделась девушка, как спелая вишня, после этого прикосновения, — замлела она от него, как молодая березка в жаркий летний полдень. Смотрела тогда стыдливая купеческая дочь во все свои широкие глаза на шумную залу, стараясь показать шумной зале, что ничего особенного с ней — с красной девицей — в эту секунду не было, и ничего не видела; пристально вслушивалась она чутким девичьим ухом, не говорят ли чего про нее в той зале — и ничего не слышала... Сладкий угар какой-то в голове у ней волновался, а сердце так-то билось, так-то ли билось сильно!..

А младшая сестра, давно следившая ревниво за счастливой, гневно прошла в это время мимо нее и, сердито шумя дорогим шелковым платьем, шепнула:

— А? Ты у меня и этого отнимаешь? Ведь он в меня сначала влюбился... Вот, ей-богу, про все маменьке расскажу.

— Да, пожалуй, сказывай! — не сестре, а скорее самой себе ответила девушка, потому что жаркий язык ее не мог тогда говорить других речей, кроме как: «Милый мой! Счастье мое! Возьми ты поскорее красу мою девичью! Ведь вянет она здесь, ведь она здесь понапрасну, словно цвет в глухой степи, сохнет...»

Но всех рельефнее была группа, сидевшая вместе с хозяином. Жирные выбритые затылки, окладистые бороды, пугающие своей суровой волосатостью, просторные поддевки и новомодные пиджаки — все это в то время, когда втихомолку разыгрывались описанные сейчас сценки заднего плана, — все это, говорю, уже успело разгореться в приятельской беседе и вследствие этого горланило, как неудержная буря, когда она летит, сломя голову, сама не зная куда, и мнет на дороге все, что ей попадется, не разбирая дурного от хорошего.

— Дом мой стал домом печали и палата моя — палатою скорби... — визгливым тенором вскрикивал сам хозяин, тщедушный, маленький старичишка, с подслепыми глазками, постоянно точившими слезы.

— Будет, будет тебе, Абрам Сидорыч! Перестань, авось бог милостив.

— Афоня! — дружески подзывал к себе один пиджак расфранченного лакея, — поди-ка сюда: видишь ли, милый человек? Хозяин твой в унынии, — пищи, может, лишился; а ты за порядками как смотришь? Что это у вас наставлено все шенпанское да шенпанское? Это, братец, нехорошо. Я вон в Питере был, так там шенпанского этого у купцов и в рот не берут, потому, говорят, ныне про него всякая голь узнала, а подают венгерское. Я у себя уже давно завел такой порядок: как же это ты, братец, не знал до сих пор? Сичас чтобы было венгерское, а то я хозяина твоего — околеть на месте! — подлецом изругаю. Ты видишь ведь, он в унынии!

— Возрыкали на меня несчастья, как скимны, но я не ропщу!.. — продолжал хозяин, не слушая приятельских утешений. — Яко главу кедра ливанского, сокрушил меня гром гнева господнего! Д-да!

— Эдакой ведь человек начитанный! — удивлялись приятели. — И откуда он только такие слова подбирает?..

— Ты расскажи нам, — упрашивали другие,— как нам тебя понимать?

— Я расскажу, — в совершенном отчаянии соглашался хозяин: — но вам того не понять, потому кто поймет мои чувства? Но все-таки я вам расскажу, ибо вы — ближние мои, друзи мои... Точ-чно, я давно запил, признаюсь, потому чувствовал, что идет он, приближается, яко тать в нощи! Я иду по стогнам града, я сижу в храмине своей, на колеснице ли еду, а в уши мне все шептания, все шептания: «Я взыщу тебя, друже! Я искушу тебя, рабе!» И понимаете ли вы, насчет чего этот шопот был! Все насчет разоренья... Воз-з-звел я тогда к небу очи мои, простер руки и говорю: «Даде и отъя. Твоя, говорю, от твоих!» Д-да! Так я и сказал, потому, сами вы знаете, как я в горестях моих завсегда шел и по писанию, и по добродетели...

— Что говорить! — перебило хозяйскую речь нестройное и недружное жужжанье гостей. — Слава богу! Не в первый раз хлеб-соль друг у друга едим.

— Верны слова ваши! — ободрил хозяин. — Только я все не робел, все молчал. Думаю, что будет дальше. Только, что ни день, то хуже, потому не дает спокоя, без отхода шопот этот

мне в уши сквозит: «Пришел, говорит, твой час»... «Твори, сказал я, волю свою», и заперся в горнице своей и вознедуговал... Пью вот уж, может, недели с три, не слажу никак с сердцем своим, потому слабо сердце-то, боится оно скорбного часа.

— Так! — согласились гости. — Известно, сердце — сосуд... скуделен...

— Теперича сны... Боже! покоя не знаю от них вот уже который день. Полчища это с ристанием, на тройках, с колокольцами, с бубенчиками, взъедут на двор мой (все ведь это я из окна въявь вижу) и добро мое на те тройки наваливают и долой свозят. Пляшут, свистят, буйствуют и надо мною со двора гнусно смеются. Все смеется надо мною, весь обоз: и телеги, и лошади, и колокольцы...

— А это, полагать надо, не от статуев ли от этих, что у тебя по лестнице расстановлены? — боязливо и с большим сомнением предположил было кто-то, но это предположение было сразу перебито всем обществом, живо заинтересованным снами Переметчикова.

— Какие тут статуи? — энергично вступился один из председавших. — С тятенькой с нашим точь-в-точь такая же история не однажды случалась, да ведь у нас в доме ни одной их и в помине никогда не бывало.

— Нет-с, это не от статуев! — самоуверенно и громко сказал один седенький, поджарый старичок-чиновник из духовного звания. — Это я доподлинно могу доказать, что не от них! — прибавил он с твердым убеждением знатока, понимающего в самой тонкости всю суть дела, при

чем, посмеиваясь, плутовато выпятил вперед нижнюю губу и ждал продолжения рассказа, как бы заранее зная, что расскажут ему.

— Ну-с, что же дальше-с? — любопытно настаивал старичок, секретно похихикивая в огромный желтый фуляр.

— Да что же дальше? — спрашивал хозяин, досадуя, что на горе его хихикают. — Рази тебе этого мало? Друг твой в несчастьи, глава его аки былие...

— Мы это понимаем-с! А что же дальше-с? — упрямился старичок и хихикал уже вслух, не закрываясь фуляром.

Дело начинало уже принимать серьезный оборот. Гости ощущали в себе некоторое смущение, потому что справедливо полагали, что если старичок-чиновник продолжит еще свои вопросы и смехи, то им придется разнимать здоровую драку; но старичок предупредил сие обстоятельство, как всегда сам он выражался, когда писал купцам различные прошения, справки, явки и т. п.

— Находят и налетают в комнату вашу, — начал старик пророчески, — сонмы чудищ разных, двухголовых, трехголовых и более. Так-с?

— Так! — подтвердил хозяин, удивляясь, почему это и как именно седой чиновник известился об этом.

— И имеют те чудища — иные облик человеческий, а туловища зверины, а иные — туловища зверины, а облик человеческий. Хвостами и копытами снабжены и, прочие на себя несвойственные естества принимая, во ужас человека приводят, отнимают у него рассудок и память,

а такожде, порою ударяя в бубны и другие инструменты, порою же голосами буйствуя, в уши тому человеку некие словеса впущают, кои слышны ему, другим же не слышны. Так-с?

— Так! — все больше и больше удивлялся Переметчиков. — Да почему же ты узнал об этом?

Но не ответил старик на этот важный вопрос и продолжал:

— Помавают чудища крыльями и руками, подкидывают очами, языками дразнят, пальцы с железными когтями на носы свои наставляют и, беснуясь и прыгая туда и сюда, как бы плясавицы или козлы молодые, стонут гласами, трубам воинским подобными: дай, дай! отдай нам душу свою... Так-с?

И гости, и хозяин — все в один голос пристали к старику, сделавшемуся необыкновенно важным во время своего повествования.

— Как же ты все это отгадал?

— Что же это знаменует такое?

— А ничего не знаменует: это она просит...

— Кто просит? Чего просит?

— А просит, Абрам Сидорович, твоя собственная душа, чтобы ты ей спокой дал! Вот что! Встосковалась она по добрым делам, — жутко пришлось ей без них... Тут, небось, всякий запросит, как *они* тебе гурьбами каждую минуту объявляться почнут... Так-то-сь!

— Что же мне делать теперь? — вскрикнул сильно перетрусивший Абрам Сидорыч.

— Как что делать?—спросил старичок, снова принимаясь улыбаться с видом человека, показавшего еще не все фокусы.

— Да ты, бога ради, не смейся, — молил его Переметчиков. — Скажи поскорее, ежели знаешь.

— Знаю-с и скажу-с... Был тебе шопот, Абрам Сидорыч, что, дескать, я тебя взыщу, рабе! И понял ты этот шопот, что якобы тебе это к разоренью. Что же ты теперича должон делать?

— Н-ну-с?

— Призри в дому своем брата некоего, странствующа и юродствующа!..—торжественно договорил старик свой совет. — Не для прибытков твоих, то-есть не для ради какого-либо дела работного, а любви ради дружней. Так-то! Ты богат, — возьми же к себе самого что ни на есть несчастного и спокой его. Завтра же — знаешь, небось? — крестный ход будет, так ведь они туда, люди-то божьи, со всей Москвы соберутся. Ищи — и обрящеши...

— Друже! — завопил Переметчиков, обнимая седого советчика. — Ничего для тебя не пожалею теперича. Афоня, шенпанского!..

Расфранченный лакей живо прибежал к хозяину и почтительно доложил ему следующее:

— Сейчас господин Коленкин изволили мне насчет венгерского приказать, потому как, бымши они в Питере, заприметили, что шенпанское из моды вышло...

— Вышло?

— Так точно-с...

— Коленкин! Вышло в Питере из моды шенпанское?

— В рот никто не берет, потому жрет его ныне всякая голь, — ответил Коленкин.

— О!.. Ну, ин, так! Подай венгерского да прихвати картишки, — мы в трынку для скуки сыграем.

V

То поднимаясь на высокие холмы, то спускаясь с них в широкие и грязные площади, медленно валила за крестным ходом громадная сила народная. Общее дыхание ее, долетавшее, казалось, до далеких небес, обманывало близорукий глаз видимою крепостью груди, из которой вылетало оно, потому что главная нота в этом громовом гуле толпы до смерти сокрушала чуткое ухо своей необыкновенной, медленно и мучительно убивавшею, печалью...

— За-а-ступ-ница усердная! — вскрикивала маленькая, изнуренная бабенка с желтоватым, сморщенным лицом, выделяясь из толпы на дорогу, по которой длинною цепью тянулись экипажи и парадировали жандармы. Высоко подняла она руку, чтобы перекреститься на высокую хоругвь.

— Эй! Куды под экипажи лезешь? — предостерег ее бравый жандарм, манерно потряхиваясь на лошади и побрякивая вследствие этого палашом.

— Ах, милые! Я и не знала... — запугалась бабенка, как бы каменея на опасном месте.

— Па-а-ди! Стар-ронись, баба! Эй, женщина, берегись! — на разные лады выкрикивали бородастые кучера.

— Что же ты? Что же ты расселась-то здесь? Задавят сейчас! — говорил жандарм, коман-

дирски помахивая на бабенку своей белою перчаткой.

— Рада бы, рада б я сейчас отсюда, кормилец, да не знаю как. Трясутся у меня поджилки-то, ноги-то у меня не стоят. Испугалась я тебя.

— Ну-ну, бог с тобой! Поднимайся, — я тебя не трону, проходи. Ах, какие эти бабы чудные!—подивился жандарм, догоняя товарища.— Как они нас боятся! Не в пример пуще пехоты боятся.

— Как же им нас не бояться? — ответил товарищ. — Одно слово: лифантерия. Опять же ты то возьми в расчет: то человек на коне сидит в тонком платье, при белых перчатках, а то так человек — пешком в серой шинели. Что ж его бояться-то?

— Верно!

Из узкого бокового переулка выскочил вдруг пожилой мастеровой в синей чуйке, с длинною черною бородой, с унылым лицом, смотревшим как-то вкось. Долго смотрел он на крестный ход, любопытно провожая его мутными глазами, потом вдруг повалился в ноги какой-то старушке, вместе с другими пробиравшейся за процессией, и с обильно полившимися слезами закричал ей:

— Бабушка, прости ты меня, Христа ради! Не взыщи ты с меня, стар человек! Для бога не взыщи! Видишь вон, святые образа идут, священники, бабушка, из всех церквей даже собрались...

— Пусти-ко, пусти-ко ты меня поскорее, мастеровщина! — испуганно отбивалась от него

старушка. — Что, я тебя трогаю разве? Вишь, для праздника начесался!

— Бабушка, я ничего, я, ей-богу, ничего! — продолжал взывать мастеровой. — Я не начесался, а потому, как я имею добрую душу, жалостивую, я и сказал хозяину: «Что это ты, мол, хозяин, в праздник нас работою трудишь? За это тебе на том свете худо придется». Я ему из жалости сказал, а он в морду... За что? Нет, стой! Погодишь немного в морду-то. Ноне за это строго...

С легкими смешками и над приостановленною старухой и над мастеровым провалила толпа дальше, а сам виновник этих смешков тут же уткнулся под забор в мокрую траву и бормотал:

— Я ведь ему из жалости... Я ведь правду сказал, что грех, что праздник, мол. Ан, оно по-моему и вышло: со всех церквей собрались, празднество большое, а он — работать... Не-е-ет! Не очень-то тебя за это жаловать будут....

В то же время в дорогой коляске Переметчикова, следовавшей за ходом, самым сладким образом разговаривая между собой, сидели сам Абрам Сидорович Переметчиков и вчерашний старичок-чиновник.

— Я тебе, Абрам Сидорыч, не все вчерашнего числа рассказал, — поучал старичок: — потому при людях неловко было. Старые люди советуют, чтобы как можно меньше народа знало про такие дела. Посоветовал я тебе взять кого-нибудь на призрение, только что же с этого будет? Мало ли благодетелей, какие на призрение к себе бедных людей берут? Самое главное в нашем разе — чтобы как-нибудь нам так исхитриться, чтобы никто не приметил и не

догадался, как и за каким делом мы того человека брать будем. Попросту сказать ежели, без затей, так как бы украсть надо. Да! Действительнее так-то. В старину так делывали, потому ведь не заправское воровство, — значит, стыда тут нет никакого. Понял?

— Понял! — утвердительно отвечал Переметчиков.

— Ну, хорошо! Теперь, ежели нам матушка царица небесная в этом деле поможет, умей ты так поступать с несчастным, чтобы беречься тебе от разоренья его счастьем и благочестьем. Тут опять, сказываю я тебе, по старине поступай: как молодцы пойдут в лавку, так чтоб они беспременно с собой убогого человека прихватывали, для того, чтоб он самым первым покупателем был. Примерно сказать, на гривенник ли, или же хоша на семитку, только чтоб убогенькому прежде всех товару какого ни на есть отпустили. Верь ты мне: отбою не будет от покупателей.

— Ах, друг ты мой великий! — восклицает Переметчиков. — Чем я тебе за твои благодеяния отплачу только?

— Благодарность что? Нам не нужно ее, — нам лишь бы хорошему человеку хорошее сделать. Ты вот теперь высматривай получше человека-то.

— Во все глаза смотрю, окромя как пятеро молодцов приказ от меня с самого утра получили, чтобы как только увидят что-нибудь подходящее, сейчас же мне бы докладывали.

— Ну, это чудесно! — похвалил приказный купеческую предусмотрительность, затем он перекрестился и с набожным и вместе с тем ре-

шительным вздохом, означающим приступ к самому делу, окончательно отдал это дело во власть божию, проговоривши: — С богом!..

И было тут много людей, которые бросались в неопытные глаза Абрама Сидоровича своим убожеством, ранами, железными посохами, нечеловеческими криками; но старичок упорно отвертывался от обыденного страданья и на рекомендацию купца — взглянуть на ползающую по грязи старушку или на перекошенного параличом и безрукого мужика — сердитым, наставительным тоном говорил:

— Не наша! Не наш!

Порою к коляске подбегали уставшие, запотелые молодцы и впопыхах докладывали:

— Видел я, сударь, Абрам Сидорович, сичас паренечка одного, — ах, жалости подобен! Глух и нем от рожденья, язвины, этта, на ем все тело покрыли, — смотреть страсть! Только, этта, улыбка у него по лицу беспрестанно ходит, и такая-то улыбка райская! Ах ты, господи, подумаешь, до какой святости человек дойдет!

— Кажи сюда! Приведи его к нам, как бы за милостыней! — командовал приказный.

— Такие ли есть? Не наш и этот! — говорил он, когда молодцы подводили или даже подносили к коляске какого-нибудь паренечка, глухого и немого от рожденья и, кроме того, с язвинами на всем теле.

Со всех, кажется, бесчисленных сел и деревень, как бы на какую выставку, собралось в Москву русское горе и русские лютые болезни. Целые сонмы прихожих баб-богомольщиц, в неописанных рубищах, с неизъяснимо убитыми и,

как у подстреленного зайца, испуганными лицами, спешили за ходом, втихомолку собирая копеечки и грошики. Бабы московские, нищие по ремеслу с самого малолетства, бойко шныряли в толпе, привычным глазом отыскивая людей, подающих по пятачку и по гривеннику. Как пчелы, в этом нищенском рое визгливо жужжали свои просящие выкрики сборщики «*на церковно построенье*», позванивая в колокольчики, погремыхивая белыми оловянными кружками, до краев наполненными медными деньгами. Какими-то судорожно-поспешными шагами там и сям мелькали неизвестные люди в особенной, полудуховной одежде, в высоких плиссовых поношенных шапочках, — серьезные какие-то люди, у которых, у всех до одного человека, были почему-то необыкновенно большие, на выкате, глаза, сердито и быстро обстреливавшие толпу. Расслабленные и убогие всякого рода шли и ползли длинными вереницами; безруких везли в маленьких тележках; а по углам улиц и переулков, по которым плыло шествие, по-двое и по-трое стояли еще люди, молчаливые, неподвижно стоявшие, как говорится, по струнке, с большими усами, с каким-то строгим выражением в глазах. Безмолвно, порою только едва приметно подергивая седыми усами, смотрели они на публику, да и публика тоже не без любопытства смотрела на их деревяжки вместо ног и на рукава, пристегнутые к пуговицам, вместо рук.

— Где ты, братец, лишился ноги? — спрашивает какой-то чиновник в скомканной и облезлой шляпе.

— В сорок восьмом году, сударь, ходили когда... — начал было говорить человек тихим басом.

— А-а! — восклицает удовлетворенный чиновник и, не дослушав, убегает. Усы на секунду пошевелились было, как бы недовольные чем — и только! Попрежнему осталась безмолвною и бесстрастною позитура, в которой всегда подобает стоять храброму и неторопливому солдату...

Мимо всего этого равнодушно проехали наши искатели. Старичок продолжал налагать на эти, так долго незабываемые, лица свои немилосердные резолюции: не наш! не наш! Наконец к коляске подбежал главный приказчик Переметчикова, из всех сил старавшийся угодить хозяину.

— Ну, что? Нашли?

— Нашел, сударь! — сияя радостью, вскрикнул приказчик. — Уж истинно, что благодать. Рта нет...

— Как нет? — вмешался удивленный чиновник. — Неужто совсем нет?

— Так только, судырь, одно званье, что рот... Вот, увидите сами.

— Веди скорее, да не болтай там! — посоветовал опытный старик и затем, обратившись к кучеру, дал ему такого рода нотацию:

— Слышишь, Лука? Как только я скажу тебе: трогай, — валяй во все лопатки. Дело не шуточное. Держись крепче, Абрам Сидорыч! Господи благослови! — сотворил наставник окончательную молитву, и в это время не только кучер или седоки, а, кажется, и самые купеческие лошади затаили дыхание.

Под конвоем Переметчиковых молодцов, медленно подвигались к нашим друзьям две, очевидно, деревенские бабы, но в той нелепой, против воли заставляющей всякого покатываться со смеху, городской одежде, в которую мужики, а пуще бабы с претензиями походить на господ, облекаются тогда, когда им удается зашибить где-нибудь лишнюю копейку. На их головах были полинялые ситцевые платки, на плечах, как говорят, *пальты*, брошенные средней руки горничными или модистками, не получающими содержания от *предмета*, на глазах слезы, на лицах благоговейное умиление. Они, парадно подхвативши под руки, вели что-то такое, чему, при первом взгляде, нельзя было дать решительно никакого названия. До такой степени не походило на человека существо, имевшее своим счастьем спасти богатейшего московского купца от чудищ, которые так долго нашептывали ему страшную песню про разорение.

Рта у праведного существа, действительно, как объявил главный приказчик, не оказалось, а было вместо него какое-то небольшое красноватое отверстие, освещенное постоянным светом мертвой, безвыразительной улыбки. С головы на плечи и на спину вместо волос спускался какой-то скучившийся, отвратительный войлок сизого цвета. Красное, все в швах и шрамах, лицо его было исковеркано и изорвано, словно в борьбе не то чтобы с заклятым врагом, а с диким зверем. Ноги, едва сдерживая тощее туловище, тряслись ежесекундно, а при ходьбе так странно хромали, что издали можно было подумать, что идет кто-то до того несча-

стливый, который на каждом шагу попадает в глубокие, скрытые ямы, проворно вылезает из них и снова падает.

— Вот, сударь, извольте взглянуть! — самодовольно рекомендовал приказчик Переметчикову свою находку.

— Батюшки! Гос-спо-ода, бояре честные, сотворите свою святую милостыню убогому сиротинке... — запели вожачихи протяжными и плаксивыми голосами.

— Поистине такого страдальца найти нигде не возможно, — продолжал приказчик. — Зато, сказывают, и взыскан же он... Однажды, вот они говорят, воспророчествовал даже...

— Хо, ххо, ххо-о! — не то засмеялся, не то заплакал несчастный, при чем его всегдашняя улыбка не слетела с его ничуть не изменившегося лица. — Ххо, ххо, ххо! — продолжал он, протягивая обе руки к купцу и его приятелю.

— Вот от него только и слов слышим! — сокрушенно доложили вожачихи.

— Ничего больше не говорит? — в какой-то тихой задумчивости полюбопытствовал Переметчиков.

— Ни словечушка.

Старичок-приказный выразительно моргнул в это время молодцам, те схватили юродивого под руки и мигом подсадили в коляску.

— Пошел! — закричал воротила всему делу, и Лука резко щелкнул возжами по спинам породистых рысаков.

— Держи, держи! — раздались за коляской крики баб, потерявших вместе с своим питом-

цем все возможности одеваться в *пальты* и ходить в кабак, когда вздумается.

— Держи, держи! — заревела толпа, бросаясь куда-то с обольстительными надеждами поймать жулика и исколотить его до полусмерти.

— Ах, дьяволы! Ах, черти! — орали бабенки. — Эти купцы-черти всегда так-то для счастья у нас блаженных воруют. Чем только мы, горемычные, кормиться будем теперича? Ах, идолы толстомясые! Еще ль мало у них деньжищев эфтих идольских...

— Слава тебе, господи, слава тебе! — согласно взывали, под грохот экипажа, Переметчиков и старый приказный, а убогий смотрел на них своим мертвым, освещенным безумием лицом и кричал:

— Хо, ххо, ххо-о!

VI

Стал наш Абрам Сидорович после описанного случая жить, поживать да, как в сказке рассказывается, добра наживать. Покупатели толпой наваливались на его лавки: шла в них неугомонная, беспрестанная толкотня, и, пожалуй, даже такая толкотня, за которой, по пословице, не угоняешься. Самому паскудному парнишке ничего не стоило выхватить из лавочных касс зеленую бумагу и, сообразуясь с темпераментом, или спрятать зашибленную копеечку про черный день, или задать ею тону в горячем трактире.

Чудищ, некогда пугавших Переметчикова, как не бывало. Стал купец еще более блажен и

благословен, чем был прежде; рассказы благоприятелям про святость, которую он, по словам его, хранил в палатах дома своего, сделались и шумнее и, так сказать, воззвательнее.

— Воистин-ну, — покрикивал он уже не в безобразном запое, а так только, пьяненький малость: — воистин-ну, объял меня свет, и увидели очи мои согрешенья мои... О, б-б-о-же! Ребята! приведите Гаврилу.

И ребята приводили Гаврилу, и Гаврило, поскакивая по гладкому паркету залы, как по глубоким ямам, разбивал эту мрачную тишину, воцарявшуюся всегда при его появлении, своим обыкновенным криком:

— Хо, ххо, ххо-о!

Находились любители и знатоки, умевшие понимать Гаврилины речи и подслушивать в них самое малейшее уклонение от всегдашних возгласов. И одним утром истолковывали эти любители и знатоки Гаврилино: хо, ххо, — так, что это значило: хорошо, хозяин, хорошо; а другим утром в этих же самых изречениях они подмечали, что юродивый говорит: худо, хозяин, ох, худо! И береглись тогда все в доме, начиная с хозяина и кончая лихим подкучером, таким мастером сочинять новые стишочки.

Долго таким образом тянулось это благоденствие, и протянулось бы оно на веки вечные, ежели бы не существовало пословицы, говорящей к великому людскому сокрушенью: нет ничего вечного на земле, о людие!

Однажды Абрам Сидорович услышал в своей передней большой шум. Ему послышалось, что в ней происходила рукопашная, — вследствие

этого, вскипевши своим праведным, хозяйским гневом, он сердито вскрикнул:

— Афонька, что это у тебя в передней за возня такая? Уши все, шельмам, оболтаю, пойду.

— Да вот, сударь, — заговорил Афонька из-за притворенных дверей, — неизвестный человек какой-то беспременно вас видеть хочет. Говорит: двери все расшибу, а уж дойду до хозяина; потому, говорит, важное дело.

Вслед за тем двери, ведущие из передней в зал, с шумом распахнулись, и гневно изумленным очам Переметчикова предстал некоторый молодец, высокого роста, в длинном нанковом сюртуке, перетянутом черкесским, с серебряным набором, ремнем, и вдобавок с серьгой в левом ухе.

— Ты что за человек? — сердито спросил его Переметчиков.

— А я — липецкий мещанин, Кондрат Добыча, — отрекомендовался молодец, встряхивая враз и густыми волосами и золотою серьгой. — К вашей милости по дельцу пришли.

— Ах ты, такой-сякой! — закричал на Добычу купец. — Да я тебя, шельма, в часть сейчас отправить велю. Как ты смеешь драться в моем дому, а?

— А нам не только что в часть, — беззаботно ответил Кондрат, — а, примерно, ежели в острог или на каторгу, так нам все единственно, потому рази там люди не живут?.. Сами вы, ваше степенство, извольте рассудить.

— Что ж тебе надо?

— А надо мне, как перед истинным создателем моим говорю, так и перед вами, — надо

мне этого Ветчинникова в тар-тарары упечь — вот что мне надо! И в этом я вам помощь большую могу оказать, потому хоша он и говорит, что кучер его — первый силач в Москве, только рази он против меня может сустоять?

— Да ты об чем разговариваешь-то?

— Все об том же: без меня Ветчинников вас совсем задолеет, потому кучер у них точно что гора-человек...

— Да за что же мне с Ветчинниковым ссориться, голова?

— Как за что, судырь ваше степенство? — спросил Добыча в большом изумлении. — Рази я вам не говорил? Ведь Ветчинниковы беспременно решились нынешним месяцем украсть у вас отца-Гаврилу. (Слава юродивого разнеслась уже так далеко, что многие звали его не иначе, как отцом-Гаврилой.)

— Как? — завопил Переметчиков.—Отца-Гаврилу? Бо-о-же! Что же это такое?

— Так точно-с, потому зависть... Бедняют они очень... Они было себе, доложу я вам, тоже подцарапали мать-Христинью, но нет, все плохо! Души-то у них очень уж того... иродские...

— Почему же ты знаешь об этом? — тревожно спрашивал Абрам Сидорович. — Как ты намеренья их отгадал воровские?

— А как они, эти самые Ветчинниковы, зная мою силу и ловкость, призвали меня к себе и говорят: так и так, Добыча! Зная мы твою силу и ловкость, приказываем одному тебе всей этой командой заправлять. Ты, говорят, у нас один в ответе за все, про все будешь... То-есть, понимаете? Насчет это кражи-то у вас они мне

наказ дают, а? Я им в ту же пору ответ стал держать: это, мол, я могу, потому и в ратниках когда был, так девок или баб для господ-офицеров воровывал. Что с нас возьмешь? Наше дело мещанское, работное... Только, говорю, господа, за эдакое прокуратство пожалуйте мне сто на серебро, и опять же — деньги сейчас налицо. Потому, сами вы рассудите, ваше степенство, ежели бы меня за эти дела стегать принялись, что б я без денег-то делать стал?.. Ну-ка?

— Так, так, — согласился сильно озабоченный Переметчиков. — Это ты верно...

— Истинно, что верно, ваше степенство! А Ветчинниковы на такие мои слова что же сказали? Так это удивительно даже, однова дыхнуть! Сказали мне Ветчинниковы: «Ах ты, говорят, шаромыга! Да сам-то ты и с потрохами с твоими стоишь ли сотню рублев? Да у нас, говорят, кучер Исай один вас таких-то троих за пояс заткнет. Ведь мы тебе затем и велели притти, чтоб дать тебе, гольтяпе, какой ни на есть хлеба кусок». Ладно, думаю про себя, ладно, покажу я вам кузькину мать. Потому зачем же они врут? Зачем они тем враньем человека обижают напрасно? Да рази я их кучера-то хваленого не разутешивал? Слава богу! Я ему, ваше степенство, в полпивной однажды, вот тут у Серпуховских ворот, сейчас умереть, не вру, кэ-эк дам в башку, так он с час сидел, словно бы обалделый какой. Точно что, признаюсь, дербанул я его внезапу, сзади зашодчи. Все же, однако, рази его можно за это похвалить?

— Так, так, — ободрял Переметчиков. — Кому много дано, с того и взыщется много.

— Верно! Только я все же, — продолжал Добыча, — не дал обиде моей верха над собою взять и говорю Ветчинниковым: прикажите, мол, нам с вашим Исаем силу попробовать: борьбой ли, или, мол, на кулачки. А сам, грешный человек, мыслю в душе моей кучера того разнесчастного так угодить, так это, разметываю в своем уме, разутюжить его, сударика... Проникли купцы такое мое намерение и, опасаясь срамоты, какую, верно вам докладываю, я бы на их похвальбу кучером своим напустил, — сейчас же напали на меня с великим многолюдством — и со двора в шею. Грозились тоже они на меня всячески, когда били: в сибирке, кричат, сопреешь, ежели словом одним заикнешься об нашем умысле Переметчикову. Теперь одна надежда на ваше степенство, то-есть насчет чести, потому раскассировать кого ежели, так я и один много народа могу раскассировать...

— Спасибо тебе, Добыча, за верную службу, — благодарил лихача Переметчиков. — Отныне ты мой раб. Сейчас мы с тобой к частному поедем, там ему обо всем доложим и солдат возьмем на подмогу, дабы нам в полной безопасности быть.

— А это вы напрасно изволите, — посоветовал Добыча.

— Насчет чего?

— А насчет солдат, потому что же такое полицейский солдат? Одно слово: крупа! Рази он может сустоять не токма против меня или бы даже кучера Ветчинниковых?.. Сичас он, можно сказать, от одного моего щелчка с копыт вверх тормами должон лететь, потому солдат — слу-

жба... Он, ваше степенство, кажинный день в чижолой работе и опять же на легких хлебах...

— Так как же мы с этим делом управимся?

— А так и управимся, — решил Добыча. — Я теперича все разузнал, какая у них, Ветчинниковых, команда будет. Первое — кучер. Его я, глаза лопни, с одного наскоку подомну под себя. Другое — Курилкин Иван — мясник. Его тоже пробовал я: по бревну разобрал. Третьим теперича у них — Бучилов Анкудин. Действительно, этот прежде силен был, только я ему еще в третьем году, на кулачном бою, на Крымке-с, левую руку сломал. Я уж и говорил ему: ты, говорю, Анкудин, на одну руку-то не очень надейся. Остальные все — сволочь, поголовная сволочь! — добавил Добыча. — Не извольте их опасаться, ваше степенство. Мне их на одну руку мало.

— Да ведь все же ты один? — возражал Абрам Сидорыч. — Как же ты один против них всех пойдешь?

— А тоже и мы своих молодцов наберем, из ваших, потому вся сила во мне, а им на гулянках ничего — поразмяться для скуки... Да право, ей-богу! Ведь им, ваше степенство, тоже, небось, жалованье платите?

— Как же! Как же!

— То-то и есть! Опять ежели ваши молодцы очень уж слабосильны, так мы ломы возьмем, дубье, потому ведь и они тоже с колами и дубинами прикатят. Вот мы их впустим в сад-то, дадим им на келийку-то отца-Гаврилы взглянуть, чтобы не даром им проезжаться, а там уж и с господом!..

— Молодец, Добыча! — похвалил его Переметчиков. — Ступай в куфню... Ешь и пей там, что только твоя душа пожелает.

— Осмелюсь спросить, ваше высокоблагородие, — заговорил Кондрат, после хозяйского приглашения мгновенно меняя и титул, с которым он относился к Абраму Сидоровичу, и свое собственное, необыкновенно-мускулистое, дожелта загорелое лицо на кроткую физику ягненка: — осмелюсь спросить у вашего высокоблагородия деньжонок малость на расходы: сапожишками вот пообносился, опять же на родину думаю жене с ребятенками послать. Семеро их у меня, ваше высокоблагородие, мал-мала меньше.

— Можно, можно, дружок! — покровительственно принял эту просьбу Переметчиков и подал деньги. — Я умею награждать верных рабов, — важно закончил купец и, как будто он был в самом деле вашим высокоблагородием, парадным шагом отправился во внутренние апартаменты, самодовольно посматривая в зеркало на свою закинутую вверх голову и на свои по-майорски вздутые щеки.

— Счастливо оставаться, ваше высокоблагородие! — окончательно потешил его Добыча, живо юркнувший в переднюю, с целью прямо оттуда пробраться в какую-нибудь пивницу, где он во всякое время любому может насандалить рожу, чупрыснуть в едало, закатить под микитки, разуважить в бок и проч. и проч.

Закончилось дело в непроглядную осеннюю ночь. И была эта ночь, пожалуй, во сто раз ненастнее, угрюмее и дождливее того осеннего утра, в которое началось дело. Так сказать, тьма тьму била в сыром и как бы горько встосковавшемся о чем-то воздухе. Дождь лил как из ведра, ветер выл совершенно понятные слова:

«Вот я вас! Ого-го! Огу-гу-гу! Вот я вас».

Фонари, освещавшие столицу, так-то жалобно, так-то скорбно моргали, словно бы старались удержать незримые и неведомые Московской думе слезы свои, которая в жестокосердии своем отпускает им так мало посконного масла, называя его и спиртом, и керосином, и минеральным маслом, и разными другими почетными и современными именами... Жалобы фонарей, точно так же, как и взвизги ветра, можно было очень ясно расслышать. Они плакались:

«Что же мы с такой темной ночью поделаем?.. Ничего!..»

И тут они расставляли свои тонкие, кривые, железные руки с видом человека, сильно недоумевающего, и глубоко вздыхали; а улица оставалась попрежнему такою темною, что зги не было видно, и дождь тоже хлестал, и ветер громыхал жестяными крышами, и, разбуженный этим громыханьем, будочник, как и вчера, глубоко, протяжно и громко зевал и секретно поверял пустой улице такие слова:

— Одначе как много дьяволов завелось на потолке у мещанки Кривохвостовой. Надо ей об этом беспременно завтра сказать... Все, может, разорится она на шкалку за такой доклад.

В такое-то время из густого сада, опушавшего дом Переметчикова, над которым, как бы не в пример прочему, особенно гневно раскинулось сердитое осеннее небо, — в это время, говорю, из сада на улицу светились тонкие, но частые огоньки от свечей и лампад, затепленных пред образами в уединенной келийке отца-Гаврилы. Они только одни да шум столетних деревьев говорили пустынной и безмолвной улице, что дескать:

«Ах! Не одна ты здесь! Поменьше тоскуй».

Улица, точно, была не одна: на заборе Переметчикова сада сидел Кондрат Добыча и пристально во что-то всматривался.

— Что, Кондрат Иваныч, — спросил его кто-то из густых, хотя уже давно облетевших, малиновых кустов: — не едут еще?

— Не ори ты, шутова голова! — отвечал Добыча. — Когда приедут, скажу; не все ведь такие зеваки, как ты. Дай-ка я покамест для храбрости цапану...

Послышалась выпивка на заборе и вместе с тем сдержанный лошадиный хляск на конце переулка. Добыча соскочил с забора и прерывистым шопотом прошептал малиновым кустам:

— Держись крепче, ребята! Ломы чтобы, главное, наготове были. Как скажу: действуй, — так и валяй.

— Бо-о-же! — слышалось в то же время с тесового крыльца келии отца-Гаврилы. — На враги же победу и одоление...

Несколько голов показалось на том же заборе, с которого только что слез Добыча. Они перешептывались насчет того, кому первому в сад лезть.

— Я ни за что не пойду прежде всех, — шептал кто-то: — потому Добыча теперь беспременно у них. Живот вынет, ежели под первый кулак к нему подвернешься.

— О, дьяволы! — вслух проворчал какой-то медвежий бас, и тут же бас этот тучей скатился с забора в густой бурьян, опушавший забор сада. — Идите, лезьте, черти!.. Никого нет.

Головы, торчавшие на заборе, после этих слов все дружно попадали в сад.

— Теперича все вы тут, али нет? — громко вскрикнул Кондрат Добыча, бросаясь на кучера. — Теперича я тебя, Исай Петрович, потешу, я тебя поте-е-шу! Хозяева твои говорят, что сильней тебя во всем свете нет, — теперича мы поглядим на это, на силу-то на твою, пог-г-ля-ядим!..

Тут зазвенели ломы, застучали дубины, и раздался страшный, задушаемый голос кучера:

— Дру-у-г! Анкудин! Заступись: душит!

— А вот мы и Анкудина попробуем сейчас! — словно чорт этой дьявольской ночи, грохотал Добыча. — Я у него теперича другую руку намерен испробовать...

Но оставшеюся здоровой рукой Анкудин сокрушил вековой забор Переметчикова сада — и был таков.

— Где хозяева? Где хозяева? — рычал Добыча, как зверь, вывертывая руку у кого-то из поголовной, как он говорил, сволочи. — Сказывай: где? Я кишки из какой-нибудь шельмы выпущу, потому не обиждай занапрасно.

— На вр-р-раги же победу и одоление! — перебивала Переметчиковская молитва костоломную суетню сада.

— Голубчик, Кондрат Иваныч! — кричал человек, которого пытал Добыча:—пусти ты меня Христа ради... Наше дело — все равно как твое, подневольное; а хозяева уехадчи, потому они за забором с лошадьми были.

— А-а-а! — лютовал Добыча. — Я бы им, я бы их...

— Охо, х-хо, х-хо! — орал юродивый, вырвавшись из кельи и бегая по капустным грядкам, в которые завалились оставшиеся борцы.— Хо, х-хо!

— Взыскал ты меня, боже мой, над врагами моими!.. — громко молился на крылечке Переметчиков.

— Уж истинно, что мамаево побоище! — радостно говорил Добыче главный помощник его в победе, подкучер Дмитрий. — Пошел бы ты, Кондрат Иваныч, попросил бы у чорта-то на чаишко. Теперь бы в ночь-то пустить ничего... Ей-богу! Оченно бы это прикрасно!

— Я и то сейчас подкачусь к нему... — шепнул Добыча. — Только вряд ли даст теперича, потому дело мы ему уж обделали... Они ведь, эти купцы, хоша и неотесы, а надувать здоровы...

1865

БЕСПЕЧАЛЬНЫЙ НАРОД

ШОССЕЙНЫЕ ТИПЫ, КАРТИНЫ И СЦЕНЫ

I

В одной из своих крайних улиц Петербург воздвиг гигантские чугунные ворота с грозными воинами в полном боевом вооружении.

Обомшели и заржавели теперь старые ворота, грозные очи воинов, стороживших их, закрыты навеки, и хотя, как подобает героям, герои ворот сохранили еще свои угрожающие позы, показывая всем четырем сторонам божьего мира острые бердыши и долгомерные копья, но, счастливо минуя все эти боевые ужасы, бешеным, неудержимым и ни на минуту не прерывающимся потоком и в Петербург и из Петербурга мчится деятельная жизнь, заливая своими тревожными полчищами одичалые пространства, с каждым днем все далее и далее оттесняя куда-то в даль царившую в них тишину и поселяя вместо нее громкий гул человеческой деятельности...

Несколько лет тому назад, случайно наткнувшись на это место, я ужасно полюбил его, потому что тут я впервые увидал эту грандиозную битву, которую ведут люди с пустынями.

С каждым годом под мощной и терпеливой рукой человека сглаживаются волнистые хребты пустыни, от жаркого дыханья рабочих масс высыхают болота, — и эта зеленая куга и высокие

камыши, которые столько лет в таком красивом сне раскачивались над водами, скрывая их никому не ведомые тайны, беспомощно упали теперь пожелтелые — и гниют...

Свои дремучие, вековые леса пустыня тоже с каждым днем все больше и больше отводит куда-то назад, — должно быть, ищет позицию, где бы она с успехом могла дать врагу-человеку генеральную битву.

А между тем с каждым уступленным пустынею шагом человек делается все дерзче и дерзче. Вот неподалеку от шоссе вместо тех непроходимых топей, которые несколько лет тому назад так ревниво были укрываемы сумрачными дубравами, зеленеют уже веселые, на далекое пространство раскинувшиеся равнины. С них, вместо их недавнего вечного молчания, на шоссе слышатся громкие крики быстро передвигающихся войск, грохот барабанов и треск ружейной пальбы, а по самому шоссе, проложенному в прибрежных трясинах, неугомонно тянутся суетливые толпы различного народа, слитым гвалтом своих разговоров оглушая и прогоняя из пустыни всякую жизнь, исключительно населявшую ее прежде...

Шатаясь много лет по изображаемой местности, мне часто приходилось отдыхать в какой-нибудь лесной глуши, где почти на виду у меня, в прикрытом высокими порослями болотце, крякали и плескались дикие утки. Дым моей папироски и шорох нисколько не пугал их. Пушечные выстрелы, раздававшиеся с соседнего учебного поля, только на секунду тревожили их, заставляя приподнять пестрые головки и бес-

покойно крякнуть, что не случилось ли, дескать, поблизости чего-нибудь такого, что обыкновенно заставляет птицу расправлять свои всегда готовые к полету крылья.

«Ничего, ничего! — раздавался успокаивающий ответ вожаков утиной стаи. — Это так... не по нас. Это очень далеко отсюда», — и после этого лесная дебрь опять предавалась своему царственному молчанию, которое ничуть не нарушалось ни бульканьем и всплесками птиц, гонявшихся за болотными насекомыми, ни гуденьем шмелей и мух, обильно роившихся над тинистой почвой.

Дичь и глушь — полные. Всю зиму помнишь такое тихое место. Поплетешься туда на следующее лето — взглянуть, живы ли, мол, в том леску мои грустные думы, которые я поселил в нем в прошлом году, — смотришь, а уж на месте болотца с беззаботными утками стоит новенький форменный домик с резным крылечком, на котором меланхолически восседает какой-нибудь отставной ветеран, из-под густых и седых усов которого узорчатыми струйками вылетает столь далеко пахнущий дым махорки. Дремучий лес посторонился от домика во все четыре стороны, и на образовавшейся от этого поляне пасется на длинной веревке корова, греется большая собака, — в расчищенном и сделавшемся похожим на пруд болоте ворочаются домашние утки и гуси. Тут же стоит заботливой рукою причесанная копенка сена с распростертым около нее здоровым мужиком в ситцевой рубахе, в суконной жилетке, по которой развешена бронзовая часовая цепочка, и

в больших сапогах, роскошно смазанных дегтем. Затем над домиком витали тишины и дрема, изредка прогоняемые налетевшим из лесу ветерком...

Смотря на такую картину, в каждом штрихе которой виднелись одиночество и беспомощность, никак нельзя было отгадать причины, смогшей привлечь сюда человека на постоянное житье.

— Помогай бог, служба! — начинается разговор, имеющий целью выпытать от солдата, как он сюда попал, что делает, чем живет и проч. и проч.

— А-а? — радостно отзывается солдат живому голосу. — Милости просим, — и при этом приглашении он предупредительно спешит очистить редкому гостю место на только что отструганной лавочке.

— Что это вы, старина, словно медведь какой, в такую глушь забрались? Или по деревням-то мест нет?

Солдат весело шевелит усами, приветствуя слово, сравнившее его с медведем, — и пошла история.

Начинается в это время на тихом крылечке нескончаемый разговор про тридцатилетнюю службу. Оказывается из этого рассказа, что у солдата в настоящую минуту три медали и георгиевский крест, двенадцать ран и четыре контузии, в ушах большой шум, а ноги к ненастью мозжат до такой степени, что, по собственному признанию рассказчика, перед ненастным временем визжит он от этих ног, как связанный просук.

— Учен я такожде, сударь ты мой, сапожному мастерству,—продолжается словоохотливая речь одинокого солдата, — и правду ежели говорить, так немец один, — в Малой Подъяческой сапожный магазин у него, — давал мне в месяц семь серебра на евойных харчах, но только я не пошел, потому всякой сволочи подражать не намерен... Опять же, признаться, и запивойству этому самому, грешным делом, очень даже довольно подвержен; а при хозяине жить с эвтаким мастерством не годится. Народ только в искушенье введешь, — осуждать будут. Мы эти дела, полковую службу прошодчи, вплоть понимаем.

— Как же вы сюда-то попали, старина? Домик-то этот ваш, что ли?

— Кой там бес мой? Откуда я его возьму? Из ранца, что ли, прикажешь вытащить. Так ведь я не фокусник, чтобы, то-есть, изо рта разноцветные ленты тянуть. А попал я сюда истинно по тому случаю, что от жены бегаю. Вот уж седьмой год пошел, как я от ней себя сокрываю. Люта, — не приведи бог! Теперь вот того и гляжу, — сюда привалит. Ну-ка, скажет, старый чорт, распоясывайся, — отпущай на прокорм супруге третью часть по закону. Поведенья-то она у меня не так чтобы эдакого, то-есть исправного, — больше все по приказным шатается; ну, они ей эти самые прошенья на меня и прописывают. И так, сказываю, бумагами своими они меня загоняли, — страсть! Ровно волк я от них утекаю. Однова приютился так-то в Курской губернии у сельского попа на пчельнике (мы к этой пчелиной части сызмальства еще дедушкой-покойником поприучены) и

думаю: ну-ка, мол, найди меня здесь! Сам, признаться, радуюсь, потому как можно найти кого-нибудь на пчельнике у попа? Но только радости моей конец скоро пришел. Сижу я так-то однажды — с пчелками разговариваю, — вдруг из волости десятский на пчельник ко мне: «Ты, говорит, солдат, почему так закону не исполняешь? Тебя, говорит, супруга в третьей части обжаловала. Бумага из Питера насчет тебя у нас в правленье получена. Иди!» Ну, значит, и разорила! Вот и теперь, верно знаю, спугнет она меня и с этого гнезда.

— Как же вы на это гнездо попали?

— А так! купцу я одному очень полюбился. Вот он мне и говорит: чем тебе, говорит, по Питеру слонов продавать да с женой судиться, — поди лучше ко мне в сторожа. Я, объясняет, дачу купил не вдали от шоссе и хочу там ватный завод строить. Ну, я и пошел и засел здесь, — раздолье! По крайности, хоть языку-то этого бабьего не слыхать.

— Ну, а как же насчет провизии? Ведь тоже пить-есть надо.

— Уж это как есть! Закупаю больше в городе. На неделю, на две искуплю хлебушка — и сижу. А то недалечко деревенька отсюда, — за лесом укрывается, — так там лавка есть, харчевня, — туда тоже хожу.

— И скоро будут строить завод?

— Да вон подрядчик уж здесь с неделю торчит, — указал солдат на мужика, спавшего у сенной копны. — Все места, по хозяйскому приказу, оглядывает: как, что и где. Но только, надо полагать, малость увидит.

— Что так?

— Сокрушается очень.

— Как это сокрушается?

— Да так! Пьет, ровно леший какой! Видишь вон, как распластался, совсем в бесчувствии. Уж я ныне на него бочки с две воды вылил, — никак не прочухается.

Удивительнее всех приключений, рассказанных солдатом, было то, что обо всех тычках, которыми так таровато награждала его судьба, он говорил веселым, бойким басом, пересыпая свои излияния вострыми пословицами, загвоздистыми прибаутками и самой безукоризненной иронией отшлифованными насмешками на свой собственный счет. Очевидно было всякому, что в какую бы трущобу ни запрятали этого старого медведя, он нигде не соскучится с своими тридцатилетними воспоминаниями и рассказами, особенно, если у него будет какая-нибудь возможность во время своих дум и разговоров посасывать дымящийся чубучок носогрейки.

Не менее бесшабашных и веселых свойств оказался и подрядчик, спавший в сене. Разбуженный громким голосом солдата, он приподнял немного голову и закричал:

— Эй ты, солдатская музыка! Замузычил опять! Эко горло господь старому дураку послал. Целую неделю уснуть как следует не дает.

Солдат ответил на это раскатистым смехом.

— Проснулся? Трубочки курнуть не хочешь ли? — потчевал он подрядчика.

— Провались ты и с трубкой с своей! Осталось, что ли, водки-то? Хоть бы каплю какую...

Так это голова балуст, — беда! Все кружится у меня в глазах. Ах, лес этот проклятый, как шустро бежит! Корова эта самая за им... Куды? куды? Погоди хвост-от задирать... Ну, брат Парфен, пошла писать! И Арабка дралки от меня... Ха, ха, ха! Неси скорей водку, старый хрен, не то, надо думать, и сам я куда-нибудь убегу. Ха, ха, ха! Тащи скорее.

С еще более громким хохотом солдат торопился нацедить водки из какого-то глиняного бочонка в большущий стакан, крикливо советуя в то же время подрядчику не бегать с лесом, коровой и Арабкой, ибо крещеному человеку, выходило по солдатским думам, не по дороге со всякой животиной шататься.

— Подожди вот лучше стаканчика этого, — грохотал солдат. — С ним куда хочешь иди. Ха, ха, ха! Он тебя во всякое место приведет самым благополучным манером. Верно! Приведет и выведет... Ха, ха, ха!

После стакана, выпитого подрядчиком, он, как бы поднятый какою-нибудь невидимою машиной, вдруг вскочил на ноги, протер глаза рукавом своей рубахи, почерпнул из лужи на лицо себе две-три горсти воды и, взбежавши на крыльцо, подал мне руку, с какою-то ласковою торопливостью пожал мою и заговорил:

— Откуда, барин, господь бог принес? А мы тут с стариком все пьянствуем. Ты не гляди, что он старик, — к нему и теперь бабы из Константиновки шляются.

— Ха, ха, ха! — басовито радовался солдат.— О, чорт! Ведь выдумает же, дьявол эдакой!

— Выдумает! Чего тут выдумывать-то? Он, барин, трех жен засудил. Теперича утруждает вышнее начальство в том собственно разе, штобы приказано ему было на четвертой жениться. Уж и зубы себе у доктора-немца на Невском вставил... А пропади ты пропадом эта голова! — вдруг оборвал подрядчик свой разговор. — Все еще кружится. Ну-ка, дедушка Парфен, поставь мне ее на настоящее место, чтоб, значит, она не вертелась: наливай-ко-сь три посудины. Все, может, оно складней пойдут делишки-то. Чайку бы теперь хорошо тоже обладить, со сливочками. Я, пожалуй, корову-то сам подою, покамест молодая хозяйка-то к тебе прикатит.

— Ступай, ступай, дой корову, ежели умеешь, — радостно отозвался солдат, — а я тем временем к Верке за самоваром сбегаю.

— Тащи уж и ее для компании, — посоветовал подрядчик. — Все же с бабой веселей будет. Да прихвати там четвертную, что ли! Ведь не псальмы же мне с тобой, с старым чортом, распевать здесь. Я без вина, чувствую, совсем с тобой поколею.

— Да будет тебе, чорт, — отрезонивал солдат. — Все четвертную да четвертную... Когда ты, идол, за дело-то примешься?

— А ну тебя во все четыре дороги... Бежи-ка скорей, чем раздабарывать-то...

Любо было смотреть на этих двух людей, когда один из них, голова которого только что сейчас кружилась, как крылья ветряной мельницы, с ловкостью патентованной коровницы подсел с подойником под корову, а другой, не-

смотря на свои семьдесят лет, стремглав бросился в неведомую даль за каким-то самоваром к какой-то Верке.

Не успел я как следует всмотреться в столь любимую мною пастораль, являвшуюся мне на этот раз в виде задумчиво и тихо стоявшей коровы в рамке из настоящего соснового леса, физиономию которой, доселе веселую и беззаботную, надвигавшиеся сумерки с каждой секундой гримировали все серьезнее и серьезнее, — не успел я вслушаться в столь любимый мною звук, обыкновенно раздающийся летними вечерами на сельских дворах, когда хозяйки выдаивают в звонкие горшки теплое молоко, как вдали в лесу раздалось шуршание веток, отталкиваемых поспешным человеческим бегом, стук чего-то обо что-то металлическое, и затем уже мой обнеженный безмятежною картиною слух резанул своим смешливым басищем появившийся перед крыльцом солдат.

— Вот он! — орал старичина, погромыхивая ярко светлевшимся в вечернем сумраке самоваром. — Насилу отпустила его со мною проклятая эта Верка. Говорит: как бы ты его у меня, солдабат проклятый, не пропил. Ха, ха, ха! Я говорю ей: боисся, шельма, солдата, да о тем взял, стащил самоварину с печки — и ушел.

— Молодец! — похвалил старика подрядчик из-под коровы. — Што же, она сама-то придет?

— Да уж это как пить дать! — уверял солдат, накаливая самовар еловыми шишками. — Такая она баба, штобы выпивку у соседев про-

пустить могла!.. Она, брат, свои дела в тонкости понимает... На то она и вдова... Ха, ха, ха!..

В скорости объявилась и неизвестная до сих пор Верка. Она принадлежала к разряду тех женщин, которые так обильно рассыпаны по кабакам больших торговых сел и по проезжим дорогам, где с своими ручными тележонками, нагруженными хлебом, калачами, рубцами и печенками, терпеливо заседают с раннего утра до позднего вечера, не стесняясь ни палящим зноем, ни проливными дождями.

Во всю жизнь свою вращаясь в среде ямщиков, извозчиков и разного рода странствующих торгашей, такие женщины очень скоро приобретают не только развязные манеры этого люда, но даже и совсем делаются мужчинами, с басовитою, ничем не стесняющеюся речью и с кулаками, готовыми во всякое время против любого из дорожных удальцов отстаивать свои гражданственные права.

Одета была присоединившаяся к нашему обществу женщина в какое-то синее, ватное, с круглым воротником, пальто, крепко подпоясанное пестрым мужицким кушаком. Из-под пальто, немного пониже колен, спускалась ситцевая полинялая юбка, а на ногах красовались здоровенные мужичьи сапоги. Выходя к нам из лесу развалистым шагом извозчика, идущего за неторопливым обозом, она вальяжно поплевывала на все стороны шелухой подсолнечных семян, за которыми то и дело рука ее опускалась в карман ватного пальто. При этих движениях можно было очень хорошо рассмотреть, что руки ее были большие, мускулистые и красные,

точь-в-точь как у молодых приказчиков в свечных и масляных лавках, и что на руках этих блестели те характерные, оловянные и медные кольца, которые в таком изобилии получаются и раздаются означенными молодцами «в знак любви».

— Это што же ты этто, солдатище поганый, какую-такую новость еще придумал? — бойким голосом заговорила Вера, угрожающе покручивая головою, завернутою в толстый ковровый платок. — Ты уж на старости лет с ума не сошел ли? Самовары придумал чужие таскать... А?

Солдат заливался своим обыкновенным, радостным хохотом, ничуть не смущаясь ни обличением Веры, ни злым, наподобие змеиного, шипением самовара, который, зачуяв заступницу-хозяйку, ерепенился все больше и больше и, как бы подлаживаясь к ее недовольному солдатским поведением тону, с храбро подпертыми в бока ручками, тоже покрикивал и погакивал на солдата:

«А, солдат, попался! Ты самовары стал воровать? — с ярко светившейся в вечерней мгле улыбкой звенел самовар. — Не-ет! Подождешь... Не-ет! Мы с хозяйкой хоть и бабы, а обидеть нас вряд ли кому доведется... Так-то!»

— Уж ты, Вера Павловна, — вмешался подрядчик,—не очень пужай у меня солдата-то. Он и так у меня нонишнего числа дюже испуган. Такие напасти на нас с ним, — беда!

— Што так? — спрашивала Вера.

— Ну-ну! — сердито забасил сам солдат, мгновенно переставши грохотать. — Выдумывай там! — Голос старика становился, если можно

так выразиться, все медвежистее и медвежистее. — Выдумывай, выдумывай! — повторял он. свирепо громыхая чайными чашками.—Небойсь, у тебя от выдумок-то голова не заболит.

На такие, повидимому, вовсе не смешные речи подрядчик и Вера Павловна отвечали взрывами самого веселого смеха.

— А-а! — хохотал подрядчик. — Сердиться стал, старый шут. Погоди! Сичас барину расскажу, какие-такие напасти на тебя навалились. Барин! Слушайте-ко-сь...

— Ну, ну, малый, гляди... — бурчал солдат.

— Да что мне глядеть? Глядеть-то мне на тебя вовсе, так надо полагать, не стоит, потому вы, старичок божий, узорами-то не так чтобы уж очень цветными исписаны. Верушка! Слушай-ко-сь: старички-то наши, ха, ха, ха, каковы!..

— Эх т-ты, Амеля! Што в ум взбредет, то и меля, — сердито и укоризненно отгрызался солдат, но подрядчик не слушал его. Продолжая хохотать, он толкал под бока и меня и Верушку и кричал:

— Не-ет, барин! Вон они—старики-то—ныне какие! С двенадцатого года еще вот этот самый дед Парфен крупой в казну задолжал — и не отдает... А? Ха, ха, ха! Правительствующий сенат от его долгу теперича в большом огорченьи... Ха, ха, ха!

— Ха, ха, ха! — вторила подрядчику Вера.

«Ха, ха, ха! — трезвонил им вслед самовар.— Што, солдат, попался? Они тебя проберут теперь. Небойсь, перестанешь ты теперь воровать нашего брата!»

— Выдумывай, выдумывай! — уже совсем грозно рычал солдат, ворочаясь в какой-то худобе под лавкой. Доселе добродушное лицо его сатанело все больше и больше,—он исподлобья время от времени поглядывал на подрядчика, как бы отыскивая в нем такое местечко, в которое можно было бы за один раз уязвить его на смерть и таким манером отомстить за все насмешки.

Подрядчик между тем разбалтывался все больше и больше. Шепнувши мне, что старик терпеть не может, когда говорят ему про этот якобы долг правительствующему синату, оба они с Верой принялись тормошить его, всячески усовещевая не убытчиты казны.

— Ни храшо, дедушка, ни храшо долгов не платить. Это тебе довольно стыдно. Нас, молодых, по-настоящему, тебе бы учить следовало.

— Да кому же и учить, как не старичкам! — вторила Вера Павловна, тоже в свою очередь потряхивая солдата, взявши его за грудь. — Теперича, ежели старики от нас, от молодых, откажутся... Ха, ха, ха!.. Что мы тогда без них поделаем?..

Солдат молчаливо старался освободиться из рук своих мучителей, неуклюже отвертываясь от них и бормоча по временам: «Ну да будет уж! Не махонькие! Эк видь придvмают же!» Но веселая пара не унималась. К убедительным просьбам об уплате казенных круп присоединены были еще убедительнейшие усовещевания насчет того собственно, что нужно же ему, солдату, при близком конце своей жизни, вспомнить господа бога и, вспомнивши, сейчас же отправляться к жене и успокоить ее. Все это

было выражено такой пронзительно-насмешливой речью и сопровождалось такими плутовскими подмигиваниями, что солдат не вытерпел наконец. Быстрым порывом оттолкнул он от себя подрядчика и Веру, азартно располыхнул на себе рубаху и заорал:

— Да вы што же это в сам-деле пристали ко мне, дьяволы? — С этим окриком он схватил лежавший под скамейкой топор и бросился на насмешников. Те прыснули от него в разные стороны — и по полю началась крикливая гоньба, все больше и раздражавшая солдата, и смешившая его баловливых противников.

— Дедушка! — издали умолял запыхавшийся подрядчик. — Дай пардону, пожалуйста, — устал. Пойдем помиримся, водочки выпьем.

— Я тебе дам пардону, — шипел солдат в ответ подрядчику, бойким налетом обращая его в новое и постыдное бегство. — Я тебе говорил: не дразнись!

— Дедушка миленький! — кричала в свою очередь Вера Павловна, отвлекая солдата, совсем было уже наскакавшего на подрядчика. — Хоть со мной-то, с бабой, замирись на минуту... Сичас умереть, с этого самого дня никогда тебя беспокоить не буду. И самовар бери у меня сколько угодно.

— Погоди, шкура барабанная! Дай срок, еще я с тобой замирюсь, — грозил солдат, стараясь в то же время щелкнуть по башке подрядчика, который смеялся над ним, укрывшись за толстым деревом.

— Не-ет, не укроешься за деревом-то, — совсем как рассерженное дитя, лютовал стари-

чина. — Да-астану! Я тебе голову-то расколупаю: не выдумывай!..

— Ха, ха, ха! — смеялся подрядчик, выглядывая на солдата то с одного бока дерева, то с другого. — Тронь только, солдатище, сичас к твоей жене в Питер отправлюсь... Мне все равно, где ни ночевать... Ха, ха, ха! У тебя ли, у ней ли... Еще у ней-то мне, может, в двадцать пять раз располагней! Ха, ха, ха!

Зарычала в это время стариковская грудь до того болезненно и вместе с тем сердито, что шутка, начатая так весело, могла бы окончиться очень плачевно, если бы Вера Павловна, подкравшись сзади к солдату, не засела к нему на плечи верхом. Живо схватила она могуче взмахнувшую топором руку, стиснула она ее так, что топор брякнулся в траву, и потом, не переставая хохотать, она принялась целовать солдата, клятвенно уверяя его, что она ни в кого не была еще так влюблена, как в него, старого дьявола, и что ежели он хочет, так она будет кажинный вечер ходить к нему чай пить.

— Чем только ты прельстил меня, старый шут? — спрашивала и с недоумением, и со смехом Вера Павловна у солдата, сидя у него на плечах, между тем как подрядчик, ухвативши его за обе руки, тихо и осторожно подводил к крыльцу, словно усмиренную лошадь.

— Нн-ну, дед! Нечего тут упрямиться-то! Лучше нам теперь с тобой смириться надоть. Эко, в самом деле, при старости лет, шутки не распознал, за топор схватился. Эко, правду-то сказать, до чево тебя, старый демон, бесы-то обуяли в одиноком месте.

Вследствие сильного конфуза, охватившего солдатское лицо при напоминании о схваченном и взмахнутом на веселую, дружескую шутку топоре, по глубоким морщинам этого лица разлились, как полая вода по канавам, печальные тени стыда за свою горячность, желание быть прощенным в такой вине, за которую, по-настоящему, следовало бы закатить обвинителю первейшего сорта плюху... Багровые и синие оттенки, легшие было по впадинам солдатского лба, откликаясь ласкам подрядчика и Веры Павловны, постепенно исчезали. Можно было, несмотря на темный вечер, видеть, что старик ничуть не прочь от компании, лишь бы только представилась мало-мальская возможность поладить с дурацким грохотаньем этой компании над ним, стариком-солдатом, и над его питерской молодою женой.

— Ну, ну,—бурлил солдат перешедшим в мягкий тон голосом. — Не буду, не буду, пристыдили... Ну вас совсем! Эки, черти, надсмешливые какие!

Говоря это, он потихоньку старался снять с своего загорбка оседлавшую его Веру Павловну, — тихо так старался совершить это, чтобы, избави боже, не полетела женщина с высокой спины и не брякнулась об сырую землю, — исподволь поталкивал подрядчика под локти, чтобы он выпустил его из своих крепких рук, и временами стыдливо усовещевал:

— Да будет же!.. Ну, ведь, пристанут!.. Всегда вот от вас спокою мне нет... Говорил: не приставайте...

— А, спокаился, старый! — смеялся подрядчик. — Иди теперича водку пить. Барину без нас скучно.

— Слава богу! — откликнулась Вера Павловна. — Што? Усмирился? — толковала она солдату и при этом, все равно как бы мужу, ворошила ему волосы, осыпая его в то же время несчетным количеством поцелуев. — Будет, будет сражаться-то! Иди-ка вот подноси луччи! Самовар-то, небойсь, не даром украл у меня, теперича потчивай, а то завтра же бумагу на тебя взбухаю. Так и так, мол, ваше в-дие, солдат, мол, у меня — у бедной вдовы — самовар стащил...

Скоро после этого общество, рассевшееся было на господский манер за самоваром, решительно ополоумело, подгоняемое подрядчиком пить поскорее как можно, чтобы, как он говорил, души не тосковали. Послышались какие-то совсем неподходящие разговоры:

— Ты меня как понимаешь, старый чорт? — приставала Вера Павловна к солдату. — Ты за што свою супругу не почитаешь? Рази ты можешь понимать женское сердце? А?

— Стой, Верка, стой! — перекрикивал ее подрядчик, обращаясь ко мне.—Ты, барин, по чему по такому не пьешь? Ты, может, теперича брезгаешь нами, што вот мы с тобою в компанью взошли. Как ты теперича полагаешь про нашу с тобою за этот случай расправу? Ведь здесь шоссе... Ведь теперича, правду-то ежели говорить, ночь...

— Барин! Барин! — перебила подрядчиков нехороший разговор Вера Павловна. — Нет!

Слушай: могут они — эфти самые мужичье — понимать как следует женское сердце? Смолоду, с господами водимшись, они па-ан-нимал-ли; ну этим таких понятиев не дадено... Крушишься, крушишься с ними... Ах!.. Кажется бы...

Восклицая таким манером, Вера Павловна отчаянно всплескивала руками и горько плакала, — я старался успокоить ее. Подрядчик никак не отставал от меня.

— Почему ты не пьешь? Ты, может, от меня Верку отбить хочешь? Я почем знаю...

— Нне-ет! Он не отобьет! — с глубоким убеждением говорил солдат, энергично постукивая по столу чайником. — Н-не-ет! Это ты вре-ешь! Он не из таковских! Он ко мне пришел, не к тебе. Ты да-а-кажи прежде всего...

— А ежели ты барин, — приставал ко мне подрядчик, — посылай за господским вином. Мы тебя своим мужицким угощали, угости нас своим господским. Я господские вины очень люблю... Теперича: мушкатель, алибо это, как его, беса?..

— Взять-то где, друг? — спрашивал я, проникнувшись глубоким сознанием в справедливости подрядчиковых слов, что я темною ночью и захожим, одиноким человеком сижу на шоссе в незнакомом домике с незнакомыми и здорово выпившими людьми. — Ты вот, чем поталкивать-то меня, давно бы уж сказал, где и как этим господским вином раздобыться, я сичас и угостил бы... Рази мы за этим стоим?

— Целуй! — заорал подрядчик. — Люблю молодца! Думал, што ты через это в обиду взойдешь. Я бы тогда тебя разутюжил... Целуй!

Начались крепкие и общие всего случайного сборища целования.

— Целуйси, барин, со мной! — не то плакала, не то в азарте приказывала мне Вера Павловна. — Я давно не целовалась с такими-то. Они — эти дьяволы-то — разве што понимают...

— Нет, ты вот с солдатом-то похристосывайся, милый человек! Солдат-то, он, может, всякого за тыщу верст разглядит: кто, как, што такое, чем занимаетца! Ха! ха! ха! У нас тру-удно! Мы всякое знаем. Подрядчик! Наливай нам с барином, потому против меня ты своими годами моложе, а с барином не можешь чинами тягаться...

Отдавался старик всем этим соображениям уже не как прежде — весело и снисходительно похохатывая в полной готовности оказать милому человеку всякую услугу, добродушно перенесть от него всякую штуку; напротив, теперь он вальяжно развалился на скамейке, протянул длинные ноги и по-фельдфебельски насурьезил свое лицо.

Против всякого ожидания, подрядчик, недавно еще так деспотически распоряжавшийся солдатом, в это время, повинуясь его слову, сейчас же принялся с поклонами угощать всех нас вином, купленным на его же деньги, и чем дальше шло опьянение, тем солдат делался все требовательнее и повелительнее, а подрядчик уступчивее и исполнительнее.

— Мы, теперича, его бережем, — шепнул мне подрядчик, несмотря на то, что был сильно пьян. — Старик ведь, сами посудите — много ли ему надо? И кроме того жисть это у него самая

вот какая, што собаке дорожной не захочешь. Ну и спускаем... По эфтому по самому... Жалеючи... Мы его любим...

— Ну, ну, наливай мне! — покрикивал солдат. — Што там шепчешься? Опять, может, надо мной надсмеиваешься?

— Кушай, кушай, дедушка! — смиренно и печально потчевала деда Вера Павловна, стоя перед ним с здоровым стаканищем. — Какие там еще надсмешки придумал? Пошутили малость, ну и будет... Смирись-ка!

— Вот это я люблю, потому зачем нам друг на друга обижаться? А ежели бы я, то-есть, этого послушанья от вас не увидал, я бы вас всех расшиб. Вот и барина тоже заодно вместе с вами расшиб бы. Вы думаете: я не вижу? Вы думаете, небойсь: пьян напился старик? Не-ет, паас-стой, шал-лишь!

Выпивка с каждой минутой крепчала все больше и больше. Подрядчик бегал куда-то за господским вином, которое он скоро и притащил в большом рогожном кульке в таких размерах, про какие с ужасом говорится: батюшки! Да тут не есть числа... В скорости на нашем столе гордо выстроилась батарея бутылок, аляповато разукрашенных золочеными бумажками, рекомендовавшими, что в одних бутылках заключался — *херес самый вышей*, в других смиренно янтарился — *ром имайской фторова сорту;* но смиренство этой печатной надписи было отличным образом выкуплено каким-то, очевидно, презиравшим всякую каллиграфию карандашом, который бойко прописал на печатной этикетке свое следующее личное мнение

о роме второго сорта: *но на скус ах как приятен!* На большинстве принесенных подрядчиком бутылок тот же карандаш просто-напросто, без церемонии, похеривал французские названия, именовавшие вино, и вместо всего этого властительно подписывал: *Эфто па ашипке. Здесь жульент пыпалам с ввещей мадеро! Здесь донская с розами — сорт не Так штоба но крепасть всибе имеит балшую пытаму шипка отдаеть самым нежным пымаранчикам* и т. д. и т. д.

Подрядчик был в восторге от всех этих прелестей. Угощая, он убедительнейше просил всех выкушивать и не жалеть вина, потому оно — этот самый херес — хоша, признаться, и не дешев, только нам все это пустяки!.. Мы, слава богу, на своем веку много всякого видывали...

Горожанина с самым тонким образованием изображал из себя подрядчик в то время, когда обращался с бутылками. Он то с важным видом знатока рассматривал их на свет, приставая к нам с вопросами: «Эдакого не пить? Таккова-то штобы не употреблять? Ды я голову на отсеченье!», то вскользь подсмеивался надо мною собственно, утверждая, что «на такое-то винцо и у господ-то у иных, примерно, губы-то сами по себе оттопыриваются, только не всякий господин может изнять эфдакую бутылку своим капиталом»... Поднося солдату стакан с каким-нибудь сокровищем, он сатирически осведомлялся у него: часто ли их в походках угощали таким-то?.. Солдат весело грохотал на такие запросы и, смакуя вино, без всякой амбиции говорил:

— Нет, брат, не так чтобы очень часто, ей-богу! Ха, ха, ха! Подлей-ка вон еще энтого-то мне в стакан — желтого-то... Я опробую малость!.. Ух! хорошо жить этим богачам — шельминым детям!.. Н-ну, напитки!

Только одна Вера Павловна — и то косвенно, в разговоре со мной — выражала подрядчику некоторую оппозицию, рассказывая, что нет ничего хуже на свете рабочих мужиков, которые по дорогам с своими инструментами шляются.

— Вот хошь бы этот демон! — указывала она мне на подрячика. — Шляется, шляется так-то по целым дням, в иное время с голоду околевает, штобы это скопить, то-есть, побольше денег и разом форсу на них задать. А кто в его форсе нуждается? Его же всякий человек просмеет... Лучше бы жене в деревню послал. Небойсь, ребятишки там с голоду все перемерли.

— Вера Павловна! — как бы глубоко удивляясь несправедливости этой речи, восклицал подрядчик. — А-ахх, Вера Павловна! — укорял он ее, внушительно покачивая головою. — С-стыдна, матушка, вам так рассуждать про гысспод кавалеров! С-стыдна! Кавалер, што нонишнего числа ежели пропил, завтришнего числа, будем говорить примером, он в тыщу раз того больше достанет... Не ожидали мы от вас...

Пошли тут у новопожалованного кавалера с Верой Павловной по различным жизненным пунктам страшные препирательства. Все больше и больше входя в роль городского франта, в совершенстве знающего, что и как делается на белом свете, кавалер, несмотря на то, что Вера

Павловна обзывала его бахвалом и дураком, с какою-то исполненной особой учтивости манерой, очевидно, доставлявшей самому ему громадное удовольствие, уверял ее, что этому поверить образованный человек ни под каким видом не в состоянии.

— Нет, в состоянии! — спорила Вера Павловна, впадая тоже, в свою очередь, в тон светской дамы, расположенная к тому и выпивкой, и роскошными принадлежностями, ее обставлявшими.

— То-есть, ни боже мой, не поверит! — настаивал подрядчик, уставив красное лицо в лицо Веры Павловны и, как настоящий кавалер, заложив руки за спину...

— Што ты дурак-то? Этому не поверят? Ха, ха, ха! — раскатывалась со смеху Вера Павловна. — Тут и верить-то нечему, на лбу прописано: бахвал ты был, — я тебя, слава богу, не один год знаю, — бахвалом на целый свой век и останешься...

Стоя перед карательной Верой Павловной, подрядчик хотя и конфузился, но видимо было, что за этот конфуз он был в такой степени награждаем сознанием своего учтивого терпения, что мало тяготился этим перевесом, который возымела над ним простая, немного выпившая и, главное, ни бельмеса в кавалерских делах не смыслившая женщина.

Даже возглас солдата, вдруг забурлившего: «Эй ты, подрядчик, подходи ко мне, молокосос т-ты эд-дакой, ба-ахвал, я тебя за вихры оттреплю, потому я старик...» — ничуть не рассердил уверенного в себе подрядчика. Он только

отошел от Веры, с сожалением махнул рукой на старика и молча подсел ко мне, красноречивой жестикуляцией стараясь объяснить захожему барину: вот, дескать, в какие несообразные компании затаскивает иногда судьба нашего брата — образованного человека!

Занявшись исключительно общением со мною, он осушил несколько стаканов с самою деликатною смесью и, в пику Вере, принялся сочинять мне великолепную эпопею о том, как у них поживают в родной Костроме, при чем сия губерния, про которую во всех географиях согласно написано не более того, что *Кострома — похабная сторона*, была описана такими блестящими красками, от которых бы нисколько не побледнели красоты Италии.

Смесь, выпитая подрядчиком в ужасающем количестве, разгорячивши его воображение до последней степени, в то же время сковала язык, страстно желавший как можно лучше рассказать сложившуюся в пьяной голове сказку про родину — и выходило из этого то, что и должно было выйти, то-есть несвязное бурленье, вызывавшее со стороны Веры Павловны все большие и большие насмешки, а со стороны солдата яростно-повелительные приказания — подойти к нему, старику, и подставить ему свой овин, чтобы таким образом старик получил возможность поучить уму-разуму бахвала и дурака.

— У нас, я вам прямо скажу, — притворяясь не пьяным, лепетал подрядчик, — у нас мужики иные по сту тыщ «на стороне» наживали... Теперича они купцы...,

— Да ведь не ты нажил-то, бахвал! — подстрекала Вера Павловна. — Вот подожди, совсем скоро прогоришь...

— Про-огоришь и есть! — уверенно соглашался солдат и как бы в предупреждение этого прогорания он, своим обычным тоном, в сотый раз повелевал подрядчику: — Подходи, што ли? я тебя поуччу. Эй, малый! Поскорей подходи, не введи меня в сердце... Верушка! Ну-ка, наливай! Выпьем мы с тобой одни... Ну его к бесам — этого дурака! Сидит тут цельную неделю — пьянствует; а приедет хозяин, кто за него в ответе? Я! Ты, хозяин скажет, што за ним, за дураком, не смотрел, старик? Так-то! Кушай-ка, Верушка!..

Я чувствовал, что мне время было улепетывать из компании, потому что подрядчик в свой интимный разговор со мною начал вклеивать сердитые вводные предложения, характеризовавшие и Верушку, и солдата с очень-очень нехорошей стороны.

— Так-то, барин! Теперича хошь меня взять, я и плотник, я и в лавке могу сидеть, я и в лошадях толк знаю... Ишь ведь, стерва, до сих пор не унимается! — шопотом ответил всезнающий человек замечанию Веры Павловны, перебившей его похвальбу обращением к деду-солдату.

— Дедушка! Ха, ха, ха! Слушай-ко-сь: про что сокровище-то наше толкует: мы, говорит, и в кабаках первые, мы и в трактирах первые, и в трынку завсегда можем сразиться... Одну только правду во весь вечер сказал. Как только его от эфтой правды не разорвало!..

— Верно! — поддакнул совсем опьяневший солдат. — Подходи, подлец, проучу, не то пропадешь без меня.

— Вот ты и угощай таких-то стервецов! Истинно, што не в коня корм пошел. Нашел тоже и я, кого дорогим вином угощать, дурачина. Право, ей-богу, дурачина...

И между тем как подрядчик, уткнувши в ладони недовольную голову, бурлил что-то про тварей, не понимающих хорошего обхожденья, я потихоньку спустился с трехступенчатого крыльца форменного домика, оглядываясь, дошел до леска и по его тихой, обрызганной вечерней росою опушке выбрался на шоссе.

Оглянувшись по направлению к только что покинутому мною домику, я увидел сквозь ветви пройденного мною леса беспокойное и порывистое миганье свечи, стоявшей на резном крылечке вместе с самоваром. Это миганье, то очень ясно вспыхивая, то как будто совсем угасая, представлялось мне бегущим за мною и тревожно молящим:

«Да куда же ты? Ради Христа, царя небесного — воротись! Ведь у нас тут буйство пошло! На смерть раздерутся, пожалуй. Поди, дай им хошь какого-нибудь уйму...»

Признаться, я не послушал этой просьбы. Я, напротив, удирал от нее во все лопатки. За мною по следам стремительно бежал пронзительный крик азартно-бушевавшей драки:

— Кр-раулл! — почти из-за целой версты доносила до меня вечерняя тихая заря звонкий

голос Веры Павловны. — Душегубец! Батюшки! Задушил совсем, помогите!

Вслед за этим выкриком по уснувшему лесу бурей пронесся хриплый бас старика-солдата, тоже кричавший:

— Кр-р-раулл! Н-не-ет-т! Па-ас-стой, бр-р-ра-ат!

Затем мое сторожкое ухо заслышало глухой и пугающий шум ожесточенной свалки... Хотелось бы поскорее встретить человечков двух-трех, побежать с ними к домику и прекратить эту свалку; но, вместо человечков, из-за леса, огибавшего в этом месте шоссе крутым полукружием, навстречу мне вдруг выдвинулась громадная пришоссейная харчевня, с необыкновенной насмешкой смотревшая своими бесчисленными ярко освещенными окнами на многое множество возов, обставлявших ее, на сонных и бессмысленно понуривших свои головы лошадей, впряженных в эти воза, на самое шоссе, на деревья, обставлявшие его, и, наконец, на грандиозные, но не жилые дачи, которые гордо облокотились своими верхними этажами на аллейные чащи, не пускавшие в их зеркальные окна ни дорожной пыли, ни заззвонистых песен ездового шоссейного человечества...

На крыльце харчевни неопределенно рисовались покрытые густым ночным мраком фигуры извозчиков. Словно волчьи глаза светились папироски, которые они курили. Слышен был здоровый грохот:

— А ведь это непременно опять солдат с кем-нибудь сцепился! Экой здоровой какой этот солдат на драку.

— Да што же ему больше делать-то?

— Веселая там у них компания собралась. Верка, это — баба убить — да уехать. Онамедни шалопут какой-то из приказных по шоссе на богомолье шел, — возьми да зашути с нею, так она ему нос откусила. Так это хрящик-то и сцарапала весь — право, ей-богу!

— Ха, ха, ха! — приветствовался этот анекдотик дружным хохотом. — Што же, ничего ей за это не было?

— Да што же с нее возьмешь? У ей, может, и имущества-то всего и есть, што...

— Гра-а, гра, гра!—раскатились новые волны буйного смеха и заставили вздрогнуть тихую и о чем-то глубоко-печальном думавшую ночь.

Подошедши к крыльцу, видно было, что на нем стоят и сидят с десяток ломовых извозчиков, с полами, заткнутыми за кушак, с ременными кнутами, с трубками, вальяжно и непостижимо как придерживаемыми углами губ; несколько мастеровых с ближних фабрик с вонючими папиросками и, наконец, сам хозяин — лысый, апатический старик, в ситцевой рубахе, с расстегнутым воротником, в широких синих штанах и босой. Вытянув на коленях свои длинные руки, он решительно не обращал никакого внимания на те многочисленные шутливые замечания, которые сыпались со стороны общества по случаю криков, долетавших порой до самой харчевни из солдатского домика.

— Кто кого, — хорошо бы узнать, — интересовался молодой фабричный, в немецком сюртуке и в опорках, обутых на босую ногу.

— Што же тут узнавать-то? Ежели теперича Верка за солдата заступится, — подрядчик не выстоит... Ну, а без эстого солдат — пас!.. Туго придется ему, — надо прям говорить.

— Господа! Побежим к солдату, — предложил я, подошедши к крыльцу. — Разнимем их, разведем.

— Ишь ловкой какой! — отвечали мне. — Их теперича сам чорт не растащит! Собак вон, какие ежели, примером, дюже сгрызутся, можно водой хоть разлить; ну, а нашего брата нельзя.

— Да я тебе, барин милый, и то скажу, — унылым голосом помилосердовал над моей неопытностью какой-то фабричный, — што ежели ты всех это людей, какие по шасе ходят, разнимать будешь, — а и-их какую работку на шею себе навалишь! А за работку-то за эту тебе же по шапице накладут, пожалуй, — не посмотрят, што барин. У нас тут по этим местам, милый человек, темно насчет этого, — плохо разбираем... Опять же и по безграмотству простой народ часто не разглядывает: вместе с шапкой-то иной раз, по грехам, и голова прочь отлетит... О, о-хо-хо!

Веселая шутка, выраженная так уныло, встретила единодушное одобрение.

— Эка чорт — тихоня какой! — хохотали извозчики. — Сидит-сидит, да уж и высидит. Говоришь: по грехам прочь тут у нас головы-то отлетают! Ха, ха, ха!

— Да ведь, боже мой! — еще унылее и сокрушеннее воззвал мой советчик. — Ды гыс-спада!.. Сами посудите, рази на всяк час уберегешься?.. Размахнешься так-то иной раз, шутки для ради,

ан глядишь: душа-то эта самая во-она уж где, матушка! — растягивал мастеровой, указывая на небо. — Ведь ее оттуда не снимешь, как курицу с насести... Ведь он, грех-то, невидимо с искушеньем-то к нашему брату подходит... Знамо, как бы он приходил... Конечно што... О, о-охо-хо!..

— Ха, ха, ха! Нев-видим-мо? — спрашивали извозчики. — Ах! И идол же, братцы мои, этот тихоня! Как это онамедни он под Степкиным кабаком господина одного пьяного оборудовал, — не приведи бог! Ха, ха, ха!

— Ну уж это, кажись, не вам бы говорить, не нам бы слушать, — своим обыкновенным, звучащим уныньем и печалью, голосом отрезонил тихоня, сходя с харчевенного крыльца. — Помолчали бы лучше, право; я бы, хоть побожусь, денег бы с вас за это ни копейки не взял.

Затем, обратившись лично ко мне, он тягуче и деликатно сказал:

— Ваше высокоблагородие! Благоволите, пожалуйста, на полштофа мне с ребятишками. Мы вот тут на фабрике бумажной жительствуем, — мимо пойдете, увидите... А что, в случае насчет разниманья, как вы изволили говорить давича, то эфто напрасно, потому тут, я вам доложу-с, караулы эти кажинную секунду провозглашают-с...

— Покойной ночи, господа, — раскланялся тихоня с извозчиками, стоявшими на крыльце, и со мной: — просим прощенья, сударь! Извините, что обеспокоил вашу милость...

И лишь только это мое приятное знакомство скрылось, как поется в одной песне, в темноте ночной, как многознаменательные слова его относительно нередкости караулов в ихних темных

местах блистательно оправдались. Из харчевни, в которой до сих пор разухабистые русские песни целиком, так сказать, проглатывали монотонное голошенье чухон, заглушивши и русских, и чухонских певцов, пересиливши визг скрипки и бумканье и тренькание бубна, разнесся громкий и протяжный караул, явственно повторенный мрачными деревьями чуть-чуть видневшегося в дали леса.

— Вот извольте прислушать-с! — сказал мне тихоня, еще недалеко отошедший от меня. — Каждую секунду так-то, можно сказать. Вот подите-ка, разнимите. Просим прощенья.

— О, чер-рти! — забурчал босой старик с расстегнутым воротом, поднимаясь с лавки так же апатично, как апатично сидел. — Когда на вас, на дьяволов, угомон будет. Ну, уж и задам же вскочку какому лешему, — благо с места подняли...

— Покрепче, дедушка, поприжми, как можно покрепче! Што в самом деле за буянство такое, в кабаке ровно, — советовали дружным хором извозчики, как будто они сами стояли вне всякой возможности произвести в дедушкином трактире драку, смертельнейшую в пятьдесят раз только что начавшейся драки.

— Кр-раул-л! — продолжала выкрикивать многооконная харчевня, сопровождая свой крик звоном разбиваемой посуды, треском и грохотом опрокинутой мебели, человеческим яростным кряхтеньем, вместе с которым обыкновенно рассыпаются молодцовские, сразу укладывающие в гроб, удары и т. д. и т. д.

Всю ночь эту я прошагал по шоссе, околдованный его могучим ночным движением. С каждым шагом все более и более входил я во вкус шоссейной трагикомедии, беспрерывно, в продолжение всей ночи, разыгрывавшейся на тему караул, — трагикомедии, обставленной мрачною ночью, мрачными деревьями, угрюмыми домами, заревом настоящих пожаров и налетавшим изредка на мой правый бок шаловливым, но сильным ветром, который временами отпускал порезвиться на шоссе спокойный в ту пору Финский залив...

Все вокруг меня, исключая человека, было могущественно-спокойно и подавляюще-гордо!..

Сзади себя я долго слышал беспокойный и неразборчивый гул оставленного города. Ежели издали, при благоприятствующей ночной тишине, подольше прислушаешься к этому гулу, то явственно увидишь и услышишь, как многолюдная толпа, населяющая большой город, сваленная в одну кучу своими жизненными надобностями, копошится в этой гибельной свалке, то невинно страдая, то сладострастно рыкая из самой глубины наилучшим образом удовлетворенной утробы...

Этот городской гул и мои собственные думы о бесчисленных жизнях, производивших его, отлично увеличивали в глазах моих интерес шоссейного представления, потому что тема его, целиком вся заключавшаяся доселе в одном только слове — караул, — теперь, долго и тщательно продуманная мною, распалась на множество отдельных мотивов, звучавших всем, что только есть в природе человеческой сильного

и слабого, восторженно-счастливого и глубоко-скорбного.

Шагая, я рассек игравшуюся драму, вопреки всем существующим правилам словесности, на два гигантских акта. Действующими лицами в первом акте были толпы, отливавшие от города, во втором — толпы, валившие в город. Место действия в обоих актах общее: желтое, бесконечно-длинное шоссе, сплошь окаймленное густыми деревьями, которые временами таинственно шуршат скрывающемуся в них бродяге, что поосторожнее, мол, друг, соблюдай себя! Не очень-то высовывайся с своими глазами, блещущими лихорадкой и голодом... Видишь, какая тьмища народу валит! Должно, и нынешнюю ночь придется тебе голодом посидеть. Что делать? Потерпи! Вот, может статься, на зорьке-то и приуснет кто-нибудь...

По левой стороне шоссе тянется сумрачный лес, кое-где вырубленный и дающий место или барской даче, или харчевне, или кабаку, или, наконец, кузнице с адски-пылающим горном. За лесом, на мгновение освещая его редины, то и дело пролетают поезды железной дороги, пронзительно вскрикивая и оглушительно гремя звонкими цепями. Пролетевши, поезды набрасывали на лесные вершины прозрачные, грациозно волновавшиеся покровы, унизанные огненными искрами, наподобие того, как женские вуали унизываются иногда блестящими бусами.

На правой стороне декорации еще лучше: там, в спокойной гордости, освещенные месяцем, искрятся волны залива. Высоко над его

поверхностью рассыпано бесчисленное множество светлых, весело подмигивающих издали точек.

Точки эти, то выстраиваясь длинными прямыми рядами, то кружась около друг друга и перегоняясь, кажутся грациозными речными духами, созданными из задумчивых месячных лучей, из облаков, расцвеченных многоцветными колерами восходящего или заходящего солнца, наконец, из этой морской волны, не то синей, не то голубой, не то, как янтарь, прозрачно-желтой, которая тем не менее, в какой бы цвет ни казалась окрашенной человеку, вечно губит его, разговаривая какие-то одинаково холодные и неразборчивые речи как над счастьем, утешенным им, так равно и над горем...

Но вот бойко и крикливо мчавшийся из Петербурга пароход врезался в середину плясавших огней, повелительно заорал на них — и тайна, совершавшаяся вдали на сумрачном море, разоблачилась. Огни, в которых глаза шоссейного мечтательного человека расположены были видеть игривых морских фей, были не что иное, как фонари, развешенные на высоких барочных мачтах. Вот барки эти, увертываясь от налетевшего на них парохода, кажут свои темные, неуклюжие бока, — мачтовые фонари начинают мигать болезненно и трусливо, словно бы спасаясь от быстрого преследования парохода; а пароход еще повелительнее и горластее орет на них:

«Пошел! Пошел! Нечего мяться-то. Раздребежжу сейчас, ежели с места не поворотитесь...»

И все, что только жило описываемой ночью в этом темном месте, было как нельзя более согласно с речью проворного парохода.

«Пошел! Пошел! Сторонись, — раздавлю!» — яростно свистела железная дорога.

— Проходи! Проходи! — с злостью кричали друг на друга встречные шоссейные изво..., хлестко обравнивая кнутами и встречных знакомых, и их лошадей. — Эк стал, леший, на дороге-то! Для тебя, что ли, одного она?

А издали, сзади, в каких-то неясных, но богатырских очертаниях рисуется город. Мощно смеясь, он вытискивает от себя толпы ненужного ему народа, шаг за шагом следит за его тревожным движением — и, не взирая ни на усталь толпы, ни на ее разнообразные муки, безжалостно шумит:

«Иди! Иди! Тебе же хуже будет, ежели остановишься, — тебя же стопчут и раздавят тысячи ног...»

Толпы эти, встречаясь с противоположными толпами, тоже в свою очередь орали:

— Старр-ранись! Раз-здавлю! Экое место проклятое, — словно бы не люди на нем разъезжают, а живорезы какие-нибудь.

Во всю тихую ночь и по всему шоссе не смолкая раздавались такие бурливые разговоры людей, столкнутых в плотную массу могучей рукой столичного города. Бесконечно варьируясь, разговоры эти шумели оглушающей, ни на секунду не прерывающейся грозою, в которой главными нотами были: порывистый бег множества людей, стремившихся будто бы для предотвращения какого-нибудь страшного

несчастья, звонкие удары и жалующийся, протяжный — кр-раул...

«Что это за исключительная жизнь? — недоумевал я, вслушиваясь и всматриваясь в кипевший около меня водоворот. — Нужно этим адом поболее заняться, — пойдем дальше и посмотрим на него при дневном свете...»

II

Таким образом целую ночь тянулась описанная местность, изумляя меня своей неугомонно-крикливой живучестью и заставляя вдумываться в причины этой живучести, которой мне не приходилось подстерегать на других дорогах.

Попадались встречи добрые и недобрые.

— Проходи, проходи! — гневно покрикивали некоторые из ночных людей, когда я подходил к ним с целью завести приятное знакомство и расспросить кое о чем. — Што около возов-то трешься, шарамыга ты эдакая, полуночная! Выровняю вот кнутом, — не будешь пугать лошадей.

Другие на вопрос, как и что? — недоумевая отвечали:

— Да ведь как ее там!.. Разберешь разве?.. Город!.. Одно слово: столица... Мнет тебя отовсюду — прет... Хочешь, не хочешь, а иди, потому строк... Все теперича пошли контрахты, с записью... У нас хозяин очень строг насчет этих самых контрахтов. По рассказам, он обанкрутился недавно, так крепче еще, по этому случаю, взлютовался.

Попадались и такие молодцы, которые, присевши около канавы, обрамлявшей шоссе, радушно и ничуть не стесняясь, покрикивали мне:

— Эй, баринок прохоженький! Твое благородие! Иди, компанью разделим. Я вот десять бутылок пива али вина какого (чорт его разберет в темноте!) слущил. Не слажу никак один, иди, присуседься! А то все равно на дорогу вылью.

— Ну, а как тут у вас заработки-то? — спрашиваешь паренька по дальнейшем знакомстве.— На фабрике где-нибудь, или так?

— Заработки? — весело переспрашивал молодец, разбивая камнем бутылочное горлышко.— Да заработки, ежели теперича по здешним сторонам... Ка-ак же-с! Я вот сегодняшнего числа попону с лошадей добыл да четыре каретных фонаря отвинтил... Аплике фонари!.. Первый сорт!..

«Чорт знает что такое!» — раздумываешь, идя дальше.

К концу ночи я познакомился с одним хлебопеком. Он ехал на громадной телеге, в которую был впряжен еще более громадный мерин. Хлебопек великодушно пустил меня к себе в телегу, солидно и толково отзывался на мои вопросы, и когда я окончательно пожелал узнать от него, как это здешнее население ухитряется удовлетворять своим прихотливым наклонностям, он многозначительно отвечал мне:

— Да ведь как тебе, судырь, доложить насчет этого дела? Сам рази не видишь, какие тут около нас костры большие горят, — ну вот щепочки-то иной раз от тех костров до нас целенькие и долетывают... Щепочками-то эфтими мы и живем... Так-то-сь!..

Говоря это, хлебопек хмыкал в бороду, знаменательно взглядывал на меня, сопрягая, так сказать, эти взгляды с хмуреньем густых, черных бровей, и пересыпал высказанную мысль фразами в роде того, что «вот так-то! Вот ты теперь и понимай, как сам знаешь! Костер, мол, горит, а мы, маленький народец, все насчет щепочек, все насчет щепочек», а потом вдруг, ни к селу ни к городу, спросил: «Нет ли у вас, барин, чего продажного — подешевше, посходнее?»

— Нет! Продажного у меня ничего нет, — отвечал я.

— То-то! А то здесь часто нашему брату нажить доводится. Прогорит это господин какой-нибудь в Питере, шатает, шатает его ветер-то по разным сторонам — и сюда занесет. Вот мы у таких-то покупаем частенько... Пытаму им смерть... Поэтому я, примерно, и к тебе-то... Думаю, мол, продает што-нибудь ночным временем... Посходнее ежели што... Оно отчево же? Деньги при нас завсегда есть... Состроил я тут неподалечку избенку, так оно, конешно што, и гондобишь...

Тут я понял притчу хлебопека про горящий костер и про разлетающиеся из него на далекое пространство щепки...

При свете наконец-таки проглянувшего дня показалась небольшая группа домов, которую нельзя было никаким образом назвать ни селом, ни деревней, ни городом, ни посадом, так как в ней в одно и то же время отличным манером бунтовали все элементы поименованных жилищ российского люда. Скорее всего это

было сбившееся в кучу протяжение пройденного мною пути, оглашаемого караулом, — и потому группу эту я назову Карауловкой.

Несмотря на раннее утро, улицы Карауловки были битком набиты многоразличным людом. У ее кабаков, харчевен и мелочных лавок теснились извозчичьи кареты, коляски и пролетки, перемешанные с одноколками чухон и с громоздкими русскими телегами. Песни и караулы несмолкаемо летели из окон этих увеселительных заведений. На лавочках, непременно приделанных к воротам каждого дома, восседали благодушные компании с носами, очевидно, расположенными к жарким разговорам — и потому самыми ощутительными нотами в этом неразборчиво гудевшим улье были фразы: «слидовательно, — выфтарых, — возьми ты теперича, к примеру, мине и сибе, — можешь ли ты панимать, к чему это сказано: што, гыварить, прейде, гыварит, сень законная»... и т. д. и т. д.

Временами из этого благодушия выдавался тоже хотя и благодушный, но тем не менее подавляющий голос громадного человека в серой шинели, в белой фуражке, с длинным железным палашищем в руках:

— У нас, брат, лошадь, я тебе прямо скажу,— рассказывал военный человек какому-нибудь штатскому человеку в одной рубахе и в картузе с купеческую подушку, — у нас, брат, — семьсот целковых. Опять — обучи ее, прокорми... А? Чивво эфто стоит?

При этих словах солдат откидывался назад, красиво налегая на ручку палаша и пристально всматриваясь в лицо вопрошаемого. Вопроша-

емый страдательно поникал головою перед этим взглядом.

Презирая бойкость уличной картины, по самой середине шоссе, с рыжими котомками на плечах, тянулись пучеглазые странники и смиренные, отрепанные странницы с очами, опущенными долу. Бочком и, поистине, с ловкостью привидений, проваливающихся в сценический пол, пробирались они в кабаки, опасаясь как будто, чтобы мирские завистливые глаза, смотря на их несообразное с странническим видом поведение, не впали в искушение и не осудили их. Зато, выходя из кабаков, персонажи сии держали себя гораздо смелее. Некоторые из них принимались приставать к приворотным карауловским компаниям насчет милостыни, рассказывая при этом необыкновенно ужасные истории о постигших их злоключениях; другие, сочинивши в кабаке доброе знакомство с странствующей особой женского пола, плелись по шоссе дальше, не обращая ни малейшего внимания на хохот уличной толпы, оравшей по следам сдружившейся пары: «Што? Вдвоем-то, небойсь, охотнее путешествовать? Ха, ха, ха!» Третьи, преимущественно женщины, оставались где-нибудь около заведений, напевая псалмы или песни и тем значительно увеличивая общую суматоху населения.

К таким женщинам, что называется, подмазывались и плотники, забегавшие в кабаки хватить перед началом работы, и какие-то гулевые, неопределяемые молодцы, с толстыми мордами, сплошь исписанными синими и багровыми рубцами, и с носами, заклеенными смолой и газет-

ной бумагой. Подходя к такого рода женщине, в каком-то бессмысленном восторге оравшей бессмысленную песню, молодцы трепали ее по спине и любезно подмаргивали подбитыми глазами на ближний лесок, вследствие чего бабенка, в свою очередь, колотила парня по чем ни попало и визгливо спрашивала:

— Ды, ч-чо-орт! От тебя-то будет ли что? Угошшенья бы, што ли, какого?.. Ну, гостинцу-то энтого?..

— Будь спокойна! — лаконически отрезывал парень, после чего кабачная дверь, распахнутая порывистым толчком, снова скрипела, и из внутренности, маскируемой ею, словно бы октава, заканчивающая этот сумасбродный хор, рычал сердитый и могуче-дребезжавший голос:

— Не мм-мож-жешь тише, дьяв-волл! В шею буду гонять за такие дела вашего бр-рата!..

Прошедшись раза два по той и другой стороне карауловской улицы, я приметил, что ворота в каждом доме были растворены настежь, почему они и имели физиономии тех бесшабашных людей, которые всякому встречному говорят: «Ну, подходи, подходи! Около меня, брат, пообедать тебе трудно будет». Крошечные дворики, совершенно видные в ворота, были сплошь загромождены маленькими, но многочисленными пристройками, из которых одни чуть-чуть выглядывали из земли своими слепыми оконцами, а другие, как самые старенькие старич хилившиеся и скособоченные, уныло всматривались в землю, говоря как будто, что вот здесь только найдем мы покой от того дурацкого шума и гама, который постоянно раздавался и над

нами, и внутри нас с самой матушки Екатерины Великой...

Балагуря с проходившими туземными женщинами, я спрашивал у них, указывая на какое-нибудь жилище:

— Каких-таких господ, сударыня, эта самая усадьба будет?

Спрошенная сударыня, в свою очередь, с ироническою учтивостью переспрашивала меня:

— Где же это вы, сударь, усадьбу здесь увидали? Просто, как бы вам сказать — не соврать, Яшка у нас здесь живет — и хучь он нам и сосед, но только, греха таить нечего, он вор!.. У его еще у дедушки, у покойника, были три падчерицы, так он им выстроил по флигарю на своем дворе, ну а как Яшка теперича имемши сам пятерых дочерей, так всех падчериц дедушкиных судом от себя со двора выгнал и на место того поселил своих зятьев. Один-то зять евойный—трубачист из Кронштату. Чухна—чухна, а куда воровать здоров! Другой типерича фидьегарь,—из дворца он похерен, пытаму в позапрошлом году украл он оттуда четыре стула железных... Чижолыи стульи! Как только чорт ухитрил его дотащить их!.. Третий-то, выходит, кондухтор отставной с железной дороги. У его обе ноги сломаны, так он все больше побирается в Питере. Нагромыхал, сказывают, кошель-то страсть как туго!.. Да их, чертей, до завтрева всех-то не перечтешь. Только воруют все, — не роди мать на свет, воруют как, идолы!..

— Что же мир-то смотрит на них?

— Мир? — усмехнулась сударыня. — Какой тут у нас мир? У нас все сброд тут живет из

разных губерень. Всякому до себя... А опять, ежели бы этого Яшку миром к чему-нибудь присудили, он сичас к становому. Там ему дочери всякую заступу дадут. Онамедня уж становиха-то сюда к нам в Карауловку сама приезжала на паре, в коляске. На козлах у ей лакей стоял, весь в серебряных галунах, так она, приехадчи-то, рекой разливалась — спрашивала: где, говорит, Яшкины дочери? Я их истирзаю, пытаму они у меня мужа заполонили совсем... Мало смеху-то было тут!.. А то тоже теперича, — продолжала моя словоохотливая знакомка, — заместо становых-то (знаешь, небойсь?) мировые судьи пришодчи, так соседство-то, понадеявшись на новинку, пошло к судье на Яшку жаловаться, штобы, то-есть, искоренить его — гадину. Однако Яшка и тут не сробел. Видишь вон море-то. И там он — этот Яшка — за пять верст видит и знает каждый гвоздь на барке. Сейчас — цоп его — гвоздь-от — и конец!.. Мы его страсть как боимся! Вор-человек — одно слово!

— Ну а это чей дворец будет? — спрашивал я у разговорчивой туземки, указывая на только что отстроенный домик, со всех сторон облепленный флигелями, которые были задавлены мезонинами, балконами, вышками и т. д.

Прежде нежели ответить на мой вопрос, бабочка со вздохом сказала мне:

— Ах, барин хороший, позвала бы я тебя к себе кофейку попить, да муж у меня ревнив очень. Он, тверезый когда живет, так ничего. Смирнее его на пятьдесят верст вокруг не найдешь. Только вот ребята наши проклятые все

смущают его у меня. Хотят они, черти, штобы я с ними гуляла, но как я на такой грех согласиться не могу, они затащут его в кабак, напоют его там, наговорят ему про меня всякой всячины, — вот он в таком-то виде ляжет перед окнами и во все-то, милый барин, хайло пьяное и перед всем-то народом по целым суткам меня и костерычит. Вот и теперь вся душа дрожит, потому цельной компанией парни собрались и увели мужа к Ваське Жуку в кабак. Там они теперь над ним всячески потешаются. А дом, про какой ты заговорил, наш. Его за мной тятенька покойник (дай бог ему царство небесное!) в приданое отпущал. Как же? За мной, милый барин, в приданое-то шло, окроме дома, одних ложек серебряных четыре штуки, одиннадцать подушек пуховых, три перины... И! Да што и говорить про старое! Все пропил...

Бабочка сделала в этом месте своего рассказа безнадежный жест закорузлою рукой и отерла слезу с лица, которое начинало уже складываться в морщины, обыкновенно предшествовавшие плачу.

— Вот и дом-то этот, — продолжала она свою речь, — тоже у нас с мужем мещанин один оттягал. Видишь, как дело было: есть тут у нас девица одна, и так надо тебе прямо сказать, пошла она по вольному обращению вот эдаконькой...

Рассказчица при этих словах отмерила от земли такое незначительное расстояние, которое повергло в глубокий ужас всю мою душу, услышавшую в первый раз, что люди даже и такой незначительной мерки могут ходить по вольному обращению.

— Но только, милый барин, такой красоты, какую в себе эта девица имеет, произойди, кажись, целый свет, так и то не найдешь. Вот, может, увидишь, ежели она к обедне пойдет. Вся бархатная... Только долго жила она своими делами так, что ни богу свеча, ни чорту кочерга. Отлучится это в город на какую-нибудь неделю — и, боже ты мой милостивый, чего-чего только она оттуда не натащит: и денег-то, и платья-то всякого, и вещей. Приедет сюда, — пропивать все это начнет, родным дарить. Потом опять в город... Повадились к ней сюда из городу господа ездить, — дым коромыслом по всему околодку от ей заходил. Мужики-то наши, так и то от ей перебесились все, потому кто хочет подходи, — всякому угощенье. Ну, они — мужики-то наши — злы на такие дела. Принялась тут она своих полюбовников грабить, и чем больше разграбливала, все у ней сердце-то на корысть пуще тово разгоралось. Богатому скажет: купи, говорит, мне дачу. Так-то! Без этого на порог не пустит. Тут-то вот к нам мещанин этот, какой у нас дом оттягал, и пришел. Ну, пришодчи, говорит: я, говорит, братцы, пришел к вам кабаки снимать, — и в скорости, не знаючи здешних местов, с мужиками нашими совсем захороводился. Те, известно, рады поджечь пришлого человека на выпивку. Вот он хороводился, хороводился с ними и каким-то манером и увидал эту самую Линпиаду. Кричит: жив быть не хочу, чтобы эта самая девка меня не полюбила. Сейчас он, судырь ты мой, с одним парнем предпосылает ей полштоф сладкой водки и десяток апельсинов,—все честь-честью;

но она полштоф это расколотила парню об голову. Мещанин к ей на лицо. Говорит: три синих; но она его, вместо того, поленом по спине. Мещанин говорит: в законный брак; но Линпиада вместе с кухаркой (тетка родная, матери ее, выходит, родная сестра, живет у ей в кухарках-то), схватимши палки, очень того мещанина избили. Насилу мужики отняли...

— И тут, однако, мещанин не унялся. Опять пошел на лицо и говорит: чем же, говорит, Линпиада Степановна, я вам могу услужить, штобы, то-есть, к примеру, добыть вас? Она ему отвечает: купи дом, говорит, дурак! (Обрывчивая девка, даром что мужичка! Случалось мне слышать, как она теперича очень даже именитых господ дураками ругала. Ничего, — только посмеиваются, — право, ей-богу!)

— Протранжиримши наперед того все деньжонки, призадумался мещанин, где бы это домом ему для Алинпиядки раздобыться — и под конец того напал своим умом на моего Митрия (Митрием зовут моего мужа). Принялся он его угощать всячески: угощает неделю, угощает другую и, споимши-то, сейчас его в волость. Там, при всех, при начальниках, контрахт такой прописали, што, дескать, поступает Митриев дом ко мне, к мещанину, в аренду на двадцать пять годов...

— Как и што там у них было, мне, по моему бабьему делу, неизвестно; но только что, милый барин, вот уже четвертый год живет Алинпиядка в нашем доме; а мещанин взыскивает с нас четыреста серебра, потому што быдто мы, то-есть, с мужем не соблюдаем контрахту. Теперича

судьи пуще всего мучут нас бедностью — все в сроки пустили. К первому, говорят, сроку приготовь ты, разговаривают, женщина, сорок серебром. Ну, я намедни по эфтому случаю продала корову и беличий салоп — и заплатила мещанинишке-то. Принял—и засмеялся. Подожди, говорит, Федосья! Я тебя с мужем-то еще не так оборудую. Еще ты, рассказывает, новых штук-то в понятие к себе не взяла... Я, говорит, тут весь ваш край заполоню с моими способностями...

— Мы тут, голубчик - барин, — продолжала бабочка в глубоком унынии, — все от эфтого мещанина в большое унынье пришли, потому видим все, што востер у него, у собаки, ноготь. Кажись, уж на что у нас народ шельма, а и то все оченно его испужались... И из коих только он местов народился, антихрист эдакой? Онамедни с нашего мужика одного за бесчестье пять серебра слупил. Тот его мещанинишкой обозвал. Ну он к мужику сичас по этому случаю грудью пристал: я, говорит, рази мещанин? А? Я, говорит, гражданин города Риги. Ты знаешь, толкует, чем это, по новому положению, пахнет? Мужик испугался — заплатил...

Во все время этого разговора мы сидели на лавочке, прилаженной к воротам какого-то дома, и мой уединенный разговор с женщиной, обладавшей ревнивым мужем, тянулся до сих пор никем и ничем не прерываемый. Но как только приметили нас с других приворотных и прикабачных лавочек, как только мы обратили на себя внимание различных окошек, украшенных гардинами в виде ребячьих пеленок, — к нам

потихоньку и полегоньку, с засунутыми в карманы руками, стали подходить многие праздные люди, которые с какою-то странною и совершенно неожиданною мною снисходительностью принялись увещевать меня согласным хором в том роде, что: это, барин, точно што, муж у ей плох! Мы здесь старожили... Мы и свадьбу-то ее помним. Гуляли у ей на свадьбе-то, — как же! Точно што, Митька у ей все приданое пропил. Ну и дом тоже. Она, конешно, баба теперь убитая, но еж-жали ей т-таперича из город-ду жених-ха бы какого-нибудь... Эта-то, эта-то баба не выручит? Гляди: со всех сторон — барыня... Не б-бойс-сь,—не падг-гадить... Хушь ккам-му!..

Нашедшие люди сопровождали свою рекомендацию заинтересовавшей меня женщины быстрыми и манерными поворачиваниями ее на все стороны. Никогда не видавши такого зрелища, но, однако, хотя и смутно, поняв его настоящее значение и конечную цель, я, как говорится, устремился в моем путешествии далее, негодуя и злобствуя на что-то такое, что, как каменная мишень отбрасывает назад пулю, отбрасывало на меня самого мое собственное негодование на кого-то и на что-то...

Пошел я — и за мной вслед покатились страшные, ничем не отразимые, потому что более или менее правдивые, хи-хи и ха-ха толпы, которая чем безнравственнее, повидимому, смеется, тем глубже поражает сердце человека, который, к личному несчастью, во что бы то ни стало желает оправдать этот смех и, жалея людскую пошлость, старается втиснуть его в какие-нибудь оправдываемые рамки.

— Хо! хо! Эй, чор-т! Куда попер-то, голопузый шут? На даровщину, видно, по-питерски захотел... Не-е-т! У нас эфтова нивозможно.

Крикливее всего этого, так сказать, дьявольства раздавался голос словоохотливой бабенки, которая во все горло орала:

— Теперича эфто что будет такое? Говорил-говорил с женщиной и заместо того наутек... Нет, постой, голоштанник! Подождешь!.. Мы себя в обман не дадим... Мы тоже пить-есть хотим...

Такие и подобные возгласы наконец обратили на меня внимание всей Карауловки, вследствие чего я был моментально окружен, по крайней мере, сотнею разнообразных личностей и мужского и женского пола, которые взывали ко мне:

— Да вы, барин хороший, плюньте на эфту шкуру. Рази у нас таких-то не найдется? Сл-лава богу!.. Чего другого-то, а эфтого-то добра, кажетца што... Ни впроворот...

Так кричали молодые бабы и девки; а мужчины приставали, примерно, вот как:

— Милостивый государь! Мусье! Вам теперича што требуетца?..

— Вашему высокоблагородию мизонинчик-с? Слушаю-с, пожалуйте! У нас спокойно! У нас ежели теперича блоха до хорошего господина коснется, мы в полном ответе-с...

— Не ходите, не ходите, судырь, к ему, — взывали бабы и девки,—у них в прошлом году барин с барыней до смерти опились, — лекаря из Питенбурху потрошить приезжали. Опять же у них дом на самом сыр-ром месте стоит, провалится, не увидите как.

— Стервы! — отгонял женское ополчение парень, назвавший меня и вашим высокоблагородием и мусье.

— Обратите внимание, ваше высокоблагородие, — рекомендовался этот парень, по-гостинодворски жестикулируя руками. — Теперича я — и эти шкуры. Я вам всякое удовольствие могу предоставить из-за самого пустого подарка; но только што эфти, можно сказать, подлые твари могут для вас сочинить?..

Я склонился на сторону парня, принимая во внимание некоторые особенно преследуемые мною цели, и уже хотел было итти за ним, как вдруг, с непостижимой силой и быстротой растолкав скопившуюся около меня толпу, подле меня очутился громадного роста субъект, с огромной черной бородою, в пестрядинной рубахе и синих шароварах. Стал он около меня, взял меня за руку, пристально посмотрел мне в глаза, при чем укоризненно помахал нечесаной головой и страшным басищем сказал:

— Листара миновать? Хыр-рошо! Пойдем! У меня мизонин слободен. Нечего тут торговаться. За кем нашего не пропадало. Иди, я тебя успокою...

Затем гигант обратился к наскочившей на меня словоохотливой бабенке, которая ожесточенно наступала на меня с требованием: «Ну хошь што-то нибудь? Хошь безделицу-то какую ни на есть. У меня дочь растет, муж пьяница. Мое дело, почитай што, сиротское!» — грозно пристукнул он на нее своими большущими сапогами и вскрикнул:

— Гляди, гляди, баба! Я тебе шлык-то поправлю! Пойдем, милый человек! У меня, брат, с балконом, — прям на море. Без фальши!

— Так что же? Самовар? — спрашивал меня дядя Листар уже после того, как осчастливил меня вводом во владение своим мезонином, с балкона которого, действительно, открывался хороший вид на море.

Спрашивая таким образом, он сидел на стуле и свирепо смотрел на меня всем своим волосатым лицом.

— Да, самовар теперь хорошо бы, — ответил я как можно мягче, стараясь как-нибудь разоружить эту ничем не вызванную мною свирепость. — Как вас по имени-отчеству величают? Самоварик теперь, конечно, приятно было бы распить. Велите-ка наставить.

— Вел-лич-чают? — передразнил меня дядя Листар. — Эх-х вы, гыс-пада! — рычал он на меня. — Придумают ведь. Давай уж деньги-то поскорее, пытаму яишницу надо стряпать теперь, водки купить... На все время требуитца... Хозяину обо всем забота... Водку-то какую пьешь? Я пымаранцавую. Матрешка! — вскрикнул вслед за этим мой импровизированный хозяин. — Иди к барину.

Послушная этому зову, Матрешка живо вбежала в мезонин, еще живее выслушала мою инструкцию относительно того, как и на что именно употребить эти деньги, и, ответив на каждую статью моих распоряжений покорным «сл-ш-сь», убежала.

Дядя Листар, покачиваясь на стуле, с каким-то грозным отчаянием говорил мне:

— Деньги вперед за месяц. Нашего за кем не пропадало! Эх-х! знает ггрудь да падаплека! нонишнева числа с тебе могарычи, завтра с нас; но деньги мне подай за месяц. Сичас тебе велю простыню принесть и чистые подушки. С тебя, по дружбе, возьму в месяц-то, штобы ни мне, ни тебе обидно не было, восемь серебром. Я, брат, прост: а попался бы ты вон к тем шкурам, которые на улице тебя зазывали, — шабаш! Узнал бы ты кузькину мать. Моли бога, что у меня мезонинчик на твое счастье вышел слободен.

— Ну, выпьем же! — продолжал он, отбирая от Матрешки полуштоф с померанцевой. — Ныне ты меня угощаешь, завтра — я тебя. Самовар завтра захочешь, стучи в пол. Матрешка приставит...

Долго еще после такого разговора дядя Листар отравлял мое удовольствие — сидеть на балконе его мезонина и смотреть на бескрайнее море тихим вечерним временем. Все он раскачивался на стуле, пил чай и водку стакан за стаканом и временами рычал:

— Э-эх-х! О-ох-хо! Городские! Посылай-ка еще за полуштифилем, дьявол ее забери! Эй, Матрешка, к барину! Ну, целуй ручку у барина, шельма! Барин тебе, дуре, двугривенный жертвует.

Матрешка крепко стискивала мою руку и вампиром впивалась в нее губами, как бы высасывая из нее тот двугривенный, которого я и во сне не видел давать ей. Другая моя рука, повинуясь давлению, против воли вытаскивала из кармана требуемую монету. Матрешка проворно

схватывала ее, а дядя Листар кричал своим пугающим басом:

— Э-эх-хма! Чижало, братцы, на свете жить! О-охх, как чижало! Поднеси-ка ты мне, старику Позабавь! Ты меня помоложе...

Наконец, уже за полночь, он как-то особенно порывисто вскочил с своего сиденья и буркнул:

— Н-ну, просим прощенья! Утро вечера мудренее. За компанию!.. Балдарим пыкорно!.. Адъю-с!

III

Оригинальнее всего до сих пор виденного и слышанного мною была комната, во владение которой ввела меня снисходительность дяди Листара. Расхваливая мне во время выпивки ее многочисленные достоинства, он стучал в ее утлые, досчатые стены могучим кулачищем, — отчего стены боязливо тряслись, издавая какой-то болезненный стон, — и орал:

— Эф-фта не комната?.. Да хошь кам-му! Енералы останавливаются, — в звездах... Э-эх-х вы, стрекулисты! Такой комнатой брезговать? Да я тебя! О-о-хо-хо! Отец строил покойник. Типерича штобы дождь,—а избави меня б-боже! Я ль не усл-лужу!..

Похвалы дяди Листара своему дворцу оказались в высшей степени справедливыми.

Оставшись один, я был поражен странной пестротою обоев, покрывавших стены моего жилища. Я поднес свечку к фантастически плясавшим в моих глазах гиероглифам, которыми испещрены были обои, и, к моему несказанному

восторгу, увидел, что гиероглифы эти есть не что иное, как бесконечно интересная история комнаты, написанная руками ее многочисленных жильцов.

Всю остальную ночь и начало прелестного деревенского утра заняло у меня чтение любопытной истории.

Прежде всего по обоям, украшавшим божницу, и по деревянным дощечкам, из которых была построена самая божница, шли фамильные предания самого дяди Листара — и на первом плане фигурировал старинный, так сказать, гвоздеобразный почерк, под титлами, которым в разных местах было изображено следующее:

«Привезен из своих мистов в чужую губерню в хрисьяне в штатные, в монастырь. Так надо полагать, што от родины отчужден навек. Терплю и молюсь богу. Смоленский хрисьянин Петр Гусев. 1828 г. апреля 15. Был у всеношной, — горько плакал, потому вспоминал родных своих гжацких».

«Все строю дом, — дальше говорили гвоздеобразные буквы,—привык чай пить, к кофею такожде великое пристрастие возыимел. Какая пропасть кабаков по здешним мистам; но только туда ни ногой, потому сбираюсь женитца. Невеста из здешних, — одевается все равно как, к примеру, барыни в Питере. Лекшо, то-есть, насчет штобы добычи, нашего места, кажись, во всем свете нет. Получаю от господ за свои услуги много подарков. Невеста меня любит, только говорит, штобы я с ей после свадьбы взысков никаких бы делать не смел. — Эфто для меня очень сумнительно... Но я надеюсь на ми-

лость божию, — все строю дом и креплюсь, потому всякий может изобидеть меня здесь — захожего человека — на чужой стороне, в случае ежели бы я, к примеру, заговорил с соседями как-нибудь не по-хорошему».

Чем дальше разъяснялась для меня история жилища, в которое я занесен был случаем, тем почерк хрисьянина Смоленской губернии Петра Гусева делался все вальяжнее, — росчерки и завитушки под фамилией историографа приобретали большую причудливость. Рассказав лаконическими изречениями о месяце и дне своей женитьбы и коснувшись словом — «хоть бы кому так господь привел в закон притти» — того великолепия, с которым была отправлена свадьба, Петр Гусев, очевидно, сделался достойным и солидным представителем приютившей его стороны.

«Получил по поште, — пишет он, — письмо из Гжацка от сестры—Алены, штобы я прислал ей три серебра, потому, то-есть, што у ей пала корова; но я, как имеючи свое собственное семейство, денег тех ей не послал. Грешник! Уповаю на бога. Молюсь — и креплюсь, потому мне такие дела, какие около себя на своем новом жилье каждый день вижу, в непривычку... Большие искушения переношу...»

«Родилась дочь — Аграфена в 1832 году. С женой имел ссору, што она часто в город ездит с чухонцами, рассказываючи, што они по случаю возят ее туда будто бы очень задешево... Бил ее за такие дела, но онамедни пришодчи какой-то офицер, с азарством, стал спрашивать у меня про жену: где, говорит, моя прачка?

Я опять ее за эфто прибил, а жена в скорости дала мне триста рублей на ассигнации, на которые мы перекрыли избяную крышу, почитай, заново. Крышу вымазали красной краской на посконном масле. Вышла крепка!..»

«Родился сын Агафон тово же году. Дохтор над женой очень смеялся, что часто родит; только все же подарил ей рупь серебра, потому она на него рубахи стирала».

«Родился сын — Алистар».

«Двоюродная женина сестра — Палагея — утопла ночным временем в пруде вместе с племянницей, а моей малолетней дочерью — Аграфеной. Дело было в преображеньев день: наехало из Питеру много господ—и штацких и военных — и сказывают будто, што это любовник ее утопил в пьяном образе. Вряд ли! Я за ней этого не примечал, а впрочем и то сказать: богу одному известно... Жену прибил за то, што за сестрой своей не глядела, а за детище свое молился перед всевышним с горькими слезами. Было эфто в 1848 году, августа шестова... хрисьянин Петр Гусев».

«Все несчастья! Сын — Агафон — опился в Петербурге и умер. Похотел он женитца на женщине из скверного дома... А какой было вышел сапожник! Долго я по этому случаю молился, плакал и скорбел всячески; потому напал на меня запой — и пил я в том запое без просыпу четырнадцать недель... С женой по таким временам сладить не мог... Она меня била... Какие в то время в моем дому состояли при ей господа офицеры — из гвардионцев — грохотали надо мной, над пьяным, и говорили жене со смехом:

— Ну-ка, Фетинья, колыхни его! Што ты на ево глядишь-то?..

— Не могу глядеть на здешние порядки... Не по мне они...

«Ах, побывал бы теперь на родной сторонушке! Все-то там не так, как здесь. Жена у меня от рук отбилась, — дети все изъерничались и переколели, как собаки... Листар один утешает, поступивши в кучера к отцу благочинному, ко вдовцу; но заместо того и Листар шипко пить зачал... Хочу женить, дабы, то-есть, штобы остепенить его...»

«Болит бок и ноги мозжат, — на взморьи простудился, когда дрова вывозил. Долго мне теперича не прожить. Стара стала... Бог даровал нам победу при Синопе над Французом. Разбили у него, — в лавке газету читали, так поняли, — одних кораблей десять тысяч. Войска у его сгибло в эфтом страженьи семь миллионов одной пехоты!.. Слава тебе, боже наш, слава тебе! Перед Кронштатом, сказывали Чухны, хошь и ходят «евойные» корабли, но только «им» эфтой крепости не изнять. Хочу в субботу молебен служить Всех скорбящих радостей, — может, и отойдет от боку-то... Хрисьянин Петр Гусев. 1854 году сентября 24. Погода бедовая! Ветер с моря, — всю ночь спать не давал... Ребятишки бредят — чую, что помру».

В последний раз расписался таким образом хрисьянин Петр Гусев... Дальше пошли уже другие надписи.

— Ты, барин, што тут такое разглядываешь? Это мой отец написал. Ах, письменный был ста-

ричок! Не то' што я, дубина этакая — неотес! Только бы вино жрать.

Голос, оторвавший меня от моего ночного занятия — рассматривать это дедовское собрание старинных мыслей и старинных страданий,—принадлежал дяде Листару, который, как и вчера, стоял передо мной в пестрядинной рубахе и в синих нанковых штанах. Под левой мышкой он, горемычно улыбаясь, придерживал полуштоф. Почтительно кланяясь и шаркая какими-то сапожными обрезками, надетыми на его босые ноги, он конфузливо говорил мне:

— Я тебе сказал вчера: нонишнева числа ты меня угощаешь, завтра я тебя. Вер-рно! Вот он— полуштоф-то! Мы своему слову господа. Нас, может, енералы обманывали... Выпьем!

В это время было тихое, четырехчасовое утро. Солнце еще не всходило. С балкона мне видно было кладбище, густые и высокие деревья которого были окурены сизыми туманами, и взморье, по которому тянулись ленивые барки и крикливо летели звонковизжавшие пароходы. Под рукой, или, лучше сказать, пред глазами, тянулась всегда волнующая меня история многоразличных хрисьян Петров Гусевых.

Все эти сокровища я мгновенно растерял, испуганный басом дяди Листара, хотя значительно смягченным против вчерашнего, хотя уже и не тянувшим так пугающе свои свирепые: о-ох-хо-хо! э-х-х вы, гыр-рыд-т-цкие! — но всетаки слишком неудобным в моем уединении, так что я, в видах охранения моего покоя, счел за нужное раз навсегда прекратить это горлодер-

ство. По этому случаю я сердито прикрикнул на хозяина:

— Што шатаешься без толку? Самовар еще рано. Позову, когда нужно будет.

— Пы-ыз-завешь? — взревел дядя Листар, мгновенно впадая в свою вчерашнюю роль горластого людоеда, каравшего все городское самым подавляющим презрением. — За-ч-чем я пришел? Прикр-расно! Ну, бра-ец, я пришел к тебе за деньгами, потому следует с тебя получить за месяц вперед.

— Да я тебе деньги вчера отдал...

— А свидетели есть? Имеешь ли ты законную расписку? Мы тоже понимаем, пущай неученые... ха, ха, ха!

Я почти что ополоумел от такого рода развязки романа. Дядя Листар долго смотрел на меня, освещая всю комнату нахальной и презрительной улыбкой. Наконец, приметивши на моем лице некоторые нехорошие подергивания, с которыми я обыкновенно смотрю на людскую подлость, он ласково потрепал меня по плечу и сказал, снисходительно и добродушно улыбаясь:

— Ну, ну, не пужайся! Ха, ха, ха! Это я тебя постращать захотел, потому все же я хозяин в своем дому... А ты говоришь: зачем пришел? Хозяин-то? А-х-ха, ха, ха! Деньги от тебя точно што приняты сполна. Будь спокоен, — мне, брат, как перед богом: чужого не нужно... Н-не-ет! Не таковские! А ты живи со мной в дружбе — и я с тобой буду за это самое в дружбе жить. Ну-ка, хватим по махонькой да чайку потом маханем. Оно натошшак-то куды хорошо,

бра-ец ты мой! О-ох-х, люблю натошшак маженькую раздавить!..

Говорил это Листар и в то же время одними ногтями мастерски откупоривал полуштоф. Все тело его дрожало во время этого действия, губы чмокали, а по водянистому закожью лица переливались какие-то быстрые тени, отчего вся фигура хозяина приняла зверски-нетерпеливое выражение.

— А эфто, — разговаривал он, вытирая стакан, — што отец написал, читай ни в зачет. Ах, грамотник был, по рассказам! Это, брат, был не такой, какие ежели нонишние старики живут. Он тут всю свою жисть прописал. Ко мне многие господа, наехадчи, читают эти самые дела и очень смеются, а иные дарят; но тебе не в зачет приставляю, потому я прост. У меня за одной полоумной полковницей из немок сто тридцать на серебро пропало, — так я и то с ней взыску не делал. Махнул только рукой и думаю: н-ну, мол, господь с тобой!.. Разживайся на мои деньги!.. Ходила эта самая полковница по слободе-то лет пять, все стращала меня: я, говорит, Листашка, за твое со мной разбойство, чину лишусь, а дом у тебя продам и тебя возьму к себе в крепостные... Видишь, какого зла пожелала: но я все стерпел, как она меня ни стращала... Ладно, думаю. Вот у нас народ-то какой! У нас тут первое дело одиннадцатая заповедь — не зевай! Ха, ха, ха!

В это время отворилась дверь, и в комнату вошла новая личность в виде мозглявенького старичишки, в рваном полушубке, босого, но державшего себя с необыкновенным достоин-

ством. Не снимая своей истасканной татарской шляпенки и не выпуская из рук бумажного крючка с махоркой, он, вместо поклона, развязно тряхнул головой, пожал нам с хозяином руки и заговорил сиплым и картавым тенорком:

— Ага! так вот вы где пируете-то? А я это вышел на улицу: смотрел, смотрел, куда это, мол, наш Листар задевался? Спасибо уж, девчонка Пафнутьихина объяснила: они, говорит, дяденька, с жильцом в мезонинчике пьянствуют. Я сичас и подумал: дай, мол, и я пойду к ним для шутки. Все, мол, оно веселее вместе-то. Ну-ко, дядя Листар, влей мне стакашек. Я еще, признаться, нонишнего числа ни тово.. не успел раздрешить. Только, значит, встамши-то с супругой кофейку попили, да, выходит дело, вчера у меня знакомые господа были (что же не приходил, Листар? Чудесное, братец, угощенье было от тех господ для всей семьи), так от них пирога сдобного этакой кончище остался, — ну, мы, к примеру, и перехватили безделицу.

— Ну-с, доброго здоровья! — произнес затем новопришедший человек, держа в руке налитый ему дядей Листаром стакан. Потом он обратился лично ко мне:

— Што это, милостивый государь, какое у вас лицо приятное, право! Самое господское лицо! И так надо полагать, что я вас видел где-нибудь? Только вот, дай бог память, не вспомню никак, в каких местах я видел вас? А не иначе, должно думать, что в хороших местах, в господских... Да, может быть, не знакомы ли вы с господином майором Белоконовым? Они мои благодетели. Бываем у них часто,

когда ежели в Питере случаемся по своим делам. Завсегда приглашают — и чаем подчуют из своих собственных рук... Известное дело, что любят они нас за наши услуги. Нас так-то, слава богу, многие господа знают.

И то ли в благодарность за то, что знают их многие господа, то ли благословляя раннюю и даровую выпивку, старичок перекрестился и, наподобие самого удалого молодца, опрокинул в горло стакан, закусил кусочком черного хлеба с солью и, выразив при этом основательную мысль, что «закуска-то у нас не больно гожа», проворно ушел, обещая в непродолжительном времени явиться к нам с закуской более исправной.

— Вот это, брат, так старик, — уверял меня дядя Листар. — Уж можно чести приписать! Мы, друг, с Кузьмичем (его Кузьмичем зовут) с малолетства знакомы. Уж и дирались же мы с ним, когда помоложе были. Мы с ним драками-то этими такие-то куски хлеба себе доставали, — беда! Купцы приезжие или бы, к примеру, господа военные первым удовольствием полагали на кулачки нас с ним стравить. После бою — известное дело: кто рублик, кто трынку, а какие позадористее — и пятерки цельные отваливали, — всяк по силе-мочи. Так-то! Ну, теперича этого нет... Не те времена. Не народ ныне стал, а так, прости господи мое согрешенье, ровно бы вот шиш поганый какой!..

Такая печальная характеристика нынешнего народа заставила глубоко задуматься дядю Листара. Он грустно уткнул лицо в свои здоровые руки и беспомощно оперся ими об стол.

— Как это ты, хозяин, выходил биться с таким плюгавым человеком? — спросил я, желая прекратить тяжелую паузу, воцарившуюся между нами. — Ведь ты его на одну ладонь посадишь, а другой раздавишь. Дымок только взовьется.

— Дымм-мок! Э-эхх ты!—воодушевило дядю Листара мое возражение. — А еще городской, еще ученый. Да Кузьмич меня, почитай, завсегда побивал, по тому случаю, — в этом месте разговора хозяин наклонился к моему уху и секретным шопотом продолжал: — потому, годов двадцать пять этому, надо думать, прошло, сдружился Кузьмич с каким-то странником — и выучил его тот странник слегка приколдовывать. Выучивши, врезал ему в левую руку разрыв-траву, и, может, он через эту самую травку левым кулаком железные замки разбивал, а не токма чтобы кость человеческую.

— Но тол-лько, — плутовски грозясь на меня толстым пальцем, рассказывал Листар,—только же мы и сами насчет этих делов не промахи. Тоже сами слегка обучены. И как я, к примеру, дознался (большие деньги человеку одному пропоил, а дознался), что у него в левой вся сила, принялся в боях с ним по правой его колушматить... Ну, значит, и кончен бал, потому одной левшой ему меня не задолеть. Правая-то у него и по сие время, ровно бы кисть какая, висит. Вся отсохла! Вот какие времена-то в старину были! Ни за што, ни про што нашему брату деньга-то валила.

— А вот, сударь, я к вам еще старичка привел, — перебил наш разговор Кузьмич, входя

к нам с каким-то судком. — Гость на гость — хозяину радость, — улыбался он своими желтыми деснами, с видимым торжеством устанавливая на стол принесенный судок. В дверях между тем робко переминался еще старик, совсем седой, беззубый и дряхлый, но с тусклой улыбкой на сморщенном лице и с ребенком на руках.

Заметивши конфуз старика, Кузьмич живо бросился к нему и, подтаскивая его к столу, торопливо говорил:

— Входи, входи, Фарафонтьич! Што ты боисси? Ты, может, барина опасаешьея? Не опасайся, брат! Барин, я тебе прямо скажу, свой. Не фальшивец какой-нибудь, а из высоких чинов, надо полагать. Сам смотри!

Старик в самом деле принялся освещать меня своею тусклою улыбкой, а ребенок, которого он держал на руках, усиленно болтал ножонками, стараясь высвободить их из напутанного на них тряпья, смеялся, хотя и бессмысленным, но тем не менее необыкновенно серебристым смехом, которым могут смеяться только дети первого возраста, и настойчиво протягивал ко мне свои руки.

— Это он у тебя гостинцу просит, — каким-то замогильным, даже на мгновение испугавшим меня голосом заметил старик. — Он у меня смелый, — ко всем на руки просится, — барыни приучили.

Говоря это, старик улыбался еще радостнее и тусклее, а Кузьмич сейчас же посоветовал мне пожертвовать ребенку какую-нибудь малость, примерно, гривенник, что ли, с лукавым смехом

уверяя меня, что у них тут у всех ребята очень смелые.

— Такие прокураты — беда! Потому завсегда при господах. Он тебе и ручку поцелует, и песню сыграет, спляшет, — ей-богу! Ровно бы цыганенок какой! Ах-х! — с глубоким вздохом, доказывавшим важность родительских обязанностей, договорил Кузьмич. — Н-нет-т, барин, как я своих к этой самой политике приучаю, — страсть! У меня сейчас каждое дитя и ручкой-то тебе сделает, и живым манером тебе во всякое место слетает, и в ножки-то поклонится, — па-атсха! Зато уж у меня держись! Как только, примером, мы в своем семействе откушаем, сейчас все ребята идут сперва, как есть как у господ, у супруги ручку целовать, потом у меня: мерси, мамашенька! мерси, папашенька! Вот каковы у нас порядки-то, — не трожь, мужики!.. Не трожь!..

Дядя Листар одобрительно слушал этот монолог и разливал в то же время водку в надтреснутый стакан, в безногую рюмку и в чайную без ручки чашку. Брови его хмурились все серьезнее и серьезнее, и, наконец, когда Кузьмич кончил похвалу туземным обычаям, он, снисходительно обратившись ко мне, безапелляционно закончил:

— Да, братец! Вот они у нас порядки-то! Сызмальства приучаем, зато нам господь и подает! Дай ребеночку-то хоть полтину серебром, — не грех будет, потому ребенок эфтот — сирота. О-ох-хо-хо!

Голос дяди Листара при этом внушении зазвучал опять вчерашними пугающими нотами,

и потому я, чтобы мало-мальски утешить бурливость этих нот, поспешил поскорее приласкать ребенка и вручить в его раздвинутые граблями лапки нечто такое, что он навсегда спрятал от моих глаз в своем маленьком ротишке.

— Вот молодца! вот молодца! — дружным хором поощрила это прятанье вся компания. — Поклонись теперь дяденьке. Сделай барину ручкой! Вот так! Водочки хочешь? — спрашивал дядя Листар, повертывая перед ребенком сиявший на солнце стакан.

— Страсть как любит вино! — рекомендовал начинающую жизнь пахнувший могилою старик. — Я теперь, когда мне в кабаке поднесет кто, беспременно ему капельку оставляю. Очень смеется, мошенник, по таким временам. Должно, и ему тоже ударяет в голову-то! А?

— А ты думал как, — смеялся Кузьмич. — Известно, ударяет, да еще у них, у младенцев-то, мозги-то послабее нашего. Мы с тобой, как теперича привыкши к этому греху, да и то, примером, слабеешь; а они-то ведь, сам рассуди, младенцы-то, они ведь безгрешные. В роде как бы андила...

Выпивка между тем и сопровождавшие ее рассказы с каждым стаканом делались все интереснее. Прежде всего Кузьмич принялся клятвенно и, как говорится, распинаясь уверять меня в том, что вот они, эти самые старички, каких я теперь вижу своими глазами, суть первые хозяева во всем околодке.

— Да это што ж? — угрюмо подтвердил дядя Листар. — Известно, что первые. Кто же тут окромя нас? Поди-ка поищи! — сердито посы-

лал он меня куда-то поискать кого-то окромя их. — Мы здесь старожилы издавна! У нас, брат, свои дома!

— Дома! Это как есть! Мы здесь самые заправские старики! — страдательно шептал Фарафонтьич, поматывая поникшей головою и еле-еле смогаясь с ребенком, который цеплялся ему и за бороду и за седые волосы, как бы наказывая этим дедушкино вранье.

— С нами, брат, компанью ежели будешь водить,—небойсь. Не замараешься! — выхвалял Кузьмич свое общество, дружески потрепывая меня по плечу. — Не подга-адим, друг, хошь кому! Так-то!

— С нами замараешься? — уже с большой пассией пристал ко мне дядя Листар. — Мы подгадим? Как так? Д-ды. онамедни, — гремел он, вставши со стула и держа полуштоф в руке,— приехадчи к нам гос-спадин Сталбеев (двадцать восемь пудов одного серебра у него!), так и тот, увидавши меня, говорит (у самого лицо стр-рогое): Листар, говорит, ты меня знаешь? Я сейчас в ответ пущаю ему, с смел-лостью пущаю, потому они смелость любят: з-знаю, говорю, ваше превосходительство. Они на мой ответ опять мне: Листар! Ты меня должон знать? Я тоже, например, с политикой к нему: Весь век, говорю, должон. Они, прослезимшись, дали мне три серебра и сейчас же отдали приказ: Н-но, говорят, поминай моих родителей, потому ты около их могилок жительствуешь... Вот как! А то подга-ад-дим!.. Ну-ка, посылай покуда. Вот Фарафонтьич кстати и сбегает. Фарафонтьич! Слетай-ка покамест. Да

ты, — научал он своим сердитым тоном растерявшегося старика, — д-да ты, эхх, бестолочь! брось ребенка-то. Вон посади его в уголочек-то... Ему там спокойно будет. Подгадим! Куда рвешь посудину-то? Дай остатки-то хоша, по крайности, дохлебнуть. Эх-х! Закуска-то больно добра! — закончил он свое урчанье, посылая в рот огромный кусок цыпленка, действительно очень хорошо приготовленного, но уже достаточно утратившего свою первоначальную свежесть.

Кузьмич, кажется, только и ждал похвалы пожертвованному им на пользу общую блюду,— так стремительно подхватил он реплику Листаровой рацеи.

— Да, закусочка точно што — ничего, — заговорил он с плохо скрываемым удовольствием. — Закусочка единственная! Онамедни, признаться, старшая дочка из Питера привезла. Она это именинница была: ну, выходит дело, хозяин (майор такой вдовый хозяин у ей, и не так штобы в преклонных летах...), ну, вот он и поздравил ее: драпу, примером, подарил ей восемь аршин на бурнус (эдакий драп!), синтентюрки на платье и, окромя того, говорит: бери, говорит, с моего господского стола, што только тебе ндравится, для твоих родителев, потому, говорит, мы про твоих стариков, не в пример прочим, наслышаны... Понимаем мы, толкует, по твоему поведению, што они у тебя не какие-нибудь...

— Д-да! — угрюмо подтвердил дядя Листар, обращаясь ко мне. — Старшая дочь у него... Точно что... Девица первый сорт!..

— Да как же не первый сорт? — горячо вступился Кузьмич, как будто кто-нибудь из нас с большим азартом оспаривал его мысль. — Весь дом ею одной держится, потому супруга стара стала, другие девчонки молоды очень, а с меня что взять? Я старик... Мне теперича нужно свои кости и-их как спокоить! Мне бы вот водчонки как-нибудь раздобыть, потому я привык к этому. Ни м-маггу! Сапоги там какие-нибудь через господ получить, подарок какой... Так ведь это мне самому нужно, на свое собственное удовольствие, потому я родитель, стар-рик! Так ли я говорю?..

— А ты думаешь как про родителев-то? — окрысился на меня дядя Листар, словно бы усмотрел во мне личного противника всем существующим на белом свете родителям. — Ннеnетт! Подожди! Мне господин Сталбеев свою пратекцу дает. Они сами слезки роняют. Я им сказываю онамедни на ихней могилке: у меня, мол, дочка-то, ваше п-ство, пошла по ученой части — в бабки. Все теперь, по этому случаю, что от матери, покойницы, какие наряды получила, когда мы ее в горничные отпускали, протранжирила, потому, говорит, все это пустое дело! А они сами изволили, при таких моих словах, горестно зарыдать, — и говорят мне: дур-рак! Подлец ты эдакой! У меня у самого две по эфтой самой части ушли... Што ты, — изволили сказать, — меня беспокоишь! Понимаешь, говорит, у меня у самого... Две!.. Тут они даже в грудку себя колотить принялись. А т-то рра-ад-дителей!.. Дай-ка сюда вино-то! — с глубокой скорбью и, вместе с тем, с нена-

вистью обратился Листар к возвратившемуся Фарафонтьичу. — Дай вино! Я разолью! Я хозяин! Р-ро-дители!..

Фарафонтьич совершенно неожиданно в один миг впал в тон этой задорной речи и, словно бы воскресши из гроба своей старческой немочи, эпилепсически потрясая головою, скороговоркой заговорил:

— Известно, родители! А то кто же? Вот дочушка-то любезная, другой год от меня ушодчи, ребенка у меня, у старика, на руках оставила. Почтенья никакого не дает, денег не возит. Хоть бы на пропитанье-то ты мне, старику, привозила,—спрашиваешь ее так-то иной раз. А она, ровно бы путевая, ответ дает: где ж *ему* взять тебе на пропитанье-то? А? Ха, ха ха! — залился старик обыкновенным могильным смехом, обнажая при этом желтые, трясущиеся от хохота, десны.—Где взять? Да т-ты, шкура ты барабанная! — с угрозою обратился наконец Фарафонтьич к какому-то неизвестному лицу.—Да зачем же ты связалась с таким-то? Да рази нет господ-то хороших? Богатых-то господ? Рази мало их? С такой-то красотой? Ну-ка, Листаша, влей.

— Вон какая горесть родителям-то, — с задумчивой энергией урезонивал меня Кузьмич.— Где он на пропитанье любовницыну отцу возьмет? А? Ха, ха, ха!

— А м-мы им где брали? — заключительно прогремел Листар, тоже, в свою очередь, раскатившись густым и презрительным смехом над людьми, которым на пропитанье взять негде.

Этот тройной смех людей, возбужденных выпивкой, так сказать, покривил душу мою, вслед-

ствие чего она, против воли, пропела согласно с общим хором:

— Да, это нехорошо! Родители... Конечно... Почитать нужно...

Мое согласие, выраженное хотя и несвязно, несколько утишило бурю родительских протестов. Первый смягчился Кузьмич. С пьяненькими слезами на гноящихся и мигающих глазенках, он взял левой рукой поднесенный ему Листаром стакан с водкой, а правой принялся благоговейно креститься, самым старательным образом уверяя меня в том, что, «слава богу, дите у него не такое, как у этих разнесчастных стариков».

— Не обидчица! Добудет что в Питере, сичас домой тащит. Маменька, говорит, пожалуйте ручку. Тятенька, пожалуйте ручку! Вот, говорит, за ваши родительские молитвы господь мне послал. Шлафоров это навезет всяких, жилеток, — примется из них малолетним сестренкам костюмы и всякие платьишки шить. Оборудует их так-то, как есть, как господских детей... А поди-ка их всех-то обошей! Их вот супруга-то от своего первого брака четверых ко мне привела, да уж вот теперича, выходит дело, в обчем нашем с ней житье шесть человек народилось. Куча-с!.. Начнем мы ей с супругой говорить: ох, Аленушка-дружок, не пора ли замуж тебе? А то кабы ты свою красоту не натрудила?.. А она опять к ручкам... Я, говорит, из вашей родительской воли не выхожу, только мало еще моя русая коса по белому свету трепалась... Говорит все по романцам, — все больше норовит тебя по сердцу-то вдарить каким-нибудь стихом жалостным... Учченая!..

— Зол-лото, не девка! — крикнул дядя Фарафонтьич, давая шлепка ребенку, который, видимо, начинал мешать его удовольствию — пить и разговаривать. — Ты дедушке-то, — урезонивал он его, — как мать, грубиянить хочешь? Нет! Я с тобой-то слажу еще! Я тебя, разбойника, сичас в солдаты!.. Упаду в ноги к начальству и скажу: так и так, мол, кормил, поил, злодея, а он, вместо того, пить принялся. Возьмите, мол, его в царскую службу...

Ополоумевший от лет и, главное, от выпитой водки, Фарафонтьич говорил это своему таракану-внуку до того сердито и серьезно, что даже свирепый дядя Листар улыбнулся, слушая эти угрозы, а Кузьмич, как натура, обладавшая несравненно большей живостью, так и покатывался, так и трескался со смеха, показывая мне в то же время на ребенка, который, схвативши деда за жидкую бороденку, в ужасе и недоумении слушал его пророчества относительно своей печальной участи.

— Вот так-то его! Вот так-то его, мошенника! — шутил Кузьмич над дедом. — Заранынше его пробери, а то ведь как в самом-то деле пить примется, с ним, пожалуй, и не совладать тебе.

— Совладеешь с ними, с озорными, ка-ак же! — продолжал старик, приведенный в память дружескими шутками. — Нет, должно быть, какова яблонька, таково и яблочко...

— Про что ж и я говорю? — не унимался Кузьмич. — Я говорю: заранынше, мол, лупи его, мошенника, и в хвост, и в гриву.

Благодаря этому обстоятельству общество настроилось самым благодушным образом. Исто-

рия шла за историей, и притом одна другой для меня любопытнее и назидательнее. Листар и сумасшедший Фарафонтьич дружно поддерживали главного запевалу Кузьмича, который, наконец, так принялся нахваливать свою дочь, что у свежего человека от этих похвал могли бы, как говорится, уши завянуть.

— Девка, я вам доложу-с, для своих делов страсть как счастливая! — докладывал он мне своим картавым тенорком. — Четырем женихам (на двадцатом-то годку-с!) успела кареты показать... Да-с!

Собираясь рассказать историю четырех карет, Кузьмич плотоядно оскалил свои зубенки, захохотал самыми веселыми нотами и начал:

— А ведь все к нам! Все к тятеньке с маменькой за советом. Зато ей от меня, от родителя, и почет... Как теперича жених ей по Петербургу объявится, сичас она его к нам. У меня, говорит, милостивый государь, тятенька, маменька, подите им поклонитесь; ох-х, прокурат девка! Ха, ха, ха! И так-то она ловко этих женихов в свою пользу насаживает! Ха, ха, ха!

— Онамедни-то в последний раз привезла к нам (глаза лопни, не вру!) чиновника какого-то, — все больше и больше смеялся Кузьмич,— совсем господин, в фуражке с кокардой. Приезжает, говорит: тятенька и маменька, благословите. Будущий супруг, благородный. Он, не снявши своего пальта, штобы, то-есть, получше нам показаться, засел в уголку, облокотился на стол, закурил, по своему благородству, папиросу, смотрит. Я ему сичас: как вы мой теперича сын, ваше благородие, то пожалуйте для

такой радости три рубля серебра на имайский ром... Вынул — дал. Алена ему, по своему господскому образованию, такой ответ дает: чем вы меня обеспечите?

— Што ж бы ты, барин, думал? — спросил у меня Кузьмич. — Што этот чиновник с нами в этот раз поделал? Сказал этот самый чиновник на Аленушкины слова: «Ах ты, свол-лочь! А ведь я думал, что ты меня в сам-деле любишь!» Потом, плюнувши, бросил свою папиросу и уходить стал. Палку в руке держит; потому сени у меня темные!.. Сам шумит: вы меня, подлецы, обмануть пожелали... Нно, аа-х, бой-девка Аленушка у меня, — продолжал хвалить беззубый отец молодую дочку, глубокомысленно покачивая головою, восхищенною талантами родимого детища. — Принялась она в эфто время около того чиновника кружить и вопить. Вцепилась ему в воротник и вопит: гос-спода християне! Смотрите, как этот злодей надо мною, девицею, надругался! То обещался жениться, но теперича, на место того, прочь идет. Засвидетельствуйте! Тятенька милый! Братцы родные, заступитесь за невинную!..

— Бросился я это на чиновника и ухватил его за ворот, но он меня палкой в плечо, одначе, не поддавшись ему, хватил я его по виску... Стар-стар, а хватил... Он — кричать... Душут, — говорит... Подскочил тут, зачуявши хорошие деньги, извозчик Коленкин, — по сосецству живет, подлец; а все же подхватил молодца и увез.

— Мы после того, — рекомендовал мне Кузьмич, — с дядей Листаром Коленкина этого

страсть как в кабаке колотили. То дядя Листар колыхнет его, то я колыхну; а он нам в ответ: суседи милые, простите! Мы его колотим и говорим: подлец! Вперед этого не делай! У тебя свои дочери подрастают...

— Потеха была! — улыбаясь, заключил Кузьмич первую историю. — Но все же я с барина, окромя того, как Аленушке он, в своем прежнем с нею знакомстве, делал большие подарки, стащил три целкача... А после мы подавали на него к мировому, так мировой тоже присудил его, за евойный против невинной девицы соблазн, к штрафу, в дочернину, выходит, пользу. Она нам еще в те поры на этот самый штраф коровку такую пожертвовала — комогорскую. Славная такая коровка, — комолинька немножко, но к молочку, Христос с ей, очень-очень пригодна!..

— Мы, бывало, признаться, засядем всей семьей молоко от энтой коровы хлебать, так без смеха вспомнить про жениха не можем. Господское, мол, молоко-то! Подоили! Ха, ха, ха!

Другие истории, рассказанные Кузьмичем, были еще занимательнее. Одна за другой, наподобие знаменитых рассказов «Тысячи одной ночи», шли они, с каждой минутой увеличивая и интерес своих тем, и веселость рассказчика. Родительское чувство, распаленное представлением высоких доблестей Аленушки, живо отражалось на преображенном лице старика. Радостно светились его маленькие глазки в то время, когда усиленно двигавшийся язык коверкал на разные манеры его впалые щеки, по которым, слетевши с бледно-розовых губ, пор-

хали улыбки, отлично расцвеченные блестящими повествованиями про несказанные достоинства героини. В отцовском воображении героиня эта, увенчанная радугами, стояла на каком-то высоком и незыблемом пьедестале, а у ног ее, ослепленные лучами ее беспримерного ума, лежали в самых карикатурных позах те бесчисленные и разнохарактерные личности, которые будто бы сгибли от столкновения с нею. В числе этих поверженных во прах личностей странно сталкивались и те, по выражению Кузьмича, голоштанники с дурацкой фанаберией, которым следовало бы за претензии на обожание царь-девицы Аленушки порядком накласть по-шеям, и те миллионщики-купцы и знатные господа, права и достоинства которых, по мнению опытного человека, были такого великого и святого сорта, что Аленушка непременно должна была приласкать как можно получше таких людей.

— Потому такие люди нашему брату, маленькому человеку, могут завсегда что-нибудь хорошее сделать. С ними, брат, ссориться нам не годится, — резонно поучал старик кого-то, не существовавшего в нашем обществе, важно вздергивая при этом поучении на самый верх лба свои облезлые брови.

Снабжены были также эти истории целыми рядами ухаживателей-красавцев, рекомендованных, впрочем, Кузьмичем за самый пустой и ненадежный народ, который «истинно что только одному глупому бабью может глаза отводить. А от него, от народа-то этого, бабам, кроме немочей, ничего не выходит, потому он, по морде

по своей, норовит обойтись с женским полом на шаромыжку».

Тут следовало приведение одного воспоминания из прошлой жизни героини, доказавшее непреложность высказанного правила.

— Приятность в лице! разговаривают бабы,— восклицал Кузьмич. — А что она такая эта приятность? Зм-мей! Только одно искушенье! В первый раз, как Аленушка в Питере жить стала, уж на что умней девки, а и то один такой-то прельстил... Приезжает к нам, отошодши от места, лица нет. Мы с супругой: ах, ах! Но она на другой же день в постелю слегла. Видим: горячка! Жар так и пышет. После того бредить принялась — и все стихом бредит, все песнями. Заведет-заведет так-то (голос звонкий):

А-ах! Кол-ль ты по-ння-ять бы мог то,
Ск-ко-олль тобой я пленена!

В этом жалостном месте рассказа сиявшее лицо Кузьмича оросилось обильными слезами. Горемычно понурил он голову, припоминая нам тяжелое время дочерниных скорбей.

— Я, бывало, слушаю, — говорил он, распуская по бороде непрошливые слезы, — как это она, голубушка, убивается, так сичас с горя в харчевню. (Харчевня тут подле нас стояла, так хозяин-то приятель мне был. Он десять годов тому вон в той роще от своего жалостного сердца на дереве удавился.) Сижу, бывало, у него и горюю, и он со мною вместе горюет, потому, как одинокий человек, очень все наше семейство не оставлял... И только по таким временам одна супруга могла меня мало-мальски

разговаривать. Не пей, говорит, дурак. (Дай ей бог за это доброго здоровья!) Не крушись! Это, объясняет, по молодым девкам такие болезни завсегда ходят... Я ее урезоню от этой болезни. И точно: урезонила!..

Справедливость плачевной истории, а равно и благополучный исход ее были с отличной готовностью засвидетельствованы передо мною, хотя я во все это верил самым искренним образом, и дядей Листаром и Фарафонтьичем, каждым, разумеется, на свой собственный манер.

Дядя Листар затянул с своею обыкновенною свирепостью:

— О-о-хо-хо! Детки, детки! Все-то сердце у родителев переболит по вас!

Между тем как Фарафонтьич прямо уверял меня, что во всем этом неправды ни на вот сколько нет. Все как сказано, так и было...

Мне, не знаю, почему-то вдруг стало противно от этих неожиданных уверений. Потому ли, что они нарушили мое внимание, с которым я слушал и смотрел Кузьмичев плач, или потому, что маленький внучек Фарафонтьича попрежнему во все свои синие глазки осматривал нашу компанию и неутомимо держался за бороду деда, как бы с целью показать всем нам, что история, только что растрогавшая нас, может быть исполнена такой же старой и отрепанной неправды, как стара и отрепанна мочалка, находившаяся в его руках.

Во второй раз этот бессловесный мальчик натолкнул меня на мысль, бог знает отчего мелькнувшую в моей голове, что уж не комедию ли какую ломают передо мной эти старцы; но

Кузьмичу, как говорится, не было никакого удержу. Его речи лились рекою и не давали мне никакой возможности остановиться на моей мысли, пораздумать над нею и определить ту фальшь, которая звучит во всех этих рассказах и обеспокоивает меня.

— И от всякого-то она, — заливался Кузьмич, — возьмет деньгу самым, то-есть, деликатным манером. Красавца-то мы, о каком я тебе говорил, страсть как пролупили! Все сюртуки у него сукциону пошли в один год! Эдакие горы одежищи! И ведь ты не подумай, что она на наряды себе собирает либо на транжирство какое-нибудь, н-не-ет! Все родителям, все родителям! Истинно, семейство мое без нее давно околело бы. Да вот не далеко сказать, как она, даром что девица, а не хуже самого заправского молодца всю свою фамилию облагодетельствовала: приехала из города с старичком одним — с отставным чиновником. В мою пору этот чиновник, но только гораздо меня слабее, потому господа не в пример скорее ослабевают, чем наш брат, простой мужик. Приезжает и говорит: тятенька! маменька! Вот я вам жильца привезла, из благородных, в отставке. Старик, смотрим, молчит и только все это шевелит усами, на манер таракана, ровно бы что-нибудь сказать собирается. Только это чуть-чуть доносит к нам от его: полуштоф! полуштоф! Тут Аленушка засмеялась и шепчет: это, говорит, он за водкой приказывает сходить. В нем, говорит, только всего теперича и осталось, что любит он водку пить да на баб молодых глядеть. Вы, — советует нам, — подра-

жайте ему в этих разах. Мы засмеялись и стали тому старику подражать. В иной день рюмочку ему оборудуешь, в иной—две; а он, сидя себе на лавочке, так-то в барынь глазами впивается и губами подчмокивает! Бедовый! Хе, хе, хе! Н-но сам-мые большие комедии представлял старик, когда Аленушка к нам из города приезжала. Наденет сюртук, на грудь медалев навешает и все это руками-то ловит, ловит ее... Куда она, туда и он за ней плетется, — смех!.. Умер недавно, так отказал триста серебра, халат на волчьем меху, так, в роде бы шубы халатик — исправный, да три курочки с петушком, самый первый сорт, кахетицкие какие-то. Большая нам от тех курочек польза и утеха выходит... Яички-то ныне кусаются; мы девять десяточков в одну неделю по четвертачку продали. Аленушка и теперь говорит: как бы, говорит, не запрещал синат таким старикам жениться, я бы беспременно за моего благодетеля замуж пошла, потому после него пенсион и благородство. Но мы с супругой ее от этого отговариваем, потому как на стариково наследство изладили мы флигаречик об трех окнах, с мезонинчиком, и, может, с эттим флигаречком возьмет ее за себя какой-нибудь офицер. Известно, что не из самых благородных, но все же офицер. Так-то вот, я тебе говорю, кто родителей-то уважает, тому...

Тирада дяди Кузьмича не была закончена. Ее на самом моральном месте перебил некоторый высокорослый блондин, вошедший в комнату теми развязными, танцовальными шагами, которыми так недавно еще обязаны были входить

в гостиную люди *хорошего тона*. Рыжие, строго обвислые усы обличали в блондине человека, не незнакомого с прелестями военной жизни, хотя в то же время истасканный костюм его, обрюзглые и багровые от пьянства щеки и даже, наконец, желвак под левым глазом ясно свидетельствовали, что воин обратился в смиренного гражданина.

Переставши танцовать и шаркать, он устремил в меня тот пристальный и серьезный взгляд, которым пьяные люди хотят доказать трезвым людям, что они не пьяны, и с величественною светскостью на французском языке произнес:

— Мосье, можно войти?

— Да ведь вы уж вошли, — отвечал я и, по своему обыкновению, засуетился, представляя те трудности, которые всегда мне приходится преодолевать, примиряя моих гостей джентльменов с моими гостями не-джентльменами.

Мою отповедь блондин залил целым каскадом французских слов и французских удивлений.

— Вот брякнул, так брякнул! Ххахха, хха-а, — раскатывался он этим трескучим полутенором и полубаритоном, столь свойственным нашим отставным и пропившимся всадникам. — Да ведь вы уже вошли! Что за наивность? — И, преснисходительно вылупляя на меня свои стеклянные бельма, французил блондин, — и прриттом как-кая наивность! Хха, хха, хха!

Щеки таинственного незнакомца так и подпрыгивали при этом смехе; я почему-то не то чтоб конфузился, а был в таком положении, как будто стоял не на своем месте. — Кузьмич и

Фарафонтьич заботливо отыскивали свои шапки, торопливо и униженно кланяясь блондину и улыбаясь перед ним в то время, когда с меня он переносил на них свой стеклянный взгляд. Даже дядя Листар очень тихо встал со стула и выразил намерение отправиться домой самыми мягкими стопами, несмотря на то, что его громадные ноги были обуты в большие, шумно громыхавшие ступанцы.

— Что вы тут делаете с этими скотами? Охота вам поить этих старых дураков! Вы бы их в шею! Вот так!

Говоря это, барин в одно и то же время шутливо и строго потряхивал и подергивал то одного, то другого старика.

— Што они вам все штуки свои показали?— осведомлялся блондин у меня. — Довольны вы?

Я, натурально, отвечал, что мне никто никаких штук не показывал. Старики заметались в это время еще тревожнее, и только дядя Листар, сохранивший кое-какое присутствие духа, сердито отгрызался, точь-в-точь бульдог, на которого надели намордник:

— Ну уж вы мне, ваше благородие! Вам бы все штуки, по вашему приказу, для каждого господина даром показывать... Напрасно вы так-то с нами...

— А-а, скотина, заговорил! — с каким-то особенно громким и развязным хохотом затараторил барин, схватывая дядю Листара за ворот рубашки и тем предупреждая его намерение предаться бегству. — Сейчас чтобы нам обо всем обстоятельно доложил. Говори: какими маневрами ты приобрел себе этот дом?

— А какими? — угрюмо каялся дядя Листар. — Известно, через свою собственную женитьбу... От особы получил... От почтенного лица...

— Ха, ха, ха! От почтенного лица? Ну, а за что же?

— Известно, за что! За супругины услуги!.. По вдовству по ихнему присмотр за ними большой требовался... Што же? Мы люди маленькие! Нам без услуг нельзя...

— А? Нельзя? — передразнил барин, закатываясь непрерывавшимся смехом. — Так и запишем. П-шол вон, буйвол, чудовище ты эдакое! Смотрите: рожа-то какая!..

— Што ж рожа? — протяжно и конфузливо отрезонивал Листар. — Известно, узоров нет; а рожа самая христианская! Тоже веруем — слава богу! Пущай мужики, а себя завсегда соблюдаем. Р-рожа! — прорычал он окончательно, стараясь как можно скорее улизнуть за дверь.

Другие старики, без малейшей оппозиции, повиновались повелительному барину. Фарафонтьич смиренно постаивал у порожка с своим внуком на руках и слезливо помаргивал, а дядя Кузьмич из заносчивого политикана живо и с полною готовностью преобразился в одного из тех шутников, над которыми помирают со смеху кабачные компанства, покупая их прибаутки стаканами пива или водки. Он стоял перед блондином в смешной позиции старичка, желающего показаться молодцом перед *господами*. Его правая нога, не без грации выставленная наотлет, и приятная, с полной надеждой ожидающая всяких милостей, улыбка,

которую, впрочем, он весьма часто вытирал своей татарской шляпенкой, показывала в нем человека, твердо решившегося делать перед господами всякую штуку и всякую послугу.

— Ну, ты, облизьян! — приветствовал его барин. — Ведь ты — облизьян?

— Так точно-с! Эфто даже очень верно, судырь! — решительно отвечал Кузьмич, при чем, с манерой паяца, вместо правой ноги выкинул наотлет левую.

— Хорошо! — одобрил барин. — А чем ты занимаешься?

— Кормлюсь-с воровством-с! От своих собственных рук-с...

— Чудесно! Была добыча давно?

— Третьеводни с младченькой дочкой-с оборудовал у пьяного курятника четыре цыпленка, но избили. Дочка-с, малый ребенок как, потому теперь от этих побоев лежит в постели-с... Вся в примочках-с... Господин аптекарь отпущают нам арнику-с безденежно-с...

— А где твоя старшая дочь?

— Состоят с недавних времен при господах-с в услужении... В Санкт-Питербурхе...

— Ну полно врать...

— Смею заверить, что безоблыжно докладываем-с...

— А отчего у ней на правой ноге пятки нет? А! ха! ха! ха!

— Порешимшись пятки!.. Это точно-с! Грехов таить не могу-с...—ответил Кузьмич с предварительным вздохом и несколько сконфузившись.

— Отчего же это она порешилась? А? ха! ха! ха!

— Потому вдарило им в пятку-с...

— Что?

— Нехорошей болестью вдарило...

— Ха, ха, ха! Слышите! А от-чче-ево она?..

Но вместо ответа на последовавший за этим вопрос Кузьмич совсем сконфузился. Он стыдливо мял в руках свою шляпенку и говорил:

— Не могу-с, ваше высокоблагородие, вам никакого ответа дать на сей раз. Сколько вами ни облагодетельствован... Но только никак не могу-с... Как вам угодно-с... Да вы вот лучше извольте, ваше в-дие, у Фарафонтьича спросить про ихнего сынка-с... Распотешить могут ихние похождения не хуже моей дочки-с...

— Што тебе мой сынок! — вдруг окрысился Фарафонтьич. — Сынок, сынок! А што такое мой сынок? Небойсь, мой сынок-то не такая поскуда, как твоя дочь! Мы благородных господ не обкрадываем. У тебя онамедни самая маленькая-то, так и то сетку с капитанши украла, с богомольщицы.

— Ка-акк? М-моя доч-чка! Мл-лад-денец-то! Украла! Рази она смеет без моей родительской руки? Ты знаешь, кто ей отец?

— Кто ей отец? — свирепо приставал отличавшийся своею смиренностью Фарафонтьич. — Ай сам не знаешь? Ведь мы с тобой ровесники... Еще ты на крестины-то ее занимал у меня три двугривенника...

— Хха, хха, хха! Как есть из «Оленьего Парка», — интимничал со мною белокурый барин. — Вот посмотрите, как я их сейчас стравлю. Слушай-ка, Кузьмич, мне дед Фарафонтьев вчера в лавке рассказывал, будто твоя дочь

монахиней по вечерам наряжается и тем тебя, старого дурака, прокармливает...

— М-моя доч-чь! Гл-лаз-за лопни! — воскликнул в глубочайшем удивлении Кузьмич. — Да, ваше в-дие, што вы этому старому чорту, прости господи мою душу грешную, верите?.. Это сын его, от церковных ворот кружку отбивши, купил себе на место этого томпаковые часы на серебряной цепочке, и с ними по посаду рази он может ходить? Жилетку тоже себе ситцевую купил, совсем как на манер шерстяной. Вся в цветах... Рази его можно за это одобрять?

В ответ всем этим препирательствам слышалось одно только барское: хха, ха, ха!

— Кру-ужку? От святой церкви мой сын кружку отбил? — растрещенился Фарафонтьич, зверски оскаливая при этом свои гнилые зубенки. — Ахх ты, стар-рый! Да когда это было?

— Когда? — меланхолически и вместе с тем утвердительно откликнулся Кузьмич. — А вот когда: сарай-то этот тесовый, какой у тебя под гусарскими конюшнями ходит, на какие деньги построен? Што? Обжегся! Вот когда.

— А твоя жена на какие деньги себе к прошлой святой бурдусовое платье сшила? — как гиена злился Фарафонтьич. — Все же от офицерского денщика получены...

— А твой-то сын што с полоумной барышней сделал?.. Х-хе!.. Ну-ка, расскажи.

— Вон!—грянул в этом месте обыденного романа полубаритон и полубас бывшего военного человека.—Ах, скоты! Забылись совсем! Вы господ-то, должно быть, совсем знать не хотите...

Тихо вышли из моей комнаты потешные, по отзыву барина, старички, кланяясь и благодаря до того униженно и благодарно, словно бы их выпустили из тяжкого вавилонского плена.

Внучек Фарафонтьича любопытно посматривал из-за дедова плеча на крикливого господина; а крикливый господин, вздохнувши, как бы с глубокой устали, сказал мне:

— Устанешь с этими животными! Я вот с ними лет десять живу, так, ей-богу, необыкновенно устал, потому что, надеюсь, вы видите во мне человека с образованием... Ну, а такому человеку жить с ними почти невозможно. Видишь их дурость вседневно — и никакой изобретательности, — ужасно надоедает. Говорят, что кормиться нечем: земли нет, говорят — угодьев тоже никаких нет, мастерствов (и вы поймите эту квинт-эссенцию русского языка: мастерствов!) никаких не умеют. Что же, спрашивают, нам, судырь, ваше благородие, делать? Учишь, учишь!.. пользы, как от козла — ни шерсти, ни молока!.. Мы, говорят, по-барскому не умеем...

Судя по тону, с каким барин произносил эти слова, видно было, что ему в действительности очень жаль своих, как старинные учебные заведения отмечали ученические аттестаты, неспособных и недобропорядочных учеников. Он задумался на некоторое время, грызя ногти и выпивая рюмку за рюмкой. Мое положение было таково, чтобы дознаться с большей или меньшей достоверностью, о чем именно он так глубоко думает, и потом предохранить его от вредоносных результатов этой думы.

— Вот что! — крякнул барин после долгой паузы. — Я вот вчера видел на вас хорошую шляпу. Собственно затем и пришел. Тут вот скоро поедут фрейлины, так мне чтобы к коляске, знаете, поприличнее подойти... Антр ну: для семейства, — скороговоркой и крепко сжимая мне руку, толковал он. — Что делать? Я сам генеральский сын... Но, как говорилось в старинных романсах: испытал судьбы перемену!.. Так можно, насчет шляпы-то?

— Вот, вот! сделайте одолжение, — подал я ему шляпу, в полной уверенности, что она должна быть спасительницей и белокурого человека, и его многочисленного семейства.

Барин в это время искривился до высочайшей степени неудобства, затанцовал, зашаркал и залопотал:

— Monsieur, vous êtes bien bon! Parbleu... Pour la première fois!.. Mais diable! Н-ну, если мне удастся схватить что-нибудь, то первый наш шаг... Общий шаг!.. Ce sera des fleurs... des fleurs!.. Mais vous comprenez?.. Ха, х-ха, х-ха!

И затем барин, выпивши еще безделицу, удалился, величественно помахивая высокою белою шляпою и строго осматривая проносившиеся мимо него по шоссе экипажи.

С балкончика, на котором я сидел, видно было, как мой новый знакомый раскланивался с различными проезжавшими господами и госпожами. Под балконом между тем на длинной скамейке сидела какая-то туземная компания, пощелкивая орехи и подсолнечные зерна. По

разговорам этой компании я мог заключить, что она с большим интересом следит за прогулкой белокурого господина.

— Гляди, гляди! — слышалось из-под балкона. — К князю Тугову приступает. Ну, н-нет, барин, шалишь! Об эфтого разобьешься...

— Ну, вот теперича к госпоже Дубовой подступ сделал, — раздавались другие голоса. — С этой что-нибудь беспременно сшибет, потому богомольна... Эка барин какой продувной! Сколько он теперича с этих господ денег скалупывает — беда!

Страннее всего в эту минуту было то обстоятельство, что слышанные мною голоса часто были перебиваемы возгласами, в роде: mon Dieu, mon Dieu! Quelle infamie!

— Не тоскуй, барыня! — отзывались по временам на эти возгласы другие, невидимые мне люди. — Все тебе же собирает... Дитю!..

— О, позор-р! Какой позор! — раздавался тот же страдающий и негодующий женский голос.

Я перевесился через перила балкона с целью увидеть, кто это там страдает; но кроме необыкновенно горластого и безобразного ребенка, валявшегося в куче песку, ничего не увидал. По временам этот ребенок вскакивал с песку и убегал по направлению звавшего его голоса:

— George, viens ici! Regarde, mon petit, que fait ton papa!.. Oh! comme nous sommes malheureux!..

— Барыня! Не скорби! Все тебе же принесет, — лились утешающие речи; но речи эти,

видимо, не достигали желанного результата, потому что барыня скорбела все больше и больше.

Между тем некоторые из этих озолоченных последними солнечными лучами колясок снисходительно останавливались перед отрепанным барином. Видно было, как на его почтительные и грациозные поклоны из колясок отвечали тоже грациозными жестами, ясно говорившими: что вам угодно, мсье?

Затем следовало вынимание портмонэ, потом вынимание из портмонэ бумажек и вручение их белокурому барину, потом и я, и вся кипевшая страшным многолюдством улица видели, что толстый барин, сидевший в коляске, долго разговаривал что-то с белокурым барином, стоявшим перед ним и державшим шляпу наотлете...

Вечернее солнце одинаково безобидно освещало и халуйскую спину барина, стоявшего у коляски, и сморщенные губы барина, сидевшего в коляске...

— Х-ха, х-ха, х-ха! — гремела улица, увеселяясь этой вечерней картиной.

— Oh, mon Dieu! mon Dieu! George, mon pauvre enfant!..

— Бар-рыня! не скор-рби! Пшто ты экк-кую гадину любишь!.. Дуб-бина! В чинах, а побирается... Рази можно так поступать благородному человеку?..

— Молчи, осел! — негодующими уже тонами зазвучал женский голос. — Как ты можешь говорить так об образованном человеке?.. У меня отец генерал, и у него — генерал...

— Ха, ха, ха! Оно и видно!.. Приметно по всему...

— Молчать, скот! Как ты смеешь со мной так разговаривать? О, George! Что должна выносить твоя бедная мама?..

Из-под балкона развалистыми шагами вышла какая-то поддевка, очевидно, спугнутая со скамейки этим окриком барыни. Неторопливо направляясь чрез шоссе к противоположному кабаку, поддевка недовольно ворчала в том роде, что «эх вы, господа голые! На грош муниции, а на рупь амбиции! Туда же по-французскому»...

— Молчи, молчи, гадкое животное! — кричала барыня, выбегая из-под балкона, как бы с целью догнать обидчика и разделаться с ним благородным образом. — Если ты скажешь еще одно слово, сейчас к становому...

— Видали!.. — со смехом огрызнулась поддевка с середины шоссе. — Не стращай!

В компаниях, сидевших на лавочках, эта сценка произвела веселый хохот; а барыня, в крайней ажитации, побежала к своему сынку, обняла его и истерически зарыдала, перемешивая свои рыдания с различными французскими жалобами на горькую судьбу, доставшуюся в удел ей и ее ребенку.

Она была таким маленьким, грустным и бедным созданием, что трудно было представить себе что-нибудь беспомощнее ее, когда она прижимала к груди свое дитя, какими-то стеклянными и равнодушными глазами смотревшее на материние слезы...

— Это еще что за новости? — прикрикнул белокурый барин, подходя к описанной группе и гневно топорща усы. — Что день, то новая

драма! Когда вы меня перестанете срамить пред этим мужичьем? Марш домой!

— О, Jean! — молительно обратилась к нему дама, грациозно поднимаясь с кучи песку...

— О, Jean! — плаксиво передразнил ее барин. — Скажите, какая невинность!.. Вот возьми, — говорил он, подавая ей скомканную рублевую бумажку, — да у меня не сметь куксить... Домой! И после этого никогда не актерствовать на улице. Ишь каким сокровищем хвастает, — закончил строгий властелин семьи, давая легкого щелчка в лоб своему наследнику.

Барыня торопливо укутала голову ребенка полами своего бурнуса, умоляя в то же время мужа не ездить куда-то, не делать чего-то; но муж не обращал на нее ни малейшего внимания. Завидев меня на балконе, он любезно раскланялся со мной, поблагодарил за шляпу и, похвалившись тем, что он ныне порядочно *сдернул с вислоухих*, с игривым смехом стал меня звать проехаться куда-то весьма неподалеку, где находились будто такие котлетки и такой маколчик, что просто пальчики все оближешь...

Глубоко благодарный взгляд кинула на меня несчастная женщина, когда я отказался от этого приглашения, а барин, пробормотавши что-то насчет чьего-то свинства, геройски махнул рукой проезжавшему лихачу, которым с быстротою молнии и был отвезен в страны макончика и котлет...

Только одно это женское горе и успел я приметить в счастливой местности; но и оно в об-

щем было совершенно заглушаемо смешанным гулом на разные лады ликовавшей толпы. По временам из этого гула вырывались вороньи, бабьи речи, касавшиеся до барыни.

— А чорт ей велит жить с этим урлапом! Сама виновата!.. Да я бы на ее месте...

— Известно, что на ее месте всякая бы... Она еще молодая... Онамедни при мне засылали к ей от одного вдового купца в экономки звать... Не пошла!.. Я, говорит, благородная... А какой фабрикант-то!..

— Да стала бы я теперича так по нем печаловаться? Убиваться! Да разрази меня на сем месте...

— Ну да тебе-то не диво — по мужике не убиваться... Видала ты их на своем веку... Кажется, на рот-то кой-кому замчишко бы какой понавесить следовало...

— А тебя-то давно уж на цепь всю пора посадить... Кто бы другой говорил, а вам бы с мужем-то помолчать нужно...

— Е-ес-сть перед кем! Это перед тобой-то?..

— Передо мной!

— Бабы! Молчать, подлые! — кричал с шоссе пьяный лавочник с бычачьими глазами. — Што вы мне спокою не даете в моем запивойстве? Рази я часто пью? Я не часто пью, а вы мне мешаете! Вот сичас перепишу вас всех в книжник и перестану вам за это в долг отпущать — и должны вы тогда все с голода переколеть. Ха, ха, ха!

— Ха, ха, ха! — отзывались на это ласкающие женские голоса. — Ах! Что же это за чудак Борис Костентиныч? Какие надсмешки дает.

Иди, Борис Костентиныч, сюда в нашу компанию, — мы тебе романец сыграем. У нас тут тепло...

— О!—кричит самодовольный бас лавочника, и затем в надвинувшейся вечерней темноте раздаются бабий визг и хохот, грохотанье приглашенного, протискивающегося в самую середину бабьего общества, и робкий шопот: «И, чорт! Ослеп, что ль? Видишь, вон мой из кабака выбег! Ах! рубаха-то на нем, на шуте, как вся исполосована!»

Действительно, шут, выброшенный сейчас кабачною дверью, был весь оборван и окровавлен. Стремительно понесся он вдоль шоссе, вытирая с лица кровь рукавом рубахи. По следам его, с невообразимой галдой, гналась пьяная приятельская ватага, все опрокидывая на своем пути.

— Черти! — кричали стаптываемые этой ватагой. — Когда на вас угомон-то будет?

— Што ж нам? Ай мы не в своей державе?.. Стр-ранись! Подавим всего... Ха, ха, ха!

Как бы прощаясь с буйно проведенным днем, улица, несмотря на то, что делалась все темнее и темнее, буйствовала все больше и больше. Перед каким-то холстинным шатром, украшенным вывеской, говорившей, что здесь «Беспроигрышная староскопическая лытарея», волновались целые массы народа. Лытарея была освещена лампами, чрез что получалась полная возможность видеть, как внутри ее некоторый бравый детина в красной рубахе и высоких козловых сапогах показывал публике в стереоскоп веселые фотографии, заставлявшие ее покаты-

ваться со смеха, и как он с ухарскими прибаутками вручал различным «господам купцам, кавалерам и фрейлинам» выигранные ими вещи. В то же время другой точно такой же детина с отличным успехом разжигал игрецкий задор своих посетителей, погромыхивая им на гармонике мотивчики таких забирательных свойств, что некоторые из предстоявших госпож фрейлин вламывались в амбицию и говорили виртуозу: «Ты, однако, свинья, не очень охальничай»...

— Пущаю-с теперича, достопочтенная публика, в прахтику вот эфтот самый серебряный самовар, — речитативом покрикивал раздаватель билетов. — Кушали из с-сево самовара три графини... Вот бы вам его, Груничка, выиграть-с. Ведь вы тоже Графена-с! Возьмите билетик-с на счастье-с.

Груничка фыркает и с негодованием вывертывается из дюжих лап лотерейщика. Предстоящие хохочут, — целые десятки рук протягиваются к стойке с деньгами. Вот зажужжало лотерейное колесо,—публика, взявшая билеты, стихла в ожидании выигрыша серебряного самовара, — и только задние ряды ее галдят попрежнему, восторгаясь музыкантом, который снова голосисто и бойко грянул на гармонике:

Как н-на эф-тай на Пакрофке
Мне попались три плутовки,
Собой нид\р-рны-ы!
У ад-дДыной зат-тылок бритый,
У др-другой скулы разбиты,
Ах-х! Оч-чинь хор-роши!

— Хороши! — вторит толпа песеннику. — Это точно что очень прелестны. Ха, ха, ха! Экой чорт! Ведь придумает же...

— На том стоим-с! — скромно отвечает поэт...

— Подходите, подходите, молодцы! — раздается речитатив. — Идет в эту самую аллегру персицкой ковер из пуху райских птиц...

— А веселое тут у вас место, — доносится до меня тихий разговор с лавочки соседнего дома, — только буйства много.

— Буйства? — защищает кто-то, скрытый ночью. — Какое же это такое вы буянство увидали? Точно что места у нас веселые, но буянства нет... У нас испокон веку так!..

— Тихо? А это вон в кабаках-то что делают? Везде краулы кричат, песни орут...

— Да это что же? Это так мужики от скуки играют, — бабы теперича, какие ежели запивают, тоже с ними по кабакам и трактирам сидят. Так ведь это что же? Делать дома нечего, вот они и пьют. У нас так испокон веку, милая барыня!..

— Да чем же вы живете-то? Ведь ты же мне сама сказывала, что мужики у вас ни пахотой, ни торговлей, ни рукомеслами никакими не занимаются; бабы шить не умеют. Чем же вы кормитесь-то?..

— А мы, барыня, — с поучительной лаской, направленной как будто к беспонятному ребенку, говорил защищавший голос, — мы, суда рыня ты моя, кормимся от вашего брата, потому как приезжают к нам господа для вольного воздуха... Опять же город близко; и у нас там, милая ты моя, милостивцы заведены... По шоссе

опять много всякого народа и ходит и ездит. Ну, значит, от другого...

Тут я услышал голос дяди Листара, расхваливший меня кому-то самым лестным образом:

— Н-не-ет, мил-лый! Я тебе прямо говорю (ты знаешь, врать тебе я ни за что не буду!): у меня жилец не такой! Мой жилец семь офицерских чинов произошел. Я, к примеру, все эти его жалованные граматы сам видел. Он сказал мне: дядя Листар! Как я тебя полюбил, то вот читай мои граматы, — и сичас из своих рук стакан рому. Как же? Сосватан в Питере на полковницкой дочери, — кр-раса-вица!..

«Господи! Что это он? К чему?» — думал я, зная, что, кроме меня, у дяди Листара жильцов ни одного человека нет.

— Вот бы такого-то господина попросить! — послышался заискивающий голос. — Я ведь, признаться, и не виноват, почитай, в эфтом деле... Это все вон Киндяковы поделали, потому кондухтор этот, какого они схватили, у меня детей крестил. Сам рассуди: ну стану я такого человека беспокоить?..

Но нисколько не слушая своего компаньона, дядя Листар, наподобие дикого коня, несся все дальше и дальше с своей импровизированной поэмой про жильца, прошедшего семь офицерских чинов. Пропустив мимо ушей приятельскую просьбу, он продолжал:

— Сичас эта самая невеста — полковницкая дочь — приехадчи ноне из Питера, доложилась ко мне: дядя Листар! Сбереги ты моего жениха, я на тебя надеюсь. В ем, — рассказывает мне, — ума посажено — беда... И сейчас же мне

фунт чаю — и ручку дает целовать. На, говорит, целуй мою ручку, потому я полковницкая дочь...

— Ах! — дрожа от волнения, умолял слушатель дяди Листара. — Вот бы такого-то попросить... Помоли его за меня, дядюшка Листар Максимыч, — я для тебя ничего не пожалею!..

— Угощай иди! — отрезал дядя Листар. — Н-но н-не р-ру-ча-юсь!.. Ах! каково он у меня высокого обхожденья!.. Я уж на что, кажется, с какими знаком, а и то его боюсь... Потому, я тебе прямо говорю, он милослив, но зато, ах, как строг!.. Ежели для беззаконных, — избави боже!..

В противоположном кабачке сейчас же после этого разговора хлопнула дверь, чем поэма эта и закончилась...

— Так вот так-то, милая барыня, мы здесь и живем, — опять возобновилась интересовавшая меня беседа у соседнего дома, заглушенная было громким голосом моего хозяина. — Так вот и живем. От того, говорю, щипнешь, от другого щипнешь. А буйства нет у нас! Потому из чего нам буянить? Мы знаем, что господа нас не минуют, — поэтому мы совсем без печали... О чем печалиться-то? Печалиться-то сам бог не велел...

— Аристарх! Аристарх! слушай! — кричал в кабаке буйный женский голос. — Веди меня сичас к твоему барину. Я с ним по-французски... Вот слушай:

Venez, venez, garçons!
Tra-la-la, tra-la-la!

Или по-немецки... Я тоже могу. Меня учили... Слушай!

— Ну, а какая от тебя награда за это будет? — осведомлялся Листар.

— Нет, стой! Слушай! Вот я тебе по-немецки:

Du hast Diamanten und Perlen...

— А я тебя спрашиваю, какая мне за это будет награда? Ты одно возьми в толк: ведь он об семи чинах...

— Я сама благородная... — пьяным дискантом рекомендовалась женщина...

— Листар! Что я тебе говорю, — слушай! Кажется, ты меня довольно знаешь, — вмешался в этот разговор еще другой, тоже женский голос. — Как ты, такой благородный мужчина, и с этой несчастной дела имеешь? Ну куда ты ее поведешь? Кажется, ты знаешь, как я образована: и по складам, и по толкам не хуже кого понимаем! Прислушайте, господа! Кто кого образованнее: Я червь-есть — че-слово-твердо-наш-аз — на-глаголь-он — го-он-твердо-цы-аз — ца-добро-он-червь-ерь—чь...

— Гра, гра, гра! — тряслись от хохота кабачные стены. — Молодец! Сложила. Ну-ка, ты теперича: сыграй по-французскому-то... Мы послушаем...

— Черти! Туда же насмехаются, мужланы!

— Коли по полтине серебра жертвуете, доложу, — шумел Листар уже от своей калитки вслед уходящим женщинам.

— Пошел, старый чорт! Мало вас тут, дураков. Есть об чем печалиться...

В скорости всю улицу завалило шествие какой-то необыкновенно свирепой и безалаберно

горланившей орды. Некоторые из составлявших ее членов орали песни, другие занимались подходящими разговорами.

— Ваня! Ивашка! Яшутка! Ну, братцы, сторонка тут у вас, — ей-богу!

— У нас, брат, здесь сторона! Видишь вон трактир-то! Целуй!

— Стой! Стой! Што толкаешься-то? Сам сдачи дам.

— Не есть тут у нас ни печалей, ни воздыханий!..

— Я же тебя, коли ты так стал, я же тебя кол-лону...

— Краул!

— Нет! Драться здесь запрещено...

— Кр-раул!

— Не рви чуйку! Ты дерись, а чуйку не рви!..

— Нне-ет, у нас сторона!.. Я тебе прямо скажу: видишь вон трактир-от? Хо! Первый сорт! Целуй!

— Не р-рви чуйку!

Venez, venez, garçons!
Tra-la-la, tra-la-la!

слышался также в этой свалке голос женщины, хваставшейся пред дядей Листаром своим образованием.

Tra-la-la, tra-la-la!

с хохотом припевала она, прибавляя к своим мотивам отрывистые изречения, в роде следующих:

— Есть о чем говорить! Что печалиться-то?.. Ха, ха, ха!

— Не р-рви чуйку!

— Пусти бороду!..

— Сам отпусти бороду прежде! Што ты ополоумел, што ли? Всю бороду вырвал...

— Н-не-ет, милый! Яшка! целуй! У нас здесь место—рай, одно слово! Видишь вон: это постоялый двор; но все одно што трактир. Ходим! Ахх, места!..

— А-ха, хха, хха! — словно бы русалка, хохотала чему-то пьяная женщина и голосом, разносившимся на далекое пространство, пела свою затверженную песню:

Venez, venez, garçons!
Tra-la-la, tra-la-la!..

1869

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЛУЧАЙ

ОЧЕРК

I

Зимой еще можно кое-как жить в Петербурге, потому что безобразный гомон многотысячных столичных жизней отлично разбивается об эти тяжелые, двойные оконные рамы, завешанные толстыми сторами, заставленные массивными цветочными горшками извнутри и запушенные инеем снаружи.

Доносится только в комнаты по петербургским зимам какой-то злобно-шипящий, неразборчивый гул, напоминающий собою тот яростный сап, который издают два врага, когда они после ожесточенной свалки валяются по земле и употребляют последние усилия, чтобы хорошенько попридушить друг друга...

За исключением этого шума, внутренние апартаменты Петербурга совершенно тихи, и если в них временами и разыгрываются какие-либо драмы, то содержанием этих драм бывает непременно мерзость, таящаяся внутри комнат, а никак не залетающая в них снаружи.

Не то бывает летом.

Самым ранним утром, когда, как говорится, черти на кулачки не бились, жизнь большого города уже в полном разгаре. Валят целые орды разносчиков, криками которых так и давятся эти

маленькие, тесные, напоминающие собою гроба, дворики, свойственные одному Петербургу.

— Сиги морские! Сиги! — глухим и унылым басом голосит рыбник. — Сиг-ги мор-рские!

— Слат-ткай лукк молодой! — скорыми дискантовыми нотками вторит ему молодая бабенка, изгибаясь под тяжестью большой плетеной корзинки, нагруженной пучками лука.

— Та-ач-чить ннажи, ножницы! — резко поет мальчишка-точильщик, опираясь на свой станок с грацией, решительно превосходившей ту грацию, с которою в известной песне опирался на свою саблю гусар, глубоко огорченный предстоявшей ему разлукой с милой особой.

— Сиги... — снова затянул было рыбник, но его возглас окончательно заглушен был другим возгласом, звонко хлестнувшим по маленькому, колодезеобразному дворику.

— Э-э! Сиги! Я тебе дам этих самых сигов, — кричало одно окно в пятом этаже, показывая в то же время людям, способным быть разбуженными этими криками, как в нем светится толстое, разозленное лицо кухарки, стоящей за хозяйские интересы. — Поди-ка, поди-ка сюда! Вздымись к нам на лестницу. Ты какую нам рыбу третьеводня продал? Вот он тебя, барин-то! Вздымись! Вздымись!

Рыбник, видимо, не предполагал такого приглашения. Несмотря на обременявший его голову лоток с морскими сигами, он стремительно повернул налево кругом, и желание его исчезнуть за воротами большого дома было более чем очевидно.

— Иван! Иван! Держи рыбника. Барин его беспременно изнять велел, — кричит окно пятого этажа дворнику, старавшемуся навалить на свою спину страшную охапку дров. — Он рыбой вонючей торгует. Лови!

Иван живо и, очевидно, без малейшего сожаления сбрасывает с плеч своего вековечного утреннего друга — дрова, и летит преследовать беглеца, с необыкновенным азартом приглашая к тому же всех встречавшихся по дороге любезных сограждан.

— Дер-ржи! Дер-ржи! Вот я тебя, расподлец! от мы тебя, раз-этакой! Раз-зутюжим! Раз-зуваж-жим!

Гулко раздалась эта погоня за бежавшим рыбником. К голосу дворника Ивана присоединились другие, яростные, но, видимо, не понимавшие в чем дело, голоса. Как буря, сплошно и неразборчиво ревели все эти или, несмотря на раннее утро, совсем уже пьяные рожи, или такие, на которых недоверчиво посматривали городовые, вооруженные револьверами.

— Где? Где? Н-не-ет, брат, у нас так не водится... Где мазурик? Поймали? Сцапцарапали? Ох-х! Я, я бы ему типериччи спросонков-то... Ух-х! И клеванул бы его, дьявола, для праздника...

Из подвалов выбегали заспанные мастеровые с присущими известным специальностям орудиями; с верхних этажей слетали как бы окрыленные кухарки, лакеи и горничные, обгоняемые господскими собаками, обрадовавшимися случаю выбежать на двор и потолковать на своем собачьем языке с добрыми соседскими благо-

приятелями. Все эти субъекты, наталкиваясь друга на друга, суетливо менялись сведениями и соображениями в роде следующих:

— Что? Как? С ножиком приходил? К кому?

— Н-не-ет! Какое там с ножиком приходил? Это вон у табачника приказчик семь тысяч сдул.

На дворик выходило множество задних дверей, которые вели в различные магазины. Прислушиваясь к разнообразным разговорам, хозяева этих магазинов заботливо осматривали толстые дверные болты, потрогивали замки, между тем как собаки, выбежавшие на двор, совсем ополоумели от страстного желания уяснить себе историю, взволновавшую людей, чего они старались достигнуть неразумным скаканием и тщательным обнюхиванием каждого сколько-нибудь выдающегося булыжника, каждого сколько-нибудь потаенного уголка.

Наступает относительная тишь, разрываемая хохотом над ажитированными собаками, выкриками молодой бабенки насчет сладкого луку, протяжным пением грациозного мальчишки-точильщика и унылым речитативом, сообщавшим столичному люду, что в каком-то далеком захолустье «обвалимшись кумпал в приделе Николая чудотворца».

По этому последнему случаю публика каким-то необыкновенным смиренным *дядей Власом* приглашалась пожертвовать на возобновление разрушенного купола от своих трудов праведных «хоша бы лепту какую».

— Динь! Динь! Динь! — серебристо позванивает колокольчиком *дядя Влас*, грустно посма-

тривая по верхам и сопровождая этот звон своим собственным козелковатым тенорком. — Р-радейте, православные! Потому как маланья обжогши церкву наскрозь... И была же при эфтом, господа хрисьяне любезные, чуда большая...

И как будто снова уснул на зорьке большой столичный дом, редко когда, действительно, засыпающий. Многим, тревожно грезившим, уже снилось, как где-то, в какой-то необыкновенной дали, над каким-то селом, разразилась гневная, темносиняя туча. С неба бежит такой стремительный дождь, который никогда не падал на петербургские мостовые, — молнии так и блещут над этими приниженными непогодой избами, — над этими полями, как будто испуганными разразившеюся над ними грозою.

Между тем толпа, убежавшая было по следам нечестивого рыбника, снова прилетела на двор и загудела еще громче и смешаннее.

— Нет! Это што ж? — уныло басил сцапанный наконец рыбник. — У тебя на это глаза есть, — продолжал он голосом, очевидно, просившим о помиловании. — Ты должна, примером, глядеть, что покупаешь. Тебе за это господа жалованье платят. К праздникам опять тебе подарки идут от господ-то. Нам ведь об этом довольно известно...

— Да ты, каналья, о пустяках-то не разговаривай! — отсоветовал рыбнику объясняться в нравящемся ему тоне какой-то барин в халате и туфлях. — Ты лучше вот что скажи: насколько у тебя этой тухлятины моя кухарка купила?

— Да што ж? Известно, она у вас, сударь, жадная. Я ее, может, с коих пор знаю. Она всегда такая была... Уж на что скупа старуха-майорша, которая вон в суседском дому живет, а и та кухарку-то вашу, сударь, прогнала от себя, потому она ее со всеми торговцами перемутила. С ими, сударь, на Сенной никто изо всех торговцев одного слова разговаривать не хотел, не токма продавать...

— Не верьте, барин, не верьте! — протестовала кухарка против этого обвинения. — Эфто он к вам с подвохом... Штобы, то-есть, как-нибудь меня против вас в сумление ввесть.

— А так, барин, весь мой совет вам, — вмешался кто-то из окруживших лоток рыбника с своим замечанием, — отпустить его — этого самого бездельника. Насовать ему морду-то рыбой и отпустить, потому что с им иначе ничево не поделаешь. Не токма рыба у него дохлая, а и сам-то дохлый совсем... Вы сами видите, потому будь он ежели не дохлый-то, рази бы он попался?.. Право, насуйте — и с господом, чем канитель-то тянуть...

Рыбы, выглядывавшие из лотка своими тусклыми глазами, очевидно, не разделяли подобного мнения. В глубоком недоумении они посматривали на окружавшую их публику и как будто говорили:

— Что же это такое? Разве нас для того привезли сюда, чтобы нами по мордам тыкать? Н-не-ет! Ты нас, брат, ешь! Вот что!

Барин в халате тоже не послушал советчика, разрешавшего сначала понатыкать рыбника в морду, а потом отпустить его. Поигрывая

кисточками халатного пояса, он распорядился послать за околоточным, с которым тут же, на дворе, и составили протокол о торговле попорченной рыбой, производимой крестьянином Фомой Веденеевым в ущерб здоровья столичных жителей, который Фома Веденеев в сем промысле и был уличен титулярным советником Энгелем и кухаркой оного Аграфеной Зотовой, жительствующими и т. д. и т. д.

Смотря на процесс составления протокола, торгующий попорченной рыбой, Веденеев, глубоко конфузился, что он с достаточным успехом выражал неопределенным пучением глаз на какие-то, кроме его, никому не видимые предметы и такого рода непонятным бормотаньем:

— Ну штошь! Эва! Ну и прописывай! Нне-ет! Но-оне, брат, обглядись перва-на-перва прописывать-то. Так-то-сь!.. Ныне, брат, не всяко лыко в строку пиши...

Длинная фигура Фомы стояла на дворе такой одинокою, такою печальною, что еще незнакомые с его историей люди останавливались и жалобно друг у друга спрашивали:

— Это что же детинка-то здесь стоит?

— Судють!.. Четырнадцать тысяч у купца — у немца — украл. Артельщиком был у его — и украл. Сказывают: теперь пареньку-то капут, потому он в азартности в своей весь рот немцу-то наполы разорвал. Ну, теперь вот напишут бумагу и к мировому. По-старому: его бы надо было прямо в острог; но по-нонишнему: без мирового ничего поделать нельзя...

Глуше и глуше становилась домовая буря. Все дальше куда-то улетала она, сердито, но

сдержанно ропща и негодуя на что-то. Наконец двое городовых совсем усмирили ее тем, что сначала предложили кое-кому из особенно раззевавшихся очистить дворик, а потом уже и сами ушли вместе с длинным рыбником, поддерживая его под обе мышки, чем, вероятно, они хотели выразить ему свое глубокое сочувствие к постигшему его бедствию.

— Ну что хорошего! — наставительно басили городовые рыбнику. — Ну вот, что тут хорошего: рыбой это он вонючей торгует, господ обижает. Вот теперь на свидетельство... К самому г. мировому судье... Ах-х! И строги же они насчет вас, господа торговцы...

— Ну и што жь? Ну и што жь? — с полной и бессознательной апатией шептал рыбник. — Ну и веди! Веди! Нне-ет, брат, я знаю... Нич-чево!.. Мы, брат, тоже сами... Нас, брат...

Кроме этого бурленья ничто не тревожит спящих в большом доме, за исключением разве попки, принадлежавшего одной очень красивой девице, который, в качестве птицы проснувшись очень рано, то злобно кричал, что «попка дурак, попка подлец», то с какою-то болезненной нежностью жаловался кому-то, что у попиньки головка болит —«бол-лен попка, умр-рет поп-ка!..»

— М-маш-ша! — отчеканивал попугай на весь двор. — М-ма-ша! Умр-ру! Дай попиньке папир-ро-с! Дай попиньке сахарцу!

Солнце, не согласное с мыслями попиньки относительно возможности такой смерти, восходило между тем все выше и выше. И восходом

своим оно будило других, иначе живущих, людей и вызывало другие голоса и другие жизненные процессы.

— Детей бы уж теперь время гулять вести, — говорят седые, сердитые бакенбарды, шаркая по паркету свистящими туфлями.

— Я сейчас сама пойду с ними, — отвечает виднеющаяся в окно русая головка, к затылку которой был привешен громадный и неимоверно кокетливый шиньон. — Вот только выпью кофе, оденусь и пойду.

— Да можно бы и с Агафьей послать, — гневно шаркают сердитые туфли. — Кажется, это было бы все равно.

— Для вас все равно, а для меня нет! — отвечает русая головка, напряженно стараясь не выпустить из злобно и энергично сжатых губ более колкого ответа.

Растворенные окна другой квартиры дозволяют знать, что в настоящую минуту уже десять часов утра, потому что у фортепиано стоит какой-то молодой человек во фраке, необыкновенно гладко причесанный, в перчатках, подле него девушка, улыбающееся лицо которой ясно показывает, что она долго и страстно ждала кого-то... Оба они садятся за фортепиано, и начинаются гаммы — эти столь мучительные для соседей гаммы, продолжающиеся целый полуторарублевый час.

Всякий видит и слышит из своего окна, как фортепиано мерно звучит:

— Тра-ра-ра! Тра-ра-ра!

Всякий видит и слышит, как учитель говорит, касаясь тонких и беленьких пальчиков:

— Не так! Не так! Это неверно! Это нужно брать вот как... — И затем учитель устанавливает на клавишах тонкие, беленькие пальчики, ударяет ими по поющей слоновой кости и говорит: раз, два, три; а потом он уже без всякого счета принимается целовать неумелую ручку; а владетельница этой ручки смотрит на него с такой ласковой, с такой нежной улыбкой...

И все это видно в открытое окно, чего зимой, разумеется, не увидишь.

А попка продолжает кричать:

— Дур-рак попка! У попиньки головка болит... Попинька сахару хочет... М-ма-аша! Дай попиньке сахарку...

Всеми разнообразно жизненными тонами, которыми люди выражают и горе и радости, кричит маленький дворик большого столичного дома. Больше и больше разрастается светлое сияние весеннего дня, вместе с которым все больше и больше разрастается жизненное движение, пригретое им.

Оркестр странствующих музыкантов, которые, не взирая на свои отрепанные сюртуки и избитые в ближайшем погребке лица, стараются изобразить из себя *артистов*, меланхолически закатывает: «*Ты умерла, ты умерла*».

Дурацки-визгливо растолковывают *артисты* про какую-то умершую, видимо, ничуть не умея своими, отчасти от голода, отчасти от пьянства, трясущимися руками воспроизводить мысли тех людей, которые имеют способность ловить своими руками неуловимо-зигзагические реяния звуков, слышимых в природе, и составлять из

них стройные хоры, в высокой степени услаждающие людские сердца, даже и тогда, когда хоры эти поют про бесконечную жизненную горечь...

Глухо падают на мостовую дворика пятаки, имеющие вознаградить труд музыкантов...

Страшный жар разлился по нашему дворику, и солнечные лучи, отражаясь на его высоких белых стенах, так и слепили глаза. В окнах постоянно вырисовывались красные, пыхтящие физиономии, обмахивавшиеся белыми платками.

— Ну жара! — говорили эти физиономии. — И откуда только эта пыль лезет? Ах! дождичка бы теперь господь послал пыль бы эту прибить.

И действительно, с чисто-начисто выметенного дворика вместе с лучевыми столбами врывалась в комнаты какая-то седая, едкая пыль, которая толстыми слоями ложилась на оконные цветы, на мебель, залезала в уши и рты и, наконец, тем досаднее и гуще распудривала лица, чем чаще и старательнее ее смывали с них.

Под влиянием этого жара приуныла как будто даже неугомонная жизнь дома. Девицын попугай уже не ругался и не жаловался, а только изредка покряхтывал что-то неразборчивое, страдальчески раскрывая свой изогнутый клюв, из которого виднелся красный, дрожащий язычок.

Многое множество людей торопливо проходило по дворику, стараясь поскорее укрыться от жара в холодке своих апартаментов. Ничуть не обращая на себя внимания проходящих лиц, на дворике торчит только совершенно одинокою группа, состоящая из долговязого, слепого

человека в синем мещанском сюртуке, в опорках, показывавших красные ноги с синими, напряженными жилами, и маленького босого мальчика в серой свитенке, который, видимо, был руководителем слепца в его странствованиях по извилистым и шумным стогнам Петербурга.

— Дяденька! Играй песню шибче! — по временам шептал мальчишка, потрогивая слепого за сюртук и устремляя на него свое весноватое, тупое лицо. — Барыня вон на нас из окошечка поглядывает. Забирай покрепше! Чево ты боисси? Вишь вон все на тебя как грохочут... Страсть как!..

При этом внушении слепой молодцовато встряхивал своей нечесаной головою, от чего рваный, ваточный картуз его ухарски завалился на бок. Взбрасывал тогда слепец к небу свои тусклые, безжизненные глаза, обводил в воздухе широкую звенящую дугу увешанным гремучими позвонками бубном и отчаянно-болезненным голосом принимался выкрикивать развеселую:

Вдоль да по речке,
Ах вдоль да по Казанке,
Серый селезень плывет.

Мальчишка в свою очередь всем своим гнусавым контральто старался показать публике и речку Казанку, и плывшего по ней серого селезня; но должно быть, что ни пареньку по его малолетству, ни патрону его по случаю слепоты ни разу не удавалось видеть ни одного действующего лица из распеваемой ими истории, а потому певчие, в качестве недостаточно ясных

историков, всем двориком единодушно были засыпаны вместо трешников самыми ядовитыми насмешками.

— Дядюшка! Побегем, золотой! — посоветовал наконец слепому его малолетний вожатый. — Вот какая-то куфарка в нас с тобой горшком понацеливает.

— А, калеки убогие, разнесчастные! — в действительности морализировала куфарка, седая такая, толсто-серьезная, в белом чепце. — Нет, чтобы, калеки, вам об убожестве-то об своем к господу богу припасть... Танцыю вздумали представлять... Подожди... В такие времена — и ты, слепень ты эдакой, раскуражился как? А? Скажите, люди добрые, што он в уме ли? Да еще и малого ребенка в грех ввел...

Раздался звон разбитой посуды, черепки которой, словно осколки разорвавшейся бомбы, полетели в певцов.

Общественное мнение дворика, в виду обрушившегося над слепцом факта, разделилось на две категории: один, гладко выбритый, солидный господин, сидевший в окне, осененном белоснежными драпри, внушительно вдалбливал кому-то:

— Я давно говорю, mon cher, всех бы *их* на ответственность сельских обществ. Ка-ак же? Подавал проект. Говорю: освободите нас от этих побродяг. Примерно: взял *его* и сейчас по этапу в общество. Оно должно уже уплачивать пересылочные предметы за своего несостоятельного члена. Нормально? Иначе: не пускай, или, отпустивши, ручайся всем миром... Нор-рмально?..

— Без сомнения, ваше-ство! — ответил изнутри комнаты какой-то заискивающий, шипящий голос, весьма, должно быть, похожий на то шипенье змея-искусителя, с которым он подкатывался к нашей общей прародительнице.

— Но поймите, — продолжал прожектер. — Что за времена? Не приняли — и вот теперь сиди и слушай всякую чушь. Понимаете: я плачу — я хочу быть спокоен. Говорят: подати там, заработки какие-то? Я плачу больше *их*. С меня, понимаете, косвенные налоги всякие, — я оплачиваю их, никуда не шатаясь, не клянчу, нервы дурацкими песнями никому не расстраиваю....

— Без сомнения, ваше... — снова раздалось змеиное шипенье.

— Это что тут за моралистка такая появилась? — забасил кто-то невидимый из какой-то неопределенной выси, словно бы с облаков. — Эй ты, сволочь! — кричал невидимый, очевидно, впрочем, адресуя свое воззвание к куфарке, старавшейся обратить слепцов к более благой деятельности посредством разбития об их головы ненужного в хозяйстве горшка. — Ты как смеешь, анафема, горшки на двор бросать? Да еще в людей? Вот я тебя к мировому стащу.

— В самом деле, — отозвался на это кто-то другой. — Што ты, Афросинья, над всем домом свою власть показываешь — думаешь, при генеральше служишь, так на тебя и управы нет никакой? Эка ухитрило ее: в слепинького старичка — бац горшком!..

— Вас не спросилась, голь чиненая? — отрезала властительная Афросинья. — Вот еще

барыне доложу, чтобы они приказали управляющему вон вас отсюда турить. А то вы тут только черный народ смущаете...

— Утерла носы-то ловко! — слышалось из подвалов. — Не посмотрела, что адвокаты. Онамедни самого г. мирового так-то отчитывала. Они видят: баба-дура, сейчас же от ей штрафами отходить принялись. Она им слово, а они на ее штраф, она заплотит и опять в свои глупости пустится, а они ее опять на штраф, словно бы как лихого кобеля на цепь. Смеху что было... Потом уж в такой доклад к бабе вошли: ну теперь, сударыня, ежели вы в случае опять что насчет, то-есть, ваших глупостев, так не угодно ли, к примеру, в тюремное заключение... Ну, тут она заревела — и в ноги... Больше потому в ей этот форс, што генеральша ее оченно любит: день и ночь с ней все по божеству, все по божеству... К генеральше-то такие-то ли приезжают... Все из этих...

— Слышите вон, — заговорил снова гладко выбритый барин, — как *они* своих заступников аттестуют? Хи, хи, хи! Нет, тут заступничеству-то места нет. А тут вы *его* рубликом, рубликом-то и проберете... И *его*, как *они* говорят, *обчество*-то это самое рублишком и припугните... Хи, хи, хи! Вот тогда у нас пролетариата-то этого и не будет. И толковать, следовательно, будет не о чем. А то каким-то четвертым сословием страх даже успели нагнать. А тут ларчик-то просто открывается... Хи, хи, хи!

— Хи, хи, хи! — подсмеивалась змейка. — Рублевым ключиком, ваше-ство!.. Хи, хи, хи!

Порывом внезапно налетевшей бури сорвало с уходившего слепца его ухарский картуз. Оторопелый, стоял старик посреди двора, между тем как мальчишка вместе с вихрем крутился по дворику, стараясь поймать дяденькину фуражку. Его белые волосенки трепались по ветру, словно бы те молодые пичуги, которые, сидя на гнезде, бесплодно трепыхают крыльями, совершенно еще неспособными к тому, чтобы унесть своих юных обладателей вслед за их высоко взвившимися родителями.

Полил сильный дождь вместе с какою-то снежною слякотью, от которой музыканты попробовали схорониться под крылечным навесом.

— Нет, уж это, брат, наше вам почтенье! — отнесся дворник к слепцу. — Пошел, пошел отсюда, проваливай! Вы вот тут фатеры-то повысмотрите, а ночкой с приятелем на чердачок. Нет ли, мол, на чердачке-то бельеца какого? Ха, ха, ха! Знаем мы вас!

— Нет, брат, он вас, слепых, разузнал довольно хорошо, — кричала с грохотом мастеровая братия, высовывая на холодок из подвальных окон, залитых пламенем горнов, свои потные лица. — Гони, друг, их! Слижут что-нибудь, скажут на нашего брата — мастерового человека.

— Резонно! — пробурчал кто-то, громыхая форткой. — Нет, тут и без нищих-то тесно пришлось, возьми хоть да живой в землю и закапывайся...

— Скоты! Подлецы! — слышалось из неведомой выси.

— Боже! Боже ты мой! — с естественным во всех слепцах трагизмом проговорил старик. — Пойдем, сынок! Веди, голубь!

— Веди его, белоголовый! — заорал подвал.— Ему тут поблизости... Ха! ха! ха!

— Ах, чорт! Недалечко, говоришь, старику-то?

— Недалечко-с! У ихней тут у полюбовницы в нидальних местах усадьба стоит-с. Лыком шита, небом крыта, колышком подперта. Ха, ха, ха!

— Ха, ха, ха! Ах ты, идол эдакой! Завсегда какой-нибудь стих отмолотит...

— А что это, братцы, вдруг этто, то-ись, была все жара, жара, и тоже вдруг снежку царь небесный послал. В наших сторонах этого не в примету. Знаменье это, что ли, какое? — задумчиво осведомлялся кто-то у кого-то.

— Эх, голова! — отвечали на задумчивый вопрос. — Какое там знаменье? Просто, братец, я тебе прямо скажу: это ладоцким льдом по Неве тронуло.

— Ладоцкий лед! — послышалась глубокая ирония над высказанным объяснением. — По-нашему: эфто к дубу...

— К дубу?

— Так точно! Взяли ль в ум?

— Задал задачу! Ха, ха, ха!

— Как же это, то-ись, к дубу-с, — позвольте узнать-с?

— Ну уж это сами раскусывайте.

— А так мы это раскусываем, што вы самый необразованный человек. Говорить с вами не стоит вниманья.

— Ваш ответ не в текст.

— Напротив! Очень даже мы понимаем ваши глупости...

Произошла общая, громкоголосная галда, из которой только и было слышно:

— Нет, брат, руки коротки!

— Дух вон вышибу!

— Братцы! Бойтесь бога... Усмиритесь вы, ради создателя...

— Не-ет! По нонишним временам, ежели ты так-то своим умом-то будешь шириться... Ум да ум у меня... Подожди! Мы тебя пособкратим...

— Это ты все с своим умом-то; а я к тебе, напротив, с политикой подошедчи; но ты же, свинья, что со мной сделал? Вместо приятного разговора вон куда махнул...

— Встряхивай, встряхивай его! Нечего разглядывать-то, не узорчатый... Махай!..

— Эй вы, сволочь! Загорланили! Лишних два часа проморю на работе, — покрыл всю эту свалку грозный, командный баритон, звучавший немецким акцентом.

Баталия смолкла, и после нее на петербургском дворике остался только клочок пасмурно-свинцового неба, которое безустанно обсеивало его какою-то полумерзлой, полуталой слякотью, да дворники, сопровождавшие свои старания сместь эту слякоть энергическими поплевываниями на свои руки и ругательствами в роде следующих:

— Нет! Надо полагать, ее отсюда — слякоть-то эту гнилую — один чорт выметет!.. Откуда только берется? Шабаш, братцы! Гайда

в портерную... Чорт ее возьми и с чистотой-то совсем... Кажется бы, на эфдакую мразь и глазам-то обидно глядеть...

II

Ни один из этих петербургских жизненных воплей не мог пробраться в квартиру Ивана Николаевича Померанцева, служившего в одном из присутственных мест столицы. Черная клеенка, которой с наружной стороны была обита дверь Померанцевой квартиры, смотрела на посетителей каким-то мрачным и бесприветным взглядом, как будто говорившим: напрасно ты, брат, к нам притащился! Нам и без тебя хорошо! Колокольчик звякал сердито и хрипло, что весьма походило на ворчанье старого лакея — барского любимца, который, в видах охранения господских интересов, огрызается на всякое, даже на самое ласковое слово, сказанное ему посторонними лицами. Оконные рамы никогда не выставлялись, и самые окна, вплотную завешанные белыми сторами, если на них смотрели со двора, представляли собою удивительное сходство с тою не то сердитою, не то страдальческой безжизненностью, которая обыкновенно бывает разлита по лицам слепорожденных.

Впечатление, которое производит на людей Иван Николаевич собственной особой, было не лучше впечатления, производимого его квартирой. Вообще он имел угловатые, так называемые медвежьи манеры, сутулую спину, угрюмое, обросшее страшной растительностью лицо и чер-

ные глаза, с постоянным и крайним недовольством устремленные в землю.

Разговаривать с добрыми приятелями Иван Николаевич был тоже не особенный охотник. Рассматривая по своему обыкновению персть земную, он на все вопросы осыпал лаконически: да! нет! отвяжитесь!

— Душечка! Померанчик! — подтрунивали над ним его департаментские сослуживцы. — Подари словечком, — я тебя за это в сахарные уста поцелую. Улыбнись, дитятко, покажи зубки. Ну же, показывай — не упрямься! Агу, голубчик, агунюшки!

— Полно вам потешать вашу дурость, — отрезывал Иван Николаевич. — Советую вам скрыть ее поскорее вот в эти бумаги, а то она слишком глаза мозолит порядочным людям. Право, так-то выгоднее будет для вашей неопытной юности.

— Припомните ваши слова, г. Померанцев, — стушевывался насмешник. — С вами по-товарищески пошутить хотели, а вы...

— Отвяжитесь! Я вам вовсе не товарищ, — не повышая и не понижая своего сердитого, тягучего голоса, заканчивал Померанцев, и почему-то всегда выходило так, что после этого голоса во всем столе надолго воцарялись те минуты безмолвия и даже как будто какой-то конфузливости, про которые люди говорят, что во время их пролетают тихие ангелы.

Только после долгого времени в какой-нибудь курительной комнате или в уединенном архиве возобновлялись прерванные подобными минутами разговоры:

— Что это ты, братец, спустил этому скоту — Померанцеву? Как он тебя за простую шутку отделал? Струсил... Да я бы его на твоем месте...

— Да ну его ко всем чертям! Стану я со всяким дикарем связываться. Это дикарь какой-то, а не товарищ. Ни сам никуда не ходит, ни к себе не зовет. Слова по году не дождешься. Подсолить вот ему следует, чтобы он к медведям служить-то из департамента убирался...

Многоразличный пролетариат, присущий каждому петербургскому дому, в виде дворников и поддворников, приказчиков в мелочных лавочках и их подручных, часовых, стоящих около дома, и их подчасков, старых прачек, отбирающих у давальцев белье, и их молодых помощниц, зараженных неизлечимою страстью часто шататься по одиноким людям с многообещающими улыбками и с вопросами относительно того, «как сударю угодно будет, чтобы груди пущены были — плойкой али в аглицкий трахмал», — весь этот люд, говорю, злился на Ивана Николаевича гораздо более, чем злились на него его департаментские друзья.

К Ивану Николаевичу является рассыльный из квартала и, переминаясь у притолки, докладывает:

— К вашему вашескобродию! 11-го сего месяца пожалуйте к г. надзирателю, — приказали просить.

— Зачем? — спрашивает Иван Николаевич, не глядя на докладчика.

— А по делу, ваше вашескобродие, живущей с вами по суседству солдатской вдовы — девки

Христиньи Петровой с г. корнетом Сеноваловым.

— Я ничего не знаю.

— Па-аммилуйте, ваше васкобродие! — воодушевлялся солдатик. — Аны, то-есть г. корнет, пришедчи, например, ночным временем в Христинину спальню, изволили избить там палашом какого-то француза. Ах! фамилию-то я забыл евойную, — дай бог памяти! Но только этот француз сам титулярный советник. Господину корнету так поступать не подобало, потому от эфтого от самого шум вышел — это что же в сам-деле будет такое? Ведь эфто хоть до кого...

— Ну мне, друг, до этого дела нет.

— Но как нам, ваше вашескобродие, приказ отдан, штобы, то-есть, весь дом поголовно... Как же-с! Дознание будет-с... Без эфтого тоже ведь и гг. начальникам невозможно-с...

— Некогда мне, братец! Отправляйся-ка с богом; а надзирателю я напишу.

— Счастливо оставаться! — откланивался солдат и, вышедши на лестницу, бормотал: — Вот сволочь-то, а еще барин! Хошь пятачок бы когда, хошь бы рюмку какую для смеху... Прямой пымаранец?

Рои дворников, жужжавшие по высокоторжественным дням свои «поздравления с праздничком, свои желания добрым господам доброго здоровья и всякого благополучия», — рои, сладко заливающиеся на тему *на чаек бы с вашей милости-с*, без малейшего внимания к их сладкогласности, были распугиваемы сердитой физиономией Ивана Николаевича и его басистою, отрывистою речью.

— Сколько раз я просил вас, г. старший дворник, — говорил Померанцев, — чтобы вы ко мне ходили не иначе, как первого числа за получением квартирных денег. Вот я перееду из вашего дома и скажу хозяину, что мне от вас покою никакого не было. Ведь вам за это нехорошо будет.

— Ах, ваше высокоблагородие! — защищался дворник с такой умильной улыбкой, которая совершенно обнажала его белые зубы с застрявшей в них вчерашней говядиной. — Ведь какие ноне дни-то-с, — сами изволите знать-с. Другие жильцы насупротив того, сударь... Возьмем теперича из купечества какие, так даже в большую амбицию входят, ежели, так будем говорить, от нашего брата проздравления не получат.

— Ну, я не обижусь. Я обижаюсь на то, когда меня без толку беспокоят.

— Просим прощенья, сударь! Не посетуйте, что, к примеру...

— До свиданья! До свиданья!

— Ах, бес! Ах, леший! — допевал хор свою песню уже на лестнице. — И для такого праздника... А? Ах! И искушенье нам только с этим дьяволом, — сичас умереть! Весь дом от его в смуту вошел...

Пятнадцатилетняя прачка Дуняша, над щеками которой, горевшими здоровьем и юностью, так любовно грохотала вся мастеровая и немастеровая молодежь целого дома, была поставлена в крайний тупик тою штукой, которую, по ее словам, *удрал с нею энтот приказный, повытчик-то...*

— Визу я, милые мои, — картавя, как ребенок, и мило похлопывая пухлыми губками, рассказывала однажды Дуняша про эту штуку многочисленной публике, собравшейся под воротами, — визу я, сто он ходит скусный такой, один завсегда, и думаю: сто, мол, у всех у господ я бываю, со всеми знакома, — дай, мол, и к нему схозу, посмотлю, сто за человек такой — и посла сдулу-то. Схватила платки его, какие у насей хозяйки в мытье были — и плисла. Плисла и спласываю: почем вы, судаль, эти платки покупали?

— А он—лицемел эдакой—и говолит мне,— продолжала Дуняша, меняя в этом месте рассказа свой шепелявый, щебечущий голосок на грозный бас, — а вам какое дело до этого, — закличал он на меня. Как вам, говолит, не стыдно, такой молоденькой девочке, хвосты по всему дому тлепать? Ко мне не тлепите, а то к хозяйке сведу... Ха, ха, ха! Вот билюк-то!

— Истинно, бирюк,—подхохатывала Дуняше приворотная компания. — Заместо того, чтобы с молодой барышней *обойдтитца учливо*, штобы, примером, в эфтаких-то статьях, как кавалеру поступать подобает? Нет у тебя кофию, угощай чаем али другим каким ни на есть гостинцем...

— Ну это, брат, по человеку глядя, — перебил кто-то, вероятно, более знакомый с условиями, по которым как и кого принимать должно, — это, друг, тоже в эфтих разах и на года смотреть надоть...

— А я к чему? К ему — к подлецу — не какая-нибудь пришла, а девица в соку... Нет, брат,

мы знаем... Тут не полштоф... Напротив тово, должон тут гостинец стоять, может, на всех столах. Так-то-ся! А он — подлец — пымаранец эдакой, — право, пымаранец, — эва куда морду-то загнул!..

Дуняша с громким хохотом лебезила уже перед другой группой.

— Ха, ха, ха! — заливалась она своим ребячьим смехом. — Я так-то смотлю на него и визу, сто он совсем полоумный... Как есть бесеный... Ха, ха, ха!

— Да из каких он у вас, чорт проклятый?..

— Барышня! Орешков-с?..

— Слышно, быдто он, окаянный... по чернокнижию, што ли, какому...

— Поколно благдалю-с... Каленые? Смотлю, смотлю — визу: как есть полесымсись ума... Ха, ха, ха!

— Эва загнул! По чернокнижию...

— Сказывали... Нам што?..

— Нет! Ежели по-настоящему-то скажем, — вмешался в беседу какой-то лохматый старик с огромною, седой бородою, нижняя половина которой была обрызгана зеленою краской, — выдет он тогда, ежели дело будем говорить, вон из каких...

Сказавши это, старик кивнул своей измятой шляпенкой по направлению к варшавскому вокзалу — и ушел, продолжая покивывать на этот подозреваемый в чем-то пункт уже затылком своей шляпенки.

— Эге! ге! ге! — раздались вслед за стариком многозначащие междометия. — Тэк! Тэк! Тэк!.. Надо про эфто дело... Так! Так! Так!.. Нужно

про эту историю-то... Нет! Эфто, брат, надоть, куда следоваить...

— Ха, ха, ха! Нет, сто же? Я плисла... Глязу, глязу: как есть ведьма какая!.. В глазах полоумштво... Ха, ха, ха!

— Барышня! Послшс...с...с... — секретно шептал кто-то из расходившегося компанства, стараясь сделать так, чтобы шопот тот кто-нибудь не услышал.

Таким образом, никто ни ногой в квартиру Ивана Николаевича. Кухарка и парни, нанимаемые им для необходимой прислуги, обыкновенно приходили к нему через какую-нибудь неделю и с крайне обиженным выражением в нахмуренных лицах говорили:

— Пожалуйте, судырь, нам расчет.

— Что? — спрашивает изумленный сударь.— Зачем же расчет? Разве у меня работы много или пища плоха?

— Нет, судырь! Про это что говорить? Еды вволю. А только не приходится нам...

— Отчего не приходится?

— Да так! То-есть, быдто, судырь, тятенька нам из деревни отписамши, што, дескать, быть тебе — сыну моему — на старости лет при мне... Для прокорму, надо полагать, ихнего занадобился.

— С богом, ежели так...

В скорости после такого разговора какой-нибудь Иван стоял уже с своим скудным скарбом под воротами и оживленно рассказывал компанству, что такого идола, как оставленный барин, пройди весь божий свет, не найдешь.

— А-а, брат! — радовалось компанство. — Ведь мы сначала тебе еще говорили: не ходи! Что, друг, напоролся? Ха, ха, ха! Вон он у нас какой помаранчик-то! Пропек, небойсь, на порядках.

— Пр-ризнаюсь! — соглашался Иван с радостью человека, исхищенного дружеской рукой из страшной бездны. — То-есть такого изверга, такого Иуды-христопродавца... н-ну, братцы! Придет себе из присутствия из своего и, ровно ополоумелый какой, так и сидит. Ни ты к нему с разговором, ни ты што... И сам тоже, глядя на него, сидишь в кухне без языка словно. А он, скорфиенище, механику тебе какую-нибудь ввернет — и ведь все это у него с лаской такою выходит: ты бы, говорит, Иван, погулять пошел. Небойсь, знакомые есть. Распалишься тогда на него еще пуще... Д-ды, ч-чоррт ты эдакой, думаешь про себя... Д-да, дьявалл!.. Ну, братцы, вот она морда-то где антихристова!..

— Верно! Верно, друг! Говорили тебе с первого маху... Га-вар-рили!.. По дружбе услуживали...

— Н-ну, слава богу! Теперича хошь, по крайности... Просим прощенья!

— Будьте здоровы! Всякого благополучия! В случае чего ежели, оставьте свой адриц, потому у нас господа часто спрашивают... Хор-рошие господа спрашивают, не такие... Слава богу, довольно даже известны именитым господам...

У Ивана начиналась тогда выпивка с человеком, известным именитым господам; а Иван Николаевич попрежнему оставался одиноким в своей одинокой квартире.

III

И вот эта-то молчаливая квартира знала все тайны Ивана Николаевича, которые исковеркали его жизнь и сделали из него мрачного нелюдима. Не раз ее безмолвные стены были свидетелями того, как человек, приюченный ими, во время бессонных ночей подолгу думал о чем-то и, всплескивая судорожно-сжатыми руками, вскрикивал:

— Боже мой! Боже мой! За что же мне все это? Почему?

Никто не отзывался в пустынной квартире на эти полночные крики, за исключением часового маятника, чикавшего с досадным однообразием, да какой-то птички, трепыхавшей сонными крылышками в клетке, привешенной к потолку.

В ночной темноте, в которой, как говорится, хоть глаз выколи, Иван Николаевич, как на ладони, видел свою далекую родину, цветущую роскошными полями, лесами и реками, и людей, утонувших в безысходной и совершенно невообразимой нищете. Вон они — эти хилые, вонючие избы, наполненные орущими детьми, которых старшие вместо хлеба кормят тукманками, вместо ласк ругают чертенятами, вместо свойственных всему живому стремлений поддерживать и воспитывать молодую жизнь желают ей скорой смерти. Тут же и его собственное детство, хилое, бесхлебное, исполненное ругательств, побой, паршей и всякого рода лихих болестей, при одном воспоминании о которых

переворачивается все нутро человека, пережившего их.

Шире и шире развертываются воспоминания, ясность представлений картин прошедшего доходит до осязательности: вот перед ним маленький, сутулый ребенок, робкий до содрогания, болезненный до неудержимого желания упасть всей головенкой в колена вон той старушки, которая приютилась в углу комнаты около алебастровой тумбы.

Видит Иван Николаевич, как морщинистые руки старухи ласково гладят голову ребенка, примечает даже, что ребенку сделалось лучше от этого, потому что он успокоился и заснул; но руки все продолжают гладить его, — и руки те, несмотря на непроницаемый комнатный мрак, так и сверкали в глазах Ивана Николаевича своею прозрачною белизною. Они были такие маленькие, высохшие, по их белому фону узорчато проходили синие, напруженные жилки...

Ребенок этот — он сам, Иван Николаевич Померанцев. Сознавши это, он почему-то засмеялся тихим таким смехом; но тем не менее смех этот довольно звучно прокатился по пустым, одичалым комнаткам. Ему показалось, что комнатки в это время покачали головами, как бы недоумевая, чему это он смеется.

— Как же мне не смеяться? — старается Иван Николаевич объяснить своему жилью причину смеха. — Ведь этот ребенок — я, а старуха — моя бабушка. Да! Она рассказывала мне о том, как Пугач Пензу брал, как его шайки города Ломов, Наровчат и Чембар разоряли.

Эта рекомендация и себя, и своей бабки не вывела однакож квартиру из ее недоумения. Она выслушала рассказ с сердито и печально нахмуренными бровями. Иван Николаевич, как бы приметивши это, вдруг вскочил с дивана и скороговоркой проговорил:

— Нет, это однако уже бог знает что! С стенами стал разговаривать. Довольно! Уснем!

Долго и пристально сквозь шторку всматривался в померанцевскую спальню петербургский месяц своим холодным, сосредоточенным взглядом, и вот какая-то туча, вероятно, сжалившись над бессонными людьми, страдавшими от этого безучастного, неподвижного взгляда, закрыла собою месяц — и бессонные люди уснули; но в квартире Ивана Николаевича, к его ужасу, на том месте, где переливались месячные лучи, теперь стал отец его, сверкая воспаленными глазами...

А вон за дверной драпировкой спряталась его заплаканная мать. Отец кричит что-то насчет какого-то щенка, которого он должен кормить, и потом с скрежетом зубов дает клятву убить и щенка, и тех, кто им наделил его...

С проклятиями отца смешивается старческий голос бабки. Она называет зятя злодеем и кровопийцей и выражает несомненную уверенность в том, что гром небесный, рано или поздно, непременно поразит его за такие богопротивные слова...

Истерический плач Ивана Николаевича прогнал эту галлюцинацию — и он уснул.

Во сне очень долгое время перед ним бесилось коростовое стадо разношерстных ребяти-

шек, голодных и потому воровавших у всякого все, что только попадало под руку; беспризорных и потому по-зверски изодравшихся; без хороших, руководящих примеров и, следовательно, в самом детстве уже обреченных на гибель, как почти без исключения погибают все люди, не приспособляемые с ранних лет к правильным пониманиям и отношениям к жизненной действительности... Пронзительный звон колокольчика загонял это стадо в какие-то смрадные стойла, где большею частью ему говорились какие-то, ни в одном слое общественной жизни не употребительные слова. Шипенье гибких двухаршинных розог, рев десятка детей, которых в разных стойлах полосовали ими, звон колокольчика и, наконец, ни от чего этого не прерывавшееся внушение тарабарской гибели сливались в один общий, исполненный самого варварского безобразия, гул и заставляли Ивана Николаевича, как одержимого горячкой, метаться на постели и кричать:

— Боже мой! Боже мой! Что же это за несчастные времена были? Сколько честного и даровитого сгублено ими?..

Болезненное личико сутулого ребенка опять выглянуло на него из этого омута, в котором, как бы в кипящем котле, безразлично варились плачущие дети, свистящие прутья и какие-то мифологические образины, то протяжно певшие: сле-ледующий! Приступим: — Marci Tullii Ciceronis orationum caput secundum, то снисходившие до сладострастной скороговорки: так, так! Поджарь, поджарь кашку-то, lictor! Хе, хе, хе! Не жалей казенненьких-то!.. Их целый воз в про-

шлую пятницу на базаре куплено. В такт действуй, подлец! Чик, чик, чок, чок! Зайди с другой стороны, чтобы ровнее шли... Я в-вас!..

Пуще всех истязуют сутулого мальчика, потому что он, по меткому выражению одного из преподавателей татаромудрия, в одно и то же время составлял и красу и безобразие стойла. Красой он был потому, что лучше и легче других умел усвоить себе неусвоиваемое; безобразием — потому, что, в действительности, был некрасив, болезнен и робок. Отсюда происходило то, что мальчишки на смерть заколачивали его из зависти к его красе, а татарщина терпеть его не могла потому, что была лишена всякой возможности представить вниманию гг. ревизоров стойла более представительного и красивого премьера.

С глубоким участием следит сонный Иван Николаевич за судьбой несчастного ребенка и, даже забывши, что это не кто другой, как он сам, говорит в бреду:

— Бедный! Бедный! С ним поступают точно так же, как со мной! Ах, как это похоже одно на другое! Нет! Подождите: я не дам погибнуть ему. Я вырву его из ваших лап!

И вот видится ему, что стойло, всегда смрадное, возможным образом прибрано: его грязный пол усыпан свежим сеном, промозглые стены выбелены; лохматые ребятишки выстрижены наголо и прорехи на их рванье кое-как стянуты толстыми, суровыми нитками. В притихшем стойле уныло звучит болезненный голосок сутулого мальчика, не без некоторого самодовольствия рассказывавший, как когда-то какой-то

illustrissimus dux на-голову расколотил целую тьму каких-то paganissimos.

С чувством, с толком, с расстановкой и, кроме того, с любовью к изученному делу мальчуган передает в назидание своих сверстников все те симпатии, которые доблестный дееписатель выражает к illustrissimus'у, и равномерно все глубокое отвращение к этой расколоченной им в пух и прах сволочи — paganissimus'ам.

— И нас, и нас так же и тому же учили, — восклицает во сне Иван Николаевич, словно бы обрадовавшись тождеству образования в разные времена. — Мальчик! Мальчик! — громко кричит он, как бы окликая кого-то, находящегося от него на большом расстоянии. — Брось эту глупую книжонку, мальчик! Изорви ее. Не слушай их. Не учись восторгаться грабежом и убийством победителей, учись любить и помогать побежденным. Ах, злодеи! Испортят они у меня ребенка. Не слышит меня, бедное дитя...

И в действительности, ребенок не мог услышать звавшего голоса, потому что все его внимание было окончательно задавлено последними наставлениями, имевшими целью еще более усилить его познания в татаромудрии. Это был последний муштр, которым муштровали мальчика в стойле, и когда он окончился, Иван Николаевич видел, как сутулый мальчик из ушата, стоявшего на дворе стойла, умывал лицо, раскровавленное нетерпеливой руководительскою дланию, как он заботливо прятал за пазуху какую-то книжку, как переходил отвратительный мостишко, перекинутый через великолепную реку. Потом мальчик потянул в гору по беско-

нечно длинной дороге, обсаженной двойным рядом густых ветел и залитой дивным сиянием солнца. Иногда он останавливался, вынимал из-за пазухи книгу и с видимою радостью принимался читать ее заглавный лист, на котором было написано следующее: за благонравие и отличные успехи в науках ученику такого-то стойла и проч.

Вот уже виднеется один только картузишка ребенка с разорванным пополам козырьком. Ивану Николаевичу кажется, что картузишка этот плавает на поверхности хлебного моря, как на настоящей реке остается и долго плавает шапка человека, который спрятался на тинистом речном дне вместе с своим смертельным горем...

Нет более сутулого ребенка! Всего его схоронила эта пустыня, ласковая и величавая.

— Это он домой пошел на вакацию! — шепчет Иван Николаевич. — Ах! Как там хорошо теперь!

IV

А между тем к двери, обитой черной клеенкой, нет-нет, да и толкнется какое-нибудь лицо. Приходила вечно сердитая прачка с тяжелой корзиной на голове и с длинной рыжеватой эспаньолкой, властительно рассевшейся на левой щеке. Позвонивши несколько раз нетерпеливой рукой мастерового человека, дорожащего временем, она находчиво посмотрела в замочную скважину и, когда увидала, что в ней нет ключа, тотчас же принялась спускаться с лест-

ницы, пыхтя под тяжестью своей ноши и бормоча себе под нос, что «ишь-де, с коих пор шуты со двора уносят! Придется ужо из девушек кого-нибудь спосылать к нему. К этому не опасно, — не дозволит заболтаться, медведем лесным глядит»...

Приходил почтальон в разбитых сапогах и в отрепанном сюртучишке, весь пропитанный первейшим полугарным запахом. Он очень долго звонил с такою энергией, с какою звонят у своих собственных квартир только самые нетерпеливые хозяева. Ни до чего не дозвонившись, он стремительно сбежал под ворота и спросил у рыжеватого дворника, мирно созерцавшего, под влиянием только что огорошенной на даровщину косушки, бурное течение петербургской жизни:

— Што у вас № 37 поколел, што ли?

— А што?

— Звонил, звонил...

Дворник отвернулся от почтальона, не удостоив его ни малейшим ответом.

— Што же ты, леший, ничего не говоришь? Дома нет, што ли?

— Мы об эфтим неизвестны. Мало ль у нас всякого народу живет? Углядишь за ними — как же!

— Так вот возьми письмо.

— Ну это дело не наше — за всякого по три копейки платить.

«Мы тебя пропекем, пымаранец, — думает дворник после ухода почтальона, по-мышачьи проворно юркнувшего вместе с письмами в ближайший погребок. — Мы тебе дадим письма!»

— Эй, друг! Послушай-ка!—спрашивает дворника какой-то господин, не сходя с извозчичьих дрожек. — Что Иван Николаевич Померанцев дома?

— Толички сичас вышедчи, ваше высокоблагородие! — отвечал дворник, держа на отлете снятую шапку. — Вот толички что перед вашим приездом взяли извозчика и в эфту-то вот самую сторону и натрафили.

— Мы тебе удружим! — повторял дворник тихомолком, самолично взбираясь к Ивану Николаевичу с огромной вязанкой дров. — Мы тебе покажем коку с соком.

И на его звонки не отперлась неприветливая дверь, ревниво охранявшая своего хозяина с его думами и видениями.

— И когда его черти унесли только? — недоумевал дворник, сбрасывая дрова у дверей.— Кажись, все время у ворот сидел, а не видел. Ну да ничего! Подбирай покамест дрова-то, пымаранец! Паг-гади! Мы тебе удружим...

— Вам кого угодно? — спрашивал он уже на дворе бравого, седого шеврониста, видимо, отыскивавшего чью-то квартиру.

— Господина чиновника Померанцева, — отвечает ундер. — От г. экзекутора из департамента прислан, чтобы, то-есть, изволили они явиться на место своей службы. Который уж день ни сами не являются, ни репортички не шлют. Это што же будет такое?

— Да их уж кое место дома нет, — докладывает дворник. — Многие спрашивали, — не вы одни. Да ведь где ж их найдешь? Онамедни еще в двух колясках укатили куда-то, надо так

полагать, што за город... Барышни, этта, при их... товарищи... Што вина с собой понаклали, што всякой всячины, — страсть!..

— Что же это? Значит, тово?.. — осведомляется ундер, знаменательно пощелкивая себя по тугому воротнику. — Бывает сюда-то?

— Быв-ваит? — удивился дворник. — Да кажинный божий день... То-есть такие гулянки, хоть бы графу какому!.. То просители, то мало ли кто... Основой снуют... И сколько нам хлопот с этим господином, б-беда! То и дело в фартал из-за нево... Онамедни, этта, двух девиц р-резь по шшокам!.. Бла-ородных — не каких-нибудь... Так-то-сь! Бе-ед-довый, умереть на месте!

— Гм! — кашлянул ундер. — Так нет дома?

— Ни б-боже мой...

— А где тут у вас позаористее? Ходишь-ходишь за ними, сбираешь-сбираешь их, совсем с ног собьешься.

— Позаористее? Вот насупротив! Добегем на минутную. Я кстати с вами, г. кавалер, за компанию. У меня, признаться, ноне тоже поясница што-то... Поигрывает быдто... А заведеньице у нас, прямо сказать, хоть бы гыспадам афицерам гулять... Не замараются, верьте слову...

— Нам все единственно, — сказал ундер, уже на шагу к рекомендованному заведеньицу. — Привыкши ко всяким... В тридцать-то восемь годов... Д-да! Привыкнешь ко всяким, друг!.. Нюхаешь? Сам тер... На березовой золе...

— Больше трубку... А впрочем, потребляем скуки для ради! Ч-чх-хи! О, да какой лютый, волк его зарежь! Так в слезы и вдарил!

— Хе, хе, хе! — засмеялся ундер. — Вдарит как есть! Привычных-то вон какие ежели, так и то... Страсть! Крестются иные... Это, говорят, чорт, а не табак! Хе, хе, хе!

Ничего этого не видит и не слышит Иван Николаевич, потому что он снова увидал своего сутулого мальчика, который уже теперь не мальчик, а взрослый юноша, с задумчивым, сосредоточенным взглядом. Как большая часть юношей, он ведет свой дневник — и Иван Николаевич читает этот дневник с самым пожирающим любопытством.

Дневник начинался описанием значительного провинциального города, который своими дивами очень подействовал на впечатлительное воображение ребенка, не видавшего ничего грандиознее двухэтажного дома уездного головы. Тут было и ученье губернского батальона с серьезным, но несколько хриповатым подполковником, то и дело встряхивавшиеся плечи которого так и рассыпали от себя золотые искры. Большая Московская улица занимала в дневнике целые десять страниц: золоченые государственные орлы, распростертые над дверями двух губернских аптек, довели до лиризма младенческий слог сутулого мальчика. Всесветная слава русского орла была воспета едва-едва грамотным поэтом с чувством, делавшим отличную честь его патриотическим стремлениям. Быстро пролетавшие кареты помещиков и разных губернских властей заставляли мальчугана с судорожной поспешностью сдергивать с головы шапчонку и почтительно раскланиваться с восседавшими в них, как говорится в «При-

ключениях английского милорда Георга», знатными обоего пола персонажами.

«Но барыни, — сказано было в дневнике, — смеялись надо мной и вслух с громким смехом говорили: ах, какой смешной мальчишка! А я перенял это у нашего священника и у тятеньки, и потому мне было очень обидно, что надо мною смеются. Священник и тятенька поклонятся, бывало, всякому тарантасу, какой по селу проедет. Случалось, что тарантас бывал задернут кожей, но они все-таки кланялись. Я однажды сказал тятеньке: ведь барин-то спит, зачем же ты кланяешься? — Как зачем?—удивлялся тятенька.— А ежели в случае барин-то проснется, да у кучера спросит: што, скажет, кланялись мне в таком-то селе?»

Глубоко, так сказать, трепетавшими штрихами, ребенок описывает тот экзамен, которому подвергли его в губернском городе.

«Мой тятенька, — летописал ребенок, — все время крестился и плакал, стоя у растворенных классных дверей. С ним вместе стояло много священников, дьяконов и дьячков. Все они вытирали заплаканные лица красными ситцевыми платками и тоже, как и отец мой, глубоко вздыхали и крестились. Я писал рассуждение на латинском языке: serva ordinem et ordo servabit te, но не мог хорошо писать, потому что от страха мне хотелось спать... Отец в это время потихоньку взглядывал на меня из-за дверной притолоки и грозился пальцем, чтобы, то-есть, я старался... Я от этого еще пуще пугался...

Подле меня сидел мальчик с большими синими глазами. Он как будто ничего не боялся,

а все засматривал в мою тетрадь и все спрашивал у меня, как будет perfectum такого-то глагола, как supinum. Я ему подсказывал, что знал...

Потом мы с ним разговорились шопотом, не глядя друг на друга, чтобы нас не заметили, и он сказал мне: напиши мне рассуждение, amice! Я тебе арбуз ужотка куплю. Я ему стал писать, а меня вызвали на середку.

И как я на билеты был очень счастлив, то меня спросили про Китай. Я очень хорошо знал про Китай и стал отвечать, а преосвященный стал смотреть в меня (седой весь!), и глаза у него в это время то смыкались, то открывались, словно бы и ему спать хотелось. Я не мог смотреть ему в глаза и сам от страха зажмурился. Так и отвечал, а сам все думал: как бы меня не спросили из физической географии или из Российской империи. Из них я не понял, как земля совершает двоякое движение — около себя и около своей оси; а из России, кроме как наизусть выучил все губернские и уездные города, ничего не знал, — особенно реки, кроме Волги, ни об одной понятия не имел... Этого я очень опасался...

Однако бог спас. Спрашивали еще из Ост-Индии, и это ответил отлично. Преосвященный изволил благословить меня и сказать: «Хорошо, дитя! Старайся!»

Не помню, как я выбежал к отцу в коридор. Он и дядя стали целовать меня и говорить: «Молодец! Вот так отрезал!» Приметил я, что от них от обоих пахнет водкой. Какие тут стояли другие духовные, все хвалили меня, гла-

дили по голове, а один какой-то благочинный с наперсным крестом и в полинялой бархатной камилавке, во все время ходивший поодаль от других и важно гладивший бороду, подошел к нам, дал мне гривенник и, благословивши, сказал: «Преуспевай, остроумец! Я на тебя надеюсь!» От него и ото всех пахло водкой. Все друг над другом по этому случаю тихомолком подшучивали.

— Што, отец дьякон, — спрашивал мой дядя у входившего в коридор дьякона в зеленой рясе, который торопливо дожевывал крендель, — пропустил малую толику?

— Истинно для смелости, ваше благородие! — отвечал дьякон дяде (а дядя служил столоначальником в консистории), — потому тут как раз можно живота решиться от страху. Скоро теперь моего сынишку вызовут, и вот не стерпел — выпил на шесть копеек. Беда, ежели из арифметики спросят, шабаш! Придется домой назад тащить, потому слаб у меня сын из этой науки. Да что? И смотритель-то ихний сам онамедни мне сознавался: знаю, говорит, только одни именованные числа. Напившись, этта, пьян, со слезами мне толковать принялся: где мне все, старику, помнить, дьякон? Представь, говорит, брат: на трех женах женат был... Тут, брат, дьякон, забудешь... Очень дурашлив в пьяном образе этот смотритель.

Дядя сказал мне, чтобы я скорее дописывал задачу, а потом приходил бы к нему обедать. Я пошел за парту, а там уже не было ни моей задачи, почти уже конченной, ни соседа моего — мальчика с большими синими глазами. Он

спешно писал что-то на задней парте и сам посматривал на меня исподлобья. Не нашедши задачи, я принялся плакать, потому что старший уже начал собирать сочинения, и мне нельзя было успеть написать другое. Приметивши, что я плачу, старший подошел ко мне и спросил: о чем я плачу? Я сказал ему: перевод мой пропал, когда я экзаменовался. — Ничего, сказал старший. Ты помнишь наизусть все, что там написал? Прочти-ка мне. — Я прочел. Тогда он вдруг бросился к мальчику с синими глазами и нашел у него мое сочинение в греческом Завете. Мальчик принялся божиться, что перевод я сам нарочно подложил к нему в книгу из ненависти; но старший ему не поверил и доложил об этом его пр-ву.

Они же только немножко взглянули в нашу сторону и тут же тихим таким голосом изволили сказать: «исключить!» Потом сейчас взяли перо и толстой чертой, обливышей чернильными брызгами всю страницу, вычеркнули из списка имя и фамилию мальчика с синими глазами.

Ужас тогда напал на всех страшный! В класс стремительно ворвался благочинный с крестом и в полинялой камилавке. Бросившись на колени, он поднял руки кверху и кричал:

— Ваше пр-во! Пощадите! Простите!

— Сказано! — еще тише сказали его пр-во, на минутку открывши глаза и легонько стукнувши по столу худощавым пальцем.

Все тогда, кто присутствовал на экзамене, бросились к благочинному и зашептали около него:

— Батюшка! Извольте итти! Батюшка! Не извольте беспокоить! Идите! Идите! И что это вам вздумалось так... вдруг... без докладу?

— Да ведь дитя!.. — рыдал благочинный. — Ведь он у меня единоутробный. Од-дин! Отцы! Помолите за меня... Умру...

И в то время, как отец благочинный рыдал таким образом во весь голос, как сельские бабы рыдают на похоронах отца или мужа, какой-то усталый, больной голос протяжно проговорил:

— Господин экзаменатор! Зовите следующего.

Никто не видал, кто сказал эти слова, потому что у всех были зажмурены глаза...

Обедал я в этот день с отцом вместе у дяди. Он все смеялся над отцом и надо мною, что мы не умеем кушанья брать по-господски. Жена его тоже смеялась над нами и сын. Сын-то все ко мне по-французски приставал; а я ему все по-латыни. Он очень конфузился, что меня не понимает, а я его не конфузился. Fratrem, vel inimicum in te videndum sum? — спрашивал я у него. Он, наконец, заплакал и пошел жаловаться на меня матери. Я тоже пошел к отцу и дяде, чтобы они не велели ему налетать на меня с французским языком, — я этому французскому-то языку очень скоро сам выучусь. Дядя и отец пили в это время водку и все надо мною смеялись и экзаменовали меня из разных предметов, и так как я отвечал им очень хорошо, то дядя подарил мне свои старые сапоги и целковый денег.

За обедом было такое угощенье, какого я на светлый праздник у своих помещиков не едал.

Угощали сладким вином в высоких таких рюмках, — кипит, как кипяток в чугуне, — одна бутылка, дядя-то сказывал, четыре целковых стоит. Тетка учила меня, как держать нож, вилку и ложку, а дядя говорил мне: вот старайся — учись хорошенько, — и у тебя то же будет...

Меня это очень удивляло, потому что дядя был исключен из училища за леность и неспособность и, следственно, без ученья имел все. Я сказал об этом отцу потихоньку. Отец тоже шопотом закричал на меня: молчи, срамец! Разве можно так про старших думать?..

К концу обеда дядя очень раскуражился и стал бранить отца будто бы за невежество. Говорил: произвел бы я тебя в дьякона, брат, но ты, свинья, не стоишь этого. Отец сказал ему: ты сам свинья! А я тебе старший брат. Чуть-чуть не подрались, тетка их усмирила и заставила поцеловаться. После этого отец стал говорить многолетие во весь разверт, все служители смотрели на него из другой комнаты и смеялись; а дядя сидел в кресле босой, в красном халате и во все горло, визгливым таким дискантом, то пел многая лета, то кукурекал в роде кочета... Я этому очень дивился и думал: барин, а блажит хуже мужика...

Когда все из комнаты ушли спать, я начал читать подаренные мне дядей записки, по которым должен учиться. Он нарочно купил их для меня целый ворох. Мудрены, ужас как! В Логике не понял ни слова. Бог знает, что там написано: буквы русские, а слова латинские, напр.: отношения идеального к реальному, последние

абсурды позитивизма и т. д. А то встретил фразу, вся она по-русски написана, но я не понял ее: «что должно разуметь под словом — признаки предметов? Под словом — признаки предметов должно разуметь признаки признаков предметов, которые заключаются в сих признаках...» Как меня учила мать, стал я молиться святому Наумию, чтобы он меня надоумил понять, но все не понял... С сердцов стал плакать, а потом и совсем уснул... Очень меня напугали эти тетради, так что и во сне все думал: ну, как я из них ничего не пойму — и меня возьмут да исключат...

На другой день мы с отцом встали еще до свету, и он стал говорить мне с искренними слезами, так что всего его в это время лихорадка била, — чтобы я, как можно, старался учиться получше. Бог даст, говорил отец, окончишь курс, поступишь в попы, так, по крайности, поможешь сестрам в честное замужество выйти. Не кончишь курса, — шабаш! Сестры твои шинки откроют, мы с матерью побираться пойдем, потому мы к тому времени все жилы из себя на вас вымотаем, — состаримся.

Слушая это, я тоже дрожал, как в лихорадке, и думал: как это я так не окончу курса? Как это мои сестры шинки откроют, а отец с матерью побираться пойдут? За один раз мне и сердце щемили отцовы слова, и смеяться хотелось от них...»

Страдательно нахмурив густые черные брови, сидит в Петербурге за своим письменным столом Иван Николаевич и, перелистывая какое-то

за № 17,803 — «дело об оштрафовании купца Самуила Самойловича за перекур трехсот восемнадцати с семью сотыми ведер полугарного вина», изредка своим густым басом комментирует лепет сутулого ребенка.

— А ведь ребенок-то погибнет, — болезненно хрипит Иван Николаевич. — Точка в точку и со мной было так, он идет по протоpенной мною дороге. Я ребенком бога видел в лесу... А они тут... курс... курс... Шинки и сестры!.. Я, брат, знаю, что такое шинки-то! Куманек, побывай у меня, да в присядку! Или: не белы-то снеги, да в горючие слезы... Зн-наем.

Э-эх-х нне б-белы...

— Давно уж это было — и я забыл теперь, как он шел ко мне из сосновой, благоухающей чащи, махая белыми, как снег, крыльями... Я упал в это время, и надо мною пронеслись несказанно-сладкие звуки сдержанного лесного ветра... Проснулся, а около меня серый, прохладный песок, подернутый зеленым, ласковым мхом... На такой почве растут высокие сосны... Вечером из такого места не вышел бы... Я, брат, знаю... Это, брат, храм, а не декорации...

— Сестры! сестры! — продолжал Иван Николаевич свой монолог. — Нет, этими сестрами-то да благонамерениями пуститься с сумой хоть кого напугаешь. Она, сестра-то, что такое в нашем нищенском быту? Ее вот ребенком-то няньчишь-няньчишь, а сам-то в это время с клопа весь. Спишь-спишь с ней на полу под лавкой вместе с котятами, все лицо-то тебе она расца-

рапает, шкур двадцать с рыла-то с твоего сдерут ее когти, прежде чем она в разум войдет, от полу мало-мальски поднимется. А поднимется, станешь ты ее на своих молодых плечах из навозных ям вывозить. И ведь вывозится будто... Понимаешь ли? — спрашиваешь. — Понимаю,— шопотом говорит, и видишь, что у ней слезинки на глазах навернулись, по белому лбу ранней дорогой морщинки пошли...

— Думаешь тогда: а-а? Из девочки-то человек выйдет, не коровка. И вдруг приедешь ты домой помогать отцу Христа славить, а она тебя, как обухом в лоб, ошарашивает: милый, говорит, братец! Не смемши я, говорит, доложить родителям, что у нас полковая рота стоит... Н-ну? — спрашивает брат. — Так вот теперича я замуж выхожу за солдатика одного... Он почитай в офицерстве... шинель со сборками носит, на дворянской манер...

— Ополоумешь, как этакой-то рапорт тебе подсунут о выхождении в замужество за солдатика, носящего сборчатую шинель...

— Конечно, тут до шинка-то рукою подать. А там:

Опозднился купец
На дороге большой...—

запел Иван Николаевич в своей пустой квартире и со смехом забормотал:

— А в скорости в сих местах должна будет явиться молодая, беззаботная бабенка с румянцем во всю щеку, с громким хохотом, с забористой руганью, одним словом, та шибко распространенная по лицу земли русской бесшабашная погань, которая до тла будет опивать останавливающихся

в ее шинке мужиков и мещан, и за это будет предсказывать им по засаленным святцам дни праздников и предпразднеств, лечить их одурелых жен водой, настоянной на присушном и отсушном корнях, и в случае, ежели какое-нибуть *имущенское* начальство не будет брать взяток, так эта бабенка примет на себя поручение *обчества* искусить жену бескорыстного *имущенского* начальника — и искусит ее, чем и оправдает изречение мудрых предков, гласящее, что где чорт не сможет, туда бабу пошлет... Вот она какая сестра-то! Радуйся! А впрочем, чорт с ними совсем! — неожиданно выругался Иван Николаевич, махнувши рукой. — Нет, брат, мальчик! Ужасаться отцовым пророчествам ты можешь, а смеяться над ними — нет; потому что все именно так и будет, как не хочет сейчас твое молодое сердце: отец твой с матерью побираться пойдут, сестры шинки откроют, а сам ты... уж и дьявол тебя знает, что из тебя будет со временем. Поживем, так увидим. Однако, что же это я сержусь? — спросил себя Иван Николаевич. — За что? На кого? Пора бы, кажется, перестать. Ну, мальчик, рассказывай, чему тебя еще поучал отец?

«Кроме того, — рассказывал ребенок, — отец очень сердился на меня за то, что приметил во мне непочтительность к старшим. Все, говорит он, ты делаешь срыву. Ни к кому никакого ласкательства не оказываешь. Я чувствовал за собою этот порок, то-есть что ласкаться мне к людям стыдно, подумают, что я у них прошу чего-нибудь, и потому стал плакать, а отец уте-

шал меня и советовал как можно скорее *исправиться...*

Потом я проводил его до заставы. Было холодно и дождь лил как из ведра. Около заставы стоял кабак, мы вошли в него. Там горела тусклая, сальная свечка и сидели мужики с красными, задумчивыми лицами. Отец вынул из-за пазухи кошелек и все деньги высыпал мне. В кошельке оказалось три серебряных целковых и гривен шесть медных. Вот, говорит, тебе до рождества, — кормись! А за квартиру сам заплачу, когда за тобой приеду брать тебя на рождество. Я стал говорить ему, чтобы он взял у меня рубль; но он отказался от рубля, а отсчитал себе только три гривенника, из которых один тут же и пропил. Я спросил у него: как же ты с двугривенным полтораста верст пройдешь? Что есть будешь?

— Ничего! Как-нибудь пройду... Притворюсь дежурным из консистории, — попадьи, надо полагать, кормить будут... Дай-ка мне еще гривенничек, я выпью.

Я дал ему гривенник... и он выпил.. Выпивши, обнял меня, заплакал и, рыдаючи, сказал:

— Несчастные мы! Несчастные! Несчастнее нас, кажется, во всем белом свете нет никого... Всю жизнь, всю-то жизнь жизненскую майся без отдыху... Отовсюду за твой голод и холод насмешки паскудные, брань мерзкая — и ничего не поделаешь... то-есть никакими средствами не вылезешь... Как бы не вы, ребята, засел бы я в любом кабаке и поколел бы в нем... Блаже мне было бы!.. Ну, прощай! Да будет воля господня! Смотри же, друг, учись, старайся!.. Выручай!..

Он пошел, а я долго смотрел ему вслед, — до тех пор смотрел, пока совсем не закрыли его от меня туманные стены проливного дождя.

У меня так и разрывалось сердце от жалости к отцу, и я едва-едва не убежал вслед за ним...»

V

Все больше и больше вчитывался Иван Николаевич в дневник сутулого мальчика, и именно как будто от этого обстоятельства и сам он, и квартира его делались все страннее и страннее.

Дешевые гравюры с дорогих оригиналов, висевшие по стенам померанцевской квартиры, алебастровые снимки с увековечивших человеческую красоту статуй, расставленные по стенам маленького залика, приняли какое-то странное выражение, напоминавшее тусклый и унылый взгляд человека, который долго был болен, долго страдал и скоро должен умереть.

Купы цветов, в средине которых белели алебастровые статуэтки, плющ, так красиво обнимавший картинные рамки, — все это покрылось седою пылью и сетчатой паутиной, в которой жалобно жужжали терзаемые пауками мухи, между тем как по головкам статуэток, между извилистыми линиями кудрей, прошла зеленая, скользкая плесень...

От птички, клетка которой висела у потолка, давно уже не слышно было никакого голоса. Редким только трепыханьем крыльев она напо-

минала о себе Ивану Николаевичу, и тогда он подходил к ней и ласково говорил:

— Ну что? Ну что? Одни мы с тобой? А? У тебя водицы нет? Семечка нет? Ну дело! Я тебе подсыплю, подсыплю — и водицы подолью. Спи! Ты у меня умница! Вот мы с мальчиком так дураки, несчастные дураки... Послушай-ка, что он тут прописывает.

И Иван Николаевич читал скороговоркой, по временам перемежая эту скороговорку то сдержанным смехом, то тем глухим всхлипыванием, каким обыкновенно плачут мужчины, когда не хотят, чтобы люди видели их слезы.

«3 сентября. Как только я, проводивши отца, пришел в класс, ученики прозвали меня франтом, потому что я был в ватной сибирке из желтой нанки и в замшевых перчатках, так как руки у меня дома от работы и от нечистоты закоростевели и отец намазал мне их серой с коровьим маслом. Все меня со смехом принялись бить, плевать в лицо, а за мальчика с большими глазами, который накануне украл у меня задачу, стали звать выслужкой, то-есть ябедником. Пришел профессор в коротком сюртуке и в пестрых штанах, которые были на манер ситцевых. Он стал говорить со мной, и тогда весь класс почему-то вдруг громко захохотал, а я стал плакать. Профессор, вместо того, чтобы заступиться за меня, подморгнул ученикам и сказал им: не тревожьте его, братцы! Это прекрасный молодой человек,—сочинение Поль де-Кока, роман в двух частях.

Целых полтора часа издевался надо мною профессор, а класс грохотал, и, наконец, когда

пробили звонок, он сказал мне: ну прощай, дамский портной! ха, ха, ха!

Так с тем я и остался, и ни от кого мне не было прохода, и имени мне от товарищей другого не было, как только «дамский портной» и «прекрасный молодой человек». Всеми силами старался я подружиться с кем-нибудь из них, но все они, обругавши меня и насмеявшись надо мной, уходили от меня.

Декабря 1-е. Дали сочинение: «Весна приятна». Нужно было написать три периода: причинный, уступительный и относительный; но я не понял, как профессор учил сделать это, а просто взял и стал говорить, как приходит весна, как солнце сушит грязь, и вместо нее, встанешь иной раз поутру, увидишь тропинку мягкую такую, белую... Кто протоптал ее за ночь, не знаешь; а потом побежишь по ней... Она криво бежит к лавке, к попу, в кабак, потом в лес, где и прячется в прошлогодней, успевшей уже обтаять, траве. В траве вода чистая и холодная, как лед. Руки и ноги, бывало, ужасно какзазнобишь, бродя в этой воде. Они сделаются, бывало, красные, как огонь, а потом посинеют. У кого посинеют руки и ноги, мы тому скажем: у тебя руки и ноги помертвели; потом все бросимся на этого мальчишку или девчонку и станем оттирать, а сами хохочем на весь лес... Около нас шумела глубокая и широкая река, а по ней скоро неслись большие льдины с густым камышом. По ним бегали и жалобно кричали зайцы, а самые льдины сияли на солнце так, что мы жмурили глаза... Мы смотрели на это по целым дням и целые дни смеялись...»

— А, скверный мальчишка! — бормотал Иван Николаевич, покусывая свои бакенбарды. — Из него поэт формируется. Ничего с ним не поделаешь. Колеют ныне такие люди хуже паршивых собак... Посмотрим, что дальше будет?

«Все это я так и написал. И много другого еще про бабочек, про птиц, — потом как у нас однажды в полноводье лодка плыла с мельницы, которую чуть-чуть не затопила вдруг прорвавшаяся плотина. В лодке была мельничиха, сама она правила, отталкивала льдины и кричала, чтобы ей помогли, и дети у ней в лодке ползали и кричали, а кто был на берегу, все молили бога, чтобы он помог ей. Когда же она подъехала к берегу, тогда все бросились целовать ее, а ребятишки, какие тут были, смеялись и плясали...

На другой день пришел в класс профессор и спросил меня: кто это тебе, чучело, написал сочинение? Я ему сказал: никто! Это я сам написал, — и в это время у меня лицо сделалось красное, потому что я на него осерчал, зачем он мне не верит, и мне хотелось плакать. Тогда он схватил меня за уши и закричал: врешь, подлец! Сейчас сознавайся, кто тебе это написал? Я громко зарыдал, а ученики загрохотали.

«Профессор согнал меня в это время с первого места на последнее; а я написал письмо матери, чтобы она приехала ко мне и *исключила* меня, потому что я не могу понять ученья, то-есть как писать.

Мать привезла мне сухой малины и орехов; долго плакала, прыскала мне голову святою водой, потому что голова у меня горела, как

в огне, а потом уехала домой с обратными мужиками, и я остался один...

Перед Святой как-то сидели мы в классе, и профессор сказал нам: ну, братцы, теперь скоро публичный экзамен будет, и нам нужно навостриться стихи сочинять. Вот они какие бывают стихи-то, — и он развернул книгу и начал нам читать стихотворения разных размеров, объясняя при этом, что такое ямб, хорей, дактиль, анапест и др.

И как я у дедушки, у протопопа, таких стихов прежде много читал, то и подумал, что писать их не мудрено... Еще подумал, что как только я напишу стихи, сейчас меня все полюбят и профессор посадит меня на первое место... Ну кто же напишет, братцы? — еще раз спросил он, и тогда я встал с места и сказал, что я могу написать. Он задал мне — Осень — и к концу класса я приготовил вот какие стихи:

Осень

Перезрели в просах зерна,
Перезрели.
Звонким летом над реками
Птицы пролетели.
Вслед им пущен громкий выстрел
От сенного стога.
До весны прощайте, птицы,
Путь вам и дорога!
Им стрелок сказал, ступая
Топкой колеею:
Был он с потными усами,
С мерзлой бородою...

— Эдакая скверность! — недовольным тоном пробормотал Иван Николаевич, после того как

продекламировал эти стихи. — Поэтишка и есть, как и я. Теперь искалечат и истиранят. Тут не помогут никакие человеческие силы! В другом бы месте... конечно... Э! да ну к чорту все это! Пойду-ка я в департамент. А? Скажите, пожалуйста... Ведь ухитрит же бес...

Был он с потными усами,
С мерзлой бородою...

«От этих стихов мне стало еще хуже. Профессор избил меня за то, что он думал, что я их списал из какой-нибудь книги, и все спрашивал меня, какого они размера, но я не знал этого. Пуще прежнего все возненавидели меня; ученики из других классов останавливали меня на улицах, в коридорах и требовали, чтобы я прочитал им что-нибудь *вдруг из своего ума*, и когда я не мог этого сделать, они били меня и говорили: эх ты, сочинитель кислых щей!

Однажды я попался на глаза инспектору. Он спросил у профессора словесности: этот, что ли, у тебя парнишка стихи-то сочиняет? Профессор ответил: так точно-с! Дрянь самая безнравственная... Извольте обратить внимание на морду, ваше—ие! всегда вниз... А это, доложу вам, вернейший признак злохудожной души-с...

Инспектор долго и свирепо смотрел на меня, потом принялся ощупывать мою голову, стукать по ней в разных местах концами пальцев и кулаком (все говорили, что он отлично умеет узнавать человеческие способности, и потому многие господа привозили к нему для этого своих детей) и потом, обратившись к профессору, сказал:

— У него, действительно, очень развита шишка сочинительства. Только ты гляди у меня, сочинитель: не пей!.. Знаю я вашего брата. Все вы таковы. Запорю, коли что узнаю... А вы смотрите за ним построже, — за каждый шаг пробирайте... Небойсь, остынет; а то ведь это искушение очень сильно... Не всякий с ним совладеет... О-охо-хо!.. Пошел прочь!..»

Прошло целых два года еще такого же бессменного горя, оскорблений, слез, и видно было, что ребенок формируется. Он уже не плакал, а злился и негодовал, и эта злость и негодование были выражены уже не ребячьим лепетом, а жарким слогом юноши, в котором закипело страстное и сильно чувствующее сердце.

«Все бы это опротивело мне до безумия, — писал мальчик, — если бы я не подружился с Васильем Западовым, который однажды заступился за меня, а потом посоветовал мне, чтобы я сам старался всякому нос сорвать...

— Какого ты чорта смотришь на этих подлецов? — говорил Западов. — Колони в морду какого-нибудь мерзавца, сейчас же тебе от этого веселее сделается... Это, брат, верно! Ей-богу! Я это пробовал — и вот, сам видишь, кто теперь на меня налетает? А то ведь и меня, как и тебя, чуть-чуть не заклевали...

Я очень его полюбил, и вчера мы выпили с ним потихоньку от наших квартирных полуштоф сантуринского и потом за полночь читали книгу — *Мертвые души*. Я много плакал, смеялся, а в некоторых местах мне делалось до того страшно чего-то, что зубы мои стучали, как в лихорадке... В мозгу пробегала какая-то смут-

ная мысль о том, что «вот если бы и мне так-то...» Потом мысль эта вдруг сменялась стыдом и злостью на себя за то, что она шевелится во мне. В груди и голове моей неотступно сидел кто-то и сердито говорил: разве ты смеешь желать *этого*, — и этот говор был настолько слышен мне, что я терял всякую надежду на что-то; а между тем впервые услышанный мною *гром других речей*, которыми поэт живописал людей и природу, лился на меня неизъяснимо увлекавшей музыкой, от которой вздрагивало тело и расширялась грудь, вся переполненная чем-то кипучим и необыкновенно сильным...

Не помню, дочитали ли мы с Западовым всю книгу до конца, выпили ли весь полуштоф, помню только тусклое мерцание оплывшей сальной свечи, большую грязную кухню с уродливыми, пугающими тенями по темным углам, хозяйку нашу — Агафью, толстую и добрую женщину, которая изредка вставала с сундука, подходила к нам и осуждающим шопотом говорила:

— Что это вы расчитались, полуночники? Опять же и винище это, ишь как полосуете, ровно бы взрослые!.. Накося! Полуштоф на две персоны... Ну тебе, Васенька, ничего, ты силен, бог с тобой! А этот куда тянется? Ты, сова, что глазищи-то на меня пялишь? Ведь ты, дьяволеныш, больной... Нежный... Ну ты заболеешь, али, боже избави, ополоумеешь от винища-то? Что я с тобой буду делать? Мало ли еще над тобой грохочут жеребцы-то ваши?

— Уйди, Семениха! — сердито заговорил Вася. — Не твое дело. А кто над ним будет зубы

скалить, все скулы тому сворочу на сторону. Читай, читай, Ваня...

И я снова начинал не читать, а как будто итти вслед за чичиковской тройкой, по пыльной столбовой дороге. Вот по бокам ее белые церкви, деревни, приютившиеся у опушки дальнего леса, там дальше дымится сизо-серебряная, дугообразная лента реки, мы догнали казенный обоз из гремящих бесчисленными винтами и цепями зеленых фур; пьяный солдатик, разгоняя молчанье пустыни, валяет на жидковато, но бойко пиликавшей скрипке, звонко хохочет, свистит и пляшет... Одетая непроницаемыми облаками дорожной пыли, в предшествии, как военные крики, буйных и пугавших все встречное, ругательств, мимо нас промчалась курьерская тройка — и моментально скрылась...

— Вставай, Ваня! — говорил мне ласково Чичиков. — Мы приехали к Петуху. Петр Петрович! Вот рекомендую вам Ваню Померанцева. Он приехал к вам рыбу ловить.

На меня повеяло той освежительной влагой пруда, когда его золотит и нежит закатывающееся солнце. Я бросился в него — и поплыл, и поплыл...

— Да что ты, чортов сын, когда перестанешь барахтаться-то? — загремел надо мною голос человека. старавшегося связать мои руки. — Ишь! дьяволенок, ишь здоровый какой!— повторил этот голос. Я открыл глаза и увидел выбеленные стены семинарской больницы, мать, умолявшую фельдшера не бить и не вязать меня и обещавшую за это сейчас же пойти в лавку и отрезать ему сукна на штаны, и Васю Западова.

— Ну, мать, молись богу! — заговорил фельдшер матери. — Очнулся, значит, сто лет проживет. Бежи теперь, тащи мне сукна, да прихвати атласцу на галстук аршинчик. Очень я галстуками-то пообносился... Ухвати кстати, маменька, четверточку табачку — жукетцу, мы тут воскурим с твоим птенцом. Теперича ему это очень в пользу пойдет...

Странное дело! Вышел я из больницы с совершенно облезлою головою. Посмотрю на себя в зеркало, толкач толкачом, как есть урод; а между тем никто надо мной не смеялся. Я стал думать, отчего это меня обижать перестали, хотя попрежнему смотрели недоброжелательно, исподлобья, сумрачно — и дело объяснилось очень просто: мы всегда и в классе сидели, и по улицам ходили вдвоем с Западовым, и если на нас налетал кто-нибудь с дракой, мы его колотили до того, что начинали, против воли, истерически хохотать над его болями и бросали тогда уже, когда нам самим делалось нестерпимо больно от нашего смеха...

Потом мы с Западовым стали брать деньги за то, что писали за других учеников сочинения, и на эти деньги покупали красное вино, которое в бане и выпивали. Это еще более увеличило почет, которым мы начинали пользоваться. У нас оказалось много преданных ребят, которым мы писали даром, и они рассказывали всем, что мы необыкновенно умные и добрые, так что к нам стали ластиться из старших классов.

Рассуждая обо всем этом, мы с Васильем очень смеялись над товарищами и говорили

друг другу: вот скоты! Когда мы им хотели душу отдать, они издевались над нами, как над собаками, а теперь... вон какая штука пошла!..

Долго мы со своими неопытными умами вертелись около этой штуки — и наконец решились поступать всегда таким образом: пробирать всех и вся, а то самого убьют...

Уж и досталось же от нас нашим приятелям! Мы состроили себе из двух наших маленьких физических сил одну, о которую разбивались все остальные, а нравственные силы к нам обоим сами пришли... Понявши этот факт, мы смеялись и колушматили, колушматили и смеялись...

— Вот теперь в нас с тобой сидят подлинно злохудожные души! — часто с громким хохотом говаривал Василий, раздавая направо и налево забористые тумаки».

— Вот так подкладка! — говорил Иван Николаевич в своей опустелой квартире. — Нарочно такой не придумаешь! Ребячью теплоту подбили чортовой кожей... Дельно! Полюбуемся!

«Впрочем, когда мы оставались с Западовым одни, мы долго советовались, как бы нам без драки помириться со всеми, и не находили никакого другого средства. Я до слез унывал от этого, а Васютка надвинет, бывало, брови, по лицу у него забегают в это время угрюмые и вместе печальные тени — и скажет:

— Э! не плачь! Чорт с ними! Давай-ка читать...»

— Этот хоть, по крайней мере, последователен, — бормотал Иван Николаевич. — У него душить, так душить... Ну давайте, давайте

читать... Ах, боже мой! Ведь все это я знаю. Всем этим сладким чадом и моя голова горела... Вот вам «Клятва при гробе господнем», вот «Последний Новик», — ну, «Бусурман», — нну, «Рославлев» наконец, — и какие там есть еще черти и дьяволы?

— Отечественная литература! Классические собрания! — протяжно и злобно толковал Иван Николаевич, тусклыми, бесцельно блуждавшими глазами осматривая свою мрачную квартиру, видимо, не понимавшую, на что он сердится. — Вот тебе и классики! Гибель! О, вы —

Разрозненные томы
Из библиотеки чертей!

— Какая-такая литература? Нравов нет! Есть чорт знает что, которое всегда прощать должно, за которое всегда страдать должно, а тем для литературы нет... Следовательно? Ну и ее нет... Смеяться даже лень над этим безысходным никуда-негодяйством...

— Ну что там еще? Что у тебя еще есть? — спрашивал у безответно молчавшей стены Иван Николаевич. — Пушкин-то? Приятно слышать! Ха, ха, ха! Руслана и Людмилы я никогда не видал и видеть нужды не имею, — знаю, что кавказских пленников, хоть бы они были расприятелями со всеми княжнами в мире, черкесы отправляли без дальних разговоров коз стеречь, — знаю, что леса наши не в состоянии приютить у себя Дубровского с шайкой разбойников и с пушками, а если и приютили бы, то, к славе нашего доброго отечества, в нем таких горячих субъектов быть не могло. Ибо, как го-

ворил один немец, содержатель зверинца, рекомендуя вниманию публики белого медведя, «по холодному его климату, мы часто обливаем его холодной водой...» Да что в самом деле? Досадно! Гений унизился до каких-то засад, до пальбы, как есть провинциальная театральная афишка или пошлые романы Дюма. Вот и Сильвио тоже: они некогда состояли в военной службе храбрыми гусарами, честными ремонтерами, — были некоторые из Сильвио шулерами, бреттерами, при всякой удобной оказии прятавшими под любой куст свою храбрость, — были они нахалами, развратниками, нелепыми мотами и всякого рода подлецами и дураками; но Сильвио великодушных быть не могло.

— Как об историке, друг Ваня, я о Пушкине и говорить тебе не буду. Он нас обманул своей историей пугачевского бунта.

В этом месте своей литературной критики Иван Николаевич оперся о край стола и с необыкновенной лаской начал говорить стулу, на котором однако никто не сидел:

— А впрочем, Ваня, я люблю Пушкина, как личность. Я злюсь тогда, когда читаю, что он произвел — и вот видишь почему (тут Иван Николаевич понизил до шопота свой голос): потому что оно могло быть лучше сделано. Понимаешь, лучше!.. Но ведь, друг мой! Нужно отсекать людей от времен, в которые они действовали... От обстоятельств... Ваня! В этом в одном только, по моему убеждению, заключается разумный интерес жизни: смотреть на дело умершего человека, знать, чего оно стоит, и потом руководствоваться выведенными из всего этого

соображениями для пользы своей и ближних... Конечно, ты еще молод... Ну да еще мы поговорим... Успеем... — улыбался Иван Николаевич. — Я, ей-богу, глубоко рад, что ты ко мне приехал; а то, понимаешь? — еще дружелюбнее смеялся Померанцев, — становимся мы стары — и помнишь, как у нас растолковывали по селам про мужиков, какие долго не умирали? Говорили про них, что они колдуны и что им некому передать своего колдовства. Вот я тебе теперь и передам мое колдовство...

Разговаривая таким образом, он жал кому-то руки и спрашивал:

— Ты чаю хочешь или кофе? А то, может, по семинарскому обычаю, водочки прежде, а? Ха, ха, ха!

Часовой маятник отвечал ему металлическим: та, та, та, та!

— Дело, друг! Мы всего сейчас изготовим, — удовлетворился Иван Николаевич и этим ответом — и потом, суетясь по комнатам, снова обратился к истории отечественной литературы:

— А что, голубчик, Ваня, Лермонтов там у вас в ходу был, так у него, ха, ха, ха! есть один, как говорили наши губернские барышни, стишок, действительно, хорошенький. Это —

И скучно и грустно и некого в карты надуть
В минуты карманной невзгоды.
Жена? Да что пользы жену обмануть?
Ведь ей же отдашь на расходы.

— Это, друг, очень хороший стишок! Остальное все вздор, потому что, дорогой мой, мы и без него постоянно спрашиваем:

На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые:
Отчего под ношей крестной,
Весь в крови влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

— Впрочем, Ваня, я его сердечно жалею. Возьмем то одно, сколько ран нанесли ему все эти княжны Мэри и т. д. Сердце-то у него, Ваня, стало словно бы камень какой: ни само не билось, ни того, что другие бьются, не понимало, или, быть может, и понимало, да по-своему, по-особенному... Это, брат, была самая, как говорили у нас в семинариях, злохудожная душа... Ну-ка выпьем сначала, закусим, да вот кофейку...

В молчаливом залике стоял накрытый, круглый стол. На нем были графин с водкой, бутылка с вином, кофейник шипел — и около всего этого ходил Иван Николаевич какою-то торопливой походкой, смеялся, потирал руки и, видимо, чему-то глубоко радовался.

— А то у вас, Ваня, — говорил он, — Гоголь был, так ведь это тоже опять беда! Нашему брату, который сам до всего должен додумываться, его и читать-то, по-настоящему, не следует. Околеть можно от этого горького смеха, от этого смертного уныния. «Смехом моим горьким посмеюся!» — написали на его могиле. Славный девиз! Вот герб! Как это, Ваня? Русь! Русь! Вижу тебя из моего прекрасного далека! Забыл подлинные слова, коверкать не хочу. Подскажи, Ваня! Он дал нам нравы! Или не то, что дал, а научил нас подмечать в людях настоящие

нравы. Это основатель русской литературы. Без него мы не поняли бы ни Диккенса, ни Теккерея и все пробавлялись бы дурацкими эпопеями о корнетах Z и о княжнах X.

— А при нем, Ваня, и мы в нашей пошлой жизни испытали кое-что очень хорошее. Вот Пашенька Домби, ребенок, неизвестно почему потухающий при тайном говоре брайтонских волн; вот Флоранс, портреты которой ты видел в изумрудных незабудках, растущих на наших лугах; Вальтер, добрая, всем помогающая сила, которой не растет на наших лугах... Вот капитан Куттль на деревянной ноге, лицо у него все поросло каким-то как бы печально-смеющимся, седоватым мхом; но он все-таки бодро кричит: держись крепче, капитан Куттль! Старик Куттль! Распускай все паруса — и полным ходом! Стыдно тебе будет, старичище Куттль, если ты упадешь лицом в грязь!

— А вот и мисс Ребекка Шарп, великая девушка, сначала плюнувшая на лексикон если не великого, зато, по крайней мере, толстого доктора Джонсона, а потом оплевавшая все... Скажу тебе по секрету, Ваня: Ребекка Шарп была моей первой и последней любовью. Я очень жалею, что я не встретился с нею в действительной жизни. Я бы вырвал из нее то, что называется женским тщеславием (ты, друг, конечно, молод и еще не знаешь, что под этим словом разумеются тысячи разнообразных и губительных гнусностей), а она бы из меня вырвала.... Ваня! Что бы она из меня вырвала? Ха, ха, ха! Ничего бы она из меня не вырвала...

— Хорошо! Хорошо! — перебивал Иван Николаевич чье-то весьма будто бы торопливое и жаркое возражение. — Поговорим еще... Успеем... Я тебе и об этом скажу. О чем? Да, да, да! Об женщинах? Ну, брат, я никого не хочу оскорблять. С этою вещью ты должен как-нибудь сам познакомиться. Для начала прочти Гейне, — вот он на полке лежит.

Иван Николаевич вдруг запел на мотив «Чтоб мы были без вина?»

Наша милая жена
На восходе солнца шла...

— А вот тебе, голубчик, Ваня, Уэллеры — отец с сыном. Они, в качестве извозчиков, пахнут лошадиным навозом, да ведь лошадиный-то навоз чахотку вылечивает. Что за прелесть эти люди! Я с совершенным счастием вижу, что там рабочая жизнь имеет в своей среде высокие идеалы сознаваемого труда и сознаваемых обязанностей.

— А мистер Пикквик, Ваня! Желал бы нашему обществу побольше таких людей. Конечно, они стерли бы с нас ту печать безразличия и апатии, которая одинаково лежит на наших делах — дурных и хороших... Ну да успеем еще... Поговорим...

Снова Иван Николаевич счел за нужное успокоить кого-то дружелюбными улыбками и рукопожатиями.

— Вот это, Ваня, нравы! И конечно, дорогой мой, и за это нужно быть благодарным, что не весь свой курс специально провалялся ты в грязи и бедности, а познакомился и с другой сторо-

ной человеческой жизни; но ведь, милый, ведь все это из *ненашинской земли*, и потому нужно было *вам* главным образом не это, а вот что...

— Вот, брат, что *вам* нужно было, — указывает Иван Николаевич на шкафы с книгами. — Это, брат, не чета вашим запискам. Как там физику-то начинал читать один остроумный и вечно пьяный человек? Не подумайте, говаривал он, разбойники, что физика научит вас заезжать друг к другу в физики более того, чем вы сами понимаете это искусство. Каков каламбур! Нет, Ваня, тут без каламбуров, — прямо к делу. Есть у меня, Ваня, штук пять знакомых молодцов, — я тебя сведу с ними. Посоветуйся-ка с молодежью-то, определи себя, да с богом и присаживайся! Я с тобой кстати на старости лет... Эх, жаль, говоришь ты, что Васютка-то Западов умер! Хорошо бы и его сюда затащить. А ведь у меня тоже был приятель — и звали его, как и твоего, Западовым. Так тот упрям был, как не знаю что: взял однажды грудью и животом лег в весенний, растаявший лед — и стал в этой луже валяться. Спрашиваем: что ты делаешь? А он говорит: не хочу в академию ехать, лучше умереть. В два дня, действительно, свернулся... Очень упрям был покойник; только я уже стал забывать его. Вот ты напомнил...

— Ну, брат Ваня! Хорошо ты сделал, что приехал ко мне. Теперь я тебя не выпущу. Я был, Ваня, очень несчастлив: у меня, Ваня, кроме, ха, ха, ха! мисс Ребекки Шарп, другой любви не было, дружбы тоже не было, а было гнусное, нищенское бесхлебье, а оттого всякого

рода унижения и скверности, — была тоска по годам, с которой сладить не было никаких возможностей, — раздумье какое-то проклятое, которое как бы каким облаком закрывало от меня настоящее жизненное течение; а теперь вот который уже год я заперся от всех, чтобы не получать от жизни новых пинков... Устал!.. обробел!..

Динь! Динь! Динь! — порывисто зазвенел в это время колокольчик у черной клеенчатой двери.

— Звони! Звони! — насмешливо отвечал Иван Николаевич этому звону. — Теперь, брат, я не особенно вас боюсь. Я теперь отопрусь и переведаюсь с вами! Весь мой опыт тебе, Ваня! Не дам я тебе, сударику, обманутым быть ни людями, ни самим дьяволом...

Динь! Динь! Динь! — еще тревожнее залился колокольчик, а Иван Николаевич, попрежнему тихонько посмеивался и, поглаживая бакенбарды, говорил:

— Уж это как дважды два верно, спасу. Хоть бы вы треснули там звонивши. Ежели он вдастся в умственные зигзаги, какие нас в старину заедали, мы его развлекем. Всей своей желчью оплюю я эти зигзаги. С женщиной ежели сойдется, — мы приставим ей голову, — редкие они у нас, бедные, с головами-то... Ах, несчастье! Ах, какое губительное несчастье! Пуще заразы пожирает оно наш молодой народ!.. Но ничего, Ваня! Все бог! Может, как-нибудь и от этого оттолкнемся.

За дверью между тем слышалось:

— Надо налегнуть!..

— Известно, налегнуть, — не отпирает кое место. Кто его знает, што он там?

— Што ж? Налягем, коли ежели...

Вследствие этого решения дверь заскрипела, и потом обе половинки ее грянулись на пол передней.

— Мальчик, прячься! Ребенок, хоронись скорее! — кричал Иван Николаевич, пуская в рыжеусого дворника массивным, парящим в небо ангелом.

— Не извольте буянить, ваше высокоблагородие! — резонно и тихо говорил бравый городовой, усаживая Ивана Николаевича в карету. — Не хорошо! Чин ваш этого не дозволяет...

— Вали! Вали! — кричал с подъезда дворник. — Он, брат, тут у нас весь двор поел... Что с ним еще разговаривать-то?..

— Ваня! Ваня! Берегись! — продолжал кричать Иван Николаевич, выглядывая в каретную дверцу. — Смотри, чтобы они и тебя не съели, как меня... Берегись, друг!..

Кучер, намереваясь ударить по лошадям, хлопнул его по лицу ременным кнутом, и Иван Николаевич пугливо скрылся в глубину кареты и зашептал:

— Ишь, подлецы, ишь! За что он меня? За что?

— Потише там, с кнутом-то!.. — крикнул на кучера бравый ундер, и карета тронулась, а Иван Николаевич все шептал что-то, улыбался кому-то, делал самые дружественные и успокоивающие знаки, и по временам, с совершенно детскою уверенностью, не допускающей никаких невоз-

можностей, спрашивал у сидевшего с ним рядом городового:

— Как думаете: придет ко мне Ваня? А? Нужно бы мне ему еще словечек пару сказать... Так немножко... Не успел я ему давича шепнуть... Придет ведь?

— Беспременно, ваше высокоблагородие! — успокоивал его городовой. — Потому им грах будет, ежели они не придут... Они люди молодые!..

— Да! Да! Они люди молодые, — самым радостным образом засмеялся Иван Николаевич.— Придет, — это верно!.. Ха, ха, ха!..

Спустя несколько недель в «Полицейских Ведомостях» говорилось:

«Отыскиваются родственники и наследники умершего в доме умалишенных титулярного советника Ивана Николаевича Померанцева, подверженного с давних пор, как оказалось по справкам, чрезмерному употреблению спиртных напитков. Приглашаются равномерно кредиторы означенного Померанцева к оценке оставшегося после него имущества, состоящего из двух пар ветхих сапог, разбитой алебастровой статуи, изображающей парящего в небо ангела, и большой конторской книги, которая, впрочем, к употреблению едва ли окажется годною, потому что вся она исписана одними только этими словами:

— Мальчик, берегись!..»

1869

ХОРОШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

ОЧЕРК ИЗ МОСКОВСКИХ НРАВОВ

I

Мои воспоминания начинаются с одного ясного, морозного утра какой-то зимы.

Пробило семь часов. В квартире Степана Петровича — человека, имевшего счастье быть моим отцом и, кроме того, отставным чиновником, — все спит. В видах ознакомления с обстановкой обиталища бедных московских чиновников, я введу читателя в жилище моего отца, не рискуя обеспокоить жильцов, которые, как уже сказано, в описываемую пору еще обретаются в объятиях Морфея.

Наружная, обитая истерзанным войлоком дверь, с стеклами вверху, ведет в темную кухню, которая и есть преддверие того рая, который воспитал меня. Кухня эта, несмотря на то, что хозяин ее был титулярный советник, не имела в своих недрах неизбежной принадлежности каждой мало-мальски чиновной кухни — кухарки, и потому в ней было как-то особенно бедно и холодно. С какой-то печалью, исполненной злости и ненависти на кого-то всматривались в ее непроглядную темноту намерзшие стекла, вделанные в дверь. Казалось, они говорили:

«За каким дьяволом хозяева вставили нас сюда, на мороз! Что тут освещать? Голь-то, что ли, эту несосветную?..»

Привычный к моему бедному жилью, я, впрочем, могу ощупью находить в этой темноте все, что мне нужно, и потому отворяю следующую дверь. Благодаря этой счастливой способности, мы находимся теперь в комнате уже с двумя окнами, одно из которых обращено на грязную, печальную и застроенную беднейшими домишками улицу, а другое — на двор. Это последнее окно мы обыкновенно называем слепым, потому что оно было окончательно загорожено различными пристройками, принадлежавшими мелочной лавочке — главной поилице и кормилице нашего семейства. Около этого слепого окна стоял жалкий стол, назначенный для трапезы, что можно было заключать из того, что на столе валялись счистки вареной колбасы, которую разносчики продают на углу каждой улицы по пятаку серебром за штуку, обглоданные корки черного хлеба, беззубые вилки, яковлевский ножик с ручкой, самолично мною приделанной к нему из березовой лучинки, стакан с остатками молока, молочный, с выщербленным носиком, кувшин и грязная скомканная салфетка. Весь исцарапанный и насквозь просаленный разными жирными веществами, стол этот от малейшего прикосновения к нему покорно и уныло отшатывался в противоположную от толчка сторону, почему и представлял из себя отличное сходство с теми почтительными ветеранами, которых так много ходит по Москве в виде усатых седых унтер-офицеров, серьезных, изукрашенных шрамами, безногих или безруких и постоянно с таким тихим, страдающим выражением в лице...

Во всем согласные с этой изъезженной, ежесекундно готовой упасть на все четыре ноги клячей — столом, около него робко ютились два некрашеных *росейской* поделки стула.

Тяжелые были эти стулья, крепкие, хоть в каменную стену колоти ими; спины у них хотя и были как-то уродливо согнуты, но, тем не менее, это были широкие спины, про которые говорится, что на них выспаться можно; а между тем ноги у них поджимались, как будто чего-то пугаясь.

Как теперь помню я эти *старые мебели*, если дозволят мне так выразиться о древних принадлежностях, покоивших некогда мое беззаботное детство... Нигде теперь, даже у самых крайних бедняков, я не встречаю таких своеобразных мебелей, и потому, увы! как я жалею о том, что нынешние времена так скупо наталкивают иные скорбные сердца на случаи, разогревающие их хотя горькие, но дорогие воспоминания...

По глухой стене комнаты тянулось нечто длинное и широкое, необыкновенно пугавшее посторонних людей той невообразимо мочальною, грязною рванью, которая составляла, так сказать, корпус сего корабля. Я и сестренка называли эту штуку лодкой, вследствие чего мы, когда оставались одни, неоднократно садились на нее и, огребаясь длинными палками, громко и картаво выкрикивали: «Вниз по матушке — по Волге».

Должно, впрочем, сознаться, что когда в квартиру, оглашаемую нашими детскими криками, нечаянно входила мать, то ее сердитые воз-

гласы и подзатыльники неизбежно прекращали наше мореплавание.

— Долой с оттомана, шельмы! — кричала она, хлестко обстреливая наши молодые щеки и справа и слева.

Мы, по случаю такой неожиданности, разбегались в разные углы и надолго смолкали. Утихала гроза, пришедшая с матерью, и сестренка, блистая детским румянцем и упрямо непроходящим гневом ребенка, которому кто-то невидимый шепчет, что его обидели понапрасну, подходит ко мне и шепчет:

— Что же ты сказал мне, что это лодка? Вот меня и прибили...

— А я почем знал? — отвечаю я, стараясь не глядеть на нее, потому что во мне в это время проходила какая-то жгучая боль, которая терзала меня в неизмеримое количество раз больше моей собственной боли и побуждала думать, что это действительно за меня вскосматили ей беленькие, мягкие волосы, за меня же и по щекам ударили, и эту гордо поднятую, розовенькую губку рассек до крови толстый, старый палец, который вечно так сердито грозится...

Обыкновенно бедное дитя долго плакало, крепко прильнувши головкой к моему плечу; но я еще дольше ничем не был в состоянии утешить любимое существо, потому что сознание этих обид и неумение, как и что с ними сделать, наводило на меня какой-то столбняк, делавший из меня каменную статую с лицом, искаженным гневом и злобою.

— Ну, будет! Я не буду больше плакать! — говорила наконец белокурая головка, припод-

нимаясь с моего плеча и всего меня освещая милой улыбкой, ясно говорившей, что она уже все позабыла и что теперь маленькое, упругое тело приготовилось к новым прыжкам и крикам и, следовательно, к новым толчкам и шлепкам, которые, как известно всем русским матерям, так успешно помогают детскому росту.

Эта воскресшая радость необыкновенно меня радовала, так что столбняк мой, после обещания не плакать больше, проходил в мгновение ока, и во мне тогда вдруг ощущалась полная возможность самым лучшим образом сквитаться с моим и ее горем.

— А ты так всегда и говори, что это оттоман, — советовал я сестре, — и не плавай на нем, вот она тебя бить и не будет. Мне-то ничего! Я опять буду на этой лодке ловить разбойников, когда мать из дома уйдет. А ты со мной не играй... Ты видишь, какой он скверный.

— Я и не буду, я и не буду, — как молоденькая птичка, чирикала девочка, подскакивая и подшлепывая ручонками, от чего грациозно трепетали ее белые локоны. — Я и не буду! В нем — в оттомане-то — тараканы, клопы... И зачем я на него садилась?..

Больше и больше ободряемый этой радостью, я, даже в присутствии матери, не нарочно как будто, то колотил этот проклятый оттоман толстою палкой, с целью убить на нем таракана, то иногда отрывал от него куски рванья и бросал их в печь, а то просто-напросто, ничем не стесняясь, садился на него с ногами и затя-

гивал в душе моей молчаливую, одному мне слышную и одного меня задорившую песню:

Вниз по матушке—по Волге.

— Ты что это, чертеныш, на оттоман-то с ногами уселся? — кричала мать, стараясь нарушить мою позу ударом грязного полотенца. — Отец его обивать новым ситцем думает; а он, вот тебе раз! с ногами на него взляпался.

Но ни намерение отца обить эту несчастную штуку новым ситцем, ни учащенные ласкания моей спины полотенцем ничуть не выбивали меня из моей позиции. Я зажмуривал глаза и, молчаливо покатываясь со смеха, пел:

Ох-х д-да разыгралася погодка...

Пел я это и думал: «Ну-ка, вот узнай, как я на лодке-то езжу... Не хочу, чтобы оттоман был!.. Хочу, чтоб лодка была»...

В каком-то странном забытьи пелась мной эта песня все дальше и дальше — и этот, как сказано, хотя и молчаливый, но разрывавший все сердце хохот над чем-то увеличивался все больше и больше...

— Мама! мама! не бей, не бей его! — пробуждал мое опьянение звонкий, страдающий голосок сестры, и, проснувшись, я видел, что моя морская битва окончательно проиграна, ибо обыкновенно, вследствие таких случаев, я был сталкиваем с дивана и, говоря высоким слогом, повергаем на пол.

После этого слышалось:

— Разбойник! Разбойник! Вот бог сыном наказал!..

А еще позже, в кухне, куда мать отводила меня для какого-то исправления, я слышал, как надо мною раздавались тихие всхлипывания белокурой сестренки, и чувствовал, как волосы ее ласкали мое лицо в то время, когда она целовала меня.

— Обедать иди! — грозно кричали мне из кухни то отец, то мать.

— Не хочу! — отвечал я.

Опять забытье, прерываемое трепаньем за ухо и восклицанием:

— Пойдешь чай пить? Пойд-дешь, разбойник, а?

— Не хоч-чу!

Снова следовал мрачный и глубокий сон, в который погружает детей обида близких, и снова розга будила меня и свистела мне в уши:

— И ужинать не пойдешь? Вот я тебя! Вот я тебя! Пойдешь, что ли? Говор-ри же, расподлец ты эдакой?

— Не хочу...

— Хорошень! Хорошень! Небойсь, встрепенется... Уж я об него все мои руки обколотила — ничего не берет...

На другое утро со мной на поленьях, сложенных в кухне, сидела уже сестренка и потихоньку шептала:

— Ну, молчи, молчи, молчи, голубчик! — очень убедительно шептала она эти слова, как будто я не упорно и злобно молчал, а кричал и жаловался самым громким и жалобным образом...

Но, несмотря на дождь несчастий, лившийся на нас, ребятишек, по поводу нахождения в на-

шей семье этой ссорившей нас штуки, на ней (я все-таки не хочу сказать — на оттомане) в описываемую пору спит глава дома — отец мой, седенький такой старичок, *сам* Степан Петрович. В головах у него вместо подушки подложен истрепанный бухарский халат и еще какое-то безымянное платье. Накрыт глава фамилии вместо одеяла тулупом черного барашкового меха с суконной покрышкой. На окошке, показывающем нам улицу, валяется глиняная трубка с коротеньким чубуком и ситцевый, сшитый из разноцветных лоскутков, кисет, с знаменитым дунаевским вакштафом, цена которому за четверть фунта 3¼ к. сер.

А вот и печь, сложенная из изразцов, разрисованных голубыми ободочками.

Единственно только одна она сколько-нибудь согревала мое суровое, исполненное поразительной нищеты, детство, то нежа мое иззябшее тело теплотою своих изразцов, то унося меня из действительной жизни в золотой мир разнообразия детских грез и фантазий, которым я любил предаваться в то время, когда под сердитый говор матери, раздраженной голодом, упорно всматривался в узорчатое пламя, так весело блиставшее в ней. Вот и теперь вспоминается мне то далекое время, когда я маленьким мальчиком леживал около этой печки, возбуждающей мои самые добрые чувства! В головах у меня какой-то засаленный блин; мое маленькое, но уже истощенное работой и лишениями тело покрывает старая отцовская шинель, а в ногах высятся дырявые сапожонки, на голенищах которых вальяжно развешаны грязные портянки.

Громадной величины банка с тощим, поблекшим гераниумом, или, выражаясь языком нашего семейства, *еранью*, стоявшая на обледенелом окне, еще более увеличивала убогое нищенство этой комнаты.

Дальше! Познакомимся теперь с остальной комнатой, которая в нашем логовище изображает собою гинекей. Это была, сравнительно с остальным нашим жильем, веселая и светлая комнатка, единственное окно которой завешено было даже какой-то рыжеватой шторкой, разукрашенной фигурными махрами.

Меня и отца мать редко впускала в эту комнату. Когда мы входили туда, она сердито кричала:

— Вон! вон! нагрязните еще тут сапожищами-то... Всю *небель* тут у меня перековеркаете да загадите. Вон!

А вся *небель*-то, в сущности, состояла в следующем:

По стене, около задней стороны печки, стояла кровать, на которой спала мать с сестрой. Мать обыкновенно страшно кричала во сне, примерно так: «Батюшки! задушили! режут! Нет, ты меня лаять не смей! Я купеческая дочь, мой муж титулярный советник»... А сестра что-то тихо шептала, словно бы она заранее молилась о том, чтобы ее дальнейшая жизнь была спасена от этих болезненных стонов, которые надорвали сердце ее матери...

Потом, в простенке, приютился старый комод с тремя пустыми ящиками. На нем возвышалась картонка, употребляемая деловыми людьми для хранения важных бумаг, но у нас исправлявшая

совершенно другую роль, именно: в ней хранились чашки, чайник и принадлежности чайного и кофейного приборов.

Вся эта роскошь была увенчана зеркальцем в аляповатой, разукрашенной на манер красного дерева рамке, амальгама которого неизвестно кем и для какой цели была очень узорчато исцарапана.

Но всего интереснее в этой комнате было то, что в ней находились три громадные сундука, нагроможденные, за недостатком места, один на другой. Сундуки эти своей массивностью постоянно вводили в заблуждение редко посещавших нас гостей, порождая в их головах завистливые думы насчет того собственно, что «ишь-де прикинулся каким казанской сиротой этот старый бес — Степан Петрович! Я, говорит, теперь совсем нищий. Нищий! Как же! так и поверили! Ишь сундучища-то какие наворотил!»

Сколько мы с сестрой испытывали удовольствия от посещения гостей, столько же, и даже еще более, заблуждения их относительно массивных сундуков, стоявших в спальне матери, заливали в мою молодую голову горя и злобы на эту ложь, смевшую подозревать нашу непроходимую и, так сказать, абсолютную бедность.

Смотря из наших унылых окон на детей, весело резвившихся по двору, выбегали и мы иногда с сестренкой из нашего заточения и вмешивались в беззаботные, звонко и несмысленно оравшие детские стаи. Тут мы видели, что каждый из ребятишек, кроме крику и смеху, незнакомых нам, был наделен или колбасой, или

белым хлебом с маслом, или даже леденцами. Только одни мы были с пустыми руками.

— Примите нас играть, — подлещивались мы к соседским ребятишкам.

— Как же! Так вот и приняли, — удивленно и презрительно отзывались дети.

— Что ж такое?

— Да то! ха, ха, ха! Не примем — вот и разговор весь. Вы-то дворяне! ха, ха, ха!

— Ну, дай леденчика! Я пососу немножко и сейчас тебе назад отдам, — спрашивали мы с сестрой у кого-нибудь из этих баловней судьбы, видя, как они радушно променивались между собой различными продуктами.

— А шиш хочешь? — слышали мы в ответ нашим просьбам. — Небось, у вашей мамы какие сундуки-то накладены! Небось, тятька-то ваш на службе был, а наш тятька на службе не был...

Печальные возвращались мы домой и, предоставленные самим себе, принимались вникать, разгоняя давившую нас скуку, в таинства родительских сундуков, воображая, что на их глубоких днах мы, может быть, и найдем наши детские радости, которых лишила нас злая нищета, задавившая нашего отца и мать.

Таким образом, все мое и сестры моей детство прошло в тщательном и серьезном рассматривании сундуков; но, увы! в них не нашлось ничего, хоть сколько-нибудь похожего на детские радости. Находилась только в одном из них общая наша семейная печаль, заключавшаяся в офицерской шинели из толстого солдатского сукна да форменно-военной фуражке. Все это

было прислано нам из того полка, в котором служил убитый в Венгрии старший наш брат.

Остальные сундуки были набиты чорт знает откуда натасканными старыми газетами и книжонками, из которых мы с сестрой заимствовали нашу первую моральную пищу, а также ржавыми гвоздями, пуговицами, крючками, аптечными пузырьками, кожачыми козырями, оторванными от старых фуражек, и разною другою дрянью, которую мать, за неимением более ценных вещей, берегла пуще собственных глаз.

— Нет, на эту дрянь-то, — говорила она, — я, после сыниной смерти, восьмой год себя содержу. Так-то! В дому-то каждая вещь нужна... Сичас, нет ежели денег, позвал татарина, заподдал ему какую-нибудь вещь, оно и готово... По-вашему, хозяйство-то как? Его вокруг пальца-то не вот обернешь!

Вот и все наше богатство!

II

Ни один мудрец в мире не мог бы определить, чем отец мой оплачивал описанные сейчас апартаменты и на какие именно ресурсы он вообще содержал свое семейство. Точно так же и я, взрослый уже теперь, не могу определить этих ресурсов, потому что отец нигде не служил, частными работами не занимался, мастерства никакого не знал. Помнятся мне только какие-то таинственные разговоры, происходившие между отцом и его знакомыми отставными

чиновниками, про какие-то пенсии, единовременные вспоможения, ссуды с возвратом и ссуды без возврата. Помнятся также странные суматохи, обыкновенно волновавшие наше семейство, преимущественно пред наступлением годовых праздников и во время проездов через Москву каких-нибудь высокопоставленных путешественников. Отец был тогда в страшных хлопотах: с непонятною в нем, всегда добром и простом старичке, важностью надвигал он, по таким временам, на нос свои громадные медные очки и принимался писать что-то, рассылая нас с сестрой по соседям и мелочным лавочкам за сургучом, за бумагой, за чернилами, перьями и т. д. Мать, в свою очередь, как и мы, ребятишки, с утра до вечера бегала тогда по различным знакомым, от которых приносила то фрак, то белый жилет, то сапоги, то орден Станислава.

Как бы нарочно, увеличивая нашу семейную суетню, в несчастные дни таких треволнений к нам то и дело вбегали отцовские знакомые, такие же, как и он, отставные, старенькие чиновники, вечно небритые, каких мы с сестрой привыкли обыкновенно видеть в изорванных сюртучишках, в худых сапогах, с берестовыми табакерками в одной руке и с грязными ситцевыми платками в другой. Теперь они, к большому нашему ребячьему удивлению, превращались в отлично выбритых господ, разодетых в хорошие форменные сюртуки, лацканы которых были украшены блестящими орденами. Белье этих господ было вымыто. На жилетах некоторых из них болтались массивные золо-

тые цепочки от часов, не в какой-нибудь пятиалтынный, а от настоящих ходячих часов, рубликов эдак в восемь, с серебряными крышками и вензелями, изображавшими имя, отчество и фамилию того благоприятеля, который не усомнился снабдить ими хорошего человека для поклона высокопоставленному лицу...

Вбегали эти старички к озабоченному отцу и вскрикивали:

— Ну, что, друг, как дела? Фрак добыл или вицмундир?

— Слава богу! — отвечал отец. — Мундир добыл у Сапогова... Новенький мундирчик — с иголочки! Двух годов еще не прошло, как он его строил. Как же! Я помню ведь: мы и сукно-то с ним вместе покупали в запрошлом году в вербное воскресенье. Из остаточков... Зато сукно! Гляди, ворс-то! медведь, а не ворс!

Говоря это, отец бросал свое писание, торопливо подскакивал к распластанному на стуле мундиру и, поднесши его к окну, вместе с гостем принимался рассматривать необыкновенный ворс этой постройки, бережно гладил его и осторожно сдувал какую-нибудь пылинку, помрачившую его глянцовитость.

— Ну, а орден? — спрашивал гость.

— Благодарение! Есть и он. Вот!

Тут отец вынимал большую бумажную коробку, вытаскивал из нее массу белой, чистой бумаги, в которой, как некий любимый младенец-первенец, хранился сияющий Станислав.

— Смотри же, брат, — предлагал гость отцу совет с каким-то испугом, которого ни я, ни сестра, как долго ни ломали над ним своих

маленьких головенок, никак не могли объяснить себе. — Сма-атри же! — повторил он, знаменательно грозясь на отца пальцем и тем как бы желая предостеречь его от какого-то непоправимого несчастия. — Сма-а-три, сберегай, потому эта, батюшка, вещица хоть кого так введет в *соблаз*...

Гость захлебывался от ужаса, с каким давал это наставление, а отец отмахивался от возможности быть введенным в *соблаз*, как говорится, и руками и ногами и, в свою очередь, старался перебить приятельскую речь своими словами:

— Ни, ни! — лепетал он. — Да ни боже мой! Да я другой год капли в рот... Чтобы, то-есть, за это время хоть бы маковая росинка какая... И с чего ты только разговор в этих смыслах затеял?..

Извинившись самым приятельским образом и сознавшись в действительной пустоте затеянного разговора, приятель принимался развивать только что оставленную тему.

— Ну, а как прочие части? — спрашивал он, игриво улыбаясь.

— Подкузьмили, брат, меня прочие части! — с некоторой меланхолией отзывался отец. — Подкузьмили! Ну, да бог милостив! Жена вчера еще к зятю в Сокольники укатила за этими частями. Ныне к вечеру буду, одно слово, камергер... Только вот смущают меня малость сапожонки. Обличают, злодеи, потому я, признаться, дыры-то им хлопчатой бумагой заделал и чернилами смазал.

— Э-эх-х, голова! — торжественно восклицал гость. — У меня двое новенькие. Статский со-

ветник Курдюков мне их подарил онамедни да жене муфту. Стаpенека, признаться, но греет ахтительно. Ваня!

Следовало обращение лично ко мне.

— Марш ко мне на квартиру! Скажи: отпустите, мол, сапоги. Барин, мол, прислал. Ну, да там знают.

По поводу такого предложения между друзьями происходили любезные целования.

— Кажи теперь прошение! Посмотрю, каково настрочил? Зна-аю уж, — как бы с глубокою завистью растягивал гость, — знаю, такое, небойсь, надрал — ушки развесют! Ха, ха, ха! Знаю я, брат, каков у тебя в старину стилек-то был! Такой-то стилек, ежели бы мне, примерно, я бы обделал делишки!..

Отец хоть конфузился, но все-таки принимался читать, и читал он такие какие-то слова, которых мы с сестрой отроду не слыхивали. Сидя у печки на полу, мы в молчаливом благоговении прислушивались к этим словам, таинственное значение которых, на место наших обыденных понятий об отце, поселяли в нас совершенно другие понятия, такие высокие, такие грандиозные, что, при наплыве их в наши головы, мы потихоньку толкали друг друга под бока и шопотом переговаривались:

— Каков папка-то? А? Смирный, смирный, а он вот что написал...

— А мама все дураком его бранит, — наивно отзывалась сестренка. — Не-ет, он, должно быть, умный у нас.

Отец между тем читал как-то особенно важно надувши губы и притом таким тоном, каким

отставные солдаты рассказывают масляничной публике про многочисленные и разнообразные чудеса, скрытые в их панорамах.

— В 1817 году, состоя при господине оберфоршнейдере, был награжден чином... Гос-сподину генер-ралл... ейстеру угод-дна было в 1835 году пред-дставить меня, как в высшей степени благонад-деж-жного и в-высшей с-степени... приверженного к интересам службы чиновника, к ордену св-вятог-го... Обрремененный же теперь многочисленным семейством и положивши все мои слабые силы на служение отчизне, которую всякий верноподданный должен и проч., осмеливаюсь утруждать высокопочитаемую особу вашего — ства, дабы лютая смерть не исхитила меня из недр-р об-бажаемого семейства и проч... Повергая себя к стопам вашего р-р-р-ства и проч...

— Ну, брат, признаюсь!—экстатически всплескивая руками, удивлялся ополоумевший от этого чтения гость. — Удр-р-рал штуку! На, друг, поправь и мою писульку несчастную, а я сына запущу переписывать на всю ночь. Ну и выстрочил же!.. А? Вот ты на него и гляди.

С этими словами старичок вытаскивал из бокового кармана свою бумагу и подавал ее отцу. Отец обыкновенно долго отнекивался, потом, в конце концов, брал ее, принимался чертить по ней карандашом, и затем уже лились из его уст новые слова, непонятные нам, и раздавались со стороны посетителя новые восклицания.

— Аа-х ты, б-бож-же мой, боже! Ведь навострится же писать человек этаким манером...

Удр-ружил! Сичас теперь мы его в переписку... во всю ночь пустим... Н-ну, стил-лёк!

Возвратившись из своих странствований по Лефортовым и Сокольницким слободам, мать, вся запыхавшаяся, приносила отцу те части, которых недоставало ему для того, чтобы в полном блеске отставного титуляра усерднейше повергнуть его е—с—ству свою всеслезнейшую и всепреглубочайшую просьбу.

На другой день отец был решительно неузнаваем. К нам приходил наш сосед-цырюльник, молодой малый в коричневом сюртуке и без штанов. Всегда, как только мы с сестрой проходили мимо его, он сидел на крылечке своей цырюльни и ни разу не пропускал нас без того, чтобы не дать нам в подзатылок и не сказать:

— А-ах, в-вы, гос-спода-дв-воряне, черти-агаряне! Паршивцы вы и с отцом-то и с матерью! Да и с баб-бушкой! — присовокуплял он при этом последнем слове заключительный подзатыльник, каковое обстоятельство казалось нам тем несправедливее и обиднее, что бабушки у нас вовсе не было.

Во время таковых экстренных посещений нашей убогой квартиры цырюльник, напротив, делался необыкновенно учтив. Встретившись с нами в кухне, он вежливо раскланивался и приветствовал нас уж не как на улице «дворянами-паршивцами», а «здравствуйте, сударь, ваше благородие-с! Здравствуйте, барышня-с! Ах-с, какие вы нонешнего числа-с хорошенькие-с! Вот уж истинно сказать-с: хоть какому генералу-с невеста растет-с»... Эта редкая учти-

вость переносилась цырюльником и на отца. Брея его, он то и дело шаркал ногами и поминутно повторял:

— Позвольте теперь-с, ваше высокоблагородие, левую щечку-с... Вспучьте ее язычком-с... Так точно-с!..

После бритья отец внушительно начинал толковать человеку, снявшему с него седую, колючую щетину, которая мешала нам целовать его так часто, как мы этого желали:

— Ну, братец, ты уж того... Подожди до получки... Послезавтра непременно должна выйти какая-нибудь резолюция... Особа, братец, понимаешь? вот эдакая! Благодетель во всей империи первый!..

Цырюльник отшаркивался с прежнею деликатностью и убедительно говорил:

— Будьте спокойны-с! Да хошь каждый день извольте требовать-с... Рази вы нам не довольно даже известны? Господа чиновники, известно, что чистоту около себя должны соблюдать. Будьте спокойны-с!..

Вслед за этим отец преображался в такого же франтовски разодетого господина, каким был недавний гость, удивлявшийся его красноречивому стилю. Мать бережно подвязывала ему галстук, еще бережнее надевала на него самым тщательным образом вычищенный мундир, и потом между ними обоими вообще происходило таинство из таинств, именно: завязывание бантом орденской ленточки.

— Покрепче пришпиливай, — дрожащим голосом умолял отец. — Избави боже, как-нибудь сорвется и потеряется!

— Не тревожься, — успокоивала его мать, — я даже ниточкой его повздержала с изнанки. Нарочно, так нельзя оторвать.

Показавшись нам таким образом во всем блеске своего величия, отец обыкновенно отбирал у всех нас руки, как он говорил, *на счастье*—и уходил. В семействе после его ухода наступала тишина и самое томительное ожидание.

— Тише, чертенята! — каким-то страшным, громким шопотом прикрикивала на нас мать: — отец-то теперь страдает за вас, а вы тут, как в кабаке мужики, загалдели...

Делались мы с сестрой после такого окрика еще молчаливее, а наши комнаты еще суровее и беднее.

Во время этой молчаливости к матери, осторожно ступая на цыпочках, пробирались какие-то женщины, унылые, как семейство наше, и с такими же печальными физиономиями. Некоторые из них скорбным шопотом спрашивали: что, матушка, будет ли мне теперь от вас хоть какая-нибудь сумма? Другие еще тревожнее и еще тише осведомлялись насчет каких-то шинелей, шляп, сапог и т. д. и т. д.

— Мне пуще всего манишка, — тревожно шептали посетительницы этой второй категории. — Нов-вая, сама знаешь. Мой-то ныне так и пошел в присутствие... На все пуговицы... Ежели, говорит, избави боже, догадается кто, да сюртук распахнет, со стыда умру... Галстук уж подвязал, штобы, то-есть, хоть знак был какой ни на есть...

— Будь покойна! Будь покойна! — отзывалась мать, в тысячный раз повторяя это слово

по таким дням. — Он у меня вот уж другой год ни капельки... Благодарю моего бога...

— То-то, голубушка! Уж ты ради самого Христа, царя небесного... Сбереги!.. Последняя!.. Каждый день своими руками стираю...

Наконец из всех этих женских заботливых сердец составлялась одна общая компания, которую мать считала своею непременною обязанностью угостить чайком или кофейком.

— Каков ни на есть, — говорила она своим многочисленным посетительницам, отряжая меня или сестру в лавочку с покорнейшими просьбами отпустить ей в долг до получки «сахару четверть фунта покрепче, кофею на десять копеек получше, сухарей на десять копеек, чтобы самых сахарных» и т. д. и т. д.

Начиналось тихое, до пота доходившее чаепитие, изредка прерываемое негромкими сообщениями и сведениями в том роде, что «ваш-то сколько получил перед праздником?»

— *Мой* семь получил, — отзывалась на такой запрос такая же негромкая речь. — Зато, говорит, натерпелся... Швейцар там какой-то у них азарной очень, так всех этой дубинкой своей и толкает. Проходи, проходи, кричит, твое благородие! Эк вас, говорит, дармоедов-то, сколько набралось! До Коломны не перевешаешь... Такой солдатище глупый!..

— Глупый! Это еще что за глупый? Нет, вот мой онамедни к купцу какому-то на бал ухитрился проникнуть насчет вспоможения-то. Так ему там пьяный гость какой-то и говорит: служи, говорит, мне по-собачьи три часа, получишь две красных. Мой-то после расска-

зывал: вспомнил я, говорит, про детей и стал ему, подлецу, служить, и руки эти вытянул, наподобие как бы песьих лап. Они вином его за эту покорность еще напоили мертвецким манером. Пришедчи после этого, всех нас избил и разогнал по соседям. Видите, толкует, как я за вас при моем чине страдать должен.

Кончались же эти скорбные чаепития и разговоры возвращением отца, обыкновенно наводнявшим нашу квартиру целыми полками гостей, которые, очевидно, приходили с ним из одного места.

Всегда убитые, угрюмые и оборванные, гости эти теперь представляли из себя веселую, радующуюся стаю. Все комнаты наши заливали они тогда разными любезными, доказывающими приятное настроение духа, прибаутками, на которые мать, как бы в контраст своему обыкновенному сердитому поведению, улыбалась самым благосклонным образом. Сквозь пальцы смотрела она в такие блаженные дни на секретные разговоры, которые происходили в темной кухне между отцом и его гостями относительно какой-то, как они выражались, *складчины*, для окончательного осуществления которой я и сестра должны были усиленно бегать по погребкам и лавкам.

— Слышь, дитя, — как-то особенно ласково упрашивали гости, — так и скажи погребщику: титулярный, мол, советник Растаковский прислал. Он меня знает... Скажи: требует, мол, лреймадеры первого сорта... В семь гривен... Для дам, мол... А это вам с сестрой на

гостинцы. Целуйте ручку, карапузики, и в поход! Жив-во!

В вечной заперти сидевшие дети, мы с сестрой самым ревностным образом выполняли то и другое, то-есть целовали благодеющую ручку и живым манером доставляли из соседнего погреба требуемую первосортную мадеру.

— Молодца! — хвалили нас гости за такие подвиги и подавали нам со стола, отягченного всеми возможными произведениями природы и искусства, различные сласти.

— Н-ну, целуй ручку! — нетвердым голосом снова приказывал нам отец. — Мар-рш теперь к печке, не мешать большим! Теперь у вас всего довольно. Отец вам всего добыл. Марш!

Послушные этому приказанию, мы с отличным удобством усаживались около весело топившейся печки и принимались сосать леденцы. А большие старческими, но восторженно всхлипывавшими голосами начинали:

П-пос-сею ль я, поссею ль я
Л-лен кан-пап-пель!

Материны посетительницы, отведавши дрей-мадеры, тоже приставали к мужскому хору, разукрашивая его басистое однообразие своими дискантами и альтами, которые по всей нашей тихой улице громко опорочивали некоторого мошенника-воробья, что будто бы он —

Ах-х, вор-р-вор-раб-бей,
Зл-лад-дей-вор-раб-бей.

— Маменька-то, маменька-то! Смотри: чудная какая! — толковали мы с сестрой, помирая со смеха при виде матери, которая, с полным

счастьем на лице и с зажмуренными глазами, звончее всех гостей выкрикивала про воробья своим треснувшим дискантом.

— Ах вы, щенки! — укоризненно толковал нам подкарауливший наш смех отставной чиновник Мизеров. — Разве можно смеяться над матерью? Уши вам оболтать за это требуется.

Злой всегда был этот Мизеров и часто дирался, но и он в этот раз не разбивал своими шлепками нашего счастья. Он удовольствовался только тем, что пригрозил нам, и затем, загнувши голову на бок, что сделало его очень похожим на быка, намеревающегося хорошенько рявкнуть, отошел к хору, грозно поддерживая его своим басищем:

Р-руки, н-ног-ги
Пир-ри-л-лам-ллю.

III

Долго мы с сестрой помнили о таких днях и долго про них говорили. Они в нашей безотрадной, нищенской жизни были теми блестящими молниями, которые, прорезывая собою мрак долго не рассеивающейся тучи, смягчают ее сердитые тени, дышащие без них одним ужасом и непроглядною тьмою.

К несчастью, даже и такое жалкое жизненное проявление редко развеселяло наше печальное жилье. Красовались в нем большею частью другие картины и пелись другие песни, воспоминание о которых разжигает в душе редко когда проходящую ненависть на глупое счастие, одних

постоянно с головы до ног осыпающее благовонными розами, а других вечно и беспощадно томящее в ржавых цепях разнообразных страданий...

Ложь и ненависть безвыходно царили в нашей семье с раннего утра до поздней ночи.

Вот, напуганная заботами о предстоящем дне, встала мать с своей постели и прокрадывается в кухню, в пустоте и холоде которой давно уже, словно ранняя птица, заседаю я.

Начинается ложь.

— Вот умник! — говорит мать. — Встал уж, не то что отец-лежебок. Ты у отца-то не перенимай, как он бока-то пролеживает.

Говорит это мать и гладит мою всклоченную голову; но опыт многих предшествовавших дней делает меня нечувствительным к этой ласке, потому что подобные маневры повторяются каждое утро и цель их известна мне как нельзя лучше.

Я стою, понурив голову, и с терпеливостью жертвенного быка выжидаю, когда проделают со мной весь процесс нашего семейского утра.

Холод в кухне страшный; сквозь окна, поросшие густыми инейными бородами, смотрит на нас серое утро. По стенам тревожно бегают орды тараканов.

«Да! — хохотало утро. — Протопить бы теперь не мешало. А то я, пожалуй, вас насквозь пропеку. Пожалуй, вы еще не так у меня забегаете».

Словно бы послушная этим неотразимым внушениям, мать делалась еще ласковее и говорила мне:

— Ты бы, сынок, к столяру сходил, попросил бы у него корзиночку щепочек. Скажи ему: маменька, мол, сейчас на рынок пойдет за говядиной, так отдаст. А теперь мелких, мол, у ней нет. Как разменяет, так сейчас, скажи, и занесет. Либо ему отдам, либо жене, в случае, ежели его дома не будет. Поди же, поди поскорее! Ты у меня умник...

Я, действительно, был умником, но в тысячу тысяч раз мне было бы лучше, если бы я уродился дураком, потому что в последнем случае я не мог бы оценить всей глубины тех мук, с которыми сопрягалось раздобывание у столяра *корзиночки щепочек*, как об этом жалостно выражалась мать.

Не далее вчерашнего дня я видел, как столяр, высокий человек, кудреватый, с ремнем, опоясывавшим его голову, чтобы не рассыпались волосы, в пестрядинной рубахе и в сапожных обрезках, обутых на босую ногу, самым обидным образом издевался над матерью, когда она мимоходом, под шумок самого разлюбезного разговора, наложила у него целый фартук стружек.

Это случилось таким образом.

Были мы с матерью в мелочной лавке. Там она сосчитала и проверила заборную книжку, потом принялась рассказывать лавочнику сон, виденный ею будто бы в прошедшую пятницу.

— Ведь что только может присниться человеку, Макар Иваныч, — страсть! — удивлялась она. — Сижу я будто в хоромах у папеньки и плету кружева...

— Так! Так! — ни к селу ни к городу скороговоркой поддакнул лавочник, потирая руки и подозрительно, исподлобья, поглядывая на мать, как бы сомневаясь в возможности рассказываемого сновидения.

— Плету я, сударь ты мой, кружева, и вдруг, то-есть, будто голубь в горницу и влети. Сизенький такой голубок, ласковый, ходит поблизости и воркует. Покружимши так-то, принялся носиком своим меня целовать, а потом на человеческом языке и говорит мне...

— Вот так-то! — удивлялся лавочник, не переставая ежиться и потирать руки, как будто необыкновенная фантастичность материного сна заморозила полярным морозом все его жирное существо.

— И говорит мне, — все тягучее и тягучее продолжала мать, — и говорит мне этот самый голубь: «Ступай, воркует, женщина, к Троеручице молебен служить, потому тебе в этой жизни назначено испытать три счастья»...

— Б-боже ты мой! — качая головою, позавидовал лавочник благам, обещанным голубем. — Ну, и что же он еще с вами, сударыня, разговаривал?

— Больше ничего! Один только намек дал — обиняком, значит. Тут же и улетел.

В глубоком удивлении Макар Иванович ожидал продолжения рассказа.

Мать не заставила его долго ждать.

— Только встаю я вчерашнего числа поутру, глядь: стучится кто-то. Отперла дверь, вижу: эдакий ли лакеище разодетый в дверь лезет. Весь в золотых позументах, в шляпе, шуба на

самом на дорогом меху, баки совсем шелковые — духами от них так и разит. Отдамши мне поклон, говорит: «Я, говорит, прислан к вам от его превосходительства, генерала Коноплянникова». Я так и ахнула! Генерал-то мою Шашеньку крестил, когда муж на службе у него находился. «Наслышамшись генерал о вашей бедности, — доложил мне лакей, — отдал приказ: быть вам у него на будущей неделе в пятницу вместе с супругом, — они вам вечную пенсию назначают по десяти рублей в месяц». Господи! — подумала я. — Вот он, голубь-то, к чему объявлялся, и ведь все в пятницу. И голубь явился в пятницу, и генерал приказал в этот же день приходить...

Такое странное совпадение совершившихся событий повергло Макара Ивановича в немалое удивление, так что он не раз принимался креститься, благоговейно произнося при этом:

— Чудны дела твои, господи! Это вам за простоту вашу создатель такое знамение послал, потому как вы хоша и имели в себе благородные чины, но со всяким вы, даже с самым простым человеком разговор по душе ведете — не брезгаете.

Высказанное лавочником убеждение оказалось как нельзя более сходным с убеждениями матери. Она назвала его слова золотой правдой и сейчас же подкрепила их примером из своей прошедшей жизни, который как нельзя более доказательно подтверждал, что господь бог всегда взыскивает хорошего человека за его простоту.

— Он, Макар Иваныч, — проповедывала мать, — хороший-то ежели человек, как скоро и обеднеет, ты на это не смотри...

— Зачем смотреть?— с большою готовностью поддавался этому резону Макар Иванович.

— Он непременно поправится. Так-то!

— Ка-а-нешна! Чайку, сударыня, не прикажете ли? Я это на морозце-то гложу, гложу его. Кушайте-ко-сь!

— Да мы, признаться, пили уже, — отказывалась мать от предлагаемого чая, — а ты мне вот, Макар Иваныч, товарцу отпусти рублика на полтора, на два...

— Не могу-с! — с крайним сожалением отозвался лавочник. — Видит бог-с...

— Да ведь до пятницы только... Как получу от генерала, сейчас...

Лавочник приложил одну руку к сердцу, другою снял шапку и, глядя на образ, пред которым теплилась лампадка, убедительно проговорил:

— Его всевидящее око!.. Н-ни м-могу-с...

— Да ты будет божиться-то!

— Платежи-с самим-с. Будьте без сумления-с.

— Макар Иваныч! (в голосе матери послышались дрожащие слезливые ноты). Или я тебе не отдавала? Ведь всегда верно расплачивалась.

— Так точно-с... Обжаловать не могу-с! Но не могу-с. Такая прорва денег самим нужна, — не приведи царь небесный...

Лавочник даже зажмурился, как будто ужасаясь нужной ему прорвы денег. Наставало молчание, во время которого я собственно де-

лал два дела: во-первых, страшно злился на лавочника и давал себе клятвенное обещание порядком поприжать его, когда выросту большой и буду знатным чиновником с орденами во всю грудь, и, во-вторых, старался припомнить, когда это именно был у нас в доме лакей, по рассказам матери, разодетый в самую дорогую шубу и снабженный шелковыми баками, от которых так и разило духами?..

Пауза эта прерывалась вопросом матери:

— Ну, я тебе, Макар Иваныч, одеяло шелковое под заклад пришлю. Можно?

— Ветхи они очень! — отрезонивал лавочник. — Плохие цены на такие вещи по нонешним временам состоят-с...

— Ну, подушки. Ты знаешь, у меня подушки хорошие...

— Это можно-с! Подушки у вас точно что хороши-с... Под подушки я вам отпущу-с... Делать нечего-с... Соседи-с... Сам отсрочки попрошу, а вам услужу-с...

— Иуда! Ирод! — шептала мать по выходе из лавки.

И вот, во время такого протеста матери против жизни, эта жизнь подставляла ей другую утреннюю встречу, горшую первой.

Угрюмо насупив брови и сверкая пожелтелыми, мускулистыми руками, сосед наш столяр страшно тиранил на верстаке доску визжащим от ярости настругом. И вот, под глубокие поклоны и ласковые заговариванья, мать накладывает к себе в фартук, как будто это между добрыми знакомыми ничего не значит, целые горы щепок, всячески уминая их, чтобы они не

топырщились, и в то же время с самой приятной улыбкой объясняя столяру, «что это за прелесть дочка у него, что это за детище милое».

— Моя перед ней, — за щепки жертвовала гласно своими фамильными доблестями бедная мать, — ну, моя перед ней пас! Прямо скажу, что пас! Вот, ты и возьми поди, благородное дитя, а пас!

Столяр продолжал молчаливо стругать, а наструг его продолжал яростно визжать...

Мать в свою очередь продолжала:

— Ну-ко-сь, я еще щепочек-то у тебя?.. Не изубытчу? А я ей говорю, дочке-то твоей: Аленушка, говорю, пойдешь, говорю, за моего Ваню замуж?.. Он, говорю, благородный!

Все сильнее налегал столяр на станок, слушая эти разговоры, отчего его наструг визжал все яростнее и яростнее.

— Я тебе, голубчик, за прежние три корзинки щепок скоро принесу... У меня третьего дня генеральский лакей был... Поклон от барина мужу принес... Служили вместе...

— Да высыпь же ты щепки-то мне! — заорал наконец столяр. — Эку гору навалила! И ничем-то на вас этих самых щепок не наготовишься... Давал, давал... Все мало! О, господи боже!..

Говоря это, столяр в полном отчаянии бросил наструг в снег вместе с ремнем, опоясывавшим голову.

— Что же? Аль не поверишь? — испуганно, но все же ласково, спрашивала мать. — Рази я тебе не плачу?

— Высыпь! Нечево тут... Подводы придут сичас под щепки... Они у меня на подряд отданы...

— Вот скот-то необузданный!—дошептывала мать, входя в свою мрачную, всю насквозь прохваченную морозною сыростью кухню.

— Что бельмы-то лупишь? — обращалась она уже ко мне. — Топи печь-то!.. Вы с отцом-то, небойсь, молодцы бока-то себе отлеживать... Вас только на это и взять...

Затем стремглав удалялась в следующую комнату, из которой до меня, решительно не понимавшего ни того, за что она на меня сердилась, ни того, как и чем я буду топить печь, доносился стариковский голос отца, протяжно и благодушно рассказывавший сестре:

— Они нас, милая Сашенька, янычары-то эти проклятые, саблями принялись рубить, а мы их штыками колоть... Колотились, колотились так-то, и видят они, что не совладеть им с нами, тут же взвопили: дайте, говорят, нам пардону поскорее, господа солдаты белого царя... Мы им сейчас и дали...

— Дали? — удивленно и живо спрашивает сестренка, а затем вдруг, почти что с плачем и без малейшей остановки, делает другой вопрос: — Папенька! Что же чай-то, скоро?..

— Чай? — переспрашивает отец тоном, главная характерная нота которого звучала необыкновенным презрением к чаю.

«Уд-дивительно! — капризно звенела эта нота. — Посмотрим, как это чай не скоро будет? Для дочки-то?.. Для Сашеньки-то?»

Вместе с ноткой в кухню долетали глубоколюбящие поцелуи, и затем уже раздавался ласковый, одобряющий голос отца:

— Сичас, сичас, милая, чай будет! Вот как только мама придет, сичас мы с тобой самовар так распалим... Небойсь, он у нас зазвонит!.. Ха, ха, ха, х-ха!..

— Ха! ха! ха! — отзывался на этот смех веселый детский голосок.—Он зазвонит, папка, а? Как мама придет?..

— Как мама... — протяжно и уверенно подтверждал отец. — Как мама придет, сейчас и зазвонит... Он у нас, небойсь... Ха, ха, х-ха!..

— Звонит! Вот он тебе зазвонит! — нарушала наконец мать эту семейную идиллию. — Нет, уж маме-то все уши прозвонили... Вон и столяр, вон и лавочник... Так-то отзвонили! Нет уж, ступай сам теперь доставай! Мама устала, у мамы-то силы нет!

Испуганный первым напором этой бури, отец старается отстранить от своей головы ее дальнейшие налеты кроткими разговорами. Слышалось в них какое-то тихое, но горькое недоумение, старавшееся разрешить: зачем же это на меня-то все рушится? Почему же именно все это в мою голову бьет?

Долго нужно было бесить отца, чтобы подобные вопросы, мучительно роившиеся в его голове, наконец приняли определенную форму и выразились хотя в той безнадежной пословице, которую русский человек, поникнув головой, говорит: н-ну! на грешного Макара все шишки летят! Ничего, значит, не поделать!..

Но и этой пословицы не сказал отец, при всем том, что мать продолжала с скороговоркою и треском барабанной дроби:

— Вдруг,—рокотала она,—благородная дама... И вдруг лавочник... Всякую мерзость... На каких-нибудь полтора, два целковых... А все отчего?.. Все от мужа-лежебока... Тут столяр этот... Нет уж, как хотите... Мама-то, слава богу, пострадала...

— Да, известно, что благородная дама! — успокоивал ее отец. — Коне-ешно! Да что ты волнуешься-то? Стоит ли с ними разговаривать-то! Вот пойду сейчас и принесу всего... Есть о чем?.. Туда ж-же!.. Всякая борода! Еще выругаю... Нет! Со мной ему плохо... Это не то, что с дамой...

Неизвестно, как именно поступал отец с лавочником, чтобы показать ему свое различие от дамы, но только обыкновенно случалось так, что по прошествии некоторого времени он возвращался домой, обремененный корзинкой со щепками, корзинкой с углями, бумажными мешочками и сверточками, искусно натыканными в карманы, уложенными подмышку, придерживаемыми локтями и т. д.

— Ну, вот и готово! Вот тебе и все! — говорил отец тоном победителя, суетливо складывая с себя свой разнообразный и многочисленный груз. — А то ссориться с ними еще нужно?.. Ка-ак же! Стану я со всяким связываться! Растолковал ему как следует: ты, мол, брат, не очень-то с благородным человеком... Вас, мол, за это весьма и весьма не одобряют!.. Вот тебе и все!..

Мать с большим или меньшим умилением принималась разгружать отца, а вместе с тем умилялось как бы и утро наше, лицо которого до того времени было разрисовано какими-то особенно сердитыми и сероватыми тенями.

От густого самоварного пара оттаивали наши окна, давая таким образом солнечным лучам полную возможность сначала упасть на горшок с унылой геранью, а потом двумя косыми, сияющими линиями озолотить наш грязный пол. Герань получала в это время какую-то совершенно непривычную ей свежесть, которая до того выходила из пределов ее повседневной жизни, что сестренка обыкновенно в такие моменты выскакивала из-за стола, подбегала к озаренному солнцем цветку, принималась щупать его, гладить, смеяться и спрашивать:

— Что это он вдруг веселый такой сделался? Мама! Что это он зеленый такой стал, смеется будто? Ваня! — энергично указывала она мне. — Поди, посмотри.

Я подходил и видел, что герань, действительно, снабжена всеми теми неимоверно разнообразными и нежно ласкающими зрение красками, какими вообще в глазах многих людей очеркнуты дни торжественных праздников...

Поэтому я точно так же, как и сестренка, начинал изучать цветок, гладить, схватывал ножницы, которыми обстригал его пожелтелые, увядшие листья, и мне тоже, как и сестре, хотелось смеяться в это время, но я не смеялся, потому что привык уже не верить в продолжительность наших семейных радостей. Солнеч-

ный луч, знал я, скоро скроется, герань без него опять завянет, мать заругается, а отец сердито примется чадить своим дунаевским и молчаливо шагать по комнате.

Знал я все это — и не смеялся. С нагнутой, всеми мерами старавшейся не показать своей радости, головой я приветствовал расцветание нашего цветка. Вместе с сестрой я наклонялся к его листьям; мои черные, жесткие и кудлатые волосы смешивались с ее мягкими желтоватыми кудрями; одна щека, белее молока, прикасалась к другой, загорелой и грубой...

Смотря на это, родители пили чай, благодушно погромыхивая в чашках оловянными ложечками, и потихоньку шептались.

— Нет! Какова у нас Шаша-то?.. — шептала мать. — Эдакой умницы!..

— Да што? — улыбался отец такой широкой, нескрываемой улыбкой, которая обязывала его непременно вынуть чубук изо рта. — Уж я всегда про нее эдак-то думаю. Теперь вот в школу ее поскорее! Чудо будет девка!

— То-то в школу! Мы это вот уже который год разговариваем про школу-то, — с некоторой укоризной, а больше, впрочем, с одобряющей снисходительностью отвечала мать. — Все это мы толкуем, толкуем, а девчонка растет да растет.

— Что же делать-то, матушка? Вот поправимся, бог даст... Его святая воля над нами...

Очевидно было, что мать плохо верила в возможность скорой поправки фамильных обстоятельств, но все-таки это безверие если и нарушало ее тихое расположение духа, то в самой

незначительной степени, потому что самовар позванивал так весело и успокоительно, отец был так уступчив и ласков, а мы, ребятишки, с таким дружелюбием занимались своею геранью...

Вследствие всего этого идиллия продолжалась, и мать раскисала все больше и больше. Отец, в свою очередь, при виде этих уступок, с каждой секундой становился все более и более похожим на доброжелательного главу семейства, мирно проводящего свое утреннее до-рабочее время в кругу домочадцев. С искусством первосортного дипломата парировал он удары, которые по временам наносила ему мать с целью подтрунить немного над его хозяйскою самостоятельностью.

— Эх, — говорила мать. — Посмотри: набрал ты в лавке чересчур много. Нам ежели, бедным людям, делать такие заборы, так оно и не по состоянию выйдет, пожалуй!..

— Ну, уж будто и не по состоянию!.. — с таким спокойствием возражал отец, как будто материны сомнения относительно незначительности его состояния не стоили ни малейшего опровержения. — Все бог!.. Вот справимся немного!..

— Слышала я уж это — справимся-то! Не удивишь! — кропотала мать, роясь в многоразличных свертках, принесенных отцом из лавочки. — Ты вот из лавочки-то экую кипу пустяков натащил, а вермишели — и нет.

— И вермишели сичас принесу. Я ему — Макару этому — прямо сказал... Не-е-т, меня, брат, не очень-то...

— Принесешь? — протяжно сомневалась мать. — Жди! Небойсь, и этот-то товар насилу выклянчил...

Конец этой рацеи отец выслушал уже за дверью, в которую он стремительно рванулся, успевши натянуть на одну руку свой истрепанный тулупчик...

Наша герань начинала блекнуть, потому что солнце уже только одним, необыкновенно насмешливо прищуренным, глазком глядело в нашу комнату и, как будто, издеваясь над нами, говорило:

«Чай весь теперь они выпили, булки съели, уйду-ка я от них... Пусть их беснуются...»

Посмеиваясь таким образом над нашею бедностью, светлое солнце уходило от нас, а на место его возвращался мрачный отец. На его лбу и висках бились кровавые, до самой сильной степени напряженные, жилы; по лицу выступали крупные капли пота, в роде тех, какие проступают на лицах людей, утружденных самыми непосильными работами.

— Ну, вот тебе и вермишель! — гремел он каким-то решительно несвойственным ему голосом, бросая на кухонную лавку бумажный мешочек с названным продуктом. — Бер-ри свой вер-рмишель! — кричал отец, раскатывая букву «р» и громко топая ногами.

— А? — вскрикивала мать. — Ты уж ломанул?..

— Ломанул! — соглашался отец с удальством, сопровождаемым каким-то полоумным смехом.— Тут, брат, ломанешь!.. Ха, ха, ха! Ло-о-манне-ешь!

Тут начиналась какая-то бурная история, проделывавшаяся до того бунтующе и быстро, что мне даже и в настоящее время трудно рассказать с надлежащей точностью о ее неистовых и порывистых переходах, тем более, что буря эта до того сокрушала мою и сестрину головенки, что мы обыкновенно во время таких вихрей старались спрятаться в подушки материной постели и зажимали пальцами уши...

Отец выхватывал нас из постели, ставил на ноги, целовал в распухшие от слез глаза и с прежним, идиотическим смехом орал:

— Шаша! Ваня! Чево вы этой дуры боитесь? Рази вы думаете, что папка за вас против этой ведьмы не вступится? Не-ет! Папка-то ваш, ежели бы она ему не подвернулась... Папка-то ваш без нее молодец был бы! Попьем-ка вот водочки вместе. С папкой-то! Папка-то вас любит.

Ободренные этим голосом, мы отирали наши слезы и видели, что отец, с красным лицом и выпученными глазами, храбро стоит посреди комнаты с полштофом в одной руке и с рюмкой в другой. Мать показывает ему из кухни обезображенное злостью лицо, с оскаленными зубами; в руке у нее кочерга, и держится эта кочерга с такою энергичной ловкостью, с какою опытный фехтмейстер держит в руке шпагу, готовясь на все случайности, какие могут выйти из борьбы с страшно озлобленным, но неискусным противником.

Нас страшно пугали эти драматические лица; мы порывались снова убежать на постель и скрыться в подушках. Отец останавливал нас и, наливая водку в рюмку, кричал:

— Пейте! Ничего! Не бойтесь этой дурищи! У меня вот закусочка в кармане, деточки... Рыбка солененькая! Кушайте, голубчики мои!

Говоря это, он плакал и угощал нас. Тон его голоса был до того жалостен, что мы, в видах сделать ему удовольствие, хотя и морщились, но пили водку и закусывали какой-то тухлою, желтоватою рыбою, которую отец вынимал из кармана.

— Не сметь эту гадость жрать! — кричала на нас мать.

— Не сметь? — смеялся отец, колыхая рюмку за рюмкой. — Поди-ка вот, запрети. Это вот за твое здоровье!.. Ха, ха, ха!.. Иди — запрещай!

С каждым новым возгласом сцена эта делалась крикливее и крикливее. Отец припоминал почему-то 1811 год, когда их полк стоял в каком-то проклятом, по его словам, селе Закоуловке, где дьяволы познакомили его с этой злодейкой-мучительницей; а злодейка-мучительница, в свою очередь, страшно проклинала тот же 1811 год, который и ее наградил тираном и извергом.

— И как только эта адская сила ухитрилась столкнуть меня с этим идолом, — недоумевала мать. — Ведь слава только, что офицер назывался; а то ведь ни кожи, ни рожи.

— А поручик Пестряков, — с злобной иронией хохотал отец, — лучше был меня? А? Ха, ха, ха!

— А кухарка Малашка, — таким же смехом вторила мать, — которая у тетеньки Марфы Ивановны жила... Она какова? Иль забыл?..

— Что мне забывать-то? Известно, шкура была, и тетка-то твоя — шкура, и мать, и бабка, и отец. А отец-то совсем мошенник! Все добрые люди об нем так понимают. Ну, как же он не мошенник, пузатый чорт? Обещал приданого мне за тобой пять тысяч на ассигнации, а дал только двести рублей, мундирную пару да старую телегу с издохлою лошадью.

— Не смей ругать тятеньку, расподлец ты этакой! Не смей! Всю тебе сейчас харю твою паскудную в клочки изорву...

— Тронь! — орал отец. — Тр-ронь!

Началась рукопашная буйная свалка, сопровождаемая громыханьем стульев, швыряньем посуды и звонкими криками со стороны матери кр-раул-л...

Бесчисленное количество наших бедных и, следовательно, более или менее праздных соседей сбегалось на этот шум. Драка вследствие вмешательства в нее различных личностей, то скорбевших над таким несчастным житьем, то глубоко осмеивавших его, прекращалась, и мать, с окровавленным лицом и растрепанными волосами, стремительно убегала в квартал, с тою целью, как она не то с плачем, не то с злостью говорила, чтоб сейчас же просить начальство о немедленном отправлении в Сибирь *этого злодея...*

Соседи, расходясь по домам и утаскивая из этого гвалта меня и сестренку в свои более или менее тихие приюты, разговаривали:

— Экие старые черти! прости господи, как сцепились, — добро бы молоденькие!.. Вот уж другой год так-то барахтаются... Ребятишек-то

перепугали до смерти... Ребятишки-то у них словно полоумные стали какие...

— Ополоумеешь при этакой жисти, — продолжался разговор. — Нет, она, бедность-то, — не-ббойсь!.. У нее, брат, заговор-ришь!

Все голоса толпы перебивал голос нашего смирного отца, теперь буйно, на весь двор, кричавший в фортку:

— А, подлецы! Вы у бла-ородного человека детей отбивать! Нет, я вам не п-паз-волю. Благородный человек сам понимает, как и что... Завтра же на ваше буянство донос подам господину генерал-губернатору... Меня, может, какие высокоименитые господа любят.

Со двора видно было, как он в полном беспамятстве сваливался с окна на пол либо на диван, населенный клопами.

Пришедши в соседнюю квартиру, мы с сестрой угрюмо усаживались в какой-нибудь уголок, молча и без малейшей признательности выслушивали многочисленные сожаления добрых людей о дурости нашего отца и матери, и молодые груди наши так и разрывались от скопившихся в них рыданий о том, что «что же это папка делает? Где теперь мама, и зачем нас взяли из дома и привели сюда?..»

1869

МОСКОВСКИЕ УЛИЧНЫЕ КАРТИНЫ

I

ВИДЫ ДЕВСТВЕННОЙ УЛИЦЫ И МЫСЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТИ ВИДЫ НАВОДИТЬ СПОСОБНЫ

Шли ухабистые тротуары с деревянными, но художнически выкрашенными под чугун тумбами. У тумб сидели малолетние, но тем не менее серьезные мальчики и девочки в несказанных отрепьях. Иной раз попадался мальчуган, красный такой, пухлый, в девичьей измятой шляпке; а иной раз резвость веселенькой черноглазой девочки обуздывал надетый на нее длинный отцовский сюртук, с красным воротником, с гербовыми облезлыми пуговицами. Разбежится, разбежится так-то нечесаная и немытая смуглянка, всплеснет маленькими ручками, и щеки, окрашенные ярким румянцем, появившимся вследствие вдруг приспевшего откуда-то желанья побежать куда-то, посмеяться чему-то, опять бледнели. Появились на этих щеках и прежнее недовольство чем-то, и прежние слезы о чем-то, потому что форменный сюртук спутывал своими фалдами неусидчивые ноги, — спутывал и сваливал их на горячий песок, на вспотевшую и густо напудренную белой пылью траву.

— Ну-у-у! — сердито вскрикивает мундирница, медленно поднимаясь и утирая грязным

кулаком светлые глазки. — Всегда упадешь, — селтук тоже мамка надела... Сказала: он дологой — селтук-то. Пожалуй, говолит, подоложе булнуша будет...

Барыня какая-то шла. Впереди ее резвилось, по крайности, шесть или семь ребятишек, расфранченных и в соломенные шляпочки, и в бархатные поддевочки. Одна барышня, лишь только завидела плачущую девочку, сейчас же, соблюдая строжайшую тайну, отстала потихоньку от матери, и боком как-то подмаршировала к героине девственной улицы на своих голенастых кружевных ножках и тихонько шепнула ей:

— О чем ты плачешь? Или урока не выучила?

Мундирница вскинула на гостью свои большие черные глаза — и закипела: огнем уже, а не румянцем загорелись ее щеки, замигали глазки, затряслись руки, и вот зверенком вскакивает она с тротуара, сдергивает с барышни соломенную гарибальдийку и летит домой с громким криком:

— Мама! Мама! сплячь сколее в сундук. Я у балыни шляпку уклала — не сказывай...

Отрепанная мать смеется, принимая от дочери шляпку, а ребенок еще пуще раздражается этим смехом и, вспоминая, как отец относится к матери в пьяном виде, со злостью картавит:

— Да чему ты ржешь-то, кобыла ногайская? Прячь скорее, — видишь, вон сама барыня идет. Прячь!

И действительно в калитку входила барыня со всей своей разубранной стаей.

— Ах, скверная девчонка какая! — с глубокою укоризною закричала она на злившуюся

мундирницу. — Как же это ты смеешь? Да разве это можно?

— Извините-с! — политично отговаривалась мать, вручая спорную шляпку. — Глупа ведь, мала еще. Понятиев эфтих, настоящих штобы, совсем нет... Рук-то к ней, сударыня, некогда мне как следует приложить...

Сбежавшиеся на шум соседи, поглядывая на маленькую разбойницу, предполагали:

— Вот подлец девка-то будет, братцы мои!

Прошла барыня, пошумливая туго накрахмаленным платьем — и спешная, никого не ждущая работа разогнала наконец всю толпу, собравшуюся было около подлеца-девки. Попрежнему одинокою осталась улица с своими ребятишками на страшной полуденной жаре, и снова обожженные этой жарой головки голышей глубокомысленно задумались и с большим интересом принялись рыться в узорчатых песочных зигзагах, неразборчиво исписавших ухабистые тротуары, должно быть, не чем другим, как тайными сказаниями про злую, всепогубляющую нищету...

Пустынная тишина вместе с какою-то мрачной и необыкновенно давившей печалью грозно разъясняли детям девственной улицы их первые жизненные уроки. Неотступно сидело вместе с учениками что-то сердитое и басом говорило им:

«Привыкай, привыкай ко всему! Ты от меня теперь не вырвешься...»

И всякий мог заранее спророчествовать, что те ребятенки, которые прислушивались к этим пугающим задумчивого человека голосам июльской жары, ко всему до того привыкнут, что

у них и помышления не будет насчет того, чтобы вырваться...

Всякий видел, что все эти теперь грациозно смеющиеся и глубоко задумавшиеся головки, когда вырастут, будут жить в подвалах своей улицы, которые сокрушат их, — из убивающей грязи этих подвалов будут выходить они лишь только в свои *кредитные* кабаки, — и лишь только там, у этих пузатых бочек с медными, окрашенными зеленою ярью кранами, погибнут они, потому что куда же им дальше наследства отцов — *старого кредита?*

«Новый-то кредит, — сердито толкует девственная улица, — надо полагать, чорт вместо нас наживет...»

Печаль самая полная и отчаяние самое безнадежное лежали также и на уличных домах... Растрепанные и сиротливые, они, видимо, с каждой минутой все глубже и глубже уходили в землю. Временами во всем в этом деревянном гнилье, из которого были построены дома, примечались будто какие-то пугливые вздрагивания, необыкновенно похожие на вздрагивания того человека, который ожидает последнего, доканывающего удара.

«Ох бы уж поскорее! Ох, не томил хошь бы!» — стоном стонали домишки, дрожа в неизъяснимом страхе и суетливо стараясь укрыться...

«Во-о-т я вас!» — буйно и насмешливо шумит в ответ какая-то тайная сила, пролетая вместе с всеопалявшей жарой по улице на таких широких крыльях, которые всю ее сразу обхватывали собой.

«Эх ты, слабость! Поделом достается тебе!» — издевалась эта сила и по дороге, ради шутки, пощелкивала своими крыльями затылки ребятишек, жарившихся на улице, отчего ребятки вздрагивали, а те из них, какие поменьше были, принимались плакать, а дома еще жалобнее взвывали.

«Смейся над нами-то, смейся, сколько хочешь. Нам уж теперь нечего!.. Не поправиться... Их-то вот, ребятишек-то наших, трогать бы не следовало».

«А, а! Вы про ребятишек?» — загорелась в это время речь самого настоящего полдня, — загорелась она всеми живыми лучевыми снопами, такими красными, рассыпчатыми, и таким наказующим, огненным дождем; лившимся с бездушно-светлого неба, каким оно обыкновенно бывает в жаркие дни. — «Так вы про ребятишечек? Да чем же разнятся от вас ребятишки-то ваши, а? Да разве вы их из-под нас в преисподнюю расти-то отправите, а?» — И, говоря таким образом и точно подсмеиваясь, лучевые снопы беспрерывно лились на мостовую, будто намереваясь вконец завалить ее собою; а мостовая, в свою очередь, отбиваясь от них, принимала их на свои белые булыжники, походившие в эту минуту на оскаленные зубы разозленного пса, и во всей окружающей природе виделась тогда *больному* человеку какая-то злая борьба, в которой все это должно неизбежно погибнуть...

— Н-ну! Тут уж ничего не спасешь. И разговаривать даже не о чем, — говорит больной человек и навсегда замолкает...

Точно так же и жизнь девственной улицы глубоко замолкла в этот грозный полдень и принялась страдательно ожидать чего-то неизбежного и страшного, — ожидать в каком-то молчаливом нытье, наводящем на каждую душу невыносимую тоску.

И таким образом длилась однообразная уличная жизнь не одними полуднями, а всегда: во все дни, месяцы и годы без малейшего перерыва, так что самые веселые головы улицы только изредка могли припоминать о тех давнопрошедших днях, в какие они были и говорливыми, и добрыми, и радостными. По редким праздникам, говорю, припоминаются эти дни, да и то такими сердцами, которые начинают гореть, угрюмо злиться и буйствовать тогда только, когда их обольет пламень кабачного яда...

II

СОЛДАТ ЕФРЕМ ЗУЙ НА ЧАСАХ

И вот такую-то несчастную улицу замыкал собою бравый полицейский солдат. Звали того солдата во всем квартале Фаламошка Зуй, хотя настоящая фамилия его была — Ефрем Подобедов. На нем было надето пальто из такого сукна, которое в военной службе у нижних чинов называется «почитай офицерским», и сшито это пальто тоже на офицерский манер: левое плечо сердито вниз шло, а сзади красовались мелкие плоеные складки.

И вот Ефрем, щеголяя толстой, бронзовой цепочкой от томпаковой часовой луковицы, ходит

по жаре два шага вперед, два шага назад и думает:

— О чем бы мне это таперича задумать, чтобы время скорее шло? — добивается он от себя. — Вот скука-то, — страсть!.. В иных фарталах хорошо стоять. Саешники тут около тебя, яблошницы, извозчики, квасники, — всякую новость тебе рассказывают, как, то-есть, и что на белом свете делается. Надоело тебе разговаривать, так из них же с какого-нибудь стесал косую — и опять стой себе — горюшка мало! Но только в сих местах не так, потому народ здесь глуп: деньги у него этой редко когда больше гроша бывает. Вот здесь какой народ! Вот ты им и заправляй — оголтелым-то эдаким! Фартальный, когда меня сюда становил, сказал: «Тебе на этом посту хорошо будет, Ефрем, потому у тебя часы есть; следственно, девки эти, — а и много же их в этой улице понасажено, — всего тебя замузычат». Хохочет фартальный, а мне от тех девок какое веселье? Они говорят: «Нам какое дело, что ты часовой? Ежели у нас буйства нет, так ты нам деньги давай, пива станови, водки»...

— И точно, — меняя свою храбрую, франтовитую позу, добавил Ефрем с глубоким вздохом, — они справедливо рассуждают, потому иначе-то как же?.. Тоже ведь и у ей — хоша бы у девки — душа...

Тут левое плечо солдата, с сурьезом приподнятое кверху и делавшее его тем самым похожим на офицера или, по крайней мере, на юнкера, вдруг опустилось гораздо ниже правого, от чего лицо Ефрема вдруг изменило свое удалое выражение. Сморщилось оно как-то, по-

тускнело, опечалилось и даже как будто озлобилось.

— Чорт их урезонит, девок-то, чтобы, то-есть, поняли они, как тут, стоямши, раздумаешься иной раз, — смер-рть! Рази они что могут понять? Ночным делом разнимаешь их, соблюдаешь всячески, а они свое: ты, говорят, к этому присягой обязан.

Все больше и больше одолевала часового скука. Обыкновенно стараясь отстоять свои часы где-нибудь в прохладе, теперь он, как человек безнадежно погибший, отчаянно опустился на камень, лежащий у палисадника углового дома, на самом солнопеке, вытер с лица крупный пот клетчатым платком и грустно взглянул в глаза этому солнцу, что так всеобъемлюще плыло над Москвой и так жарко палило ее.

Неизвестно, что хотел сказать Ефрем Подобедов своим вдруг почему-то смирившимся взглядом на солнце: жаловался ли он его солнечной светлости на хохот квартального, который поставил его, имеющего и «почитай офицерскую» шинель, и томпаковые часы, в глухой и недоходный квартал, — или просил его, чтобы оно в каком-нибудь синем и прохладном море хоть сколько-нибудь посмочило свои горячие лучи, которые, ударяя его, чуть-чуть не офицера Подобедова, по голове, не дают ему думать никакой думы ни о себе самом, ни о фартале, которым ему повелено заправлять неуклонно.

Со стороны всякий подумал бы, что у солдата какое-нибудь большое горе, от которого обыкновенно все люди прячут в ладони сокрушен-

ные головы, — каждый знакомый, увидавши друга своего — Фаламошку Зуя — с головой, поникшей на грудь, с закрытыми глазами и, главное, без форсистого приподнятия левого плеча, непременно удивился бы этому обстоятельству и, подкравшись к благоприятелю сзади, закатил бы ему по *кэпе* в полкулака и сказал:

— Здорово живешь!..

Зуй, в свою очередь, живо бы вскочил от того приветствия и тоже, саданув в спину милого друга, ответил бы ему:

— Што я тебя трогаю, леший? Человек только что было задремал, а он, эва! с кулачиной уж тут!..

Приятель начинает смеяться над этой досадой:

— Да ты что осерчал-то? Рази я как-нибудь неспроста к тебе подошел, али бы с злобой? А я, ей-богу, вижу: сидит Фаламошка Зуй...

— А поди к чертям! — уже в самом деле с большим азартом кричит Подобедов. — Какой я, к дьяволам, Фаламоха и опять же Зуй?..

— Да что ты в самом деле расфарафонился, шут ты эвтакой? — усовещевает приятель. — Али к тебе подъехать-то нужно на шелудивой козе? Зуй, так Зуй, Подобедов, так Подобедов, — рази не все равно? Я к тебе не с тем подходил, а вижу я: Ефремка в горести, на камешке, на самом солнопеке, сидит, — белое лицо в колени упрятал. Вижу я это и думаю: дай-ка, мол, я его попужаю, а тамотка выпьем...

Но, к сожалению, никто из друзей Ефрема не шел в это время по улице и, следственно,

приглашением цопануть от скуки его не заговаривал. Встанет он и пойдет, и скука за ним идет, — сядет, и она с ним вместе, как послушная собака, у ног его усядется и в глаза ему смотрит и спрашивает:

«Ну, теперь ты о чем задумаешь?»

— Нет! Тут, верно, не очень раздумаешься, — полагает Ефрем, и лицо его делается все печальнее и печальнее. Легла на него злая досада, вынудившая у него еще такие крикливые слова:

— Да пойду-ка я на свои трахну! шкальчик али бо пива, ей-богу! Что мне на хижины-то на эти смотреть на убогие? Небойсь, не уйдут! Куда им к дьяволу бежать-то? А пиво ноне четыре копейки. Говорят, указ такой вышел, дороже чтобы ни-ни...

Но несколько солнечных лучей, широких и светлых, как только что отточенные палаши, чесанули в это время Зуя по *кэпе*, потом скользнули по спине, ободрали ее и затем рассыпались по песку и булыжнику мостовой прямо в ноги солдату, откуда, уже сверкая и искрясь, стали дразнить его далеко выпяченными, красновато-дымчатыми языками и, вместе с скукою, спрашивать:

«Ну, о чем ты теперь задумаешь, солдабат? Тоже в кабак итти собираешься. Рази в такую пору пьют? Да ты тут с одного шкалика ноги протянешь. Сиди уж лучше, прей, коли бог убил».

И, послушный этому голосу, опять засел на камень солдат, уткнувши голову в колени. Ехали мимо него мужики от Сухаревой, скакали

лихачи в пролетках, из которых какие-то девичьи голоса кричали попеременно то какую-нибудь забулдыжную песню, то караул; бежали отрепанные сюртуки с большими узлами, за сюртуками стремительно неслись многочисленные и свирепые толпы, из всех грудей кричавшие совести будочника: «Будочник! лови мазуриков-то, — это твое дело»; но будочник ничего не слыхал и не видал, или, по крайней мере, не хотел вступаться ни во что совершающееся, сам обуянный лютым врагом — скукой, все больше и больше подбивавшей его на бесцельное сиденье на горячем камне.

«Сиди, мол, — шептала скука. — Ежели что, в случае чево, избави боже, раздерутся, к примеру, так ведь они все свои. Они тогда сами как-нибудь промеж себя разберутся, потому вступаться не стоит».

Казалось, что даже одеревенел Зуй, сидя на камне. Так ничуть не заметно было хоть каких-нибудь признаков жизни в этой сероватой, неуклюжей массе, съежившейся на углу девственной улицы, как бы с тою целию, чтобы не пропускать в нее, и без того пустую и безжизненную, ничего шумного и человеческого, что громким и непрестанным гулом носилось над другими столичными улицами, населенными более счастливым народом.

Таким образом идет время жаркое, молчаливое и сердито-скучное, — и серая масса тоже отсиживает свои часы у угла, потная от жара, молчаливая и сердито-скучная.

Вот бежит маленькая собачка, — Зуй закопошился. Из неподвижно-мертвого узла, который

он изображал собою, вытянулась длинная нога в здоровенном сапожище. Сапожище этот двинул странницу в бок гвоздистым каблуком, и странница с жалобным визгом покатилась на дорогу. Собачонка была кровным кинго-чарльсом, с черной лоснящейся шерстью, с умными озабоченными глазами; но Ефрем, тем не менее, после того, как гвозданул ее своим сапогом, с длинным и сладким зевком прогозорил про нее такую речь:

— Ишь, гадина, бегает! Визжит тоже... У-ухх! — взвизгнул он потом сам в финале зевка, — и сскк-у-ка же толька!..

Тут Ефрем ухитрился как-то всю свою *кэпю* закрыть правым лацканом пальто — и баста! Опять все замерло в девственной улице!..

Мальчишка какой-то, загнув голову на бок, стремглав несется с украденной у тетки трынкой к палатошнику, чтобы приобресть у него медового маку. Этот пассаж снова призвал к жизни солдата.

— Ты куда? — отрывистым и басовитым голосом человека, поставленного на караул, спрашивает Ефрем малыша, схватывая его за ворот рубашонки.

— А я так, дяденька, — иглать...

— А? — еще басистее пугает Ефрем. — Ты все играть тут мимо бегаешь, а грамоте знаешь?

— Как же, — отвечал ребенок, видя, что дяденька-служивый хочет только немножко поэкзаменовать его скуки ради, а вовсе не тащит в квартал за кражу у отца трынки. — Я все, дяденька, знаю... Тепелича, боголодица, дево, ладуйшя благословенна, — залепетал ребенок

такой скороговоркой, которой обыкновенно дети читают молитвы, когда родители хвастаются их учеными успехами, сидя за полштофом с добрыми друзьями...

— Ну, стой! — скомандовал удовлетворенный Зуй. — Будет с тебя, скажи-ка, кто тебя молитвам и грамоте учил?

— Спиридоныч учил, *пыднамарь*. Он весь псалтиль наизусть знает...

— Знаю, знаю. Драл, небойсь?

— Хлестко драл. Он все нам говорил: аще, говорит, а потом по морде, за волосы тоже...

— Так вас и надо! Ну, бежи, — вот тебе волосянка на дорогу — веселись!

Тут часовой дернул мальчишку за вихры, *откулупнул маслица*[1] на его струпной головенке и опять простонал:

— Вот мы их таперича и карауль!.. Сказка вон по селу рассказывается: караулил, говорит, старый муж жену молодую... Укараулила она его порядком... А-ихма! Говорить-то скушновато будто...

Мальчишка удрал, а Ефрем, оставшись попрежнему один, уснул, — уснувши, сон видел, о котором впоследствии так рассказывал:

— Иду я быдто какой-то стороной, али бы пустынью, длинной, предлинной — и нет в той пустыни ни кола ни двора. Ах, думаю, что я здесь буду делать? Тут я голос услышал: ты, говорит, на часы сюда прислан, потому ты сол-

[1] Откулупнуть маслица — это, так сказать, с немалым и сжатием кулака скользнуть мыщелком большого пальца по голове того человека, с которым хочешь по-дружески пошутить.

дат, — становись! Вздохнул я — и стал на часы. Вижу после: сидит женщина в красном платье, — хорошая женщина, и пьет быдто она водку и говорит мне: подходи, кавалер милай, ко мне без опаски, я теперь оченно ослабела. Я, говорит, при муже при покойнике большой барыней была. Я было с радости к ней. А она в это время рость принялась: головища у ней в небо быдто уперлась, живот в ширь раздался на всю, может, царству, губы толстые сделались, рыхлые и на цельную сажень отвисли. Зашлепала она этими губами своими подлыми, зубами гнилыми защелкала и заорала: ты, салдатик, — гудит она на меня с великой надсмешкой и толстой такою басиной, — от *чисов-то* по бабам пошел? Хорошо! Погоди! Я тебе эти самые *чисы* покажу... Тут я быдто обомлел даже: голова заболела, сам весь затосковал, застыдился — и говорю: ну, барыня, не взышши, мы тут часовые...

— Х-ху ты, боже ты мой! Вот сонн! — восклицали в задымленной махоркою будке зуевы товарищи с таким удивлением, что даже трубки у них вон из усастых губ повыпадали.

— Нне-ет, ты что? — все больше и больше воодушевлялся Ефрем. — Гляди, что дальше пойдет: как только я с ей из-под политики поговорил, она сама, слышь, плакать принялась. Тут воет, тут убивается. Ни на кого, говорит, не имею надежды, потому, спрашивает, што же это такое, кабак везде! Я, обнаковенно, как ежели теперича по уставу: пьяного, говорит, успокой, — сейчас же ее, точно, в спину раза с три кулаком понаметил, а тут вдруг сам фар-

тальный выскочил из какого-то места и на всех нас вообще закричал: «Все вы сволочь! Мы это разберем!..»

— Што хошь, а это нам к жалованью, — растолковывался будочниками товарищеский сон.— Теперича тулупы казенные выдут, али бо энта прибавка-то!.. Хо, хо-о! Поживем, дьявол ее забери!

Но на такую радость добросовестно отозвался некоторый седой хохландец такою речью:

— Готовься, Охрем! — сказал он, выпуская крылатую улыбку из-под длинных рыжих усов. — Дранция тебе беспременно выдти должна — и выдет она тебе, по-моему, на этой неделе. Ты не тужи только.

— А, ей-богу же, ничего худого не будет! — вмешался в общий разговор один черненький, кудрявый солдатик, обрусевший перекрест из жидов.—Помяни мое слово, Фаламошка, это тебе к любови, потому тут женщина была в красном платье. Ежели бы девка, тогда бы еще приятнее было. Те к диву снятся — девки-то, к радости какой ни на есть. Начальника видеть во сне в сердцах — это друга сердцу лобызать, или бы к драке; толстую клюквину в уши класть — в знатном случае находиться. Верно! Это я, когда, в службу определимшись, грамоте учился, так в одной книге прочел и списал для памяти, на всякий случай, потому всякое снится; сбудется ежели, угости, а то, может, на память что-нибудь подаришь?..

— Посмотрим! — меланхолически отвечал Ефрем, закуривая трубку. — А по-моему: так это ни к чему, — все это в нас кровишша одна...

III

ЛЕГЕНДЫ ОДНОГО ДОМА, НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ ЕГО ХОЗЯЕВ И ЖИЛЬЦОВ

Дикий сон, проснившийся Ефрему Подобедову во время его часов, по всей вероятности, был напущен на солдатскую голову шутливым доможилом старого, угрюмого дома, против которого стоял часовой.

Не занимай этот дом самого бойкого места во всей улице, в него нельзя было бы заманить ни одного жильца, потому что все соседство разговаривало об нем самые плохие разговоры. Время его постройки относили к незапамятной древности, *до француза еще*, как говорят вообще по всей Москве, когда говорят о чем-нибудь давнем, а история самой постройки выразилась таким образом:

— Была девка в каком-то селе (губерень тогда, по соседской истории, будто ни одной еще не было), и стала эта девка о чем-то тужить. Тужила, тужила она и, не стерпемши, пришла в Москву и за мастерство взялась. В мастерстве родила она сына, семипалого и кривозубого. В ту же минуту, как только этот сын родился, принялся он чему-то, совсем как бы взрослый, смеяться и пальцами своими вертеть. Девка его тут же прокляла. После она пошла в колдуньи и отреклась от роду и племени на семь годов.

Затем легенда девственной улицы, как будто не довольствуясь своей непроглядною темнотою, сразу, с обрыву, так сказать, заканчивалась такого рода положительным уверением:

— Вот этот-то семипалый и выстроил дом. Мать его в это время, из колдуньев вышедши, уже в черницы постриглась, а проклятья с него не снимала. Только, видючи он, что мать проклятья с него не снимает, пошел в купцы и тоже от роду и племени на четырнадцать годов отрекся. Три заклятья на себя положил, и от того от самого принялся дрожать всем корпусом, потому было очень ужасно...

Мастеровому населению, которое копошилось во всех щелях дома, никогда не надоедало слушать домашнюю историю. Все эти смиренные, сердитые сапожники в одних белых рубахах и засмоленных фартуках, разбитные портные в немецких сюртуках с талиями немного повыше подколенок, седые, с красными лицами солдаты, мастеровые мальчонки, почему-то непременно белокурые и кудрявые, чумазые девочки от различных мадамов, — все это после ужина высыпало к воротам дома, и самая большая группа неизбежно сосредоточивалась там, где рассказывалась темная история темного и старого жилища.

Веселый смех играющих малолетков, звонко разносившийся по темной улице, мало-по-малу прекращался и, наконец, испуганно замирал совсем у приворотной лавочки. Седой старик, лысый, болезненно сгорбившийся, сидит на этой лавочке, окруженный любопытными слушателями, и говорит:

— Иду я так-то задумамшись на́ улице, — праздничным вечером у ворот долго засиделся, — иду и знаю, что нет теперь в хоромах народу. Думаю так-то, а *он*, соколы, свесился с потолка, выпучил на меня глазищи красные

и, словно бы буря полночная, дунул мне прямо в лицо: ххудду! Дунул так-то и зубы ощерил, белые-разбелые зубы, и ровно бы огонек у него изо рта эдакой вьется летучий — и опять разнес: ххо-у-дду! — протяжно и жалобно разнес в последний раз и скрылся; тогда по всему чердаку глухой стук какой-то пошел, и весь дом закачался.

В это время старик собственными своими помертвелыми губами представил, сколь протяжно и жалостливо было протяжное: ххо-удду; потом, вставши на ноги, он изобразил, как боязно затрясся старый дом под тяжелой походкой своего полночного хозяина.

— Страсть как, детушки, в видения в эфти, — уныло продолжал старик, — страсть как сердце пужается и трясется. Только я и тогда уже был старый старичок, — значит, чего мне, думаю, бояться? Ни детушек у меня, ни роденьки с роду моего не было... Поправился я, — сейчас же перекрестился и сказал: твори, мол, господи, волю свою! — и на другой же день ослеп. Кошку мне пьяный хозяин в ту же самую ночь на лицо, для ради шутки, бросил. Она это, испужамшись, царапать меня принялась; хозяин, известно, человек пьяный, опять же в потемках, стоит и разговаривает: тебе, говорит, все равно умирать-то... Однако я тоже без глаз-то... скорблю... скучно без глазушек-то...

— Как, поди, не скучно! — тихим, жалостливым тоном. соглашаются слушатели.

Ребятки, до этого рассказа весело и безбоязненно прятавшиеся друг от дружки по самым темным углам двора, теперь робко жмутся

к большим, потому что глаза их видят, как по всему тихому небу разлились волны подвижных огоньков, необыкновенно похожих, по рассказу деда, на тот язык, которым доможил дразнил его с темного потолка. Маленькие те огоньки, тонкие и остроконечные; волнуются они и кишат в ночной темноте до того ослепительно-ярко, что глазам больно смотреть на них. Жмурятся ребятишки и потупляют головы в землю, чтобы не видеть этого пугающего дива, а потом, когда детское любопытство превозмогало детские страхи, молодые головки снова стремительно опрокидывались к нему, — а там уже, вместо светлого моря живых огней, медленно переливалось другое море больших-пребольших глаз, тусклых, как олово.

Смотрят на детей эти глаза страшно, как мертвец, выпучившись; а по их стеклянным белкам, точь-в-точь как у рассказчика-старика, идут застывшие слезы.

— Дяденька! Я боюсь, — слышится со двора из какой-нибудь застрехи плаксивый и дрожащий голос ребенка.

— Чи-и-во? — с досадой отвечал другой голос, басовитый и сонный.

— Дедушки Якова глаза по небу летают, сами плачут, а на них огни...

— Дуб-бина! Спи уж лучше. Вот чертенок навязался на мою шею.

И затем опять тянулась история мрачного дома, наводящего тоску и уныние не только на людей, но и на самую улицу.

— Перед прошлой рекрутчиной то же было. Являлся не однажды...

— И вправду являлся, потому сколько тогда мастерских со всем своим делом навек порешились. Все гнездо, почитай, здешнее разорилось в те поры и расползлось.

— А перед этим-то, как Исаевой дочери-то пропасть, — помнишь, как он по двору шастал и выл. Руки над головою так-то вздымет-вздымет, — страсть! Лохматые руки-то. Не одни мы видели.

— Ну, на этот счет помолчи, потому тут слухи разные ходят; говорят, что аки бы тут нашего же брата подкупали; чтобы страху отцу задать. Не ищи, дескать, девки, а то и тебе худо будет. Тут быдто насчет лагеря что-то рассказывают...

— Что насчет лагеря? А как ей объявиться-то, кто по двору расхаживал веселый такой, с свистом, с плясом?.. В скорости после этого случая у Елисевны ее нашли, в Соболях...

— Ну, это дело не нашего ума, — знаменательно закончил кто-то, и история про оплаканную доможилом гибель Исаевой дочери заменилась другой историей, в другом приворотном кружке.

Говорит приятелю молодое лицо какого-то сапожника, смуглое и видимо изможденное тяжким и долгим страданьем. Помахивая красивою, но всклокоченной головою, он плавно разводит своими изрубцованными смоляной дратвой руками и уныло толкует товарищам:

— Как меня мучит эта жара, — беда! какую уже вот ночь глаз сомкнуть не могу, потом приставляются тебе разные чудищи и мучат! Только что закроешь глаза, сейчас тебе пол-

ночь стон в уши пустит, протяжный и жалостливый: Антипушка, говорит, все это неправда. Они, говорит, меня для своей злой потехи сгубили...

— Ах, милый ты есть человек! — внушительно и с полным желанием добра относится к этой жалобе собеседник сапожника. — Что ты этим девкам веришь? Да я, живучи в этой самой Москве, столь много их перезнал и столь у меня на их счет пониманье большое... По любви только по моей к тебе сказываю: ты им ни в едином слове на маковую росинку не верь, потому они на гибель-то на энту очень может плачучи и с большим дрожанием в сердце, а все же по своему собственному расположению ходят... Так-то!

— Нет, это зачем же такие слова разговаривать? — не поверил сапожник. — Мне ей не поверить никак невозможно, потому она по четырнадцатому годку из деревни пришла. (А в деревнях-то у нас, чтобы, то-есть, насчет врак, — малость, ей-богу!) Пришодчи она прямо в наш дом, сюды; а мы уж с тятенькой и с маменькой года три всей семьей проживали здесь. Слышу, ребятишки мне сказывают однажды: из вашего, говорят, села, Антип, одна девчонка пришла, к мадаме к шляпкам определилась. За ее, смеются, господа какие-то сразу мадаме-то сто серебром надавали, — с первого разу, — значит, девка, а не картофельная похлебка. Заныло так-то во мне сердце, ровно бы предчувствие мне какое али бы што... то-есть, это я так задумал тогда: ах, мол, девку-то, односелку нашу-то загубят они, потому к порядкам к этим к москов-

ским и сам привык и на стороне, признаться, даже очинно довольно много видал. Выхожу на двор летним вечером, и мальчишки мастеровые и девчонки все повысыпамши. Спрашиваю: какая, мол, такая из нашего села девчонка на мастерство пришла? А она подошла ко мне, высокая такая, вижу, что очень добра, потому косы у ей... брови опять... лицо, надобно так сказать, с большим румянцем, лучше быть невозможно, — подошла ко мне и, как знамши нас прежде, говорит против моей политики в улику, что-де какая я же девчонка, Антип Петрович? У нас, говорит, по деревням, так и то девиц в мой рост по имени и отчеству называют; не знаем, — все больше подсмеивается, — как у вас в Москве господа кавалеры про такие дела понимают. Поклонилась — ушла. Вижу я, девка резвая — застыдился... А впрочем, в первый же вечер потолковали мы по душе и после того года, чай, с два, может, втихомолку с нею любились... Отец мой узнал, говорит: подрастайте да деньжонок, хоша безделицу, припасите. Тогда оженитесь, с богом. Стала она с того времени к нам в семью, как бы, примером, в свою родную, в гости ходить по праздникам; а приказные ей и говорят (приказные у нас тогда в доме жили, — семь братьев, — эдакие пьяницы и разбойники, — беда!), они ей, узнамши про ее со мной любовь, и говорят: у нас, толкуют, до тебя все модистки, какие к нам в дом поступают, под командой бывали, а ты теперича новую моду показываешь, подлая! Ты с мужиком? Хорошо!.. И тут они подругу одну ее подговорили, а та ей сонного

зелья дала... В больнице после того она скоро скончалась, и смерточки ее видеть мне не пришлось, потому там солдаты эти, с такой суетой и опять же усы сердито ощетинимши, лишь только завидят кого, всякому толкуют: в четверг, в четверг! Ну, она-то, бедная, во вторник, — сиделки сказывали...

— Что же, ничего не было приказным-то? Не узнали про них? — спросил человек, хваставшийся за минуту пред своим вопросом особенным знанием женского пола. — Ох, строго за эти дела, Антип! Ох, строго! Не от одного слыхал, что будто строже нельзя. Под закон-то бы их под строгий за это упечь...

— Как их упечешь-то? У меня тятенька, известно тебе, всегда состоит при запивойстве; так он однажды, переложивши-то, и пошел к тем приказным и говорит им: весь дом, господа, знает, как вы девку сгубили. Свидетели есть. Нельзя ли, говорит, по этому самому случаю какую ни на есть сумму с вас за бесчестье взять, потому мой сын при ей женихом состоял. Ну, одначе, они, над ним посмеямшись, дали ему такой ответ: это не мы девку сгубили, а, вириятно, как надо полагать, сгубил ее доможил, — всей улице известно, какие он у вас в дому штуки откалывает...

— Д-да! Вон он у нас дом-то какой! Я, братец, скажу тебе, что чуть ли это не правда, потому я с тех самых пор стал запоем пить, как сюда переселился...

— Ей-богу же, не дом, а приказные! — уверенно божился смуглый человек тоже шопотом, но сокрушенным таким шопотом, который ежели

услышишь, так непременно скажешь себе: а вот человек-то этот, который так шепчет, скоро умрет!..

— Д-да, история!.. — закончил кто-то с глубоким вздохом — и затем опять пошла вечерняя тишь, и ежели кому тишину эту в нашем доме проводить доводилось, так он непременно принимался тоскливо скорбеть, тяжело вздыхая и говоря: — Боже ты мой! Как, однако, ночь у нас тянется длинно! Хоть бы живое слово послушать, на лицо бы на чье-нибудь посмотреть!...

Так мучительно жилось в доме девственной улицы! Там редко когда бывали другие разговоры. Тосковали жильцы его от таких разговоров и пили, — пили, мучились и тосковали, а под веселую пьяную руку, когда людское сердце забывает всякий стоящий перед ним жизненный ужас, веселили заплесневелые стены дома громким хохотом, хоть, примерно, над печальным Антипом, отвечая его страданью такими шутливыми речами:

— Это ты напрасно не веришь, Антип, что твою полюбовницу доможил сгубил. У нас, в Коломне, то же самое не так давно случилось, — вот так смех! Куфарка на постоялом дворе жила у хозяина, так доможил-то на ней семь годов за водой на реку ездил. Вот это точно, что штука! Ха-хха-а-а! Просим одначе прощенья! Покойной ночи, господа синаторы!

— Будет тебе, пьяная дура! Все про *его* да про *его*, — зажужжали голоса из засидевшейся кучи. — Ишь, наладил. Тут и так страхов-то...

— А что мне ваши страхи? Плевать! — молодечески настаивал удалой, здорово урезавший.—

Что я, в сам-деле, чертей, что ли, боюсь? Да меня с самого с издетства самого чортовой головою зовут... Ха-хха-а-а! — снова замутил тоскующую тишину ночную беззаботный хохот удальца, после чего дом остался один, и при свете чуть-чуть только показавшейся в это время зорьки можно было видеть, как он, злобно помаргивая резными поседелыми надоконниками, тяжело навалился на исстрадавшиеся в нем жизни всеми своими гнилыми и далеко ушедшими в землю стенами...

IV

МОСКОВСКИЙ ВАВИЛОН И ЕГО ЛОЖЬ

При свете наступившего дня дом пугал еще более, чем описанной ночью, потому что хотя светлое солнце и отпугнуло от него далеко куда-то его ночные ужасы, зато оно в то же время всякому наблюдательному человеку показало в полном блеске такую говорящую домовую физиономию, при взгляде на которую из каждого сердца вырывался невольный крик:

— Господи! Сколько же горя в этом доме, должно быть! Сколько страданий!..

А сгорбившийся дом, как бы больной в лихорадке, трясся своими гнилыми, поросшими седым пухом стенами, кивал зелено-мшистою, проломленной крышею, моргал и слезился заклеенными бумагой окнами и тоже, казалось, говорил:

— Да, добрый человек! Есть-таки, признаться, у нас вдоволь горя-то! Чего другого нет, а горюшка-то энтого, — и-их у нас сколько!..

На самых, так сказать, щеках этой седой развалины, то-есть на главном фасаде дома, красовались свежие, только что отмалеванные кабачные вывески. На одной сверкал серебряный козел, опершийся обеими лапами на четвертную бутылку, тогда как на другой вывеске, неотразимо привлекая к себе мимоходящую публику, находился куншт, изображавший мужика и бабу в праздничном национальном костюме. В руках у этой веселой четы имелось по зеленому полуштофу и по огромному куску ветчины на господских вилках. На все эти соблазнительно доморощенные продукты чета глядела с сердечным веселием и, не употребляя их во снедь, приплясывала и в умилении изрыгала из уст такое изречение, летевшее золотыми буквами по бархатно-красному полю вывески:

«Кабак, наштош луччи!!»

И к этой праздничной паре, и к светлому козлу вели одинаково гнилые и грязные лестницы, сердито скрипевшие под ногами входивших в эти капища всероссийского бахуса, пьяного до старчества, самого изможденного, с дрожащими руками, с красноватыми, незнаемо о чем плачущими глазами, с идиотическим разрезом рта, неизвестно над чем смеющегося...

В центре вывесок, как и быть должно, была мелочная лавка. Ее пол и полки не были мыты от самого основания, а равно и ее сиделец, изумительно краснощекий и толстый парень лет девятнадцати, тоже с самого своего основания ни разу не умывался, не только что мылся. На дверях лавки висела жирная белорыбица и по-

дернутая зеленою гнилью колбаса; тут же вились жужжавшие тучи жирных зеленых мух. Тучи эти раздольно летали то по белорыбице, то по кадкам с медовым вареньем, на пользу общую открыто расставленным в лавке, то по румяному лицу самого сидельца. Сиделец в своем засаленном серо-нанковом сюртуке стоял по целым дням у дверей лавки и забавлял привыкшее к лакомствам брюхо то орешками, то пастилкой, то солеными грибками, то вареньицем, чаще же и охотнее всего подсолнечными зернушками, весьма искусно выбрасывая их шелуху в шею, в спину, а при случае и в мордасы торговавшему против лавки *печенками, легоньким и рубцами* сердитому, почти уже безумному старику.

С смешной злостью, совсем похожей, по своему бессилию, на детскую, стискивал старик свои беззубые десна, когда сиделец влепливал ему в лысину тяжелую пулю пережеванных подсолнечных зерен, обильно смоченных слюной, бросался к ступеням лавочки и с кровожадным визгом шамкал:

— Когда ты надо мной издеваться перестанешь, мерин ты эдакой жирной? Што это, в самом деле, шляпы никогда от него снять невозможно, — сейчас уж он и влепит тебе какую ни на есть жеванину. (Сказать мимоходом, старичок этот принадлежал к числу многочисленных разорившихся коммерсантов, которыми так изобилует Москва, и поэтому он, по пословице: цыган умирает — своей чести не теряет, — ходил хотя часто босой, но, тем не менее, в рыжей пуховой шляпе и в истасканной суконной чуйке,

подпоясанной под самые мышки полинялым кумачным кушаком.)

Полагая свою амбицию в своем прошлом богатстве, старик накидывался на парня с страшною яростью и иногда, вскочивши в самую лавку, принимался кричать, что-де: разве у меня такая лавка-то была? Ах ты, подлец эдакой! У меня таких-то расканальиных детей, как ты, может, баранов с тридцать было...

Парень-сиделец, в свою очередь, когда ему удавалось таким образом распотешить старика, взвизгивал как-то особенно — по-ребячьи радостно, стремительно прятался в самую глубину лавки и оттуда уже кричал:

— Ах ты, стар-рый! Вот, при старости своих лет, сердитый какой стал. Зз-л-лой ккакой! Ах, убьет, ах, убьет он меня, братцы мои! Карраул! Ха-хха-а-а!

— Вавилон! — кричал в пух и прах разозленный старик с средины тротуара. — Все вы — Вавилон, дом ваш — старая блудница вавилонская. Вишь ты, прибрался как в золотые-то вывески, тело-то свое поганое, дряблое какими драгоценностями умастил... Ха-ха! И дом-то ваш, и все, кто живет в нем, от века и доныне прокляты... Ха-хха! Сейчас от вас — от проклятых — уйду торговать на другое место. А то пристают: дай, дедка, печонки в долг, дай, дед, рубца... Хоррошо, Вавилон поганый, хорошо! Поглядим, как ты без меня проживешь, Вавилонище чортов, град погибельный, поглядим-м!..

Говоря это, старик складывал козлы, на которых был разложен его немудреный товар, брал их на одну руку, лоток с самым товаром

устанавливал на голову и уходил куда-то; но, вероятно, как верил и сам старик, ему на роду было написано быть вынесенным на кладбище не иначе, как из этого дома, потому что к вечеру неизбежно случалось так, что старик возвращался с козлами на руке и на голове с лотком к граду погибельному, возвращался и, насмешливо улыбаясь, брюзжал себе под нос:

— Што, Вавилон? Што, Вавилонище чортов? Небойсь, без меня-то тебе тоже, пожалуй, еще не похуже ли будет?.. Небойсь, Иуда ты эдакой трясучий, придешь и ко мне...

Но ежели бы старик там навсегда и остался, куда пошел, *трясучий Иуда* не подвинулся бы к нему ни на шаг. Попрежнему пугающий своей мертвенной пустотой дом стоял бы на своем старом месте и губил бы в своих старых недрах других стариков, предоставляя им полное право называть себя и градом погибельным, и вавилонской блудницей и вообще дозволяя всем своим жильцам обходиться с собой так, как только пожелают их души, озлобленные своей горькой жизнью до такой степени, что их можно было назвать совсем убитыми...

«Да хоть кулаками в стену стучи! — говорил дом старику, когда он возвращался откуда-то. — Да сколько хочешь! Сделай такую милость, кричи громче. Люди-то тебя, старого шута, мало рази за такие штуки просмеивают. Мало ежели, так ты им еще выкинь какую-нибудь штуку, почуднее. Ну выкидывай!..»

Говорил это дом и, видимо, смеялся, а старик-купец, в точности понимая все это, с бешеной злостью разбивал свой лоток о тротуар-

ные камни и, проговоривши еще раз: «блудница, а ты блудница, а ты град погибельный, ты Иуда трясучий», — уходил в кабак пропивать и капитал, и вырученные барыши с тою, как он говорил, целью, чтобы насолить этой блуднице поганой, христианских всех душ главной губительнице.

— Я ее проберу! — грозил старик уже в кабаке, по-старинному со звоном выбрасывая целовальнику медную цену косушки. — Я покажу ей...

— Эфто ты што же, дедушка, с полюбовницей, што ли, в контру взошел? — невозмутимо хладнокровно, но, тем не менее, еще с большей насмешкой спрашивал целовальник, выставляя деду требуемый порцион.

— Я тебе, дьявол, дам полюбовницу!.. — пуще распалялся дед, набрасываясь на своего угостителя.

— Потише, военный, а то пуговки лопнут! — пугал целовальник, удерживая старика. — За что же драться-то?

— Ха-хха-а! — грохотали этой остроте кабацкие завсегдатели. — Так на кого же ты, старина, лютуешь, коли у тебя полюбовницы нет?

— Черти! — кричал старик, уже хвативший так, что глаза у него на лоб взлезли. — Отродье искариотово! Тьфу! Вот вам и с блудницей-то с вашей. Завтра же на̀ другое место торговать пойду...

— На другое? — насмешливо переспрашивали завсегдатели, отираясь, однако, от стариковских плевков. — Ф-фу ты, стр-расть какая, братцы мои! Што нам теперича делать, госс-спода! Надо

таперича нас гас-спадина анерал-губирнатора биспокоить, — ей-богу! Ха-хха-ха-а!..

«Ха-хха-а! — вторил этому смеху самый дом, раскачиваясь какими-то особенными, по-стариковски медленными судорогами... — Уйдешь?.. На другое место... Вот беда-то!..»

Слыша это, старик стремглав выбегал из кабака и, в злости на людской незаслуженный смех, бросался в своем углу, как ни попало, на отрепанную чуйку, забывши даже, взяв на душу великий грех, прославить на сон грядущий святое господнее имя...

Глубоко пугающее значение заключалось в словах безумного старика, характеризовавшего наш дом вавилонской блудницей и градом погибели. Словно мушки, украшавшие некогда изношенные старушечьи физиономии, со всех сторон залепили его облезлые и проржавленные вывески, которыми, в своей дикой наивности, испьянствовавшаяся московская мастеровщина думает привлечь в свой карман хоша самую безделицу деньжонок... Вот черный сапог на сером поле с красноватыми пятнами. Болтаясь на одном только гвоздике над окном второго этажа, жестянка с хрипом колотится о надоконник и как будто умоляет хозяина, чтобы он сорвал ее поскорее.

«Ведь срам! — хрипит она, совсем как живая. — Ну какой ты теперича мастер? Ах! глаза бы мои на божий свет не глядели».

И, действительно, страшным срамом накрыл старый дом, худо ли, хорошо ли, но все же прежде кое-как перебивавшуюся голову сапожника Кирилы Петрова. Как древний Иаков,

многое множество лет поддерживал он своей работой осиротелую старуху одну, соседку, с красавицей-дочерью. Наконец скоплена была эта проклятая четвертная бумажка, две ситцевые рубахи куплены, суконный сюртук сшит приятелем портным в долг, с рассрочкой на три али бы там даже на четыре года (как бог!..), и сыграна вожделенная свадьба.

Тридцать человек гостей, присутствовавших на ужине, говорили другу своему Кириле:

— Кирюша! Ну, господь с тобой! Живи не тужи теперича. Слава богу, нонича ты в своей воле человек — и есть тебе с кем в трудный час в несчастный перемолвить, не то что нам — мастеровщине разгорькой... Выпьем!

И может быть, что ни у гостей, ни у Кирилы отроду так сладко не бились сердца, как бились они у них в эту счастливую минуту, но, верно, надобно, чтобы сердца такого рода людей так и иссохли бы, так бы навсегда и уснули, не узнавши того, что на белом свете еще живет светлая радость...

В это самое время в так редко радующийся угол трудовых людей вошел кто-то пьяный, разодетый барином. Обратившись к старухе, невестиной матери, он сказал ей:

— Кто жених, сказывай?

Затряслась старуха, побелела, как полотно, имеющее скоро закрыть ее совсем с ее погибельною, хотя и невольною ложью, и указала на Кирилу.

— Бла-дарю, блад-ддарю, братец, благдарю!— сказал барин жениху. — Отныне я твой покрр-ви-тель! Понимаешь?..

С тех самых пор запил Кирил, и заскрипела на старом доме его осиротевшая вывеска:

«Ах, Кирила! Ах, хозяин! Да сорви ты меня поскорее... Ведь срам!..»

Так ясно говорила сапожная вывеска о сраме и лжи, которыми дом неизбежно крыл всех тех людей, какие жили в нем!

О том же сраме и об этой же лжи говорили и жалкие карманные часишки, выставленные в одном заскорузлом подвальном окне. Часишки эти были то, что называется луковицей, хотя в стекле был выставлен только один циферблат, без стрелок, оборванный и потому весьма заметный всей улице. Серебряные колпаки, делавшие часишки глухими и утолщивавшие их в характерную луковицу, давным-давно были отломаны и пропиты у того хладнокровного целовальника, который спрашивал у безумного старика, — с любовницей ли он своей в контрах, али бо иначе как?..

Слезится ли заскорузлое окно в печальное ненастье, изрисовано ли оно узорными кружевами в русский морозный день, — часишки так и лезут в глаза всякому прохожему. А между тем всякий, кто только примечал их, сомнительно улыбался и, посматривая на них, говорил:

— Ах! должно быть, прекрасный здесь часовщик живет!..

Проговаривался такой фразой прохожий человек, понимающий вывесочную суть, и ежели у него были часы, нуждавшиеся в починке, так он уходил с ними подальше куда-нибудь и был по этому случаю глубоко прав, потому что часовщик наш, прохлаждаясь в кабаке с ми-

лыми друзьями, разговаривал с ними таким манером:

— Ты скажи, каким-таким родом ты эту мудреную штуку постиг, то-есть насчет часов?— спрашивали его благоприятели.

Хозяин часишек, серьезный брюнет, остриженный наголо, высокий и стройный, в черном поношенном сюртуке, в свою очередь, икая, спрашивал у друзей:

— Ты насчет чего разговариваешь?

— Да насчет выучки!

— Милый! Смотрю я на тебя и пою водкой вот уж года три каждый день, так позволь тебя спросить: можешь ли ты понимать науку?

— М-магу.

— Хорошо! Я у тебя об этом три года каждый день спрашивал, все ты говорил, что могу. Скажи же мне теперь: был я в университете, или нет, как по-твоему? Говорил я тебе об этом или нет?

— Говорил, но только я этого понять не могу.

— То-то и есть, ддур-ра! Я поэтому не только что часы, а вот слушай, — тут послышались какие-то математические выкладки: — ab, — толковал сюртук, очевидно, стараясь быть как можно проще, — равно dh. Это вот, видишь ли: возьми ты этот сухарь и вот эту лучинку, смеряй их, и они будут равны. Ты этого не пугайся, что ab. Это все равно — аз, буки. Они обозначают произвольно взятую величину. Все в мире мера... Промахнешься, — подлец. Все потому происходит... Дай-ка три бутылки пива...

Но и математические штуки свои, и приказание целовальнику, и даже самую икоту черный

человек пускал из своих уст, ничуть не давая знать своим собеседникам, что он хоть бы в едином глазе был пьян. Совершенно правильные дуги изображали его черные красивые брови во все то печальное время, когда он показывал своим собеседникам повихнутость своей головы, — губы его не дрожали, не румянились, не были влажны, как бывают у пьяниц, и все лицо вообще было необыкновенно умно и серьезно.

Глядя на это, приятели почтительно спрашивали:

— Ты из господ?

— Нет! — металлически-басовито отрезывал им черный человек.

— Кто же ты такой?

— Дай еще три бутылки пива, — отвечал черный человек на этот вопрос новым требованием у кабатчика, и отвечал почему-то с злобным пренебрежением к вопрошавшим.

Шла после этого длинная пауза, почему-то для всех страдательная. Приятели думали: «кто же он?», а сюртук думал: «С какою сволочью я связался! Справедлива пословица: от тюрьмы да от сумы не отказывайся».

— Три бутылки пива, косушку водки, — восклицала изредка во время этого раздумья грозная октава черного человека.

Целовальник делал свое дело, то-есть исполнял требование потребителя. Черный человек, в свою очередь, исполнял свое дело, то-есть пил то, что спрашивал, угощал друзей и, как прежде, не моргнув бровью, не пошевелив ни одним мускулом в лице, спрашивал приятелей:

— Как вы меня смеете, скоты, спрашивать о чем бы то ни было? Сколько раз я говорил вам, что я вас приглашаю с собой только для того, чтобы вы пили со мной, а не разговаривали. Вперед не сметь!

— Слушаем-с! — отвечали покорные ребята и затем, в каком-то непонятном для них ужасе, уходили из трактира, потихоньку разговаривая промеж себя:

— Беспременно из господ. Я уж его давно таким-то знаю. Многих за разговоры-то до полусмерти заколачивал.

А черный человек, оставшись один в харчевне, перемежал свои обыкновенные три бутылки пива и косушку водки скрежетом зубов и глухими рычаниями в том роде, что: сск-ка-ат-ты, туда же разговаривают! Небесная механика... астрономия... Ф-фу, боже! Все погибло... Погибло? Ха! Может быть, пропито? Нет, не пропито, потому что между этими противоречиями силлогизм стоит, неумолимый, как жизнь или смерть, что все равно неумолимо... Вот я вижу его, этот силлогизм. Он стоит теперь предо мной с грубой и широкой улыбкой. У него красные и толстые руки... Вижу, вижу: руки эти сложены на выпяченной груди, — серьезно сложены... Ежели он их разнимет, тогда он убьет все... Он говорит мне, нет! не потому погибло, что пропито, а потому пропито, что уже прежде должно было погибнуть... Следовательно?.. ха, ха, ха... Ш-што такое?.. Чинить часишки?.. Гос-поди! сгубили... Ничего не понимаю. Это они меня сгубили... Люди вот эти... Ничего не сделаешь с ними, все вр-рут... Глупы

даже до омерзительного скотства... Дур-рак!.. ха, ха-ха-а! Увидал всю суть этой машины... А зачем? Штобы пить-то? Ха-ха! Ск-ка-аты! Какое бы счастье могло развиться везде, только не ври... Три бутылки пива и косушку водки... Х-ха! Штоб вас всех дьявол забрал! Наливай!..

Затем следовал сильный удар по столу кулаком, новый зубовный скрежет и новая тишь на могучем, ни от чего не изменяющемся лице...

— Ср-рам! Позор! Ложь! — выкрикивает этот человек, далеко за полночь сидя в харчевне. — Па-ад-лецы!.. Три бут...

— Ах, нне-т! Што же это такое? Что я видел сейчас? Кто это мне говорил, что пропито, потому что пилось уже в долг, в счет будущих благ?.. Я не помню, кто это был. Не понимаю, ничего не понимаю... Три бутылки... Пропито? Это подло... Кос-шку водк...

— Ваше б-дие! Прикажите домой провесть,— предлагал побледневший от этого страшного, постоянно одинакового лица трактирщик.

— Веди, па-ад-лец! Эх ты, собачья морда! Надувало-мученик. Ведь ты, чорт, мученик?.. А? Да, это верно — ты мученик... И зачем, а? Зачем ты надуваешь всех, а? Хха! Веди, подлец! Нет! Вас всех до одного перевешать нужно. Это факт!.. Ха, ха, ха!

К трактиру подшлепывал ночной горемычный Ванька, получал от трактирщика какие-то секретные приказания и в то время, когда седок-часовщик, как и его вывеска, кричал на всю улицу: «Ср-рам! Позор! Ложь!» — подвозил его к воротам нашего дома, откуда уже из окна с часишками, в скорости после подвоза, видне-

лась грозная прямая тень человека, не перестававшего кричать спавшей улице: «Срам! Позор! Ложь! Три бутылки... Божже!.. Боже ты мой!.. Сжалься: возьми ты меня, боже, к себе поскорее. Ведь видишь ты, я не могу больше, м-могу... Три бутылки пива и косушку водки».

Вот из трех окон второго этажа смотрят на улицу разноцветные модные барышни, составляющие лучшее украшение «Развлечения», сего знаменитого московского журнала, *надсмешливость* которого известна во всей *анперии*. Рекомендуя взорам отрепанных обитательниц девственной улицы всю роскошь парижских туалетов, изобретаемых, впрочем, как надо думать, не далее типографии Готье [1], барышни никогда не исполняли своего назначения, то-есть в квартире, стекла которой они иллюминовали своими зелеными платьями, желтыми веерами и нежно-румяными рожицами, обыкновенно принято было жестоко глумиться над всякою наивностью, заходившею туда с меркантильною целью выворотить лицо десятилетнего бурнуса, вымыть его, выпрессовать, пустить по нем тысячи так великолепно сверкающих на солнце стеклярусов и, главное, вместо этих крылатых безрукавьев, которыми обладал бурнус в качестве субъекта, сшитого десять лет назад, приделать к нему *нонишние* рукава: *от плечика штоб они узко-узко шли, к локотку шире, в кисти ш-штоба были совсем грецкие с обшлажком. И об-лаж-жить, миллая моя, тот обшлажок руб-*

[1] Московский типограф.

чатым рипсом, штоба шелковый был беспременно...

— У барынь это, ах, как превосходно выходит! — говорила наивность, восторгаясь всем своим милым шестнадцатилетним личиком. — Как они — эти рукава — белизну рук у них обозначают, — прелести подобно!

Из шальной девичьей стаи, окружившей наивность, раздаются и громкий смех, и громкие возгласы.

— Тебя, должно быть, в шутку кто-нибудь к нам послал, бедная! — протяжно говорит пухлая блондинка, страдательно сморщивая свои густые золотистые брови. — Ты иди поскорее отсюда, голубчик! Здесь не шьют, — добавляет она, и при этом добавлении синие дуги, проходившие под добрыми глазами блондинки, вдруг почему-то пропадали, и, на место их, уже в самых глазах показывались светлые и крупные слезы, сопровождаемые нервными вздрагиваниями во всем теле...

— Не шьют, не шьют здесь! — вскрикивала другая девушка, смуглая и жилистая, почему сразу видно было, что она очень сердита. — Куда тебя черти, дуру, несут? Сволочь! И без вас тут много всякой всячины.

— Здесь не шьют, а стирают... Ха, ха-ха!

— Мы, милая, прачки... Хи, ххи-и-и!..

— Только не с той прачешной... У нас совсем другая, не похожая...

— Мы одни наволочки... хи, хи!

— Т-сс, дуры! — слышится чей-то командный голос, и совсем затерянное дитя, вместе со своим стариком-бурнусом, робко прижавшееся

к дверной притолке, ободряется теперь и смотрит, откуда это и какая именно выручка идет к ней.

Из дальней комнаты, двери которой были завешаны цыганскими драпировками, в зал вползла безногая женщина, еще не очень старая, с умным, но отмеченным тяжелым страданием лицом, — с лицом, которое на первый раз тем больше бросалось в глаза, что в одно и то же время оно представлялось и плачущим, и смеющимся. Какая-то, должно быть, глубокая и давнишняя печаль властительно сидела на ее длинных черных ресницах, отражалась в больших голубых глазах, когда они смотрели на кого-либо, и потом, когда тонкие губы этой женщины начинали говорить, печаль моментально слетала с ресниц и, усевшись на губах, сообщала им выражение глубокой злобы, уверенной в своей силе и потому ежеминутно готовой оплевать кого угодно и беспощадно побороться тоже с кем угодно.

— Прочь! — закричала на девичью стаю эта женщина, подпалзывая к молодой девочке и как-то пугающе пошуркивая по крашеному полу своим шерстяным платьем. Девочка не успела еще испугаться как следует крика и шуршанья старухи, как уже почувствовала, что ее руку взяла другая рука, теплая, ласковая, — увидела, что на нее, как-то по-особенному, добродушно устремлены большие, тоже необыкновенно ласковые глаза, окаймленные медленно мигавшими ресницами, по которым порхала такая глубокая жалость над ней самой, таким бедным, красивым ребенком, и потом такое свое собственное горе, покорное, тихое...

— Дусичка! — заговорила старуха, несколько шепелявя, что недавно с такою глупой грацией проделывали наши барыни средней руки, — не смотрите на них, длузочек! Девочки они добые, только глупенькие, молоды еще.

По лицу старухи разливается в это время необыкновенная ласковость — и затем она добавляет:

— Все мы, дусичка, когда молоды, бываем большие салуньи. Д-да! — Голос старухи звучит в этот момент такими западающими в душу тонами, что ребенок с бурнусом считает за необходимое в этом месте разговора глубоко сконфузиться, покраснеть и, замирая, пролепетать:

— Я, сударыня, ничево-с!.. Ей-богу-с!.. Вы меня извините-с.

— Ничего, ничего, мой длуг! Што же тебе нужно? А, бурнус? Хорошо! Бурнус будет хороший, — я прикажу. Пойдем, я с тобой потолкую. Ты меня не бойся, дитя мое! Ты не смотри, что я кричу да ползаю, — этого, мой длузок, не пугайся. Пугайся длугово чево.

Произнесши два последние слова, хозяйка печаль своих добрых глаз живо преобразила в скверную и злую насмешку тем только, что немножко пощурила длинными ресницами, и затем уже, под звонкое хлюпанье наливаемого кофе, полились различные рассказы, которыми она старалась охарактеризировать стоявшей перед ней молодой девичьей жизни свою старушечью, убитую горем жизнь.

— Я, длузок, на свой век потерпела довольно. А бурнус, сказу тебе, славный будет. Я вот эту полку урезать велю, тогда он в спинке тебе пол-

нее будет. Сколько терпела!.. Ты вот, моя милая, взрослая уже, так тебе сказать можно: мужчинам не очень верь. Ей-богу! Я тебя не худу учу. Я тебе про себя сказу, длуг...

Тут начиналось тихое шептанье, неразборчивое, но, тем не менее, энергичное. Раздавалось по временам в мрачной тишине этой комнаты, занавешенной красными сторами:

— Такая же вот, как и ты, в те годы я была молодая. Отец—титулярный. Ка-ак же? Он, знаешь ли? купцам хлопоты разные хлопотал. Наезжало их к нам много всяких. Карты эти, ужины. Тогда было не то, что теперь. Побогаче живали, попроще. Слышу, послышу — говорят: в поход ушли!.. Я: ах! ах! Лихача сейчас — за ним. На восьмой версте по Дорогомиловке[1] нагнали. Приустали иные, с коней послезали, идут и трубки курят. Тогда, длуг, все трубки курили или цыгары. А он-то, он-то, подлец, едет так окол канавки на коне (я ему и коня-то купила), но только я, дитя мое, куда уж тут в сердца нашей сестре-бабе входить? Я обомлела, всплеснула руками и крикнула: что ты, крикнула, со мной сделал? Дитя мое? Так-то ведь я при всех крикнула, значит, не постыдилась, — значит, он мне дорог был!.. А он подперся руками в бока, по усам это у него подлый смех забегал. Люди тогда были такие безжалостные, что ли, не знаю... Не знаю... Упала я наземь и не помню, что со мной после было. Только с тех самых пор, мой длуг, я обезножила. Д-да! Ты им не верь. Ведь ты уж теперь взрослая, дитя

[1] Смоленское шоссе.

мое! Так ты им возьми и не верь, — ей-богу! Они тогда с тобой сами же лучше будут!..

Потом со стороны хозяйки слышался самый неразборчивый шопот, так что по этой тихой комнате слышалось только: шу! шу! да: извините, сударыня, я этого никак в ум не возьму...

— Они — мужчины эти — ужасно как просты, мой друг! Ежели с ними умно обойдешься,—продолжались хозяйкины шептанья,— может, какой и женится. Я тебе про себя расскажу: у меня тоже была одна дев-вица, эд-дакой красс-саты, и как-кой же, сказываю тебе, аф-фицер на ней женился прелестный, сич-час окк-аллеть!..

При этих словах безногой женщины ее глубокая грусть, лежавшая на ее ресницах, опять слетела на губы и, слетевши, снова переделалась в зверски-злую насмешку.

Но десятигодовалый бурнус, приобретенный годовой работой, не видел этой, так сказать, переформации и потому продолжал свои ангельские извинения.

— Я, сударыня, как бог свят... Ни в чем не была... Неповинна, однова чыхнуть!..

— То-то же, то-то же, длуг, смотли! Не обманывай. Я ведь тебе, видишь, не советовала обманывать...

— Д-да, на с-сем месте мне околеть... Мне бы только вам как-нибудь услужить... — шептала умилостивляющим голосом девочка, и потом, в скорости после этого шопота, к нашему угрюмому старому дому подкатывал лихой бородатый извозчик с франтовски одетым господи-

ном и, останавливая у наших ворот своего рысака, сердито вскрикивал:

— С-с-стой, дьявол вас вс-сех заб-берри! Черр-рти вы буйные!

Франт, борзо вскакивая в калитку, осторожным шопотом спрашивал встречавшую его кухарку второго этажа:

— Здесь?

— П-пажал-луйте! — богомольно отзывалась кухарка и, получивши на чай трехрублевую бумажку, исчезала куда-то, вслед за ней исчезал и приехавший господин.

Шла после этого в томительном дне девственной улицы такая скверная, такая долгая пауза; а там из окон второго этажа, занавешенных красными сторами, выставлялась поседевшая голова квартирной хозяйки, — выставлялась она с целью насладиться улично-московским благорастворением воздухов, и, наслаждаясь этим благорастворением, двойственная голова тихомолком толковала:

— Я ведь ей говорила: не верь! Мне, когда меня обманули и обезножили, так ни один человек не сказал: что вот, дескать, смотри, милай длуг, тебя обманули... Д-да! А я ведь ей прямо сказала... Не верь, мол... Ну, и что?.. И ничево!..

Тут во всем лице безногой женщины, как и в ее больших глазах, так и в прекрасно очерченных губах, засветился огонь страшной и насмешливой ненависти ко всему тому, что она только могла видеть, и она опять сказала:

— Сама себя раба бьет, что не чисто жнет... Ведь я ей сказала об этом... Ведь я их всех,

девочек этих, как детей люблю... Ведь говорила же я ей об этом...

А стоявший напротив хозяйских окон старый торговец печонками и легоньким пристально смотрел на изуродованную жизненным горем голову хозяйки и, урезавши здоровую муху, орал:

— Блудница! Блудница ты вавилонская! Перестань сквернохульничать. Ведь я сам, в молодых летах когда был, так к вашей сестре дюже часто захаживал... Перестань—не хоррошо; а то, сейчас умереть, от вашего дома в другие места торговать пойду... Ниб-бойсь! Без меня пропадете, как черти!

Жирный парень, торговавший зелеными мухами насупротив старика, углубился в самую внутрь лавки, и оттуда указывая старику своим толстым указательным пальцем на второй этаж, рекомендовал ему, бессмысленно и таинственно ухмыляясь, еще чем-нибудь новеньким распотешить безногого дьявола, вследствие чего торговец орал:

— Вавилон! Блудница вавилонская, стар-рая! Заманила девчонку-то! Рада!

Безногая женщина, в свою очередь, кричала из окна:

— Хозяин! Когда ты прогонишь этого старого чорта? Он спокою мне не дает. Я видь, пожалуй, и с квартиры съеду? Эй! возьмите его кто-нибудь! Я на водку дам.

— Вавил-лон! — кричал неустрашимый старик, и вслед за этим, хотя и безалаберным, но высоко справедливым криком раздавались смех толпы, входящей в кабаки и выходящей из них,

басовитые голоса мимошедших будочников, звонкое и, наподобие жеребят, бессмысленное ржанье подвальных девиц и т. д.

— Вавил-лон!

— Возьмите! Уберите его, дьяв-вола! — кричала на всю улицу безногая баба. — Убью я его либо в Сибирь упеку. Я, может, еще пуще благородных свою амбицию знаю, потому у меня деньги... Сама нажила... Потом и кровью... Черти!..

— Вавил-лон! — заканчивал старик, не шевеля даже бровью от этих угроз, напротив, с какою-то тихой — по-ангельски — улыбкой, вовсе не гармонировавшей с его грозно-обличительными словами. — Вавилон! Сичас от тебя, Вавилонище чортов, на другое место торговать пойду... Ни ммагу я глазами моими смотреть на тебя. Ни ммагу! Ни м-ма-аггу!..

1870

МОЕ ДЕТСТВО

Я очень рано начинаю помнить себя; но эти ранние воспоминания, как тучей, затемняются множеством серых, обыденных дней будничной сельской жизни, необыкновенно похожих друг на друга. Теперь, пристально всматриваясь в непроглядный туман этих дней, я как будто вижу в нем что-то неясное, неопределенное, но вместе с тем страстно любимое мною: вот, например, под однообразный, но могучий шум большой реки, обтекавшей село с трех сторон, проходит предо мною эта так манящая меня в настоящую минуту тишина сельской жизни, — идет она или даже не идет, а тихо-тихо летит, как нечто живое, имеющее свой образ, который в моих глазах имеет совершенно определенные формы. Да, я осязательно ясно вижу, как над молчаливыми сельскими буднями, поднявшись несколько выше светлого креста на новой церкви, на белых крыльях парит вместе с летучими облаками кто-то светлый и тихий, с лицом стыдливым и кротким, как у наших девиц... Так я теперь, отделенный от родного села долгими годами шумно-столичной жизни, исполненной невыразимых страданий, представляю себе мирного гения тихой сельской деятельности...

Но исчезло видение — и опять идут медленные сельские будни. В ушах раздается неразборчивый гул беспрестанного работника — дере-

венского дня. В какой-то угрюмой печали прислушиваются к этому гулу понурые и растрепанные крыши домов, — время от времени по улице пролетит какая-нибудь лютая помещичья тройка, неистово позванивая валдайским колокольцом и громыхая бесчисленными бубенчиками, — вяло проплетется прощалыга-мещанин из соседнего города с красным товаром, — за тройкой и за мещанином одинаково любопытно прорыщут сельские ребятишки и девчонки — и опять тишь, важная, медленная, и человека, желающего поговорить с нею, подметить в ней хоть какие-нибудь признаки жизни, до глубокой тоски мучащая своим хмурым и как бы упрямым молчанием...

Если и нарушается в моих воспоминаниях это молчание, так очень редко и неопределенно. Иногда, среди этих страшных морозов, яростно-визгливых мятелей, среди длинных, как вечность, ночей, когда в избе все слепо от дымной лучины, я вдруг начинал примечать, что лучина горит гораздо светлее, чем в это мучительно длинное *всегда*, лица делались радостнее, веретена и самопрялки полусонных прях вместо однообразного и невыносимо скучного жужжания принимались напевать что-то такое, необыкновенно похожее на песню ребенка... В черную избу глядит морозный месяц, и временем, когда пряха, сидящая подле светца, не успевши заменить догоревшую лучину другою, давала ей погаснуть, тогда темноту избы так чудесно освещали какие-то золотые, плавно волновавшиеся по грязному полу месячные полосы. В полосах отражались четырехстекольчатые окна избы до

того явственно, что я, по рассказам, с младенчества близорукий, начинал думать в это время, не прорубила ли какая-нибудь невидимая рука в нашем полу других окон, чтобы в избе светлее было, — поэтому я вскакивал с лавки и бросался к полосам. Работница между тем уже успевала вздуть огня — и полосы исчезали.

— Где же они? — задумчиво спрашиваю я, смотря по направлению к настоящим окнам, в которые улетели месячные лучи.

— Кто где? — спрашивает меня, в свою очередь, из-за стола отец, опершийся над громадною чети-минеей, которую он перед тем читал своим многочисленным домочадцам.

— А эти... — отвечаю я, не умея назвать должным именем то, что сейчас позолотило наш пол и опять улетело куда-то. — Окно-то... на полу-то были какие сейчас... Где же?..

— Ах ты, дурашка! — позевывая, говорил отец. — Рази это окна? Это месяц.

— Месяц, вон он, — спорю я, — в небушке. А это где? Куда они улетели?.. Откуда взялись?..

В голосе моем слышатся слезливые ноты.

— Глупо! — возвышает отец свой голос, делая ударение на о, за что он считался самым умным человеком и проповедником во всем уезде. (Он был священником в описываемом мною селе.) — Глупо! — повторяет он. — Ступай, сядь на лавку и слушай, в противном случае смотри у меня: не пролей сухарной жижки...

И затем он продолжал прерванное чтение.

«И прииде бес к праведному и возглагола ему гласом льстивым: авва! И отвеща ему преподобный: вскую шаташася, бесе!..»

Многознаменательно хмыкает и серьезно задумывается отец над трудными, неудобно-понимаемыми, по его выражению, местами патрологии — и тогда все, что сидит и трудится около него, повертывая жужжащие прялки, ковыряя лапти, починивая узорчатые рыболовные сети, стругая полозья и оглобли, принимается усиленно молчать, ибо понимает, что *батька не в своей тарелке.*

— Тише, ты! — слышится в избе, — не видишь рази? Может, он теперича вона какую думу задумывает!.. Может, он про божество...

Многочисленные бабенки, собравшиеся к матери на *попрядух*, напрасно сдерживая мучительную зевоту, продолжительными и глубокими вздохами стараются показать, что они не только слушают чтение, но и, так сказать, по отличном вникновении в оное, должным образом его принимают и сочувствуют. Некоторые старушенции, с целью заслужить от батюшки-священника одобрение, довольно громко всхлипывали, то и дело отирая с морщинистых лиц непокупные слезы.

«И приидох вои мнози и взяша его в мечем во главу усекоша», — уныло тянет отец своим густым, протяжным басом в молчаливой избе, и изба отвечает ему своими не менее протяжными и унылыми возгласами:

— О, господи батюшка! Кормилец ты наш милостливый! Спаси ты нас и помилуй, мать пресвятая богородица!

В моей детской голове в это время как-то смешанно, но неотвязно и властительно засели постоянно одна другою сменяемые думы об улетевших сейчас с пола золотых полосах, о только что оконченном житии святого мученика и о словах отца, которыми он засадил меня на лавку и заставил слушать чети-минею.

Пристально всматриваюсь я с моего сиденья в темный запечный угол. Оттуда виднеется мне косматая голова Фомы, нашего работника, который орудовал там, при помощи топора и долота, над санными полозьями. Мои глаза почему-то остановились на затылке Фомы и упрямо ищут на нем разъяснения отцовой фразы.

«Не пролей сухарной жижи! — думаю я. — Какой-такой сухарной жижи? Отчего ее нельзя пролить? И ежели, наконец, сухарная жижа стояла бы вот здесь предо мною и я бы разлил ее, что бы мне было за это от тяти? Высек ли бы он меня за это, как онамедни, когда я разбил в горнице стекло, или только отодрал за вихры? Да, наконец, почему же бы отцу не дать мне гостинца за разлитую жижу?»

Ни слова не отвечает мне Фомин затылок на эти вопросы. «А что мне будет, ежели я разорву на себе рубашку? Постой: дай-ка я посмотрю, что будет». Вслед за этими словами моя новенькая ситцевая рубашка начинает потихоньку трещать от моих ногтей — и всего меня поглотило внимание отгадать, что мне будет за это: гостинцы или экзекуция. Если экзекуция, то какого свойства; если гостинцы, то какие именно, и откуда отец их возьмет: из стекольчатого ли шкафа, который стоит у нас в гор-

нице, или просто-напросто достанет их из кармана своего серого нанкового полукафтанья, где у него обыкновенно хранились всякие сласти вместе с берестовой табакеркой, украшенной разноцветною фольгой.

Наконец детский мозг окончательно выстроил силлогизм, что-де кто разорвет на себе новую рубаху, того родители обыкновенно поощряют к дальнейшим подвигам в этом роде самыми сладкими гостинцами, вследствие чего ногти мои усиленнее работают над прорехой, а дума, сделавшись радостной, идет вперед таким образом:

«Да какой же новый гостинец даст мне отец? Все я их перепробовал. Не хочу я их, пусть он *сделал бы* мне лучше энто... золотое... что у нас на полу лежало сейчас. Он, тятя-то, все умеет делать: и читать, и писать, и в церкви служить... Мужики вон не умеют, а он поп — всех благословляет...»

Фома кивает своим косматым затылком в лад с опускаемым на долото топором, что я считаю за подтверждение моей чудесной мысли и почти слышным шопотом вывожу окончательное решение взволновавшего меня вопроса:

— Да! Так и будет. Тятя — поп, вот он мне завтра и сделает энту... золотую-то... Завтра пристану к нему...

— А что, батюшка, дозвольте вас спросить,— перебивает мои думы одна любопытная старуха, — по нонишним ежели временам бывают по иным царствам мученики, али запрещено?

— Нет! — строго и с тяжким вздохом отвечает отец. — Оскудела вера в нынешних людях, ожесточились сердца их, и не разверзается чрез

это для нашего поучения чудодейственная десница господня.

Почуяла изба, что действительно, должно быть, плохи нынешние времена, потому холода эти везде стоят, птица на лету мерзнет,—голода скотина мрет,—безденежье, человек в три погибели гнется работаючи, — и, почуявши, все, кто дремал в ней до этих слов, встрепенулись, — кто всхлипывал втихомолку — горько заплакал, кто между работой улучил минутку с соседом тихим словцом перемолвиться — замолк и долгой, печальной думой задумался. Столбом стала в избе угрюмая тишь, и снова в тиши этой раздался протяжный голос хозяйский, с какою-то суровою властью звавший теперь к выслушанию «Жития иже во святых отца нашего Григория Неокессарийского».

И, словно вызванные торжественным отцовым голосом, проходят пред моими младенческими глазами важные образы великих подвижников христианства. С их широких одежд прямо в лицо мне так ласково летят благовония, как бы от киевских кипарисных крестов, которых так много приносили нам наши сельские богомольцы и богомолки, — светлые, как молния ночью, искры сыпались с их круглых золотых венцов и затемняли убогий свет лучины, а вместо тоскливой тишины изба наполнялась несказанно сладкими и звучными голосами...

До истомы замираю я, всматриваясь и вслушиваясь во все это; но глаза мои, против воли, слипаются, разгоревшаяся голова склоняется на колена матери, и чуть-чуть только сквозь отяжелевшие ресницы видятся еще мне кроткие

лица, светлые венцы, но видятся неопределенно, отчего сердце мое начинает мучительно тосковать, и я принимаюсь рыдать...

Помнится, что в это время на горячий лоб мой клались чьи-то необыкновенно теплые и мягкие руки, которые крестили меня,—болезненным голосом шептал кто-то тогда надо мной кроткие, но жаркие молитвы, поручавшие меня богу.

— Спаси тебя господь и помилуй, дитя мое!

— Говорил тебе сколько раз, — раздается в моих ушах другая, столь же тихая и ласковая речь, — сколько раз говорил: не пускай на улицу. Такое ли теперь время?.. Вишь холодищи какие.

— Да усмотришь за ним, что ли?.. Чуть только отведи глаза, сейчас уж он и бегает.

— Не хочу! Не хочу! — кричу я вследствие вдруг налетевшего на меня желанья обругать всех прях, сидевших на лавке, Фому, долбившего полозья, и даже самую эту тихую, угрюмую избу.

— Чего не хочешь?

— Жить с вами не хочу. Я вот с святыми буду жить. Тятя! ссеки мне голову, я сам тогда святой буду, золотой венец на себя надену...

— Уложи, уложи его поскорее! — отвечали мне на мои просьбы, а я с каждой минутой все громче и болезненнее кричал: — Не хочу с вами жить, уйду от вас... — потому что ряд святых людей так ласково улыбался мне в это время, так нежно звал к себе...

— Хоть што, батюшка, — шепталась какая-то старуха с моим отцом, — а он у вас не жилец. Умрет, пожалуй...

— Бог дал, бог и возьмет, — отзывался отец, и вслед за тем он гулко захлопывал деревянные, оклеенные толстою кожею крышки четьи-минеи и говорил всей избе:

— Ну, довольно, детушки! Слава богу, потрудились на нынешний день, теперь и соснуть пора. Взгляну вот только, какой святой завтра будет.

И, не раскрывая глаз, я видел, как отец брал из кучи книг, лежащих под образами, святцы, раскрывал их и принимался шептать, водя пальцем по листам:

— Априллий... Октомврий... А, а! Вот оно: декабря шестое-надесять... Пророка Аггеа... Священномученика Елевфериа. Евангелие от Луки, глава 3. День же имать часов... нощь же... А, а! день начинает прибывать мало-по-малу. Дивны дела твои, господи! В Санктпетербурге одно склонение знаков небесных, в Москве другое, более с нашим сходственное. Так и в мире между людьми, все так... Дивно!..

— Так-то, други мои сердечные! — заканчивал он свои недоразумения, выходя из-за стола. — Девять только дней осталось прожить нам до великого праздника—рождества господа нашего Иисуса Христа!

И вот именно после этих слов наши длинные и до глубокой муки скучные будни, по крайней мере в моих глазах, быстро изменялись. Эти, как сказал отец, девять дней, как молния, сменяли друг друга, и в это время виделось мне, больному страшной горячкой, что на мрачной черноте нашей избы легли какие-то мягкие, цветистые тени, — на лицах всех людей, какие

жили в избе, вместо всегдашней, обыкновенной печати злой озабоченности лежало тихое и веселое ожидание какой-то редкой и верной радости...

Подходили ко мне эти лица и, улыбаясь, говорили мне:

— Выздоравливай, выздоравливай поскорее! Отец тебя хочет взять с собою по приходу Христа славить.

Внутренний жар между тем так и морил меня. Мне было хорошо видеть, что обыкновенно печальные лица нашей избы так светло изменились, и в то же время мне хотелось попросить озабоченного отца, чтобы он сделал мне *энту*... золотую-то... С наслаждением смотрел я, как Фома вносил из погреба громадные кадушки с замерзшим молоком, чтобы оно успело растаять до праздника, и тут же мучительная тоска разнимала все мое существо оттого, что я не мог встать с моей постели и улететь вместе с прозрачным сонмом крылатых и увенчанных золотыми, мечущими искры венцами людей, реявших надо мной и звавших меня к себе в далекое небо, усеянное светлыми звездами...

После этого, помню я, что-то чересчур рано меня разбудил особенно громкий и торжественный благовест.

— Маменька! Что это ныне так рано звонят? Я и не уснул еще.

— А рождество ныне, милый! — отвечала мать откуда-то из-за печки, где она, освещенная тусклым светом конопляного масла, зажженного в глиняном ночнике, возилась, приготовляя праздничный обед. — Рождество, рождество

ныне, — весело отзывалась она. — Молочко с колокольни к нам прилетело, белое-разбелое, как кипень. Выздоравливай, я тебе пирожка дам.

Но я не выздоровел, а уснул, долго перед тем страдая от мысли, что вот я болен, лежу, а у них праздник, и будут они есть пироги и мерзлое молоко с поджаристыми пенками.

Целый день после этого в уши мне звучал радостный колокольный трезвон. Отец несколько раз подходил ко мне, клал на лоб руку и увещевал поскорее выздоравливать на том основании, что он меня возьмет с собою славить. Улыбка его была какая-то странная, и пахло от него точно так же, как, бывало, пахло от многочисленных гостей, которые собирались к нам на престольный праздник.

Мать ему гневно говорила, когда он подходил ко мне:

— Уйди от ребенка-то! Славить... Наславил нос-то...

На что отец, улыбаясь своей странной улыбкой, отвечал ей, поигрывая блестящей фольгою табакеркой:

— Неважно суть, попадья! На, понюхай табачку, — и тут он принимался хихикать и совать матери табакерку под нос, за что мне почему-то хотелось обругать его так же, как он иногда в сердцах ругал мужиков.

Подходил ко мне также и работник Фома в красной ситцевой рубахе и с блестящей серьгой в левом ухе, какого украшения прежде я у него не примечал. Он давал мне орехи и невыносимо гудел на гармонике. Улыбался он так же

странно, как и отец, и пахло от него точно так же. Я ему с сердитым плачем сказал:

— Отойди, Фома! Я тебя не люблю. Ты вор... Я ведь видел, как ты целовальнику наш овес за вино продавал.

— Ах! — воскликнул Фома в глубоком удивлении, потрясая и серьгой, и густо намасленными коровьим маслом волосами. — Когда же это, Алисташа, было? Глаза лопни, ежели я единое зернышко... Кажется, служу... Ах, царь мой небесный! Какая напраслина для праздничка...

Тут Фома покачнулся с очевидною целью грохнуться на меня всем корпусом, но мать удержала его и, оттолкнувши, сказала:

— Убирайся, пьяная морда! Возьму вот кочергу да как примусь возить... Ишь, нализались с хозяином-то...

Фому живо приподняли эти слова. Поправившись, он бойко подошел к матери, схватил и поцеловал ее руку и с глубоким раскаянием проговорил:

— Ах, маменька! маменька! Как вам не стыдно, однава дыхнуть... Для праздника и такие слова с вашей стороны! А уж кажется, что Фома в грязь себя лицом не ударит... Кажется, изо всей силы-мочи...

Мне почему-то противно было смотреть на это—и я уснул. Будили меня по временам крики матери, разговор Фомы, топанье мужиков, вносивших отца, как и меня больного, в горницу на руках и укладывавших его на постель.

Помню я: одни из мужиков несли самого отца, в руках у других находились его высокая меховая шапка с зелено-плисовым верхом,

третьи держали его красный кумачный кушак, войлочный теплый сапог, обшитый кожей. Все они говорили матери с улыбками, необыкновенно похожими на праздничную улыбку отца:

— Матушка! Извольте принять: все в сохранности. Вот кушак-с, а вот шапица, а вот деньгов рупь пять копеек... В цельности все, потому мы не какие-нибудь, а дети духовные, — своего батюшку-свишенника помним и знаем. По рюмочке, матушка, мужичкам для праздничка Христова, ежели ваша милость будет...

— Одних курочек, маменька, тридцать семь,— ласкательно говорил раскрасневшийся Фома, вдруг врываясь в горницу, — четыре петушка, маменька, сто двадцать шесть хлебцов-с. Вот мы нонешний день-с как с батюшкой орудовали-с... Пожалуйте ручку-с, маменька!

Мужики, смотря на ухарство Фомы, принимались смеяться, закрывая, впрочем, свои рты широкими и закорузлыми ладонями, чтобы попадья не видала их улыбок; а мать кричала на Фому:

— Разбойник! Разбойник! Доколе ты меня мучить будешь? Ведь это ты все батюшку пьянствовать-то назуживаешь. Чем бы поберечь хозяина, а он на-ка-сь! Ишь как сам нализался. Не просила ли я тебя, бесстыжие твои бельмы, поберечь его, а?.. Просила, иль нет, сказывай! Помяни мое слово, Фомка, — после нового года я тебя в три шеи от себя потурю.

— Ах, биспакойство какое, маменька, с вашей стороны, — восклицал Фома. — Словно бы вам Фома не слуга... Пожалуйте, маменька, ручку-с... Водочки, маменька, для праздничка и

Фомке-дураку поднесите-с, зауряд хоша с мужичками православными, потому рази вам, ваше приподобие, Фомка не усердный слуга?.. а? хе-хе-хе! Ах, маменька, извините мои дурацкие речи, ей-богу-с,—дело-то нони праздничное...

— Вон, вон пошел, пьяница! — кричит мать, отмахиваясь от Фоминых стараний схватить и поцеловать ее руку.

— Вон, вон пошел, вор! — кричу и я, подражая матери.

— Цыц, попадья, не сметь! Он мне друг, — командует с постели отец. — Ныне, знаешь, праздник какой? Не сметь!

Мужики дружным и согласным хором жужжат то же самое, то-есть, что ныне, матушка, праздник великий, обижать человека не следствует. Не трожь его — человека-то — по таким временам, — пущай его пьянствует, — на то и праздник самим господом даден...

Мать махала руками на эти резоны и уходила к отцу, который громко кричал:

— Попадья! пить мне скорей, с клюквой... А то я тебя живо разр-рушу...

Вследствие такого рода событий, в развеселенной праздником горнице нашей наставал общий плач всей семьи, от которого утихшие боли мои возобновлялись с новою силой, и я опять засыпал. Проснувшись, я с ужасом видел, что и в наших хороминах, и вообще во всем селе царят прежние серые будни, — работающие, унылые, изможденные...

Светлое и как-то болезненно гревшее солнце одним утром подняло меня с моей горячечной

постели. Подле моего изголовья, в истасканном, линючем платье и с растрепанными волосами, сидела моя мать и пахтала в большом горшке масло.

В это время все мое существо вдруг объяли какие-то новые силы, вследствие чего я, вставши, спросил у матери особенно твердым и сильным голосом:

— Прошло, маменька, рождество-то али нет? Ежели не прошло, так давай мне поскорее сюртук. Я пойду с тятей Христа славить...

— Святая, друг, скоро, не токма рождество,— отвечала мать. — Четыре денька только и осталось. Вставай скорей.

Я посмотрел в окно и увидел, что по улице уже бегут протоптанные среди нашей непроходимой степной грязи узенькие дорожки, называемые у нас *стежками*, глядя на которые, я сразу заключил, что около церкви взрослые сельские молодцы занимаются теперь постройкою лесов для праздничных плошек, а их маленькие братишки в совсем уже высохшей церковной ограде изо всех сил заваливают в звонкие костяные шашки.

Пришедши к такому заключению, я сразу встал, расчесал пятерней скатавшиеся в продолжение долгой болезни волосы, накинул на себя какой-то тулупишко и стремглав бросился из избы, босой и без шапки...

— Куда ты, куда ты, беспутный? — вслед за мной кричала мать, тщетно стараясь догнать меня.

— Ото-й-дди! — с сердитым плачем отвечаю я ей с полдороги от церкви. — Что тебе за

дело? Я играть буду в шашки, плошки буду салом наливать...

Постояла-постояла мать на грязной улице, помахала головой, подняла было с сердитою миной второй палец правой руки, как бы для угрозы, но потом сердитая мина вдруг превратилась в улыбку — и она ушла домой. Все это я очень хорошо помню, а потом уже я помню только то, что какая-то всего меня заставлявшая трепетать полнота охватила мою голову — и я будто вновь до беспамятства заболел, наливая плошки, обтесывая дощечки для их обстановки, воруя из дома коробки с зажигательными спичками и пр. и пр.

Эта боль — была глубокая радость долго болевшего организма при виде начинающейся теплой весны, которая с рассветающего неба вела с собой на наши грустные улицы светлый праздник — *праздник всех праздников...*

1870

БЕСПРИЮТНЫЙ

I

... Я сидел у ворот на лавочке в одной маленькой пришоссейной деревушке, весь отдавшись немому созерцанию шумных шоссейных проявлений.

Все обстояло благополучно: в десяти домах, из которых состояла деревушка, я насчитал шесть кабаков, три *белые* харчевни, два постоялых двора и несколько мелочных лавочек. Такой широкий коммерческий размах и притом в таком незначительном уголке давал бы самое отличное понятие о торговой предприимчивости туземцев, если бы вся деревенька, в буквальном смысле, не была залита мертвецки пьяными толпами, которые бесновались на улице на разные манеры.

Звуки гармоник и балалаек, лившиеся из широко распахнутых кабаков, горластые песни и унылые взвизги искалеченных шарманок, — все это скорее располагало думать не о торговом пункте, в котором кипит энергическая и более или менее молчаливая работа, а как бы о каком-то сказочном *острове беспрерывных веселостей и наслаждений*...

Бравой походкой, нисколько не свойственной сивым бородам, ко мне подскочил вдруг какой-то старик, голова которого вся поросла

седыми лохматыми космами. Театрально подперши руки в бока, он уставил в меня свои маленькие, суженные глазки и с азартом закричал:

— Подь сюда! Подавай мне, майору, сию же минуту лепорт.

Тут старик топнул ногою, сморщил брови, повелительно надул губы — и в такой позе долго и пристально всматривался в меня, как будто заранее обсуждая содержание ожидаемого от меня лепорта.

— Ха, ха, ха! — разразился он наконец старческим хохотом пополам с удушливым кашлем. — А ты думал, золотой, что это я на тебя вправду командую? А, ха, ха, ха! Нет, брат, я добрый.

Несмотря на разные развеселые шутки, которые проделывал старик, мне легко было поверить словам его рекомендации: красноватые и слезливые глаза его, в действительности, были очень добры и кротки.

Еще в первые дни моего знакомства с деревушкой, прежде всех ее шоссейных див, я уже приметил этого старика в истасканном сером чапане, молодецки накинутом на одно плечо, и всегда без шапки. Случалось и так, что его выкрики залетали с шоссе в мою комнату и будили меня. Они даже предупреждали ранние звуки пастушьего рога. Одним еще только глазком солнце поглядывало на шоссейные безобразия, проделанные ночью, а уже мне слышно было, как старик то, как бы буйствуя, погаркивал на проезжавшие по улице народы, возводя их более чем скромные общественные положения в высокие ранги генерал-майоров,

полковников и даже, как он говорил, фидьмаршалов, — то своим обыкновенным ласковым тоном он приветствовал всю эту трудовую, закорузлую и потому страшно обозленную толпу грациозными эпитетами, в роде золотенького, милашечки, голубочка, андельчика и т. д. до бесконечности.

Еще на желтом от ночной росы шоссе реяли какие-то серенькие игривые тени, обыкновенно летающие в предутренней молчаливой природе, — еще из пьяных голов, беспомощно приютившихся в канавах, прохладная ночь не успела прогнать сумасбродных грез, а старик уже дежурил на шоссе — и, по своему обыкновению, пошумливал и погаркивал:

— Литенант! Ты што делаешь, бес? А?

— Па-аш-шол-л тты! — уклончиво отвечало ему веселое утро угрюмым и пропившимся басом.

— Как пошол! Ты это, дьяволок, лошадей-то мутной водой поить вздумал? Ты рази не знаешь, как лошади на вашего брата за это серчают?.. А?..

— Па-аш-шол!..

— Осина горькая! Поди чаю напейся с похмелья-то али вина. Очнись! Я уж сам коней-то напою. Нечево кулачиной-то намахиваться. Сам тебя завсегда могу смазать, золотенький! Этак ли тебе сладко покажется от моего засвету!.. Хе, хе, хе!

— Па-аш-шол-л!

Вместе с пропившимся утренним голосом погромыхивали бубенцы чьих-то измученных и потому вздрагивавших лошадей.

Слышно было, как кто-то пересиливал кого-то, потом что-то тяжелое грозно бухалось в телегу, раздавался топот копыт, сопровождаемый звоном бубенцов — и после всего этого на затихшем на минуту шоссе снова полетывал беззаботною птицей веселый крик старика:

— С бог-гом! Супруге! Деткам! Скажи им: дед, мол, вам по гостинчику обещал принесть. Хе, хе, хе! Любят ребята гостинцы-то есть...

Как-то особенно приятно было просыпаться от этого веселого и шутливого голоса.

Встанешь, разбуженный им, выйдешь к воротам и видишь: стоит на шоссе какой-то отрепанный старикашка в самой обеспеченной позе, распевает он различные веселые песни, прерывая их по временам для того, чтобы предупредить путников насчет приятных случайностей, могущих встретиться с ними на шоссейном пути.

— Э-э-э! Проснись, проснись поскорее, удалец! А то на одной оглобле домой-то поедешь. Вишь, вон молодцы-то какие милые в канаве-то залегли. Это они твои боченочки облюбовывают...

— Што? што? — торопливо спрашивает сонный проезжий.

— Ничево. Губернатор проехал сейчас, так приказывал тебе верхнюю губу колесом отдавить. Распустил ты ее очень по дороге-то. Эх! Не бережлив же ты, паренек, насчет губ, — шутил старик, между тем как милые молодцы, любовавшиеся на боченки приезжего, подняли из канавы шаршавые головы и принялись грозить старику:

— Погоди, майор! Погоди, старая ведьма! Попадешься ты к нам когда-нибудь в лапу. Мы тебя погладим...

— Ладно! — соглашается старик, и в ту же минуту всем его вниманием овладевает какая-нибудь другая жизнь, появившаяся на шоссе.

Мне давно хотелось затащить к себе этого старика — и вот он сидит со мной на приворотной лавочке, наивно рекомендует свою собственную доброту, дружески поталкивает в бок и, осмотревши меня своими как бы на что-то жаловавшимися глазами, вдруг осведомляется:

— А что, полковничек (как бы тебе о сем деле доложить?), нет ли у тебя пятачка взаймы до завтрашнего утра? Верь, друг, отдам. Вот наношу завтра воды в трактир — и отдам. Я на этот счет справедлив. Ты, может, полагаешь, что я, выпивши, забуяню или за нехорошие слова примусь? Ни! Ни! Выпить я — выпью, но забидеть кого... Да сохрани меня царь небесный!

Говорил это старик убедительным тоном человека, который все свои силы направил к тому, чтобы и другие, как и он, выпивать бы себе выпивали, а буянить или нехорошими словами ругаться — ни, ни! Сохрани бог!

— Ух! Забрусило как натощак-то! — блаженно покряхтывал старик, закусывая крендельком наскоро обделанную выпивку. — Как есть по-майорски хватил — цельную косушку. Хе! То-есть, так это приятно спросонья старичку божьему опохмелиться. Очень дюже согревает. Я только

одним вином и держусь теперь. Ежели бы я им не занимался, давно бы уж и порешил. Так точно! Ты, брат-полковник, не сомневайся! Нечево на меня глазами-то вскидывать... Мне об этом лекарь один говорил. Он теперь, известно, сам с кругу спился — и, признаться, даже в запивойстве в своем приворовывать по-малости стал, но л-леч-чит... размое мое!.. Можно чести приписать! Имеет похвальные листы от именитых господ. Бумаги широкие — и все с разноцветными печатьми: кое место из красного сургуча приляпана, кое из зеленого. Ну теперича ходит он по нашим палестинам и, к примеру, исцеляет... Так што же я тебе скажу, сударь ты мой? Сидим мы с ним однажды в кабаке, он мне и объявляет: ежели ты, говорит, Федор, не желаешь скончаться скоропостижно, так до самой смерти беза перерыву и пей. И не увидишь, говорит, как умрешь. Словно как бы на тележке под гору скатишься... А перервешь, будет с тобою удар. У него таких случаев много бывало, — как же! Я, признаться, верю ему, потому, ах, какой добрый человек этот лекарь! Да по нашим сторонам и все ему верят, и денег с него никто не берет ни за еду, ни за ночлег; а бабы ему — так и рубашками жертвуют — старенькими. Нельзя, друг, не жертвовать. Слаб, слаб, а все же он человек есть. Так ли я говорю, господин фидьмаршал?

— Так! Так! — поспешил я согласиться с стариком, не желая прерывать ринувшегося на меня словесного потока, который лился из стариковских уст с тем поражающим обилием, с каким обыкновенно разговаривают люди, при-

ученые своею придорожною жизнию непременно потолковать с первым встречным.

— Не такай, голубица! Не поддакивай! — остановил старик мое поспешное согласие с выраженным им мнением. — Сами знаем, что добродетель-то значит. У нас тут, вот я тебе расскажу, каков случаек был: пленного турку ребята наши до смерти зашутили. От Севастополю он остался. Встретился кто, бывало, с ним на улице, сейчас его в бок. Здравствуй, говорят, туретчина! Известно, он одинокий — и опять же нехристь. Бывало, хватят-хватят по колпаку-то по ихнему; а он только что глаза уставит, ровно бы барашек бесноватый, а из глаз у него слезы-то, слезы-то... Ах, б-боже ты мой милосердый! Помирать стану, так вспомню, как эти грешные слезы точились... Три года мучился он таким-то манером, — ругаться было по-нашенскому привыкать стал, и все-то это в акурате; ну однако слег — не стерпел... Вижу я расплохие его делишки, прихожу: сейчас ему водки, горяченького пирожка такожде кое-откуда раздобыл. Гляжу: он пялит на меня глаза, словно бы и я его, как ребята наши, бить собираюсь, — руками на небо кажет — и со слезами хрипит мне: Рус! Рус! Старык! Господы... Так вот ты и думай тут, господин полицмейстер, что значит добродетель-то свою объявить человеку: нехристь, а ежели ты с ней по-душевному обойдешься, так и ей, небойсь, господь-то бог батюшка за первое дело припомнится...

— Но в этом разе я очень грешон! — сокрушенно исповедывался старик. — Потому как, — растягивал он свою речь, — позадился я к тому

гурку каждый день с винищем с эстим поганым шататься, — полагал, дурак, что это ему в утешенье и в усладу пойдет — и так это он от меня к вину приучился... Так приучился, — страсть! Умирать когда стал, совсем на последях уж бормочет: дай-ка, дай!.. — говорит. Даешь!.. Потому как не дать больному человеку?.. Но, милый генерал, заместо тово, я всегда желал его, штобы, то-есть, к христианской вере... Не попущено!.. Все грехи наши!.. А? Как ты рассуждаешь? Еж-жели бы не грехи-то?.. А?..

Глубокое уныние, с которым старик делал последние вопросы, было нарушено приходом к нам содержателя того постоялого двора, в котором я приютился. Это был высокий, крепкий старик в дутых, ярко вычищенных сапогах и с большою связкой ключей, висевшей у него на поясе. Он тоже уселся с нами на лавочку и, снисходительно улыбаясь, выслушивал, как Федор Василич рекомендовал мне его, как самого лучшего губернатора.

— Нет, ты гляди, баринок, — с непоколебимой верой в состоятельность своих слов покрикивал Федор Василич. — Глянь: чем это не губернатор. Он всей деревне у нас комендант. Ах-х! И добр же только! Какой он мне — пьянице — завсегда приют дает: летом на сене, зимой на печи разлягусь, — беда!

Говоря это, старик любовно обнимал и целовал степенного содержателя постоялого двора, повертывал его предо мною во все стороны, показывая мне таким образом то его широкую ситцевую спину и высокие, светлые задники сапог, то тоже ситцевую и широкую грудь и снис-

ходящее до шутливой улыбки серьезное, стариковское лицо, и подобные переверты продолжались до тех пор, пока какая-нибудь новая сцена на улице не призывала майора на подмогу своей беспомощности.

— Майор! Друг! — кричал кто-то у окошка, колотясь головой об грядушки телеги, которую с увлекающей бойкостью несла по шоссе маленькая вятка, увешанная бубенцами *малинового звону*. — Приостанови, сердечный, дьяволенка-то! Купил себе нового чорта; ни за што не стоит. Уж я ему и бубенцы-то новые понавешал (слышь вон, как позванивают, — разлюли малина!), и розовых лент-то в гриву наплел, — бесится — и кончен бал!

— Хо, хо! — завопил майор не своим голосом, покидая тряску, которую он задавал содержателю постоялого двора, и бросаясь на середину шоссе, прямо наперерез взбудораженной хозяйскими ласками лошади. Схвативши ее за узду в то время, когда она бешено встала на дыбы от неожиданного препятствия, майор радостно вскрикивает:

— А-а, Гаврюша! Т-ты? Как супруга? Детки?

— Слава богу! — отзывается Гаврюша, барахтаясь в телеге. — Майор! Подними, милый человек...

— Вот чудачок-то у нас, сударь, — сказал мне содержатель постоялого двора про майора. — Стар, стар, а сколько он этого винища осиливает!.. К ночи иной раз только ополоумеет. А смолоду что было, ежели бы вас известить, так это истинно страсти господни!..

— Да что же он у вас такое? Кто? — полюбопытствовал я.

— Уж и не знаю, как вам доложить про него, милостивый государь мой! Теперь он, конешно-што, в роде полоумного или блажного, но прежь того звонкий был человек.

— Звонкий?

— Так точно-с! Отличался Федор Васильев, может, на триста или на пятьсот верст по всей округе.

— Вот как?!

— Сущую правду докладываю. Человек был одно слово: ажже!..

— Как вы говорите, хозяин? Какой человек?

— Ажже, господин! Это он в старину сам себя прозвал на заграничный манер. Молод был, так перед девками хвастался, что он на всяких языках научился. А по-нашему ежели, по-русскому, ха, ха, ха! по-простому, так это выйдет—человек на все руки, и в рай, и в муки. Да вы его, ежели вам скучно у нас, порасспросите только, поразглядите — чудород, я вам доложу-с, — ей-богу! Я, сударь, признаться, рос с им — с этим самым майором — и как в те времена каменной дороги еще не бывало, то наши родители шли больше насчет щетины. Признаться, тогда сухопут был большой, — ну и обыкновенно и родители наши хаживали тем сухопутом со щетиной в Москву, такожде с салом, с кожами, а бывало и иное: занимались, примером, насчет пера, пуху... Вот мы и растем. Растем и играем. Наши игры деревенские известно какие; что увидишь, в то и играешь: орлишка молодого в грядках увидишь, его представляешь. Притаишься так-то,

съежишься весь в каком-нибудь уголку и для того, чтобы у тебя, как у орленка, губы белые были, то возьмешь, примером, слюны этак языком наточишь, да в каму к соседу и бухнешь украдкой...

— В редьку тоже, бывало, примемся, — продолжал хозяин.—Друг за друга ухватимся — орем: дергай! Майор всегда всех повыдергивал — силен был!.. Переняли, сударь мой, и мы от родителев наших торговлю—и пошли по ней в тихости с господом богом. Только вдруг из Москвы к нам в деревню весть приходит (а в Москву Федора Васильева, как он был очень боек, мастерству учиться послали): Федька, говорят, пропал! Известно, в деревне новостей мало, так мы годика два об Федоре поахали. Думали все: как так? Куда наша заноза девалась?..

— И вот, барин, как теперь вижу: сидим мы однажды на вечеринке, болтаем с девками, только вдруг входит к нам мужчина и говорит: вот они мы-то! Смеется! Мы сразу Федор Васильева признали и обрадовались ему. Спрашиваем: как? что? где пропадал?

— Пошел он тут пробирать нас стихами и прибаутками: был я, говорит (и все это скороговоркой отваливает), в Италии, немного подалее, был в Париже, немного поближе. Совсем было родимую сторону позабыть хотел, да пришодчи на четвертое небо, опрос получал: а где, говорят, у тебя, детинка, пачпорт?.. Должен был по эфтим делам вертаться назад к батюшке с матушкой...

— В лоск уложил он своим стихом всю компанью: а сертук был тогда надет на нем сукон-

ный, распервый сорт! Фалбара назади запущона, — взгляни да ахни! На жилетке цепочка блестит, — фу ты, ну ты, перевернись! Ходит он так-то по горенке, сапогами поскрипывает; а девки на него так глаза и уставили, словно бы коза перед обухом...

— Садим мы, наконец, тово Федора играть с собой в карты, в три листа. Сел — ухмыляется и ус поглаживает. Ну и обгладил же он нас вместе с этим усом! Каждый кон, каждую сдачу он, вражий сын, возьмет да всем хлюсты и навертит, а себе три туза и, обнаковенно, огребает себе деньгу, яко щучину... Но чести приписать ему надоть, — в конец не сфальшивил. Обругал он нас всех заодно нехорошим словом — и девок не постыдился, а прямо это, сударь, напрямки запустил. Где вам, говорит, со мною играть? Поприутерли бы себе носы прежде. И тут же нам всю механику объявил, то-есть как хлюсты подбирать; а деньги, какие выиграл, смаху все пропил вместе с нами, по-товарищески, а кое девкам и ребятенкам на гостинцы бросил. Мы, толкует, в этой гнили не нуждаемся; а сам все цепочкой-то своей пошевеливает...

— Еще пуще у девок глаза на него разгорелись; а бабы, так те пристали к нему с умильными расспросами: ну, как же ты теперича, Федор Васильич, купец али до господ дослужился?..

— Засмеялся он тогда и зычным голосом вскрикнул: милые товарищи! Гайда в харчевню! Нечего нам, удалым молодцам, с бабьем речи тратить...

— Так и не дал бабам никакого ответу!..

— Што, сударь мой, было тут у нас, у ребят, всякого буйства, я и сказать тебе не умею. Бесились года с два. Не только наша деревня, а даже какие по соседству с нами сидели, насквозь пропились... Соберут, бывало, нас старики на сход, сучинять примутся: «Ребятки, детищи наши! Побойтесь вы господа бога, войдите в разум! Ведь вас Федор, равно бы бес, обуял». Глядя на стариков, и мы прослезимся, бывало, примемся в ноги им кланяться... А ночью, глядь, он уж и орет: эх-эх-э! Молодчики, вы что же это? Своих стали в обиду допущать? Кто с Федор Васильевым за ведром отправляется?..

— Ни за что, бывало, не стерпишь, как это он таким манером погаркивать примется! Гужом за ним все: иной из лавки к нему летит, иной из-под отцовского караула шарахается, а те от жен улепетывают... Гам по деревне-то, плач, драки; а мы-то себе на всю-то ночь-ноченскую закатимся! Грянем это песню, в гармонии вдарим, в балалайки... Дорога-то у нас, бывало, стоном стонет: о-го-го! По лесам-то, бывало, гудет... Вал-ли!..

— Эх, раздолье! — только, бывало, пошумливает Федор Васильев. И шут его, прости господи, знает, откуда он только выкапывал деньжищу эту страшенную? Все ведь эти оравы, какие с ним хаживали, нужно было ублаготворить до отвалу. Только, бывало, подплясывает да подсвистывает. Гуляй, молодцы! Наша взяла!

— Вдруг, глядь: опять наш Федор Васильев сгас. Сгиб, словно в воду канул...

— Вошли мы маненько после него в разум — и перекрестились: слава, мол, тебе господи! Улетел, сатана!..

С немалым страхом наблюдал я после над кочевавшим из кабака в кабак с разными субъектами Федором Васильевым, отыскивая в нем ужасные черты того сатаны, от которого открещивалось, бывало, целое население. Действительно, огромная голова, окаймленная лесом седых волнистых вихров, делала этого человека похожим на статую Нептуна; но голова эта до того беспомощно клонилась к груди... А лицо так уж совсем не соответствовало грозно-божественным очертаниям головы: оно представлялось испуганным и болезненным, словно бы какая-нибудь сильная рука долго сжимала его в своем громадном кулаке и потом, вдруг отпустивши, оттиснула на нем таким образом следы своих линий в виде красных и синих морщин. По временам, впрочем, лицо его освещалось какою-то особенной энергией, однако вовсе не той, от которой, по рассказу содержателя постоялого двора, когда-то стоном стонала дорога и разбойницки гайгакал лес. Напротив, старик выражал ее озадаченным обращением красноватых глаз к небу, колочением себя по расстегнутой груди и нервическим дрожанием тонких, бледных губ.

В таком непобедимом всеоружии майор часто устремлялся в самую середину целой толпы друзей, только что сейчас угощавших его, и которые теперь из кабацкой духоты выбрались

на шоссе с целью разрешить какой-то, должно быть, весьма важный и до крайности запутанный спор. Громкий смешанный гул множества голосов, мускулистые, высоко махавшие в воздухе руки и, наконец, клочья летевшей во все стороны холстины и пестряди — все это делало спор до того оживленным, что и проезжие люди и мимо пробегавшие собаки описывали большие дуги для того, чтобы не быть втянутыми в круговорот этой неописанной страсти и не завертеться самим вместе с нею так же бешено, как вертелась она.

— Мил-лые! Гарнадеры! Да што же это вы, Христос с вами? — вопрошал старик, безбоязненно бросаясь в самый разгар возбужденного на шоссе вопроса.

— Капут теперича майору пришел, — потолковывали издали молодцы, вышедшие с гармониками полюбопытствовать для ради скуки насчет того, какая-такая на дороге потеха идет. — Уж кто-нибудь его там саданет!.. Ха, ха, ха!

— Надо так полагать, что «съездиють», — рассуждали другие, хладнокровно ожидая счастливых результатов от предполагаемой «езды».

«Езда» между тем в самом деле была до того необузданно быстра, что при одном намерении не только прекратить ее, а даже просто-напросто подступиться к ней, дух захватывало... Наподобие громадного, во все пары пущенного механизма, злобно, но непонятно ревела, стучала и грохотала мудреная поэма этой шоссейной «езды».

— Каков ты есть своему дому хозяин? — ко-зелковато, но еще состоятельно подщелкивал буйству главного голоса в механизме другой зубец, вострый и, должно быть, из самой креп-кой стали...

— Мы хозяева! — глухо ответил еще зуб, ви-димо тупой и пугливый, потому что, скрежетнув один раз, он только через долгое время повто-рил свое: м-мы хозяева! — и затем оконча-тельно был заглушен тысячью других голосов, хотя менее слышных, но зато до того дружных и бойких, что сквозь их слитно жужжавшую песню изредка только вырывалась азартно-ба-систая нота: н-не-ет! С-стой! Шал-лишь!..

— А право, сомнут они у нас старика. Ишь ведь вертит как, — мельница словно! — пере-брасывались словцами зрители с гармониками.

— Беспременно! Как пить дадут, — соглаша-лись другие. — Поминай теперь Федор Ва-сильича, как его по имени звали, по отчеству величали. Они ведь, эти плотники-то владимир-ские, черти! С ними поиграй только, так сам в дураках останешься... Ха, ха, ха!

— Быдто эти плотники? Истинно черти! Сцепились как, — никого и не признаешь. Только клочья летят. И рубахи стали не милы, даром што жены пряли...

Скоро, впрочем, хор, привлекший публику, стал понемногу ослабевать, и потому из него вырвался другой, знакомый голос майора, из всех сил выкрикивавший такую молитвенную скороговорку:

— Братцы! Да что же это вы? Перекрести-тесь! Плотнички-умнички! Что это вы, господь

с вами, как себя надрываете? Петя-голубчик! Перестань лютовать. Всех ты, петушок, пуще надсаживаешься... Ведь это он в шутку насчет, то-есть, жены... Где ему?.. Полковнички, целуйтесь живее! Н-ну, мир! А ты тоже галдишь: мы-ста хозява! Над чем это ты расхозяйничался спьяну-то?.. Про тебя вон тоже ваши ребята толкуют, как ты рожь мирскую зажилил. Семь, друг, четвертей — не картофельная похлебка. Только что-то добрые люди мало им верят, ребятам-то вашим. Так-тось! Ну, мировую, што ль? Ходит? Я уж, брат, знаю... Хе, хе, хе!

Певшая с такою дикой энергией машина совсем расхлябла от этого голоса. Как бы в глубокой устали она изредка только попыхивала своими первыми басистыми голосами, между тем как голоса второстепенные, прежде было забравшие так бойко и дружно, теперь окончательно замолчали... Наконец машина затихла совсем, как бы остановившись, — и тогда уже явственно можно было видеть кучу людей, из которых одни целовались с видимой целью помириться и на будущее время жить как можно дружнее, другие умывали окровавленные лица, третьи отыскивали сбитые с голов шапки и сорванные с шей кожаные кошели.

— Ишь ведь, идолы, расщепались как! Ополоумели ровно, — удивлялся деревенский публикат. — Батюшки! Свету-преставленье, как есть! Гляньте-ко: у Федоски-то носа нет, только кровь одна!.. Ха, ха, ха! Урезонили же его...

— Добрые! — похвалил наш майор кучку людей, теперь дружно и тихо о чем-то совещав-

шихся. — Что за анделы ребята, — сичас умереть! И оказия же только с ними приключилась, — ей-богу! Допрежь все артелью живали, друг за друга горой стаивали...

— У тебя все добрые! — с недовольством отвернувшись от старика, ответил ему содержатель постоялого двора. — Палка-матушка плачет по этим по добрым-то. Буйства какого наделали посередь белого дня. Тут, брат, тоже господа проезжающие разъезжают...

— Э-эх ты, друг сердечный! — почему-то пожалел его старик. — Пр-роезжающие!.. Што же теперь и слова нельзя сказать никогда?.. Проезжающие!..

Проговоривши это, Федор Васильев смиренно поплелся к кабаку, из окон и дверей которого давно уже ласково и плутовски-секретно подманивали его какие-то чем-то как бы переконфуженные лица толстыми и мозолистыми пальцами...

II

Проснувшись одним утром, я увидел, что обжитая мною комнатка вмещает в себе не одну мою тоску. На полу, в уголке, как раз напротив моей кровати, застланной пахучим сеном, лежал какой-то серый армяк с длинным кожаным воротником. Из-под армяка, с тем многознаменательным молчанием, которое примечается в ржавых старинных пушках, расставленных по некоторым нашим городишкам в видах напоминания славных отечественных событий, на меня сурово и презрительно поглядывали большие, но истасканные и грязные сапоги. Затем уже видне-

лась косматая, седая головища, безмятежно покоившаяся на большом, костистом кулаке.

— Ну уж это ты, майор, напрасно так-то, — сердито заговорил содержатель постоялого двора, входя ко мне в комнату с звонко кипевшим самоваром. — Я, друг, вашего брата не очень одобряю за такие дела. Эва! К господину в горницу затесался!.. Хор-рош!

— Толкуй про ольховые-то! — по своему обыкновению, не задумываясь, ответил майор, живо выхватывая из хозяйских рук самовар и устанавливая его на столе. — Я, брат, теперь сам стану служить барину, потому я очень его полюбил со вчерашнего числа. Мы с ним таперича без тебя обойдемся чудесно! Ему со мною веселее будет, а я тоже за его харчами приотдохну малость... Где у тебя чай-то, полковник? В шкатулке, што ли? Так ключ подавай.

Я покорно подал старику бумажный картуз с чаем.

— Вот это чаек! — понюхивая и заваривая чай, толковал майор. — Это, брат, признаться... Точно что чай! Рубля три, небойсь, отсыпал за фунт-от?.. Этого, друг, ежели чаю попьешь, — наставительно обратился он к хозяину, — так, пожалуй, и опохмеляться не захочешь, сколь бы в голове ни звонило... А ты опохмеляешься по утрам-то? — перескочил он вдруг ко мне. — Дай-ка на косушечку, я прихвачу покамест на свободе. Оно перед чайком-то, старые люди толкуют, в пользу...

— Вот всегда такой бес был! — осуждающим тоном заговорил хозяин после ухода старика. — Н-нет! Я вам, сударь, вот что доложу: в-вы его

в жилу! Я уже от него открещивался. Не раз и не два выкурить от себя пробовал, — нейдет, хоть ты што хошь... Только и слов от него, что притворится сичас казанской сиротой и начнет тебе про добродетель рацею тянуть: куда же, говорит, я денусь, добрый? А винище... небойсь!.. Такой фальшивый старичишка!.. Чай прикажете наливать? Как изволите кушать: в накладочку али с прикуской? Лимонту у нас на-днях партия из Москвы получена; ах, сколь крупен плод и на скус приятен! Мы с старухой по тонюсенькому вчера ломтику в чай себе положили, дух пошел на всю спальню. Молодцы пришли из стряпущей — спрашивают: от чего от такого, говорят, у вас, хозяин, такие благоухания? Право, ей-богу! Мы, значит, с старухой засмеялись и осмотреть им энтот самый фрукт приказали. Дивились очень. Что значит простота-то! Хе-хе-хе! Так прикажете лимончику, — мы сейчас сбегаем. Ну а майора, конешно, как, к примеру, мне постояльца своего спокоить нужно, кормить-поить его подобает, то вы точно што извольте его от себя вон. Потому, — добавил хозяин с шутливой улыбкой, — окроме как он вас обопьет и объест, он сичас в горницу к вам может иное што пустить. Так-тось! Мы довольно даже хорошо известны, сколько разведено у нищих этой самой благодати. Я уж его и не спускаю никуда, кроме как на сеновал либо на печь в избу с извозчиками. Для ихнего брата это все единственно... Привыкши!..

— Полно тебе судачить-то! — перебил хозяйскую речь возвратившийся майор. — Небойсь, он тут про меня тебе наговаривал, штобы,

то-есть, майора в три шеи. Зверьками, надо полагать, моими тебя запугивал? А ты их не бойся, андельчик, потому они для горьких сирот все одно што золото... Ну-ка начинай, полковник, малиновку, — потом я за тобою с молитвой...

— Так-то, друг! — развеселял старик иногда недолгие дни нашего с ним дружного сожительства, когда в них вкрадывалась какая-нибудь пасмурная, молчаливая минута. — Вот, браг, мы таперича вместе с тобою живем. Живем-поживаем, добро наживаем, а худо сбываем... Тоже и я сказки-то знаю, — не гляди, что старик. Што приуныл? Авось не в воду еще нас с тобой опускают. Сбегать, што ли? — подмаргивал он глазком в сторону одного увеселительного заведения. которое всегда снабжало его самыми действительными лекарствами от всех болезней — душевных и телесных.

Энергии и уменью старика, с какими он, смеясь и разговаривая, подметал комнату, зашивал свою рубашку, наливал чай, ваксил сапоги, предательски захваченные еще с вечера на соседний с нашим жильем сеновал, — решительно не было пределов. Вообще это было какое-то всеми нервами дрожавшее и певшее существо тогда, когда ему приходилось выхвалять доблести посторонних людей, и как-то странно унывавшее и съеживавшееся в случаях, ежели чье-нибудь любопытство старалось заглянуть в его собственную жизнь.

Неустанное шоссейное движение, которое мы обыкновенно созерцали с стариком с балкона,

вызывало в нем тысячи рассказов, имевших целью не только что познакомить меня с промелькнувшим сейчас человеком, но, так сказать, ввести в его душу, вглядеться в нее, вдуматься и потом уже, вместе с ним, одною согласною речью удивиться той несказанной доброте, которая, по стариковым словам, «сидит в этой душе испокон века».

— Друг! Проснись! — поталкивал он меня локтем в бок, когда я принимался за какую-нибудь книгу или просто так о чем-нибудь задумывался. — Вишь: самовар-от как попыхивает! Глядеть лучше будем да чай пить, чем в книжку-то... Смотри: сколько народу валит, беда!

Начинались нескончаемые, одни другой страннее, характеристики проезжающего народа. Рассказывались они так же быстро и смешанно, как быстро и смешанно, обгоняя друг друга, стремились куда-то дорожные люди.

— Майор! как это тебя на балкон-то взнесло? — шутил какой-то благообразный купец, остановивши напротив нас свою красивую тележку. — Братцы мои! Да он с господином чаи расхлебывает, да еще с ложечкой!.. Уж пил бы ты лучше мать-сивуху одну, — вернее. Слезай — поднесу.

— Надо бежать! — говорил мне майор после запроса, предложенного им купцу, относительно благоуспешности его дел. — Человек-то очень хорош. Больно покладистый гусар! Ты не глуши самовара докуда, я мигом назад оберну.

Возвращался старик со щеками, нежно подмалеванными ярко-розовой краской. Благодушно

покашливая, он потчевал меня гостинцами от купеческих щедрот и говорил:

— Кушай колбаску-то, не брезгай! С чесночком! Она, брат, чистая, только из лавки сейчас. Яблочком вот побалуйся. Н-ну, друг, вот так гражданин!

— Кто?

— А вот этот самый, который угощал-то! Капиталами какими ворочает, не то что мы с тобой. И с чего только, подумаешь, взялся человек? Помню я, мальчишкой он иголками торговал. А теперь у него по дороге калашных одних штук двадцать рассыпано. Кабаков сколько, постоялых дворов, — не счесть! На баб какой молодчина, так и ест их поедом: женат был на трех женах — и все на богатых. Родные ихние как к нему приставали: отдай, говорит, нам обратно приданое; но он на них в суд. Умен на эти дела, — всех перетягал... Теперь принялся огребать любовниц. Как попадет к нему какая, уж он ее вертит, до тех пор вертит, пока она ему всех потрохов-то своих не выложит. Нонишней порой обработал он вдовую помещицу — и живет с ней. Помещица как есть настоящая барыня — и с имением (уж все именье-то, дура, под него подписала). Так он, сударь ты мой, так ее вымуштровал, так вымуштровал... Ты, говорит, музыку-то эту забудь, а учись-ка лучше калачи печь. Што же? Ведь выучилась. А как она ежели в слезы когда али в какие-нибудь другие бабьи капризы ударится, он сейчас ее на цельный день садит в ларь продавать калачи. Извозчики-то грохочут, грохочут. Иному и калач-то не нужен, а все же подойдет: над ба-

рыней, как она, значит, мужику придалась, посмеяться всякому лестно...

— Да что же тут хорошего, дед? По-настоящему-то он мерзавец выходит.

— А я про што ж? — отвечает дед. — Ты думаешь, я его хвалю за это, што ли? Да я его онамедни вон в энтой харчевне, при всем при народе, так-то ли отхвостил, — не посмотрел, что богач (признаться, были мы с ним тогда здорово подкутимши). Я шумлю ему: зачем ты из своих работников кровь пьешь? Зачем им денег не платишь, по мировым да по становым поминутно таскаешь? Попомни, говорю, меня: уж накажет тебя господь бог за такие дела, взыщет он с тебя за рабочие слезы, за каждую капельку... Што же, ты думаешь, он мне в ответ на это? Заплакал ведь, — самою что ни есть горячей слезою залился и говорит: «Перестань меня срамить, Федор Василич! Чувствую сам — взыск с меня большой будет на страшном суде; но иначе жить мне невозможно никоим образом. Сначала, говорит, мошенничал я кое от бедности, кое себя от других аспидов сберегал, а теперь привык, втянулся... Надуваю когда какого человека или просто, смеха для ради, каверзу ему какую-нибудь подстраиваю, все нутро изнывает у меня от радости, — голова ровно у пьяного кружится... И никакими манерами в те поры мне совладать с собой невозможно... А што, говорит, Федор Василич, насчет сердца, так я очень добер: бедность всячески сожалею и очень ее понимаю; но только чтоб я помог ей, — никогда! Хошь расказни, так ни гроша не дам, потому как только она,

бедность-то, пооправится, встанет на ноги-то, пооперится безделицу, над тобой же надсмеется и тебя же обманет...»

— Ведь што только придумает человек на свою муку? — продолжал старик в сильном раздумьи. — Вот ты тут и суди про людей. Я, друг, как услышал от него такие слова, не стерпел: сам заплакал — и не токма што срамить... Уж до сраму ли тут, когда видишь, что человек об своих грехах сокрушается не слезами, а всей кровью... Утешал, утешал я его, так и бросил, потому принялся он в трактире скатерти рвать и посуду бить... Харчевнику это на-руку, потому богач, — очнется, за все наликом платит... Еще харчевники-то нарочно таких людей поддражнивают: а ну-ка, говорят, разбей посудину при мне... «Ежели бы ты, — натравливают, — при мне смел этак сбедокурить... А, ну-ка, ну-ка тронь!.. Тронь!..» Так-то, друг! Можно, можно, сердечный, к такому привыкнуть, — самому на себя глядеть тошно будет... С кем поведемся... По себе знаю...

Думалось в это время, что старик, по любимому людскому обычаю, сейчас же начнет рассказывать какие-нибудь события из своей собственной жизни, которые бы подкрепляли его мысль насчет человеческой способности переламываться и склоняться в сторону, совершенно противоположную прирожденным влечениям, — так и ждалось, что вот-вот из стариковской памяти вырвутся рассказы и воспоминания о тех людях, связь с которыми научала его *по себе знать* и видеть разнообразные человеческие немощи, подвигающие на участие к ним там,

где другие люди видят одни грехи и преступления, достойные кары...

Но никогда не исполнялось мое ожидание. Подкарауливши за собою словцо «по себе знаю», старик съеживался, конфузливо и секретно поглядывал на меня, бормотал что-то в роде того, что слово не воробей, а летает — и, наконец, стремительно перескакивал к другим людям и толковал о других людях, попадавшихся на его зоркий глаз.

Оглушающее и слепящее жужжанье и роенье разнохарактерной шоссейной толпы ничуть не смущало старика и ни на волос не отвлекало его от глубоко засевшей в нем мысли — неизбежно заканчивать самым оправдывающим и даже хвалебным акафистом все свои повествования о различных жизненных промахах шоссейцев, об их умышленных подлостях, пошлостях, как говорится, *с дубу* и т. д. и т. д.

— Што доброты в этом человеке, боже ты мой! — неопределенно покивывая на кого-то головою, задумчиво говорил старик. — Вот уж ей-богу! Зависти во мне ни к кому, а ему, ежели он примется людям милостыню делать, завидую, — в этом я грешон! Рубаху он тогда с себя скидавает, смеючись благолепно нищенькому ее отдает, на плечи к нему с целованием братским головою поникнет и, плачучи, скажет: ах! нет у нас с тобой силушки-матушки! Потерпим собча, друг мой сердечный, во имя господне!..

— Это ты, дедушка, все насчет купца?

— Какое там лешего про купца? — сердился дед и тыкал пальцем на шоссе; а там шагал какой-то высокий, с коломенскую версту, рыжий человек, худой и бледный, в обдерганном тряпье и босовиках, на которые прихотливыми фестонами опускались концы пестрядинных штанов. Шел этот человек широким, но медленным шагом, опустивши голову и сложивши руки на груди. По временам его ввалившиеся, бледные щеки вздувались, и тогда он болезненно кашлял. Гулко раздавался по деревушке этот октавистый, напоминавший гневное львиное рыкание, кашель; но старик, не обманываясь силой этого голоса, говорил мне:

— Ты на голосину на эту не гляди! Недолго ей на сем свете осталось гудеть. До осени, может, как-нибудь перетерпит. Он к нам годов с пятнадцать тому прилетел и стал наниматься траву косить. Говорит: — больше ничего не умею! — а у нас, я тебе скажу, ежели захожий человек хорош, так насчет пачпортов слабо. Дал там что-нибудь Гавриле Петровичу (писарь у станового живет) от своих трудов праведных, — шабаш! Живи — не тужи! Вот он и живет у нас да косьбой и дроворубством себя и пропитывает...

В этом месте рассказа старик наклонился к моему уху и таинственно зашептал:

— Мы, брат, друзья с ним бедовые! Он из Москвы, и отец у него, как бы тебе сказать, потомственный почетный гражданин. За свою торговлю самим царем произведен во дворяне и имеет у себя на шее генеральские звезды все до одной. Ну, а этот из юности еще маненечко

рассудком тронут... От библии... Пристал, сказывают, любименький сынок к отцу, штобы он, к примеру, роздал бы, как Иисус Христос повелел, все свое имущество бедным... Отец его сначала лечить принялся, а он ему все: «В тебе, говорит, тятенька правды нет! Ты, разговариваеш, царства небесного не наследуешь». Старик смотрел-смотрел на него да и проклял... Он вот взял, прибежал к нам — и живет, смирно живет: дрова рубит, сено косит, — рыбки вон тоже кое-когда случается ему изловить, — продаст — и питается. Смирно живет, только в случае, ежели пьяная муха ему в голову залетит, к богачам всячески придирается... Терпеть их не любит! А место у нас, сам видишь, бойкое, — проезжает всякий человек. От скуки, известно, полоумного всякий напоит, а он после этого, только встретит кого мало-мальски с мошной, — сейчас руки в карманы, по-барскому, и пошумливает себе: «Дорогу дай московскому первой гильдии купцу Афанасью Ларивонову! А то морду расшибу...» Бьют его страсть как наши-то — и смеются! По началу, когда еще силен был, отбивался и сам всех больно колачивал; теперича ослабел! Я вот иной раз умаливаю, штобы отпустили... Опохмели ты его, Христа ради, голубчик! У него и радостей только всего осталось, что ежели сердце потеплеет от выпивки. Ах, и добредетелен же этот человек перед господом богом! Дай мне, дурачок, гривенничек, — я ему снесу. Бог с ним! Ты не жалей, брат, денег-то! Пусть он повеселится перед своим последним концом!

Таким образом шла наша жизнь с стариком, как он говаривал, в полном удовольствии, без обиды...

— Ах, ангелы небесные! — восклицал он в минуты внезапно откуда-то наплывавшего на него счастья. — Как это я с самого с измальства люблю жить с людьми тихо, скромно, благородно...

— Дело ведомое! — сатирически соглашался с ним содержатель постоялого двора, случайно подслушавший стариковское воззвание. — То-то, должно быть, твое благородство и проходу-то никому никогда не давало... Мальцом был, колотил всех...

— А дражнили вы меня очень, сердечный! Нельзя было иначе-то... Опять же глупость моя... Силенка тоже... Э-эх-хе-хе! Друг! Друг! За это взыскивать рази возможно?

— Вырос, из ученья убег — пропал...

— Люди нехорошие соблазнили, мил-человек! Опять же холод энтот мастеровой, голод... Ночей не спали, черствого куска не доедали... Ты поживи-ко-сь в Москве-то, друг! Недаром про нее пословица ходит: Москва, говорит, слезам не верит... Тут, братец ты мой, за кем хочешь пойдешь, как бы собака какая голодная... Перед всяким хвостиком-то повиляешь...

— Што ты мне про это разговариваешь? — сердито продолжал свое обвинение содержатель постоялого двора. — Ну, прибегши к нам, што ты стал делать? Опаивать, на всякое буйство травить... Какой ты есть человек?

— А это мне с товарищами — с друзьями — желательно было кручину мою разогнать...

— Сговоришь с тобой — с бесом! Зачем же ты опять-то пропал?

— А надоели вы мне!.. — без запинки отвечал старик. — Опротивели хуже соленого озера — вот я и убег. Опять же к тому времени у меня еще охота приспела — постранствовать, святым местам помолиться, хороших людей посмотреть...

— З-знаем! — угрюмо говорил хозяин, выходя из комнаты и мимоходом бросая, видимо, ко мне уже направленное замечание насчет где-то будто бы существующих господ, которые до того бесстыжи, что водятся со всякой шушерой.

— Мужик, так и то из одной милости ночевку дает, можно сказать, ради Христа; а тут на-ка! За один с собой стол пущают... Шуты!

Таким образом, чем теснее устанавливалась наша с майором дружба, тем хозяйские нападки на него делались чаще и ожесточеннее.

— Он всегда так! — извиняющим шопотом говорил мне майор после трепок, задаваемых ему нашим общим патроном. — Он не любит этого, чтобы, то-есть, я к евойным господам вхож был. Всегда, всегда так!.. А то он добрый!.. Ты на него не жалобься. Он, брат, гляди какой! Просто, я тебе скажу!.. Поищи такого другого...

Старик при этом пугливо посматривал на дверь, обладавшую способностью расстраивать наши тихие беседы, как бы ожидая, что вот-вот отворотится она — и покажет нам сперва седую, иронически улыбающуюся голову, потом ярко вычищенные дутые сапоги, которые сверх вся-

кого человеческого ожидания заговорят нам живым языком, в одно и то же время и снисходительно, и упречно: «Ну, что, мол, друзья? Как вы тут? Позвольте на вас посмотреть?»

— Хороший он, брат, человек, — все более и более оправдывался старик под влиянием ожидаемого ужасного видения. — Он тебя оборвать — оборвет, это правда! Потому у него зуб уж такой... Но зато, ежели бы ты знал, как он меня милует... Ведь я тоже в старину о-ох какой был! Ягода-малый! Ведь это он про меня все правду-матушку режет. Много тоже и мы добрым людям тяготы понатворили. Запивахой был, буяном, драчуном был, — добрым человеком только не был... Нечего греха таить!..

Большой страх нагонял содержатель постоялого двора на старика, так что ему надобилось очень много времени для того, чтобы свалить с себя тяжелое впечатление и снова войти в колею своих нескончаемых восхвалений мелькавшей перед нами жизни, точно так же, как и с моей стороны требовалось изрядное количество малиновки, чтобы он скорее и успешнее мог из мокрой, застращенной курицы превратиться опять в майора и вместо унылого раскаяния в своих собственных прошлых грехах принялся за убранство этой убогой людской суетни сокровищами своей доброй души.

———

— Уех-хал! — вдруг иногда восклицал старик, живо порешивши с тем оцепенением, которое навел на него дворник. — Слышь, енерал? За сеном отправился хозяин-то наш! Ишь как по-

катил, добренький! Ах, жеребчик этот у него справедлив очень; у мужичка тут он его у одного по соседству за долг заграбастал — и мужичок этот, я прямо тебе скажу, несчастненький такой, — овдовел, сам-сем с ребятишками остался с маленькими; теща — в суд его, пить принялся; зовет он, признаться, меня в отцы к себе...

— Чем тебе, — говорит он, — Федор Василич, по чужим людям шататься, приходи-ка ко мне. Авось на печи место найдется. Ну, а я, когда он со мной начнет этаким манером разговаривать, думаю про себя: вот клад нашел, чудачок! К малым-то да еще старого захотел приспособить... Нейду, — право слово! Думаю: лучше же я по улочке как-нибудь разойдусь, — по крайности, хоть разомну жениховские кости, чем им на чужой печи-то валяться... хе, хе, хе!..

Пользуясь драгоценной свободной минутой, старик встаскивал на балкон живо вскипяченный самовар, с стремительностью, свойственною только обезьянам да сумасшедшим, бегал из лавки в кабак, из кабака в белую харчевню, где отыскивал все возможные произведения природы и искусства, имевшие сугубо скрасить наш праздник, и наконец, запыхавшись, он садился напротив меня, освещал меня широкой, по всей бороде его сиявшей улыбкой и говорил:

— Получай сдачу! Три, брат, гривенничка! Нарочно новеньких выпросил. Пущай, мол, думаю, он их в клад положит... А ты думал как? Ты, может, думал — утаит, мол, майоришка мои деньги... Как же! Я з-знаю: ты и сам мне дашь.

Хе, хе, хе! Ну, будь здоров! Тебе налить перед чаем-то?..

Затем наша комната наполнялась разновозрастными ребятишками, которые, картавя и взвизгивая от каких-то внезапно приспевших радостей, вскакивали к старику на колени, дергали его за бороду, щелкали его по лысине, воровали приобретенные им произведения природы и искусства и с громким хохотом толковали мне:

— Балин! Акшан Фаныч! Сто ты сталика не выгонис? Ево все у нас по сеям гоняют... Мамка говолит: он — дулак, пьяница! Ха, ха, ха!

Старик барахтался с детьми, удерживая на своих коленях целую охапку всевозможных шалостей, и в то же время таинственно подмаргивал мне: гляди, дескать, как разбесились! Уйму нет никакого! Смотри — не спугни только; а то все это веселье живо слетит с них, как птицы с дерев...

В полуотворенную дверь нашего обиталища, смеясь и робея, поглядывали какие-то люди, с которыми я отчасти был уже знаком, благодаря рассказам майора, и которых обыкновенно мой хозяин сурово отгонял от своего дома. Видимо было, что им очень желалось проникнуть в комнату; но из какой-то боязни они не шли внутрь нашего светлого ребячьей радостью чертога, а только почтительно улыбались и нерешительно толклись на одном месте.

— Што заробел? — ободрительно крякнул майор какому-то старику, вставившему в дверь свою жидкую, черную с резкой проседью бороду. — Ай ты не видишь, к какому ты барину

пришел? Не тронет, — будь спокоен!.. Не пьянство тут какое у нас идет, — Христос с нами!

Ободренный этим приглашением, старик входит к нам и сочувственно спрашивает:

— Што, уехала наша кандала-то? Запировали?

— Уехала, брат! — торжествует майор. — За сеном укатила, только бубенцы зазвенели... Ха, ха, ха! Пей чай, — садись!

Посторонний старик, желая показать мне свою серьезность, не имеющую ничего общего с звонкой веселостью набравшихся в комнату ребят, начинает со мной солидный и вместе с тем нежно ласкающий разговор:

— Позвольте, сударь, спросить, в каком чине находились?.. Видим — живет у нас барин... Очненно это антиресно...

— Што ты эту пустяковину-то разводишь? — укоризненно перебивает майор нескромный вопрос. — Ты прямо говори: желательно, мол, мне, сударь, водочки у вас пропустить... Вот тебе и сказ весь! А то — в каком чине? Кушай-ко-сь на доброе здоровье. Не обидит, — будь спокоен. Сказано уж!.. В каком ч-чине... Ну-ка перекрестись!..

Дым пошел у нас коромыслом! Ребятишки весело возились, отбивая друг у друга какую-то картинку, найденную ими на столе; майор хохотал и подзадоривал их; а посторонний старик, сделавшийся уже непритворно серьезным, то грозно прицыкивал на детей, представляя им всю несообразность их буйственных поступков, проделываемых перед барином, то с манерой, обличающей самого светского человека, указы-

вал перстом на розовый полуштоф и спрашивал меня заплетающим мыслете языком:

— Ваше высокоблагородие! Можно еще... Будьте без сумления: м-мы не какие-нибудь... Сами во всякое время, во всякий час можем ответить хорошему человеку за его угощение... Тоже вот состоял у нас на знакомстве гос-сподин полковник один, из военных... Так это, примером, на плечиках у него золотые палеты лежат... Он мне однажды говорит: др-руг-г!..

— Пош-шел ты, господний человек! — прекращает майор эту откровенность, наливая знакомому с полковником человеку полный стакан водки. — Вот дерни лучше, чем небо-то языком обивать...

— Это так! — меланхолически соглашается посторонний старик. Затем он, зажмуривши почему-то глаза, медленно выпивает поднесенный ему стакан, тяжело вздыхает и задумывается о чем-то, должно быть, весьма важном, потому что задумчивость эта разрешается громким ударом по столу и буйственным криком:

— Майор Федр Васильев! Ты меня знаешь? Сколько раз учил я тебя? Говор-ри! Отчего ты мне — здешнему обывателю — ответа не даешь никакого? Ты кто передо мной? Червь!..

— Свалился с копыт, — шабаш! — докончил майор эту речь. — Надо пойти — позвать сына-сапожника, чтобы убрал отца. Добёр старичок-то очень, только вот забрусит у него ежели, — блажит... Ах, как блажит! Бедовый! Ты не гляди, што он беззубый совсем...

— Што это, как крепко наш тятенька захмелели? — говорил приведенный майором молодой

парень в загрязненном фартуке из толстого полотна и с ремнем, опоясывавшим его голову. — Потешно это однако, как они накушались! Ах, сударь! Вы нам и не в примету, — извините-с! Мы тут, признаться, сапожники, — свое мастерство открыли, потому как в Москве, у этого у самого Пироне, первым мастером бымши-с!.. Нильзя-с... Пожалуйте ручку-с... Очень приятно!

— Пей-ка вот, пей, да отца-то бери! — подносит майор стаканчик и этому молодцу. — Ах, не люблю я в молодых ребятах, как это они одни пустые разговоры разговаривают! Рады теперича, што барин молчит... Да почем ты знаешь: он, может, теперь про тебя самым поскудным образом понимает!.. Может, он над тобою надсмеивается; а может, и жалеет он нас с тобой — дураков...

— Нет-с! Помилуйте, Федр Василич-с! Зачем же-с? А как у нас, по нашим окрестностям, нет настоящих господ... Самим вам это довольно даже известно-с... Но заместо тово в Москве у нас всегда тебе папиросу дают... Извольте, говорят, вам, господин мастер, папиросу, — верно-с! Потому больше все в долг отпущали... Мы вот к чему-с!..

— Ну, так ты, выходит дело, и пей!..

— А за это мы вам благодарны!.. Вот как, — одно слово!.. Мы тоже, сударь, наслышаны об вашей простоте, — обратился молодец с своим глубоким поклоном в мою сторону, несмотря на то, что стакан подносил ему майор, а вовсе не я.

Все наше так нечаянно собравшееся общество глубоко увлеклось переноской постороннего

деда под его собственную кровлю. Майор кричал ребятишкам:

— Подхватывай, подхватывай его под голову-то! Ах, пострелы вы этакие! Не видют, как она у него под гору завалилась! За што же я вас гостинцами всякими угощал?

— Да што, дяденька, — плаксиво отвечали ребятенки, совсем уже бросая порученную их попечению голову. — Ты лучше к голове сам приступись, а мы за ноги будем... А то он тут-то кусается... За палец меня тяпнул сейчас...

После этой переноски у нас сделалось еще веселее. Ребятишки начали *приставлять*, как большие в гостях бывают, что они там делают, — с умильными рожицами просили денег на гостинцы, друг перед другом разбалтывали семейные тайны; а майор, балуясь с ними, в то же время говорил мне, положивши свои руки на мои колени:

— Нет, ты гляди, што у нас за ребята! У нас ребята — вор! С чево? А отцов у них нет, — вот с чево! Ха! Мы тоже, брат, кое-что понимаем, — не лыком шиты... Вот они теперича говорят: дед-дурак. А кто их этому выучил? Можешь ты об этом понимать? Нужда выучила!.. Отцы все живут кое в Питере, а кое в Москве, — пишут оттуда женам: «Ежели в случае чего, избави тебя господи!.. Лучше тебе живой в могилу зарыться!..» Пописывают так-то, а сами по пяти годов в погребах в московских торгуют, в услужениях в разных живут, в трактирах... И выходит такое дело, што бабы без мужьев смертной тоской тоскуют; девок без ребят тоже одурь берет; а тут жандары пришли к нам, всякий гу-

лящий народ идет... Вот они беспутные ребятишки-то у нас и рожаются.

— Н-ну только пошли ты, друг сердечный, мне, старичку, еще кое за чем, — потому старичку тошно разговаривать об этом поскудстве... Давай, — добегу...

— Куда ты тепель пойдешь, дедуска? — говорит какой-то мальчуган, устремивши в деда черные, любопытные глазки. — Ты пьян теперь. Меня лучше пошли, — я тебе живо скомандую.

— Уж тебе-то и скомандовать! — спорит другой, более взрослый малыш. — Ты вот штанишки-то поскорее учись подвязывать... Ха, ха, ха! А то тоже за вином итти хочет.

— Меня мама завсегда посылает. Дяденьки, какие ежели у нас бывают, тоже смеются надо мной, — говорят: действуй, Мишутка, в кабак, — тебя не обманут... Не таковский!

— Добрые ведь; а чему с самого малолетства обучаются от этого гулящего народа, — беда! — лаская ребятишек, жалуется мне старик. — Из люльки прямо — марш в кабак! На всякий соблаз, на воровство, на буянство на всякое. Ох, ребята, ребята! Жаль мне вас, до смерти жаль; а поделать с вами ничего не могу... Ничего нет у деда, — обеднял дед!..

Старик наклонился к моему уху и зашептал:

— Вот я у тебя пальто вижу. В залишке оно у тебя и ни к чему тебе не пригодно. Отдавай ты его вот этому ребеночку. Какую рацею я тебе доложу! У добрых людей у иных от ней сердца обмирали. Семь человек их — вот этаких великанов — в доме живут, и хозяйством заправляет этакая ли старуха! Узнаешь — засмеешься!..

Одиннадцати, брат, годов, — вот в какую старость пришла! Кажись бы, этим воробьятам колеть нужно, — нет, живут. Истинно господь бережет, потому соседи любезные точно что свои руки к ихним головенкам сиротским любят прикладывать: даже пухнут у них головенки-то!. Хе, хе, хе! Дай пальтишечко-то, — я снесу хозяйке, старушке-то божьей... Она всю семью им обернет. Голубь мой! Не зазри ты старика, што старик по какой-нибудь корысти орудует...

— А от чего гнездо в раззор пошло? Вот от чего: муж жене пишет из Москвы: «Дошли как до нас слушки насчет ваших негодных делов, то мы объясняем вам, что шоссейному вахтеру этому головы на плечах не сносить и вам тож...» Мужик спыльчивый, — все знали. Замотали соседи головушками, думают: как это у них пойдет? Очень это антиресно. Но только вахтер, наслышамшись про мужицкую правду, со страху запился и сбежал куда-то... За ним и бабенка укатила. А мужик, словно угорелый, прибежал на деревню — кричит: «Где, где они, идолы? Уж отыщу же я их!» Да вот четвертый год все и отыскивает... Отдай пальтишечко-то, не жалей! Тебе господь за это сторицей...

— Ах, как это мы щедры на чужое добро! — вдруг налетел на нас, как снег на голову, содержатель постоялого двора с своим полуснисходительным, полунасмешливым языком. — Это он насчет чего, ваше благородие, лепортует? Насчет помоги? Можно! Ну, майор, вынимай — и мы вынем... Ха, ха, ха!

Хозяин достал из штанов длинный кожаный кошель, начал им трясти пред глазами вдруг почему-то обробевших ребятишек и говорил сконфуженному майору:

— Вынимай! Вынимай! Поможем нашим сиротинкам, чем нам чужого барина беспокоить. Ведь мы с тобой здешние обыватели, богачи... Хе, хе, хе! Раскошеливайся!

— Голубчик! — заговорил мне старик, переменивши свое обыкновенное, так нравившееся в нем благодушие на тон человека негодующего и жалующегося. — Смотри на него, как старый человек по пустякам зубы-то скалит. Ведь это он меня просмеять пред тобой норовит, штобы ты видел, какой я перед ним необстоятельный человек выхожу...

— Ну, ну, майор, разойдись! — посмеивался содержатель постоялого двора.

— А ты думаешь, не разойдусь? Целый век протерплю?

— Про то и толкую: расходись!..

— Слышишь, барин, за что они меня майором прозвали? Вот эти милые-то... Сказал я им, дурак, как я из купцов однажды, большую торговлю бросивши, на Кавказ в солдаты убег, — не продался, а по своей охоте. Думаю: посмотрю, какая такая на свете война бывает. Сижу я так-то однажды на часах, на горке, — пчелки около меня жужжат, плетеньки какие-то узорные вниз по обрывам сбегают, — сижу я это, сударь ты мой, с ружьецом обнявшись, и думаю: «Господи! Хоть бы капельку счастья!.. Где-то, мол, оно запропало от меня — от молодца?» А *он* вдруг меня из-под горы-то и

проздравил... Как грохнет в пистолет! Я с горы-то за ним, — бегу, сам не знаю куда и зачем, — настиг да как шарахну его штыком в бок... Кровь на траву потекла, — захрипел!.. Мужчина, вижу, дюжий, — все тело у него ходенем пошло! Вздрагивает, словно бы его холодной водой окатили... Смотрел-смотрел я на него, ровно бы в полоумстве каком, и заплакал, по-бабьему закричал во весь голос. Господи! — думаю: — за что это я человека-то ухлопал словно барана какого?.. Так вот они теперича над этим делом грохочут вот уже который год... да майором и прозывают.

— Што же тебя за твои глупые разговоры хвалить, што ли?

— Нуждаюсь я в твоей похвальбе! Ты понимай только, сколь это человеку тяжело, ежели без пути про него подлые разговоры ведут... ради скуки... Ведь это все одно, что петлю на шею надеть человеку и тянуть его, смеючись, а особенно ежели какой человек в понятии состоит в настоящем... А? Вам этого не дано?.. Вам только зубы скалить...

— Расходись! Расходись! — подзадоривал дворник.

— Нечево, друг! Меня не раззадоришь... Наплясался я под эти ваши музыки-то, с меня будет. А вы вот, барин, прислушайте, отчего я беден теперь стал, наг и бос. Все вот от этих — от смехунов-то... Не я их смолоду спаивал, а они меня. У меня, глядя на их поскудство, сердце все изболело. Я в старину молодец был, деньги умел из кремня доставать, потому было ли дело на свете, какого бы Федор Васильев не

оборудовал? А на мразь на эту смотришь-смотришь, бывало, как она мается, — ну, думаешь: дай же я им душу-то хоть раз отведу... Пущай, мол, хоть разок сердчишки-то у них как следует поиграют... И тут с ними ничего, бывало, не сотворишь. Один день на чужие деньги пропьянствуют, а на другой — нюнить примутся... Родителям начнут жаловаться: Федор Васильев их в соблаз ввел.

— Вот он у нас майор-то какой! — подсмеивался мне хозяин, теряя, однако, в значительной степени ту самоуверенность, с какою он обыкновенно нападал на старика. — Я вам говорил, сударь, — вы его раскусите только...

— За дело взялся, — продолжал старик, не слушая хозяйских речей, — ограбили. Сколько деньги моей разошлось по околодку, — конца краю нет! Жену из дальних краев привез — смутили. И что только от скуки эти люди про нее не разговаривали: быдто, то-есть, я ее с *кобылы* взял, из-под палача... Не снесла баба этой городьбы, — стала задумываться, чахнуть, — ну и сгасла...

— Помню, сидишь где-нибудь, бывало, а они шушукаются: «совсем вед бабенку-то его стегать привезли на базар, а проходимец-то наш тут и случись. Сжалобился сейчас и говорит начальникам: не стегайте ее, почтенные господа, потому я с ней вступлю в законный брак...»

— Ну да нечего; что было, то прошло, что будет — увидим, а теперь просим, сударь, прощенья!.. — подошел ко мне наконец старик, обнял и поцеловал. — Ведь он мне никогда

отдыху не дает, — прибавил майор, показывая на хозяина. — Приючусь я так-то у какого-нибудь хорошего человека, так он ему такое на меня сплетет... Свежие какие люди от скуки этими разговорами с ним пристально занимаются — и верят. Ты-то, я знаю, не поверишь. А смолоду, признаться, чтобы как-нибудь грызню унять ихнюю, даже ухитрялся я приладиться к ним: то это форс, бывало, на себя напущу, то деньгами примусь оделять, то смиренством пронять их старался... а они-то: ха, ха, ха!.. Ну, сам виноват! Не так нужно было! Во всем сам виноват! Об этом у господа бога моего на страшном суде буду прощение просить, чтобы он меня рассудил... может, и мне выйдет прощенье от него — от батюшки...

Печально склонивши вниз седую, лохматую голову, старик вышел, а содержатель постоялого двора, сидя на стуле, протяжно заговорил мне:

— Вот за то никто и не любит старого! Как начнет, как начнет; а ведь, кажись бы, при такой при бедности правду-то в карман нужно прятать... Всякая курица его теперь может обижать, не токма человек... С достатком особенно!..

Более уже не будили меня веселые стариковские крики.

Другой день после описанного разговора начался в шоссейной деревушке страшным гвалтом:

— Где, где он? — звонко стукая сапогами, кричали на улице люди. — Кто же это его отработал?

— Тут отработают...

— Где он лежит-то? Надо взглянуть. Как он? Ножом кто-нибудь, али как?

— Кулаком кто-то ухитрился! Всю башку разнес. Говорили чудаку: не мешайся не в свое дело... Эх, майор, майор! Доколотился до какого дела!

— Укокошили, сударь, друга-то нашего! — пояснил мне людскую суетню содержатель постоялого двора, вошедши в комнату. — Пойдемте туда. У вдовы тут у одной — у бедной — лежит. Надо свечек купить, ладонцу, того да другого, — помогите, ежели ваша милость будет. Нельзя-с человеку как собаке какой умирать. Весь век жил, как люди добрые не живут, — похороним хоть по крайности... по-христиански...

Мы с хозяином пришли в какую-то маленькую, развалениую избенку, где сидела седая старуха, задумчиво и серьезно принимавшая от доброхотных дателей различные приношения, имевшие сделать конец стариковой жизни хоть сколько-нибудь похожим на всякий христианский конец.

Сморщенный старик, из отставных солдат, дряхлый такой, то и дело понюхивая табак, уныло гнусил по псалтырю, переплетенному в замасленную кожу: «Мал бех в братии моей и юнейший в дому отца моего...»

В белую, как кипень, рубаху кто-то облачил старика. Она была не застегнута и показывала тощую желтую грудь. Левая щека и висок были, как разговаривала улица, действительно разнесены каким-то лихим шоссейным кулаком.

Левый глаз выпятился из орбиты красной одутловатой шишкой, накрытой седыми расцвеченными запекшейся кровью волосами; а правым уцелевшим глазом, мне казалось, старик, как и во времена нашего с ним доброго знакомства, шутливо и ласково помаргивал мне и говорил:

— Андел, прости ты меня, старика, Христа ради, виноват! Сбегать, что ли? хе... хе... хе!..

1870

ДЕРЕВЕНСКИЕ КАРТИНКИ

I

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

То, что я хочу рассказать вам, случилось в 1848 или даже в 49 году. До этого времени в том селе, в котором я родилась, никогда не было школы; а между тем село это было очень большое и находилось оно от Москвы всего в каких-нибудь восьмидесяти верстах. Люди, мало-мальски умевшие разбирать псалтырь, четьи-минею, евангелие, считались у нас большими мудрецами.

То же — и в других селах нашего околодка. Столько же, и иногда даже гораздо более населенные, они всякий раз бывали глубоко удивляемы, когда какой-нибудь грамотный захожий человек, в роде солдата, пробирающегося в отставку, или странника-богомольца, начинал, бывало, читать собравшимся около него мужикам и бабам столь распространенное в нашем простом народе «Путешествие в Иерусалим купца Трифона Коробейникова с товарищи».

Не было конца тем благоговейным вздыханиям, слезам и умилению, с какими сельский народ выслушивал повествования Коробейникова о Палестине, освященной земною в ней жизнью спасителя; но тем не менее я очень хорошо помню, что только редкие родители,

побывавшие на каких-нибудь заработках в прибыльных должностях прикащиков, старались выучить своих детей чтению и письму для того, чтобы они с большим успехом могли преследовать торговые отцовские цели. В этих видах наши крестьяне поручали воспитание своих детей или кому-нибудь из членов церковного причта, или отставным солдатам, поселившимся на покой в родной стороне; но и такие стремления сельского мира к образованию, во-первых, были очень редки, а во-вторых, рожденная и прожившая в селе до шестнадцати лет, я не знаю ни одного более или менее счастливого примера, на который бы можно было указать как на достигший хотя сколько-нибудь ожидаемых целей.

Все образование, какое только могли дать ребенку поименованные наставники, ограничивалось чтением псалтыря, некоторых, как тогда говорили, *гражданских* или *светских* книг с самым пустым и даже всего чаще вредным содержанием и, наконец, *письмом*, до того красивым и правильным, что ныне восьмилетний даже ребенок, воспитываемый более нормальным образом, неизбежно засмеется над такой красивостью и правильностью.

В наше время только счеты из мелочных и мясных лавок обладают еще этими качествами, да и то в несравненно меньшей степени...

Таким образом, бедных малолетков, назначаемых родительскими соображениями производить в будущем различные коммерческие обороты, представители тогдашней сельской науки не могли даже должным образом познакомить

с четырьмя правилами и с именованными числами арифметики. Я уже не говорю о дробях.

Памятно только мне, в то время еще очень маленькой девочке, как мой старший брат, обучавшийся у дьячка, хвастался перед матерью, уверяя ее, что он умеет считать и писать до *миллиону*, — помню также, как он, забравшись на темную печь, *учил* там, как он говаривал, *уроки к завтрашнему*, суетливо бормоча: *одинождьі один — один, дважды два — четыре, трижды три — девять* и т. д.

Чувствуя, так сказать, родственным сердцем крайне тревожный характер этого бормотанья, я очень опасалась за брата, представляя себе, что именно учитель сделает с ним в случае, ежели он не выучит урока. Я имела все основания страшно бояться за брата, потому что мне нередко приходилось видеть, как *мастер* (так звали по селам учителей того времени) не только что наказывал или бил, а просто зверски тиранил своих учеников — моих товарищей по играм...

Такие тогда печальные времена были! Я обыкновенно начинала громко плакать в таких случаях, — и тогда братишка соскакивал с печи и принимался утешать меня, напевая из долбленной им таблицы умножения и подплясывая в такт тому ритму, с которым она, как вам и самим известно, утверждает эти несомненные истины, что

Пятью пять—двадцать пять,
Пятью шесть—тридцать,
Пятью семь—тридцать пять,
Пятью восемь—сорок...

И проч.

В то время, смотря на братишку, весело подщелкивавшего пальчиками стихам из арифметики, я утешалась; но теперь я уверена, что редким, получившим очеркнутое мною образование, жилось от него на свете хоть сколько-нибудь лучше и веселее тех людей, которые вовсе его не получали...

Скоро в селах образовались школы другого характера, и именно вот как это случилось: по крайней мере за полгода перед их открытием сельский люд, и теперь еще называющий себя *темным людом*, вместо обыденных разговоров о письмах и посылках от отцов, сыновей, мужей и братьев, работавших по зимам в разных городах, вместо толков об урожаях, о ценах на хлеб, о подушном, о домашнем скоте, — заговорил друг с другом самым секретным и пугливым шопотом.

Шептавшиеся люди представляли собою олицетворение крайнего испуга. Многие женщины плакали, многие сердились и били тех, кто подвертывался им под руку: было ли то животное, ожидавшее подачки, или привыкшее к ласкам дитя — и вообще на всем селе лежала печать уныния и невыносимой тоски.

Подобный жизненный порядок был для нас, ребятишек, тем тяжелее, что, как теперь помню, начался он великим постом, а в селах ничего не бывает унылее этого времени.

Игры, которыми взрослые хоть сколько-нибудь разгоняли прежде томительное однообразие деревенской жизни, великим постом все прекращаются; ребятишек, живая и подвижная природа которых заставляет украдкой

выбегать на улицу, старшие щелчками загоняют снова в душные избы и сердито обещают *присадить на месте* уже не щелчками, а целой рукою...

Даже снег, во время святок, мясоеда и масленицы ослепительно белый и звонко скрипящий под ногами, великим постом, по случаю имеющей скоро наступить весны, делается серым и рыхлым. Резвый ребенок, выбежавший на дорогу, вязнет в нем, как в грязи, а те кислые тени, в которые, умирая, облек он крыши села, его изгороди и деревья, делают кислым и веселое, выбежавшее посмотреть на божий свет, детское личико. Громко кричит выбежавший из-под надзора матери и, следовательно, как будто наказанный за это ребенок: «Мама! мама! Вытащи из снегу! Я от тебя уж никогда теперь ни за что не уйду».

Вот единственная картина, сколько-нибудь оживляющая великим постом мертвенность сельской улицы! А дальше: проплетется по улице какой-нибудь старый, с седой бородою, старик, сгорбившийся под тяжестью большой, сплетенной из тонкого хвороста, кошолки, переполненной соломой. Это он несет корм скоту. Посреди дороги, уныло понуривши голову, как бы занятая какими-нибудь глубокими соображениями, стоит чахлая лошадь, с ребрами до того видными, что их можно пересчитать. Это она ушла с пустого двора на дорогу, конечно, в смутной надежде найти на улице что-нибудь съестное; но обманувшись в этой надежде, она задумчиво полизывает снег. Затем проехал мужик, стоя в санях на коленях. Он громко кричит на

лошадь: «Н-но, ты, матушка! Трогай, што ли, господь с тобой, милая!»

Смотришь, смотришь, бывало, из тусклого, величиною в четверть, окна на эти картины... Задумаешься о чем-то... Сколько времени думаешь, — не знаешь... Ничего не знаешь, не видишь и не слышишь... Беспамятство и отупение полные... И вдруг это забытье нарушает чей-то шопот, соединенный с тихим и жалобным всхлипыванием. Оглянешься, — видишь: у пылающей печки, опершись на рогач, стоит мать, перед ней стоит соседка с глазами, светящимися в одно и то же время и печалью, и любопытством.

Обе они шепчутся о чем-то странном, чего прежде я никогда не слыхивала. Сквозь слезы они, торопливо перебивая друг друга, толкуют о какой-то *школе*, о каком-то *ужбилишше*, куда скоро потянут всех до единого: и мужиков, и баб, и парней, и девок; а оттуда, как только высмотрят, кто посильнее, того сейчас в солдаты...

— Што ты мелешь пустое? — тихо возражает соседка матери. — Да ину пору наша сестра-баба куда здоровее мужика выходит! Стало, такую и тащи в солдаты?..

— Стало, и потащут, — утвердительно отвечает мать, — потому приказ такой вышел, штобы были полки такие — из баб и девок. На то на самое и ужбилишша энти открывают по селам.

— Да што же у них мужчинской-то силы мало, што ли?

— Должно, мало! Не хватает, надо полагать... Должно, еще и бабья шкура понадобилась...

С печи слышится протяжный и дребезжащий голос бабки, которая тоже, в свою очередь, подстает к разговору.

— Это вот, должно, как перед французом слухи тоже прошли, — протягивает она. — Быть набору с девок и баб беспременно, потому, говорят, одним мужикам с *им* совладать никак невозможно. *Он* тогда — французище-то энтот — так-то ли наступал люто! И-их как, не приведи царь небесный в другой раз увидать. Все село-то жжог, злодей эдакой!..

Бабка закашлялась, не докончив своей речи, а мать и соседка досадливо на нее закричали:

— Ну уж ты-то пуще всего!.. С французом с своим! Тут и без тебя тошно приходится, — не выговоришь! Ребятишек только пужаешь пустыми речами. Ишь ведь, легкое дело: француз ей приснился... Лежала бы лучше смирнее...

— Ну, Христос с вами! — смиренно отвечала бабка. — Я и не буду... Я ведь так только, вас же жалеючи... Я ничево...

Спорный шопот все больше и больше раскипался в притихшей избе. Противно мнению матери, соседка утверждала, что школы открываются с тою целью, чтобы школьниками и школьницами заселить *город-Китай*, недавно будто бы заполоненный нашим царем у Турки, и что в тех краях на каждую душу будут давать по тысяче десятин земли, а податей не станут брать ни единого грошика...

— Там, родимая, насчет этого благодать! — все больше и больше развивала соседка свои сведения о вновь завоеванном крае. — Только вот с родимой сторонушкой-то как нам расста-

ваться будет? Ты вот на что погляди: тутошние места-то дедушки да бабушки наши насиживали. Всякое местечко тебе известно: темной полночью все село произойди — ножки не обмараешь; а там еще что-то будет? Может, и церкви божией в глаза не увидишь, и помолиться-то нам, сиротам бедным, негде будет... Ты вот про это-то рассуди, потому земля там, слышь, не крещеная вся, — людоедов в ней и по сие место много живет. Не успели еще всех их, распоганцев, повывесть... Вот с ними-то как мы будем?..

Таким образом заговорило и заплакало о несчастной участи будущих школьников и школьниц все село. Сидишь, бывало, где-нибудь в уголке и смирно вдумываешься в разговоры, подслушанные у взрослых, и вот подходит к тебе сползшая с печи бабка, кладет руки на голову и принимается горько плакать и приговаривать:

— Не долго мне, старой старухе, с тобой, с голубкой, поняньчиться. Увезут тебя в эту проклятую *школу*. Забреют тебя там в солдаки в царские, угонят тебя к теплым, дальним морям...

А когда зарезвишься, забывши про идущее в село горе, мать кричит:

— Да когда ты, непутевая, на одном месте-то посидишь? Вот ужо погоди! Вот она тебя, *школа-то!..* Вот когда она придет, небойсь! Присмиреешь... Примется она тебя пробирать, небойсь! Прыгать ты в ее руках рогатым козлом перестанешь...

Смутно понималось в это время, что козлом-то никто и не желал прыгать (охота походить на

него — рогатого и вонючего!); думалось, что вот, дескать, у старших теперь всякие печали и заботы, так давай-ка я развеселю их, — и вот именно вследствие такого побуждения по глиняному полу избы и начинают, бывало, вытанцовывать резвые ноги: скок! скок! топ! топ!

И вдруг тебя за это по макушке: щолк! щолк! как раз в лад тому, чтобы твои задушевные, доброжелательные думы отлетели от тебя и на место их в голове снова поселилось тяжелое, отупляющее раздумье: о чем это они говорят? За что бьют? Зачем бабка плачет, и как это маленьких девочек будут в солдаты брить?..

И вот таким образом дело подошло к концу марта, когда дни в наших местах то сияют таким светлым, таким теплым солнцем, то снова заковывают в толстый лед оттаявшие было летние дорожки. Наконец весна особенно бойко наступила на зиму, и тогда лежащий на соседних с селом пригорках снег музыкально-журчавшими ручейками побежал по сельским улицам несколькими прихотливо изгибавшимися линиями. Сначала эти ручьи были узенькие, и вода была в них светлая и страшно холодная. Падая вниз, в реку, протекавшую за селом в глубокой ложбине, ручейки продалбливали в речном льду множество узких отверстий, потом они, постоянно расширяясь, широкой, во всю улицу, рекою стремились с горы по деревне, таща с собой в реку различный навоз, скапливавшийся в селе в продолжение лета, осени и зимы. Вода делалась все теплее и теплее, ее светлый цвет перешел в краснобурый. Временами, в пригретые солнцем полдни, от

земли к небу стали подниматься косые туманные столбы, лед на реке почернел и вздулся. Соломенные крыши изб и сараев выглядывали такими серыми и мокрыми, — от них несло удушливою сыростью и гнилью; в самых избах никому не было покоя от больших черных капель, которые во множестве висели на дымных потолках, откуда они звонко щелкались на лица хозяев, в обеденные чашки со щами, в детские колыбельки. Капли эти проникали даже в печи, натопленные соломой — и там они тоже, после истопа, висели в виде черно-выпуклых пузырей, наполненных какою-то склизкой, вонючей жидкостью, заставлявшей вздрагивать всеми нервами ту руку, на которую упадала эта теплота...

И вот, то ли от печального шопота, то ли от весенней гнили, завладевшей селом, ребятишки начали жаловаться матерям: «Мама, у меня головка болит»...

— На вот кашки с маслицем, соколик, поешь! — утешала мать, ощупывая головенку, пылавшую горячечным бредом.

— Я не хочу, мама, кашки... Мне душно, пусти лучше меня на улицу поиграть. Я там на ручье мельницу сострою себе.

Говорит это ребенок совершенно сознательно, с разумными, светлыми глазками, смотря на которые, посторонний человек никогда не подумал бы, что дитя заболело; только голова горит, да щеки нежным румянцем зарделись... Но вот все ближе и ближе к закату яркое весеннее солнце, холоднее и холоднее делаются те светлые блики, которые было рассыпались

по селу — и светлые детские глазки вместе с закатывающимся солнцем делаются тусклее и тусклее, и, наконец, когда наступил сероватый, неприветливый вечер, они окончательно зажмурились. Румянец, игравший на щеках ребенка, сменяется прозрачной, болезненной бледностью, горячие руки разбросаны крестообразно, и по этой позе уже совершенно ясно видно, что весна принесла бедняжке тяжелый крест — злую горячку...

— Мама! — тяжело дыша, громко стонет ребенок, — не пущай ее сюда, *школу-то*... Я не хочу в теплые моря... Мне и здесь жарко! Бабушка, дай водицы холодненькой ковшик — попить мне... Весь у меня, родимая бабушка, ротик высох...

Как цветки под косой, один за другим упадали на постели сельские ребятки, поражаемые горячкой. Матери, суетясь и плача, бегали из дома в дом с просьбами о помощи, а старики и старухи с печей толковали, что этого мало еще за людские грехи, что перед французом не так еще ребятишки мерли...

Эти старики и старухи общее страдание матерей и ребят увеличивали еще повелительными, выражаемыми хриплыми голосами, советами, чтобы мать дала ребенку мерзлое яблочко, про которое советчик или советчица уже и забыли, что оно давным-давно обсосано их собственными беззубыми ртами в минуты смертного томления...

Таким образом, прогнившие и как будто сами заболевшие избы были наполнены стонами старых и малых, громкими молитвами и тяжелыми

вздохами взрослых, ухаживавших за больными, басовитым и умиленным пением церковного причта, приглашенного помолиться об удалении из села злой напасти...

Все эти голоса, вместе с благовонными струями ладана, расстилавшимися по избе, еще более раздражали тонкий, но страдающий слух заболевших ребят, и поэтому дети бредили всеми теми поучениями, ласками, наставлениями и советами, которые им преподавали старшие до болезни.

В одной избе маленькая, семилетняя девочка кричит матери, остановившейся перед ее смертной постелькой в унылом, но, тем не менее, искреннем уповании, что только милость божия может спасти от смерти любимое дитятко:

— Ты, мамка, зачем тетку замуж силком отдала? Я помню ведь.. Она мне на гумне на тебя жаловалась. Я ведь все помню... Она мне песни играла тогда, волосы мне расчесывала, ладонями по щекам гладила... Она, бывало, как завидит жениха, сичас говорит мне: смотри, смотри, милая! Вот он, мой чорт-то, идет... Мамка твоя, змеища, меня просватала за него...

Болезненный экстаз ребенка доходил в это время до истерики. Вздрагивая всем своим маленьким, тощеньким тельцем, он, с крупными слезами на глазах, хохотал над какими-то теткиными песнями, теплыми ладонями, зелеными дубами, потом опять порывисто бросался на грудь сидевшей у его изголовья матери и неразборчиво шептал воспаленными губами:

— Мама! Вот идет теткин чорт! Спрячь меня! У него семь рогов... Как же бабушка говорила:

у него только два рога?.. А? Што же бабушка врет? Зачем она неправду-то?..

При этом вопросе хохот ребенка прекращался, и вместо его унылое молчание избы разбивал громкий неутешный плач, которым девочка продолжала жаловаться на бабку, представившую некогда внучке чорта с двумя рогами, когда в настоящем ее представлении он их имеет семь — и все такие кривые, вострые и ветвистые... Так и цепляет в живот сраженному болезнью ребенку...

В другой избе, несмотря на сильно державшие материнские руки, беленький лохматый мальчонка вскочил с постели на сырой глиняный пол, — азартно топочет по нем босыми ножками и злостно кричит:

— Подавай, подавай сюда *ужбилишшу-то!*.. Какая она, я взгляну... Она желтая, как черва, склизкая... Ох! И боюсь же я этих червищев проклятых... Я не хочу в солдаты, пущай забривают *школу*, потому она шельма... Ха, ха, ха!

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас! — шептала испуганная мать, не зная, как приступиться к больному буяну.

— Пресвятая богородица, спаси нас! — отзывалась ей с печи не менее испуганным шопотом бабка. — Лови, лови его подмышечки-то. Сцарапай под силку-то, — советовала она дочери. — Чево боишься, дура? Перекрестись да хватай!

— Н-не-ет! Я побегу сичас в поле, за село,— кричит мальчик, барахтаясь и сверкая глазами. — Там мужики французов бьют, — мне дедушка сказывал... А? Они наших лошадей

стали есть? Рази это можно, штобы лошадей есть? Ты ешь барана, али овцу, али другую какую скотину; а то лошадей выдумали... Черти!

Затем ребенок, истративши всю свою энергию на эти сумасбродные выкрики, как подстреленный заяц, с жалобным стоном рухался на пол. Мать поднимала его и снова клала на постель...

Я помню, что от точно такой же болезни одним утром меня разбудила какая-то нежная теплота, пригревшая мою голову. Открывши глаза, я увидела, что лежу перед открытым окном, в которое смотрело такое приветливое, такое греющее солнце. В это же окно влетал временами тихий, теплый ветер. Лаская мое жаркое, пожелтевшее лицо, он в то же время шелестил моими свалявшимися во время болезни волосами и как будто разглаживал и расчесывал их.

Чувство отрады, покоя и невыразимого счастья охватило тогда все существо мое. В ушах моих в эту минуту раздельно и явственно раздался громкий, звучавший радостью голос:

— Э-э-эй? Што же вы там уснули, што ли? Дав-вай лодку ска-арей! Свои пришли...

Я сейчас же поняла, что человек, которому принадлежит этот голос, стоит перед селом на той стороне нашей реки, разлившейся теперь и сломавшей мост, и что человек этот не кто иной, как мой тятька, который всегда так покрикивает, когда из Москвы домой на пасху приходит, и поэтому я стремительно бросилась с моей постели навстречу к нему.

Это мгновенное одушевление, блеснувшее в моем организме с быстротою молнии, так же быстро и покинуло меня — и я смутно помню теперь, как мои напряженные усилия — встать и бежать к тятьке — заглушались страшною болью в расшибленной об пол голове, неприятным ощущением теплой крови, медленно разливавшейся по моему лицу, и невозможностью заставить язык повернуться, чтоб сказать всем собравшимся в избе и жалевшим меня, что я вовсе не больна, что это так только и что я скоро встану...

Между тем я определенно чувствовала, как отцово лицо, обросшее большой бородою, наклонилось надо мной и целовало меня, — я ощущала холод, занесенный гостями с улицы в душную избу, видела ярко расписанный бумажный платок, которым отец махал надо мною, ласково и шутливо усовещевая меня встать поскорее на том основании, что этот платочек он мне к празднику в подарок принес, — наконец, в нос мне бил удушающий отвратительный запах мятного пряника, который отец, против моего желания, вложил мне в руки и который в здоровое время я съела бы с величайшим удовольствием.

В избе начались оживленные разговоры с угощениями, поцелуями, взаимными подарками. На столе закипел громадный самовар, занятый на постоялом дворе для дорогих гостей. Показались мутно-зеленые полуштофы, зазвенели грязные, немытые рюмки, и вообще вся изба, в обыденное время молчаливая, огласилась громким, праздничным говором, в котором, ради его редкости, так хочется участвовать каждому сель-

скому ребенку, придавленному унылою бедностью всегдашних дней.

Но недолго мне пришлось завидовать радости взрослых и счастью ребятишек, которые крикливо отбивали друг у друга возможность как можно подольше посидеть на отцовских коленях. Я чувствовала, как радость эта, сначала шумно разлетевшаяся по избе, с каждой минутой стихала все больше и больше: лица высоких, крепких мужчин, разрумяненные было выпитой водкой, постепенно поникали и сделались совсем грустными; женщины, встретившие их так весело, подгорюнились — и только изредка сокрушенно вздыхали.

На глаза мои властительно спускались серые, злые сумерки, с наступлением которых увеличивается всякая боль. Точно миллионы паутинных, дымчатых нитей, не переставая, слетали они на меня, так что мне становилось невыносимо тяжело это медленное, плавное движение их, направлявшееся на меня, от которого при всех усилиях я никак не могла отмахнуться.

— Спрячь ручки, золотая! Не махай ими, — шептал надо мною какой-то странный человек, изображавший собою в одно и то же время и мать, и бабушку, жившую от нас за сто верст, и отца, и соседскую девочку, Дуню, мою задушевную подругу.

— А, ты не спишь? — спрашивал меня этот человек, смотря прямо в мои глаза, которые я, осиливши боль, открыла для того, чтобы узнать — кто именно он: бабушка или Дуня, мать или отец? Но ничего определенного не

могли увидеть мои глаза, кроме прежнего дождя сивой паутины, тихо спускавшейся на меня с потолка.

— Ну, что ж? Ну, что ж? И пусть давит! Пусть они все меня обманывают! — кричала я, задыхаясь от бессильной злобы на то, что не могу ни отмахнуть от себя паутины, ни узнать этого *чудного* человека, который, как только я мигала глазом, быстро, как кубарь, перевертывался передо мной и делался уже не одним человеком, а целым роем людей, нисколько друг на друга не похожих.

Гуще и гуще налегали сумерки. В глаза мои болезненно ударил слепо мигавший свет березовой лучины. Он совсем заставил меня зажмуриться, и я бы непременно заснула, ежели бы по временам не слышала разговоров, чуть-чуть долетавших до меня как бы из какой-то глубокой-глубокой дали.

— По всем селам так! Не у нас одних! Вон степные мужики на фабрике у нас работали, так и тем бабы отписывали, что пошла и у них по всем селам *школа*... А уж на что глуше ихних местов! Сам, говорят, начальник *имушшенский* приезжал.

Так бубнил один печальный голос, только по усиленным моим соображениям оказавшийся принадлежащим отцу; за ним раздавался слезливый шопот матери:

— И зачем, господи? Жили ведь и без школы без этой... Ребятишек-то у нас перепужали, — мы тут с ними жисти совсем порешились. Куска в рот положить некогда было, не токма за хозяйством...

И много в мои больные уши било других голосов, то басисто жаловавшихся, словно бы кто на другом конце села толстой палкой колотил в дно пустой бочки, то молитвенно вздыхавших, то жалобно всхлипывавших.

Редко-редко, по крайней мере для моего больного слуха, голоса эти воплощались в какие-то отрывочные, страшно пугавшие меня, рассказы про то, что «все эти наваждения идут от *него*, который уже теперь народился и который, будучи теперь только трех годов, уже разрывает на себе одним махом по семи кованых железных цепей».

Все это еще было понятно мне — и я очень хорошо знала, что речь идет об антихристе, рассказов о котором давно наслышалась и, следовательно, более или менее привыкла к ним. Я уже не очень боялась его уродливых семи змеиных голов, которыми он будет терзать христиан и смеяться над людскими муками, — я уже не раз всматривалась в мои ногти, в которые, по этим рассказам, должны будут некогда вонзиться раскаленные иголки, и заранее твердо решилась, как бы *он* меня ни мучил, до смерти стоять за Христа...

Но слезливее и слезливее помаргивает лучина, как бы вот-вот собираясь разрыдаться над теми печальными событиями, о которых разговаривали в избе, и мне от этого вздрагивающего света делается все больнее и больнее.

— По иностранным землям *он* уже давно пошел, — слышится мне. — В Москве все говорят... Там знают... По газетам...

— Пишут уж?..

— Как же! Сколько, сказывают, войска осилил — боже мой! Говорили ему, чтобы, то-есть, на поединку самому ему выдти, чем рать-силу губить, — не согласен!.. Что же, говорит, мне за охота? Я и так вас всех препобежду...

— Известно! *Ему* што?.. А далеко это *он* от нас похаживает?

— Далеко еще, слава богу! Только есть уж и у нас кое-что эдакое... Напуск наводит и на нас... Табак вон сперва напустил, за ним вон картошка пошла, тыква, ну, а теперича вот сами видите... Теперича желательно ему *ужбилишшей* нас оплесть... В коротких сертуках учить-то нас попринаедут... Сказано: разлетятся перед последним концом света по всем градам и селам птицы с железными носами...

И об этих птицах я тоже слышала. На мои вопросы, когда прилетят они, рассказчики отвечали, что это одному богу известно, и я обыкновенно успокоивалась, воображая, что время это придет еще не скоро; но теперь... Вот они, вот они, эти птицы с железными носами, летят и в дверь, и в окна, и во все щели избы. Всю ее, до самого верха, как ковш водой, наполнили они глухим шуршаньем своих больших, черных крыльев. Глаза у них светятся точно так же ясно и пугающе, как светится ночным временем искра, вырвавшаяся из трубы и далеко взлетевшая в темное небо.

— Не дам, не дам я в свои пальцы иголки втыкать! — кричу я, судорожно сжавши руки.— Мне и так больно. Не хочу, не хочу!

Но уродливые видения, имевшие, по рассказам стариков, участвовать в пришествии анти-

христа, со всех сторон окружили меня и, визжа и хохоча в мои уши, всячески меня тиранили. Косолапый, с бараньей мордой, чорт, весь обросший картошками и тыквами, совал мне в рот раскаленную пулю, найденную нами с братом на огороде, и, приплясывая, говорил:

— На-ка вот тебе картошечку! Ты печеные-то любишь, я знаю... Ха, ха, ха! Ешь, ешь! Рази не видишь, светопреставленье пришло...

— Э-э! Так ты в школу не хочешь ходить?— пугала меня еще какая-то птица с длинным чугунным носом и в коротком сюртуке, с пуговицами, горевшими как жар. — Ты меня *школой* стала дразнить? Это мы сейчас разузнаем...

При этом птица вдруг сделала нос свой тонким, как острие иголки. Насмешливо позвякивая и посвечивая, острие тихо-тихо наклонялось к моему лицу, готовое впиться в меня... Я не выдержала и вскрикнула:

— Буду, буду! И в школу буду ходить, и дразнить тебя не буду. Не трожь только...

— Отступила! Отступила! Отреклась! Отреклась! — с гулким плясом заорали обступившие меня чудовища, и вся голова моя до глубокой болезни наполнилась этим шумом, словно бы влетел в нее бешеный вихрь...

«Ну, теперь меня в ад прямо!.. Я отступила,— бабушки не послушалась...» — покорно думала я, уже окончательно бессильная и готовая на всякие муки.

Жалко было одного: нельзя было сотворить молитву, потому что ни язык не повертывался, ни руки не двигались...

II

ПРИЕЗД УЧИТЕЛЯ

С каждым днем весна, все более и более расцветавшая, дальше и дальше отгоняла от сельских ребятишек мрачные, уродливые тени, которыми так напугали детские головы печальные зимние слухи о *школе*.

Все больше и больше теплела вода в реке, зеленели деревья и травы, и вследствие всего этого самые даже изможденные ребячьи ножки выползывали из душных изб, вызываемые этим так ярко и тепло блиставшим солнцем на выгон, весь подернутый зеленым, необыкновенно нежным цветом молодой травы. На выгоне, лениво переваливаясь с ноги на ногу, гуляют стада гусят, охраняемые злобно шипящими на всякую постороннюю жизнь гусынями и гусаками, — пищат, грациозно, но бессильно подпрыгивая за каждою мелькающей мошкой, цыплята под покровительством крайне озабоченно курлыкающих матерей.

Смотрит на эту молодую, зеленую, словно в изумруды разубранную жизнь исстрадавшийся во время долгой болезни ребенок—и улыбается; а веселые крики товарищей, раздающиеся в густой лесной опушке, делают его улыбку еще более веселой и выразительной. Эти крики оживляют мутные глаза ребенка — и вот они засветились страстным желанием побежать сейчас в лес и закричать там во всю силу; но исхудалые ноги не двигаются. Они беспомощно упали опять на мягкую траву, когда возбужденное

тело поднялось уже и готово было ринуться в этот так ласково призывавший и манивший лес.

До того живая и веселая картина стояла и смеялась пред пожелтевшим личиком ребенка, что он нисколько не уныл от своего бессилия. На минутку только пробежало по нем ощущение боли и недовольства, потом все это согнала прежняя улыбка, и ребенок снова зацвел в дружный лад с окружившей его весной. Он очень удобно уселся на траве, весь облитый солнечными лучами. Около него, привлеченная лежавшим в его коленах хлебом, жалобно пищит и нахально гогочет сосредоточивавшаяся на выгоне жизнь. В лесу между тем — хохот и какие-то выкрики, похожие на какие-то песни, полные несмущаемой радости. Там целый хор умоляющих голосков слезно выпрашивает у кого-то милостивого позволения выкупаться в лесной канаве, уверяя, что «вода уже теперь совсем теплая, что ее пробовали уже, бродили по ней, и что только на дне ледку самая малость осталась...»

— Ух-х! — по-детски испуганно звенит лес.— И холоден же этот лед, братцы мои! Чуть-чуть только выскочить успел на свежую воду. Совсем было обомлел...

— Ежели я ково увижу, кто купаться станет,— бурчит лес снисходительным, но здоровым басищем, — так вот кнутом этим, сейчас умереть, как р-ре-ез-зну по ляжкам!

Фью! Тр-рам! — раздается вслед за этою речью звонкий щелк пастушьего кнута, и стая мальчишек и девчонок выскакивает из леса и,

визжа и прыгая, стремится на выгон. Тут они окружили больного ребенка, который успел уже затянуть к себе на колена несколько цыплят и гусят, из всех сил старавшихся отбиться от его непрошенных ласк.

— Ты зачем курей душишь? Зачем гусят щиплешь? — сначала с большим задором принялась было расспрашивать налетевшая на мальчика стая. — Мы сейчас твоей матери скажем.

— Я не дусу! — отвечал ребенок, блистая личиком, освещенным светлой улыбкой, и наполовину жмуря поднятые на товарищей, против солнца, глаза. — Я не дусу их. Я им говолю: ми-ил-лая! Га-а-любус-ка!..

Довольная этим ответом, ребячья кавалерия с большою прыткостью и храбростью снова заскакала куда-то по лугу, издали уже, с дороги, покрикивая оставшемуся ребенку:

— То-то, то-то, смотри! Не души! Они, брат, будут на тебя богу жаловаться за твое душегубство... Опять же и мы — живо к твоей матери побегем про твое разбойство пожаловаться... Она тебя как потащит за волосья с травы-то... Она тебе, брат, так-то задаст, ежели ты в случае чего, боже сохрани, простудишься и опять, как постом, занеможешь... Ха, ха, ха! — разливался конец речи уже где-то далеко-далеко...

А тут настало лето. Опушенные густой листвою деревья разбрасывали от себя такие широкие, такие прохладные тени, под которыми, кроме наших обывательских, детских головенок, могло бы укрыться и отдохнуть от своих тревог

многое множество страдающих старых толов. Реки томились под нежными лучами солнца, — со дна их, как бы завидуя ласкам, которые расточало солнце на верхние, перегонявшие одна другую, волны речные, порывисто выскакивали хищные щуки с тупыми, как у уток, носами. Сверкнув на солнце своим длинным серебристым телом, щуки опять хлестко шлепались в воду, отчего по реке начинали ходить широко раздававшиеся волнистые круги, которые блистали всеми цветами радуги. От этих плавно и медленно расплывавшихся кругов на прибрежные песчаные отмели испуганно и быстро стремились стаи серых плотичек и красноперых окуней. У всех у них были широко открытые, трудно дышавшие рты и тревожно встопорщенные плавательные перья. Они как бы молились этому солнцу, которое заслепило глаза их, привыкшие к мягкой полутьме речной глубины, чтобы оно спасло их от хищников, так нахально волновавших тихую сельскую реку своими злодейскими набегами на безземеньные жизни соседей.

Одни из этих бедняг беспомощно притыкались ожидающими смерти головами к какому-нибудь кусту горькой травы, печальная верхушка которого едва-едва виднелась над поверхностью реки; другие, врезавшись с размаху в песок, отчаянно бились в нем, в тщетной надежде сорваться с отмели; третьи, в ужасе от вражьей погони, разбили головы о камни, разбросанные в разных местах реки для мытья белья, и плывут теперь по течению мертвые, приманивая к себе своими белыми, издали вид-

неющимися брюшками крикливых чаек и прожорливых цаплей.

Таким образом, только темная ночь загоняла нас под домашние кровли — и тогда нам было еще лучше, потому что веселая действительность дня во сне рисовалась такими же роскошными красками, какие освещают одни только чудодейственные похождения сказочных героев. Эти сны превращали нашу не особенно широкую реку в необозримое водное пространство, края которого терялись в ослепительно сиявшем блеске. Мы плавали по этому пространству в хрустальных лодках, над головами нашими реяли какие-то невиданные, сладко, как гусли нашего попа, певшие птицы, из прозрачных волн вскидывались к нам в лодку золотые рыбки. Нисколько не пугаясь нас, они играли с нами и на наши ласки отвечали такими же ласками; наши вопросы насчет того, кто они, как живут, где живут, вызывали с их стороны самые занимательные и подробные рассказы, из которых как нельзя более ясно было видно, что рыбки были в старину Марьями-царевнами и Иванами-царевичами, но что давно их околдовала злая баба-яга, и вот теперь живут они на морском дне в трех хоромах: в хрустальных, золотых и серебряных, у грозного царя морского в почетной прислуге — ребятишек у него качают, колыбельные песни играют им — и так как сам царь теперь очень состарился и на поклон солнцу со дна морского подниматься не в силах, то нас вместо себя посылает.

— Отпустите нас, ребятишечки, домой! — говорили рыбки человеческим языком. — Он

у нас — царь-то — очень сердит. Мы и то с вами, с ребятишечками, заигрались. Бранить, пожалуй, он нас напустится.

Нет конца ни реке, ни чудам, которые рассыпал по ней сладкий сон!

На земле тоже диво: вот такие же светлые и такие же, как река, необъятные луга, усеянные яркими цветами, засыпанные красной земляникой, розовой малиной и синей рябоватой ежевикой. Унылыми, непрерывно звучавшими колокольчиками раздаются на том лугу тонкие голоса задумчивых пчел, буянливых ос и до свирепости угрюмых шмелей. Воздух, весь проникнутый какими-то тихо и плавно волновавшимися золотыми пылинками, напоен тонким ароматом меда и ягод.

Уютно и тепло ребячьим стаям в этом тихом царстве! Под влиянием луговой красоты и тишины умолкли их звонкие голоса, и только тот из них, кто, не особенно разнежившись в солнечном тепле, стоит еще на своих ногах, задумчиво и сосредоточенно посматривая куда-то в даль, тот видит, как по временам выныривают из высокой травы взлохмоченные детские головы, разубранные в цветные венки, лукаво выглядывают загорелые, довольные личики, разрисованные радостью и соком съеденных ягод.

Как сон любит шутить с сельскими ребятишками летними ночами! Каких только штук не представляет он пред их мягкими постелями, которые дети устраивают себе либо у подножия сенных пахучих стогов, либо в мягкой шуршащей соломе старых, никуда не годных саней, которые экономный дед на своих дряблых пле-

чах привез и поставил в самый дальний угол темной и прохладной риги, с твердым и несмущаемым даже близкою смертью намерением *полечить санишки с течением летичка* и потом снова выпустить их в *напредбудущую зиму на господний снежок.*

И вот сон идет к ребенку с другою картиной. Зарывшись в сено или уткнувши личико в густую бороду деда, ребенок все ест ягоды, все ест, так и забивает их в рот целыми горстями; а их вырастает все больше и больше, все краснее и краснее делаются они. Наконец стали показываться ягоды сначала величиною с кулак, потом с голову... Осилить ртом такую ягоду уже нельзя было, да к тому же и есть больше не хотелось, и потому ею стали играть, как шаром...

Вдруг из темного леса, одремавшего светлый луг, выходит медведь, черный такой, старый, едва-едва поворачивается. Но это был не из тех медведей, каких мы привыкли видеть на цепи у вожаков. Те медведи сердитые, от их грозного рычания любующиеся их пляскою дети, как спугнутые воробьи, разлетаются во все стороны. А этот, напротив, очень походит на наших сельских стариков, всегда с гостинцами в карманах или, по крайней мере, с ласковым словом; шел он и улыбался так же, как старики, и точно так же, как и они, передними лапами опирался на толстую, высокую палку, а на голове у него надета была большая из белых овчин шапка.

— Э, э, э! — заговорил он нам, смеясь во весь свой лохматый, с красными деснами и белыми зубами, рот. — Так вы мою ягоду воровать? Хо,

хо! Мало того есть, вы божьим даром играть еще вздумали! Во-от, глядите, ребятнищи поганые, как я палкой этой вас разутешу... Ге! ге!

— Дедушка! — заставлял сон плакать ребятишек, показавши им эту картинку, — дедушка! не мешай нам ягоды брать, ступай отсюда, мы тебя боимся.

— Мало вы чего забоитесь, свистуны! — отвечал медведь на наши испуганные речи. — Давайте-ка вот лучше в горелки играть, — ишь луг-то какой большущий!

— Што же нам с тобой в горелки играть, зачем? Ты, дедушка, старенький, — мы от тебя завсегда убежим. Где же тебе с твоими старенькими ножками угоняться за нами?

— Мне-то где угоняться? Я-то вас не догоню, синегубов? А-ах-х вы! Держитесь же у меня теперь! — ахал медведь до того громко, что с соседнего с лугом леса обсыпались зеленые листья, и затем он, ковыляя на обе лапы, гнался за нами с такою быстротою, что непременно излавливал кого-нибудь из нас. Догнавши, он вместо того, чтобы, как говорили про медведей старшие, своротить макушку и высосать из нее весь мозг, принимался целовать пойманного ребенка своим лохматым ртом и щекотать его, приговаривая: а вот и нагнал! Вот и нагнал! А-ах-х ты, шельменыш эдакой!.. Дурачишка!..

То дитя, которому виделся такой сон, спало ли оно в сенном стоге или покоилось в теплых объятиях деда, непременно хохотало от медвежьей ласки.

Чуткий сон старших, спавших около детей, нарушался этим хохотом, и они, приподнявши

усталые головы, крестясь, потихоньку поталкивали *дитя* и шопотом говорили ему:

— Што ты, што ты, дитятко, Христос с тобой! Чему грохочешь, голубчик?

Долго проснувшееся дитя не может отрешиться ни от блиставшей сейчас перед ним реки, ни от цветистого луга, ни от ласкового медведя, вышедшего из дремучего леса. Только маленькие светлые звезды, горевшие в синем небе, которое первое подвернулось под сонный взгляд ребенка, да ночная прохладная свежесть образумливают его настолько, что он едва-едва может пробормотать в ответ родному голосу:

— Я ничево, дедушка! Звезды вон в глазушки светят... Холодно!.. Медведь защекотал... Все под ребра лапами щекочет... Он, медведь-то, как ты, такой же добрый старичок... Одень меня, дедушка, своим тулупом. У медведя шапка-то такая же, как у тебя... старая, вся облезла... Ха! ха! ха!

После повторенного хохота глаза ребенка снова закрывались, а родная рука, лелеявшая его сон, крестила его и шептала:

— Ишь, ведметь *дитю* приснился! Грохочет. Есть чему грохотать?.. Небойсь, как он ломать-то примется, перестанешь смеяться... Спаси тебя Христос, дитятку, и помилуй! Спи с господом! На зорьке-то хорошо!

Таким образом, светлые воды, дремучие леса и поля, на которых во всякое время можно было наворовать сколько угодно зеленого гороха, выгнали из детской легкой памяти всякое воспоминание об *ужбилишше* и о болезненных

ужасах, сопряженных с полученными об нем в минувшую зиму слухами.

Жилось славно, и росли мы отлично, шатаясь с большими по сенокосам, по рыбным ловлям, по лесам за грибами и ягодами, валяясь и играя с собаками по только что сжатым ржаным полям. Подходило Преображенье, и село с каждым днем начинало все больше и больше пустеть, потому что поспевавшие хлеба вызывали в поле всех мало-мальски взрослых.

И вот одним августовским утром, когда по селу, словно угорелые, шатались одни только задумчивые телята да бегали маленькие, чуть-чуть поднявшиеся от земли девочки, с голыми и неистово оравшими ребятишками в руках, на дороге, приводившей к нам из ближайшего города всяческие беды и напасти, в виде солдатских команд, арестантов и разного рода чиновников, показался тарантас, запряженный лютою тройкой. По особенному, *малиновому* звону колокольчика, которым сопровождалось зверское стремление тройки, слепые старухи, гревшиеся на навозных избяных завальнях, угадали, что это едет *окружной*. Ближе и ближе подвигается тройка, — и вот, блистая тысячью цветистых разводов, завиднелся столь знакомый термаламовый халат *окружного*, в котором он совершал свои странствия по лицу, как говорили в то время, «*вверенной моему попечению округи*». Столбы серой пыли, взвивавшиеся над тарантасом, ничуть не затемняли радужного блеска этого халата. Вот тройка катит уже по селу, распугивая своим грохотом и звоном телят, подвигая этих смиренников на дикий рев и бе-

шеные скачки. Сельские собаки, лежавшие до сих пор в несмущаемом спокойствии исполнившей свой долг добродетели, теперь с азартным лаем рвутся под ноги скачущих лошадей и, несмотря на свистящие удары кнута, которые щедро рассыпает на них восседающий на высоких козлах кучер, все-таки ухитряются тяпнуть за морды свившихся в кольца лошадей. За тарантасом, усиливаясь во что бы то ни стало не отставать от него, стремилась пара ободранных обывательских кляч, влача за собой дрянную тележонку, из которой во все стороны торчали соломенные вихры, жалостно трепавшиеся по ветру. В тележонке, кроме кучера, белобрысого, бесшапошного и босоногого мальчишки, заседал волостной писарь, всегда привлекавший наше детское любопытство золотою опушью, блиставшей на воротнике и бортах его форменного кафтана, и потом еще кто-то высокий, в большом ватном картузе, из-под которого выбивались кудлатые белокурые волосы, обрамлявшие угреватое, худощавое и как бы конфузившееся чего-то лицо.

Поезд этот, как большая часть поездов, стремившихся из города через наше село, остановился против поповского крылечка, на котором, заслышавши гостей, стоял уже наш священник в шерстяном сереньком полукафтанье, опоясанном широким, лентообразным поясом, вышитым разноцветными шерстями. В ожидании, когда гости высадятся из экипажей, батюшка улыбался своим старческим, добродушным лицом, потирал руки, разнимая их по временам для того, чтобы отправить за уши упадавшие на лоб седые косицы, и говорил:

— Добро пожаловать! Вот недумано, негадано!.. Скажите!.. А мы уж отчаямшись и видеть-то вас...

— Отчаяние, батенька, смертный грех, — отозвался окружной, грузно вылезая из тарантаса, — гора с горой не сходятся, а человек с человеком... хе, хе, хе! Эх, поясницу-то как разломило старому человеку. Благословите-ка, отче святой!

— Во имя... — шептал батюшка, важно и медленно крестя протянутую руку окружного. — С кем же это вы пожаловать изволили? Письмоводителя нового, надо полагать, приняли?

— Какое письмоводителя? Учителя вам привез, наставника. В нашу школу палатой назначен.

— Так, так, так! — скороговоркой заговорил старик-поп. — Давно ждали. Думали, что все одни праздные слухи по народу ходят, глупцов стращают...

— Какое стращают? Вон он налицо — глядите! Из богословского класса... Головица эдакая! Проповедь какую у нас в соборе в прошлое воскресенье отмахал — ума помраченье!.. Молоденек только еще немного — конфузлив!

— Молодость ничево! Старость вот ежели, ваше высокоблагородие, так это уж, можно сказать... А я думаю: к чему это, мол, нонешнею ночью попадья моя сон видела, што быдто бы, то-есть, на наш дом искры все, искры все так и валят... Да светлые такие, прах их возьми, право! Я, признаться, испугался маненечко. Думаю: не к пожару ли? Велел на всякий случай около храмины убогой моей бочку с водой

поставить. Ан, оно дело-то к дорогим гостям подошло. В горницу милости просим, пожалуйте-с!..

Между тем как на поповском крылечке велся этот разговор, мы, ребятишки, видели, что в самом доме происходит большой переполох. Сквозь наглухо спущенные коленкоровые шторки сначала мы приметили в поповских горницах необыкновенно суетливую пляску каких-то теней, которые торопливо вздымали друг над другом что-то облакоподобное, походившее своими формами на женские юбки, платья и т. д. Потом шторки, тихо и чуть-чуть отодвинутые с оконных боков, показали нам румяные, чернобровые лица трех поповских дочерей, таинственно оглядывавших убогую тележонку, которая с таким усердием гналась за тарантасом окружного. Осмотр этот со стороны девушек сопровождался каким-то странным разговором, который они, стоя у разных окон, вели между собою посредством летучих улыбок, гримас, подмаргиваний и покачиваний гладко причесанными головами, которые так и лоснились от мусатовской помады.

— Господин наставник! — закричал вдруг батюшка, открывая окно: — пожалуйте в горницы-с! Его высокоблагородие соизволяют...

— Иди, иди, Дилигентов! — покровительственным тоном отозвался тоже и окружной, открывая в свою очередь окно, около которого усадил его батюшка. Сизые волны *Жукета*, вылетевшие из уст начальника вместе с его речью, развратили благовонный воздух сельской улицы... Ребячьи стаи, глазевшие на попов дом,

были отодвинуты этим дымом к плетню, ограживавшему поповский огород...

— Што ты, братец, засел там в телеге? — продолжал окружной: — входи! здесь, брат, такие невесты... ха, ха, ха! Нюхнешь — упадешь, вскочишь — опять захочешь... ха, ха, ха! Иди, иди — не конфузься!..

Сидевший с писарем парень неуклюже вылез при этом приглашении из телеги и направился к крыльцу, вытирая застенчивое и страшно вспотевшее лицо ситцевым клетчатым платком. На крыльце он долго расчесывал желтым костяным гребнем свои всклокоченные волосы, отряхивался и счищал пыль с длиннополого сюртука посредством широкой ладони, взбрызнутой слюною.

«Эге! — подумали мы про парня: — должно быть, он из господ. Сам окружной зовет его вместе с собою чай пить. Писаря вон не позвал, небойсь!»

И после таких размышлений мы потихоньку, один за другим, взбирались на попово крыльцо, рассчитывая, что сидевший на нем и игравший кнутом писарь удовлетворит наше любопытство насчет приезжего дяденьки.

— Отвяжитесь от меня, чертенята! — рявкнул на нас писарь, видимо разозленный тем, что его не удостоили позвать в поповские горницы. — Пристали: кто? кто? Важная птица, думаете? Кутейник приехал — чубы вам разглаживать! Вот кто! Грамоте будет учить. Аз, буки — возьми кнут в руки, веди, глаголь — взял да отпорол, добро, есть — штоб нельзя было сесть, вот как! Ха, ха, ха!

Стихоплетствуя таким образом, писарь, как бы в видах ознакомления с ожидавшими нас в школе благами, хлопнул кнутом по некоторым голым ногам, особенно приблизившимся к нему, и, заливаясь довольным хохотом при каждом взмахе кнута, спрашивал:

— Што, сладко? Сладко? Небойсь, останетесь довольны... Он вам удружит...

Сладость эта заставила нас оставить крыльцо и снова занять нашу прежнюю позицию у плетня поповского огорода, откуда нам явственно было видно, как поповские дочери, под предводительством матери, накрывали белой скатертью стол, устанавливали его графинчиками, яичницами, самоваром, как подносили водку и чай сначала окружному, потом учителю. Яркий румянец, вспыхивавший на щеках подносчиц в то время, как они подходили к молодому человеку, производил на окружного очень странное действие: подмаргивая батюшке на девиц, он принимался хохотать каким-то всхлипывающим, шутливым смехом, при чем дергал его за полукафтанье и лепетал какие-то несвязные фразы, в роде того: «Смотрите-ка, батенька! смотрите-ка! Истинно пион рдеющий!.. Вы, милая барышня, не конфузьтесь этого кутейника. Он вам не пара, я из города секретаря своего пришлю, — тот, по крайности, танцовать умеет... ха, ха, ха!»

Эти слова заставляли барышень вместе с подносами, сливочниками и кренделями быстро уноситься из залика в спальню, при чем батюшка, целомудренно прикрывая рукою смеявшиеся уста, молительно упрашивал окружного:

— Будет-с вам, ваше высокоблагородие! Ах, как вы их у меня застыдили! Неподобно это таким манером разговаривать при госте-с, при чужом человеке-с... ха, ха, ха!

— При чужом человеке? — продолжал хохотать окружной. — Теперь чужой, а там, глядишь... ха, ха, ха! вдруг своим сделается... ха, ха, ха! На грех, батенька, мастера нет, — сами знаете...

— Это точно-с, что нет! хи, хи, хи! Кто ведь ее знает... А мы добрым людям завсегда рады...

— Вот то-то и есть! — заключил окружной.— Ну-ка, брат Дилигентов, полно тебе модничать-то! Ишь, мордасы-то насупил как, словно мышь на крупу надулся! Поди-ка трубочку мне набей! Вишь я тебя в какой рай привез, умирать не надо!..

Длинный детина при этих словах послушно встал с своего стула, отошел в уголок к печке и принялся там с большим усердием выдувать и прочищать проволокой длинный черешневый чубук окружного. Между тем к попову дому начали мало-по-малу собираться мужики, пришедшие с поля обедать. Держа в руках истрепанные шапчонки, они заботливо обдергивали свои засаленные рубахи и вели с сидевшим на крыльце писарем какие-то тоскливые, шопотливые речи.

С каждой минутой все больше и больше увеличивалось мужицкое сборище. К нему начали подставать бабы с ребятами на руках и даже согнутые в три погибели старики и старухи, опиравшиеся на толстые палки, наподобие того, как сгнившие и покачнувшиеся плетни подпираются кольями.

Спорные, хотя и тихие разговоры, вздохи, молитвенные восклицания, а по временам даже и всхлипывания, кое-где раздававшиеся в толпе, слились в один мощный, напоминавший шум ветра в лесу, гул, который писарь, вероятно, в видах ненарушения этой так редко чем-нибудь возмущаемой сельской тишины, счел за нужное прекратить.

— Братцы! Вы што же это? — зашипел писарь, отчаянно воздевши руки к небу, как бы умоляя его отвратить от него какую-то страшную напасть. — Только что собрались и уж захрюкали!.. Истинно, стадо свиное! Не понимают того, что господин окружной, может, теперича започивать изволили... Черти! Ведь с меня за это взыск будет. Ведь меня по шапке-то за ваш гомон мужичий, а не вас... Демоны вы необразованные!

— Да ведь што же, — зашипела в свою очередь толпа еще тише, чем шипел писарь. — Ведь мы видим. Кабы ежели он, к примеру, в самом деле започивал... А то ведь вон он сидит с батюшкой...

— С батюшкой! с батюшкой! — негодующе закричал писарь на те успокоивавшие жесты, которые сыпались на него из толпы. — Ну, будем говорить, — с батюшкой! Хорошо! Так вы теперича ихние разговоры пришли своей галдой разбивать? Так, што ли? Скоты вы необузданные! Да, может, они теперича имеют насчет чего рассуждение?.. Может, они насчет священного... Так вы, выходит дело, и рады случаю умный разговор прекратить, загалдели... Га! га! Да го! го! Ухх ввы!..

— Нет, это зачем же? — шептала толпа. — Перебивать для чего же?

— Мы, Порфир Петрович, — конфузливо заговорили передние мужики, поглаживая серьезные бороды: — мы не токмо, штобы начальников наших перебивать... А мы, может, насупротив тово, как перед господом! денно и нощно за них богу молимся... Вот это так. Эдак-то ваша речь, Порфир Петрович, маленечко посправедливее будет...

— Посправедливее? Так, так! — почему-то рассердился писарь. — Знаю я, как это посправедливее-то выходит у вас... Н-не-т! Вы прежде всю кашу эту расхлебайте, какую мы привезли вам... Ха, ха, ха! Вы вот расхлебайте ее, да тогда уж и толкуйте: кто справедлив, а кто нет... Нет, брат, про начальников такие раздабары раздабаривать не очень-то еще и позволят... Так-то-сь!..

— Да это известно! Да про это што уж и говорить? Да рази мы што-нибудь?.. — слитно и дружно зашумела толпа, вполне убежденная мыслями, изложенными писарем с крыльца, и даже как будто напуганная ими.

— Што, старички почтенные, собрались? — крикнул вдруг появившийся за спиной ораторствующего писаря окружной. — Што скажете?

— К твоей милости, ваше высокоблагородие! — загудела сходка, при чем бабы низко-низко склонили свои ситцевые повойники и шлыки, а мужицкие шапки, которые еще сидели на головах своих хозяев, запорхали наподобие спугнутых птиц, взвиваясь сперва над толпою быстрыми дугами, а потом моментально пропа-

дая в этой толпе, затопленные ее многолюдством. — К твоей милости за решеньем пришли, насчет учебы... Слышно, учителя нашим ребятишкам привез, так как прикажешь? Какое, выходит, твое разрешение будет? У кого ему жить, харчи какие ему, примером, пойдут, от кого, — это ты нам, как в указе сказано, все объяви! Нам такое дело внове, сам знаешь...

— А это я вам объявлю! — милостиво согласился окружной. — Это я вам все разрешу — и прежде всего мое такое решение будет, штобы обратиться нам сначала всем миром к господу богу, молебен бы отслужить святому Наумию пред эдаким делом... Так ли я, батенька, рассуждаю? А?

— Так точно-с, ваше высокоблагородие! — взволнованно заговорил старичок-священник, слезясь слепыми, узкими глазами и с какою-то унылой торжественностью расставляя руки. — Штобы, то-есть, всем вкупе-с!

— Именно, — отрезал окружной. — Сгоняйте все село, потому ежели в теперешние времена не учиться, так когда же и учиться... Слава богу! Довольно-таки по белому свету слепыми дураками топтались...

— Што же, детушки! — продолжал речь окружного священник. — Довольно даже, в самом деле, аки бессмысленные какие овцы шатались мы во всяческой тьме. Пора перестать! Их высокоблагородие правду говорить изволят: учиться надо, потому ученье — свет, а неученье — тьма...

— Да это што? Да про это што?.. — загорланили уже передние мужики, выражая перед

начальником свою охоту — не шататься более дураками во всяческой тьме — неуклюжим, развалистым топтанием на одном месте и чесанием бесшапошных и, словно воз безалаберно наложенной соломы, растрепанных голов.

В то время как все это говорилось, рыжий косматый дьячок, командированный попом, суетливо скрипел громадным ключом в заржавелом замке, запиравшем церковные двери. И вот, наконец, отворились эти двери, отпираемые только по воскресеньям да по годовым праздникам. Солнечный свет, до сих пор игравший в красках и золоте пустынного храма, как будто испуганный звонким скрипом отпертых дверей, вылетел из церкви и, мелькнувши над этим корявым и измученным народным сходбищем, всего его окропил мелкими золотыми искрами, которые так и сыпались с его светозарных крыльев...

Наконец молебен отошел. Окружной, вышедши из церкви, стал на верхней ступеньке церковной паперти и сказал:

— Глядите же вы у меня, ребята! Ежели вы станете с господином наставником обращаться так же, как в старину обращались с картофелем, б-беда! Я вам тогда покажу картошку!.. Ну-ка! Ежели бы не я, што бы вам за картошку было, скажите-ка? А?

Вся сходка, стоявшая перед церковью, поглядывая на окружного исподлобья, запела:

— Што ж картошка? За картошку мы за тебя, ваше высокоблагородие, денно и нощно... Это ты точно што... В правиле тогда поступил... Ро-

жается она у нас, эта картофеля-то. *Батеет* эдак ли здорово!..

— Рожается! Батеет! — передразнивал окружной обращенную к нему речь. — Теперича-то она у вас *заботела;* а *тогда* кто это всем миром суздальцу-живописцу картинку заказывал, штобы, то-есть, написать окружного чортом с дьяволиными яблоками на носу, на хвосте, на пальцах и на всем прочем?.. Н-н-е-ет! Мало я вас за эту самую картинку драл тогда!.. Вы вот что лучше скажите!..

— Да мы об этом рази толкуем?.. — раздавалось протяжное пение сходки в лад скороговорки окружного. — Мы рази на тебя из *эстова* печаль какую имеем, што ли, Христос с тобой!

— Так вот так-то! Не вздумайте, говорю, и с господином наставником так же, — избави бог! А я дурости вашей против меня не помню. Кто старое помянет, тому глаз вон! Вот вам господин наставник налицо — слушайтесь! Батюшка-священник теперича у вас слепенький, стар делается; а этот человек молодой — бугослов. Он вам и ребятишек поучит, и проповедку, примерно, в праздничный день из своего ума откатает... А вы тоже ему послужите миром... Всяк по силе-мочи: кто мучки, кто горошку, а кто цыпленочка, потому он человек молодой, жалованье у него маленькое.

— Да мы за этим стоим, што ли? Да мы всех животов для начальства решиться готовы...

— Так вот так-то, — закончил окружной. — Значит: и вам будет хорошо, и начальству приятно. Прощайте! К будущему месяцу облю-

буйте квартиру для школы, я приеду и осмотрю. Батенька, благословите на дорожку, отче святой! Смотри же, наставник, — обратился окружной к длинному детине, покорно стоявшему за его спиной, — смотри же, ежели я узнаю, что насчет, например, женского пола или там ерофеичу, на меня прошу не пенять! Ну, трогай с господом богом! — покрикивал начальник ямщику, обминая своим грузным телом наваленные в тарантасе подушки, при чем мужики почтительно и нежно грохотали, а у приезжего детины горело яркой краской не только худощавое лицо, но и тонкие, большие уши:

Динь, динь, динь! — гулко прозвенел коренник окружнической тройки, нетерпеливо мотая красивою головой и как бы щеголяя черной, кудреватою гривой.

— Прощайте же, старички! ваше благословение! Матушке засвидетельствуйте мое нижайшее почтение... Барышням такожде... — кричал окружной уже издали, высунувшись из тарантаса.

Пыль, столбами взвившаяся из-под копыт тройки, скоро скрыла от глаз все еще почему-то не расходившегося сборища тройку и тарантас и толстое лицо окружного.

— Так вот так-то, детушки! — заговорил священник после долгого молчания.

— Д-да! Дела! — озабоченно отозвался ему один богатый мужик, чертя что-то на белых камнях церковной паперти своей сучковатою палкой. — Полагаю я, ваше благословение, надо нам будет об этом деле всем штобы, то-есть, вообче собраться и рассудить... Как оно, што?..

Потому ведь как оно там?.. Ведь кто ж ее знает...

— Известно! Известно! — закричала сходка.— Тут трудно! Пусть батюшка нам об этом деле по книгам рассудит... На работу теперича уж поздно итти. Давайте-ка вот столкуемся, благо народ в сборе.

— Я так полагаю, детушки, — с большою лаской заговорил священник, — полагаю сперва-наперво, штобы, то-есть, фатере для школы быть у меня в дому... Передбанничек, вы видели, какой я ловкенький выстроил... Знаете, небойсь, какой я лесок подобрал? Су-ух-хой, пресух-хой!.. Так в нем мы эту самую школу и поместим... На што лучше?

— Чего же им еще? Рожна, што ли, в бок? — дружно согласились мужики. — Мал ежели в случае будет передбанник, так мы тебе леску подвезем, пристроечку к нему приделаем, печку обладим, а то зимою-то, пожалуй, холодно будет.

— А коли вы так со мной, по-дружескому, заговорили, — сказал обрадованный священник, — так и от меня вам сейчас гостинец будет. Становлю вам за ваше неоставление ведро вина. Получайте деньги и тащите водку сюда на крыльцо. Вот и господин наставник разделит с нами компанью для ради первого знакомства... Так ли я говорю?

— Да што тут? Есть о чем толковать? Да мы с завтрашнего дня примемся тебе лес возить, — пошумливала благодарная сходка, расположенная предстоящею выпивкой на всякую послугу.

Давно уже наступил непроглядно-темный вечер, чуть-чуть только освещаемый светлыми звездочками, горевшими в синем небе, а мужики, разлакомленные поповским гостинцем, все еще сидели перед кабаком на влажной траве и голосисто бурлили. С ними заседал и приезжий учитель. Сборище это окружали заботливые жены, которые постоянно шатаются за своими мужьями, с целью охранения их от всякого соблазна, шальные девки, пользующиеся всяким случаем улизнуть ночным временем из дома, да ребятишки, упорно глазевшие сонными глазенками на отцовские редкие потехи.

Учитель уже не конфузился, как утром. Он вальяжно полулежал на росистой траве с гитарой в руках, картуз его был сдвинут на бок. Распуская по ночной тишине гитарные звуки, он то и дело говорил какому-нибудь мужику, подставляя ему деревянную расписную чашечку:

— Подлей-ка, подлей водочки в брагу-то! Половина браги, половина водки, это у нас в семинарии медведем зовут...

— Истинно ведмедь! Так и валит с ног... Я сам это испробовал, — соглашался подливавший мужик. — Зато болит же головушка от этого месива!

— Голова болит? — насмешливо отозвался учитель. — Есть на что глядеть — на голову! Прах ее побери совсем! Она часто, братцы, балуется... Пущай ее лучше вдосталь мрет... Ну-ка подлей!

— Ах! милый ты есть человек! — нескладным хором орали мужики, протягиваясь к учителю

губами, хотя и вонявшими водкой, но все-таки дружелюбно смеявшимися. — А мы, брат, подумывали сначала, што ты анчихрист...

— Тращай парня-то! — обуздывали приятели соседскую откровенность. — Экое слово выворотил: анчихрист! Как ты его, паря, поднял! Сам, небойсь, видишь, какой человек с тобою приятный сидит.

Шли обнимания, целования и взаимные потчевания. Отзываясь на все это самым удовлетворительным манером, учитель кричал:

— Хорошо нам, братцы, жить с вами будет, ей-богу! Давайте-ка я вот вам на гитарке встряску задам. Первый гитарист во всем городе был, не знаю: вам услужу ли? Э-эх-х вы, девушки, бабочки! Кто плясать молодец, становись на круг!..

Что-то в высшей степени одуряющее защебетала учительская гитара, так что в скорости после того, как раздались ее первые трели, заботливые жены, шальные девки и сонные ребятишки кружились уже в общей пляске.

Так славно будил эту печальную сельскую тишину ночную мягкий топот босых ног. А ежели издали слушать, как веселилась эта редко когда веселая деревенская жизнь, так тогда выходило еще лучше: словно лебеди на дальнем и пустынном море, звонко и жалобно выкрикивали бабенки и девки свои «ахи» и «охи», которые вырывали из их грудей бойкие гитарные переборы...

Слышится женский дискант, словно камешек, брошенный привычной рукою, взвившийся к небу. Звучащим серебром скатывается он

оттуда и рассыпается на влажную траву бойкими рифмами, говорящими:

Што ж? што ж?
Не ворошь!
У меня муж нехорош!

Словно бы негодуя на несостоятельность этих стихов, дисканту отозвался этот прелестный басок, которым владеют только очень сильные женщины. Он смеющейся октавкой оспаривал возможность нехороших мужей:

Што ты, што ты, што ты врешь?

— Ха, ха, ха! — басищами хохотали мужики, услаждаясь пляской.

— Дел-лай! — погаркивал учитель, заставляя, так сказать, бунтовать гитару своими щипками...

Тонкие, необыкновенно белые, предрассветные полоски показались на востоке. Проснувшиеся бабы тщетно кричали из окон засидевшимся на кабачной площадке мужьям:

— Будет вам, бесы, пьянствовать-то! В поле ехать пора.

— Успеешь! — со смехом отвечали мужики. — Ишь ты проворные какие нашлись... Ну-ко-ся, парень, тронь-ка еще на прощанье-то!.. Вальни, брат, погуще!..

1870

ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА

ЭПИЗОД ИЗ РОМАНА «СНЫ И ФАКТЫ»

Я погибал.
Мой злобный гений
Торжествовал.

Полежаев

В одном из глухих переулков Петербургской стороны, несмотря на позднюю ночь, в окне небольшого двухэтажного флигеля светился огонь. С улицы можно было видеть, что в одной комнате второго этажа, за письменным столом, сидит и пишет что-то высокий брюнет с длинными кудрявыми волосами, с строгими усами и с тою характерной эспаньолкой, которая все еще продолжает служить отличительным признаком художников, при всем том, что ныне завладела ею большая часть коптителей петербургских небес. Помимо, впрочем, эспаньолки, вся обстановка комнаты говорила, что ее обитатель — художник: около раскрытого окна виднелся угол мольберта, накрытого чем-то белым; у двери, в углу, стоял большой скелет; по стенам было прикреплено множество разнообразных гипсов и картин; даже кисея, повешенная на окнах, спускалась вниз не как обыкновенно у всех людей, перетянутая в талии классическим бантом, а какими-то живыми, мягко волновавшимися складками, напоминавшими тихое падение снега густыми и белыми хлопьями

или полет белых голубей, когда они из далекого поднебесья спешат как можно скорее *колом* упасть на родимую кровлю.

По временам молодой человек вставал из-за стола и принимался ходить по комнате большими шагами, и хотя дым в его студии стоял, как это называется, коромыслом, но он, видимо, не стеснялся им, сжигая папироски самым немилосердным образом. Когда он подходил к окну, можно было видеть, что поздняя работа нисколько не утомляла его: лицо его было свежо и сосредоточенно, как у человека соображающего. И вообще описываемый случай, как слишком обыкновенный в столице, где так много разного рода бессонных тружеников, недолго бы остался в памяти наблюдателя ночных сцен, если бы его внимание не обращали на себя глаза молодого человека, которыми он то с испугом, то как бы с злостью обстреливал спящую улицу с ее гнилыми заборами, вековыми деревьями, красно-кирпичными фабриками и т. д.

В этих глазах, накрытых густыми, черными бровями, сверкала какая-то странная угрюмость, с лихорадочным и бесцельным проворством перелетавшая с одного предмета на другой. По временам молодой человек порывисто, как бы подтолкнутый кем, бросал свое письмо, поднимал голову и начинал либо пристально вслушиваться в что-то, либо внимательно вглядываться в какую-нибудь, конечно, давно уже знакомую ему вещь, находившуюся в его квартире. Он с разных точек подходил к поразившему его предмету, смотрел на него из-под ладони, как бы пораженный исходившим от него светом,

смотрел в согнутый, наподобие зрительной трубки, кулак, подходил к нему вплоть, ощупывал руками и, в конце концов, принимался покачивать головою и улыбаться чему-то. В нем, очевидно, были возбуждены беспокойные, тревожащие мысли, потому что после осмотров он часто подходил к раскрытому окну, с наслаждением втягивал в себя свежий, ночной воздух и иногда басовито и с улыбкой приговаривал:

— Дело дрянь! Дрянь дело!

По грустной иронии, которая слышалась в голосе молодого человека, можно было заключить, что ему более чем невесело. Видимо было, что на душе у него лежит одна из тех убивающих человеческих скорбей, от которых обыкновенно человечество мятется, как береста в печке, а люди, страстно заинтересованные явлениями жизни, лишь только пройдет по ним огонь этих скорбей, сейчас же превращаются в тех апатических молодцов, которые по целым часам стоят на мостах и уныло поплевывают в воду, не без основания полагая, что им можно теперь плевать в колодезь, потому что он не для них...

— Дрянь, дрянь дело! — повторял молодой человек в минуты редкого самообладания и снова погружался в свои бесцельные созерцания, перенося угрюмый, блуждающий взгляд с засеянных грачиными гнездами деревьев на многочисленные тусклые окна безлюдных фабрик, провожая задумчиво плетущегося по улице извозчика и с большим участием прислушиваясь к дребезжанию его убогого экипажа.

Вот в крепости меланхолически прозвучали часы, на ближнем дереве завозился сонный грач,

глухо каркая, словно человек в бреду; по забору, в лад глухой ночи, тихо мяукая, неслышно проскользнула белая кошка; из близлежащих садов разливался по улице наркотический запах сирени. Эти обыкновенные явления, приобретающие, впрочем, в ночное время характер какой-то особенной, торжественной величавости, заставили вздрогнуть описываемого человека. Словно бы какое-нибудь полночное чудо, разукрашенное всеми фантастическими ужасами, появилось перед ним в это время и заставило его вскрикнуть:

— Боже мой! Да что же это такое? Неужели до такой страшной степени могут обманываться людские чувства? — спрашивал он с нескрываемым ужасом. — Ведь не болен же я, не пьян. Я не дам себя пересилить; это — вздор! Я понимаю этот вздор, рассуждаю о нем; следовательно, сойти с ума я не мог еще. Пойду дописывать письмо: это поможет мне.

Говоря это, молодой человек сел за стол, и перо его быстро забегало по тетрадке, несколько листов которой уже было исписано.

Он писал странные вещи.

«Дорогой друг! (так начиналась тетрадь). По приезде моем в Петербург со мной случилось нечто необычайное, и ты напрасно радовался тому благополучию, которое, по твоим соображениям, меня ожидало здесь! Умные и энергичные провинциальные ребята, в роде тебя, вообще давно уже привыкли считать Петербург какою-то обетованною страною, кипящею млеком и медом, и отсюда происходит бездна смертельных ошибок. Я в этом имел тысячи случаев убе-

диться еще до знакомства с тобою, о чем тысячи раз и говорил тебе, в видах предохранения твоего молодого, честного лица от тех бесчисленных плевков, которыми столичные люди оплевывают надежды и стремления свежей, не испорченной еще грубой действительностью молодости.

«Со стороны столичного общества очень естественно поступать таким образом с молодыми ребятами. Для него необходимо, хотя бы, положим, в видах объединения и единообразного оформления своих членов, чтобы светлая юность поскорее померкла и сделалась такою же бледною и желчною, как большинство этих столичных представителей русского богатства и, наконец, русского так называемого досужества вообще. Надобно тебе заметить, что в Петербурге (впрочем, это свойственно не одному только Петербургу, а всем центральным городам целого мира) нет ни одного самого несчастного шаромыги, который бы не считал себя звездою первой величины на поприще перечисленных сейчас проявлений цивилизованной жизни. Национальные, вне-столичные массы думают об этом предмете согласно с центральным оборвышем — и от этого нелепого согласия происходит то, что если где-нибудь на провинциальном горизонте загорится действительная звезда и осветит непроглядную тьму своей родины, то хорошо еще этой звезде, если потехи центральных идолов над ее светом ограничатся только снисходительным подергиваньем сухих и острых плеч и сквозь зубы произнесенной остротой. В большинстве случаев бывает несравненно

хуже: целым рядом демонских искушений столичный город сманивает звезду с неба, на котором она светила, и устанавливает ее на своих проспектах, вместе с различными фальшфейерами и мертвенно блестящими гнилушками. Бедная! Как она страдает тогда, как беспомощно то на ту, то на другую сторону склоняется ее бледное, как бы испуганное пламя от цынготного дыхания праздных пустоголовых шалыганов, плешивых Мефистофелей, с широкими тщательно прилизанными рожами и вообще от всей этой деликатно-злой и стыдливо-нахальной столичной черни, которую, наперекор всякой логике и фактам, остальной люд единодушно почему-то условился называть сливками человечества, науки и искусства. А между тем за передними рядами, в которых твердо установились или буйная наглость, или улыбающееся зверство, царит действительно непроглядная тьма. Там за первыми рядами — страшное смятение! В этой тьме, пугающей своей мертвенной синевою, прорезанной по всем направлениям свинцово-бледными нервами, примечается бесчисленное множество всклоченных голов, устремляющихся к свету новой звезды, виднеются белые мускулистые руки матерей, которые поднимают над морем голов своих кудрявых веселых младенцев. Матерям ничего не видно, так что сами они примечаются в крайне смутных очертаниях; но они уже счастливы тем, что их малютки, их ангелы, звонко плещут кому-то своими так художественно-уродливыми ручонками и радостно смеются чему-то...

С дороги в освещенное окно видно было, как молодой человек приподнял к свету свою тетрадь и пристально ее перечитывал. Потом он встал, походил по комнате, хлебнул как будто лекарства и, видимо смеясь над собою, заговорил:

— Что это я ему тут прописываю? Хотел, что называется, констатировать факты, а кончил китом-рыбой. Стыдно-с! А впрочем, чего же стыдиться? Около фактов всегда плавают миллионы китов или, выражаясь газетным языком, уток... Горькую истину всегда украшают тысячи светозарных легенд... Пилюля всегда находится в красивой коробке... И прекрасно-с! Выходит — дело. Выпью-ка я за подслащение пилюль, хотя и без «ура», молчаливо...

Тут наблюдатель ночных сцен мог окончательно видеть, что пишущий уже не хлебнул лекарства, а просто-напросто выпил водки из большого графина, ярко блеснувшего на темную улицу; после чего по ней, разукрашенной всеми обаяниями летней ночи, пронесся хриплый кашель, говоривший как будто:

«Недолго я буду возмущать твою тишину, летняя ночь!..»

Громкий и басовитый был этот кашель, могший принадлежать только очень крепкому организму, но вместе с тем в нем слышались крайнее разрушение, досада на что-то, злость на кого-то. Так именно кашляют чахоточные люди, железное здоровье которых подкашивает эта злая болезнь.

Так и было в действительности: молодой человек страдал чахоткой. Едва раздался кашель,

как дверь его комнаты тихо и чуть-чуть только приотворилась, и из нее выглянуло доброе старушечье лицо.

— Што это ты, Колюшка, поздно так? — зашептала старуха. — Сестра вон там за тебя беспокоится... кашляешь...

— Прости, мама! Не нарочно как-то... После водки... Спать что-то захотелось, вот я и выпил...

— Брось ты ее хоть ночью-то! Дай-ка, я графин-то возьму.

— А я вам, маменька, в свою очередь, скажу, — ласково пошутил молодой человек, — бросьте вы ее, пусть она у меня стоит. Мне веселее с нею. Да опять же ныне я чувствую себя очень хорошо: совершенно свеж и спокоен. Вот приятелю письмо дописываю.

— Ну, господь с тобой, ежели так, — закончила старуха, затворяя дверь с тою же осторожностью, с какою отворила ее.

Кудрявая голова наклонилась к столу, и перо снова забегало по бумаге.

«Признаюсь тебе, что во время моего двухлетнего пребывания в ваших лесистых трущобах я начал было скучать по Петербургу, не потому, что мне было у вас худо, а просто потому, что мне думалось: там лучше теперь. И наяву, и во сне, ежесекундно, из этой двухтысячной дали виделся мне чей-то дружественный зовущий образ, и осязательно доносилось до меня его жаркое дыхание, которое, как будто боясь быть подслушанным враждебным ухом, тихо лепетало мне: «Приходи! иди!»

«В шуме елей, сосен и лиственниц, в плеске ваших красавиц — северных рек, в жалобном

крике не на смерть подстреленного зайца или рябчика мне все слышался один и тот же шопот: «Иди! иди!»

«А ночи — эти длинные, зимние ночи, с ревущими метелями, заваливавшими наше жилье вровень с крышей, с завываниями голодных волков, — о, как тяжело было мне проводить их, не смыкая глаз ни на одну секунду! Бывало, смотришь в окно на ваш яркий, насмешливый месяц — до одурения дойдешь! По необозримым снежным равнинам, расстилавшимся за нашей избушкой, забегают, бывало, озолоченные месячными лучами прихотливые, сквозные фигуры, — какие фантастические пляски поднимут они! К самому небу вздымят они снежную пыль, насквозь прохваченную золотом месяца! Какое это было странное сочетание цветов — золотого и серебряного! Я никогда не мог подкараулить их в отдельности один от другого, напротив: в этом-то и состояла их невыразимая прелесть, что они как бы вливались один в другой, постоянно сменяя друг друга. Больше нигде, кроме как у вас на севере, я не встречал такой прелести!

«Глухой звук соборного колокола, скованного тридцатиградусным морозом, как нельзя более подходил к этим волшебным видениям. Везде была тишина и покой: целый город спал. Разметавшись на полу нашей душной избушки, спали также и маленькие ребятишки-семинаристы, жившие с нами; кто болезненно вскрикивал, кто, напротив, торжественно распевал «Христос рождается», готовясь к скорому отъезду на рождество в какую-нибудь глухую деревушку,

властительно охваченную мрачными объятиями непроходимого леса. Наши закопченные часишки тукали и трещали в это время вовсе не с той молодцоватостью, которая, бывало, с такою развязностью отзванивала нам без отдыху по сту часов, вынуждая нас, таким образом, в деле определения времени руководиться уже не их указаниями, а различными небесными знаками, нагаром свечей, пением петухов, ревом скотины, требующей хозяйку выйти к ней на двор и осведомиться, каков морозец на нем погуливает. Нет! По таким временам даже и часишки стучали как будто тише и сдержаннее, не нарушая своей трескотней важных очертаний ночи, складывавшихся в моих глазах в одно живое существо, никогда не отходившее от меня с своим ласковым, магнетически влекущим призывом: «Иди! приходи!»

«Хотя я во время моей жизни в вашем городе и мог бы познакомиться с большею частью губернской знати, но ты очень хорошо знаешь, что я всегда предпочитал хвойные дремучие *волока* твоей родины дубовым домам ваших чиновников с их преферансами, с их спорами, которые начинались прилично и оканчивались выпивкой и скандалами. Таким образом, целых два года я был один — с лесом, с ребятками да с тобою; но и тебе, ежели я говорил и доказывал, что в Петербурге должно быть теперь лучше, зато никогда ни одним словом не пытался обрисовать ту жгучую страсть, с какою мне хотелось посмотреть на это лучшее. До того я боялся испугать твою крепкую, верившую юность характеристикой разных болезненных

стремлений, неизбежных в человечестве, как прорезь зубов.

«Повторяю: как ни было мне это тяжело, но я затаил в себе желание познакомить тебя с этим миром, потому что моя страсть неминуемо охватила бы и тебя, честного и стремительного. Вместе, рука с рукой, ринулись бы мы с тобою действовать в рисовавшемся мне *лучшем* и... и молодое сердце твое разбилось бы, потому что *лучшего* не было, а у меня очутилось бы более одним гнетущим сознанием — что я, после известной опытности, принял иллюзию за правду, от чего пострадал другой человек. Трудно на белом свете найти что-нибудь мучительнее этого сознания!

«Да, друг, ничего нового! Я приехал сюда к старой, как жизнь, истории. Я вновь должен прозубривать Кайдашку и оплакивать погибших героев... У тебя, конечно, гораздо менее мог испариться из памяти сей уважаемый историк, который так плаксиво на каждой почти странице своего труда восклицал: «Итак, сей знаменитый герой, озаривший вселенную лучами своей славы, погиб, не успевши насладиться плодами своих побед!»

«Стары, брат, стары и встрепаны темы петербургской жизни, как экземпляры Кайданова, поучающие уездное юношество, — и бог с ними! Не желая больше мозолить ими своих глаз, говорю тебе в виде постскриптума: я умираю. Ты не подумай, что под рукой у меня для этой цели имеются в настоящую минуту какие-нибудь «Лепажа стволы роковые» — ничуть не бывало! Я просто-напросто сознал, что больше я уже не

в силах вновь, как в старину говорилось, проходить Кайданова от доски до доски, из слова в слово, и потому чувствую, что червь этого сознания скоро загложет меня.

«Стало быть, ты видишь теперь ту необычайность, которая случилась со мной в Петербурге и о которой я упоминал тебе в начале моего письма. Я, как говорится, на железном даже севере прослывший силачом, умираю, сраженный на смерть незлобивым покойником Кайдановым. Правда, он и прежде несколько раз повергал меня, но не в могилу же, а просто-напросто на грязный училищный пол, под гибкие березовые розги. Одно другого стоит, да еще, пожалуй, последнее горше первого, потому что, ежели бы не было последнего, первое-то очень и очень могло бы быть отдалено... Ну, да уж верно, где наше не пропадало? Ляжем и смело примем последнюю жизненную розгу, по возможности осмеявши ее насмешливый и злобный визг над человеческой беспомощностью...»

Все страннее и страннее делался молодой человек, писавший письмо. По временам он, перечитывая тетрадь, ожесточенно бросал ее на стол и насмешливо бормотал:

— Напишешь тут чорта с два эти, как говорит русская пословица, с три короба? Где мне всё написать, — уже вслух хохотал он, — говорил семнадцатилетний мальчик, едва успевший выучить половину азбуки. А в старину как легко обходились с подобными затруднениями! Наставил побольше точек — и кончено, понимай, как знаешь! Я помню, как один мальчуган, товарищ

по школе, начитавшись многоточий, описывал летнюю ночь в деревне следующими стихами:

Жалко, слов-то мало,
Беден наш язык!..
Звездочка упала..,
Зашумел тростник...

Вот еще приятное воспоминание подвернулось! Мало было приятной беседы с орленком, витающим в архангельских лесах, еще другой подвернулся — и к чему? А между тем ребята очень друг на друга похожие. Желательно, впрочем, чтобы сходства этого было между ними как можно поменьше. Тот сначала так-то ли зашумел в университете, да потом падающей звездочкой и скатился в болото какого-то уездного училища. Слышно, пьет там, как последняя каналья!

Тут молодой человек взял свечу с письменного стола и принялся осматривать многочисленные фотографии, развешанные по стенам.

— Где он у меня тут висит, этот мой милый поэт и вместе с тем страшный позитивист еще с двенадцати лет? Отзовись! — говорил молодой человек, снимая со стены какой-то портрет и освещая его в одно и то же время и дружеской, и какой-то особенно тонкой, саркастической улыбкой. — Здравствуй, брат, вечно трудившийся на других, вечно, как Филарет милостивый, отдававший всем все на том основании, что ведь «как же быть-то иначе? Ведь не умирать же человеку от каких-нибудь пустяков!» Не в моей бы галлерее тебе, по-настоящему, висеть следовало, но ничего! Виси в храме дружбы, если не мог повиснуть в храме славных...

Ха, ха, ха! Однако, чему же это я хохочу? Глупо...

Сердито сморщив густые брови, со свечой в руках, шел дальше молодой человек по своей галлерее.

— Умер! — шептал он по временам, вглядываясь в какой-нибудь портрет. — И этот умер! Клянусь, это — страшная битва! Этот, по слухам, верный до гроба принятым обязанностям, сидит в каком-то захолустье, растолстел, как носорог. Говорят, стал зол, как слон весной. Злится на то, что его злят, и еще более злится на то, что как это он может злиться на кого бы то ни было. По-моему, лучше бы уж он умирал поскорее. Страшная, страшная битва! Невидимый враг, по выбору, бьет откуда-то на смерть или ранит мучительно... Где он?

Слова эти молодой человек говорил отрывисто, несвязно: порою повышая голос до нот, какими говорит всякий здоровый человек о всяком обыкновенном деле, порою понижая его до едва слышного шопота, совершенно такого же, каким рассуждают сами с собою люди, всецело объятые какой-нибудь засевшей в их мозг мыслью. При последнем вопросе он даже вздрогнул и оглянул комнату.

Так же быстро, как он оглянул ее, и комната моргнула на него всеми своими причудливыми аксессуарами, облитыми полутьмой и полусветом. Видимо было, что хозяин чем-то вдруг поразился; он задумался и с минуту стоял на одном месте, как бы соображая что-то. Потом опять зашептал, но уже энергично и злобно:

— А-а! Опять начинается! Нне-ет! я вас без холодной воды и без всяких медикаментов уложу туда, откуда вы ко мне пристаете. Я знаю, откуда этот голос, знаю, откуда эти лица: закрою эту половину окна, остановлю часы, притворю дверь — и голоса не будет слышно. Останется только один стонущий шум в моей голове, похожий на далекую бурю, я знаю. А когда я поставлю так эту свечку, сниму с нее абажур, мольберт подвину вот так, эту картину лицом обращу к стене, скелет поставлю в переднюю (пусть он стоит там вместо лакея), тогда не будет и лиц... Вот как! А вы думали, что я так же скоро сопьюсь, как мужик в кабаке! Вы, милые, полагали, что я всякой чертовщине после двух полуштофов способен поверить? Ха, ха, ха!..

Весело посмеиваясь, молодой человек быстро сделал то, что хотел сделать, и продолжал прежним насмешливым тоном:

— Я вот нарочно еще выпью, чтобы доказать господину алкоголю, что он не властен в моих воспоминаниях. Сознаюсь: он может их до некоторой степени прикрасить или причернить, но итоги этих воспоминаний запрятаны у меня там, где кончается всякое царство, не только что царство господина алкоголя... Ну-ка, господин алкоголь, выходи на расправу! Не ты меня съешь, а я тебя; по крайней мере, сейчас. Вылезай, друг! — смеялся молодой человек, снимая с бокового окна графин, тщательно прикрытый зеленою шторкой. — Посмотрим, как ты помешаешь мне узнать лица, с которыми я сталкивался в моей жизни.

Снова свеча забродила по галлерее, все чаще и чаще, однако, останавливаясь теперь перед боковым окном, прикрытым зеленою шторкой. В ней стали примечаться то какие-то порывистые колебания, как бы оттого, что человек, державший ее, вдруг поскользнулся и упал, то длинные, периодические дрожания, показывавшие страшную слабость рук. Несмотря на это, свеча, как казалось, исполняла свое дело с должною удовлетворительностью, потому что осмотр галлереи продолжался безостановочно.

— Какие это были нежные и слабые растения! — задумчиво шептал молодой человек, указывая свечой на портреты, на стеклах которых переливались и трепетали столь же разноцветные огни, сколько разнохарактерны были покрытые этими стеклами физиономии. — Словно мороз, валило их долой с копыт первое столкновение с действительностью. На научной почве, разумеется, настолько, насколько она была возделана предшествовавшими пахарями, они держались молодцами; а как только выехали на почву серой капусты — шабаш! Сразу одурманили их забористые запахи отечественных свычаев и обычаев! «Рассказывать, так просто сказки!» Вот, например, этот человек отчего застрелился? Сначала пошло дело у него ходко: он даже и капустную почву скоро разнюхал и сумел усесться в ней эдаким кочаном, кочаном крепким, только силу пробуй над ним, ежели бы, примерно, выдергивать его кому-нибудь по надобилось. А потом прослышал он как-то, что бывший его наставник на старости лет подличать вздумал, так он, как бешеный, из своего

огорода — сюда прямо. Спрашиваем: — Что, друже? — А он: «Правда?» — говорит. — Правда! — удовлетворили его. «Да как же это?» — зашептал он и по комнате закружил, словно овца полоумная. Эдак его событие возвеселило! Как? Как же да как же? Отчего да почему? — и приставал ко всякому наш пареnек, и сам разрешить старался. Пальцы даже ко лбу приставлял (сам я несколько раз видел, как он эти штуки проделывал!), голову руками обхватывал, словно бы она у него вдребезги разлететься готова была, наконец в одно время обрадовался: нашелся, изволите видеть, захотел погубившую его гнусность объяснить требованиями времени, соображениями тончайшей и благонамереннейшей дипломатии... Жаль, не надолго обрадовался, и пуля все разрешила... Вот ты тут и смотри: человек был твердой логики, а самого простого «почему» объяснить не мог... Все толковал: да где же люди-то после этого? А люди около него валом валили, и ежели бы он захотел, так каждую секунду мог бы оглохнуть от их радостных или страдающих воплей!

— Прощай, прощай, бедный! Ты, действительно, имеешь право спросить теперь: да где же люди-то? — если б только мог встать из своего гроба. Вокруг тебя нет ни одной могилы, приютившей товарища человека, и пустынное, заваленное грязью пригородное поле, на котором заснули твои муки, не удостоит ни малейшим ответом твоего вопроса...

— Помешаешь ли ты мне забыть погибель этой души, господин алкоголь? — говорил молодой человек, грозя пальцем на графин, который

как бы испуганный этой угрозой, конфузливо старался спрятать за зеленую шторку свое круглое стеклянное брюшко. — Что, брат, спрятаться захотел? Напрасно! Прими-ка вот подобающую казнь за всех отравленных и загубленных тобою!

— А этот вот? Сошел с ума от первой кошачьей выходки своей молодой жены. Ему говорят: помилуй, любезный друг, чего ты кипятишься? Да это даже грациозно, это просто-напросто — невинное женское кокетство! Подите вы, говорит, к чорту с этими придуманными мерзким умом словами! Какая это грация, ежели ее можно сколько угодно накупить по двугривенному за фунт? Это просто — испорченное мясо, которое думает приправить себя горчицей. Долго он в таком роде сумасшествовал, наконец все бросил и убежал куда-то. В третьем году видели его в оренбургских степях, в киргизских кибитках.

— Господин алкоголь! — пошутил молодой человек. — Как ты думаешь, нашел ли он в тех кибитках женщину, чувствующую свое человеческое достоинство? При современном проникновении цивилизованного света к разным адаевцам и атухайцам, надо полагать, что нашел — ну, и выпьем! Скверно! Человек на нашем пустом базаре мог бы очень полезным быть, а он теперь, глядишь, в каком-нибудь дружественном улусе на кобзе играть учится. Любезное дело! А осудить его нельзя, потому что он, в самом деле, женщины стоил, и ничего другого для осуществления его видов ему больше не надобно было... За одно только я его браню: как человек умный, он должен был знать, что у нас покуда

женщин не водится, а как человек с состоянием, он должен был поискать желаемую особу хоть, примерно, на константинопольском базаре. Туда со всех концов света баб свозят! Я ему, впрочем, тогда об этом по-дружески говорил...

Шопот, сыпавший эти насмешки, в то же время дрожал от подавляемых слез, которые наконец вылились наружу истерическими всхлипываниями.

— Прощай, прощай и ты, — каким-то рыдающим, бессвязным лепетом плакал молодой человек. — Ты хотел осилить вечные законы жизни. Ты хотел насадить сады... сады, в которых бы, ха, ха, ха! не было червей... Пром-метей! Ты добивался огня, который бы не жег людских жилищ... Ты рисовал своим друзьям возможность жизни без губительных ран душевных... Прощай! ты, который искренно верил в благодатное лето, которое, по твоим надеждам, скоро должно было собрать на своих цветущих лугах и львов, и ягнят...

— Эге! — вдруг прекращая и свой монолог, и свои рыданья, зашутил молодой человек. — Это что же такое? Господин алкоголь начинает входить в дарованные ему законом права и преимущества! Он начинает одолевать меня, он бьет меня по моим ламентационным железам, и я плачу. Господин алкоголь! Уж не возвысились ли вы до назначенных вам природой пределов, что так скоро повергаете меня в скорбь и уныние?.. а? Поистине, меня очень удивило бы обстоятельство, что даже, наконец, и те пакостные места, которые производят вас, надумали выпускать вас в градусах, могущих

выдерживать честную и разумную критику. Тогда, друг, я непременно сознался бы, что наше время, в своих стремлениях к гуманности и законности, в действительности одержало блестящую победу, увлекши вслед за своим стремительным полетом пропасть самой антилегальной и античеловеческой сволочи...

Все равно как с живым, наяву присутствующим собеседником, рассуждал таким образом молодой человек с «г. алкоголем», держа рюмку на отлете и пристально всматриваясь в нее насмешливо прищуренными глазами. Долго он в каком-то раздумье ждал чего-то, словно ответа от г. алкоголя на свой насмешливый спич; но ответа не последовало, хотя и примечалось что-то очень похожее на него в пронизанной светом рюмке, когда в ней дрожала и переливалась разноцветными тенями сероватая влага.

«Смейся, друг! Смейся теперь! Скоро и на нашей улице будет праздник!» — как бы говорила рюмка, то расцвечаясь светлой, торжествующей улыбкой, то покрываясь сине-багровыми злобными тенями, совершенно как человек, который путем умышленных каверз делает втихомолку приятность за приятностью своему любезному другу. Такие же *измененья милого лица* виднелись и в рюмке. Было очевидно, что и молодой человек примечает эту враждебную подвижность рюмочной физиономии, потому что, смотря на нее и задумчиво покачивая головою, он шептал:

— Какая, однако, странная физиономия! Сколько раз я всматривался в нее, освещая ее

на разные манеры. Всегда одно и то же выражение: сторона, обращенная к свечке, искрится улыбкой кокотки, имеющей причины быть в приятном расположении духа, а сторона противоположная — чернеет и дышит так же ужасающе, как на больших реках чернеют и дышат места, называемые *омутами*. Очень похоже! Я видел такие места на Оке и на Волге. Того и смотришь, что вот-вот из этой мрачной, глухо клокочущей глуби выскочит вдруг какое-нибудь толстоголовое и пучеглазое речное чудо и скажет: а поди-ка ты, друг любезный, сюда!..

— Так, верно, и останется неоконченною картина, которую я хотел написать на тему: совершенно опустелая комната со столом и стулом. На столе свеча, подле нее рюмка с своей роковой улыбкой; а на стуле спящий человек с бледным, пораженным ужасом лицом и с полуоткрытыми свинцовыми глазами. Он всматривается в реющий над ним рой уродливых видений, которые меняются с рюмкой своими улыбками. Улыбки им нужно было дать такие же, как и у рюмки. Не далась картина!.. Ну, и бог с ней! Теперь мне... Забыл, как это читается? Да!

Тише! о жизни покончен вопрос!
Больше не нужно ни песен, ни слез...

Г. алкоголь давал наконец знать себя молодому человеку. Его разговоры делались все тише и тише, периоды внезапно сокращались и притуплялись какой-нибудь икотой или вдруг приспевшей откуда-то необходимостью — поднять упавшие на крутой лоб запотелые волосы и отбросить их густые пряди на самый затылок.

— Чорт! — ругался он. — Словно в театре дергает... Даже и невольные движения, рефлексы-то эти — все на балетный манер... Этак ведь, подумаешь, выдрессированы!.. Чего бы, кажется, проще: жди молчаливо, когда перервется жизненная нитка, — и большинство, у которого *на челах нет следов страстей глубоких*, а есть только одни болезненно горбатые морщины на желтых лбах, поступает именно таким образом, то-есть страдает в молчаливом, поистине завидном терпении. Ну, а воспитанный человек этого не может! В большинстве случаев он в такие тяжелые времена на авансцену рвется, руки к сердцу прикладывает и предсмертную партию Травиаты поет... Нравы-с! Одно жаль: осветить эти нравы еще должным образом покуда невозможно!

Говорил это молодой человек и пил. Пил и бормотал что-то насчет северных климатов, в которых выпивка тоже будто бы принадлежит к числу нравов, неизбежно обусловливающих жизнь, и что она физиологически присуща этим климатам; потом он старался припомнить что-то о шведах и норвежцах и об их нравах, вынуждающих этих гиперборейцев сознательно отдаваться какому-то постоянно гложущему их червю, единица за единицей отсчитывать годы, в какие, по частым опытам, червь должен совсем заесть их.

— Да, брат, — уже опершись об стол и схоронивши голову в руки, словно впросонье, говорил молодой человек, видимо побежденный г. алкоголем. — Да, бр-рат! — рассуждал он, неопределенно указывая куда-то рукою, беспо-

мощно опускавшеюся после этого указания либо на стол, либо на колени. — Н-не-ет, друг, нравы не пересилишь. Они в клим-мате... Побед-дить, брат, их трудновато! Они по тебе, пожалуй... проедутся! Попадешься ежели под их веселый поезд, так они лишь свистнут да гаркнут — и только капельки крови кое-где останутся на рельсах, которые от этих капель не только не перестанут возить дальнейшие поезды, но даже и не заржавеют... Так-то! Ну и что ж из этого? А то, что жизнь — вот им! Тем, кто прирожденные гасильные способности развил в себе добрым прилежанием и пламенным рвением к делу погашения и напущения разных ядовитых туманов! Ишь! Такова наша жизненная минута, и нет ни малейшей надобности оплакивать эту минуту последней песней Травиаты, потому что... бывают минуты и другого сорта! А теперь точно: жизнь им, этим факельщикам, которые нахально позванивают выученною за провожание трупов халтурою. Да, вот знамения нашего времени: с одной стороны, скорбь и уныние, с другой — безобразная оргия под оглушающий звон балалаек. Вот эта-то оргия и завладела жизнью!

При этих словах белая, худая рука машинально приподнялась, вероятно, с целью указать ту сторону, в которой производится расправа с заполоненною жизнью, и затем снова не то чтобы упала, а тихо и безжизненно опустилась.

Упадок сил в молодом человеке, казалось, был полный. В комнате раздавалось какое-то с большим трудом понимаемое бормотанье в одно и то же время и про Видока и про

Иуду Искариотского, которые, по соображениям пьяного человека, деспотически царствуют теперь в наших нравах, позоря таким образом почву, на какой он вырос. Из рассказа, хоть и несвязного, понималось, впрочем, что речь шла о каком-то некогда любимом друге, на котором оборвалось множество самых дружеских симпатий.

— Вот этот, небось, не умрет! — говорил молодой человек, грузно поникнув на стол разгоряченною головою. — *Ай жиловат, собака, не изорвется!* Каждый день ему нужно показать свою каиновскую рожу по крайней мере в десяти комитетах, во стольких же заседаниях и у стольких же, если не больше, тех болячек, которые с лакеями высылают нищему свои старые чулки, чтобы он затянул ими свою смертельную, кроваво зияющую рану! В одном месте он «горячо заявляет», в другом «никак не может удержаться, чтобы не отнестись с полным сочувствием», в третьем «благородно негодует», в четвертом «восторженно прочит блистательную будущность положительным наукам» и т. д. без конца. Кроме этого, он находит еще время значительно пошептаться о чем-то с многозначительными знакомыми, которых у него целые полки... И так же магически действует этот шопот на молодых и на старых, как некогда подействовало на пьяниц ауэрбахского погреба пламя, внезапно вызванное заклинаниями Мефистофеля из стола... И долго после этого шопота мятутся старцы и юноши, до тех пор мятутся, пока змея цивилизации снова не всунет в уши их жальца и снова не пошепчет им чего-то,

успокоительно изгибаясь всем своим беспозвоночным хребтом.

— Интересный тип! — не то хохотал, не то плакал молодой человек, не поднимая со стола своего лица. — Ну, *там*, положим, такие типы понятны, там они даже нужны, ибо там каждый день предстоит надобность в добром человеке, который мог бы с должною ловкостью преподнесть, кому следует, яблоко от древа познания добра и зла, а у нас? Ха! ха! ха! Какая жалкая имитация! Это очень похоже на московских купцов, которые, как только вздуют кого-нибудь на приличный куш, сейчас же обзаводятся мамзелями из немок или *француженок* на том основании, что это *у всех уж заведение такое*... Московские легенды рассказывают, что часто будто бы такие лоботрясы по целым годам с своими *предметами* слова не скажут, а только деньжищи отваливают! Мерзкие сравнения! Но ничего! Что же делать, если не найдешь предмета, который уподобился бы «лазури ясных облаков». И эти хороши, они как раз идут к заплесневелым нравам. Ободрюсь-ка я и пойду выпью — верно лучше-то ничего не придумаешь.

Опираясь на столы, стулья и этажерки, словно ребенок или слепой, поплелся молодой человек по направлению к боковому окну, покряхтывая и беспомощно склонивши вниз всклоченную голову. Выпитая рюмка, против всяких ожиданий, произвела в нем какое-то странное оживление: прежней усталости как не бывало, по бледному лицу разлился румянец, согнувшийся было корпус выпрямился. Ожесточенно нашептывая что-то про каких-то предателей, он снял со стены

чью-то фотографию и, рассматривая ее, говорил:

— А ведь какой славный в старину был! Сколько он этого холода и голода перенес, и все с песней, со смехом... Караул ли, бывало, заслышит на улице, пожар ли завидит где — сейчас туда устремляется, как самый ретивый квартальный... Генерал-губернатору он опротивел хуже горькой редьки, и в полночь и за полночь влетая к нему с различными докладами о том, что вот-де, ваше превосходительство, в таком-то и таком-то месте сила солому ломит. Когда, бывало, придешь к нему, вечно сидит за каким-нибудь прошением или докладною запиской и злостно шепчет: «Подождите, други, я вас упеку козам рога править. Я вас проберу! Эх! — начнет лупить скороговоркой. — Не люблю я обивать парадных порогов, ну да делать нечего! Происшествие такое! Представь себе, дружище...» — зальется он, бывало, крепко вцепившись в борт приятельского сюртука, веселенькими отечественными мотивчиками, нескончаемыми, как сказки Шехерезады. Как водолаз, бесстрашно нырял он по самым мрачным столичным глубинам, где гнездились многоразличные человеческие страдания, и много оттуда вытаскивал на божий свет. И теперь еще есть люди, которые с его легкой руки живут по-человечески и поминают его юность, которая спасла их. И что с ним сделалось? Отчего он вдруг такой крутой вольт сделал? Я двадцать раз умолял его об откровенности, просто-напросто, хотя бы для того только, чтобы уяснить себе в других людях подобные неожиданности.

Ни слова. Ни краски на щеках, ни стыда в глазах, и только на бледном лице, приличном и безжизненном, как у нюрнбергской куклы, светится тонкая, едва приметная улыбка... Новая иголка так светится, валяясь на полу темной комнаты! Откуда у нас эти своеобразные Мефистофели? Какой Гете и когда именно натворил их? Они народились в промежуток времени гораздо меньший, чем тот, какой нужен сморчкам, чтобы после дождя засыпать луг своими коричневыми и желтоватыми головками. Надобно думать, что и будущность их будет так же кратковременна, как жизнь сморчков, на манер которых они выросли. В противном случае, легионы их остановят воздушные течения, которые освежают нашу спаленную атмосферу. Легионы эти апатизируют молодую науку своей притворной апатией, которую они напускают на себя. Точно так же, как кошки притворяются мертвыми для того, чтобы удобнее схватить мышь, и они настроят науку таким образом (да уж и довольно успели в этом), что она концом, венчающим ее усилия, будет считать возможность как можно удобнее и легальнее взмоститься на чужие, неученые плечи!

— А софизмы их,—стуча пальцами по столу, с пафосом объяснял кому-то молодой человек:— софизмы их, это... это что-то ужаснее кайлевских и крупповских усовершенствованных пушек. Те ревнут раз-другой — и тысячи людей с их страданиями и счастьями моментально и безболезненно исчезают с лица земли! Их пасти зияют слишком ужасающе, чтобы они могли подманить к себе на нужную дистанцию наивное

любопытство незнакомого человека. Наконец, гром их гремит издали — и люди имеют время попрятаться от него или как-нибудь иначе ослабить силу его молний. Но с трескотнею современного фокусника ничего не поделаешь! В совершенстве знакомый с самыми мельчайшими жизненными механизмами, он дерзко спихивает с дороги честный ум, нахально становится на его место, привычным взглядом намечает людей, которые со временем могут быть опасны для его развращающей профессии, и начинает убивать их. Видит он пред собою молодость и, зная, что она любит правду, до самой ключицы заворачивает рукава своего фрака и сорочки, говоря: господа! извольте смотреть! обмана быть никакого не может... И молодость удовлетворяется, ибо она видит, что руки совершенно голые, и, следовательно, какие же тут могут быть фокусы?

Во время этих разговоров смертная, восковая бледность, постепенно распространяясь по лицу молодого человека, наконец совсем закрыла его; его щеки ввалились внутрь, отчего наружу, каким-то лакированным, в роде картонных скелетов, рельефом, выставились крутые, покрытые чахоточным румянцем скулы, лоб сделался болезненно-желтым и покрылся глубокими синеватыми морщинами, в которых ясно виделась гневная сила, побежденная теперь совершенно, но готовая снова вспыхнуть.

— Прочту-ка я, впрочем, что я ему тут написал? — говорил молодой человек как бы в бреду, с закрытыми, как у сонного, глазами и ощупывая стол длинными худыми пальцами. — На чем

тут я остановился — забыл!.. Да, да! На фокусничестве, отравляющем умы. Ну, и что ж? Большею частью умы эти после дурмана, который напустят в них, трепещут и кружатся в жизни, как рыба в реке, отравленной кукольваном. А фокуснику это и на-руку: покамест саисский юноша в ужасе и благоговении приближается к таинственно закрытому божеству, его в это время раз десяток успеют переобуть из кожаных сапог в липовые лапотки... А впрочем, я теперь не могу писать... Я лучше попрошу мать и сестру. Теперь, кажется, пора разбудить их... Чтобы не сбиваться и не затруднять их, нужно припомнить всю эту программу! Ах! Как это голова болит! Словно сто тысяч мух жужжит и летает там. Но все это вздор! Быть не может, чтобы я забыл когда-нибудь сделать то, что хочу сделать... Пойду попрошу кого-нибудь сделать то, что хочу сделать... Пойду попрошу кого-нибудь дописать.

Говоря это, молодой человек встал и долго думал о чем-то. Голова его в это время была опущена вниз, а глаза, как и прежде, закрыты. Потом он твердыми, прямыми шагами направился к двери, затем покачнулся и упал на кровать, встретившуюся на дороге. Казалось, что он уснул.

Долго в комнате царило молчание, прерываемое по временам жалобным жужжанием мухи, попавшейся в паутину, унылым боем крепостных часов и тихим шелестом кисейных драпировок, которые изредка вздувал свежий предутренний ветер. Свечи горели сиротливо как-то, словно бы сознавая, что они горят понапрасну; со стен

озадаченно и в строгом молчании смотрели светлые фотографии и сумрачные масляные картины...

— Мама! — забредил молодой человек несвязною, горячечною речью. — Ты напиши ему: сын мой упал!.. Скажи ему: брешь, мол, после него открылась — иди! Мама! Он это сразу поймет. Он тебя будет любить, и сестру, и всех, как я. И ни разу он вам ни в чем не солжет, как и я вам никогда не лгал... Мама! Ложь — все! Без нее в мире все было бы вечною, хорошею жизнью! Ну, сестра, пиши же: брешь есть! А я спать хочу... А картины, какие я ему рисовал в письме, это — вздор! Напиши ему: брат писал их больной и пьяный, а то они (так прямо и пиши) на самом-то деле в миллион раз ужаснее! Ну, да его не испугаешь... ха, ха, ха! Маша! Маша! Где ты? Да! Ты здесь? Напиши ему еще... Чтобы он меньше верил... Ощупью бы ходил... А то вот и надо мною теперь вьются целые тучи крылатых мерзостей — и все они, как саранча шуршит в поле своими стеклянными крыльями, шепчут мне в уши... Ах! Какие у них безобразные улыбки — и однако: какое между ними строгое, неодолимое согласие! Видишь, видишь, мама, как он кружит около меня и нахально хохочет: умирай! умирай! Ты хотел заколоть меня своим карандашом, а я вот все-таки скачу сколько мне угодно, а ты околеваешь... Мама! Отгони от меня этого подлеца, — мечась в постели, кричал молодой человек. — Гони, гони его! Впрочем, он врет, что мой карандаш отскочил от него! Н-не-ет, вр-ре-е-т. Я его на смерть решил... Н-не-ет!

У всех *его* лакеев моя карикатура на него в кармане всегда находится... Они его мучат своими плотно сжатыми губами, своей постоянной готовностью фыркнуть над ним во всякое время, как меня мучат своим хохотом эти нахальные, уродливые рожи... И жена его мучит в минуты злости, показывая ему клочок этой карикатуры, и знакомые, и даже дети... ха-ха-ха! Н-нет, врете, чтоб я бесполезно умер... Сестра! Так и пиши: брешь есть! Брат упал! Приходи и становись на его место... не страшно!..

Серое, как свинец, петербургское утро любопытно заглядывало в это время в комнату, как бы стараясь понять, о чем в ней разговаривают...

[1870]

СЕЛЬСКОЕ УЧЕНИЕ

СТЕПНАЯ ИДИЛЛИЯ

I

Под наплывом светлых, ласкающих лучей весеннего солнца суровые зимние картины начинают с едва примечаемой постепенностью утрачивать свои гневные тоны. Деревья, до сих пор опушенные узорчатыми гирляндами инея, обсаженные серыми воронами и черными галками, теперь обтаяли, и на их голых сучьях ютится другая жизнь, гораздо более бойкая, веселая и крикливая, чем все эти неуклюжие вороны и галки с их дикими, печальными песнями, так сильно увеличивающими ту унылую безжизненность, которую налагает зима на русские длинные дороги, на печальные села и деревни, на грязные города. Попархивают теперь по обтаявшим кустам и деревьям желтобрюхие щегольчики с черными, словно налакированными крылышками, с маленькими, грациозными головками, в которых горят и прыгают такие светлые, умные глазки; быстро-быстро, как молния, реют серые, подернутые кое-где мягкой зеленою краской, веснянки, насвистывая что-то в высшей степени нежное и веселое. А вот, собравшись многочисленной стаей, гневно щебечут о чем-то разозленные чем-то воробьи.

Крик и писк невообразимые, налеты друг на друга до того безалаберно храбры, что только человек с самой бедной фантазией не увидел бы в этой птичьей свалке вернейшего сходства с человеческой войной, когда люди, совершенно по-воробьиному, схватываются между собою не на живот, а на смерть; а потом, после схватки, так же пищат, страдают и злятся, как вот эта воробьиная стая, общипавшая себе, посредством обоюдных одолжений, все крылья и все хохолки.

Все больше и больше разгорается воробьиная ссора! Шурша крыльями и злобно попискивая, стая порывисто бросает дерево, как бы опечаленное происходившим на нем раздором, и летит дальше: сначала она облепляет соломенную крышу какой-то избы, более других крыш пригретую солнцем, — потом проливным и так же непонятно шумящим дождем устремляется к громадной господской риге. Стук молотилки, громкий говор работающих в риге людей, пыль от обмолачиваемого и выветриваемого хлеба — все это пугает маленьких воителей, и потому они от этих ужасов врассыпную снова летят к селу и там окончательно усаживаются на безлюдном и гладко разметенном токе. Окаймляют этот ток снежные валики, засыпанные мякиной, заваленные колосьями, в которых осталось так много невымолоченных зерен. На средине его стоят пахучие ржаные снопы, большие такие, круглые, перетянутые соломенными поясами, блестевшими на солнце цветом чистого золота. Раздолье воробьям в этом уединении, обильно нагретом весеннею теплотою!

Ток окружают высокие хлебные скирды. С их верхушек, накрытых еще толстым слоем снега, каплют светлые, необыкновенно холодные слезы; на почерневшем и разрыхленном снеге покоятся такие мягкие солнечные лучи, что ледяные сосульки, словно серьги, обвесившие круглую покрышку скирд, блестят теперь и играют на солнце разнообразными, ласкающими глаза, цветами, свойственными драгоценным камням.

Ничего этого не примечает развоевавшееся воробьиное стадо! Не видит оно даже и того, что на его войну смотрят из-за скирд любопытные ребячьи глаза; не слышит, как какой-то радостный шопот сообщает кому-то, что «вот мы их теперь, всех этих воробьев, в полон заберем», и вообще азарт бойцов дошел до такой степени увлечения, что они продолжали налетать друг на друга даже и тогда, когда у многих из них розовые, так стремительно и неустанно прыгавшие ножки были уже давным-давно опутаны легкими, но неразрываемыми воробьиною силой сетями, которые, на птичью погибель, так искусно плетут деревенские ребята из волос лошадиных хвостов.

Все выше и выше поднималось солнце — и с этим вместе все роскошнее и роскошнее делался весенний сельский день: он весь был наполнен теплыми, яркоцветными красками, которые медленно и плавно лились с неба, дышавшего какой-то задумчивой и страстной жизненностью. Нежно звеневшие звуки несмолкаемо раздавались в расцвеченном солнечными лу-

чами дневном свете и будили, таким образом, сельскую жизнь, замореннную гневной зимою. Приветствуя весенние блеск и тепло, жизнь эта виднеется теперь и в раскрытых окнах изб и на безлюдных гумнах, с звонким хохотом плавает в чанах и корытах по лужам, разлившимся по огородам, и с боязнью, одолеваемой крестом и молитвой, быстро стремится по буйной реке на жалкой лодчонке на ближнюю мельницу или на рыбную ловлю.

Отощавшая за зиму скотина неудержимо валит на светлую улицу из темных хлевов. Забравшись по колено в уличные лужи и пригревши на солнце исхудалые бока, коровы и лошади меланхолически всматриваются в свои скелеты, отраженные в воде, и, уныло помятывая головами, чуть-чуть только не говорят: однако мы зимой-то здорово похудели, кости да кожа только одни и остались! Ну, да ничего! Теперь опять, бог даст, отгуляемся...

— Как не отгуляться? Известно — отгуляемся! Такого жиру наживем за лето,—беда!— бойким ревом отзываются лошадиным и коровьим думам молодые телята, выпущенные заботливыми хозяйками побегать на солнечном тепле.

С самым похвальным старанием выполняют телята программу, заданную им их хозяйками на нынешнее утро — побегать и поразмять члены, изнывшие от долгого лежанья в тесных и душных избах. Как бы предвкушая скорое появление из земли разных сочных злаков, они, с поднятыми хвостами и с опущенными вниз безрогими лбами, бесшабашно-радостно скачут

по улицам, стаптывая все встречное и оглашая село беспутным мычаньем, в котором ясно слышалось самое ярое отрицание хозяйской власти.

— Поди-ка вот, поймай нас теперь! — как бы смеясь, трубили телята в ответ на зазывающие их мужские и женские голоса. — Нет, ты теперь около нас походи да походи. Хлебца разве ломоток принесешь с солью, тогда, пожалуй, заманишь нас в хлев, да и то подумавши!..

Игривость телят была так заразительна, что вся деревенская улица увлеклась ею. Крепко уцепившись за хвосты скакунов, маленькие мальчишки и девчонки быстро носились по улицам, сопровождаемые громко лаявшими собаками. Увещания матерей — отцепиться от телячьего хвоста и итти в избу — вызывали в малолетних оборвышах одни только взрывы веселого хохота и усиленные старания выкинуть еще какую-нибудь штуку почуднее: проехаться, примерно, верхом на лохматом барбоске, или стать вниз головой на высоком соломенном ворохе, припасенном для крытья избы, и оттуда кувырком скатиться на средину улицы в невылазную грязь. Эти ребячьи штуки ясно показывали матерям, что власть их над детьми кончилась, по крайней мере, до следующей зимы, когда холод волей-неволей соберет всех в избяное тепло и когда, следовательно, во всякое время под руками матерей находятся хохлы разбушевавшихся ребятишек...

Нет теперь никакого уйму этим хохлам! Свободно треплются они по вольным и светлым улицам — и везде, где бы только ни появлялись,

около них, как около высоко трепещущего в воздухе полкового знамени, разнообразно шумела и бурлила сельская жизнь, оживленная греющим весенним солнцем. Вот ближний к селу лес, весь окутанный густыми, волнующимися туманами, гремит то какою-то, до сих пор еще неслыханной, вероятно, на месте сложенною песней, то озабоченным ауканьем, то неутешным плачем, то звонким, разымчивым хохотом. Казалось, что поют таким образом, смеются и плачут блиставшие по временам сквозь туманные волны своей ослепительно белой корой березы, или осины, грациозные такие, тонкие, но почему-то бледные и невыразимо печальные. Казалось, что не кто другой, как только именно эти деревья бегают и резвятся по лесному, закрытому серыми облаками пространству и что между ними происходит невиданная человеческим глазом не то игра какая, не то драка, бойкая и звонко-крикливая. Нежный свист и горластое карканье птиц, могучие взлеты потревоженных грачей и быстрое, едва уловимое глазами, порханье мелких пташек — все это слилось с гулом человеческих голосов и наполнило собою весь лес так, что в нем стало тесно от этой безурядицы. Перелетая от дерева к дереву, безурядица, наконец, шумно выкатилась из леса в виде большой стаи сельских ребятишек и девчонок, которым предшествовала целая буря радостных криков и визгов, распугавшая гусей и уток, пригревшихся на речном береге, покрытом яркой, зеленой травою.

Испуганно кагакая и широко распустив свистящие крылья, птичьи стаи вместе с своими

многочисленными выводками дружно шарахнулись в реку, и вот с игривой массой разнообразных цветов, которыми обливало солнце речные волны, смешались еще снежно-белые крылья гусей, золотисто-сизые головки уток и нежно-зеленый пух их слабой, но необыкновенно грациозной молодежи.

Увеличивая суматоху, произведенную в реке птичьими стаями, деревенские ребятишки и девчонки с невыразимым гамом тоже побросались в воду, еще холодную, как лед, и на берегу остались тоскливо пищавшие цыплята, выведенные утками, да заботливые матери, сердито, но тщетно звавшие своих белоголовых малышей выйти из реки и не купаться в ней в полдень, когда в ней властительно плещется злой *полуденный*, увлекающий в свое прохладное водное царство все, что мешает ему холодиться речными струями в эту знойную пору.

Но напрасно с средины реки старые утки подзывают к себе своих названных деток, оставшихся на берегу, — детки продолжают тоскливо пищать, суетливо и беспомощно копошиться в траве — и все-таки остаются на берегу, несмотря на очевидное, страстное желание стремглав броситься в реку и поплыть по ней вместе с разно-стихийными — родительницей, братцами и сестрицами.

Страшное недовольство и, видимо, язвительные попреки трусостью слышатся в кряканьи старых уток! Смотря на берег, они по временам поднимаются из воды во весь рост, распускают крылья и на своих желтоватых, перепончатых ногах, словно бы по-суху, делают по реке не-

сколько быстрых кругов, как бы с целью уверить глупышей-цыплят в неосновательности их пустых страхов и поскорее заманить их в реку, в которой, по утиным крикам, было гораздо веселее купаться и ловить маленьких мошек и рыбок, чем без толку шататься и пищать на опустевшем берегу.

Ничто не брало цыплят! Некоторые из них начали уже присосеживаться к куриным выводкам, предводительствуемым злобно и неутомимо клохтавшими наседками, несмотря на то, что их там клевали, отнимали изо рта пойманных мошек, всем стадом давили туловище и нежную головенку приставшего, когда ему случалось спотыкнуться, и т. д. и т. д.

Таким образом старые утки, увидевши, что ни под каким видом не зазвать им в реку цыплят, начали скучивать около себя свои стаи и потом, собравшись в одну громадную массу, запрудившую чуть ли не половину реки, повернули от берега правым плечом вперед и поплыли к далеко синевшемуся лесу, имея во главе массы красивого, звонкоголосого и длинношеего селезня, разноперая голова которого, словно корона, горела всеми цветами радуги.

Глухо и сердито кагакали утки, отплывая — и в этом кагаканьи явственно разбиралось:

— Ну вас ко всем шутам, ежели вы такие неслухи! Ишь чего бояться вздумали — воды?..

Точно так же и заботливые матери, ворчливо негодуя, покидали веселый берег и как бы смеявшуюся над их ворчаньем реку.

— Что это с ребятами по веснам делается? — говорили они, расходясь. — Никакого им уйму

нет! Все руки об них обколотишь, а домой ни за што не дозовешься...

Грозные рассказы про водяного, исключительно будто бы завладевающего рекою в полдневное время, щедрые обещания хворостины по благополучном возврате домой за едою ничуть не унимали веселья ребят, развозившихся в реке.

— Э-э-э, мамушка! — громко кричала какая-нибудь азартная на смех головенка, чуть-чуть торчавшая из воды. — Погляди-ка, мама, как я нонича плавать выучился. На-а сп-пинки!..

Затем слышалось громкое отфыркивание и беззаботный смех, скоро заглушаемый общим гвалтом купающегося стада.

— Погоди, погоди, разбойник, — раздавался с горки другой голос. — Вот ужо домой трескать придешь, так ты у меня не так еще поплаваешь на полу под хворостиной. Смеяться стал над матерью, — погоди! Молод еще!

Веселый гомон ребят, сплошной птичий свист вместе с жужжаньем и стрекотом насекомых, исходившими из каждой травки, и, наконец, яркий свет и живое, благоухающее тепло отнимали у выраженной сейчас угрозы всякое пугающее значение — и деревенская природа с каждым вновь прилетавшим с неба солнечным лучом делалась все роскошнее и обаятельнее.

II

Описанная сейчас весенняя благодать, внесшая в унылую сельскую жизнь столько веселья и радостей, была тем не менее неисся-

каемым источником больших хлопот и даже огорчений для двух человек, особенно приметных на селе как по почетному их положению, так и по роду их занятий. Люди эти были пономарь местной церкви Григорий Петров Ляпидевский и отставной унтер Абрам Телелюев.

Люди эти оба очень любили весну. Обеспеченные — первый доходами от церкви и от сдачи мужикам в наем приходившейся на его долю церковной земли, второй — каким-то грошовым пенсионом и уменьем подкидывать подметки под мужицкие сапоги, — они всю зиму только и дела делали, что разговаривали про скорый приход красной весны. Сошедшись каким-нибудь зимним вечером в солдатской или пономарской избе, душной и со всех сторон заметенной снежными сугробами, они с наслаждением вязали волосяные лесы или нитяные сети для птичьей и рыбной ловли, стругали клетки, мастерили дудочки из бараньих костей, плели из ивовых прутьев кошолки для грибов и т. д. и т. д.

В темной избе, обвоеванной со всех сторон грозно визжавшею зимнею бурей, уши их во время перечисленных сейчас занятий слышали могучий шелест дремучего леса, птичьи крики и взлеты, а глаза видели глубокие и светлые заводи широкой реки, блестящие всплески рыб и быстрое реянье чаек и чибисов, жалобно стонавших над тайными речными глубинами.

Все давала весна этим людям: она удовлетворяла их охотничьи вожделения, снабжала на весь год грибами, ягодами, лесными яблоками и такими чудодейственными травами, которые

неизбежно вылечивали все сельские недуги, если только они предварительно были вымочены в штофе хорошего полугара. В это же время друзья заводились действительным противоядием против безысходной осенней и зимней скуки в виде звонкоголосных щеглов, жаворонков, скворцов и перепелов. Эти певцы, подаренные нашим друзьям теплой весною, сделали их знаменитыми не только в том селе, в котором они проживали, а даже в целом околотке. На сто верст в окружности, по крайней мере, в четырех уездных городах и в нескольких торговых селах, часто можно было слышать в лавках местных торговцев горячие споры насчет того, у кого скворец лучше выговаривает: дурраки, — у пономаря ли Григорья или у унтера Телелюева. Большие пари шли также о том, кто из этих двух лиц ловчее может подразнить перепела, «штоба он разбористее отбивал зорю»; костяные дудки их подвергались в свою очередь серьезным и строгим обсуждениям, вследствие чего осенью или зимой в пономарские или в солдатские окна, помимо мужицких окон, часто стучались проезжавшие люди и, вошедши в избу, непременно спрашивали:

— Кажи скворца-то! Затем и заехал, чтоб на птичку взглянуть... За двести верст к нам про твою птичку слух прилетел... Нет ли, между прочим, согреться чем с дорожки-то?..

Редкостная птица, про которую так далеко расхаживали добрые слухи, сейчас же показывалась, вследствие чего приезжий человек, имея в виду самому выпить с дорожки *махонькую* и

попотчевать таковою же обязательного хозяина, посылал за полуштофом дворянской или поповской, так как важное дело осмотра такой удивительной птицы, какою слыл скворец пономаря Григорья, решительно исключало употребление простой водки, называемой в просторечии «сиволдаем».

И вот, исполняя желание гостя, пономарь, несмотря на свой незначительный чин, выпивал стаканчик дворянской и затем приступал, как он выражался, к «разгуливанию» птицы. Это разгуливание, надобно сказать, он производил с таким мастерством, которое решительно не было доступно другим птичьим охотникам околотка. Часто они были вынуждаемы обращаться к нему с убедительнейшими просьбами — пойти к ним в дом — побудить птицу, обещая всевозможные угощения и благодарности.

— Друг! Григорий Петрович! — восклицал иногда, чуть не плача, какой-нибудь охотник. — Пойдем ко мне, бога для. Уснул у меня скворушка. Бог знает, что с ним сделалось. Сидит, головку уткнумши под крылышко, и не пискнет. Типунчик что ли бы у него, али другое что, — уж и не придумаю.

Пономарь никогда не отказывался от исполнения таких просьб; страстно любя поющий птичий мир, он при всяком подобном известии сейчас же бросал собственную, даже самую нужную работу и шел на помощь заболевшему.

Трудно сказать, чем именно воскрешал птиц пономарь Григорий Петров: силою ли той страстной любви, которую он питал к ним, или своим необыкновенно тонким пониманием

птичьей природы, но только воскрешал всегда. Заскучавшая птица, при его присвистываньи и подщелкиваньи языком, оживала и оглашала избу, опечаленную ее болезнью, звонкими, веселыми песнями.

— Колдун! Как есть колдун! — говаривали в таких случаях про пономаря обрадованные хозяева птиц. — Как есть из гроба выхватил скворца! Молодец! Пойдем — угощу, — спрашивай, брат, всего, чего душа твоя пожелает.

— Только от смерти не могу избавить, — толковал про себя пономарь. — От ей от одной, от злодейки, не ухитрюсь никак птичку ослободить. Как таперича завижу я, что на птичке перо *меркнуть* стало, и опять же, ежели это самое перо книзу легло и легло смирно, — шабаш! Копай птице яму; но ежели, хоша сама птица и очень смирна, а перо на ней еще с игрою, так это нам ничего не значит! Тут я, главное дело, гляжу на свет, какой по птице идет, и сейчас же по нем узнаю, что с ней делается: бывает так, что она тяжелеет от вольного корма, объедается, значит, и тоскует с жиру, как и с людьми часто случается; бывает, что птица скукою мается, по паре, выходит, тоскует, по солнцу, по лесу, от старости засыпает также. Много у них тоже всяких болестей — и от всех их птицу я вылечу: от угару, от духоты, от типуна, от коросты, от родимца; а то иные из них картавить вдруг принимаются, как ребята маленькие, и за это дело нужно с большим уменьем браться, а то они скоро с голосов совсем спадывают. Есть также птица — вор, птица — хитрая, обманчивая, умеет петь —

молчит, трудно ей это, а она все молчит, ждет, чтобы ты ее на волю выпустил; есть птица ленивая, алчная, ей бы только зоб наколотить, да и на бок... Всех я их знаю. Ребеночком еще махоньким начал водиться с ними, оттого и до наук до больших не дошодчи, весь век на пономарском положении состою, при *четвертой* части, то-есть, примерно сказать, из рубля батюшка себе полтинник изволят брать, отец дьякон четвертак получает, а мы с дьячком достальной четвертак промеж себя по двенадцати с денежкой расшибаем... Так-то-сь!..

И вот в скудную жизнь этого человека, состоящего, по его собственным словам, при *четвертой* части, затесывается веселый приезжий, человек хотя и совершенно посторонний, но тем не менее такого сорта, который, несмотря на мизерное пономарское значение, глубоко интересуется пономарским знанием «насчет хорошей птицы». Приезжий человек глубоко завидует ему — пономарю Григорью, над которым большинство людей всегда только посмеивалось, не находя возможным завидовать его способности — довольствоваться во всю жизнь четвертаком, расшибленным им пополам с дьячком; приезжий человек потчует Григорья Петровича дворянской водкой, целует его, зазывает к себе в гости, ежели ему «каким-нибудь манером прилучится быть в ихних краях»; он посылает полштоф за полштофом, дарит его чумазым, оголодавшим ребятишкам пятачки и гривеннички, — и Григорий Петров, глаженный большею частью против шерсти, теперь совсем

растаял от ласки гостя и показывает ему свою птицу во всем, что называется, аккурате.

Сначала знаменитый скворец, разбуженный, по желанию гостя, Григорьем Петровым, долго и с большим вниманием прислушивался к дзыньканью и треньканью, производимому пономарем при помощи двух столовых ножей. Очевидно было, что это треньканье сильно интересовало скворца, потому что его черно-сизоватая круглая головка была склонена в направлении к разгуливавшему его хозяину, — светлые, глубокие глазки птицы были упорно уставлены в хозяина же, как бы с целью безошибочно угадать, что именно надобится ему от него. Сидя в этой позе на сделанном из тонкой ветки висячем полукруге, скворец по временам отряхивался, приглаживал черным носиком всклоченные перья, просовывал удивленную голову сквозь клеточные прутья; но вот лезвия зазвенели учащеннее, к их звону присоединилось какое-то невыразимое, похожее на голос испуганной наседки, клокотанье, исходившее из горла Григорья Петрова. Как нельзя более, говорю, клокотанье это было схоже с криком наседки, увидевшей, что в поднебесной выси вьется, как раз над ее птенцами, хищный ястреб: в нем слышались и испуг, и злоба, и вопли о помощи, и сердитые приказы, обращенные к птенцам, чтобы они не разбегались, а как можно скорее прятались под защиту материнских крыльев.

Все, кто был в избе в это время, притихли и как бы замерли. Была долгая тишина. Вот кто-то тихо свистнул — и опять тишина. Через

некоторое время свист повторился так же неожиданно и так же ненадолго — и затем уже по избе раскатился могучий свист скворца, разговоры о котором шли на двести верст около его местожительства.

— Гляди, гляди! Слушай! — чуть слышно шептал Григорий Петров замершему на месте приезжему купцу, заикаясь и указывая глазами на скворца. — Слушай: сейчас он у меня по-лошадиному пустит!.. Я его этому три года обучал...

— Ми-го-го-го! — загремело по избе решительно так, как иногда гремит в лесу испуганный голос жеребца, стоящего настороже у своего одичалого косяка.

— Батюшки! Господи боже мой! Что же это такое? — замолился купец. — Откуда же у этой мелкой пташечки силка берется такая, творец мой небесный?

— Молчи, молчи, Христа ради! — зашептал ему пономарь, зажимая рот рукою. — Слушай, что дальше будет! Не сбей ты у меня его с шагу, пожалуйста, — на целые сутки он тогда у меня замолчит, — терпеть не любит, ежели ему помешают.

Послушный купец замолкал, и благодаря какой-нибудь новой штуке, выкинутой Григорьем Петровым, скворец выкидывал, в свою очередь, новый фокус, от которого гость восторгался все больше и больше. Не было звука, присущего сельской жизни, которого бы не передразнила переимчивая птица: порой ее горло глухо шуршало наподобие того, как иногда шуршат на огороде старые ветлы, раскачанные бурей; по-

рою она стонала пустошкой, которая вечно оплакивает что-то, сидя летним вечером на кресте сельской колокольни, а иногда она в одно и то же время свистала и щелкала, как свистит и щелкает кнутом пастух на разбредшееся стадо.

В глубоком молчании все находившиеся в избе слушали своего певуна, и только изредка, при каком-нибудь особенно удавшемся «колене» скворца, пономарь, блаженно улыбаясь, кивал купцу головою на птичью клетку, как бы особенно рекомендуя его вниманию чудные дела, творившиеся в ней, на что купец неуклонно отвечал таким же многозначащим кивком и такою же блаженной улыбкой, которые ясно говорили, что чудные дела им должным образом поняты и оценены в лучшем виде.

Но дела все шли чуднее и чуднее: сдержанно и изредка только попискивая, в глубоком испуге попархивали в своих клетках другие птицы в то время, когда скворец заливал пономарскую избу совсем не птичьими звуками, то скрипя наподобие того, как во время сильного ветра скрипит в лесу надломленное дерево, то пугающе ухая филином, то тоскуя горлицей, то, наконец, раскатывая по внимающей избе хриплое, насмешливое слово: дур-раки!..

Как и люди, молчали птички, слушая скворца. Они не подали своих голосов даже и тогда, когда пономарь заставил его выкинуть перед гостем самый главный фокус, составлявший скворчиную славу, то-есть когда птица, вытянув и напружив шею, громко пропела: хвалите имя господне, аллилуия!

Но когда скворец, наскучив, вероятно, подражанием, засвистал так, как ранней зарею трещат все проснувшиеся птицы, и когда лишь одни знатоки могут различить во всей этой утренней трескотне сердитый и, так сказать, гортанный свист скворцов, — птички все встрепенулись и присоединились к пению знаменитой птицы. Сначала засвистали разноцветные щеглы с розоватыми ножками. Пели они, упруго вытянувшись на тонких ножках, и, кроме того, их любовь к своему делу видна была еще из того, что, свистя, они широко раскрывали носики, в которых трепетали маленькие, острые язычки, закрывали светлые глазки и сердито встопорщивали перья, как бы предостерегая не мешать им в их серьезном деле. К щеглам приставали чижи с своими звонкими и даже нахальными трелями. Без этого, звеневшего в голосе чижей, нахальства они ничем бы не отличались от звонко и отчетливо щебетавших щеглов. За чижами следовали толстозобые, серьезные ряпола с своим однонотным, но крайне выразительным чиканьем. Наконец уже шли синицы, которые в России водятся в таком обильном количестве и пение которых очень напоминает собою точение перочинного ножика о самый нежный оселок.

— Брат!—кричал купец Григорью Петрову, выслушав все это.—Истинно, как Адам и Ева, в раю ты живешь... птички вокруг тебя... беззлобие...

— Благодарение господу! — благоговейно и почему-то со слезами в глазах отвечал пономарь. — Должен за мою утеху непрестанно бога хвалить...

— Не то, что наш брат!.. — завидливо и с горечью продолжал купец. — Ни ты никогда не доспишь, ни ты не доешь!.. Выпьем!..

— Выкушаем! — соглашался пономарь — и к птичьему хору присоединялось еще тихое треньканье посуды, из которой друзья угощались «дворянской» или «поповской».

Таким образом, у купца с пономарем завязывалась дружба, вследствие которой приезжий гость знакомился и с унтером Телелюевым. Тут была совершенно такая же обстановка, как и у пономаря: та же тишина, то же хозяйское радушие, те же несмолкаемые птичьи песни.

Еще, пожалуй, для гостя пированье у унтера было еще занятнее, потому что Телелюев, опробовавши купленной гостем дворянской, кроме ученого скворца, щеглов, чижей и синиц, непременно показывал ему кочета Петьку, который, по словам хозяина, хотя и был первый разбойник во всем селе, но который, тем не менее, отлично знал, в какую сторону он должен был маршировать на своих голенастых, длинных ногах, когда Телелюев командовал ему: Петька, слуш-ш!.. Пр-рраввое плич-чо впер-ред, — скор-рым шаг-га-ам маар-рш!..

— Ах-х, шут тебя побери! — с крикливым хохотом кричал купец, утешаясь этим поистине чудовым зрелищем. — Это просто бед-да! А? к каким чудесам приучен!

— Это еще что, ваше степенство! — окончательно хвастался унтер. — Вы вот на что изволите взглянуть. Здорово, ребята! — орал он

во все свое командирское горло на Петьку, браво, но бессмысленно уставившего на него свои свинцовые, опушенные красным ободочком, глаза.

— Ку-кар-ре-ку! — отвечал этой команде Петька с такою энергическою поспешностью, которая ясно показывала в нем полное сознание необходимости отвечать командиру, когда он скажет: здорово, ребята! — другим словом, и именно: здравия желаю, ваше в-дие!

— Как это вы несмысленную скотинку таким чудесам выучиваете? — недоумевал купец, подкрашивая серую и скудную сельскую жизнь розовою «дворянской». — Истинно сказано: всякая тварь живая на пользу человеку дадена, и всякое дело своего мастера бояться должно.

Пономарь и солдат, слушая эти похвалы, конфузливо улыбались и благодарно выпивали подносимую им признательным гостем водку.

По отъезде гостя часто случалось так, что как солдатский *пинционт*, так и несчастная *четвертая* часть пономаря надолго переставали крушить горемычные головы их получателей своею невообразимою скудостью, потому что тогда в поражающие своей пустотой деревенские сундуки западали рублевки, перешедшие в них из купеческого кошеля за какого-нибудь «молодца»-щегла или «расканалью»-перепела.

Но всего благодетельнее действовала весна, так сказать, на нравственную сторону описываемых людей: именно — она одна только напоминала их односельцам-мужикам о высоких душевных качествах, отличавших пономаря и

унтера, — таких качествах, которые исключительно одни завоевали им почетное положение среди всех этих оборванных полушубков, посконных рубах, изможденных, отупелых лиц, всклокоченных вихров, размочаленных лаптей и т. д. и т. д.

В самом деле, сельское сборище, пришедшее в церковь в какой-нибудь троицын день и всю ее наполнившее ароматом полевых цветов и тихим ветром, производимым качанием целого леса из зеленых, только что срезанных ветвей, — ничего, говорю, это сборище не могло представить себе великолепнее и почтеннее унтера Абрама Телелюева, когда он, сверкая довольно-таки уже померкшими галунами, медалями и серебряным Георгием, выходил на средину церкви читать апостола «по праздникам», то-есть так, чтобы сначала густая октава видимой силой по ногам у всех заходила, а в конце *пустить такого верха*, чтобы задребезжали церковные стекла и зазвенело всеми своими стеклянными привесками паникадило.

И пономарь в такие редкие времена, возможные только в освещенные ярким весенним солнцем дни, казался сельскому люду совсем не тем невзрачным, слезливым старичишкой, каким он казался селу в обыкновенные будни. Сельский глаз, не привыкший к разным торжественностям, глядя на сгорбленного, седого старика, выходящего из алтаря смирною поступью, с высоким высеребренным подсвечником в дрожащих руках, в парчевом стихаре вместо ежедневно облекавшего его рванья, был приятно поражаем этою редко видимою им картиной,

вследствие чего души, убитые нескончаемо гнетущей, суровой действительностью, отдыхали в каком-то, хотя и безотчетном, но сладком умилении.

Под наплывом этого умиления сами собою гнулись колени, не для отчаянного вымаливания невозможной милости у какого-нибудь жестокого и гордого сердца, а для тихой, бессловной молитвы, надолго облегчающей страдающие души; слышались тогда в церкви отрадные, умиленные вздохи, которыми вздыхает человеческая грудь, ощущая в себе прилив довольства и счастья, и, кроме того, именно по таким временам примечалось в сельской церкви много лиц, всегда тупых и безучастных, а теперь светло освещенных свободой от бесконечного жизненного горя...

Во многих группах расходившегося от праздничной обедни народа можно было слышать:

— Надо бы, по-настоящему-то, для праздничка позвать пономаря с унтером на закуску, — толковали какие-нибудь домохозяева, серьезные такие, с лицами, заросшими черными волосами, с широкими загорелыми лбами, в сероватых, толстого домашнего сукна свитах и в несокрушаемых сапогах, вымазанных дегтем.

— Что же? За чем дело стало? Позовем! — соглашался другой голос. — Почествовать их давно нужно, — народ хороший! Возьмем в складчину четвертушку и почествуем, — пивка у меня, признаться, от Святой еще боченок остался, — дюже пиво густо и здорово в нос бьет, ежели натощак его ковшик протащишь. Кстати же ноне у меня хозяйка просука жарила.

— Позовите, позовите! — приставали к совещавшимся хозяевам их жены. — Настряпано — страсть! Одним нам всего ни за что не поесть... Опять же: девчонки вчера вечером промеж себя брухаться задумали, в роде как бы коровы, так лбы себе этак ли расколотили, — беда! шишки теперича эвона у них на лбах вспухли какие! Ну, мы у солдата Егорий возьмем и шишки те девчонкам помажем, — говорят, дюже помогает, — всякий ушиб в одну минуту от этого глаженья проходит.

— Ну, вот и чудесно! — говорили хозяева. — А мы тоже Григорья Петровича помолим в хлевах книжку какую-нибудь церковную почитать. Скотинка что-то очень неспокойна стала! Так по ночам бьется, так бьется!.. Должно, здорово ее нечистые заседлали, потому давно мы с тобою, друг, молебнов не служивали...

— Истинно, что возлюбил нас с тобою господь! — сообщал унтеру старик-пономарь, возвращаясь вместе с соседом к своим птицам после праздничного пированья, заданного им хлебосольными домохозяевами. — Как он, батюшка, — продолжал пономарь, — возвеличил нас с тобою перед всеми, Абраша? А? Верно тебе сказываю, что «малым чим»... Ей-богу! О, господи!

— Конечно, Григорий Петрович, — довольно и сонливо бормотал унтер, — нам с тобою большое неоставленье от добрых людей идет... за наше терпенье с тобой!.. Слава богу, много довольны!.. Что же, соснувши маленько, махнем мы с тобою на перепела, Григорий Петрович?

А? Дюже теперь хорошо на зорьке под него — под мошенника — подобраться.

— Да, ведомое дело, господи боже мой! Известно, что теперь под него ходить первое дело! Не пропустим!..

III

Таким образом, всякому делалось видным, что весна обильно проливала на друзей, описанных в моем рассказе, всякие удачи и радости, и не будь одного обстоятельства, конец этих радостей и удач приходил бы только вместе с наступлением зимы, лютые морозы которой сельская скука переносила бы значительно легче в разговорах и воспоминаниях о светлой и всегда благодетельной весне.

На беду дело выходило иначе — и весенние удовольствия наших друзей в сильной степени отравлялись многочисленными заботами и хлопотами, тем более волновавшими тихие души моих героев, что эти заботы и хлопоты никогда не приносили и даже в отдаленном будущем не могли принесть желательных результатов.

Вот, именно, из какого источника вытекали эти печальные хлопоты: помимо возни со всевозможными птицами, помимо обучения их всяким штукам, более уподоблявшимся поучительным выражениям умственной деятельности человеческой, чем бессмысленной, вечно свистящей деятельности птичьей, как унтер Телелюев, так и дьячок Григорий Петров занимались еще дрессировкой сельских ребят, натаскивая их, при посредстве букварей, как на понимание много-

различных добродетелей, украшающих род человеческий, так и на неуклонную и бдительную стойку над этими добродетелями.

Мрачная, дождливая осень с невылазною грязью, с отчаянными проклятиями на лошадей, издыхающих на серой улице под грузными возами, и потом зима с морозами, выжимающими невольные слезы и тут же снова их замораживающими, делали сельских ребятишек глубоко внимательными и усердными к перениманию и усвоению той мудрости, которую, не скупясь, засыпали в их уши дьячок Григорий Петров и унтер Абрам Телелюев.

По таким временам, то-есть в виду осенних или зимних ужасов, разыгрывавшихся на улицах, сельское детство и отрочество, пригретое жарко натопленною солдатскою или дьячковскою избою, с удивительным прилежанием выслушивало преподаваемые истины, имевшие умудрить их неопытную младость на непреткновенное шествование ко вратам смерти.

Чадный, серый угар плавает, бывало, по избе удушающими, густыми волнами, а *азияты*, как дьячок и унтер титуловали своих маловозрастных воспитанников, привыкшие к этому угару и чаду в своих родных избах, ничуть не стесняются этим. В том же неприятном случае, когда какая-нибудь слабенькая головенка действительно закруживалась от запущенного в нее теплом школьной избы дурмана, то голову эту вместе со всем ее помертвевшим телом более сильные товарищи с громким смехом выталкивали из избы на улицу и там с размаху швыряли в снежный сугроб. Этот незамысловатый

метод лечения делал свое дело исправнее всех рецептов рациональной медицины: не проходило каких-нибудь скоротечных полчаса, как головенка отрезвлялась и, дрожа от холода, прискакивала в избу с румянцем во всю щеку и с какою-то необъяснимо довольной улыбкой, которая заставляла почему-то неудержимо хохотать и школьников, остававшихся в избе, и самого учителя.

— Ха, ха, ха! Хи, хи, хи! Что? Прошло, небось, как мы тебя завалили в снег по самую шею? — заливались смехом разнотонные голоса мальчиков и девочек, заседавших в школе. — Поди, поди уж ко мне поскорее, — мне мамка у Миколы на базаре купила новые валенки, так я тебя в них, пожалуй, хошь с головой посажу.

Так ребятишки наперебой зазывали к себе своего мгновенно вылеченного ими пациента, и он стоял перед ними с своей довольной улыбкой и румянцем во всю щеку, не зная, в какую сторону направиться, потому что и сам учитель в то же время хохотал над ребенком и здоровым басищем кричал ему:

— Ах, шельмин сын! А? Ха, ха, ха! Ах, барчонок ты этакой лупоглазый! Мы смотрим, смотрим на него, а у него уж и глазенки под лоб закатились. А? Ха, ха, ха! Я смеюсь и говорю ребятам: ребятишки, говорю, не в снегу ли, мол, у этого барчонка вотчина будет? Стащите-ка его туда, — авось там за его лихой болестью няньки-мамки походят... А? Ха, ха, ха! Ну, поди, поди сюда поскорее, на коленки ко мне, — я тебя свитой своей принакрою маненько. Ну, ничего! До свадьбы оно заживет.

Бери указку теперь и читай за мною. Помни — гляди, не забывай! А то тебя учишь-учишь, а ты все говоришь: я, дяденька, энто запамятовал... Ну, читай за мною: «буки-аз — ба, веди-аз — ва, глаголь-аз — га» и т. д.

— Ну, что? — заключал свою ласку учитель, пропевши вместе с ребенком это основание всероссийской премудрости, на котором столько лет зиждилось и теперь зиждется дивное здание отечественного просвещения. — Согрелся теперь? Слезай же с колен да бежи за стол повторять. Да ты вот что, ты вот что, шутенок, — останавливал учитель ребенка, стремительно ринувшегося за стол к приятелям, которые втихомолку обезьянничали над *сурьезом мастера*, — ты азбуку-то указкой не проковыривай у меня, — шкуру спущу... Сколько раз тебе говорить, что за азбуку-то по нынешним временам три пуда муки дают, да и то взять негде. Что, отец-то твой шкуру с себя должон продавать на азбуки-то тебе? И то уж он другую книжку тебе покупает. Гл-ляди у меня округ себя!.. Попристальней пог-гл-лядывай!..

Приказание это «пог-глядывать округ себя попристальней», отданное даже ласковым тоном, необыкновенно усугубляло ребячье старание проникнуть в суть наук. Очень может быть, что во время отдачи такого приказания у многих ребятишек и мелькали в мозгах различные приятные мысли насчет того, например, как бы хорошо было выбежать сейчас на только что замерзшую реку и прокатиться на ногах по ее гладкой, блестящей поверхности; но мысли эти,

наподобие зимних пташек, быстро мелькающих по снежным равнинам, сейчас же выпархивали из малосмысленных голов, страшно перепуганных возникшим там представлением возможности получить за катанье по льду «спущение шкуры»: во-первых — морозом, безжалостно рвущим пухлые щеки, а во-вторых — учителем, который исстари привык оберегать молодые жизни от разных опасных случаев, прикладывая к различным частностям этих жизней горячие припарки в виде толстых пуков гибких березовых прутьев.

— Оттягивает это у ребят охоту-то... К баловству, например... В роде будто бы шпанской мушки облегчение им подает, — в один голос и с одинаково добродушными усмешками толковали и дьячок и унтер, указывая на прутья, распаренные в теплой воде или в вольном духу печи.

Слушая постоянно такие разговоры, ребята, может быть, и не особенно сильно поддавались бы их усмиряющему влиянию, если бы в такие времена на дворе не стояло зимы. Она обезлюдила сельскую улицу, сгребла и сжала в своей могучей ледяной руке раздольные волны речные, и, наконец, она же воцарила в сельском лесу мрачную смерть и безответное, унылое молчание. Только одни сосны да ели спорили в этом лесу с зимою, раскрашивая могильное однообразие ее белого савана своими вечнозелеными ветвями.

Куда тут итти? Как по этим страшным снежным сугробам могут разбечься резвые ноги, не завязнув в них, и кто в этом

угрюмо молчащем лесу так же весело и звонко, как весел и звонок ребячий голос, отзовется шумной детской радости? Одни только снежные пушинки осыплются с верхушек деревьев и беззвучно спустятся к их подножиям, около которых летом можно было сидеть и с тихой, молчаливою думой смотреть на тысячи разнообразной, живой мелочи, копошившейся в траве. Скучно и холодно зимой!..

И ребята, как нельзя более лучше, знали это, и потому они терпеливо сидели в учительских избах и беспрекословно занимались, как это характерно названо сельским народом, *учобой*.

Что это был за страшный и дикий гомон, которым непременно обусловливается *хорошая, настоящая учоба!* Вот пять молоденьких ртов, напоминающих собою белые рты галчат, вывалившихся из гнезд на землю, задыхаясь от натуги — показать учителю, чей голос громче, — из всех сил тянут: «мал-литва к чистно-ому хрясту»...

— Я вам, я вам задам к «хрясту»!.. — покрикивает учитель, несмущаемо сидя за плетением рыболовной сети или за точением хитрейших балясин к клетке для любимого скворца. — Ишь мужлаки поганые! К хрясту! Ослепли вы, что ли, как там написано? «Кресту» там написано! Г-гля-яд-дите у меня, ребята! Кое место терпеть мне от вас?

Группа белоротых галчат, штудировавшая молитву к честному кресту, останавливается при этом окрике. Она в глубоком недоумении. Она, очевидно, не доверяет ни словам учителя, ни книжке, ценность которой определяется тремя

пудами муки. Одумавшись и самым внимательным образом всмотревшись в книжку, группа видит, что в ней, действительно, пропечатано: ко кресту; но она в то же время очень хорошо знает, что самые любимые ею люди — дедушки, бабушки, тятьки и мамки, всегда, когда их сокрушенные горем головы падают пред иконами во время ночной, одинокой молитвы, так эти люди всегда шепчут: «Хрест — хранитель земли! Хрест — красота и милость божья!»...

Мимолетно скользят над детскими головами такие соображения, но все-таки, тем не менее, заставляют их, хотя на минуту, задумываться.

— Ну что стали? — покрикивает учитель, на минуту отрываясь от вязания рыболовной сети. — Читайте: «мо-о-ли-итва к честному кресту».

— Кре-есту! — вторят за учителем ребятишки голосами, непременно плаксивыми, потому что понимания их в этом случае уже разошлись с учительским пониманием о кресте.

Крест учителя и «хрест» дедушки и бабушки, тятьки и мамки оказывались в детских головах вещами, совершенно друг на друга не похожими.

Впрочем, с этим неудобством ребятишки примиряются очень легко. От зимы никуда не убежишь с голыми ногами, и потому в школе слышатся другие голоса.

— Буд-ди бла-го-честив! — вопиют эти голоса уже более возмужалым хором, чем пели голоса первой группы.

— В мире нет ни счастья, ни несчастья! — протяжно и уныло диктуют друг другу четыр-

надцатилетние ребята, угрюмо наклонившиеся своими весноватыми, исхудалыми лицами в серые тетрадки, в которые, в назидание грядущим векам, они вписывали поучительную истину об отсутствии счастья и несчастья в этой жизни, обильной, как всякому известно, и тем и другим веществом в глубокой степени.

Наподобие того, как жужжат пчелы в улье, гудят целый зимний день ребячьи голоса в дьячковской избе. И точно так же, как светлые летние злаки дают возможность трудолюбивым пчелам наполнять свои ульи сотами душистого меда, так и юные сердца малолетних тружеников посеянию и благополучному в них произрастанию цветов различных добродетелей обязаны были только длинной, суровой зиме, которая в этом случае, должно быть, делала милостивое исключение для бедных, сельских недоростков, привыкнув исстари обрывать со всей русской природы ее цветные украшения...

И как душисты, как разнообразны эти цветы! Вот, например, одно юное сердце старается возрастить в себе цвет знания *чихвирей*. Для этой цели юное сердце всеми своими сосудами жадно впитывает в себя «таблицу умножения», которую дьячок собственноручно вписал, для всеобщего назидания села, в тетрадку из толстой синей бумаги. По тетрадке оказывается некоторая, хотя и не особенно значительная, реформа в общепринятом человеческом счете, именно: по «таблице умножения», составленной дьячком Григорьем Петровым, выходит, что «трижды-три — питнадцать»...

Это же правило усвоивается и в избе унтера Абрама Телелюева. Он, впрочем, когда-то домекнулся было своим бравым, солдатским рассудком до несостоятельности правила «трижды-три» и покушался исправить эту несостоятельность, да подумавши, так и оставил без исправления.

«Небойсь! — молчаливо думал Абрам. — Когда вырастут, так сами узнают, как это оно «трижды-три»... Опять же: может, оно по пальцам точно что девять выходит, а рихметику ежели раскроешь, так там тебе вдвое больше того насчитают... Известно, фокус-покус все! На то книги и сочиняются, чтобы ты своим умом не кичился: умнее тебя завсегда в тыщу раз люди найдутся, ну они и перешибут тебя всячески на каждом шагу... Знаем мы тоже историю-то!» — заканчивал Телелюев свою думу и обращался к какому-нибудь скворцу, который не знал истории и, следовательно, перешибить своим умом солдатского ума ни в коем случае не мог...

— Ну-ка, Петинька, отличись, — спой нам что-нибудь, друг! — ласково говорил Абрам птице, печально опустившей крылья в виду инстинктивно чувствуемых ею зимних ужасов. — Что приуныл, милашечка, в сам-деле? Что зима-то на дворе стоит? Эккая невидаль? Чив-во испужался? Ну-ка, дерни! Фью, фью, фью! Джи, джи, джи! В-вы што, м-меж-жду проч-чим, глупые, рты-то разинули? Чего перестали учиться? — кричал затем учитель на ребят, действительно разинувших рты на птицу, которая, приободрившись от хозяйской ласки, начинала было уже почвикивать потихоньку.

Испуганные окриком, ребята снова потуплялись в опротивевшие книжки и снова принимались, как и в дьячковской избе, голосить о «трижды-три», о «добродетели, не нуждающейся в блистательном поприще», о «бедном, хаотическом мире, лишенном счастья и несчастья», и т. д. и т. д.

А между тем на деревенских улицах злилась и насмешливо свистала зима, словно бы освистывая линючесть красок тех цветов, которые во время ее господства над землею с таким удобством принимались и разрастались в сердцах ребятишек. Содрогались от этой зимней злости не только гнилые мужицкие избы, но и белая каменная церковь села. Ветер, словно пьяный буян, налетал на голые верхушки берез, росших в церковной ограде, моментально и, как это говорится на человеческом языке, ни за что, ни про что выдирал им их печально развисшие в разные стороны вихры и потом, взлетевши под церковную крышу, ожесточенно разламывал ее жестяные листы и буйно стучал ими о деревянные стропила. Проезжий человек, вынужденный неотложною надобностью быть в такую непогодь на дороге, слушая этот, громко отдающийся, стук, пугливо крестился; а ветер как бы нарочно старался навести на его душу еще большее смятение. С каким-то особенно ужасающим визгом он, в виде летучего снежного человека исполинского роста, стремительно — не взлетал уже, а как бы вспрыгивал на верх колокольни, под самые колокола, и принимался звонить в них, ухитряясь в то же время извлекать из них одни только невыра-

зимо унылые, томящие звуки, с которыми ежели сравнить прощальный звон похоронный, так он вышел бы в несчетное число раз веселее этой музыки, производимой буйным снежным человеком.

Слушая эту музыку, дьячок, при особенно выразительных нотах ее, отрывался от обтачивания хитрых балясин и осенял себя крестным знамением, при чем по его благодушному, обрамленному седыми волосами лицу пробегали какие-то сумрачные тени, очень увеличивавшие общее уныние.

— Разгулялось! — задумчиво шептал дьячок, снова принимаясь, после креста, за прерванную работу. — Хошь бы чудок попритихло; а то ведь всю душу вытянуло, братцы мои! Но, но! Что стали? — вскрикивал он в ободрение ребят, которые, вместо обычного гомона, теперь, в виду серой тьмы, царившей в избе, и непрерывного стона, летавшего по улице, тихо и сонно перешептывались между собою о разных школьных разностях.

Крик этот всегда оживляюще действовал на отуманенные ребячьи головы. Он имел по отношению к ним такое же действие, какое имеет кнут по отношению к кляче, задремавшей усталой головой на трудной пахоте. Неожиданно вытянутая по спине длинным кнутом, кляча сперва порывисто вздрагивает, словно бы в это время кнут спугнул с нее обуявшую ее задумчивость, потом поднимает голову и наконец принимается усиленно шагать по рыхлой земле, несмотря на то, что ноги ее по колено вязнут в этой земле. Точно так же и ребята, загнан-

ные зимой в душную избу, сперва вздрогнули от учительского крика, потом подняли головы и наконец всеми ртами произвели характеризующий деревенскую *учобу* гомон, надоедливо и безустанно ломившийся в тайные области великого научного царства...

И буйное величие зимы не одни только головы малолетков превращало, так сказать, в роскошные нивы, удобные для восприятия дьячковских и солдатских истин. Оно гнуло к поучительным книжкам, сочиненным и напечатанным на всеобщее благо русского народа матушкой Москвою, и другие, менее пугливые, совершенно уже возрастные лбы. Такими лбами во множестве украшались как солдатская, так и дьячковская избы. Они принадлежали и парням, и молодым девицам, года которых языкам сельских насмешников давали полную возможность сколько угодно потешаться над этими грамотеями, особенно над парнями. Сельские балагу́ры, встретивши таких ученых на улице, обыкновенно проводили между ними и своими лошадями обидное сравнение, по которому оказывалось, что вот «лошаденке моей двух годков еще нет, а уж она по две бочки воды каждый день привозит; а вы вот, дескать, шалаши, все за своей *учобой* рассиживаетесь».

Насчет заучившихся девок у сельских остряков хотя тоже и существовали различные пословицы, более или менее игривого свойства, но однако пословицы эти говорились вслух очень редко. Народный обычай, осуждающий взрослую девушку сидеть за псалтирью и часословом, укрывая молодую голову и румяные щеки

черным платком, вместо того, чтобы ей, разубранной в красный сарафан и алые ленты, итти в церковь под золотой венец и потом хозяйничать в мужнином доме, удерживает смешливые языки, — и напротив, почти всегда бывает так, что когда по сельской улице проходит такая девичья молодость, потупивши в землю светлые очи и укрывшись своим черным платком, то даже старики и старухи дают ей дорогу и с каким-то любовным почтением, серьезно и медленно перед ней преклоняются.

Эти молодые девицы — русские «козлы очищения». Родители их, желают ли свалить с себя тяжкое бремя не дающих даже минуты покоя грехов, просят ли у бога каких-нибудь особенных милостей, или, наконец, пламенея религиозным рвением угодить господу, всегда в таких случаях своих дочерей, преимущественно перворожденных, *обручают Христу*, отчего издавна присвоено им имя «христовых невест», или «вольных черничек».

Лет с десяти *обрученниц* этих одевают в черное, не давая, таким образом, молодым глазам любоваться яркими цветами, и потом их отдают в науку дьячку, у которого они лет в шесть-семь научаются читать церковные книги и писать по-*полууставному*, то-есть церковнославянским шрифтом. По окончании этого обязательного для всякой вольной чернички курса родители их выстраивают им дом где-нибудь под ветлами, в глуши заднего огорода, устанавливают этот дом образами, увешивают лампадками из разноцветных хрусталей, и отсюда уже начинается самостоятельная

деятельность «христовых невест». Они читают псалтырь по умершим, обманывают их, вписывают в «поминанья» имена живых людей «о здравии», а мертвых «за упокой души» и, наконец, обучают таких же, как они сами, обрученных девочек всем тем наукам, каким их обучали...

Из окон таких домиков этих черничек всегда, и днем и ночью, светятся огоньки от многочисленных лампад и восковых свечек, зажженных пред иконами. Тут они, в виду великих сподвижников Христа, наполнявших их пустынные кельи, вечно поют тонкими, смирными голосами псалмы царя и пророка Давида, либо глубоко сокрушенные горем даже царственной жизни, либо фанатически ликующие пред «неизреченною милостью бога богов — царя израилева, спасающего от этого горя»...

И так проходит вся жизнь этих девиц. Мужик какой ежели забредет за заблудившеюся лошадью в чащу их уединенного огорода, он, смотря на мерцание святых огней, видных из черничкиных окон, непременно снимет шапку перед пустынным домом и с глубокими вздохами положит несколько земных поклонов. А ежели бабе случится проходить зачем-нибудь мимо черничек, так она непременно стучалась в их всегда запертую дверь.

Впущенные в келью, сельские женщины обыкновенно долго молятся пред освещенными, блистающими светлыми ризами, образами черничек, а потом большое число этих баб еще дольше истерично рыдают и причитывают:

— Ах-х! Какие у нас с мужем божии лики темные! Ах, в какой у нас темноте господь-Саваоф схоронен! Ох, как бы мне теперича девичью силку, когда меня добрые молодцы любили и золотом-серебром даривали: взяла бы я мое благословение родительское — золотом бы его всего обернула — батюшку!.. Ох, детушки, тошно мне! Ох, голубушки, тесно мне!.. Ха, ха, ха! Темь у нас с мужем в избе, холод и голод. Ребята голые кричат и во всякой нечисти, равно бы животинки какие, по полу ползают. Свечки нельзя мне перед ангелом моим — Настасеей святой — затеплить, — денег нет... То сама я на ребят истрачу, то муж от злости на свое убожество пропьет...

Молодые чернички в утешение таких страстно и болезненно рыдавших женщин говорили:

— Изыди! Изыди, демоне, от рабы Настасеи! Попробуй-ка, тронь-ка рабу еще раз!.. Д-ды он-на тиб-бя, мож-жет, в тар-тарары упечет.. Д-ды мы тут тебя всего молитвами-то спалим, проклятого сатану... Изыди! Изыди! Тьфу! Вот тебе что от нас, от безгрешных сестриц!..

Таких девиц очень много заседало как в дьячковской, так и в солдатской академиях. В них «безгрешные сестрицы» приобыкали к будущей деятельности — неустанно замаливать грехи наивной сельской мысли или отгонять от нее искусительных демонов, которые в неисчислимое количество лет существования мира никак не могут отстать от своих каверзных привычек — соблазнять честные человеческие головы и наводить их на действия, сообразные скорее с неугасимою свирепостью жупела, горя-

щего в темных недрах адова царства, чем с тихим и безобидным течением дел разумного и любящего друг друга человечества...

Все эти девицы были одеты в синие, пахнувшие масляной краской, сарафаны и укрыты черными платками так плотно, что из-под них блестели только сверкавшие напрасно старавшейся притаиться молодостью глаза да чуть-чуть виднелись ярко-румяные щеки. В приятном соседстве с ними сидят уже взрослые парни, толстые, породистые губы которых подернуты светло-рыжеватым пухом — предвестником настоящих молодецких усов. Все они одеты, за некоторыми незначительными изменениями, одинаково, почти так, как обыкновенно одеваются молодые богатые мещане в уездных городах, именно: на всех на них были либо ситцевые, либо красные кумачные рубахи, ситцевые же разводистые жилеты с блестящими пуговицами и потом синие нанковые штаны, заправленные в длинные голенища «смазных» сапогов со «скрипом».

Такая одинаковость костюмов сельских академиков объясняется одинаковостью нравов, господствующих в среде деревенского богатства: соблазнительные примеры разбогатевших «коломенских дворников, зарайских кабатчиков» и торгующих по селам мещан, которые пьют чай из собственных самоваров, одевают своих ребят во все красное и синее и потом отдают их в *учобу* к духовным, увлекая к тому же и серых мужиков. По пятидесяти и более лет откладывавшие копейку за копейкою, грош за

грошом, деревенские деды, молчаливо приравнивая своих любимых внучат, вечно растрепанных, вечно в грязных, посконных рубахах, к примасленным детям разбогатевшей на их уже стариковских глазах городской саранчи, начинают как будто сердиться на что-то, начинают крепче и любовнее гладить льняные головенки шаршавых внучат. Их молчаливые, свыкшиеся со всяким горем души, против воли стариков, запевают в такие времена волнующую, завистливую песню о том, что надо бы внучонка-то приодеть, надо бы его, как у других прочих людей ведется, в науку какую-нибудь отдать, потому что же ты, старый, все ежишься? Или ты, старый, весь век все будешь копить да про нечаянный, *черный* день сберегать? Или ты, старичина, все, что тобой в твой длинный, горький век сколочено, задумал унесть с собой в темный гроб и ничего не оставишь внучонку, какой был только одной радостью во всю твою жизнь?

И все более недовольными нотами звучит эта песнь в стариковской душе. Каждый звук ее все больнее и больнее щиплет омертвевшее стариковское сердце, и покамест в душе деда поется эта никому не слышная песня, шаршавый и грязный внучек совсем уже заснул на его теплых коленях. Ничуть не слышит внук, как седой, морщинистый старик, продолжая гладить его молодую голову, потихоньку всхлипывает и отрывисто толкует о том, что он и рад бы радостью внука *прозументами бриллиантовыми* всего разукрасить, рад бы его в самые *господские науки* отдать, чтобы он сразу мог прочитать,

какая цыфирь на какой версте стоит; да ведь увидят тогда люди, что у него, у деда, капиталы есть... Истерзают его тогда люди: одни бедностью своей, другие окаянством нахальным, — изорвут на части... Деньги выманят или украдут, потом судить примутся и пустят со всей семьей по-миру.

Больше и больше льются стариковские, одинокие слезы, — все меньше и меньше хватает у деда сил, чтобы сдержать рыдания, которые готовы были разразиться громким, бабьим криком. Стыдно ему своего горя, боится он, что как бы кто-нибудь из домашних или посторонних людей не подсмотрел его, не подслушал; а мальчишку между тем уж и разбудили рыдания деда, всегда спокойного и серьезного. Он смотрит светлыми, но недоумевающими глазами на несчастье деда, в первый раз им подкарауленное, и храбро лепечет любимому человеку:

— Ты, дедушка, никого не бойся! Ты меня деньги твои караулить заставь! Н-ниб-бойсь! Только подойди кто-нибудь, я так вцеплюсь... Я онамедни, — рассказывает дитя о своих сторожевых способностях, — так в Мишатку целовальникова зубами вцепился, — бед-да! Меня целовальничиха стала за это сначала палкой бить по спине и по ногам, и потом уж копейку дать обещала на гостинцы, чтоб я Мишатку кусать перестал; а я все ж ему кровь пустил и убег!.. Потому он сам — Мишатка-то — не дерись!.. Ишь какой драчун!.. Ох, дедушка! Отнеси меня в сани на солому, — закончил ребенок свой рассказ про свое ребячье столкновение

с целовальниковым Мишаткой, — мне спать хочется...

Сквозь даже непроглядную тьму глухой ночи, при которой бессонный дед разговаривал со внуком, можно было видеть, как, при последних словах ребенка, по лицу старика разлилась широкая улыбка, обнажившая его красные, давно лишенные зубов, десна. Не сгоняя с своего изможденного лица эту улыбку, старик левой рукой прижимал ребенка к своей груди, а правой молился на стоявшую пред ним церковь, вставляя в молитву множество житейских, ропотливых и жалующихся слов:

— Ангеле мой, хранителю святый! Что же в сам-деле — аль у нас нет?.. Спаси, прикрой, успокой! Доколе же это мы будем людей-то пужаться? Н-не-ет — будет, — хоша при смерти-то возьмем на себя бодрова духу!.. Столп и храненье земли, — древо благосеннолиственное! Спи, спи, родной! Об Троице рубаху тебе красную куплю, как у Мишки, празнишную... Святители московские чудотворцы, молите бога о нас! Н-не-ет! Мы им носы-то утрем — торговцам-то этим! Я вот восемьдесят годов гляжу, как они на нашей мужицкой шее сидят... Налетит к нам саранчой прожористой — и посиживает себе день-денской, сложа ручки на животе, а все пуще нашего брата — батрака — сыт... Святая великомученица Варвара!.. Завтра я тебя сам отведу к мастеру, в *учобу*; а там молебен отслужим Науму святому, с водосвятьицем... Так-то вот! А там мы еще поглядим, кто угоднику покрепче свечу-то выставит: кабатчик аль мы?.. Я таюсь только... Завтра же, по грехам моим, водки

выпью с Васюткиным мастером. Пеносу ему в подарок водки полуштоф с крёнделями — и сам с ним, по малости, чикну... Да право! Чего мне людей-то стыдиться, — слава богу, не маленький! Опять же — у меня внук растет — надежа! Ишь зверь белоголовой какой! Он уж и в тепершние, малолетные года всему у дедушки научился: молитвы читать, за пчелкой господней смотреть... Уж он и теперь пристально разбирает, к какому она, матушка пчелка божия, ведет к меду косым крылом, к какому прямым, когда ей, родимой, питья хочется и когда спокою... Молодчик! Дай-ка вот уборов-то я тебе накуплю, — погоди!.. Ну, прощайте, добрые люди, — спать мы со внуком идем! — раскланивался дед на все четыре стороны пред опустевшей улицей, вся жизнь которой ограничивалась только одними месячными лучами, бродившими по ее мягкой дорожной пыли в виде каких-то как бы глубоко усталых и печальных теней.

За неделю или более до прихода троицына дня, с его зелеными ветвями, с ярким солнцем, с ароматно пахнущею травою, старый дед, потихоньку от домашних покопавшись в каком-то темном углу своего двора, в котором и стоял-то только один гнилой остов бесколесной телеги, весь запачканный ночевавшими на нем курами, собрался, на диво своих многочисленных чад и домочадцев, в город.

— Телегу мне празднишную снаряди, — приказывал старик младшему сыну, который сам был охотник прокатиться в праздничной телеге, стоя в ней и пуская вскачь застоявшуюся на корме хорошую лошадь. — В корень пусти гне-

дова жеребчика, в пристяжку кобылку соловенькую, — парой поеду. Навяжи погромочков, позвончее каких, да побольше...

— Да ты никак, батюшка, в город-то едешь головину дочь за себя за вдовова сватать? — смеялись над стариком молодые снохи.

— А хошь бы и головину дочь за себя засватали, — отвечал дед смеху снох своей редко показывающейся в избе улыбкой. — Небойсь, ежели к нам и головиха войдет в дом, не замарается... У нас, слава богу, есть!.. Чаю ей не добудем, что ли?..

И, вследствие стариковской поездки в город, в светлый троицын день любимый внук его бегал по сельским улицам в розовой шуршащей рубахе, подпоясанной шелковым гайтаном с махрами из разноцветного сырца, в широких синих штанишках и в сапогах, выстроченных по краям узорною строчкой, — деготь так и лоснился на тех сапогах.

Блаженная счастьем разодетого таким блестящим манером сынишки, мать знаменательно толковала с своими подругами, как бы осуждая ненужную роскошь свекра:

— Что, старый, придумал на старости лет? Уж куда нам — мужикам серым — в красном ходить.

— Почто не ходить? — отвечали подруги, видимо пораженные громадностью капиталов, посредством которых старик мог осуществить свои затеи насчет внука. — Ежели вам в красном не ходить, золотая, так кому же в ем и ходить? Небойсь, у старичка-то вашего, у почтенного, вволю всего припасено...

Дворники, целовальники, торгаши-мещане, глядя на разубранного и размасленного Васютку, тихо между собою толковали:

— Эге! Гляди-ко-сь, гляди! Штуку-то какую отмочил старичок-то наш, сусед-то почтенный! А я, признаться, не ждал от него капиталов. Полагал я, что он молчаньем своим фальшивит все: пущай, мол, люди думают, что у нас *залеж* есть, а мы тем временем так будем норовить, чтобы, то-есть, в долг заграбастать побольше... А оно вот куда дело-то поехало!

— Да, брат, загуляло дело! Он, друг, восемьдесят годов колотил... Того гляди теперича, старый шут, лавку откроет, — дегтем примется торговать, маслом коровьим, сбруей лошадьей, лаптями,—как есть без куска хлеба нашего брата—бедного человека—оставит. Они ведь, эти старые дьяволы-то, хитры. Молчит-молчит весь век, да как ляпнет вдруг с большого-то ума, ну и иди с сумой!..

— Да! Надо полагать, что он подведет под нас что-нибудь! — огорченно шептали другие голоса. — Уж он нам теперича, идол, пропишет, уж пропишет...

«А то как же? Не пропишу, что ли? Рази у нас нету, что ли? Пора уж нам с вами в разговор вступить!» — отгадывая соседские речи, думает сам с собою старик, сидя в овчинном тулупе на жгучем, полуденном солнопеке, около своего дома.

— Васютка! — кричит он затем своему внуку, шумно объезжавшему верхом на дедовском посохе праздничные сельские улицы. — Поди-ка сюда! На-ка вот: дай Мишатке целовальникову

городского гостинцу... Скажи: дедушка, мол, из города таких гостинцев бог знает сколько привез. У нас их теперь, скажи, вся семья хрупает, сколько угодно... Запрету, мол, от дедушки нет... Сколько в кого влезет — кушай!.. А гостинцы, скажи, дорогие!..

Внук убегал делиться дорогими гостинцами с приятелем Мишаткой, а дед, прикрывая плотнее овчинным тулупом свои трудовые, исхудалые плечи, шептал:

— Уж очень меня на моем веку пробирали торгаши-то эти! Дай-ка и я им хошь одну загвоздочку махонькую запущу...

Целовальник, в свою очередь, тоже громко орал на своего Мишатку, который прибежал было к нему похвастаться дорогими гостинцами, полученными от приятеля:

— Что ты, дурачина, аль ополоумел? Всякую скверность от мужичьих ребят в свои руки берешь! Рази тебе тятенька твой не покупает гостинцев! Поди скажи матери, чтобы она надела на тебя шелковую рубаху, сапоги бы дала сафьяновые, красные, гостинцев чтоб полный подол наклала, самых сладких, с билетиками печатными... Пущай, чтоб билетики по-французскому написаны были... Нехай старый чорт к попу идет те билетики разбирать... Посмотрим, как они их разберут! Я и сам-то с ими еле-еле смогаюсь, даром что по всей Расеи прошел... А?.. Ах, старый шут! Ишь ты какие комедии подпущает... Н-нет, — утрись! Увидим еще по времени, кто кому здоровее ходу задаст...

— Варвара! — так же громко, как целовальник, кричал дед своей снохе — Васюткиной

матери. — Аль не видишь, руда, — говорил он Варваре, вставшей перед ним, как лист перед травой. — Аль не слышишь, что целовальник-то говорит: велит жене Мишатку обрядить в другую рубаху, в шелковую... Ты-то что же глядишь? Доставай и ты Васютке шелковую рубаху, с разводами, самую лучшую, сапоги красные, сафьяновые... Гостинцев ему в подол послаще насыпь... Ай я им уступлю? Да я в гроб пойду, а не уступлю... Будет им уступать-то, — шабаш! А ты, должно, свекра-то слушаться перестала, — чего стоишь? Ты, должно, свекра-то, на старости его лет, на все село осрамить собирашься?.. Ох! Доберусь я до вас — до неслухов!.. Держитесь вы у меня в те времена!..

Грозно отдает снохе это приказание седой дед. Тулуп он в эту минуту с плеч долой сбросил и толстой палкой об землю застучал. Едва-едва удерживая пред этой грозой смех, послушно отходит от него молодая сноха и, выбирая из сундука драгоценные Васюткины уборы, довольно и счастливо повторяет свою прежнюю фразу:

— Ишь, старый, что на старости лет выдумал? А мы думали, что он у нас тугой на деньгу. Ан, он вон какой чливый! Своих в обиду не даст, значит... Иди же, Васютка, надевай другую рубаху, — дед велел!.. Да поди-ка, чертеныш, под рукомойник, — я тебе морду-то вымою, — в сладком у тебя морда-то вся!..

Потом старик, все дальше и дальше идя по разымчивому пути неуступок, сосватал свою внучку — Васюткину сестру — замуж за письмоводителя станового пристава, и перед этим со-

бытием он еще раз ездил в город, где, по его собственному выражению, накупил *всево*, что требуется хорошим господам. Полезность и надобность в господском хозяйстве многих вещей, накупленных дедом в городе, не могли быть определены не только им, но даже и самим письмоводителем, при всей его житейской опытности и понимании, как и что к чему делается у именитых людей. Он, письмоводитель этот, перестал даже франтить перед своей невестой облезлою енотовою шубой, которую он не снимал и в жарко натопленной избе, а только что ахал над вещами, навезенными дедом, целовал у него худые, подернутые сине-багровыми жилами, руки и восклицал:

— Ах, деденька! Как это вам господь помог этакую кучу *всево* оборудовать? Да мы намедни именьице тут одно описывали с г. становым у помещицы у одной — у вдовы. На что роскочна дама, а и у них такое имение на именины только да в престольный праздник подается к столу на погляденье гостям. Где вы, деденька, такие посудины отрыли? Ах! Сколько у вас ума!.. Пожалуйте ручку, дедушка, — вместе господу богу с вами помолиться дозвольте за ихнее неоставленье...

Но не особенно поддавался дед ласкам человека в енотовой облезлой шубе и при часах из «нового золота», которое в старину называлось просто — медью. Он отстранял свои руки от поцелуев приказного и, сидя в переднем углу «под богами», протяжно толковал ему:

— Да ты не беспокойся! Не горюй! У нас то ли еще будет?.. Живи только честь-честью, —

люби жену да нас, стариков, почитай! Тогда мы, поглядемши на ваше с молодою хозяйкой житье, сколькое время удосужиться можем, внучку тебе нашу — мужичку — так соберем, хошь бы любой барыне в пору... А то как же? Рази у нас нет, что ли?

— Как не быть, деденька? — таял приказный. — У вас-то?.. Господи!..

— Сказано: соберу внучку за барина, — и толковать нечего! Вот ужо поеду в город, — орган из трактира куплю, чтоб была музыка у моих внучат, как у господ, — ей-богу! А ну, барин, покажи нам свое послушанье, то-есть, что ты не гнушаешься моей мужицкой семьей, — ласково смеялся дед, — поднеси винца дедушке...

— Да мы, деденька, с большим удовольствием не токма что винца поднесем вам, а и в ножки поклонимся, не за деньги, дедушка, а за вашу, сударь, милость, потому я сирота, сударь-дедушка, и горе великое знаю, не глядите на младость моих лет... Прознал я этого горюшка очень довольно... Прикажите, дедушка, и вы, милые сроднички, вином-хересом вас потчевать — из города мне купец Блохинов две бутылочки на свадьбу в подарок дал, ради моего сиротства...

— Ах, как умен писарек! Ах, сколько в нем, при его сиротстве, ума сидит! — тихо шептали друг другу пирующие.—Выбрал, старый, зятька себе всласть! А мы уж про него думали, что он совсем ослеп... А он вот как: подавай, говорит, нам с внукою барина...

— Прикажите же, дедушка, — умолял жених,—винцо мое в рюмки—ваше подареньице—

разливать и вас с гостями дорогими потчевать. А я, никак вы в себе сумнение против меня имеете в своем сердце насчет моей гордости, я даже, напротив того, с супругой вообще в ножки к вам. Ну-ка, Машенька милая, — обращается «молодой» к невесте, — налейте-ка деденьке рюмочку, а я поднесу, да потом уж и в ножки им, потому, милая, дедушка наши стары... Нам их во всякий час уважать нужно...

— Вот за это ты молодец!— серьезно говорил старик, принимая рюмку с вином-хересом из руки внука, при всеобщем почтительном молчании гостей. — За это я тебя люблю, что ты чином своим перед нами — прочими мужиками — не гордишься... Подите-ка ко мне, внучата мои золотые, я вас поцелую! Ох! От радости моей и от вина, кажись, я совсем с ума сшел?.. Кажись, я деньгами своими потешаюсь над вами?.. Э, да уж и горе же у меня было, братцы мои, — простите, Христа ради, коли дед ежели в чем забуянил перед вами...

И молодые, лежавшие в ногах у старика, и сам старик, совершенно довольные и счастливые друг другом, заливались горячими слезами; а целовальники, дворники и различные торгаши, смотря на эту сцену в освещенное окно, завистливо толковали:

— Вот демон-то, — истинно! Не думано, не гадано! И на свадьбу не позвал, — а?.. Ты гляди, ломается-то как! Весь словно на пружинах!..

Старик, по своей восьмидесятилетней житейской опытности, если не слышал этих заоконных речей, так знал, что непременно они будут

на разные манеры растолковываться, и потому, положивши руку за пазуху, он заговорил в ответ им:

— Ну-ка, внучек! Поднеси-ка деду вторительную! Встань с коленок и не плачься на свое сиротство,—я теперь тебя в обиду не дам. Недаром я тебя в зятья себе взял. Я на тебя три года глядел, каждый твой шаг знал — и вижу: пред начальником твоим, становым, господь тебя умом не обидел... Подноси! не гордись перед дедом! Я семнадцать годов вина-то не пил, а иную пору страсть как хотелось!.. Сказал: не буду пить, — и не пил! Так-то! Ну, а теперь вот выпил — и, за твое послушанье, жертвую вам с молодой женой на раззавод сто золотых!.. Это покамест, а там видно будет: не умрем, так увидим...

— Дедушка! — плакал письмоводитель. — Да я теперь с вашим капиталом... Да я с ним, может, по сиротству моему горькому, проскочу не то что в становые... Вел-ликая важность! Супруга! Машенька! Целуй дедушку в правую щечку... По-господски! Повыше того махнем, дедушка, — околеть мне на месте! Увидите, как, с вашею помощью, в губернию с женой закатимся...

Словно высеченный из гранита древним миром бог, сидел волосатый, седой старик под образами и величаво говорил:

— Увидим! Поглядим! Дай-то бог! Только отчего же это, зятек, на моем пиру станового с женой и с ихними детками нет?.. Обещались, кажись?.. Нам ведь все равно, а все же будто бы почестнее было бы... Конечно, мы и без них обойдемся...

— Да они сейчас будут! — взмолился письмоводитель. — Господи! Деденька! Да ведь они так и сказали, и сам, и барыня: сейчас, говорят, мы прибудем к ним... К старичку, то-есть, божьему... Ах, дедушка! Как они оба вас любят, так это даже, ей-богу-с!..

Старик, слушая это, улыбался в густую седую бороду, а целовальник, наблюдавший в окна чужой пир, говорил своим друзьям:

— Нет! Этот старик, знаю я теперь, не последнюю сотню золотых зятю сичас выложил, а, может, первую только еще... Слышали? Сам становой посаженым отцом будет... Теперь они беспременно лавку откроют, а там дальше и больше пойдут властвовать... Надо кому-нибудь сдать мне свой кабачишка, — в другое место нужно итти, — тут они теперь съедят вдосталь, мужланы проклятые!.. Так-таки и задушат своим капиталом без всякой пощады, особенно ежели этому старому псу бог веку пошлет лет на пяток... Смерть!..

Вследствие описанных сейчас дедовских побуждений, сельская трудовая жизнь после смерти таких стариков начинает изменять свои патриархальные нравы. Приближаясь все больше и больше к городским торговым типам, она, на свою собственную, убыточную беду, снимает с себя домашнюю льняную рубаху и разукрашивается алжирскими и вонючими материями отечественных мануфактуристов. Брезгая и фыркая на грязные, тунеядные нравы уездного и губернского купечества, с которым сводят ее торговые отношения, сельская жизнь в то же время глубоко и злостно относится к той своей

несостоятельности, которая неминуемо проявляется в ней во время интимных сношений с купцами после дела.

Уездный купец, далеко опередивший мужика на поприще трактирного и базарного ярыжничества, которое в большинстве случаев у нас называется коммерциею, обыкновенно смеется над ним, не знающим никакого толку в «купонах, акциях и облигациях», к которым, впрочем, и собственное понимание купца относится точно так же, как к той измышленной русскою умственностью бездне, в которой будто бы даже сами дьяволы ноги себе обламывают...

Смеется купец над мужиком даже и тогда, когда угощает его в грязной харчевне чаем. Наливая в чашки этот всероссийский напиток, купец говорит мужику:

— Вот и такого простого дела ты не умеешь сделать! Что ж ты после этого за человек есть! Вот я теперь прислуживать тебе должен, купечество мое под пятку запрятамши. А какая от вашего брата за это благодарность? Каждую копейку ты у меня отжиливаешь, об каждом гроше ты предо мною скулишь, ровно собака какая облезлая, которая во всю жизнь свою куска хлеба не видывала. Глядеть мне на такое твое скаредство тошно, а еще богатый мужик. Да я вот поменьше тебя, может, капиталов имею, а для друга мне ничего не жаль: хочешь — угощу тебя сичас французским вином, хочешь— немецким? Гришутка! — обращается купец к половому. — Принеси-ка нам с дядей бутылку рому ямайского, да поздоровее! С игрою нельзя ли, Гришутка, как у шенпанского! Ха, ха, ха!

— А как, брат, жена твоя онамедни меня одолжила, когда с крестником к нам приезжала, — хохочет купец все больше и больше, — просто беда! Понимаешь: обед у нас — у купцов, особливо ежели при гостях, длинный бывает: часа полтора, а то и два. Гляжу: тут вот это, как ты теперича сидишь, протопоп с супругой сидел; полевее — головина сестра с мужем, с купцом, — дюже он у нас теперь овсом занялся, — вот ты бы ему посходнее возик-другой привез; а на другом конце находилась моя супруга с твоей благоверной. Что же? Я, брат, не гнушаюсь!.. Иной бы ее в куфне накормил; ну а мы не такие: у нас — милости просим за один стол с собой!.. Толкуем мы так-то, то про писание, то про свои житейские дела, — глядь, твоя жена и шепчет моей: пусти, говорит, меня: я лошадь свою пойду попою да корму задам ей. Чай издрогла, на морозе стоявши, сердешная? Мы так все и грохнули!.. Батюшка вынули платочек и потихонечку этак: хи, хи, хи! Ну а мы, друг, не взыщи, так-таки и лопнули со смеху, — не стерпели, потому мы люди мирские...

Видит мужик, что его, как малого ребенка, хают и обманывают в непривычном ему торговом мире, — видит он, что в той грязной колее, в которую он заехал благодаря дедову желанию — «не уступать никому», неминуемо должны увязнуть грузные колеса его телеги — и все-таки никак не может выехать из тины, засасывающей его в свое непроходимое, покрытое гнилою, зеленою плесенью, болото. Озабоченный, при своей безграмотности, необходимостью

уяснить себе волшебное значение купона, неожиданного падения хлебных цен, понижения и повышения тарифа на железках, где в одно время берут с него за отправку в город бочки с творогом семнадцать и три четверти копеек, а в другое за ту же бочку с тем же товаром взимают уже девяносто три копейки с четвертью, он, наконец, ощущает в голове своей мучительную ломоту и окончательно бросает вожжи, предоставляя своей телеге полную возможность останавливаться на любом базаре перед любой харчевней, лишь бы оттуда слышались безалаберные звуки деревенских оркестров и пьяные, крикливые разговоры орущего от безделья торгового люда.

Магнетическая сила «могарыча», властительно царящего в копеечной сельской торговле, подтягивает к себе мужика все ближе и ближе. Он уже не может, как в былые годы исключительного ухаживания за матерью-землей, встать с ранними петухами для хлопот о насущном хлебе без того, чтобы не опохмелить косушкою свою голову, в действительности глубоко удрученную городскими столкновениями. Десять молодых рабочих рук, в виду болезни кормильца и поильца дома, суетливо заняты теперь постановкой самовара, беганьем взапуски в кабак со звонкими посудинами и, наконец, вовсе даже несвойственными сельской жизни аптекарскими ухищрениями — составить из набранной прошлым летом в лесу клюквы и брусники что-нибудь такое кислое, которое бы сразу освежило отцовскую голову от дурмана, запущенного в нее городскими харчевнями.

Таким образом, в несколько лет мужицкая семья меняет свои крепкие сельские нравы на изнеженные нравы горожан, и вместе с этою переменой неприметно тает и деревенское хозяйство, собираемое целыми десятками лет. В такой семье начинает примечаться нечто такое, чего нельзя увидеть ни в одном мужицком семействе, оставшемся верным дедовским привычкам, то-есть труду, умеренности, строгому порядку в жизни и т. д. То из такого дома, прельстившись политичным обхождением бравого унтера-постояльца, убежит красная девица и, осрамленная, через неделю вернется назад, то от любимого взрослого сына никому из домашних покою нет. Никто не может упрятать от него трудовой копейки без того, чтобы он не ухитрился своровать этой копейки. Молодую стряпку ежели в подмогу своим бабам наймут, так ей от него ни на дворе, ни на огороде проходу нет. Своровать ежели ему ничего под руку не попадается, так он у лошадей овес выгребет и в кабаке пропьет с такими же, как сам, головорезами. Каждый день в доме от жалоб на него шум и суетня идут: то он ворота вымажет дегтем у соседа, то собак ночью из ружья перебьет, то капусту на грядках вверх тормашками пересадит. За все семья отвечай, за все деньги плати; а он только себе посмеивается да расписную трубочку с дунаевским вакштафом покуривает.

Наконец сам отец семейства, запутываясь все больше и больше в своих коммерческих предприятиях, начинает запивать сильнее и сильнее. Различные неудачи тревожат его все больше и больше: целые недели бурлит он и мутит семей-

ный покой в пьяном образе; а ночью спать никому не дает, напуганный представлениями разных «судов, сроков, убытков, неустоек» и прочих торговых ужасов.

Тщетно измученная жена возит его по разным лекаркам и колдунам, тщетно палит она в горнице пред иконами не угасающие ни днем, ни ночью лампады, — старик делается все беспокойнее и угрюмее: безобразие и ужас представляющихся ему видений дошли до такой сильной степени, что окончательно убедили старика в том, что нет уже теперь спасенья грешной душе его... И вот, желая по возможности смягчить царящее над домом горе, хозяин и хозяйка намечают в своей избе какую-нибудь девочку; одевают ее во все черное и приучают ее с молодых дней не пропускать ни одной заутрени, — благовестят ли к этой заутрени в сладко манящую ко сну летнюю зорю или в бурную зимнюю ночь с воющим ветром и трескучим морозом...

Трудно сказать, насколько эти молодые жертвы облегчают страдающие стариковские души, хотя всем сельским и уездно-торговым миром исстари признано, что ежели ребенка с детства отрешить от всех жизненных радостей и обречь его на вечную молитву в уединении и посте, тогда разгневанный людскими неправдами бог смягчает свой справедливый гнев и умилостивляется над людьми, принесшими такие жертвы...

Такие-то дома и по таким-то именно побуждениям и отдают своих девочек в школы к дьячкам и солдатам, с просьбами об украшении их

юных душ разными спасительными добродетелями. Точно такие же семьи породили и этих здоровых молодцов, с усами, в красных рубахах и ситцевых жилетах, заседающих вместе с другими малолетными учениками в дьячковской избе.

Вольница эта, опротивевшая всем своим домашним до последней возможности, наконец изгоняется палками из-под отчего крова к дьячку, которого со слезами и с гостинцами умоляют не жалеть для парня хорошего дубья.

— Обтеши ты нам его хоть к свадьбе-то, Христа ради, Григорий Петрович! — умаливают мастера родные школьника, притащивши его чуть ли не в веревках. — Верь богу: совсем парень от рук отбился! В кого только зародилась скотина такая угорелая? Промуштруй его эту зимку покрепче, а мы тем временем невесту ему будем выглядывать... Ничего, верно, с ним иначе не поделаешь, окроме как женить...

— Что же, это дело доброе! — соглашался дьячок. — Да я вам его к свадьбе-то любо-два отшлифую. Вы у меня его и не узнаете за зиму-то! Вот у меня усмиритель-то на стене висит, — родитель-покойник меня им еще в старину благословлял, — рекомендовал учитель своим гостям здоровую нагайку, красовавшуюся на гвозде. — Ну, женишок, милости просим за стол, за книжку. Небось, с гулянками-то со своими и читать-то, поди, разучился? Ну, авось куманек-то вот этот трехвостый вложит в тебя настоящее понимание... Шагу у меня из избы без моего спроса сделать не смей! Поди теперь, на манер станового, уж и трубочку попыхивать

выучился! Вам, при ваших достатках, без трубочки да без водочки невозможно? Боже избави, — увижу!..

Смирно сидят избалованные в распущенном отцовском доме сорванцы под «добрым» влиянием ременного усмирителя. Не имея возможности не подчиниться этому усмирителю, они, благодаря его внушениям, живо припоминают забытую было во время домашнего баловства грамоту и «письменную часть».

Стон стоит в дьячковской избе от множества детских голосов, громогласно затверживающих разные разности. С этими голосами сливаются тонкие, как бы поющие голоса черничек и протяжные баски кандидатов в женихи. В то время как чернички распевают какое-нибудь «житие» или «прохождение грешной души по двенадцати мытарствам», усатые молодцы пристально зазубривают стишок, сочиненный дьячком для смягчения их непоседных натур. Стишок этот говорил:

Аще кто хощет много знать,
Тому подобает мало спать,
По утру рано вставать,
Бога в помощь призывать

Любо дьячку в этой гулко жужжащей сфере, дружный шум которой, заглушая собою рев зимней бури, баюкает и усыпляет его. По временам, просыпаясь, он весело покрикивает на свою команду:

— Но! Но! Что призамолкли! Поваливай с богом! Нечего маяться-то! Вон он ведь дружок-то... На стенке висит!..

Что-то веселое царило в дьячковской избе вследствие этих голосов, — уютность и тепло наполняли ее, как говорится, вровень с краями. И таким образом безмятежно и неприметно проходила зима, засыпая снегом сельские кровли и улицы, а головы ребят неувядаемыми цветами наук. Изредка только эта тихая безмятежность нарушалась приходом к дьячку какого-нибудь старика или старухи — родственников одной из обучающихся у него молодых черничек. Между мастером и пришедшим лицом начинался тогда таинственный шопот, во время которого они покачивали головами и подозрительно поглядывали на какого-нибудь восемнадцатилетнего Костюшку Белова. Усатый Белов, чувствуя, какою кошкой и чье мясо съедено, конфузливо прятал от этих взглядов свое толстое, покрасневшее лицо в книгу или тетрадь...

— Ты что же это, мерин? — наступал учитель на молодца, прерывая его усиленные ученые занятия звонким шлепком усмирителем по широкой спине. — Ты что же это задумал с большого ума: к девицам святым приставать?

— Я, дяденька, умереть на месте, ничего!.. То-есть, ей-богу, я Матрену не трогал, — ежился под ударами нагайки выведенный на свежую воду парень. — Они меня сами, чернохвостки-то эти, все рассмеивают...

— Я вот тебя рассмею! Я т-тебя! Ну-ка вот, хорошо я рассмеиваю?.. Что: горячо?

— Прибавь, прибавь ему пожарче, Петрович, — кричали жалобщики. — Всыпь погуще! Что это за парень за такой! Никакого ему уйму

нет! Забыл я свой кнутишка с собой захватить, — он у меня этакой ладный, с кольцами медными...

— Нич-чего! Я его и этим ублаготворю всласть... До новых веников будет помнить и отчихиваться...

Эти ременные внушения производили на остальных ребят сильное и продолжительное впечатление. После экзекуции они долгое время не отрывали своих испуганных физиономий от букварей, замечательно звучно выкрикивая пропечатанные в них вещи, спасающие слабый род человеческий от пагубных заблуждений, а следовательно и от расправы посредством ременного кнута.

— Что, съел? — насмешливым шопотом говорила Белову молодая черничка — главная виновница сцены, взмутившей безмятежность дьячковой школы. — Теперь ты только затронь меня, так не то еще будет... Не так уж тогда обожгут...

— Погоди! Погоди! — злобно отвечал ей обиженный парень. — Ужо попадешься мне где-нибудь в тихом месте... Я тебя доеду, ябеда! Вот подожди — дай лету притти, — я тебя тогда в любом месте прижучу...

IV

Чем крепче лучи наступающей весны били зиму по ее седой, ледяной голове, чем теплее и светлее становились дни, тем делишки в описанной школе становились все хуже и хуже. Дружное жужжание ребят, спорившее с пугающими

голосами зимы, теперь с каждым днем делалось тише, так как ребята ежедневно выбывали из-за школьных столов, выманиваемые на уличное раздолье теплом и светом долго не гревшего солнца. А какие ребятишки продолжали еще заседать за столами, так они занимались вовсе уж не *учобой*, а скорее некоторым родом меновой торговли, променивая друг другу зайцев, пойманных на обтаявших гумнах, на звонкие дудки, которые так ловко устраиваются в это время года из тонких сучьев огородных ветел. Дудки променивались, в свою очередь, на только что выкопанного из-под сенного стога сурка, сурок — на рано крикнувшую в сельском лесу кукушку, а кукушка, вопреки русской пословице, запрещающей менять эту птицу на ястреба, на нашем рынке ходила именно за ястреба, заполоненного в риге целой стаей ребят в то время, когда он там расправлялся посвойски с тихими голубями и пискливыми воробьятами.

Ременный усмиритель Григория Петровича, во все продолжение зимнего семестра так редко снимавшийся со стены, теперь то и дело разгуливал по спинам ребятишек; но тем не менее он не в силах был прекратить ни торга школьников, ни остановить какого-то странного, необъяснимого хохота, который время от времени, без всякого видимого повода, неудержимо раскатывался в учащейся группе.

— Варвары! — болезненно вскрикивал Григорий Петрович, выведенный из терпения этим хохотом. — Чему обрадовались, мучители, что вдруг ни с того, ни с сего ржать принялись?

— Мы, дяденька, ничего! — божились ребята с такими серьезными рожицами, смотря на сдержанность которых, трудно было допустить, чтобы они могли смеяться не только что в эту сейчас промелькнувшую секунду, а даже когда-нибудь.

Недоумение!..

Можно было подумать, что это влетел в дьячковскую избу и прохохотал в ней игривый дух весны, — дескать: «Что вы, ребята, все за книжками в душной избе гниете? Такое ли теперь время? Побежим-ка на улицу — ручьи спускать, плотины строить, мельницы... Чудо! Ха, ха, ха!»

Так был беззаботен этот смех и так неуловимо быстр!..

Учительская строгость мало-по-малу, наконец, уступает бойкости ребятишек, раздраженных светлою весеннею жизнью. Бойкости этой в ее трудной борьбе с учителем, кроме весны, главнее всего помогает рослый Константин Белов, беспокойная деятельность которого, примолкшая было немного зимою, теперь снова начала оживляться. Несмотря на бдительный надзор за ним Григорья Петровича, он успел-таки, в продолжение зимы, всех его учеников, даже самых маленьких, познакомить с своей кореньковой расписной трубочкой и с шелковым, разноцветным кисетом, хранившим в себе «лучший» дунаевский табак в три копейки за четвертку. Новостроящиеся деревенские срубы и пустые риги, заваленные зимою непролазными снежными сугробами, теперь, обтаявши, дают этому молодцу полную возможность укрываться под их редко посещаемою сенью от ехидных дьячковских

глаз, вместе с завербованными в школе юными товарищами, которых он в сих уединенных местах, при помощи замасленной карточной колоды, посвящает в таинства «хлюстов, фалек, и бардадымов», а также учит петь залихватские песни и прибаутки, играть на гармонике, курить «в трубку» и т. д. и т. д. С теми из ребят, какие были повзрослее, он очень охотно делился водкой, которую он с необыкновенным мастерством, отвращавшим от него всякое подозрение, приобретал на деньги, выкраденные из материнского сундука. Давятся и плачут, бывало, маленькие ребята, когда начнут пить водку; но эта уединенность от старших и полное неведение ими их подвигов, эта темная, безмолвная рига, в которой происходил преступный процесс тайной выпивки, делали то, что ребята ни на какой самый белый, сотовый мед не променяли бы возможность выпить *с большим* Костькой хоть одну, самую маленькую, капельку водки... По этому поводу повиновение, которое ребята питали к своему вождю, было, поистине, изумительно: самый маленький ребенок охотно выносил розги и не говорил ни слова о том, что устройство над кем-нибудь замысловатой каверзы есть специальное дело рук и мозга пресловутого Костюшки Белова.

Пуще всех своих приверженцев разманенный прелестями разгуливавшейся весны, этот доблестный воитель лелеял не только в собственной душе горячий протест против дальнейшей необходимости усвоивать себе от дьячка его научные познания и его жизненное благоразумие, но и в других душах старательно воспиты-

вал этот протест и побуждал так или иначе заявлять его при всяком удобном случае.

Житейская опытность Белова, знающая каждый уголок в селе, и безграничное повиновение ребят давали ему возможность очень часто обманывать дьячка с большою ловкостью. Сидя в школе в такое время, когда солнце, пронизавши тусклые окна избы, яркими лучами рассыпается по серым, истрепанным книгам и слепит глаза, намозоленные этими книгами, Белов злобно ощипывает объемистый том, трактующий о «Путях ко спасению», и угрюмо думает: «Что, ежели бы я теперь на своей воле гулял, — закатился бы я теперь в лодке за реку в лес! Зайцев теперь там сколько, — страсть! Утки дикие, надо полагать, не успели еще занестись, а то бы хорошо было яиц ихних ко Святой набрать. Ну, да я и на Святую успею это дело обделать, — от нас не уйдет!..»

Молодая голова вся залита подобными мыслями. Всю они наполнили ее, словно рой маленьких, сладко поющих птичек, — и вот снится Константину Белову, что будто он с целою гурьбой товарищей сходит по обрывистому берегу в густой ивняк, под непроглядно темными сводами которого спрятана у него легкая востроносая лодка, которую, тайком от домашних, купил он прошлым летом у одного лихого дворового человека-охотника, укравшего ее, в свою очередь, у соседнего попа. Снится ему, что его товарищи-ребятишки несут за ним его двухствольное пистонное ружье, приобретенное им, посредством кражи, у отцова кума — городского купца. Ружье это он бережет пуще зеницы ока,

и так как домашним показывать его нельзя было, то он прятал его под пеленами соседних сараев, в хлебных закромах, в сенных стогах, и эти ухищрения увенчивались целые три года таким успехом, что ни одна душа из всей семьи не подозревала, что «Костюшка в ружье палит по лесам».

Многие соседи, желая добра Костюшкину отцу, приходили к нему и говорили, что доподлинно они видели и слышали, как его Костька около калинкинского болота с «мушкатантом» шел — с этаким длинным, а сам весь утятами был обвешан, словно «егарь» какой господский; но старик не поверил этим рассказам, резонно рассудивши, что, дескать: «Соседушки! Не попритчилось ли вам это в лесу? Бывает, что в нем и лешие в чужих ликах расхаживают. Опять и то скажем: где же, например, дитю такой махиной орудовать? Солдатам вон полковым, так и то с ней трудно возжаться...»

И идет дальше Костюшкин сон наяву: видится ему, как он зарядил свое ружье, как приложился, при всеобщем молчании сопровождавших его ребятишек.

— Метится! Метится! Нацеливает? Держись, ребятишки! — слышится позади его тихий, трепещущий в ожидании выстрела шопот...

Звонко грянул выстрел — и стонавший над рекою чибис, перевернувшись несколько раз в сиявшей высоте, камнем наконец шлепнулся в воду вместе с какою-то рыбой, которую он держал в своем желтовато-белом носу. Из чибиса посыпались белые перья. После его падения они долго летали в воздухе и, наконец,

в виде пуха тихо спустились в реку и медленно по ней поплыли. Их преследовали большие щуки и карпы, порывисто, только на одну секунду, выскакивая из воды и снова грузно в нее шлепаясь...

Обаяние этой широкой и светлой картины, развернувшейся в воображении Белова, было так велико, что он вздрогнул и как бы опомнился. Затем, обдумавши что-то, он, из почтения к учителю, встал на ноги и басовито проговорил ему:

— Забыл тебе, дяденька, давеча сказать: тятенька с маменькой велели тебя в гости ныне позвать вместе с солдатом — с Абрамом! Беспременно наказывали, чтоб вы приходили.

— О! — удивился дьячок. — Что же у вас ноне? Аль аменинник кто? Что же это я запамятовал?

— Нет, дяденька, не аменины, а память по бабушке. Ей теперича семь годов пошло. Тятенька-то наш вчера из города больной приехадчи, так всё наши теперь около них сидят — утешают, потому им с похмелья всегда скучно бывает одним быть... Вот, значит, в церкву-то и некому было сходить, чтоб отслужить панихидку. Тятенька говорят: дома отслужим, — все единственно.

— Конечно, конечно, — все единственно! — соглашался дьячок. — Было бы, друг, усердие. Усердие дорого! — вот что! Так, говоришь, по бабушке?.. Памятку сотворить хотите?.. Так, так! Теперь вспоминаю: точно что около этого времени, перед праздничком, старушка скон-

чалась. Эх-х! Первый сорт — старуха была! Ты-то ее помнишь, Костюша?

— Как же нам их не помнить, дяденька? — смиренно отвечал Константин. — Они наши бабушки. Мы за них денно и нощно...

— То-то, Костя! — смеялся дьячок. — Молись за нее, потому, при жисти при ее, ты раз очень дюже старушку обидел. Легкое ли дело: целых три гривенничка серебряных из чулка ты у нее выудил (в чулочках завсегда деньги покойница берегла!) да в шашки возьми и проиграй. Ну, да уж, признаться, и взбанили мы тебя тогда со старушкой, — так взбанили ахтительно... Это еще—когда ты у меня в первый раз обучался,— помнишь?..

— Помню, дяденька, — я тогда махонький был. Теперича мы такими делами не занимаемся, — нам стыдно-с!.. Не по росту нам теперь такие дела-с...

— Известно — стыдно, потому ты теперь жених... На купецкой линии состоишь! Вот ты теперь и посиди за меня с ребятами, — ты всех их старше. Вот тебе и кнут в руки... В случае, ежели кто зашабаршит, ты его и опояшь им — кнутишком-то... Ну что же? Посидишь, что ли? Баловаться не будете? Никуда из избы не убежите?

— Куда же мы, дяденька, убежим? — в свою очередь спрашивал Белов, едва-едва удерживаясь от смеха. — В этакую грязь-то?.. Мы бы гораздо лучше у вас спросились...

— То-то, то-то! — лепетал дьячок, торопливо надевая синюю свиту. — Известно: лучше не в пример у дяденьки спроситься... Дяденька,

мол, пустите нас погулять; ну я и отпущу, — скажу: ступайте, мол, ребятки, гуляйте... Н-ну — я побреду теперь, а вы оставайтесь с богом! Прощайте!

— Прощайте, дяденька! — хором простились ребятишки с учителем и вслед за его уходом громко захохотали, инстинктивно чувствуя, что Белов сыграл с старым «дьячилой» какую-нибудь штуку.

Штука, действительно, была сыграна! Лишь только дьячок с солдатом зашлепали по весенним лужам на другой конец села — справлять память по умершей назад тому семь лет бабушке, как буйство ребятишек, выслушавших от «большова» Костьки подробное сообщение о подстроенной им сейчас механике, разлилось по дьячковской избе с такою же стремительностью, с какою тихая сельская река залила в настоящую минуту окрестные луга и леса. Одни из ребятишек при этом сообщении покатились по избе колесом, другие становились на голову, поднявши кверху ноги, иные орали что-то такое бессловное, самым лучшим образом, впрочем, выражавшее несомненную радость; а один маленький, чуть из земли его было видно, мальчишка, пузатый такой, с красным, золотушным лицом и в белой льняной рубахе, пустился в неистовый пляс, и, несмотря на то, что товарищи серьезно представляли ему на вид, что теперь великий пост, во время которого плясать «страсть — какой грех», он плясал долго, а потом схватил со стола свою азбуку и шваркнул ее злой гусыне, которая сидела на яйцах под лавкой, в кошолке, сплетенной из иво-

вых прутьев. Негодуя на ребят за свое нарушенное их шумом спокойствие, гусыня злобно зашипела и так принялась трепать неповинную азбуку своим желтым носом, что в одно мгновение ока от знаменитой книги остались только одни безобразные клочки.

Таким образом, недавние Костюшкины мечтания превратились в действительность, цветущую самой жизненной энергией.

— Гайда, ребята, в лодку, в ивняк! — покрикивает он, сдерживая детский бунт. — Полно беситься-то! Да смотрите: к реке подходите разными дорогами, вразброд, — в глаза кому-нибудь не бросилось бы, что мы за реку ахнуть сбираемся...

Вот к пустынному речному обрыву, наглухо заросшему ивняком, с разных сторон начинают стягиваться ребячьи группы, по-двое, по-трое. Костюха уж тут, на самом дне обрыва, о края которого гневно ударялись волны взбунтованной половодьем реки. Мальчишки, какие были поменьше, садились около своего вожака на мокрый песок, сгорая томительным нетерпением очутиться поскорее в этой реке, так соблазнительно сверкающей и крутящейся, а там, переплывши реку, хочется им вторгнуться в тайные глуби леса, синевшего на другом берегу, и огласить эти безжизненные глуби веселыми, живыми криками. Взрослые ребята между тем помогали Костюхе стаскивать в реку лодку, смотрели вместе с ним, не просачивается ли в нее вода, бегали по его распоряжениям к разным мужикам — воровать лодочные весла, спрятанные в их сараях, а также и рыбачьи «верши», кото-

рые вожак предполагал расставить в лесных озерах, издавна кишащих рыбой и раками.

Дело шло как по маслу, и скоро лодка, нагруженная разными необходимыми в отдаленных морских экспедициях съестными припасами, выгребенными из отцовских погребов, стрелой полетела по реке. Сначала ярое половодье быстро *потащило* пловцов по течению, которое было особенно сильно около берегов, сдерживаемое их крутизнами; но Костюха уже снял шапку с запотелого лба и, выпучив от натуги свои серые большие глаза, только помахивал весельцами, вместе с которыми он выхватывал из реки тысячи светлых капель, рассыпавшихся по обе стороны лодки серебряными блестками.

— Н-нет, бр-рат, шалишь! Меня тебе трудно будет с места спереть! — бурчал он себе под нос, когда река своею могучею силой увлекала наших пловцов в сторону, противную их желаниям. — Отпихивай, ребята, льдину-то! Очумели вы, что ли? Не видите рази, какая на нас махинища наваливает? Н-нет! Погоди немного, — мы с тобой засветло справимся...

И действительно, Белов скоро справился с рекою, и, послушная, она понесла к желанному лесу ребячью лодку.

Вот он — этот лес, хотя еще и не успевший одеться после зимы, но уже пробуждающийся после своего полугодового сна. Пошла сначала его опушка из низких кустов орешника, тальника и вообще из всего того мелколесья, которое обыкновенно предшествует тем великанам-деревьям, могучему и стройному сборищу которых люди дали название «темного, дрему-

чего леса и сырого бора». Все мелколесье было залито половодьем. Вода здесь была тихая и необыкновенно прозрачная; сквозь нее ребята, замирая от наслаждения, видели, как на саженной глубине мелькали черные спины неповоротливых сомят, как проворно *ходили* за краснопёрыми, серебристыми окунями долгоносые щуки. А вон на одном сучке, плавно раскачиваясь, сидит рыжеватая, вонючая выхухоль; вот на самой глубине залитой половодьем местности, словно бы ползя по земле, тихо плывет громадное стадо жирных, темноватых линей, имея впереди себя вождя, который то и дело осторожно останавливается, как бы с целью высмотреть и выслушать что-то... Любо!

И над всем этим — тишь, усиливаемая речным шумом, лесным таинственным шопотом, пугливым писком какой-то едва приметной пташки и, наконец, слабым колокольным отзвуком, доносившимся до леса из какого-то далекого села...

Тут подошел и настоящий лес! К самым подножиям его высоких сосен *подмывало* половодье, — и тут-то его волны, как бы усмиренные величием деревьев, тихо передали нашу крикливую лодку безмолвному царству лесному...

На другое утро после описанного события, несмотря на смирные дни великого поста, в тихих домиках дьячка и солдата происходила крепкая расправа с нашими самовольниками. Почти все село собралось на эту расправу, потому что, в самом деле, почти все село было заинтересовано совершенной накануне речною

и лесною прогулкой. Тут открылись за нашими ребятами дела такого рода, которые превосходили всякое описание.

Оказывалось, примерно, что один смирный паренек, о котором все село отзывалось как о таком степенном человеке, который «воды не замутит», выхватил, ради этой прогулки, из печки большой горшок каши, предоставив, таким образом, остальным членам своей семьи пообедать одним «хлебушком» да кваском с натертою в него редькой.

— Натерли мы так-то редечки, Петрович, — жаловалась учителю мать на смирного мальчугана, — и думаем про него, про разбойника: где это, мол, он запропастился? Хошь бы к каше пришел... Ан, он вот как заместо того... Не посмел ведь, идоленок, и горшок-то назад принесть, чтоб улик, значит, не было, а об столб его на дворе и громыхнул... Ну-ко, взбодри его хорошенько! Я тебе за это ко Святой яичек десяточек принесу...

— А вот я его! — кричал Григорий Петров, весь красный от долгой работы по исполнению, так сказать, текущих просьб. — Вот я его! — азартно повторял он, набрасываясь на смирного мальчугана, который стоял перед ним ни живой ни мертвый, плаксиво моргая глубоко испуганными глазами.

Другой мальчишка проворовался на другой манер: он, по наущению будто бы Белова, утащил у отца десять фунтов смолы да шесть фунтов конопли для конопатки Костюшкиной лодки; третьи обвинялись совсем уже в разбойных поступках «со взломом». Эта преступная категория

проникала в запертые амбары и клети и похищала оттуда лодочные весла, рыболовные сети и вообще съестные припасы, какие «послаще». Из субъектов, замешанных в противозаконном стремлении к «послаще», был особенно замечателен красивенький, черноглазый мальчик, приведенный к дьячку на расправу самим отцом, буйным таким мужиком, лохматым и с здоровым басом.

— Петрович! — орал этот мужик еще с улицы своим басом, таща за собой упиравшегося сынишку. — Возьми его от меня: он теперича мне не сын, он теперича стал «крысий рот»! Так и дразните его, ребята: крысий рот, мол, ты!..

Вытрубливая басом такое странное прозвище, отец подгонял сына вескими оплеушинами и прибавил:

— Да я его теперь — крысью губу — и на двор-то на свой не пущу! Чтоб его духу у меня не пахло!

— Что ты, Прокоп, взбушевался! — прервал дьячок трубные звуки, исходившие из груди лохматого мужика. — Скажи толком: какой-такой крысий рот?

— Как же не крысий-то? Рассуди: весь пост с молока сливки снимал и жрал... *Потаемно*, значит! Мы с матерью думаем: эко, мол, у нас крыса-то какая обжорливая! А она — вот где! Рукастая! Ну-ко! Сполосни его получше, — ты лицо духовное!.. А там я прибавлю по-родительски, — у меня в старину рука была очень легка... Ну-ко-сь, начни!..

При таком родительском обвинении, взведенном на сына, все сборище просителей поражено

было необъятным ужасом. Затем последовали всеобщие соседские сожаления о неизбежной погибели мальчугана, на основании которых «крысьему рту» выпала на долю почти такая же злая порка, как была закачена корню всего зла — Костюшке Белову.

Для того, чтобы притащить этого молодца на расправу к дьячку, отцу его понадобилась и городская телега с раскрашенной дугой, и хорошая лошадь, увешанная бубенцами. А потом для того, чтобы всем деревенским людям виднее было, как он к своим детям *строг и немилостив* бывает, когда их поучить соберется, он приказал сопровождать себя своей старухе-жене, старшему сыну и племяннику-сироте, одному из тех здоровых молодцов, которых, ради их сиротства, в богатых мужицких семьях обыкновенно отдают в солдаты вместо родных сыновей.

На предварительно произведенном по делу вчерашней прогулки следствии с поразительною ясностью раскрылся тот кривой, неправедный путь, которым дошел Костюха до приобретения двухстволки у городского отцовского кума; в то же время была обнаружена и тайна востроносой лодки, купленной им у дворового-охотника и уже окрещенной было лихим именем *Копчика*, — тайна, так долго и тщательно скрываемая под раскидистыми ветвями прибрежного ивняка. Вообще говоря, старики в этот несчастный день разузнали все Костюхины *качества и художества*.

Открывая в любимом сыне эти «качества и художества», старики не скупились и на на-

грады за них. Благодушествуя с дьячком и с более почетными истцами за самоваром, они то и дело покрикивали охаживавшим около Костюхи — старшему сыну и *обреченнику*-племяннику:

— Прибавьте, прибавьте ему, разбойнику! Подсыпьте-ка ему еще по малости! Чего для любимого сынка хорошего припасу жалеть?.. Плесните еще... На доброе здоровье! хе, хе, хе!

— Вот это тебе за ружьецо!.. — насмешливо говорил отец. — За «мушкатантик»-то кумов! хе, хе, хе!

— А это вот гостинчик от маменьки за лодочку!.. — еще насмешливее вторила мужу старуха. — Гостинчик прямо из сундука, в какой ты ко мне с самоделковым ключиком похаживаешь... Ишь ты кузнец какой славный у нас на селе завелся, братцы мои, — хихикала старуха, — сам ключи делает к чужим сундукам... Нет, ты допрежь наживи свои сундуки-то...

Удалой Костюха ревел благим матом в руках двух молодцов и клялся тятеньке с маменькой всем сонмом святых угодников, что «еж-жели он с эт-това времени хошь что-нибудь супротив их... Да накажи меня мать царица небесная» и т. д. Но старики не обращали на его крики никакого внимания. Они распивали чай и, наперерыв друг перед другом, рассказывали дьячку и его почетным гостям, «как их губит этот Костюшка и сколь он им через это самое солон пришелся!..»

Такие расправы, хоть и не в столь значительных размерах, начали производиться, вместе с наступлением весны, как у дьячка, так и у сол-

дата почти каждый день, и дикая сумятица этих расправ увеличивалась еще крикливыми спорами самих родителей о том, кто из них больше детей своих балует и кто об ребят больше хворосту за год истреплет...

Святая, наконец, усмиряет сельские волнения, и в эту неделю всеобщего отдыха ребят уже никто не трогает. А пройдет Святая — там подрастут травы, зазеленеет дремучий бор, и опушатся густой листвою огородные и садовые деревья.

Ищут, ищут, бывало, учители ребятишек по разным огородам, пчельникам, ригам, над которыми к концу весны уже стоном стоит могучее шуршанье столетних дубов, да, наконец, так и махнут руками.

— Да ну их к богу в рай! — скажет, бывало, дьячку солдат. — Что мы подряд, что ли, взяли с тобой отыскивать-то их?.. Придут — придут, а не придут — эк-ка бед-да какая!

— Все же лучше, ежели бы они еще поучились... Покрепче бы! Таблицу, примером, али стишки, подуховней какие!.. — отвечал дьячок, очень пристрастившийся к делу *учобы* в свой долгий, сиротливый век. — А то, пожалуй, опять все забудут за лето...

— Важное кушанье! — сердито возражает практический Абрам Телелюев. — Забудут? Ну, значит, опять к нам придут. Нам же хлеб! Потому без грамоты им никак невозможно, — времена, брат, не те ноне...

— Это точно! — уступал, наконец, дьячок своему другу, все же, однако, поглядывая своими подслепыми глазами по разным сельским

застрехам: не сидит ли в каком-нибудь прохладном захолустье *азиятик* какой-нибудь хоть бы самый маленький, которого можно было бы сцапать за хохол и, притащивши в избу, усадить его за азбуку или псалтырь...

— Да нечего, нечего выглядывать-то, словно волк! — досадует на дьячка солдат, знавший наизусть все его душевные поползновения. — Небойсь, все мозгленка какого высмотреть хочешь? Тут и было, держи карман! Так они и будут на виду у тебя рассиживаться... А ты вот что лучше, — добавлял Абрам, дружески хлопая старика по плечу. — Ты вот что лучше: гляди на меня! Закатимся мы ноне с тобой на всю ночь за рыбой к Кокуевым озерам... А?

— О? — недоверчиво протянул старик, предвкушая сладость любимого дела, оставленного зимою.

— Ка-анешна! — утвердительно закончил Телелюев. — А то ребят?.. Да по мне — господь с ими, пущай летечком позаймутся своими делами... Ну, а по осени опять к нам... Куда ж им от нас?.. Школы-то энти?.. Хе, хе, хе!.. Долга песня!..

1872

ДЕВИЧИЙ ГРЕШОК

ИЗ ЖИЗНИ МОСКОВСКИХ МАСТЕРИЦ

I

Назад тому лет тридцать пять неподалеку от белокаменной Москвы случилось событие, вследствие которого к великой семье русского народа прибавился новый член, с обязательным для нашего мужицкого населения именем Ивана.

Принимая во внимание тьмущую-тьму отечественных сказок, повествующих о невероятных приключениях наших Энеев, и усматривая из всех этих эпопей, создаваемых в Москве книжниками Никольской улицы, что все наши Энеи до одного человека должны называться Иванами, можно было бы из выше прописанного обстоятельства не делать темы для очерка, ибо одним сказочным Иваном на свете больше, одним меньше — ровно ничего не значит.

Такое положение, несмотря на его некоторую антигуманность, в высокой степени практично и вместе с тем справедливо; так как наши Иваны, не взирая на свое обилие, до сих пор еще не могли смыть с себя взведенного на них сказками, прославляющими их подвиги, обвинения в том, что все они без исключения будто бы поголовные дураки, обреченные в то же время на такие изумительные удачи во всех предприятиях, что передача их житейских приключений воз-

можна только для московского сказко-производителя и потом для балета, где громкозвучные трубы и литавры так торжественно приветствуют счастливое соединение идеала высшего идиотства с высшим же идеалом красоты и ума, то-есть сказочный брак классического «Иванушки-Дурачка» с классической «Царь-Девицей».

Предстоящая мне работа не имеет в виду поразить читателя бойкостью сказочного хорея, который на радость темных масс за собранные с них две медных *трынки* кружится перед ними в дикой пляске, названивая в зеленые полуштофы, привязанные к его тонким, карикатурным рукам, колотя лбом в раскатистый бубен, брыкая ногами и взвизгивая отвратительным голосом кретина, ежеминутный голод которого удовлетворен, наконец, красною, мягкою глиной...

Желая представить возможно вернее безалаберно шумящую и волнующуюся жизненную реку, в которой плещутся Иваны, очерк мой не имеет также надобности вместо бурливого течения этой грозной реки рисовать на своих страницах тех светлых фей, которые вместе с летучими звуками балетного оркестра, в изменчивом блеске разноцветных огней, счастливо и грациозно порхают вокруг разнохарактерной пары, которую своевольное искусство соединяет в театре на скоро проходящую, но глубоко-шумную радость люда, измученного действительным злом, имеющим вновь встретить его, лишь только он выйдет из-под светлых аркад замка счастливого Иванушки-Дурачка и прекрасной Царь-Девицы.

Итак, повторяю: событием, прибавившим нового Ивана, а следовательно, и героя к русской семье, можно было бы мне проманкировать, как такому человеку, который лишен всякой возможности поверить обстоятельству, что какой-нибудь, например, самый даже *царьдевический* Иван мог в один день «верст сто тысяч отмахать». О состоятельности события с точки зрения балетной я даже и говорить не хочу, так как и всеобщая история и всеобщий опыт очень хорошо доказывают, что лилейные ручки волшебных Царь-Девиц никогда еще, от самого сотворения нашего однообразного мира, не вытирали неопрятных носов Иванушек-Дурачков...

В чем же, следовательно, имеет выразиться суть обыденного отечественного события, прибавившего новое лицо к обыденным отечественным типам, воспеваемым пошлыми хореями нашей сказки?

Выражается суть моей истории в некоторых весьма крупных отступлениях от общепринятой в этих сказках поэмы, по которой несомненно выходит, что каждый Иванушка недолго скорбит с нами — простыми смертными — в нашем печальном мире, обыкновенно будто бы улетучиваясь из него на крутых горбах волшебного «Конька-Горбунка» в светлое царство балета, в объятия прекрасной и могущественной Царь-Девицы.

Вот эти отступления, имеющие в виду начертить глубокую ложь пленительных декораций тех *пейзанских* местностей, из которых, на потеху *художественных* душ, выпрыгивают счаст-

ливые Иваны, скача и чудодействуя на разные манеры...

Октябрьская дождливая ночь, с которой начинается моя история, не нуждается в жестяной театральной луне. Равномерно-проливной дождь этой ночью не более как в какой-нибудь час превратил бы в грязный, ничего не стоящий парусинный клок самую масляную декорацию, исписанную самыми обаятельными пасторалями.

Местность, по которой несут сейчас человека предлагаемых глав, напротив, такая же плоская, как плоско рождение описываемого человека, его возрастание, жизнь и самая смерть.

Все здесь плоско: это конечное московское захолустье, с бедными, беспробудно спящими домиками, над которыми гулко шуршат вековые деревья, еще не загубленные различными потребностями цивилизации; плоска дорога, грязная и, как из сита, поливаемая холодным дождем. По одну сторону дороги идут длинные огороды, на черных грядах которых однообразно мелькают серые кочерыжки срубленной капусты, а по другую — нескончаемо тянутся ряды белесоватых, словно бы смеющихся дикой пустоте местности, дров, которых соседними фабрикантами навалено здесь бесчисленное множество.

Временами сквозь дровяные прогалины сереется Москва-река, на которой летом или весною еще можно приметить некоторое оживление, если только оживлением можно звать весеннее время пригонки в Москву дровяных плотов, когда тысячи сельского народа, пришедшего

с этими плотами, шумливо бранятся между собою около прибрежных кабаков. Нельзя также согласиться и с тем обстоятельством, чтобы Москва-река кипела настоящей жизненностью и в летнее время, когда московские кутилы стараются изобразить на ее мелководных плесах нечто такое, что в старину проделывалось удалыми добрыми молодцами, поспешавшими к «развеселому Анютину подворью».

Вниз по матушке по Волге,
По широкому раздолью.

Таким образом, как видите, и Москва-река «не льстила взору и не чаровала его».

Пуста и угрюма была рекомендуемая местность, и тщетно всматривались в нее с противоположного берега огненные очи громадных фабрик: решительно нечем было им, вечно работающим, развлечься в этом пустынном и пугающем месте.

А между тем именно по такой дороге, несмотря ни на это бесчувственное, хмурое небо, ни на холодный дождь, который без перерыва лился и шумел в молчащей пустоши, торопливо шел кто-то, ежесекундно скользя и падая в жидкую грязь.

Болезненные, но сдержанные стоны и всхлипывания вырывались по временам из груди этого человека. Изредка он садился на мокрую и линючую осеннюю траву, и тогда можно было слышать, как он тихо, но отчаянно, каким-то странным, удушливым шопотом говорил:

— Господи! Господи! Что же я теперь буду делать?

Вместе с этим шопотом слышался тогда сквозь буйный шум осеннего ветра слабый плач ребенка, и в это время пешеход поднимался и снова брел до тех пор, пока его измученная душа снова не ощущала потребности прошептать: «Господи! Господи!»

Все больше и больше хмурилась местность: как волчьи глаза, блистали в суровой мгле ночной маленькие огоньки, мелькавшие в опустелой даче, расположенной вправо от дороги. Словно стон заблудившейся в садах этой дачи души, разносились оттуда по затопленному лугу сторожевые удары об глухую чугунную доску. И вот, наконец, дорога как будто совсем прекратилась: ее дальнейший ход заступили в этом месте мрачные деревья, шум которых соединялся с каким-то тупым, однообразным колоченьем, раздававшимся с соседней фабрики, скрытой за деревьями.

Видимо было, что пешеход хорошо знал местность; он смело вошел в глухую чащу, скрывавшую бревенчатый мост, прошедши который, он очутился лицом к лицу пред ярко освещенным и никогда не запирающимся фабричным кабачком.

Из кабака слышались гармоники и нестройные песни; по поляне, на которой стоял он, перебегали то от фабрики к нему, то от него к фабрике тени мастеровых, звучно шлепавших по мокрой траве босыми ногами.

Осторожно проходил пешеход мимо этой оживленной местности, прокрадываясь от куста к кусту; но, тем не менее, он не ускользнул от досужего внимания некоторых фабричных. Они

видели, что пешеход этот был женщина, и потому кое-какие из них, сдерживая свое мастерское уменье свистать оглушительным свистом, секретно зыкали на нее и тихо говорили:

— Милая! Эй, голубка! ш-ши! фью, фью! Подходи, чайку вальнем с холодку-то. Под кусточек бы вынесть велел, по-господскому! фью, фью! Куда же вы, мамзель? Па-асл-ште!..

— Боже ты мой, боже ты мой милосердный!— шептала женщина в ответ этим зазываниям, напрягая все силы, чтобы взобраться на Воробьеву гору, на которой невозможно было даже удержаться могучей фантазии Витберга, взлетевшей было на ее вершины с своим тройственным храмом...

Долго смотрел мастеровой вслед женщине, презревшей его приглашением насчет чайку, и, отправляясь на смену, которую он хотел было махнуть по-боку ради удовольствия угостить запоздавшую бабенку, задумчиво говорил:

— М-мучители эфти бабы!

Но причисленная к мучителям женщина мучилась все больше и больше, взбираясь на крутую гору по скользко глинистой дороге, окаймленной с обеих сторон мрачными стенами оголенных ореховых кустов. Вот ночная странница взошла уже довольно высоко над Москвой-рекою; под ее ногами очутились каким-то непонятным образом прилепленные к взгорью строения; сонный собачий лай вместе с глухим бряком цепей летели оттуда к мрачной высоте, и, при всей обыденности этой ночной осенней картины, унылая пустынность ее была такова, что она тяжелым камнем легла бы на всякое

живое сердце, даже на такое сердце, смертельные, всегда ноющие боли которого фатально влекут человека искать от них исцеления там, где он видел бы перед собою одну лишь, чуждую всяких людских проявлений, природу, пугающую ли ревом беспощадной зимней метели или освещенную мягкими красками теплого лета...

Почти до такой же безнадежной степени была измучена и простая душа шедшей женщины. Уроженка описываемой местности, она самым лучшим образом знала, что люди, в силу веками созданных обычаев, за постигшее несчастье покроют ее нестираемым позором, нисколько не взирая на то, что несчастье это привели на ее молодую голову сами же обычаи. И с каждым шагом бедной женщины обычаи эти представлялись ей все более и более беспощадными: не говоря уже про ожидавшую грубую и назойливую насмешливость деревенского люда, на эти, как сам он говорит, «подковырки и подтрунивания», которыми с редким постоянством преследуют промахнувшегося человека во всю его жизнь, настоящий девичий промах не видел себе пощады даже и в этой глухой, темной ночи. Всю ее населило суеверное воображение карающими призраками злых существ, наталкивающих человечество на грехи и зорко следящих за ним. Из глубины оврагов, сквозь непроглядный кустарник, девушка явственно видела насмешливое мигание огненных глаз бесов: почти касаясь ее холодным и мертвящим веянием полночи, духи с ужасающим ревом и визгом быстро вскидывались из мрачных глубин вверх горы

на шумливых крыльях осеннего ветра и, боясь крестного знамения, которым девушка ограждала себя от ночных ужасов, издали хохотали над нею, победно крутились над ее головою и вообще всеми своими действиями старались показать ей, что безвозвратно погибла теперь ее молодая душа...

Погибла, — и нет пощады девичьей молодости ни от этой гневной природы, ни от диких обычаев, свирепствующих в человечестве пуще самых опустошительных бурь!

Произошла же вся история, вызванная местными обычаями, следующим простым образом: по обычаям этим неизбежно требовалось, что ежели в каком-нибудь подмосковном сельском домишке резвилась восьмилетняя девочка, так девочку эту, за редкими исключениями, непременно отводили в *город* в ученье к какой-нибудь «мадаме». Здесь она долгое время должна была отворять и затворять широкие стеклянные двери модного магазина, зиму и лето бегать босою и в невообразимых отрепьях по мелочным лавочкам, вараксаться в кухне в такой непроходимой грязи, которая в самом непродолжительном времени преобразовывает красивую цветущую девочку в какого-то невыразимо грязного и шустрого бесенка, во всякую минуту готового или до упаду хохотать по целым дням вместе с малолетними подругами, или по целым же дням злить хозяйку своим насупленным носом. Лет в тринадцать — четырнадцать мадам поручает старшим мастерицам отвести девочку в баню, где ей с приличными церемониями вручают роговой гребешок,

которым она с той поры обязывается каждый день приглаживать свои всклокоченные волосы.

Время это бывает самым лучшим временем для молодых швей, помогая им более или менее не примечать грязь, всячески пачкающую их рабочую юность: посещают их тогда какие-то тайные, необыкновенно манящие думы и желания, так что стоит им только на минуту опустить голову над шитьем — и этот длинный палящий летний день проходит в мгновение ока, потому что в опущенных головенках роится тогда бесконечный ряд видений, одно другого обаятельнее: тут и красивый, молодой юнкер с едва пробивающимися черными усиками, молчаливый такой, конфузливый и потому вечно краснеющий. Еще вчера только «спочтальонила» она ему записку от одной взрослой девицы, проникнув к нему в казармы, можно сказать, с опасностью своей жизни. Вот и бородатый, очевидно, уже пожилой студент, звонко осмеянный всею девичьей артелью за то, что навещавших его после шабаша девушек он обыкновенно принимался учить грамоте и арифметике, уверяя их в то же время всем своим высохшим, бородатым лицом, что это им впоследствии будет «ужасно как полезно»...

Но неуклюжие мужские лица затмеваются в отуманенных и как бы спящих глазах девушки изящными складками роскошного шелкового платья, которое подарил старшей мастерице один бравый офицер, вечно сновавший мимо окон мастерской то на лихом извозчике, то, как говорится, на своих на двоих, звонко громыхая

по плитам тротуара и шпорами, и железными ножнами сабли.

Бойко летает иголка в руках молодой мастерицы. Пристально устремлены глаза ее на узорчатое шитье, но, тем не менее, глаза эти ничуть не видят шитья. Видится им почему-то поздний и душный вечер прошлого воскресенья: девицы сидят на каменном крыльце магазина; некоторые из них парами расхаживают по тротуару, обмениваясь с проходящими мужчинами бойкими словами. Вот к крыльцу подкатила светло-синяя коляска, запряженная парой красиво вздрагивавших лошадей. Из коляски с смехом выскочила самая бойкая из всего магазина девушка, с утра еще отпросившаяся у хозяйки к родным. Всегда бледная, как большая часть всяких работниц, девушка эта горит теперь каким-то необыкновенно нежным и ярким румянцем; всегда сосредоточенная и по-своему деликатная, она на тревожные вопросы обступивших ее подруг отвечает в настоящую минуту каким-то истеричным, похожим на шаловливый ребячий плач, хохотом, — шутливо колотит по их полным плечам новым, никогда еще не виданным у нее зонтиком антука и бессвязно бормочет что-то про «чертей, от которых она никогда ни за что этого не воображала»...

Больше и больше вдумывается девочка в смысл события прошлого воскресенья. Все в нем загадочно для нее в высшей степени.

— Чего это она от них не воображала *этого?* — шепчет девочка, большими, тусклыми глазами всматриваясь в тонкое острие иголки, как бы ожидая, что солнечный блеск, игравший

на острие, осветит сейчас мучительный мрак ее девичьего неведения.

Но вот, игриво улыбаясь, тонкий солнечный лучок вместе с иголкой быстро нырнул в шуршащую шелковую материю и скрылся там, не разрешивши вопроса об *этом*.

Девица, видимо, очень озадачена таким исчезновением. Ее нахмуренный, запотелый лоб, ее недовольно сморщенные щеки явственно говорят, что зародившийся в голове вопрос так и остался вопросом.

— Нет — не знаю! — печально шепчет она, помогая в то же время остальным подругам тянуть какую-то длинную и унылую деревенскую песню. Но и песня, несмотря на разнообразные воспеваемые ею прелести «зеленых лужков, ракитовых кустиков и лазоревых цветиков», нисколько не помогает девушке разъяснить неизвестно откуда и зачем налетевшие думы. Напротив, они, по мере разрастания печальных стонов сельской песни, и сами разрастались все больше и больше, производя в молодом сердце своими безотрадными представлениями какую-то болезненную, сдавливавшую дыхание тесноту...

Вот, наконец, песня, петая в мастерской, зазвучала в ушах мечтательницы уже не знакомыми с детства мотивами, а именно тем крикливым и несвязным бредом, которым бойкая девица пробредила всю ночь прошлого воскресенья, удержавши при своей постели большинство подруг своими горячечными припадками. Представилась ей их тесная спальня, тускло освещенная лампадкой, — кровать, на которой

лежит бойкая девица, разметавши по ней черные косы и белые руки; пред кроватью, она чувствует, что сидят «ихние» мастерицы, но какие именно, она назвать их не может. В крайне неопределенных очертаниях ей видятся только в темноте спальни распущенные косы, белые кофты и печальные женские лица, которые уныло и неразборчиво перешептывались между собою о чем-то.

Как обреченная гробу, бойкая девица лежит между тем на постели с такими страдальческими тенями на бледном лице, что, при взгляде на это лицо, в голове, отрекшейся было от разъяснения *этого*, снова возникает представление о нем, как о вероятной причине страданий подруги.

Идут дальше девичьи думы, и из многих, совершенно неуловимых для постороннего глаза, черт они мало-по-малу успевают сложить какой-то уродливый образ, на котором и останавливается, может быть, первая серьезная ненависть молодого сердца, понявшего, хотя и смутно, что это-то именно неуловимое существо и мечется теперь пред сомкнутыми глазами подруги, то вырывая из ее груди неудержимые рыдания, то наводя на нее невыразимый ужас, так страшно мучащий свои жертвы до тех пор, пока они не привыкнут к жизненным мерзостям и исподволь не освоятся с ними...

Не похожий ни на что в действительности живущее, образ этот принадлежал к фантастическому миру тех призраков, которые овладевают воображением сумасшедших людей, воплощая своими неестественными формами те их

жизненные события, которые поразили бедный мозг. Так было и здесь: летучая дума, овладевшая воображением девушки, ежесекундно меняла в ее глазах свое лицо. Временами она мелькала перед ней в виде хитрой и как бы кого-то жалеющей улыбки величественного кучера, подкатившего бойкую девицу к крыльцу магазина. Не успела девушка хорошенько всмотреться в эту улыбку и определить ее значение, как улыбка эта делалась уже не улыбкой, а широкой спиной этого же самого кучера, который, сидя на высоких козлах светло-синей коляски, медленно поворачивал красивых рысаков от подъезда магазина. Отъезжая, коляска глухо гремела своими большими колесами. Девушка вдруг загорелась страстным желанием — узнать, куда поедет коляска и где именно пристанет; к ней в это время приходит откуда-то смутное сознание, что ежели она увидит дом, в ворота которого въедет коляска, тогда она узнает кое-что... Что именно она узнает, ей решительно неизвестно, но, тем не менее, она зорко следит за головами рысаков, которые отчетливо виднеются ей плавно раскачивающимися в отдаленной мгле поздней ночи. Но вот ночь делается темнее и темнее, и девушка пугается ее все больше и больше, потому что ночь эта в одно и то же время представляется ей и какой-то грозной, безлюдной пустыней, в которой не примечалось ни малейшего жизненного проявления, и которая потом мгновенно превращалась в какую-то волшебную, балетную сцену, сплошь залитую разноцветными огнями и исполненную сладких звуков дорогого рояля.

II

Вой буйного ветра, реявшего теперь над головой путницы, нисколько не заглушал разгульного веселья воскреснувшей в ее памяти странной ночи; она явственно слышит и стремительные мотивы вальса и шарканье танцующих. Перед ней, совсем наяву, в виде грациозных весенних пташек быстро порхают и беззаботно щебечут оживленные французские песни, петые самою «мадамой». Все взрослые мастерицы магазина присутствовали на этом вечере в лучших платьях, в воротничках и нарукавниках ослепительной белизны, — нарумяненные и раздушенные на счет хозяйкина туалета. Изящные джентльмены, в черных сюртуках и мягких сапогах, бросали в конфузливую девичью группу снисходительно поощряющие взгляды и улыбки; но группа, как в начале вечера разместилась по стульям гостиной в виде драпированных каменных статуй, так и теперь продолжала быть неподвижною, страшась ответить улыбкой на вызывающие взгляды *господ* и всячески скрывая от них горячий румянец, из-под самого ретивого сердца вызванный на белые щеки страстными, хотя ни одною женскою душою не понятыми песнями хозяйки...

Чувствует сейчас девушка воспаленным ртом сладкий вкус бело-желтого, искристого вина, которое в высоких бокалах подносили ей и ее подругам изящные джентльмены; ей мерещатся тяжелые гроздья винограда и пушистые персики... Много было в это время съедено этих

румяных, словно бы чему-то смеявшихся, персиков и толстых, сочных груш; долго что-то искрились и сверкали на огне высокие рюмки, а от веселого девичьего смеха глухо гудели струны раскрытого рояля и тревожно звенели хрустальные подвески привешенной к потолку люстры.

Потом девушка помнит, что в эту ночь она истерически рыдала о чем-то: ее ласково утешал кто-то; а в гостиной между тем, по настоянию хозяйки, пятнадцать девиц, раскураженных шампанским, громко распевали деревенскую песню, кипевшую беспомощными слезами и отчаянными жалобами на неизбежную гибель...

Присутствовавшие на пире мужчины приветствовали эту песню хриплыми и снисходительно-насмешливыми «браво!»...

Смутно в молодой голове! Беспомощно клонится она вниз от каких-то доселе незнаемых ею, страшно мучительных болей, и в тысячу раз больнее всех этих болей было то, что девушка вдруг как-то, сама не зная откуда и как, уяснила себе причину тайного горя бойкой девицы. Неустаннее и безропотнее всех остальных подруг просиживает она теперь бессонные ночи около ее постели, и так была сильна симпатия, зародившаяся между обеими девицами в эти бессонные ночи, что все, что только ни представлялось горячечному воображению больной, сейчас же грезилось и здоровой.

— Пить, пить дайте мне! — стонет бойкая девица, не раскрывая глаз, осененных длинными черными ресницами. — Там у меня в сундуке конфекты есть, мармелад... принесите!.. мне их

черти-то энти навязали... В прошлое воскресенье... — говорит она отрывистым, задыхающимся голосом, разражаясь болезненными, крикливыми рыданиями при воспоминании об «этих чертях».

Одного намека больной на мармелад и конфекты было достаточно для того, чтобы здоровая сейчас же окончательно позабыла весь длинный и нестройный ряд представлявшихся ей доселе видений. Она уже теперь не в спальне больной подруги, а всецело присутствует в темной хозяйской кладовой, где стоит ее крохотный лубочный сундук, весь наполненный такими разноцветными и разноформенными конфектами. Одни из них представляли из себя миньятюрных и румяных любовников, завидно влепившихся друг другу в сахарные губы под раскидистым деревом, верхи которого окрашены ядовитою *венецейскою ярью*, другие были обделаны в виде сердца, пронзенного оперенной стрелою, третьи походили на чашечку розы, в глубине которой ютилась золотая пчелка.

Из непроглядной тьмы сундучишка, запрятанного в безоконной кладовой, глядят также на девушку шоколадные паровозы, сахарные утки, зайчики... Прелесть! Разубранную грациозными, так мило улыбающимися барынями коробку, наполненную сластями, в первый же праздник девушка отнесет к матери на родные вершины... Она так давно не была у старухи!..

— Мать!.. мать!.. — шепчет девушка, поднимая опущенную голову и устремляя куда-то широко раскрытые, блуждающие глаза. Она, видимо, недоумевает над чем-то, как будто слово

«мать», которое она шепчет сейчас, впервые попало ей на язык, между тем как в широко раскрытых глазах ее уже вырисовался высокий и старый вяз, стоявший над крутым обрывом; под вязом стоит избушка, как говорится в сказках, «на курьих лапках, на веретенных пятках», а в избушке сидит старая, сморщенная мать и задумчиво пощелкивает толстыми деревянными коклюшками, которыми она с незапамятных времен плетет для *города* шерстяную тесьму. И никого нет у матери! Сидит старуха в своей темной избушке одна-одинешенька и молчит — постоянно молчит, так как, кроме московской дочки, нет у ней ни одной души, с которою бы она могла словцом перемолвиться. Словно мертвая была избушка, представившаяся девушке, — изредка только в ней перепрыгивал с печки на лавочку голодный, облезлый кот серой шерсти да снаружи шумел и поскрипывал старый вяз, любопытно заглядывая в омертвелую избу своими зелеными, развесистыми ветвями.

Напружились молодые глаза от страстного любопытства высмотреть, что делается там, где, негодуя, шумит старый вяз над речным обрывом. Светлые зрачки девичьих глаз, изумлявшие изящных джентльменов сыпавшимися из них искрами, померкли теперь. В этих воспаленно-белых и выкатившихся, как говорится, из-подо лба зрачках виднеется теперь старый кот, которого когда-то кто-то, ползавший на карачках, трепал за терпеливые уши. Был этот «кто-то» сама она — эта девушка, которая не может не видеть и не помнить, как она боролась с этим котом, как он вцеплялся острыми когтями в ее

детское личико, как сморщенная старуха-мать разнимала их и как, наконец, все это вместе — и ребенок, и старуха, и кот — укрывались под широкою тенью вяза, нашептывавшего тихий сон их житейским заботам...

Эта картина, напомнившая девушке ее беззаботное детство, охраняемое ласками матери, моментально вызвала на молодые глаза горькие слезы. Все существо ее мучительно ныло и тосковало от неутешной жалости к понурой избушке, которая с каким-то необыкновенно осмысленным отчаянием всматривалась с высокой крутизны в плавно лившиеся волны речные. Старая мать тихо всхлипывала о чем-то в своем бесконечном одиночестве, упорные, сверкавшие глаза выпучил на старуху облезлый кот и тихо мурлычит ей недоумевающие, меланхолические песни, которые, судя по ласке, светившейся в кошачьих глазах, имели целью так или иначе развеселить вечное старушечье горе.

До последних пределов доходит девичья галлюцинация: показывает она молодой мастерице старый вяз, так долго охранявший ее родную избу, в виде убогого человека, у которого отрублены руки, что делает дерево в высокой степени похожим на тех несчастных солдат, которых девушка так много видела на московских бульварах и у которых вместо рук трепались одни только серые рукава измочаленных шинелей.

— Нет, уж я лучше же к матери отсюда уйду,— быстрой скороговоркой шепчет про себя девушка. — Нет, уж будет мне с ними мучиться... Я и там себе с матерью на хлеб заработаю... Ее

там без меня-то вдосталь забидят и избушку-то, пожалуй, растащут — голов нам сиротских приютить негде будет. И что это я до сих пор жила в Москве? Какого счастья ждала от нее?..

— Верушка! — перебивает эти думы бойкая девица своим горячечным бредом. — Напиши письмо к моей маме, чтобы она сюда пришла — взять меня от них. Лучше я дома умру... В сарае, на сене... Братишка туда ко мне приползет... Здесь все такие хмурые, обманщики; а он смеяться станет — и я его поцелую... Ты скажи матери-то, что, мол, так это все про нее одни пустяки разговаривали... Не дай мне без матери умереть. Верушка! мне бы в последний раз, хоть одним глазком, на нашу деревню взглянуть...

В далекую сельскую глушь донеслись к старым матерям эти тоскливые вопли погибающих дочерей, и вот старухи пришли будто бы на выручку к своим любимицам.

Очнулись девушки при виде так неожиданно скоро прибывшей надежной помощи, и, вместо матерей, опять перед ними их тесная, опостылевшая спальня с тусклою лампою, с тою лишь разницею, что теперь в ней примечается страшный переполох. Все подруги скучились около лампы, как стадо испуганных овец, плотно прижавшись друг к дружке, между тем как в то время по узкой винтовой лестнице, соединявшей мастерскую и спальню с верхним этажом, где помещалась хозяйка, как бы некий полночный дух, сверкая ночным бельем, стремглав летел хозяйкин брат, недавно приехавший в Москву, молодой француз, с тонкими горизонтальными

усиками, козлиной бородкой и, кроме того, с необыкновенно алыми, ароматическими губами.

Француз испуган не менее девиц. Остановившись на средине лестницы, он молитвенно сложил на груди руки; он шепчет что-то «не по-нашенски», и хотя девицы ничуть не понимают этого таинственного шопота, но всё-таки они умолкают... Тихо!

Увидавши его, девушка злобно скрипнула зубами: она вспомнила о своих как бы нечаянных встречах с хозяйкиным братом в разных укромных уголках магазина. Как живой стоит пред ней в настоящую минуту молодой человек. Не подходя ни под какие людские образцы, доселе виденные девицами, он всегда вызывал со стороны мастериц либо явное и наивное удивление к своей особе, либо скрытый смех, но теперь он почему-то пугает девушку до лихорадочного холода. Она чувствует, как от его душистого лица веет на нее какою-то странною теплотою, от которой у ней кружилась голова и выступал горячий румянец, пропавший было от бессонных ночей, проведенных за работой. Она слышит прерывистый умоляющий шопот, исходивший как будто из желтовато-светлых глаз француза, и, как бы в ужасе от этих шепчущих и светящихся глаз, старается отпихнуть от себя невиданное чудо; но желтые глаза еще настойчивее устремляются на нее, и она явственно видит, что из них льются искристые светлые слезы, которые неотступно умоляют ее о чем-то...

И теперь, в эти поздние заполночные часы, с какою-то ужасающею медленностию тянувшиеся под суровым небом, назойливее всех гал-

люцинаций, заставлявших трепетать девушку, мелькает пред ней смуглое бронзированное лицо мужчины с румяными губами, веявшими такими ароматическими ласками, с этими незабвенными светло-желтыми глазами, сыпавшими из себя когда-то столько зажигающих искр.

В виде запоздалых деревенских огоньков, каким-то острым светом разрезывающих обыкновенно мрак безжизненных сельских ночей, светились и прыгали перед девушкой эти искры, безжалостно опалившие ее цветущую юность. Постоянно мелькая даже в ее закрытых глазах, они то и дело отвлекают ее от ласк, которыми бедная мать в последний раз прощалась с своим сыном, покидаемым ею на крыльце убогой, вырастившей ее, избушки. С ужасом видит она, что, не довольствуясь ее гибелью, искры сжигают в душе ее сладкое материнское чувство любви к ребенку, ярко освещая перед ней роковую необходимость сейчас же оставить дитя на растерзание голодных деревенских собак или на жертву осеннего холода, и итти опять в магазин, где снова встретят ее эти неотвязчивые желтые глаза, имевшие странную способность вмиг тускнеть и делаться какими-то бездушными и угрюмыми в то время, когда швея жаловалась им на свое девичье горе...

III

К концу ночи дождь перестал, и буря почти что утихла; вместо них как-то лениво и вяло наставало серое утро, насквозь прохваченное туманною сыростью, как бы пророчествуя

бедному сиротинке его будущую печальную судьбу; утро это было необыкновенно угрюмо. Оно с заметною суровостью скрыло от первого взгляда ребенка золотые главы величавых московских церквей, снежно-белые громады столичных зданий и раскинувшиеся около них зеленые сады. Все это, в ясную летнюю погоду видное с воробьевских вершин как на ладони, теперь ревниво было укрыто гигантскими крыльями свинцовых туманов, которые, в виде каких-то странных бесформенных птиц, плавно, стая за стаей, слетали с гор и стремились в Москву, словно бы им, в самом деле, как птицам, надоело уже пастись на оголенных осенью горных хребтах и безлиственных лесах, соседних с Воробьевкой.

То бедное существо, которое лежало на крыльце сельской избушки, завернутое в ватные лохмотья и со всех сторон обложенное сеном, было действительно такого жалкого свойства, что для его первого дебюта решительно были неприличны дорогие декорации, в роде, например, яркого и теплого солнца, которое во весь свой свет осветило бы разнообразные и шумные проявления богатой столицы. В этом случае главный герой описываемой драмы неизбежно затерялся бы в массе второстепенных фигурантов, которые самым лучшим образом приловчились уже к мудреным превращениям, встречающимся на жизненной сцене, между тем как в данную минуту дело происходило совершенно иначе. Село с своими вечными серыми буднями было накрыто серым, будничным небом. По грязи, свойственной всем русским селам, не

исключая и пристоличных сел, изредка торопливыми шажками пошлепывали кажущиеся на первый взгляд крайне несложными сельские заботы, в самом же деле настолько мучительные, насколько мучительны бывают для горожан неудачи в их мирских затеях. Вот на деревенской церкви прозвучал унылый голос поминального колокола, и не успели еще отзвуки его сползти с крутого воробьевского набережья в Москву-реку, чтобы прокатиться по ее волнам жалобными звуками, как уже по Воробьевке по направлению к церкви замелькали тени богомольных стариков и старух, которые дрожавшими руками несли фаянсовые блюда, наполненные домашними блинами и московскими булками. Несколько стареньких мужичков, живущих теперь, как говорится, в селах, за молодыми головами, собрались также на серой улице, с целью посоветоваться насчет того, что нельзя ли как-нибудь ухитриться добыть что-нибудь из хозяйства молодых голов такое, с чем без огласки можно было бы пробраться в уютный кабачок благодетельного Авдея Патрикеева. Вот в задумчиво раскачивавшейся пролетке уныло протащился в Москву на заработки местный извозчик. Он самым тонким, детским голоском распевал известную, необыкновенно перевранную им, поэму про «старый дом, с знакомой темной лестницей и с таинственно завешенным окном».

Ни прелесть поэмы, пахучая как свежее, только что скошенное сено, ни пискливый голос извозчика, которым он обезображивал ее очаровательно-печальные строфы, нисколько не

подходили к его раскормленному лицу, багровому от постоянных выпивок и, наподобие бычачьего пузыря, вздутого шалуном-ребенком, так же бессмысленно-круглому.

Все эти обыденные сельские картины, нарисованные вялою кистью сонного утра, были слишком, так сказать, бесфонны для того, чтобы их появление могло заинтересовать чье-либо любопытство более той экстраординарной и даже как бы самовольной прибавки к этим картинам, нежданно-негадано появившейся на крыльце убогой избушки, в виде славного мальчугана, с миньятюрным, красноватым рыльцем и с черным, довольно жестким для его возраста пухом на голове вместо волос. Любопытно внюхивался малюга в морозный запах этого утра, и, вероятно, желая рассмотреть то жестокое существо, которое так безжалостно разбудило его в первый день жизни вместе с ранними петухами, он широко и, признаться сказать, без малейшего выражения какого-нибудь *особенного* ума, раскрывал по временам синеватые глаза и ворочался всем своим маленьким тельцем, как бы готовясь встать, осмотреться в занятой им позиции и должным образом укрепиться в ней. От этих движений все более и более осыпалось сено, прикрывавшее лохмотья, в которые малютка был завернут. И вот его личико и головенка очутились, наконец, в полном распоряжении осеннего утра, которое успело уже перед этим осеребрить обнаженные деревья и поблеклые травы мелкой морозною пылью. Острый ветер заиграл черноватым пухом, пробивавшимся на голове ребенка, — он сдул с ней ват-

ные отрепья и сено, и когда совсем обнажилось детское личико, тогда продрогший мальчуган лицом к лицу встретился с своим первым утром, которое, приблизив к нему хмурое сероватое лицо, преподнесло беспомощному существу в виде холодного поцелуя, как бы *на зубок*, вечную лихорадку.

Видимо недовольный полученным подарком, мальчуган закричал насколько мог громко и заворочался тревожнее прежнего. В это время в кустарниках, густыми купами сбегавших от избушки в глубину оврага, раздался отчаянный визг одного из тех несчастных щенков, которых деревенские ребята по случаю излишества топят в речках, вешают на деревьях или, взявши за задние ноги, с хохотом бросают в глубокие горные пропасти. По визгу щенка можно было весьма легко догадаться, что он хотя еще и очень молодой щенок, но, видимо, успел уже постигнуть весь ужас своей тяжелой судьбы, которая, так сказать, на заре его жизни переломила ему пополам одну из задних лап, раскровянила голову и потом, замотавши на руки хвост, отправила его снискивать себе дневное пропитание в глубоких воробьевских безднах.

Всеми силами выбивалась молодая собачонка из этих бездн, совершенно неудобных для хоть сколько-нибудь сносного местожительства: она энергично шуршала в мелком кустарнике и визжала каким-то болезненным и в то же время негодующим визгом. Рано встающие куры с большим недоумением прислушивались к этим крикам. Они даже любопытно вытягивали шеи,

стараясь рассмотреть, какой это бедняга стонет в чаще кустов.

Наконец на краю обрыва, на котором стояла избушка, показался этот бедняга, убожество которого превзошло все куриные ожидания.

При виде бедняги белый, с черными крапинами, петух, оберегавший свою стаю, сначала недовольно помахал дугообразными сизыми перьями, которые его гордую, маленькую головку делали необыкновенно схожею с рыцарской головой, увенчанною волнистым султаном; потом петух вальяжно спрятал одну свою тонкую ножку под крыло и, оставшись на одной ноге, громко заклохтал:

— Какие, однако, эти люди? Что только они не выделывают с нашим братом, бедным животным!..

А в это время щенчишка уже совсем выполз из-под горы. Он положил свою испачканную грязью голову на какое-то бревно, валявшееся вверху горы около избушки. Он выпучил на рыцаря-петуха свои затекшие белесоватой сукровицей глаза, ласково забил перед этим рыцарем своим во всех позвонках изломанным хвостом, и рыцарь не только что не выклевал вкусных глаз щенка, а, напротив того, предупредительно подскакал к нему с целью дружеской рекомендации и затем, обращаясь к курам, терпеливо дожидавшимся результата неожиданного свидания, прокричал им внушительным клектом:

— Не обижать! — на что хуже такого распоряжения? — И того не клевать, который на крыльце лежит... А то ведь вы на это мастерицы...

Подкрепивши этот приказ бойким кукареку, петух величественным движением головы предоставил щенку полную возможность располагаться около старушечьей избушки, как ему будет удобнее, чему щенок безотлагательно и последовал, принявшись любопытно обнюхивать убогий вдовий дворишко. Много он на своих неуклюжих, покалеченных лапах описал тревожных кругов, в надежде поживиться чем-нибудь съестным: попадалась все какая-то промерзлая дрянь, решительно не подходившая к собачьему вкусу. Теплый жилой запах, тянувший из избы, привлек, наконец, к себе чуткое внимание собаки: она кое-как взобралась на крыльцо, тяжело волоча за собою перебитую ногу. Там, около подкинутого мальчика, лежали какие-то узелки, из которых аппетитно выглядывали румяные булки. Не обращая никакого внимания на крик владельца этих сластей, щенок живо растормошил узелки и с невообразимою жадностью принялся за хлебы. Удовлетворивши голод, он, как бы с целью принести искреннюю благодарность за такое неожиданное подкрепление его ослабевших сил, ласково подполз к ребенку, осмотрел его со всех сторон, обнюхал и потом принялся лизать захолоделое личико мальчика теплым и влажным языком.

Первые, завидевшие эту сцену, были старенькие мужички, которые возвращались теперь от угостительного Авдея Патрикеевича, в беззаботно накрененных шапчонках, с коротенькими деревянными трубочками в зубах.

— Ба! это что такое у старухи Матрены на крыльце делается? — любопытствовали они, при-

слушиваясь к слабому писку замерзавшего ребенка. Они взошли на крыльцо и увидели совсем почти обнаженное дитя, которое облизывал доселе невиданный ими в деревне щенок.

— Вот история-то, господа синаторы! — шутили мужички, принимаясь стучать в запертую Матренину дверь. — Ты что же это, старая, понастряпала тут, — хохотали они над вышедшей к ним хозяйкой. — Не было ни гроша, да вдруг алтын! На старости лет двойни припожаловала... ха, ха, ха!

Как ошалелая, стояла старуха, в немом раздумьи рассматривая дитя.

— Что стоишь-то? — надоумливали ее соседи. — Тащи дитё в избу, — видишь, замерзает.

Послушная этим голосам, старуха взяла ребенка на руки и поплелась в избу, за ней отправились соседи, и туда же заковылял, наконец, щенок.

Долго о чем-то думала старуха, раскачивая на коленах ребенка. Упорно рассматривая его, она почему-то вдруг припомнила свою московскую дочку, — какая-то болезненная жалость к этой дочери закипела в ее старом сердце; горячие слезы полились из поблеклых глаз, но ни одним намеком не выдала старуха рассуждавшим о событии мужикам своей тайной мысли о дочери, вспомянутой вдруг, повидимому, без должного повода...

Соседи всячески старались разбить старухино горе. Они говорили ей:

— Молчи, Матрена, не плачь! Мы тебя выручим. Знаючи твою бедность, умрешь ты с голоду с этим парнюгой. А мы лучше же вот что

обладим: пока еще весь народ не проснулся, возьмем мальчишку и подкинем его к богачу к какому-нибудь. Становишь нам, старичкам, полведра за такое дело?..

— Нет уж, господь с ним! — говорила старуха. — Мне принесли, так пущай у меня и останется он. Мне матушка царица небесная поможет его вырастить как-нибудь. Тридцать лет без мужа живу, пятерых сирот выкормила, и все она мне — споручница — пропасть не дала, — отбивалась старуха от соседских предложений, крестясь в то же время на тусклый лик божией матери, ласково смотревшей на эту сцену из темного переднего угла.

1874

НЕ К РУКЕ

ШОССЕЙНЫЙ ОЧЕРК

I

Близко то время, когда окончательно вымрут те люди, которые имели случаи видеть буйное движение шоссейных или так называемых каменных дорог тогда, когда железные дороги не заглушали еще своим звонким криком их неутомимой жизни.

Да! Разваливаются теперь эти бесконечные, сверкавшие в хорошую погоду ослепительною белизной, белокаменные дороги, точно так же, как совсем уже развалились здоровенные двухэтажные домищи, которые, называясь постоялыми дворами и белыми харчевнями, составляли некогда честь и славу шоссе.

Глубокие выбоины и колеи безжалостно изранили белую грудь дороги, и ямщик Герасим Охватюхин, в старину известный всем малым ребятам от Москвы до самой Тулы, не прокатит уже по ней на своей залихватской тройке забубенную компанию купцов, которые из его калужского тарантаса стреляли в проезжий народ бутылками шампанского, с хохотом закуривали трубки ценными ассигнациями и которые, наконец, *дуясь в трынку*, воздвигали на кожаных подушках тарантаса целые горы исчезнувших ныне золотых...

Редко-редко когда в теперешнее время проскачет по опустевшему шоссе помещичья тройка, отчасти только напоминающая бешеные охватюхинские тройки, огневая езда которых сопровождалась несказанным гамом купцов, оравших на всю длинную сельскую улицу: «Эх! Была — не была, повидалася! Замирили твою тыщу, да под тебя, выходит дело, еще две подваливаем... Жги по-кульерски, Гараська! Кон возьму, сотельную тебе на чай, — действуй только по-божецкому... Эй, вы, бабы! Ну-те-ка вот в тарантас к нам, к купцам к молодцам. Прискучило, небось, без мужиков-от сидеть?.. Мы бы разутешили, ха, ха, ха!»

Безвозвратно свеял куда-то ветер с широкого шоссе эти возгласы, и вот уже сколько времени прошло, как их совсем не слышно на пришоссейных улицах, потому что большая часть лихачей, одушевлявших каменные дороги своей удалью, перемерла; меньшая, *прогоревши*, превратилась в «Любимов Торцовых», которые забавляют теперь кабачную и рядскую публику изображением грома и молний, стараясь дать своим *поильцам* хоть приблизительное понятие о тех громах и молниях, в сопровождении которых летывали они некогда на тройках Гараськи Юхватюхина. Остается еще одна категория купцов; но и та теперь не оживляет шоссе: они *остепенились*, то-есть, несмотря на седые бороды, пригласили к своим дочерям молодых гувернанток, сыновей роздали по разным *пользительным* школам и, со свойственною им шельмоватостью всматриваясь в повсюдное обмельчение и проникновение горючих жизнен-

ных элементов, улыбаются и шепчут в своих охладевших сердцах: «Такие ль мы были? Эх ты, старина-старинка! Куда-то ты, матушка-старинка, закатилася...»

В самом деле — в какую неведомую даль ушла эта, столь оплакиваемая, матушка-старинка по бесконечному шоссе? В каких, например, далеких захолустьях поживают теперь и что именно поделывают широкобородые извозчики, вечно сновавшие по каменным дорогам на изумительно терпеливых мереньях, которые, громыхая медными бубенцами и наборными сбруями, мерно проходили тысячи верст, таща на себе гигантские грузы. Редко кое-где на конюшнях богатых купцов можно еще встретить некоторое подобие этих исполинских тружеников шоссе, заменяемых ныне локомотивами, — переводится, к сожалению, их могучая природа, как бы нарочно приспособленная к деятельному участию в тяжелых трудах мужика. С исчезновением же этих русских элефантов исчезли целые орды промышленников, главною профессией которых было выковывать для извозчичьих поильцев и кормильцев тяжелые подковы, увешивать их задумчивые головы усыпительно жужжавшими погромками или на *малиновый манер* звеневшими колокольчиками. *Прогорело* и сгибло теперь, за опустением шоссе, это мастерство дорогих уздечек, украшенных серебром с чернятью, таковых же шлей, чересседельников, сафьяновых хомутов, разноцветных шелковых вожжей и высоких, размалеванных всеми цветами радуги дуг. Едет теперь по шоссе на ближний базар мужик или даже сельский тор-

гаш, и в голых руках этих людей, в разгар шоссейного движения знавших замшевые, узорочно вышитые бумагой и даже шелками рукавицы, находятся не крепкие ременные вожжи, сразу обуздывавшие любую лошадиную удаль, а либо мочало какое-нибудь прогнившее, либо веревка, связанная тысячью узлов. Трогает проезжающий самоделковой вожжой свою лошадь, губами ей из всех сил подчмокивает и даже руками так суетливо размахивает, а лошадь никак не может итти быстрее рыси тех людей или, ежели угодно, вообще всех тех живых существ, которые голодом хотя еще совсем и не изморены, но которым никогда тоже вволю покормиться ни разу не приходилось.

Сидит старый ямщик Герасим Охватюхин на приворотной лавочке своего громадного, но теперь, как и сам хозяин, развалившегося постоялого двора — и видит, как мимо него проезжает этот горемыка-проезжий, какого «в свойную утешную Гараськину езду» живо бы лихие шоссейцы спихнули в придорожную канаву вместе с его ободранною клячей и брусяною телегой. Потухшие глаза выжившего из ума старика засветились, в виду этой мочально-веревочной картины, тем бесшабашным смехом, которым он во время своих шоссейных буйств охаивал всякого встречного и поперечного «за ихнее, например, неуменье обходиться с конем».

Самую середину дороги загородил Охватюхин горемыке-ездоку, оскалил на него свои красные, беззубые десны, подперся руками в бока и, тряся седою, кудлатою бородою, с заливным хохотом спрашивал:

— Што, друг, об имени-отчестве твоем неизвестны, расскажи на милость старому ямщику, у какого ты фабриканта вожжу эту самую мочальную покупал, а? Ха, ха, ха! Должно, неинаково вышло дело такое, што как вещь эту из-за границыи и по железке к нам привезли, — а? Хе, хе, хе! Для показу, например, нашему брату-неотесу?.. Мы што-то в старину сокровищев таких и не видывали, а, признаться сказать, обхожденье насчет коня не хуже нонишнего ездока понимали... Да уж и работал же нам конь в старину! Мы на коню заработки-то выезживали не в пример пожирнее ваших нонишних чугунных-то... Ха, ха, ха!

— Эх, дедушка Герасим, дедушка Герасим! — чуть-чуть не со слезами говорил мочальный человек, непременно знавший старого Охватюхина. — Ты про ваши заработки старинные и не вспоминай лучше, — нутро болит! У вас-то, бывало, по каменным дорогам калач — не калач, свежина — не свежина...

— Ха, ха, ха! — заливался Охватюхин веселым старческим смехом, необыкновенно похожим на беззаботный детский смех. — Э, друг! Вспомнил, небось, про свежинку-то про матушку!

— Вспо-омнишь!.. — соглашался мочальный человек, потряхивая шапкой, как бы с целью сбросить ее и освежить тем голову, внезапно застрадавшую при вспоминании о матушке-свежинке или о батюшке-калачике с сотовым медом...

— Чуд-да-ак! — несказанно торопясь почему-то, кричал дедушка Герасим. — Мы, бывало, ка-

лач-то али там лапшу с гусиным потрохом кажинный день жуем, а у вас-то лапша про свят-день до обеда... Где они у вас ноне, потроха-то энти, например? Хе, хе, хе...

— Д-ды мы про потроха-то и думать теперича позабыли!..— плаксиво пели гнилые мочала и истрепанные веревки, скреплявшие проезжего человека с его беспотрошной телегой и таковою же лошадью.

Во время этого разговора в лесу, опушавшем шоссе, раздалось оглушительное, сопровождаемое свистом, грохотание какой-то силы, которая, тяжело отдуваясь дымом и искрами, испугала своим внезапным появлением шоссейные речи. Они прекратились на некоторое время в виду чего-то страшного, что, визжа и ослепительно сверкая, умчалось куда-то, ужаснувши окрестности своим мощным дыханием.

Из-под обаяния этой непобедимой силы первый освободился старый Герасим Охватюхин. Следя за ее быстро мелькавшими следами своими насмешливо прищуренными глазками, он задумчиво шептал, не относясь, впрочем, в особенности ни к ухабистому шоссе, ни к лесу, безучастно его окаймлявшему, ни к унылому седоку с его гнилой телегой и помертвевшей от голода лошадью.

— Ишь, ишь, как черти несут! Вон она свежинка-то где! Нет,— не к руке нам эта свежинка!..

Затем вдруг, вышедши из своей нечаянной задумчивости, он снова заливался трясущимся, стариковским смехом и снова принимался трунить над мочальным человеком, настойчиво

рекомендуя ему «пришпандорить покрепше коня мочальной вожжой и догнать чугунку».

— Там, — кричал старый насмешник, — беспременно есть потроха са-ам-мые заграништыи, — ха, ха, ха! Только догони чугунку, там в тебя вложут их — самых луччих... Сколько душа пожелает...

— Не рука нам, дед, не рука туда ездить, — сколько раз я тебе толковал насчет эфтова смыслу, и все ты меня, старый, на зубок поднимаешь! — отвечали в свою очередь тележная мочала и веревки, влекомые издыхающей лошадью по тому же самому шоссе, по которому некогда скакивал на сердитых тройках удалой Гараська Охватюхин, удивляя прохожих, как удивляет их теперь молнийный гул железной дороги, своим разбойничьим свистом, удалою песней и, наконец, своей постоянной насмешкой над человеческими бедами, которые вечно плелись и вечно будут тихо и смирно плестись по узким тропочкам, сторонясь бешеных поездов, паром ли, лошадьми ли бесследно стирающих людские печали и радости с равнодушного к тем и другим лица земного...

II

Таким образом, жизнь современного шоссе главнее всего сосредоточилась теперь в полоумном ямщике Охватюхине, который различными солонинами, свежинами и вообще, как он говорит, убоиной защищает его старинные, жратвенные традиции, протестуя тем самым против порядков железных дорог, на которых, по

его словам, «лба-то перекрестить не дадут человеку как следует, а не то штобы кусок какой-нибудь ужевать с передышкой»...

Со всех концов длинного села соберутся на охватюхинскую приворотную лавочку мужики, шоссейное шаромыжничество кото́рых упразднила железная дорога, проложенная в каких-нибудь двух верстах от каменки, и от нечего делать распевают о кусках, выхваченных чугункой из их ртов и унесенных ею куда-то и зачем-то с быстротою молнии.

В самых причудливых и разнообразных формах выражались эти легендарные сказания о куске, который так недавно еще, на памяти у многих стариков, как ошалелый, шатался по шоссе и назойливо совался в рот самому ленивому и пьяному мужичонке, и вдруг от куска этого остались одна беспечная, измошенничавшаяся лень да жесткие булыжники шоссе.

— Тогда еще старики толковали, што железка нам не к руке! — пел какой-нибудь из завсегдателей лавочки Охватюхина, раззадоренный его речами о шоссе, текшем некогда молоком и медом.

— Как не говорить? Известно — были разговоры, што ее нам не требуется, — вставлял свое слово другой завсегдатель. — Родитель наш — упокойник — тыщу рублев, на ассигнации по-тогдашнему, становому отвалил, штобы, значит, не мешала она нашим порядкам... Теперь вот и плачься!

— Заплачешь! — слышался в общем хоре третий возглас. — У меня, бывало, солонины одной в осень по тыще пудов на проезжего выходило.

Эвона чаны какие, бывало, на дворе настановишь с ей, с матушкой...

— А у нас-то? — раздавались другие азартные ноты. — Да у нас с тятенькой калачу в один день по сту пудов разбирали, — квасу летним днем, ежели, то-есть, господь жару посылал, по пяти бочек выпивал богомолец, — кренделю што таперича харчили... Медюки-то, сейчас умереть, родитель и не считал никогда, а так это четверками их мерил аль на пуд...

Эти сердечные сокрушения об утраченных благах старик Охватюхин выслушивал с невыразимым презрением, потому что они в глазах его не представляли собой ни малейшей ценности в сравнении с тем громадным кусищем, который, благодаря железке, так быстро и неожиданно соскользнул с его стариковских зуб. Великолепное отношение ко всем этим ничтожным квасам, калачам и медюкам старик дозволял себе нарушать тогда только, когда ему становилось совсем уж невтерпеж, то-есть когда соседи пронизывали ему все уши своими сокрушениями о том, что квас ноне — пустое дело, на солонину — наплевать ежели, так греха не будет, а медюк коли захочешь в свой кошель залучить, так прежде подумай об этаком деле с супругой — не поспи ночек пяток, тогда, может, он, медюк-то, ненароком как-нибудь в кошель и затешется к тебе.

Хереса, дрей-мадеры и даже шампанское напоминали старику эти соседские возгласы о всеобщей испорченности людских вкусов, допустивших вдребезги расшибиться на шоссе «квасной части»; трактирные щи, кулебяки и

даже «каклеты» лакомо мелькали в глазах Охватюхина, когда какой-нибудь экс-торговец солониной настойчиво утверждал, что по нонишним временам вряд ли и из бар-то кому придется укусить настоящего *необдирного* мясца, и, наконец, тусклые медяки, так хвастливо рассыпавшиеся некогда по четверкам, группировались воображением деда в синенькие и беленькие ассигнации, светлые империалы и тяжеловесные платинки, которые в былое время так гулко и беспереводно пошевеливались в его бездонном кожаном кошеле.

Весь охваченный подобного рода роскошными представлениями, старик изредка только удостаивал подлаживать распевавшему около него хору, сердито встряхивая свои седые космы, ядовито улыбаясь и тихо побрюзгивая в роде того, что: «так! так! Калач был у вас точно што... хе, хе, хе!.. первый сорт! Крупчатка даже елецкая зеленела в нем от посконного масла, как бесы перед заутреней зеленеют... хе, хе, хе!»

— А севрюжина, например, соленая? — сладострастно воет опустелое шоссе. — А сомовина, — эвона, бывало, какие, батюшка! В какой-нибудь праздничек божий заломают это, бывало, бабы пирог с сомовьей главизной, — страсть — сичас умереть!..

Што про севрюжину толковать? — соглашается дед своим ироническим шопотом. — Не токма пруды, а речки текучие, так и те, вплоть до самого дна, высыхали от рыбьего духу... хи, хи, хи! Извозчики-то от вашей рыбины, словно деревья в лесу от бури, валились...

Но подтрунивая таким образом над соседскими сетованиями, старичина тем не менее никому не давал права заключать, чтобы его симпатии к шоссе были мельче соседских и чтобы его ненависть к чугункам могла уступить чьей-либо другой ненависти к этим дурацким выдумкам новейшего времени. Напротив, добра этого накоплено было в его сердце такое страшное количество, обладание которым оказывалось решительно не под силу всем его соседям в сложности. Те все-таки иной раз снисходили к чугунке, изредка отправляясь по ней в город с коровьим маслом, творогом и яйцами; Герасим же Охватюхин не давал в этом отношении лютому врагу своему никакого пардону, расколачивая, елико возможно, каждый шаг его, быстрый как молния и гремящий наподобие июльского грома!..

Герасиму Охватюхину не было ни малейшей нужды, как он сам постоянно говорит, «подражать, например, разным там немецким затеям, потому как, хе! ежели Гараська Охватюхин не едал хлебов из семи печей, так кто же, кроме его, и ел их, — господи ты боже мой! У Гараськи-то перо одно парадное было на шапке, так и то пятьсот рублев стоило! Вот перышко каково, — ха, ха, ха! Подарил то перышко Гараське московский купец Трепачев, тятенькой нонешним-то трепачевцам приходится, какие теперича, ха, ха, ха! по чугункам-то ездят с мамзелями с разными. Прочугунются, небось — промамзелятся, — подожди!»

— А вы говорите, — в упор уже обращался старик к жалующимся на безвременье соседям

дям, — вы же все, например, толкуете насчет своих квасов алибо главизны сомовьей, — ха, ха, ха! Чем же вы после того супротив меня будете, когда подо мной завсегда тридцать троек битюцкой али аргамацкой породы хаживало, — а? Ха, ха, ха! В самый Кеив ведь али даже в Аршаву тройки-то охватюхинские заезживали, — так-то-сь, други мои сердечные, а не токма што...

Новый элемент вступается в шоссейные разговоры. Он считает своей обязанностью поддержать хвастливые речи старинного удальца, и поддержка эта оказывается тем действительнее, что элемент представляется в виде необыкновенно сумрачного субъекта с огненными глазами и с впалыми бледными щеками, сплошь обросшими густыми черными волосами. Унылый бас, нанковый линючий подрясник и порыжелая плисовая шапочка, надетая на кудлатую голову, рекомендовали субъекта за одного из тех странников, которые вечно шатаются из одного монастыря в другой, отдыхая от этих кочевьев у знакомых мужиков, мещан и купцов и платя им за гостеприимство теми чудодейственными рассказами про дива пространного божьего мира, от которых поднимаются дыбом волосы на головах людей, одеревеневших было от нескончаемого однообразия захолустной сельской жизни.

— Полетали на троечках дяди Герасима всласть, аки бы на крилах ветряных летывали, — проговорил сумрачный странник с глубоким вздохом, от которого его унылый бас делался еще унылее и, так сказать, готовнее до

глубокой боли ущипнуть суеверные сельские сердца протяжными повествованиями о разнообразном зле, властительно будто бы царящем во всех точках земного шара.

— А, а! — восклицал Охватюхин, по своему обыкновению злорадно подсмеиваясь. — Што же это ты об охватюхинских тройках жалеть принялся? Чего ж их жалеть-то, друг, — ха, ха, ха! Вон чугунка под носом, — попроворней, пожалуй, моих конев-то будет, потому она огнем действует...

— И разжеся огнь в сонме их, и в пламень попали грешники, — простонал странник своим зловещим голосом. — Вот какие слова говорю вам насчет чугунки, — торжественно обратился он к приворотным сокомпанейцам, — и слова эти я вам сказываю не от себя. Вот вы их восчувствуйте!..

— Чего там восчувствовать-то? — оживленно и хором гаркнули сокомпанейцы. — Мы от этой железки-то давно уж кушаками животы подтянули, бурчит, на скотину от ней падеж пошел,— собаки даже путевой во всей деревне нет...

— И разгневася яростию господь на люди своя и омерзи достояние свое... Вот она железка-то какова! — с глубоким трагизмом отрезонил странник. — Кто настояще, — говорил он, как бы уясняя что-то, — вникает в писание, тот понимает, что, как и к чему... Дело хвалить нечего, сами вы видите... На ваших, кажется, глазах-то...

— Как не видать? Давно видим, што дело не к руке, — снова запевал хор, оживляясь все более и более излюбленной песней о неспоруч-

ной железке и о различных великих и богатых милостях, раскатывавшихся некогда, в очью всех, по гладко укатанным каменным дорогам на беззаботную и сладкую потребу всех пришоссейных утроб.

Усерднее всех распевали эту песню Герасим Охватюхин и странник. Они в то время, когда разношерстные бороды вытягивали основную песенную поэму насчет маслянистых калачей, забористых квасов и жирных мяс, варьировали ее рассказами о непостижимых для простого ума случаях, решительно невозможных ни на какой другой почве, кроме как на шоссейной.

— По шасе-то какой, бывало, богомолец ходил? — азартно спрашивал странник. — Ноне и нет таких, — все норовят как бы им поскорее в мирское званье, отличиться, потому прельщенье везде очень большое пошло. А допрежь того богомолец круглый год странничал по святым местам — и был он сыт, обут и одет и, так надо сказать, што везде принят по милости божией.

— А мы-то, бывало, извозчики-то, — с не меньшею страстностью подхватывал Герасим. — Закатишься эдак, к примеру, в Крым за яблокам, али в Сибирь за чаями, — коси малину! Года по три домой-то и не заглянешь совсем.

— Богомолец был в старину настоящий, хороший, — ничуть не слушая Охватюхина, перебивал его речь угрюмый странник. — У нас такие отцы хаживали, такие... В цельную неделю по единой только просвирочке скушивали. Таких подвижников теперича и не найдешь, пожалуй, нигде: рази, может, в затворах где-нибудь

пребывают, так ведь они нам, грешникам, ликов своих ни за што не объявят.

Деликатность, с которою Охватюхин выслушивал любопытные эпизоды о таинственных личностях, скрывающих от грешных глаз свои лики за крепкими затворами, нисколько не уступала деликатности самого странника, ничуть в свою очередь не интересовавшегося рассказами отставного ямщика про то, «как они в старину закатывались в Крым за яблокам али, например, в Сибирь за чаями». Одним словом: каждый из них заливался своим собственным мотивом, в финале которого получался рев хора, злобно утверждавшего, что всем вообще певцам не к руке несчастная железка.

Настойчиво преследовала песня свою главную тему. По тем ее вариациям, которые проделывал ямщик, несомненно выходило, что ни от чего другого, как только от железки, обезлюдели шумливые дороги и неизвестно куда девались силачи-извозчики, приподнимавшие за задок телеги стопудовую кладу.

— У нас народ ядреный был, — как бы в сладкой дремоте, зажмурив глаза, распевал Охватюхин. — Куда его ни поверни, он своей чести нигде не потеряет, хоть в пир, хоть в мир, хоть в добрые люди. У нас был один извозчик из Саратова, так тот однажды меру калачей на спор съел да пять фунтов меду. В бане после того двое суток живот-то ему вениками отпаривали и маслом оттирали деревянным, потому мед, словно камень, застыл в нем...

— А в монастырь, бывало, ежели в какой взойдешь, — в необыкновенно нежной задумчи-

вости подтягивал странник, — сичас тебе пища всякая... Братия, например, встречают с поклонами.

— Саратовец-то энтот, — внезапно врезывался Охватюхин в идиллию странника, — возьмет, бывало, лошадь за передние ноги да на спину себе ровно бы овцу и взвалит... Вот тебе и чугунка, — ха, ха, ха!

1874

„ЗАВИДЕНИЕ МУСКОЙ, ДАМСКОЙ И ДЕЦКОЙ ОБУВИ“

ОТРЫВОК

I

В грязной мастерской этой занимались, как значилось на ее вывеске, производством «муской, дамской и децкой» обуви. Теперь она расцвечается бледным светом воскресной лампадки, висящей в темном углу пред образами самого строгого и даже как бы мрачного живописного мастерства. Как ни был мал и дрожащ этот свет, в его мигании все-таки примечалось нечто утешительное, веселое: в нем виднелись какие-то, хотя неопределенные, но тем не менее весьма дружеские намеки на возможность чего-то хорошего.

Так дружелюбно подмаргивает иногда безутешно плачущему ребенку любящая нянька, лишенная всякой возможности утешить его должным образом.

И действительно: неряшливая грязь, облеплявшая собой мастерскую, грязь живая, с плотью, костями и кровью, наполнявшая ее, и, наконец, серые и тоже грязные глаза только что начинавшейся весны, назойливо засматривая в окна мастерской, до такой мучительной степени сдавливали всякое живое сердце однообразною общностью наводимых всем этим впечатлений,

что оно, принужденное в свою очередь фигурировать в длинном ряду подобных житейских картин, с необыкновенным счастьем приветствовало этот жиденький лампадный блеск воскресного утра. Это сердце видело в огоньке отрадный, праздничный символ, который людям веры сулит в будущем изменить всеобщую картину духовной смерти природы, людей и даже жилищ их и всех вообще жалких дел их омертвелых рук и отуманенных голов...

Все ярче и ярче разгорается лампадный блеск в глазах верующего сердца: страстно радуется и торжествует оно, видя, как повсеместно разливаются его могучие световые отражения,—и вот не видит уже оно больше этих злобно шепчущих что-то дождевых струй, которые столько длинных дней безустанно льются на закоченевшие дома, на людей, на птиц и животных, отупело и бесцельно скитающихся по улицам. Не плачут более своими светлыми снеговыми слезами, будто опаленные, черные и рогатые деревья, в неизмеримой печали перевешивающие свои необыкновенно трагически скрещенные сучья чрез гнилые заборы садов, и даже самые заборы как будто утешились: их старые, выбеленные дождем доски не мучат уже сокрушенного очерченным видом взора своей стариковской, злостно оскаленной улыбкой, которою постоянно сверкают они из-под грязных, землянистых струй осенних и весенних дождей.

Ничего этого более не существует для верующего сердца, и бесследно исчезли куда-то ужасающие тени гнили и смерти!..

Жиденький блеск воскресной лампадки разгорелся наконец в светлую, ликующую весну: под сладкое, неизвестно откуда льющееся пение весенних голосов в быстрой и грациозной пляске кружатся по улицам, ослепительно сверкая золотыми одеждами, какие-то по-детски радостные и игривые духи. Отечеством этих духов, так редко оживляющих собою печальные пространства земли, не может быть никакая другая страна, кроме вот этого светлого, дышащего такой страстной нежностью, солнца. Видимо, что нежные, светлые дети целыми мириадами слетают именно оттуда на утружденную и обездоленную зимой землю. Примечается также, особенно если человек пристально всматривается в проявления этого жизнедательного блага, что когда одна мириада разочтет, что ее тепла и света недостаточно для уврачевания ран земли, к ней на помощь скорее молний летит другая мириада, более нарядная, более ласковая, там реет уже третья и так далее без конца.

И вот — согретые теплым дыханием этих духов, ожили люди, в густых древесных купах засвистали веселые птицы и в виде сердитой стражи, как бы сознавая важность своих постов, окружили собой старые заборы эти страстно ликующие древесные купы, строго охраняя миллионы приютившихся в их чащах неразумных жизней.

Густые массы душистого воздуха совсем видимыми волнами носятся по улицам громадного города, изгоняя из домов грязь и зловоние, которые властительно воцарились было в них, так

долго и так тесно осажденных злым безрассветьем зимы...

В мастерской пробило полдень — и лампадка погасла, знаменуя тем, что поздние обедни кончились во всей Москве, и ежели по ней изредка и летали еще басистые трезвоны, то они неслись не с приходских, а с монастырских колоколен, где церковная служба идет продолжительнее. Это были последние отголоски с четырех часов утра, возвещавшие праздник, и лишь только замерли они в воздухе, насквозь пропитанном каким-то вялым и тупым унынием, с ними вместе замер и свет лампадки, намекавший грязной мастерской про близкие радости цветущего лета, и на месте дружеского, приветливого мигания этого света появился недолго тонкой спиралью синий дымок и бесследно исчез куда-то...

Исчез куда-то? Почему же бесследно? А может быть, что этот дух русского очага, нежный и ласковый, как первые поэтические думы возникающих народов, улетел теперь к богу, царящему в столь далеких от земного отчаяния небесах? Может быть, что он, в высшей степени доброжелательный, предстоит теперь перед ним и жалуется ему своим тоненьким, замирающим голоском:

«Господи! Мало моего света для темных душ, которым ты велишь светить мне. Я сам погас в той *смертной сени*, в которой они вечно ходят. Пошли им, господи, другой, более яркий свет...»

Почему нельзя допустить такого фантастического представления в верующем сердце?

Любая человеческая беспомощность, в роде описываемой мастерской, которая давно-давно уже горькими слезами оплакала свое бедовое прошлое и которая в тревоге и ужасе стоит пред грозным будущим, должна бы считать подобные фантазмы часто совершающейся правдой...

Но если это и правда, так она витает теперь у господа, и мы остаемся одни без отрадного, воскресного огонька, в огромной мастерской комнате, вплоть наполненной удушливым сизым чадом. Сквозь этот непроглядный, одурманивавший голову чад нельзя было как следует рассмотреть ни одного лица. Смутно рисовалось только, что в мастерской царит какая-то туча мрачных силуэтов — мужских, женских и детских. Из тучи этой, подобно отдаленному грому, угрюмо и неразборчиво гудела какая-то дикая симфония, основную тему которой могло уловить только привычное к подобным симфониям ухо. Ее содержанием был праздничный русский загул, то буйный до зверства, то наивный до святой простоты ребенка, то вызывающий и циничный, то в прах смиряющийся пред обиженным ближним и фанатически, с немилосердным терзанием терпеливого тела, умоляющий милость божию отпустить грехи вольные и невольные. Еще труднее было в той буре хаотических звуков расслушать нежные вариации, несколько ее усмирявшие. То были голоса женщин и детей. В виде слабого, но озлобленного и как бы металлического щебетания вылетали они по

временам из масс грубых басов и теноров, оравших пьяные песни.

С хохотом, сопровождаемым звоном разбитой посуды, унылым треньканьем гитары, вскриками гармоники, различные группы выделывали в мастерской различные штуки. В одном углу азартно трогали плясовую под заввонистый хорей, обращенный к какому-то милому, чернобровому:

Ох-х, ты милый, чернобровый,
Подари-ка-сь мне целковый!
И на сахар и на чай,
И про всякий про случай...

В другом — тягучие унылые голоса скорбно оплакивали зеленую, так весело стоящую ивушку, которую «и солнышком печет, и частым дождичком сечет».

Все это пересыпалось крупною бранною солью и звонкими целованиями, горячими наскоками друг на друга с засученными по локоть рукавами и гулким шлепаньем друг перед другом на колена с слезными просьбами о прощении разнообразных обид.

И по мере того как воскресенье, затушивши свою тощую светом лампадку, все более и более утрачивало свои веселые, праздничные тоны, тем властительнее и властительнее разрисовывали мастерскую угрюмые будничные краски наступающего трудового понедельника. В ожидании рабочего дня, шаги которого по воскресеньям и вообще праздникам чувствуются народом так быстро приближающимися, мастерская всеми средствами усиливалась навеселиться вдоволь для того, чтобы потом, когда эти фаталь-

ные шаги будней раздадутся завтра у объятых горячечными сновидениями изголовий, снова с обычным терпением засесть за бесконечную работу.

Всеми своими нервами чувствовала мастерская, что завтра рано утром разбудит ее промозглый, серый дождь, холодная сырость которого злою лихорадкой впивается в тело, согревшееся было во время сна. Чувствовалось ей, что завтра она должна будет при тусклом взгляде нахмуренного неба продолжать только что покинутую работу, которая, если б не зажигались время от времени праздничные лампадки, никогда бы не прекращалась, как никогда не прекращается злая бедность человека, осужденного в поте лица зарабатывать хлеб свой. Вследствие таких печальных представлений посторонний человек ясно видел, что мастерская всецело объята какими-то, хотя бессознательными, но тем не менее необыкновенно мощными усилиями, если не совсем и не навсегда отдалить от себя близкое нашествие мучителя понедельника, то хоть, по крайней мере, забыть, что он идет уже, и не слыхать его назойливых шагов, вместе с приходом которых на целые шесть суток в угрюмом *«завидении муской, дамской и децкой обуви»* водворяется поддразнивающее постукивание башмачных американок, злое громыханье сапожных молотков и всеобщее тяжелое уныние, разбиваемое редкими песнями и дикими криками вечно пьяного и никогда ничем не довольного хозяина.

Таким образом, не говоря уже про взрослое население рабочей общины, обыкновенно нар-

котизированное по праздникам пивом и водкой, его малолетняя и, следовательно, непьющая часть была объята в это время громадным количеством самых ярких, праздничных иллюзий, теплоту которых, так отрадно согревающую забитые людские сердца, никак не мог остудить и заморозить холод ожидаемых будней. Никто не хотел знать их принижающего и вечно одного и того же: работай! работай! Все, напротив, в недолгие праздничные часы старались делать обратно противоположное тому, что делается в будни. Маленькие девочки-ученички смыли с себя свою всегдашнюю грязь душистым мылом, накраденным их маленькими братишками, тоже учениками в мастерских Брокар и Люи Буис. В густые деревенские косы, которые не успела еще разредить и обсечь столичная пошлость, девочки вплели разноцветные ленты, и хотя все они, без исключения, были одеты в отрепанные, из линючих ситцев платьишки, тем не менее это старое, печальное рванье никак не могло согнать с детских лиц ни яркого, здорового румянца, ни летучей, нескрываемой радости, обыкновенно ощущаемой этими бедными созданиями при виде каких-нибудь атласных башмачных обносков, которые маленьким ногам ученичек великодушно жертвуются их заказчиками — различными добродетельными танцовщицами, давно уже вышедшими в отставку отчасти за преклонностью лет, отчасти по случаю необыкновенного расширения ножных мускулов и костей, а главное — по случаю благоприобретения в какой-нибудь слободке двухэтажного деревянного домика.

Не существует теперь для маленьких бедных созданий тех забот, которые сами они и их сельские отцы и матери называют обучением мастерству, или *учобой*. Слава богу, по праздникам мастеровые не заставляют их выклянчивать в долг у соседних кабачников пива или водки, хозяева не оглаушивают оплеухами за сломанную иголку, за недогретый утюг, и мастерицы не выдирают волос за неисправно доставленную в ближайшие казармы любовную записку, — ничего этого, повторяю, нет теперь. И вот детишки, благодарные празднику, всецело отдали себя этому благодетелю, который через каждые шесть дней зажигает в их мрачной лачуге светлую лампадку, при блеске которой они обыкновенно видят такие славные сны насчет того, примерно, как завтра у них целый день не будет учения, как они перед уходом к поздним обедням будут мазать свои косы деревянным или коровьим маслом, вплетать в них разноцветные ленты и как чудесно будут красоваться на их постоянно босых ногах атласные отопки щедрых танцовщиц.

Таким образом в девочках царило самое полное равнодушие к разнообразным невзгодам, которыми грозили им наступающие будни. Большая часть из них, по врожденной всем женщинам домовитости, уткнули расцвеченные лентами головенки в лубочные сундучишки, в которых они, как будущие хозяйки, скапливали все те лоскутья, стеклышки, костяшки и пуговички, которые так соблазнительно сверкают пред глазами сельских ребятишек и которые богатыми

городами выбрасываются на улицы, как никуда не годный мусор.

Сосредоточенно и задумчиво рассматривали дети скопленные в сундучишках сокровища, и если бы люди способны были подслушивать ребячьи думы, боже мой, сколько бы тогда очерствелых сердец снова забилось любовью и надеждой и по скольким бы холодным, бесстрастным или даже бесстыжим лицам покатились теплые слезы, которые на такой темной, неизведанной глубине так старательно прячутся озлобленными жизнью душами!.. Все самые лучшие, благородные инстинкты, какими обладают только избранники человечества, составляют предмет этих молчаливых детских дум. Вот над одним сундуком происходит тщательная, хотя и до совершенства неуклюжая, починка братниной рубашки, приобретенной на толкучке за пятнадцать копеек, в которой родной мальчуган, по глубокому убеждению малолетней портнихи, должен произвести непременный эффект в своем селе, если бы только хозяин отпустил его туда с нею на приближавшиеся праздники светлого воскресенья.

Больше и больше разрастается детская дума! Теперь уже занимает ее не франтовская братнина рубаха, а родное село с маленькой гнилою избушкой, из которой, за семейной теснотою и бесхлебьем, отвезли ее и братишку в богатую Москву, которая, по наивным пониманиям сельских людей, приучает будто бы ребятишек тесных изб зарабатывать себе хлеб. Быстро бегает иголка в руках девочки, и частым дождем сыплются из глаз ее на братнину рубаху крупные слезы.

О чем бы, казалось, плакать ребенку в праздник, который дал полную свободу его забитой будничной грязью мысли? Мысль эта, как бы какая волшебница, дарит теперь девочку всем тем, чего ей только хочется. Своим волшебным жезлом она моментально превратила печальный сундучок ученички в печальную, но родимую избу, в которую ей так хочется попасть на светлые праздники.

Какой, однако, стал большой этот маленький, ничтожный сундучишка! Вероятно, он точно так же зачуял праздничный простор, как и волшебница-мысль, чудодейственно перестраивающая его теперь в разные разности, согласно с планами маловозрастной, но трудолюбивой портнихи. Он уже больше не жалкий лубочный коробок, крышка которого внутри украшена великолепным портретом персидского шаха в высокой бараньей шапке и конфектным изображением миловидной немецкой барышни с птичкой на руке, — не тот коробок, который доселе обязан был хранить в своих недрах пару толстых шерстяных чулок, холщевую рубашонку-сменку, кусочек стеариновой свечки без светильни, полколоды затасканных карт и две стеклянные подвески от трактирной люстры с отбитыми ушками, — нет! — теперь он представляет собою не больше не меньше как большое село Перелазово, находящееся в шестидесяти верстах от Москвы, на одном из самых ее оживленных трактов, а вовсе не какую-то жалкую рухлядь, заброшенную в темном чулане «*завидения муской, дамской и децкой обуви*».

Боже мой, и что же это было за громадное селище! С трех сторон его окружала многоводная Ока, а с четвертой — густой-прегустой лес, сквозь который едва-едва пробивалась широкая шоссейная дорога. Вместо плесени и затхлости, которыми постоянно был наполнен ничтожный сундучонка, теперь в нем, преображенном в село Перелазово, повсеместно царствует светлая весна—и, озаренные ею, деревья густого леса, переливчатые волны Оки, сельские избы, их бородатые хозяева и толстокожие хозяйки решительно затмили летавшим над ними весенним сиянием не только тусклый блеск двух хрустальных привесок, сберегаемых в сундуке, но даже и великолепного персидского шаха с его дорогими каменьями на бараньей шапке. Яркие розы, щедро рассыпанные маляром-литографом по щечкам миловидной немецкой барышни с птичкой на руке, тоже спасовали пред яркими лучевыми снопами, валившимися с неба на Перелазовку. Словно по щучьему веленью, исчезла из коробки вся эта гнилая столичная мишура, изгнанная оттуда весенними красотами села.

Дальше продолжаются видения, навеянные освобожденной из будничных тисков мыслью: яркое весеннее солнце залило своим теплом крошечную гнилую избушку; под ее соломенными, взлохмаченными зимними бурями, застрехами чирикают воробьи и с звонким щебетаньем вьются белобрюхие ласточки, облюбовывая уютные местечки для гнезд. Бойкий колокольный трезвон, раздающийся с двух сельских колоколен, наполняет избушку каким-то тяжелым, слитным гулом, от которого временами

вздрагивает и глухо бренчит глиняная посуда, расставленная на полках, и покачивается различная деревянная утварь, сколоченная на живую руку. Вся семья собралась в этой избе, обласканной солнцем и наполненной мелодическим колокольным звоном — единственной сельской музыкой, если только не считать за музыку разнообразных птичьих песен, которые, не смолкая, оживляют собою трудовую тишину деревень. Вот сидит отец с тощей рыжеватою бородою; вместо лица на нем надета какая-то маска, сделанная как бы из тусклого стекла; крайнее утомление и беспомощность лежат на этой тусклой маске. Вот мать, молодая еще, но уже сгорбленная женщина с глубоко ввалившимися бронзовыми щеками, а вот и сама ученичка с братишкой, босые, с маленькими холщевыми сумками на плечах и с громадными в руках палками, которые помогли маленьким мастеровым благополучно добраться из Москвы до Перелазова. Вот сгорбленная женщина, обливая горючими слезами свои тощие бронзовые щеки, с рыданием снимает с слабых плеч юных пришельцев дорожные сумки, берет из их рук длинные, толстые палки и бережно устанавливает этих добрых ребячьих лошадок в покойный угол темных сеней, где они могут прохладиться и отдохнуть от дальней дороги до тех пор, пока снова не тронутся в обратный путь желанные гости.

После вечных криков и беспутной суеты сапожной мастерской как-то особенно весело и отрадно живется в родном гнезде московским рабочим ребятенкам. Во сне даже не снятся им

здесь эти обозленные, вечно шипящие и кашляющие, чахлые мастерицы с загноенными дымом мусатовских папирос глазами, эти угрюмые, лохматые мастера, от которых за целую версту несло противным запахом махорки, водки и лука. Вместо их хриплых, похмельных басов ребятенки восторгаются теперь жалобным тюканьем целого стада желтеньких цыплят, которые с свойственною всем молодым созданиям наивностью лезут в колена к своим молодым хозяевам, несмотря на внушительное клохтанье наседки, поучительно разъяснявшей своим птенцам несостоятельность их поведения по отношению к вероломному человечеству, которое так охотно лакомится куриными яйцами и даже самыми курами. И как в московской мастерской маленьких рабочих постоянно преследовала одичалая злость взрослых, выражавшаяся в разнообразных тукмаках и щипках, так и теперь ни на минуту не покидает их ласковая преданность Жучки — этой славной сельской собачонки, с глазами в роде больших вишен, с черной лоснящейся шерстью. Единственной несколько печальною тенью в этой светлой области ласк, временно приютившей в своих недрах несчастных детей, была сильная вражда между черной Жучкой и серым котом, усмирение которой причиняло ребятишкам не мало всяких хлопот. Возникшая в незапамятно древние времена, еще между самыми отдаленными кошачьими и собачьими предками, вражда кота и Жучки, как и всякая людская вражда, имела по временам свойства ослабевать и даже, так сказать, входить в фазы перемирия, особенно ежели судьба

не сталкивала их вместе у одного окоренка с прокислыми щами, но в настоящее время она разгорелась с ужасающей силой. Приход детей под родительскую кровлю подлил, как говорится, масла в это огненное море кошачьих и собачьих страстей. Так, Жучка постоянными кувырканьями и прыжками, соединенными с пронзительным лаем, призывала ребятенок к той оживленной деятельности, которая необходима для безустанного беганья по дремучему лесу и для купанья в Оке, между тем как кот в качестве меланхолического домоседа, по преимуществу ценившего мирные радости теплого домашнего очага, всячески оппонировал этой собачьей живости, выражая свою оппозицию сердитым фырканьем и даже порой доводя ее до полнейшей готовности вцепиться острыми когтями в ненавистную морду своего вековечного врага.

Совсем было московская мастерская стерла с ребячьих лиц завидный деревенский румянец, расписавши их вместо него унылыми тенями голодной, рабочей озабоченности. Точно так же в мастерской этой ребятишки совсем было позабыли, как это можно по целым часам захлебываться веселым беззаботным смехом, в виду присущего всем людным мастерским многоголосного гвалта, бестолково и напрасно старающегося вырваться куда-то из дымной и вонючей мглы, которая обыкновенно закутывает собою от брезгливых глаз отвратительные атрибуты столичной голытьбы. Все это сполна возвращено теперь ребятишкам милостями солнца, воцарившегося над землею, и, краснощекие, веселые и

звонко хохочущие, они в настоящую минуту составляют так называемый первый план одной из тех прелестных картин, которые так часто встречаются по селам, радуя своей роскошной жизненностью глаза путешественников, утомленные печальным однообразием отечественных видов. Сплошной зеленый фон этих картин, варьированный всевозможными световыми отражениями, озаряющими длинный ряд сельских изб, с белою церковью во главе, вызолоченный крест которой освещает окрестность своими золотыми лучами, обыкновенно заканчивается вдали извилистой желто-песчаной дорогой, в ряд с которой тянется голубая лента какой-то реки, и, наконец, все это втягивается и исчезает в слитных очертаниях, чуть-чуть виднеющихся под синими небесами, далекого, синего же леса.

Чего бы, кажется, проще и обыденнее подобного сельского вида? А между тем такие именно виды, однообразные, задумчивые и запечатленные какою-то грустною сиротливостью, ввергают в глубоко-страдальческую истому множество впечатлительных душ, наводя их на тяжелые мысли о причинах этой всеобщей сиротливости родной природы, о смиренных и кротких людях, терпеливо и благодарно пользующихся ее скудными дарами, — на мысли о том, изменит ли, по крайней мере, хоть вон за этим чуть-чуть видным лесом свой унылый вид этот сельский ландшафт, и если не изменится он и за далеким лесом, то нельзя ли по жарко сверкающим волнам этой реки проплыть в более радостные страны? Нет конца этим тревожным думам, как нет конца сожженным солнцем полям, навеяв-

шим их, как нет удержа беспокойному и бесцельному бегу сельской реки, как бы насильно вколоченной в обрывистые, неприступные берега. В безотчетной тоске и унынии должна была бы извериться впечатлительная душа, созерцая эту неоглядную область упорно молчащей безжизненности, которую столько лет уже воспевает народ наш «*песней, подобною стону*», ежели бы по селам, ревниво окаймленным этою бездушною синею далью, не водилось бойких, задорных ребятишек, оживленные группы которых, наполняя смехом и криками обездоленные сельские местности, всегда усмиряют сердечные боли людей, способных до глубокой скорби задумываться о рае, составлявшем некогда исключительное наследие человеческого рода...

Вот и теперь странными и едва ли для самой прихотливой художественной фантазии воспроизводимыми группами рассыпались переглазовские мальчишки и девчонки по громадному полотну деревенского вида, который вместо золотой рамы был увит с одной стороны зелеными кудрями старого леса, а с другой — его окружали река и дорога, завистливо соперничавшие между собою блеском своих уборов, которые по целым дням, с завидным искусством и щедростью, устраивало для них солнце, посылая целые полки лучей играть и отражаться как в бесчисленных кристалликах, рассыпанных по песку дороги, так и в речных волнах.

Все жизненные проявления сосредоточились теперь в фантастической рамке, облегавшей картину, и забунтовали в ней: вот два босых,

полуодетых мальчугана с неукротимой храбростью налетают друг на друга, напоминая своими сшибками азартные бои петухов; вот во все свое широкое деревенское горло орет один из тех маленьких ребят, о которых говорят, что они еще под стол пешком ходят. С поразительною настойчивостью старается перевалить он свое толстое туловище через высокий порог в прохладные сени, и нет никого, кто бы помог его усилиям — спрятать более тяжелую часть тела в холодок, куда он уже благополучно успел пристроить свою головенку. Взнузданные пестрыми поясами, по всем направлениям картины несутся лихие тройки и пары, взмахивая белокурыми вихрами; с ними с большим успехом соперничают одноконные всадники, с страшным, впрочем, трудом успевавшие ладить с своими кровными, самых знаменитых в перелазовских лесах пород, скакунами, каковы, напр., породы: березовые, вязовые, дубовые или даже кленовые. Скачки эти наполняли село необыкновенно шумливым одушевлением: оно было до такой степени заразительно, что им всецело были объяты не только собаки — эти всему свету известные рыскуны, но, что случается очень и очень редко, ему поддалось даже множество меланхолических телят, трусливых овец и глупых тупорылых поросят. Вздымая по улицам непроглядные облака крутящейся пыли и оглашая их неистовыми криками, орды этих существ, ослепленные соперничеством, временами со всего размаха сшибались друг с другом, и тогда, как в настоящих битвах, на уличную траву упадали громко взывавшие о помощи трупы.

Конечно, знатоками военного дела подмечена некоторая разница между трупами, валявшимися на нашей картине, и теми, которые кровавыми грядами раскладываются на полях битв штыковыми и пушечными молниями; но, по моему мнению, разница эта очень незначительна: здесь и там царили одинаковый азарт и одинаковые страдания. На полях битв и деревенской улице одинаково можно было встретить людей, которые с дикими воплями летели друг на друга, сверкая глазами, либо залитыми кровью, либо наполненными каким-то тусклым, свинцового цвета, туманом, что в равной степени характеризует людскую свирепость; здесь и там, при взаимных сшибках, как в больших, так и в маленьких головах сначала раздавался какой-то, расслабляющий организм, словно бы отдаленный звон, который не звучит, а непрерывными тонкими струйками льется с каких-то недосягаемых, беспомощно колеблющихся высот; потом чувствовалось головокружение и, наконец, неодолимое желание упасть поскорее и уткнуться лицом в землю, что обыкновенно исполняется на той и другой сцене неупустительно, так как представления подобного рода с самого начала мира разыгрываются единственно для того только, чтобы человечество знало, что оно не более, не менее как — «земля еси — и в землю пойдешь...»

Эта шумливая частность сельской картины, которая в одно и то же время кипела необузданной жизненностью и наводила на печальные думы о роковом конце этой жизненности, сглаживалась другою частностью, хотя несколько

сдвинутою с главного плана, но тем не менее настолько приметною, что в ней-то именно всякий и видел главное содержание картины — эту мирную, сельскую пастораль, роскошно убранную сверкающим золотом солнца, прихотливою зеленью трав и дерев и обвеянную мягкими крыльями ветра, дышащего на деревни благовониями, которые он собирал с дальних полей, лесов и рек. Безучастная к буйному движению, совершавшемуся на улице, стоит гнилая избушка, смазанная глиной и подпертая кольями. Ее осеняют многолетние, покрытые густой листвой вязы и березы. В тени этих деревьев сидит московская ученичка, окруженная всеми радостями, о которых мечтала она в угрюмой мастерской: неустанная работница, она и теперь ковыряет иголкой в каком-то яркоцветистом лоскутке, в который она по временам облачала маленькое, неопределенного пола, существо, усаженное подле нее на серой мешковине. Перед маленьким существом с беззаветною щедростью разложены были все сокровища, которые мастеричка успела собрать по помойным ямам столицы во время своего жительства в ней и которые она так заботливо сохраняла в лубочном сундучишке. Все, решительно все, без малейшего сожаления, было вынуто мастеричкой из сундука и принесено в жертву этому голубоглазому, с шелковистыми белокурыми волосенками идолу, вальяжно расположившемуся на серой мешковине около гостьи-сестры и, видимо, необыкновенно восхищенному как ее беспрестанными ласками, так равно и несказанною прелестью принесенных из Москвы игрушек.

Как только что распустившийся розон, раскраснелось деревенское, непривычное к городским чудесам, дитя. Оно целыми горстями подбрасывало вверх хрустальные подвески, перламутровые пуговицы и бронзовые запонки, любуясь переливавшимися в них солнечными лучами; целовало и агукало фотографии каких-то безглазых и даже совсем безлицых госпож и кавалеров и, наконец, убирало кота Ваську в обрезки всевозможных цветов и немилосердно теребило его пушистую шерсть, когда видело, что Васька, как существо, предпочитающее свой собственный, хотя и сероватый, костюм мишуре столичных обносков, принимался освобождать себя от них и лапами, и усатою мордою.

Таким образом, под развесистыми вязами и березами, осенявшими гнилую избушку, приютилась как бы какая обитель здорового и беззаботного детского смеха. По временам, к еще большему веселью, в обители этой раздавались пронзительные звуки, которые братишка ученички извлекал из обломков детской гармоники и которые, на потеху ребят, имели свойство до последней степени раззадоривать природную живость черной Жучки. Не имея возможности в деревне часто слышать хорошую музыку, она безумно восторгалась визжанием ржавого железного обломка, то до самозабвения, с зажмуренными глазами, подвывая его протяжным тонам, то до одури прыгая и кружась в то время, когда мальчик ускорял темп своих раздирательных мотивов.

Зачем бы, казалось, из-под густых и зеленых куп, укрывающих подобные счастливые обители,

разлетаться деревенским птенцам по разного рода городским мастерским?..

Видит мастеричка мать свою, которая, пригорюнясь, сидит подле нее, — примечает она по ее тусклым, наполненным слезами глазам, что сердце ее неотступно гложет та же скорбная материнская дума, что зачем это она своих маленьких птенчиков отпускает на чужую, неласковую сторонушку?

Поняла дочь эту безмолвную думу своей матери и, понявши, с горькими слезами бросилась на шею к ней и принялась умолять ее:

— Матушка, милая! Не пущай ты нас с братишкой в Москву, золотая! Бьют там нас, тиранят всячески, пить-есть не дают...

— Бедны мы с отцом-то, босы, наги и голодны, — беспомощно шептала мать в ответ на дочерние просьбы. — Не нужда-то наша бы ежели, отпустили ль бы мы вас от себя — родненьких?

— Анка! — крикнул в это время грубый голос прямо над ухом девочки, углубившейся с своими думами в лубочный сундучишко. — Бежи скорее в кабак к Толстопятке. Скажи ему: мастер, мол, наш, Петр Звонов, шестой день в бутылочной болезни лежит, так штобы ты поскорее полштоф в долг присылал ему на лекарство. Ну, ройся, копайся, бери шлею — запрягайся! Жива-а!

Как бы испугавшись этого дикого окрика, живо исчезло куда-то из глаз мастерички ее веселое Перелазово; бесследно пропали его светлые небеса, с светлой рекой, с зелеными лесами и полями, — гнилой родной избушки также нет

более. На месте всего этого стоит теперь перед девочкой ее убогий сундучишко, с открытой крышки которого грозно смотрит на нее портрет черноусого персидского шаха и так же сердито, как мастер Петр Звонов, кричит на ребенка, быстро, однако, сам прячась в глубину сундучишка:

«Живо беги, девчонка! А то я сейчас тебе голову саблей прочь отсеку!..»

КОММЕНТАРИИ

НРАВЫ МОСКОВСКИХ ДЕВСТВЕННЫХ УЛИЦ

Печатается по изданию: «Жизнь московских закоулков», изд. 3-е, М. 1875, стр. 294 — 324, с исправлениями по изданию: «Московские норы и трущобы», изд. 2-е, Спб. 1869. Впервые было напечатано в «Московских губернских ведомостях» (1864, неофициальная часть, №№ 4 и 5) под псевдонимом *Иван Сизой* и со следующим эпиграфом, который затем в отдельных изданиях был выброшен автором:

По Москве девка гуляла,
Красоту теряла,
Красоту она теряла,
В острог жить попала!..

Из народной песни.

Воспитательный дом — в царской России приют для внебрачных (тогда называвшихся «незаконными») детей. Открытые при Екатерине II в Петербурге и Москве, воспитательные дома просуществовали до Октябрьской революции. Кроме столичных, были еще воспитательные дома в губернских городах при так наз. «приказах общественного призрения». Уход за детьми в воспитательных домах был чрезвычайно плох, смертность доходила в столицах до 75 — 80%, а в губернских воспитательных домах нередко дети вымирали все поголовно. В 1828 г. губернские воспительные дома были закрыты, а из столичных домов детей стали отдавать на воспитание крестьянам в деревни (в деревнях этих детей называли «шпитомками», «шпитатами»), где они оставались, если, конечно, выживали, до 21 года.

Фардек (от нем. слова Verdeck) — верх, навес у пролетки.

Глясе — лоснящаяся шелковая материя.

САМОВАР ИСАЯ ФОМИЧА

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 2-я, стр. 1 — 27. Впервые было напечатано в журн. «Развлечение» 1864, №№ 8 и 9, с подзаголовком: «Степные нравы».

Вельми (церк.-слав.) — весьма.

Градской голова — в дореволюционной России председатель городской управы, а в небольших городах заменявший единолично управу, выбиравшуюся обычно из среды домовладельцев, купцов и чиновников и представлявшую их интересы.

Холодная — помещение для арестованных при волостном правлении.

Сибирка — то же, что и «холодная», а также вообще место заключения в дореволюционной России (народное название).

Городническое правление — канцелярия городничего, правителя провинциального города в дореформенной России.

Целовальник — приказчик-сиделец в кабаке, в питейном заведении. В XVI — XVII вв. так назывались разные должностные лица, выполнявшие свои обязанности по присяге (целовали крест), в том числе были между прочим и сборщики питейных доходов, а также сидельцы в царских кабаках. Отсюда название целовальника перешло и на кабацких приказчиков вообще, которые хотя и не присягали хозяину, но были на отчете.

Охреян — неотесанный, темный мужик.

Шугукать — кричать.

Галман — олух, невежа.

Стряпчий — чиновник в дореформенном царском суде, помощник прокурора, выступавший по делам казны или по уголовным делам. Были уездные и губернские стряпчие. Стряпчими также назывались в дореволюционное время (до 60-х гг.) поверенные или ходатаи по делам.

Прикаторшить, каторшить—бить, корежить, волочить, гнуть, ломать и т. п.

ГАЗЕТА В СЕЛЕ

Печатается по изданию: «Степные очерки», изд. 2-е, кн. 2-я, М. 1874, стр. 180 — 200. Впервые было опубликовано в «Будильнике» 1865, №№ 6 и 7, стр. 21 — 23 и 25 — 26, под заглавием: «Газета (Степные нравы)».

Кошшунник — т. е. кощун или кощунник (насмешник, хулитель, ругатель предметов, признаваемых священными).

Требник — церковно-богослужебная книга, содержащая описание обрядов и молитвословия во время совершения так называемых *треб:* крещения, причащения, миропомазания и т. д.

Вяхирь — плетеная кошолка, котомка.

ВЕРНОЕ СРЕДСТВО ОТ РАЗОРЕНИЯ

Печатается по изданию: «Жизнь московских закоулков», изд. 3-е, М. 1875. Впервые напечатано в журн. «Современник», т. 106, 1865, № 1, стр. 301 — 330, под тем же заглавием, но с подзаголовком: «Очерк из московских нравов».

Сорок сороков — т. е. 1600 (50 × 40), — столько считалось, по преданию, церквей в Москве, хотя в действительности их было меньше.

Апокалипсический ангел — один из образов новозаветной библейской книги «Апокалипсис» (Откровение).

Молодцы — в купеческом быту название приказчиков, сидельцев в лавке, половых в трактире и т. п.

Иссоп — южное пряное растение, из которого добывается душистое эфирное масло.

Елей — масло.

Le comte de Petrovo - Koudrjascherskу — граф Петрово-Кудряшевский.

Геркулес — латинское имя героя древнегреческих мифов *Геракла,* отличавшегося необычайной силой и совершившего 12 подвигов. Изображался в виде мощного атлета с палицей, луком и львиной шкурой.

Вахмистр — унтер-офицерский чин в кавалерии, конной артиллерии и у казаков.

Сатиры — в древнегреческой мифологии лесные и полевые полубоги, изображавшиеся с козлиными ногами, ушами и хвостом, играющими на флейте и преследующими своей любовью нимф (женские духи лесов, гор, водных источников и т. д.).

Суконные бани — бани под таким названием действительно существовали в Москве в 60-х и 70-х гг. на берегу Москвы-реки, близ Каменного моста (см. *Иван Белоусов*, «Ушедшая Москва», стр. 28 и сл.).

Эллада — древнее название Греции.

Фанаберия — спесь, гордость, надменность.

Иов — герой нравоучительной библейской ветхозаветной «Книги Иова», образ человека, покорно переносящего страдания и смотрящего на них как на испытание, ниспосланное богом.

Летаргия — состояние спячки, продолжающейся от нескольких часов до нескольких недель, при чем жизненные функции иногда понижаются до такой степени, что человек кажется мертвым.

Преферанс (франц.) — преимущество, предпочтение.

Шереметев — имеется в виду граф Д. Н. Шереметев, который содержал церковный хор под управлением Г. И. Ломакина, пользовавшийся в свое время (40—50-е гг. прошлого века) большой известностью.

Бурбон — в дореформенной царской армии выслужившийся из нижних чинов офицер. Прозвище происходит от названия королевской династии Бурбонов, долгое время, в лице своих различных ветвей, правивших Францией, Италией и др. государствами Европы. После войны 1812 г. так называли в русских войсках наиболее невежественных, грубых и жестоких офицеров. В переносном смысле *бурбон* — грубый солдафон.

Майор — военный чин, средний между капитаном и подполковником.

Скимн (греч.) — львенок.

Тать — вор.

Стогны — улицы и площади города.

Даде и отъя — дал и отнял.

Вознегудовать — заболеть.

Сосуд скудельный (от *скудель* — глина, прах) — глиняный сосуд, в переносном смысле — непрочный, хрупкий.

Ристание — скачка, езда.

Фуляр — платок из шелковой материи.

Аки былие — как трава.

Лифантерия — инфантерия, пехота.

Московская дума — орган городского самоуправления в дореволюционной Москве, члены которого («гласные») выбирались из среды домовладельцев, купцов, чиновников и представляли их интересы.

БЕСПЕЧАЛЬНЫЙ НАРОД (Шоссейные типы, картины и сцены)

Печатается по изданию: «Горе сел, дорог и городов», М. 1874, стр. 263—338. Впервые было помещено в журн. «Дело» 1869, № 1, стр. 37—77, и № 2, стр 80—116.

Бердыш — старинное оружие в виде топора с длинной рукояткой и копьем на ее конце.

Просук — поросенок.

Пастораль — произведение на тему из пастушеской жизни. Здесь — ирония.

Трынка — монета в 1 коп. серебром.

Пассия (франц.) — страстность.

Реплика — в театральной пьесе возражение, ответ, следующий за последними словами другого действующего лица. В данном случае — последние слова.

Рацея — в данном случае речь персонажа (в ироническом смысле).

Бурнус — верхняя одежда в виде накидки.

Шлафор — спальный халат.

Бурдусовое — искаженное «бурдесуа» (франц. bourre de soie), шелковое, сделанное из ткани из отбросов шелка.

Вавилонский плен — имеется в виду пленение иудеев вавилонским царем Навуходоносором (в 588 или 587 г.

до нашей эры) и разрешение персидского царя Кира (в 536 г. до н. э.) вернуться им обратно в Иудею.

Monsieur, vous êtes bien bon! Parbleu!.. Pour la première fois!.. Mais diable!. — Месье, вы очень добры! Ей-богу! Для первого раза!.. Но чорт!

Ce sera des fleurs... des fleurs!.. Mais vous comprenez?.. — Это будут цветы... цветы... Но вы понимаете?..

Mon Dieu, mon Dieu! Quelle infamie! — Боже мой, боже мой! Какой позор!

George, viens içi! Regarde, mon petit, que fait ton papa!.. Oh, comme nous sommes malheureux... — Жорж, иди сюда! Смотри, мой милый, что делает твой папа!.. О, как мы несчастны!..

Oh, mon Dieu! mon Dieu! George, mon pauvre enfant... — О, боже мой, боже мой! Жорж, мое бедное дитя...

Ажитация (франц. agitation) — волнение.

Макончик — макон, один из видов виноградных вин.

Venez, venez, garçons! Tra-la-la, tra-la-la! — Идите, идите, мальчики! Тра-ла-ла, тра-ла-ла!

Du hast Diamanten und Perlen... — У тебя алмазы и перлы (Начало одного из стихотворений Гейне, положенного на музыку).

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СЛУЧАЙ (Очерк)

Печатается по изданию: «Горе сел, дорог и городов», М. 1874, стр. 339—393. Впервые было напечатано в журн. «Дело» 1869, № 10, стр. 164—217.

Речитатив — итальянское слово, означающее мелодию без равномерного ритма; это своего рода разговор, фраза или речь, произносимые нараспев.

Дядя Влас — имя сборщика на построение храма в стихотворении Н. А. Некрасова под заглавием «Влас» (1854).

Шиньон (франц.)—пучок в женской прическе на затылке, большею частью из чужих волос.

Патрон — покровитель, заступник, а также хозяин, глава предприятия. Здесь, конечно, употреблено в ироническом смысле.

Mon cher — дорогой мой, любезный.

Ладоцкий лед — лед из Ладожского озера, из которого вытекает река Нева. Петербург (ныне Ленинград) расположен в устье этой реки.

Приказный — чиновник, служивший в приказе, в суде, в палате в дореформенное время. *Повытчик* — столоначальник в дореформенное время (от слова *выть* — доля, часть чего-либо, в данном случае — часть службы).

Пугач — Пугачев Емельян Иванович (1744—1775) — вождь крестьянской революции, названной по его имени *пугачевщиной* (1773—1775).

Marci Tullii Ciceronis orationum caput secundum — речи Марка Туллия Цицерона, глава вторая. *Цицерон* (106—43 гг. до нашей эры) — римский политический деятель, известный оратор и плодовитый писатель по риторике и философии. На уроках латинского языка в гимназиях и духовных семинариях переводились между прочим и его речи.

Lictor — ликтор — так назывались в древнем Риме служители из почетной охраны высших должностных лиц, носившие пучки розог с топорами посредине. Здесь, в быту семинарии, имя это применено просто к служителю, занимавшемуся поркой семинаристов.

Illustrissimus dux — знаменитейший вождь. *Pahanissimus* — деревенский житель, деревенщина (лат. слова).

Шевронист — носящий шеврон, т. е. знак отличия нижних чинов быв. царской армии в виде галуна или тесьмы на рукаве мундира и шинели.

Экзекутор — в дореволюционное время чиновник при канцелярии или присутственном месте, на котором лежали административные и хозяйственные обязанности.

«Приключения английского милорда Георга» — очень распространенная в дореволюционное время лубочная «Повесть о приключениях английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фредерики-Луизы», написанная известным лубочным писателем Матвеем Комаровым еще в 1753 г. и впервые напечатанная в 1782 г.

Serva ordinem et ordo servabit te — сохраняй порядок и порядок тебя сохранит.

Perfectum — в латинской грамматике одно из прошедших времен глагола.

Supinum — форма латинского глагола.

Amice — друг.

Консистория — в дореволюционной России коллегиальный орган при епархиальных архиереях, подчиненный архиерею, для церковного управления и суда.

Греческий завет — заветом называются у христиан книги еврейской библии (так называемый ветхий завет) и евангелие (новый завет). Греческий завет—библия или евангелие на греческом языке.

Fratrem, vel inimicum in te videndum sum — друга или недруга должен я видеть в тебе?

Период — соединение нескольких предложений в одно ритмическое целое, выражающее законченную мысль. В настоящее время периодическая речь употребляется все реже и реже. Периоды разделяются на ряд видов. Примеры упомянутых в тексте видов: а) *причинный:* не плюй в колодец — пригодится воды напиться; б) *уступительный:* вору дай хоть миллион, он воровать не перестанет; в) *относительный* — известное стихотворение Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива».

Перед Святой — т. е. перед пасхой.

Ямб, хорей, дактиль, анапест — виды стоп (ритмических частей) стиха в стихосложении. В тоническом стихосложении *ямб* — стопа из первого неударного и второго ударного слога; *хорей* — стопа из первого ударного и второго неударного слога; *дактиль* — стопа из первого ударного и второго и третьего неударных слогов; *анапест* — стопа из первого и второго неударных и третьего ударного слогов.

«Мертвые души» (1842) — произведение Н. В. Гоголя (1809—1852).

Чичиковская тройка, Чичиков, Петух — образы и персонажи «Мертвых душ».

Жукетец — табак фирмы Жукова.

«Клятва при гробе господнем» — роман Н. А. Полевого (1796—1846), журналиста, критика, писателя и историка. В его романах и повестях буржуазия идеализиро-

валась и выставлялась добродетельной в противоположность порочному дворянству.

«*Последний Новик*», «*Басурман*» — исторические романы И. И. Лажечникова (1792—1869). Национализм, борьба с иноземными влияниями, антидворянские настроения, ненависть к крепостничеству — вот основные мотивы романов Лажечникова.

«*Рославлев*» — исторический роман М. Н. Загоскина (1789—1852). В своих романах Загоскин идеализирует русскую старину и дворянские патриархальные нравы и проводит национально-патриотические тенденции.

«*Разрозненные томы из библиотеки чертей*» — цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (глава 4-я, строфа XXX).

Руслан и Людмила — герои поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

Кавказские пленники — имеется в виду поэма Пушкина «Кавказский пленник».

Дубровский — герой повести Пушкина «Дубровский».

Дюма Александр (Дюма-отец) (1803—1870) — французский романист и драматург. Известен своими историческими романами: «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», «Еще десять лет спустя, или виконт де Бражелон» и мн. др.

Сильвио — герой повести Пушкина «Выстрел» (входит в состав «Повестей Белкина»).

Ремонтер — офицер, командировавшийся из полка для закупки лошадей для кавалерии.

Бреттер — дуэлист, задира, забияка, навязывающийся на поединок.

«*И скучно, и грустно, и некого в карты надуть*» — пародия Н. А. Некрасова (1844) на стихотворение Лермонтова «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды».

«*На проклятые вопросы дай ответы нам прямые*» — цитата из стихотворения Гейне «Брось свои иносказанья» в переводе М. А. Михайлова («Lass die heil'gen Parabolen).

Княжна Мери — героиня повести Лермонтова «Княжна Мери», входящей в состав «Героя нашего времени».

Диккенс Чарльз (1812—1870) — знаменитый английский писатель.

Теккерей Вильям-Мэкпис (1811—1863) — английский писатель, автор романов «Ярмарка тщеславия», «Ньюкомы» и др.

Домби, Флоранс, Вальтер, Куттль — герои романа Диккенса «Домби и сын».

Ребекка Шарп — героиня романа Теккерея «Ярмарка тщеславия».

Гейне Генрих — знаменитый немецкий поэт, критик и публицист (1797—1856).

Уэллеры — персонажи романа Диккенса «Записки Пикквикского клуба».

Пикквик — герой романа Диккенса «Записки Пикквикского клуба».

ХОРОШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ (Очерк из московских нравов)

Печатается по изданию: «Горе сел, дорог и городов», М. 1874, стр. 479—510. Впервые было напечатано в журн. «Отечественные записки», т. 187, 1869, № 12, стр. 327—354.

В объятиях Морфея — во сне, спать (Морфей в греч. мифологии бог сна).

Оттоман — турецкий диван.

Вакштаф — сорт табака.

Гинекей (греч.) — женская половина в доме, женская комната.

Амальгама — сплав металла с ртутью, которым покрывается задняя сторона зеркального стекла.

Камергер — один из придворных чинов в дореволюционной России.

Статский советник — один из гражданских чинов в дореволюционной России.

Обер-форшнейдер — один из придворных чинов в царской России.

Титуляр — титулярный советник, один из чинов царской России.

Агаряне — собственно старинное название мусульман. В данном случае персонаж употребляет это слово без всякого смысла, как прибаутку.

Янычары — особая часть войск в Турции времен султаната (XIV—XIX вв.). Комплектовалась из военнопленных, затем из христианских мальчиков, взятых в качестве дани от христианских народов и насильно обращенных в ислам. Являясь своего рода султанской гвардией, с течением времени янычары стали опасны для самих султанов. Были частью распущены, частью уничтожены Махмудом II в 1826 г.

Фехтмейстер — учитель фехтования.

МОСКОВСКИЕ УЛИЧНЫЕ КАРТИНЫ

Печатается по изданию: «Горе сел, дорог и городов». М. 1874, стр. 441—475. Впервые опубликовано в журн. «Дело» 1870, № 3, стр. 85—117, под заглавием: «Из московских нравов».

Стесал косую — выпил косушку водки (то есть полбутылки).

До француза — т. е. до войны 1812 г., когда в Россию вторглись армии Франции и других государств Европы во главе с Наполеоном.

Вавилон — столица древней Вавилонии (на месте нынешней Месопотамии); был громадным городом, торгово-промышленным центром страны; остались развалины. По библейскому преданию, при постройке вавилонской башни («вавилонское столпотворение») произошло «смешение языков». Отсюда «Вавилон» в переносном смысле — смешение, беспорядок, а также огромный город с населением разных племен и классов. В устах персонажа «Вавилон», согласно библейской традиции, означает также вместилище роскоши и разврата.

Куншт (нем. Kunst) — гравюра. Здесь в ироническом смысле.

Бахус или *Вакх* — в греческой и римской мифологии бог вина и экстаза.

«Развлечение» — еженедельный литературно-юмористический журнал, издававшийся в Москве с 1895 до 1917 г.

Бурнус — верхняя одежда в виде накидки.

МОЕ ДЕТСТВО

Печатается по изданию: «Горе сел, дорог и городов», М. 1874, стр. 101—112. Впервые было напечатано в журн. «Неделя» 1870, № 1, стр. 23—29, с подзаголовком: «Из степных очерков».

Четьи-минеи — сборник «житий святых» православной церкви.

Возглагола (церк.-слав.) — заговорил.

Авва — отец.

Отвеща (церк.-слав.) — отвечал.

Вскую шаташася, бесе! — зачем таскался, бес!

Патрология — церковная наука об отцах церкви, обнимающая биографические и библиографические работы о них, а также издания их сочинений. Здесь под «патрологией» разумеются «жития святых».

Приидох вои мнози — пришло много воинов.

Взяша — взяли.

Секоша — секли, рубили.

Десница — правая рука.

Иже — который.

Априллий — апрель.

Октомврий — октябрь.

Имать — имеет.

Фольговая — покрытая фольгой, т. е. тонкими латунными или оловянными листками, иногда посеребренными, позолоченными или лакированными.

БЕСПРИЮТНЫЙ

Печатается по изданию: «Горе сел, дорог и городов», М. 1874. стр. 151—184. Впервие напечатано в журн. «Вестник Европы» 1870, № 5, стр. 104—131, с подзаго-

ловком: «Шоссейные типы, характеры, картины и сцены с натуры».

Чапан — кафтан в виде халата или поддевки с сборами.

Фидьмаршал — т. е. фельдмаршал, высший военный чин в буржуазных армиях.

Литенант — т. е. лейтенант, офицерский чин.

Кама — камень.

Фалбара — складка сзади сюртука.

Дворник — в данном случае содержатель постоялого двора.

Публикат — объявитель, разглашатель.

ДЕРЕВЕНСКИЕ КАРТИНКИ

Печатается по изданию: «Горе сел, дорог и городов», М. 1874, стр. 113—147. Впервые было опубликовано в журн. «Неделя» 1870, № 25, стр. 822—830, № 26, стр. 853—867, № 27, стр. 891—907, № 28, стр. 930—934.

Псалтирь — библейская ветхозаветная книга, содержащая так называемые *псалмы*, древне-еврейские религиозные песни, приписываемые главным образом легендарному царю Давиду.

Четьи-минеи — см. примеч. к очерку «Мое детство».

«*Путешествие*», или, как называли в древней и Московской Руси, «хождение», *Трифона Коробейникова* известно с конца XVI в., когда действительно было из Москвы снаряжено на Восток посольство для раздачи милостыни в разных городах, в том числе и в Иерусалиме; в этом посольстве участвовал между прочим и Коробейников, которому и приписано описание самого «хождения». До нас дошло свыше 200 списков этого «хождения» и более 40 печатных изданий.

«*Перед французом*», т. е. перед войной 1812 г.

Окружной — начальник полиции в округе.

Термаламовый, или *тармаламовый* — из плотной шелковой или полушелковой материи, идущей на халаты (тармалама).

Жукет — табак фирмы Жукова.

«Как в старину обращались с картофелем» — в этих словах окружного содержится напоминание о противодействии населения введению картофеля в огородную культуру в России. Картофель в России появился в начале XVIII в. Население его называло «чортовым яблоком». В 1830—1842 гг. его стали распространять принудительными мерами, причем дело дошло до картофельного бунта.

Ботеть — тучнеть, добреть, жиреть.

Ерофеич — горькая водка, настоенная на травах.

ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬЯНА (Эпизод из романа «Сны и факты»)

Впервые напечатано лишь после смерти Левитова в 1879 г. в журн. «Свет», № 11, стр. 274—291; по этому тексту здесь и воспроизводится.

Этот эпизод был написан Левитовым еще в 1870 г., что видно из письма его к М. М. Стасюлевичу от 5 октября 1870 г. «Рекомендую вашему вниманию, — писал он, — прилагаемую при письме главу. Этот эпизод назван «Говорящей обезьяной» потому, что человек, выведенный в 1-й главе, в момент его сумасшествия, за отсутствием людей, покупает обезьяну, которая говорит ему вещи, совершенно его удовлетворяющие и потому дающие ему возможность умереть более или менее счастливо».[1]

Левитов намеревался написать большой роман. 4 мая 1870 г. он пишет NN:

«Теперь пишу большой роман, — написал листов 7. Остается бездна, но к зиме он кончен будет. Называться будет, кажется, «Сны и факты», а может быть: «Затихшая буря», — верно еще не знаю».[2]

В начале августа того же года Левитов рассказывает своему приятелю, что задуманный им роман подвигается вперед и что уже первую главу он совсем окончил; в выборе заглавия он остановился на первом: «Сны и факты». Эпиграфом он возьмет стихи Некрасова:

[1] М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. V, Спб. 1913, стр. 259.

[2] *Ф. Нефедов.* А. И. Левитов. Собр. соч. Левитова, изд. К. Т. Солдатенкова, М. 1884, т. I, стр. CXII.

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.[1]

Первую главу задуманного романа Левитов, как мы указали выше, отослал М. М. Стасюлевичу, редактору-издателю «Вестника Европы». В письме к нему от 13 октября 1870 г. Левитов характеризует посланную главу и намечает план-конспект следующих глав романа:[2]

«Длиннота монологов 1-й главы меня глубоко озабочивала. Я хотел в ней представить человека крепкого и физически, и морально, который сам сознает неизбежность своего сумасшествия и причины этой неизбежности. Я хотел было оживить длинноту этих монологов частыми входами в комнату к молодому человеку сестры и матери — и, поступая с этою целью, я испачкал много бумаги и увидел, что я ошибся. Сестра и мать своим присутствием всегда выводили этого человека, *готового отдать душу*, чтобы никого, никогда и ничем не обеспокоить (это одно из оснований очерка), из его мира мыслей и воспоминаний на действительную почву — и, следовательно, сумасшествия не получалось. И вот я решился послать главу с ее длинными, характеризующими впрочем сумасшествие, монологами, жертвуя беллетристической формой нескольким мыслям, которые иногда показываются в монологах, к сожалению, только слишком маскированные.

Пославши главу и долго думав об ней, я пришел к убеждению, что ее монотонность оживить можно, что я и сделаю в оставшейся у меня черновой. Я впущу к молодому человеку лица, воображаемые им, и заставлю его говорить с ними, злиться на них и т. д. все равно как бы с лицами действительными.

Меня не затруднит никакая переправка, потому что я помню, как вы сказали мне однажды: не спешите.

2 глава заключается в спокойной и, так сказать, эпической характеристике свойств, с которыми он родился

[1] *Ф. Нефедов.* Цит. соч., т. I, стр. CXIV.

[2] М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. V, стр. 250—252.

и воспитывался, в его раннем понимании окружающих его вещей, в раннем противоборстве своей обстановке и в рисовке обстановки. Тот город и тот человек, к которому он писал, так и останутся в темноте, как они сами, так и причины, заставившие молодого человека жить в северном городке и сдружиться там с кем-то. Главное в этой главе будет след.: испуганный и измученный до последней степени и до осязательной ясности представлениями, роящимися в заболевшей пьянством (это еще один из мотивов очерка) голове, молодой человек, наконец, поступается всем, что составляло его главный жизненный интерес, и уступает своей матери, которая упрашивает его итти к дяде-генералу и просить у него службы. Она говорит ему: о чем ты беспокоишься, Николушка, — я решительно не понимаю! Что тебе за дело до людей? Ведь они для тебя ничего не сделали. Съезди ты к дяде, — он мне давно говорил об этом. Кстати и предлог для поездки есть — получишь награду за покойника-отца, выданную после его смерти. Дядя потому и не выдает ее, что ты у него не бываешь. Больной еще, молодой человек думает: в самом деле, что мне они? Есть из-за чего биться и страдать так? Вообще он сдается, *но больной.*

Этой главы у меня написано много; но теперь я оторвусь от ней для исправления первой.

В 3-й главе он едет к генер. — и тут между ними происходит сцена, которая окончательно их рассоривает: как люди воспитанные, вслух они говорят друг другу всевозможные любезности, а внутри их, как у людей сметливых, ведется разговор другого сорта: по жестам, по улыбкам они видят, что отношений их не примирит ничто, что все в них радикально-противоположно. Злой выходит от дяди молодой человек и на него и на свою слабость, которая заставила его пойти к нему. Тут следуют маленькие главки, описывающие предметы, которые раздражают его все больше, это 4, трактир Доминика, куда он, пересиливши свою злость и притворяясь равнодушным, зашел с одним приятелем по университету, зная, что он шпион (я это слово как-нибудь замажу).

5. Встреча на Невском с женщиной, которая стала негодяйкой и которой он некогда отдал все, что только мог отдать.

6. Уже по дороге домой, в одном переулке, где по преимуществу живет рабочая бедность, он встречает мужика, который тащит золоченую киоту от иконы на грязном обрывке веревки. За ним идет мальчик — и плачет. Художник останавливает мальчика вопросом: о чем ты плачешь? Мальчик говорит: тятенька бога продал — и меня послал с мужиком на Апраксин расчет за него получить. Нам есть нечего.

Смеется этому художник и говорит: ну теперь дошло до того, что уж и бога продали — и молиться некому, — и идет с мальчиком к его отцу. Тут он спускается в самые глубокие приюты бедности, с которою, с неприметною постепенностью, и начинает оргировать. Разные типы бедности, *их понимания, совершенно противоположные его пониманиям*, все больше и больше его раздражавшие и заставлявшие пьянствовать. Наконец, в самый разгар оргии на двор приходит шарманщик, русский, шельма страшная, и у него-то художник покупает обезьяну, вообразивши, что она — именно тот человек, которого ему недоставало. Свои собственные грезы почти в бесчувственном состоянии он принял за окончательное разрешение обезьяной всех своих мучительных вопросов.

Эпилог: ранним утром он уже лежал на Петергофском шоссе, в грязной канаве, разутый и раздетый, — одна рука у него еще в перчатке, как осталась от визита к дяде. Картина шоссе. Пропасть народа и экипажей. Все эти шоссейные толпы в его голове представляются чем-то стройным и необыкновенно согласованным, обязанным своею стройностью и своим согласием тому другу, которого он вчера приобрел.

Почти совсем умирая, он при виде масс, увеличенных его воображением, радостно хохочет, хлопает в ладоши, кричит: браво! И громко, в бреду, поет что-то...

Многие из шоссейной публики, остановившись, безучастно смотрят на его странности, стараясь между тем разобрать, что именно он поет; но оказывается, что песня *не на нашинском* языке.

Какой-то молодец подхватил обезьяну к себе на руки и, выждавши, когда народу посвалило, стащил с художника последний сапог...

Вот и вся история в ее программе. Извините, что я затрудняю вас ею, но мне хотелось заранее вас с ней познакомить. Надобно думать, что я сумею сделать ее настолько гладкою, что ее некоторые, слишком неприкрытие странности никому не покажутся чересчур резкими... При некоторой опытности, это достигается...»

Задуманный роман глубоко волновал Левитова. Н. Златовратский, рассказывая о том, как ему однажды пришлось услышать чтение «Говорящей обезьяны» самим Левитовым, говорит: «Это было действительно странное произведение, совсем «не в обычном вкусе». Самая мысль — воспроизвести бред наяву больного, исстрадавшегося, измученного и измучившего себя человека, со всем ужасом кошмара и терзающих галлюцинаций, но галлюцинаций не фантастических, а полных мельчайших деталей жизненного, реального содержания, — эта мысль поразила нас смелостью и глубиной. Но нужно было видеть самого автора, чтобы понять, чего ему стоило исполнение задуманного. Иллюзия была до того полная, что нам действительно казалось, будто все рассказываемое им было не только раньше пережито им самим, но и переживалось теперь перед нами в том же виде мучительных галлюцинаций. Чем дальше читал Левитов, чем больше уходил он в самую глубь своего произведения, тем больше казалось нам, что созданные им образы действительно обступают его своей терзающей семьей и он ведет с ними подлинные разговоры».[1]

«Когда он кончил, — рассказывает Златовратский, — он был бледен, рукопись дрожала в руках, глаза были полны слез.

— Все это, как видите, еще отрывки, — заметил Ал. Ив. — Но мне тяжело приступать к обработке этой вещи... Я боюсь сам ее. Надо вон отсюда... Мне так и кажется, что изо всех углов и стен, отовсюду глядят эти тени и хохочут надо мной душу раздирающим смехом».[2]

Однако этот роман так и не был написан Левитовым так же как не был осуществлен и другой его замысел —

[1] *Н. Златовратский*, Из литературных воспоминаний. А. И. Левитов. «Почин», сборник. М. 1895, стр. 100.

[2] Там же, стр. 101.

роман из крестьянской жизни.[1] Условия жизни большинства писателей, вышедших из разночинной среды, были таковы, что «каждую едва написанную строчку им приходилось поскорее торопиться сбывать на литературный рынок из опасения завтра остаться без обеда».[2]

«Левитову еще труднее было писать свой роман, — говорит П. Засодимский, — ибо житейская обстановка его большею частью была в высшей степени не казиста, чтобы не сказать более... Получив деньги за повесть или рассказ, он начинал мечтать о романе, принимался пересматривать свои заметки и отрывочные писанья, разбросанные на лоскутках бумаги, но только что он успевал задуматься над «большою вещью», как оказывалось, что денег мало, что надо опять приниматься за «маленькую вещь».[3]

«В минуты откровенности, — рассказывает П. Засодимский, — под хмельком, Левитов, говоря о своем ненаписанном романе, плакат»... «Я оскорбил бы и его память, и самого себя, — добавляет Засодимский, — если бы хотя на миг допустил ту мысль, что в те мгновения плакала в нем водка. Нет, не водка... То плакал человек, глубоко несчастный и, как обыкновенно водится на свете, достойный лучшей доли; то плакало сердце, всю жизнь обливавшееся кровью, уже с ранней юности больно уязвляемое, гонимое и в гонении страдавшее... Трогательно было видеть Левитова в эти минуты, бывшие для него минутами вдохновения и самого высшего страдания. Он говорил о своем будущем романе, и видно было, как образы, давно уже созданные его воображением, образы, то смутные, то яркие, в те минуты придвигались к нему, так сказать, вплотную, теснились к нему... Шли годы, образы тускнели, и роман, казалось, уплывал от него дальше и дальше в какую-то туманную мглу, где пропадали все живые звуки и краски бледнели и исчезали безвозвратно».[4]

[1] *П. Засодимский*, Из литературных воспоминаний, «Русское богатство» 1881, № 12, стр. 116.

[2] *А. Скабичевский*, А. И. Левитов (его жизнь и сочинения), «Отечественные записки» 1877, № 6, отд. 2, стр. 172.

[3] *П. Засодимский*, цит. соч., стр. 120.

[4] Там же, стр. 116—117.

«Рассказывать, так просто сказки» — цитата из басни Крылова «Ворона и лисица». В басне вместо «просто» стоит слово: «право».

Улус — у монголо-татар юрта, орда, а затем территория, занятая каким-либо племенем.

Кобза — старинный струнный инструмент с округлым кузовом, с двумя и более (до 8) струнами.

Прометей — в греч. мифологии герой-титан, даровавший людям огонь, похищенный им с неба, за что он был прикован к скале на Кавказе, где ему коршун выклевывал печень. Был освобожден героем Гераклом.

Ламентационный, от слова «ламентация» (лат.) — жалоба, сетование. *«Ламентационные железы»* — т. е., собственно, «слезные железы», — употреблено с ироническим оттенком.

Спич (англ.) — застольная речь.

«Измененья милого лица» — слова Фета из его известного стихотворения: «Шопот. Робкое дыханье».

«Тише! О жизни покончен вопрос! Больше не нужно ни песенн, ни слез!..» — цитата из известного стихотворения И. С. Никитина (1824—1861) «Вырыта заступом яма глубокая».

Фальшфейер — бумажная трубка, начиненная горючим веществом (составом бенгальского огня); служит для подачи сигнальных огней на судах, для иллюминации и т. п.

Волок — в данном случае глухой непроезжий лес, из которого лето и зиму выволакивают срубленные бревна на полозках, на волоках.

«Кайдашка» — имеется в виду Кайданов Иван Кузьмич (1780 (год рождения точно неизвестен) — 1843), профессор Царскосельского лицея, составитель большого количества казенно-патриотических учебников по истории, которые в первой половине XIX в. имели распространение во всех школах. Имя Кайданова часто встречается у Белинского как синоним младенческого отношения к задачам истории.

«Лепажа стволы роковые» — стих из «Евгения Онегина» (гл. 6-я, строфа XXV) Пушкина.

Лепаж — известный в то время оружейный мастер.

Травиата — героиня оперы того же названия итальянского композитора Верди.

Гиперборейцы (греч.) — живущие за бореем (север, северный ветер, а также бог северных ветров по греческой мифологии). Так в древне-греческой мифологии назывался сказочный народ, живший на крайнем севере.

Видок — французский сыщик первой половины XIX в., был начальником парижской тайной полиции. Именем Видока был заклеймен Пушкиным известный Фаддей Булгарин (1789—1859), литератор, гнусный проходимец и доносчик, бывший при Николае I осведомителем так называемого «III Отделения собственной его императорского величества канцелярии» (высший орган государственной полиции).

Иуда Искариотский — один из учеников Христа, по евангельской легенде, предавший его; синоним предателя.

«*Ай жиловат, собака, не изорвется*» — слова из былины об Илье Муромце и Калин-царе.

Ауэрбахский погреб — 5-я сцена в 1-й части «Фауста» Гете, в которой Мефистофель предлагает компании гуляк вино из стола; вино затем вспыхивает.

Кукольван — лекарственное растение; из него между прочим приготовляется отрава на рыбу, которая делается от нее верховодкой.

Саисский юноша. — Саис — город в древнем Египте. Был местом культа богини Неит, которая была покрыта неснимаемым покрывалом. В честь богини происходили ночные празднества (мистерии).

СЕЛЬСКОЕ УЧЕНИЕ (Степная идиллия)

Печатается по изданию: «Горе сел, дорог и городов», М. 1874, стр. 201—259. Впервые напечатано в журн. «Вестник Европы» 1872, № 2, стр. 431—479.

Просук — поросук, поросенок.

Егорий — т. е. георгиевский крест, военный орден в дореволюционной России.

Жупел — горящая сера.

Дворник — содержатель постоялого двора.

Целовальник — приказчик, сиделец в кабаке. См. примеч. к очерку «Самовар Исая Фомича».

Чливый — щедрый.

Вакштаф — сорт табака.

1) Хлюст, 2) бардадым, 3) фалька (фаля) — термины в картежной игре в три листа, обозначающие: 1) три пиковые карты при осьмерке, 2) короля черной масти, 4) пиковую осьмерку, вообще карту, увеличивающую собою счет прочих карт.

ДЕВИЧИЙ ГРЕШОК (Из жизни московских мастериц)

Печатается по изданию: «Горе сел, дорог и городов», М. 1874, стр. 731—752. Впервые было напечатано в «Ремесленной газете» 1874, № 1, стр. 21—22, и № 3, стр. 69—70.

Эней — по древне-греческому сказанию троянец, участник Троянской войны, бежавший во время пожара Трои в Латинскую землю (Италия). Его приключения описаны римским поэтом Вергилием (70—19 гг. до нашей эры) в его поэме «Энеида».

Хорей — ритмическая часть (стопа) стиха из первого ударного и второго неударного слогов.

Трынка — трешник, три копейки на ассигнации, копейка серебром.

Пастораль — пастушеский жанр в поэзии. Пастораль в живописи — идиллическая сцена с пастухами и пастушками. Здесь употреблено в ироническом смысле.

Витберг Александр Лаврентьевич (1787 — 1855) — архитектор и живописец, создавший грандиозный проект храма - памятника Отечественной войны (1812) на Воробьевых горах и назначенный его строителем. Постройка не была выполнена вследствие злоупотреблений сотрудников и подрядчиков. По ложному обвинению в казнокрадстве Витберг был сослан в Вятку, где подружился с Герценом. Вернулся в Петербург в 1841 г.

Антука (франц. en-tout-cas) — зонтик, пригодный для защиты и от солнца, и от дождя.

Веницейская ярь — ярко-зеленая краска, содержащая медь.

Поэма про «старый дом» — имеется в виду стихотворение Я. П. Полонского «Затворница» (1846 г.):

В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой темной лестницей,
С завешанным окном.
Там огонек, как звездочка,
До полночи светил,
И ветер занавескою
Тихонько шевелил.
Никто не знал, какая там
Затворница жила,
Какая сила тайная
Меня туда влекла,
И что за чудо-девушка
В заветный час ночной
Меня встречала бледная,
С распущенной косой.
Какие речи детские
Она твердила мне:
О жизни неизведанной,
О дальней стороне...
Как не по-детски пламенно,
Прильнув к устам моим,
Она, дрожа, шептала мне:
«Послушай, убежим!
«Мы будем птицы вольные, —
«Забудем гордый свет...
«Где нет людей прощающих,
«Туда возврата нет...»
И тихо слезы капали,
И поцелуй звучал,
И ветер занавескою
Тревожно колыхал.

(Печ. по изданию: Полное собрание стихотворений Я. П. Полонского, изд. А. Ф. Маркса, Спб. 1896, т. I, стр. 166—167).

Стихотворение стало весьма популярной и широко распространенной песней; автор ее мелодии неизвестен.

НЕ К РУКЕ (Шоссейный очерк)

Печатается по тексту «Ремесленной газеты» 1874, № 10, стр. 235—239, и № 13, стр. 308—309, где очерк был впервые помещен. В отдельные прижизненные издания сочинений Левитова не включался.

Ассигнации — бумажные деньги, выпущенные при Екатерине II в 1769 г.

Трынка — картежная игра.

Любим Торцов — персонаж из комедии А. Н. Островского «Бедность не порок», тип промотавшегося купца.

Элефант (греч.) — слон.

Становой — в царской России начальник стана (часть уезда), выполнявший административно-полицейские функции.

Экс-торговец — бывший торговец.

Империал — золотая монета в 10 рулбей, чеканилась в России с 1775 г.

Платинка — монета из платины; чеканилась в России в 1828—1832 гг., стоимостью в 3, 6 и 12 руб.

Аргамацкая порода — высокие кабардинские лошади с красивой головой и тонкой шеей.

Битюцкая порода — тяжелые ломовые лошади (битюги).

Сонм — собрание, сборище.

«ЗАВИДЕНИЕ МУСКОЙ, ДАМСКОЙ И ДЕЦКОЙ ОБУВИ» (Отрывок)

Печатается по изданию: Собрание сочинений А. И. Левитова, изд. К. Т. Солдатенкова, М. 1884, т. II, стр. 749—763. Посмертное произведение.

«*Песня, подобная стону*» — слова Н. А. Некрасова из его стихотворения «Размышления и парадного подъезда».

ПРИЛОЖЕНИЯ

А. И. ЛЕВИТОВ

(30 августа (11 сентября) 1835 — 4 (16) января 1877)

(Биографический очерк)

О жизни А. И. Левитова, как и о большинстве писателей-разночинцев 60-х и 70-х годов, дошли до нас очень скудные сведения. Если не считать немногих опубликованных его писем и довольно случайных и малосодержательных воспоминаний о нем его современников, то главным и чуть ли не единственным источником для знакомства с биографией Левитова остается до сих пор обширный очерк Ф. Д. Нефедова, предпосланный собранию сочинений писателя в издании К. Т. Солдатенкова (1884). Однако пользование этим источником требует сугубой осторожности.

Родиной Левитова было большое торговое село Доброе, быв. Лебедянского у., Тамбовской губ. Родился он в семье дьячка Ивана Федоровича Левитова 30 августа (по старому стилю) 1835 г.

Пономарь-отец, мать (тоже, повидимому, из духовного звания), бабушка, тетка и молодой дядя-семинарист (все трое со стороны матери) — вот семейный круг детства Левитова. «Это были люди простые и добрые, по-своему умные, честные и религиозно-нравственные, — говорит Нефедов; — с детства изведав бедность и зависимость от нее, житье по чужим людям, у богатых родственников, они, естественно, заботились больше всего о том, как бы возможно получше устроить свое материальное положение. Дальше этого не простирались их желания...»

В целях дополнительного к своим церковным доходам заработка отец Левитова принимал у себя на дому для обучения грамоте детей из своего и соседних сел и содержал постоялый двор. Степное приволье окрест-

ностей Доброго, где часто гулял со своим молодым дядей-семинаристом, восторженным поклонником природы и поэтом в душе, маленький племянник, церковно-религиозная и мещанская обстановка семьи, отцовская школа, постоялый двор — вот откуда черпал свои первые впечатления будущий писатель.

Глубоко запали в душе Левитова, с одной стороны, жития святых, а с другой — рассказы бабушки, в которых перемешивалось сказочное с воспоминаниями об исторических фактах.

Непосредственного описания своих детских переживаний Левитов не оставил, но в его очерках («Мое детство», «Петербургский случай» и др.) они нашли свое яркое отражение.

Судя по этим очеркам, нельзя сказать, чтобы детство оставило в душе Левитова много светлых следов. Недаром в тяжелую минуту жизни он завещал своей любимой сестре: «Еще прошу тебя: не выходи замуж за дьячков»... [1]

Левитову с ранних лет пришлось познакомиться с тяжелым трудом. Рано постигнув премудрость церковнославянской грамоты, Левитов уже с восьми лет начинает заменять отца в его педагогических занятиях, обучая грамоте таких же малышей, как и он сам. Вместе с тем мальчик готовился к экзамену для поступления в уездное духовное училище. Одиннадцати лет Левитов экзамены эти сдал и был принят прямо в третий класс. Пробыв в училище до декабря, он получил от начальства разрешение учиться дома, а в училище являться только для сдачи экзаменов.

Дома Левитову пришлось взяться опять за ученье ребят; теперь эту работу они несли уже вдвоем, вместе с сестрой, Марией Ивановной. Девять часов ежедневной учебы с сотней ребят, до одурения однообразной и тяжелой, были явно непосильным трудом для них. «Вспомнить даже страшно об этом времени, — рассказывает сестра. — По старой методе учили... Язык переболтается за целый день, зрение притупится, в голове трещит, пальцы порезаны от очинки гусиных перьев. Комната и летней порой натоплена: душно, жарко».

Уже в эти юные годы проявилась отзывчивость Левитова: как рассказывает его сестра, «многие считали

[1] См. письмо сестре в очерке Ф. Д. Нефедова, стр. I—IV.

брата маленьким другом и советовались с ним о своих делах... звали его «кормильцем».

Несмотря на тяжелый ежедневный труд, Левитов успешно сдавал положенные экзамены, кончил курс в духовном училище и поступил в Тамбовскую духовную семинарию.

Жуткую картину этого «омута» Левитов дал в своем «Петербургском случае», имеющем несомненно автобиографический характер.

Семинарские годы Левитов вспоминал с отвращением и ненавистью. Безмозглые садисты-«профессора», услаждавшиеся кровавой поркой семинаристов, тупоголовые сынки богатых попов и дьяконов, за взятки получавшие хорошие отметки и перетаскиваемые из класса в класс, не взлюбили даровитого дьячковского сына, смелого заступника за семинарских плебеев. Все, в том числе и самые плебеи, из угодливости к «аристократам», начали травить Левитова.

Особенно плохо стало положение Левитова, когда в семинарии появился новый инспектор, властолюбивый, сухой, педантичный и жестокий монах Иероним, который неистово начал преследовать Левитова за то, что тот хорошо писал сочинения, сочинял стихи и любил читать вместе со своим другом Соколовым. Застав однажды Левитова и Соколова за чтением «Мертвых душ», инспектор подверг Левитова экзекуции: он был высечен розгами, в результате чего у него произошло нервное потрясение, и он целый месяц пролежал в больнице.

Оставаться больше в этом гнусном «омуте» Левитов не мог. Вместе со своим товарищем Соколовым он решил уйти в университет, несмотря на протесты отца. Пешком, с несколькими рублями в кармане, отправились приятели из Тамбова в Москву.

Так юноша Левитов решил отряхнуть прах от той среды, которую он ненавидел всю жизнь.

«...Я не знаю, — говорит он устами Теокритова, героя своего очерка «Степная дорога днем», — как можно забыть одуряющую жизненную обстановку людей нашего болота, о которой когда начнешь рассказывать свежему, незнакомому с ней человеку, так он, слушая, непременно думает, что вы сошли с ума и врете ему невозможную, никогда и нигде небывалую дичь. Тысячу, сто тысяч лет

прожить мне нужно, например, чтобы забыть какое-то, так сказать, нравственное зловоние, которое окружает меня с самого детства и которое, наконец, выкурило-таки меня из прекрасных здешних мест. Да нет. И через сто тысяч лет я не забуду это зловоние...»

Иллюзии и надежды, которые питал Левитов, подобно всем бесчисленным «странникам» из разночинцев, прошедшим по той же дороге, ярко описаны им самим в упомянутом очерке. Путь в столицу описан в очерке «Лирические воспоминания Ивана Сизова».

В Москве обоих семинаристов ждало жестокое разочарование: ни свободных вакансий, ни стипендий не оказалось. Но друзья этим не были обескуражены, а решили итти в Петербург в медико-хирургическую академию.

В августе 1855 г. Левитов был в академию принят. Но ему пришлось перебиваться кое-как и вести полуголодное существование: уроков не было, стипендии он не получил, так как опоздал подать прошение о принятии его на казенный счет. Только со второго полугодия ему удается получить небольшую стипендию.

Незадолго до переходных экзаменов Левитов заболел и пролежал в госпитале до середины июня. Ему предстояла перспектива остаться на второй год на том же курсе. Однако карьера доктора начинает казаться ему ошибкой, и он принимается за хлопоты о переводе в Московский университет.

Лето 1856 г. он проводит у военного доктора Б. И. Маляго, доброго и отзывчивого человека, искренно расположенного к даровитому юноше. Живя у него, Левитов написал две главы своего первого произведения, впоследствии озаглавленного «Типы и сцены сельской ярмарки» и опубликованного в печати лишь в 1861 г.

Но осенью того же 1856 г. над Левитовым разразилась катастрофа: вместо университета он попадает в ссылку сначала в Вологду, а оттуда в Шенкурск... До сих пор причины этого события остаются, к сожалению, загадкой. Но, говоря словами любимой сестры и друга писателя, «это событие окончательно надломило его силы, испортило характер и омрачило его чистую душу».

В далеком захолустье быв. Архангельской губ. Левитов прожил два года, отслуживая казенную стипендию в качестве фельдшера. Никаких данных об этом периоде жизни Левитова не имеется. Как говорит его биограф Нефедов, он «не любил вспоминать об этой поре и всеми силами старался изгладить всякие о ней воспоминания. Только раз, — прибавляет Нефедов, — мы от него слышали рассказ о пребывании его на севере и никогда бы в другой раз не пожелали его слышать: столько душевной горечи слышалось в рассказе Александра Ивановича; когда он нам рассказывал, голос его постоянно прерывался и к горлу подступали рыдания...» Именно здесь развилась у него та «гибельная питва», от которой он не мог избавиться во всю свою жизнь, страсть к картежной игре и раздражительность характера, начало которой положила еще семинария.

Петербургские друзья Левитова, особенно доктор Б. И. Маляго, старались выхлопотать ему свободу и даже послали ему денег, чтобы откупиться от обязательной службы за стипендию. Но Левитов вдруг оборвал переписку с Маляго и не давал о себе никаких вестей. По-видимому, деньги ушли на картежную игру...

Лишь в августе 1859 г. Александр Иванович, оборванный, с ногами, стертыми до ран, пройдя пешком из Вологды до Лебедяни, объявился у сестры, вышедшей уже замуж за дьячка Кузьмина и жившей в Лебедяни.

С этих пор Левитов до конца своих дней ведет скитальческую жизнь. То пытается он заняться учительством где-нибудь в провинции, то кидается в Москву, в Петербург, опять в Москву, одно время служит в каком-то «письменном кабинете», даже начальником станции... Но главным занятием его все-таки становится писательство, которое, впрочем, не выводит его из постоянной и беспросветной нужды.

Печататься Левитов начал с 1861 г. Благодаря одному из наборщиков типографии «Русского вестника», издававшегося Катковым, рукопись Левитова «Ярмарочные сцены» попала к известному критику Аполлону Григорьеву, который рекомендовал ее для напечатания в журнале. Левитов познакомился с Катковым, и ему было предложено место помощника секретаря редакции «Русского вестника» с жалованьем по 30 рублей в месяц.

Левитов с радостью ухватился за это место и снова замечтал об университете. Но вскоре он заболел и после выздоровления в журнал не вернулся.

Очерк «Ярмарочные сцены», в котором Аполлон Григорьев заметил свежий оригинальный талант, все-таки не был напечатан в реакционном «Русском вестнике»: один из редакторов, К. Н. Леонтьев, не счел возможным поместить его в журнале, как не подходящий по направлению.

У Левитова завязались новые литературные знакомства, и в № 2 журнала «Московский вестник» за 1861 г. был впервые напечатан его рассказ «Сладкое житье».

С тех пор Левитов печатался в разных журналах и газетах и выпускал свои очерки и рассказы отдельными изданиями, но материального благополучия так и не добился, вечно нуждаясь, живя большей частью в трущобах «девственных» улиц, в «комнатах снебилью» и т. п. и избегая селиться у знакомых интеллигентов в их буржуазной обстановке.

Издатели платили ему гроши. Например, за все свои сочинения, вышедшие в разных изданиях в 1874 г., всего не менее 90 печатных листов, Левитов получил не более 700 руб.

Умер Левитов 4 января 1877 г. в университетской клинике совершенно одиноким. Одна только верная подруга его жизни, бедная белошвейка, не отходила от его кровати. «Хоронили Левитова на деньги, собранные по подписке, — пишет один из очевидцев, [1] — похороны были более чем скромные, даже дрог не было; но зато церковь, вопреки моим ожиданиям, была переполнена публикой. Среди ее я напрасно, однакоже, искал знакомых лиц, бывших когда-то близких Левитову; не видно было даже и тех, для которых Левитов когда-то работал, и работал не без пользы для них, — вокруг гроба виднелись незнакомые лица, лица молодые, полные жизни и энергии; это все были студенты, пришедшие отдать последний долг писателю, честно служившему своему делу. Говорят, что студенты, большинство которых сами живут уроками, изо дня в день, на похороны Левитова

[1] «Русские ведомости», 1877, № 9, «Наблюдения и заметки скромного наблюдателя».

собрали между собой до 40 рублей денег. Должно быть, прав был поэт, сказавши, что:

Голодного, видно, не сытый,
А только голодный поймет...

«После отпевания студенты донесли гроб покойного на своих руках до самого кладбища. В этом похоронном шествии не участвовали ни духовенство, ни факельщики; за гробом не двигалась печальная колесница; только двое парных саней, запряженных тощими клячами, — вот и весь похоронный кортеж; и тем не менее эта толпа молодежи, с пением несущая гроб, на крышке которого скромно красовался лавровый венок, представляла собой нечто весьма отрадное и не лишенное некоторой назидательности».

Левитова похоронили на Ваганьковском кладбище, рядом с писателями М. А. Вороновым и Н. А. Демертом.

ЛЕВИТОВ И ЦЕНЗУРА

(По архивным материалам)

I

В 1866 г. вышел отдельным изданием том II «Степных очерков» Левитова, в котором были помещены рассказы и очерки: «Бабушка Маслиха», «Блаженненькая», «Война», «Сапожник Шкурлан», «Самовар Исая Фомича», «Деревенский случай», «Уличные картины — ребячьи учители», «Новый колокол», «Старое бревно», «Яков Федорович Сыроед» и «Верное средство от разоренья».

В конце 1865 г. эта книга рассматривалась в Санкт-петербургском цензурном комитете. Обсуждался вопрос о передаче второго тома «Степных очерков» на предварительное рассмотрение духовной цензуры.

Цензор Еленев дал следующее заключение (13 ноября 1865 г.): [1]

«Книга «*Степные очерки, Левитова, часть II*» заключает в себе рассказы из народного быта, написанные без всякого предвзятого намерения проводить в читателе какие-либо неодобрительные идеи. Автор затрагивает преимущественно следующие черты из характера и быта нашего простонародья: сострадательность к бедным и слабым, соединенную с духовно-поэтическим настроением русской натуры (Маслиха); домашнее самодурство и грубость, бывающие часто причинами слабоумия детей (Блаженненькая); изобретательность наших солдат, которые разными хитростями и обманами морочат мужиков и баб (Война); неукротимую энергию и самонадеянность, проявляющиеся иногда в русском человеке и подчиняющие себе всех окружающих (Шкурлан);

[1] Спб. цензурный комитет, дело № 89, 1865 г.

суеверие и невежество, соединяемые часто с лицемерием и похвальбою своими добродетелями и в то же время становящиеся жертвою обмана со стороны разных мнимо благочестивых проходимцев (Сыроед и Новый колокол); страсть нашего купечества к голосистым диаконам и происходящие отсюда комические сцены, также суеверную преданность и почтение к разного рода юродивым и калекам (Верное средство от разоренья).

Встречаются иногда не совсем умеренное употребление священных названий и молитвенных слов (Новый колокол, стр. 331—333) или описание церковных обрядов (крестный ход, стр. 348—351), без всякого впрочем намерения кощунствовать или возбуждать в читателях неуважение к религии; напротив того, встречается иногда сочувственное и довольно возвышенное изображение благочестивой и добродетельной жизни, например, изображение диакона в рассказе Сыроед. Некоторые из этих рассказов были уже напечатаны в прежнее время в «Русском слове», а теперь явились со вставкою мест, исключенных тогда цензурою и заключающих в себе именно указанное выше неуместное употребление слов и предметов, относящихся к религии.

Рассматриваемая книга не представляет ни малейшего повода к судебному преследованию, а равным образом вовсе не подлежала предварительному рассмотрению духовной цензуры, так как она описывает общие черты народных нравов и нисколько не касается учения или истории церкви».

Таким образом цензор проявил некоторый «либерализм», и книга вышла без духовной цензуры.

II

В 1884 г. издательство К. Т. Солдатенкова выпустило собрание сочинений Левитова в двух томах без предварительной цензуры. Московский цензурный комитет обратился 18 февраля 1884 г. в Главное управление по делам печати со следующим «отношением»:

«Из московской городской типографии 15 сего февраля поступило в Московский цензурный комитет отпечатанное без предварительной цензуры «Собрание сочинений А. И. Левитова» в двух томах, изд. Солдатенкова.

В 1875 году февраля 18-го за № 989 цензурный комитет получил сообщение от Главного управления по делам печати о сочинениях, служивших орудием для преступной пропаганды в народе и среди молодежи, и в сообщении этом, в котором между прочим указано на «Степные очерки А. И. Левитова (Соседи, Расправа, Дворянка), С.-Петерб. 1873 г.», предписано комитету в случае отпечатания поименованных сочинений без предварительной цензуры представить о задержании их на основании закона 7 июня 1872 г.

Из доклада цензоров, рассмотрению коих подвергнуты оба тома сочинений Левитова, видно, во-первых, что в I том вошли три поименованные выше очерка: «Соседи», «Расправа», «Дворянка», а во-вторых, что по духу и направлению к этим трем очеркам подходят в большей или меньшей степени и все статьи, составляющие содержание обоих томов собраний сочинений Левитова. Вследствие сего и в исполнение предписания Главного управления, комитет имеет честь представить при сем два тома сочинений Левитова, подлежащих действию закона 7 июня, а равно подлинные доклады о них цензоров Егорова и Назаревского, присовокупляя к сему, что срок выхода сочинений наступает 22 сего февраля в 2 часа пополудни».

«Доклад» цензора Егорова от 17 февраля 1884 г. содержит отзыв о I томе собрания сочинений Левитова:

«Поступивший на мое рассмотрение, — сообщает Егоров, — 15 сего февраля отпечатанный без предварительной цензуры I том сочинений народного писателя Левитова, под заглавием: «Собрание сочинений А. И. Левитова. С портретом автора и статьею о жизни его Ф. Д. Нефедова. Том I. Издание К. Т. Солдатенкова. Цена за оба тома 5 руб. Москва, Московская городская типография 1884», содержит в себе целый ряд очерков и рассказов этого автора, большею частью напечатанных уже в журнале «Современник» шестидесятых годов, а также в разное время в других петербургских и московских изданиях. В самом начале этого тома помещена составленная г. Нефедовым довольно подробная биография г. Левитова. Составитель ее довольно ярко описывает те ужасные гонения и притеснения, которые будто бы было суждено юноше Левитову в период своего

обучения испытать от преподавателей и инспектора Тамбовской семинарии, а также касается затем обстоятельств исключения его из медико-хирургической академии, куда он перешел из семинарии, и ссылки его в Архангельскую губернию в город Шенкурск. Как семинарские притеснения, так равно и пребывание в ссылке признаются обстоятельствами, весьма гибельно отозвавшимися на здоровьи г. Левитова, испортившими его характер и омрачившими его душу. В означенном томе помещены, между прочим, три очерка, под заглавием «Соседи», «Расправа» и «Дворянка», которые в предписании Главного управления по делам печати Московскому цензурному комитету от 18 февраля 1875 г. за № 989 были признаны по содержанию своему вредными и в случае напечатания их без предварительной цензуры предложено было комитету представить о задержании их на основании закона 7 июня 1872 года. Сопоставив эти три очерка с остальными помещенными в I томе очерками и рассказами г. Левитова, нельзя не вывести одного общего о них заключения, что, изображая одни лишь исключительно мрачные стороны сельской и вообще провинциальной жизни различных слоев нашего народа, они могут действовать крайне неблагоприятным образом на читателя, возбуждая в нем чувство негодования. Если автор в своих рассказах коснется жизни крестьянина какой-нибудь местности, то она непременно изображается им крайне бедною, угнетенною непосильным трудом и невыносимою от жестокого обращения с ними и барского самодурства помещиков-дворян, а также спаивания и обирания их кабатчиками. Сельское духовенство выводится на сцену в образе пьяных и развратных представителей, сельские дьячки, обучающие крестьянских мальчишек грамоте, секут их без всякого разбора и толку. Помещики изображаются пошлыми личностями. Вводимые иногда случайно в рассказы отставные солдаты являются лицами, жалующимися на непомерные строгости своего военного начальства. Если автор выводит на сцену чиновника (столоначальника и др.), то он непременно представляется взяточником, обирающим простой народ. В отношениях семейных в крестьянской среде муж является непременно пьяницей и истязателем своей жены и детей, страдающих от его побоев. Что

касается до стремлений народа к образованию, то оно представляется для него почему-то подчас недосягаемым и иногда, в случае достижения, даже убивающим крестьянина, вообще же счастье для народа признается повсюду отсутствующим. В подтверждение вышесказанного достаточно будет указать на следующие места: 47—49, 58—59, 65, 81—83, 88—89, 105, 113, 121—122, 127, 132—136, 138—139, 143—145, 147—148, 150—151, 153, 427, 431, 434—436, 441, 463—469, 558—578. Одним словом, автор изображает одно только горе и страдания простого народа без всякого проблеска счастия или сколько-нибудь сносного положения. Никоим образом невозможно допустить мысли, чтобы автору приходилось в своей жизни сталкиваться только с такими людьми, каковыми он их изображает в своих очерках, и наблюдать исключительно лишь только одни мрачные стороны народной жизни, а взглянув с этой точки зрения на сочинения г. Левитова, нельзя не видеть преднамеренной дурной цели автора возбудить чувство негодования в читателе посредством мрачной группировки бытовых сцен и не признать сочинений его крайне предосудительными в цензурном отношении. Рассказы и очерки Левитова, при помещении их в одиночку в журналах, конечно, не могли произвести того мрачного и удручающего впечатления, которое они производят теперь, будучи собраны и сгруппированы все вместе».

Цензор В. Назаревский представил в Московский цензурный комитет 18 февраля 1884 г. следующее «донесение»:

«Выслушав доклад цензора Н. В. Егорова о первом томе собраний сочинений Левитова, имею честь представить Московскому цензурному комитету свои соображения о прочитанном мною втором томе этого собрания.

В состав этого тома вошли большею частью очерки городской жизни. Здесь нет, как в предшествующем, противопоставления различных элементов общественных, а идет описание довольно однообразных подонков общества. Обитатели Грачевки и подобных местностей Москвы дают обильный материал для этих очерков. Крайне унылое впечатление производят на читателя типы квартирных хозяев, проституток, мастеровых и т. п. обитателей трущоб и посетителей трактиров и кабаков. Усматривая

в мрачных картинах прочитанных очерков проявление тех же народнических тенденций, кои, как видно из предшествующего доклада, приводятся в первом томе сочинений Левитова и в особенности в степных очерках, указанных предписанием Главного управления по делам печати, имею честь об означенном довести до сведения цензурного комитета».

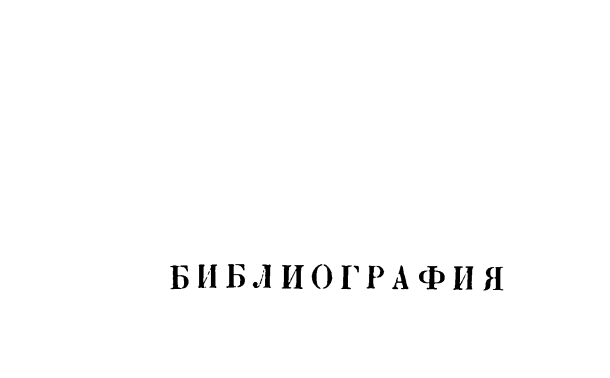
Итак, московская цензура согласным хором заявила о «крайней предосудительности» сочинений Левитова и на этом основании представила оба тома в Главное управление по делам печати «на предмет» их «задержания», т. е. запрещения их продажи.

Однако Главное управление не пошло на эту меру. 24 февраля 1884 г. оно послало в Московский цензурный комитет ответ:

«На представление за № 264 Главное управление по делам печати уведомляет Московский цензурный комитет, что циркулярное предложение от 18 февраля 1875 г. за № 989 последовало главным образом вследствие того, что рассказы А. И. Левитова «Степные очерки (Соседи, Расправа, Дворянка)» распространялись в народе в виде отдельных брошюр для целей пропаганды антиправительственных идей.

Ныне же в виду значительного объема отпечатанного без предварительной цензуры, в двух томах, собрания сочинений этого писателя, цены издания, а также того обстоятельства, что в представлении Комитету министров о запрещении оного не может быть указано на рельефные самостоятельные места, кои представлялись бы безусловно вредными, признано неудобным входить с представлением о запрещении этого издания, хотя таковое и должно быть отнесено по содержанию своему к числу несомненно предосудительных». [1]

[1] Дело Главного управления по делам печати. 1884 г., № 22, листы 33 — 37.



БИБЛИОГРАФИЯ

I. ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ А. И. ЛЕВИТОВА

1. Степные очерки. Т. I. Изд. В. Е. Генкеля. Спб. 1865.

2. Степные очерки. Т. II. Изд. В. Е. Генкеля. Спб. 1866.

3. Степные очерки. Т. III. (Изд. В. П. Племянникова). М. 1867.

4. Степные очерки. Изд. 2-е, испр. и доп. Книжки 1-я и 2-я. Изд. А. И. Мамонтова. М. 1874.

5. Бабушка Маслиха. Степные очерки. Спб. 1868.

6. Дворянка. Выселки. Степные очерки. Спб. 1868.

7. Соседи. Степные очерки. Спб. 1868.

8. Уличные картины. Очерки. Спб. 1868.

Издания под №№ 5—8 представляют отдельно выпущенные очерки, вошедшие в трехтомное издание «Степных очерков» 1865—1867 гг. и в двухтомное 1874 г.

9. Московские норы и трущобы. Собрали М. А. Воронов и А. И. Левитов. Тт. I и II. Изд. Н. Г. Овсянникова. Спб. 1866.

10. Московские норы и трущобы. Изд. 2-е, доп. В. Е. Генкеля. Спб. 1869.

Книга содержит произведения одного А. И. Левитова и составляет один том.

11. Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы. Изд. 3-е, испр. и доп. М. 1875.

В 1-м и 2-м изданиях книга носила заглавие: «Московские норы и трущобы» (см. выше, под №№ 9 и 10).

12. Горе сел, дорог и городов. Повести, рассказы, очерки и картины. М. 1874.

13. Аховский посад. Степные нравы старого времени. Очерк I, с 2 рис. М. 1877.

14. Бесприютный. Изд. «Народной библиотеки». М. 1883. Очерки под №№ 13 и 14 входят в книгу «Горе сел, дорог и городов».

15. Собрание сочинений А. И. Левитова. С портретом автора, гравированным в Лейпциге, и статьею о жизни его Ф. Д. Нефедова. Тт. I и II. Изд. К. Т. Солдатенкова. М. 1884.

• 16. Полное собрание сочинений А. И. Левитова. С портретом автора и вступительной статьей В. А. Никольского Тт. I — IV. Изд. Н. Ф. Мертца. Спб. 1905 (бесплатное приложение к журналу «Север», «Библиотека «Севера»).

Это издание полнее предыдущего, но все же полным его считать нельзя.

17. Собрание сочинений А. И. Левитова. С портретом автора и критико-биографическим очерком А. А. Измайлова. Тт. I — VIII. Книгоиздательское товарищество «Просвещение». Спб. 1911.

Это последнее — худшее издание, с крайне неисправным текстом.

II. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛЕВИТОВА, ПОМЕЩЕННЫЕ В ЖУРНАЛАХ, ГАЗЕТАХ И СБОРНИКАХ

«Ярмарочные сцены. (Очерки из простонародного быта)», «Время» 1861, № 6, стр. 315 — 355. — Впоследствии было озаглавлено: «Типы и сцены сельской ярмарки».

«Сладкое житье. (Очерк)», «Московский вестник» 1861, № 2, стр. 27 — 32. — Напечатаны только три первые главы.

«Сладкое житье. (Из рассказов городского старожила)», «Время» 1861, № 8, стр. 477 — 513. — Напечатано здесь в полном виде, первые же три главы появились ранее в «Московском вестнике».

«Целовальничиха. (Очерки из народной жизни)», «Русская речь» 1861, № 26, стр. 403 — 407, и № 27, стр. 417 — 421.

«Проезжая степная дорога. (Ночь). (Очерк)», «Русская речь» 1861, №№ 65 и 66 (13 и 17 августа), стр. 198 — 201 и 214 — 216. — Впоследствии было озаглавлено: «Степная дорога ночью»

«Железинское подворье и его обитатели», «Русская речь» 1861, №№ 79 и 80 (1 и 5 октября), стр. 428 и 443—444. Подпись: *А. Л.*

«Накануне Христова дня. (Рассказ из народной жизни)», «Русская речь» 1861, №№ 95, 96, 97, 98, 102, 103, 104 (26 и 30 ноября и 3, 7, 21 и 31 декабря), стр. 678—681, 696—699, 711—715, 725—728, 791—794 и 809—814.

«Московские нищие на поминках», «Русская речь» 1861, №№ 97 и 98 (3 и 7 декабря), стр. 719—720 и 733—734. Подпись: *А. Л.*

«Стрелки и стрельба. Нравы московских нищих», «Русская речь» 1861, №№ 102, 103/104 (21 и 31 декабря), стр. 800 и 824—826. Подпись: *А. Л.*

«Из московских нравов. Совершенно погибшее, но весьма милое созданье», «Зритель» 1862, №№ 16 и 17, стр. 502—508 и 534—542. Подпись: *Иван Сизой.* — Впоследствии этот рассказ был озаглавлен: «Погибшее, но милое создание».

«Ночь на светлый праздник», «Зритель» 1862, № 20, стр. 642—646. Подпись: *Иван Сизой.* — Впоследствии было озаглавлено: «Перед пасхой. (Московский фельетон)».

«Дорожный очерк. (Степные нравы)», «Развлечение» 1862, № 23 (6 июня), стр. 280—284, и № 24 (13 июня), стр. 290—294. — Впоследствии озаглавлено: «Насупротив».

«Степная дорога», «Зритель» 1862, №№ 24, 25, 26 и 27, стр. 767—775, 802—807, 835—842 и 861—868. — Впоследствии было озаглавлено: «Степная дорога днем».

«Из наших будто бы мистерий», «Зритель» 1862, №№ 30 и 31, стр. 79—85 и 111—117. Подпись: *Иван Сизой.* — Впоследствии озаглавлено: «Московская тайна».

«Грачевка», «Зритель» 1862, № 37, стр. 300—314. Подпись: *Иван Сизой.*

«Аркадское семейство или новая камелия в кэпи. (Московская идиллия)», «Развлечение» 1862, № 43 (25 октября), стр. 205—209, № 44 (1 ноября), стр. 216—224, и № 45 (8 ноября), стр. 229—232. Подпись: *Иван Сизой.*

«Мирской суд», «Зритель» 1862, № 44, стр. 535—541.— Впоследствии было озаглавлено: «Расправа».

«Степные картины. 1. Ребячьи учители», «Народное богатство» 1862, приложения к №№ 4 и 10 (4 и 11 ноября). — Впоследствии было озаглавлено: «Уличные картинки — ребячьи учители».

«Дурочка», «Зритель» 1862, № 45, стр. 565—571. — Впоследствии было озаглавлено: «Блаженненькая».

«Крым», «Зритель» 1862, №№ 47 и 48, стр. 618 — 623 и 650 — 657. Подпись: *Сван Сизой.*

«Первая кухарка», «Зритель» 1862, №№ 51 и 52, стр. 752 — 756 и 796 — 807. Подпись: *Иван Сизой.*

«Новый колокол», «Северная пчела» 1863, № 1.

«Соседи. (Степные нравы)», «Якорь» 1863, № 1, стр. 6 — 9.

«Лирические воспоминания Ивана Сизой». 1. «Мои старики», «Якорь» 1863, № 3, стр. 47 — 55. Подпись: *Иван Сизой.*

В измененном и дополненном виде было перепечатано в «Неделе» 1868, под заглавием: «Моя фамилия» (см. ниже).

«Сапожник Шкурлан. (Степной очерк)», «Развлечение» 1863, № 5 (1 февраля), стр. 66 — 69.

«Яков Петрович Сыроед», «Северная пчела» 1863, № 39.

«Горбун. (Отрывок из повести)», «Очерки» 1863, №№ 61 и 62 (4 и 5 марта).

«Горькая доля. Старая история», «Северная пчела» 1863, № 72. Подпись: *А. Л — в.*

«Воскресший Гуак, непреоборимый богатырь Флоридский, или редакция «Времени», «Развлечение» 1863, № 14 (30 апреля), стр. 214 — 218. Подпись: *Иван Сизой.*

«Война. (Степные нравы)», «Народное богатство» 1863, №№ 83 и 84 (19 и 20 апреля).

«Барышня», «Якорь» 1863, № 17, стр. 321 — 325, и № 18, стр. 345 — 348. Подпись: *Иван Сизой.* — Впоследствии было озаглавлено: «Дворянка».

«Деревенский случай. (Степные очерки)», «С.-Петербургские ведомости» 1863, № 126.

«Один доктор. Больничный эскиз», «Северная пчела» 1863, № 127. Подпись: *Иван Сизой.*

«Лирические воспоминания Ивана Сизова. (Характеристика трепок, получаемых нашими молодыми ребятами

при их вступлении в жизнь)», «Северная пчела» 1863, №№ 152 и 153. Подпись: *Иван Сизой.*

«Московские комнаты снебилью», «Библиотека для чтения» 1863, № 7, стр. 1—19, № 8, стр. 1—21, и № 9, стр. 1—32.

«Купеческий внук. Степные нравы», «Северная пчела» 1863, №№ 217 и 218. Подпись: *Левитов.*

«Именины сельского дьячка. (Степные нравы)», «Северное сияние, русский художественный альбом, издаваемый Васильем Генкелем», Спб. 1863, т. II, стр. 309—320.

«Нравы московских девственных улиц», «Московские губернские ведомости» 1864, неофициальная часть, №№ 4 и 5. Подпись: *Иван Сизой.*

«Выселки. (Степные очерки)», «Современник», т. 100, 1864, № 1, стр. 111—184.

«Самовар Исая Фомича. (Степные нравы)», «Развлечение» 1864, № 8, стр. 114—116 и № 9.

«Женитьба портного Ивана Маркова и ее последствия», «Развлечение» 1864, № 25, стр. 385—394. Подпись: *Иван Сизой.*

«Бабушка Маслиха. (Степные очерки)», «Современник», т. 103, 1864, № 8, стр. 215—229.

«Москва и ее окрестности» (12 статей), «Северное сияние» 1863, т. II, стр. 33—52, 101—112, 177—188, 235—248, 299—308, 355—368, 417—430, 507—514, 569—584, 653—664, 725—732 и 777—788. Подписи под статьями: *А. Л., А. Л.—в* и *А. Лев—в.*

«Газета. (Степные нравы)», «Будильник» 1865, № 6 (19 января), стр. 21—23, и № 7 (22 января), стр. 25—26.—Впоследствии озаглавлено: «Газета в селе».

«Верное средство от разоренья. (Очерк из московских нравов)», «Современник», т. 106, 1865, № 1, стр. 301—330.

«Запивоха. (Очерк из московских нравов)», «Развлечение» 1865, № 6 (6 февраля), стр. 82—87, и № 7 (12 февраля), стр. 97—104. Подпись: *И. Сизой.*

«Праздничный сон. (Московские нравы)», «Северное сияние», т. IV, 1865, стр. 43—64.

«Старое бревно. (Степные нравы)», «Искра» 1865, № 15, стр. 214—218, и № 16, стр. 227—231.

«Графчик. (Очерки московских нравов)», «Искра» 1865, № 18, стр. 258—260, и № 19, стр. 274—278.

«Шоссейные сцены», «Искра» 1865, № 41, стр 542 — 546. — Впоследствии было озаглавлено: «Шоссейный день».

«Фигуры и тропы о московской жизни», «Искра» 1865, № 46, стр. 610 — 612, и № 47, стр. 630 — 634. Подпись· *Иван Петров Сизой.*

«Контора. (Очерк из петербургской жизни)», «Московская газета» 1866, № 23.

«Аховский посад. (Отрывок из повести)», «Московская газета» 1866, № 35. — В дополненном виде напечатано в «Грамотее» 1873 (см. ниже).

«Моя фамилия. (Старый рассказ)», «Неделя» 1868, № 7, стр. 193 — 198, и № 8, стр. 225 — 234. — Ранее, в более сокращенном виде, было напечатано в «Якоре» 1863, № 3, под заглавием: «Лирические воспоминания Ивана Сизой» (см. выше).

«Счастливые люди. (Очерк из московских нравов)», «Неделя» 1868, № 11, стр. 321 — 326, № 12, стр. 353 — 358, № 13, стр. 385 — 390, и № 14, стр. 417 — 425.

«День у адвоката. (Из рассказов Ивана Сизого)», «Искра» 1868, № 34, стр. 406 — 412, и № 35, стр. 417 — 420.

«Адресный стол. (Петербургские нравы)», «Искра» 1868, № 39, стр. 466—468. Подпись: *Иван Сизой.*

«Беспечальный народ. (Шоссейные типы, картины и сцены)», «Дело» 1869, № 1, стр. 37 — 77, и № 2, стр. 80 — 116.

«Петербургский случай. (Очерк)», «Дело» 1869, № 10, стр. 164 — 217.

«Барочник Картузов. (Волжская картинка)», «Живописный сборник замечательных предметов из наук, искусств, промышленности и общежития», издание В. Е. Генкеля, Спб. 1869.

«Хорошие воспоминания. (Очерк из московских нравов)», «Отечественные записки», т. 187, 1869, № 12, стр. 327 — 354.

«Из московских нравов», «Дело» 1870, № 3, стр. 85 — 117. — Впоследствии было озаглавлено: «Московские уличные картины».

«Мое детство. (Из степных очерков)», «Неделя» 1870, № 1, стр. 23 — 29.

«Бесприютный. (Шоссейные типы, характеры, картины и сцены с натуры)», «Вестник Европы» 1870, № 5, стр. 104 — 131.

«Деревенские картинки», «Неделя» 1870, № 25, стр. 822 — 830, № 26, стр. 863 — 867, № 27, стр. 894 — 907, и № 28, стр. 930 — 934.

«Сельский год», «Детское чтение» 1871, № 1, стр. 3 — 16. — Это первые две главы очерка, названного впоследствии «Сельские тревоги».

«В деревне», «Дешевая библиотека для легкого чтения» 1871, № 3, стр. 101—115.—Это 3-я и 4-я главы очерка, названного впоследствии «Сельские тревоги».

«Яков Петрович Сыроед». (Очерк)», «Грамотей» 1871, № 3, стр. 35 — 48.

«Сказка и правда. (Очерк)», «Сияние» 1872, № 1, стр. 1 — 4, № 2, стр. 21 — 26, № 3, стр. 37 — 42, и № 4, стр. 53 — 57.

«Сельское учение. (Степная идиллия)», «Вестник Европы» 1872, № 2, стр. 431 — 479.

«Фонарщики. (Очерк)», «Сияние» 1872, № 9, стр. 138 — 139.

«Московский профиранец. (Очерк)», «Народная ремесленная газета» 1873, № 1, стр. 43 — 62.

«Ни сеют ни жнут. (Из жизни московского пролетариата)», «Русские ведомости» 1873, №№ 117, 118. 120 — 123, 125 — 128.

«Аховский посад. (Степные нравы старого времени)», «Грамотей» 1873, № 3, стр. 1 — 19, № 5, стр. 1 — 25, № 6, стр. 1 — 31, и № 7, стр. 5 — 23.

«Девичий грешок. (Из жизни московских мастериц)», «Ремесленная газета» 1874, № 1, стр. 21 — 22, и № 3, стр. 69 — 70.

«Не к руке. (Шоссейный очерк)», «Ремесленная газета» 1874, № 10, стр. 236—239, и № 13, стр. 308—309.— Этот очерк остался неоконченным.

«Всеядные. (Картины подмосковной дачной жизни)». «Будильник» 1876, №№ 46, 47 и 48, и 1877, №№ 19 и 20.

«Говорящая обезьяна. (Эпизод из романа «Сны и факты»), «Свет» 1879, № 11, стр. 274 — 291. — Этот эпизод из задуманного Левитовым романа был им написан еще в 1870 г., но напечатан лишь после его смерти. Роман же остался вовсе ненаписанным.

III. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ К СОЧИНЕНИЯМ А. И. ЛЕВИТОВА

1. *Гвоздев И.* Библиография сочинений Левитова. «Русский архив» 1907, № 12.

2. *Сильчевский Д. П.* Библиографический указатель к «Собранию сочинений А. И. Левитова». Собр. соч. А. И. Левитова. Изд. т-ва «Просвещение». Спб. 1911, т. VIII, стр. 393—401.

3. *Мезьер А.* Русская словесность с XI по XIX столетие включительно, ч. 2, Спб. 1902.

4. *Владиславлев И. В.* Русские писатели, изд. 3-е, М.—Л. 1924.

5. *Мандельштам Р. С.* Художественная литература в оценке марксистской критики, изд. 4-е, М.—Л. 1930.

IV. ЛИТЕРАТУРА О ЛЕВИТОВЕ

(Биографические и критические статьи, отзывы, рецензии и заметки)

1. «Степные очерки А. Левитова, 2 т., Спб. 1865», «Современник» 1866, № 4, отд. «Современное обозрение». Русская литература. Новые книги. Стр. 262—271.

Рецензия о «Степных очерках».

2. *П. Ткачев.* «Разбитые иллюзии. Горнорабочие — Глумовы. — Где лучше. Романы Решетникова. (Статья первая)», «Дело» 1868, № 11, Современное обозрение, стр. 1—25.

Критика идеализации и идеализаторов народа, общая характеристика «рассказчиков-скоморохов» (Н. Успенский, Слепцов, Горбунов) и рассказчиков-«психологов» (Марко-Вовчок, Левитов) по терминологии Ткачева.

3. Z. [Буренин В.] Журналистика. Фельетоны в «С.-Петербургских ведомостях» 1869, №№ 279, 301, 353.

Общая оценка писателей-шестидесятников; отзывы об очерках Левитова: «Петербургский случай», «Хорошие воспоминания».

4. «Библиограф» 1869, № 2, ноябрь, Журналистика. стр. 56—58.

Об очерке «Петербургский случай».

5. *Евг. Утин.* «Задачи новейшей литературы. Подлиповцы. Спб. 1867. — Где лучше. Спб. 1869. — Сочинения Решетникова», «Вестник Европы» 1869, кн. 12, стр. 832 — 888. (Перепечатано с небольшими изменениями редакционного характера в книге: «Е. И. Утин. Из литературы и жизни», т. I, Спб. 1896, стр. 18 — 75).

О писателях-шестидесятниках, в частности о Левитове.

6. «Энциклопедический словарь» И. Н. Березина s. v Спб. 1875.

7. «Русские ведомости» 1877, № 4. — Заметка о смерти Левитова.

8. «Петербургская газета» 1877, № 6. — Некролог.

9. *Скромный наблюдатель (А. П. Лукин).* «Похороны А. И. Левитова», «Русские ведомости» 1877, № 7. — Фельетон.

10. «А. И. Левитов. (Некролог)», «Будильник» 1877, № 2, стр. 10.

11. «Отечественные записки», т. 230, 1877, № 2, отд. II, стр. 214.

Краткий отзыв о характере творчества Левитова.

12. *Ф. Д. Нефедов.* «А. И. Левитов», «Вестник Европы» 1877, № 3, стр. 452 — 464.

В переработанном виде вошло в № 16. (См. ниже.)

13. *А. М. Скабичевский.* «А. И. Левитов. (Его жизнь и сочинения)», две статьи, «Отечественные записки», томы 232 и 233, 1877, № 6, стр. 137 — 173, и № 8, стр. 133 — 165 (2-го отдела). (Перепечатано с небольшими изменениями: 1) в книге: А. М. Скабичевский: «Беллетристы-народники: Ф. Решетников, А. Левитов, Гл. Успенский, Н. Златовратский и др. Критические очерки». Спб. 1888; 2) в «Сочинениях» А. М. Скабичевского, т. II, Спб. 1890).

14. *П. Боборыкин.* «Из воспоминаний о пишущей братии. А. И. Левитов», «Биржевые ведомости» 1878, № 134.

15. *П. В. Засодимский.* «Из литературных воспоминаний», «Русское богатство» 1881, № 12, стр. 99 — 128.

16. *Ф. Д. Нефедов.* «Александр Иванович Левитов», вступительная биографическая статья при «Собрании сочинений А. И. Левитова», издание К. Т. Солдатенкова, М. 1884, т. I, стр. V — CXXXIX.

17. «Родина» 1884, № 17 — Ст. о Левитове по поводу выхода сочинений Левитова в изд. Солдатенкова.

18. *А. Н. Пыпин.* «Беллетрист-народник шестидесятых годов (Собрание сочинений А. И. Левитова», М. 1884)». «Вестник Европы» 1884, № 8, стр. 648 — 684.

19. *В. Буренин.* «Критические очерки. Писатель-плебей», «Новое время» 1884, № 2924.

20. *А. И. Введенский.* «Литературные перспективы. Нечто о литературном народничестве», «Северный вестник» 1885, № 1, стр. 182 — 196.

21. *В. Н.* «Народность и народничество. Беллетристы-народники: Ф. Решетников, А. Левитов, Гл. Успенский, Н. Златовратский и др. Критические очерки А. Скабичевского. Спб. 1888», «Вестник Европы» 1888, № 2, стр. 846 — 860.

22. *Д. А. Ровинский.* «Словарь гравированных портретов», Спб. 1888.

23. *Н. В. Успенский.* «Из прошлого», М. 1889. — Есть воспоминания о Левитове.

24. *А. М. Скабичевский.* «История новейшей русской литературы», 7 изданий Ф. Павленкова, Спб. 1891—1909.

25. *С. А. Венгеров,* статья о Левитове в «Энциклопедическом словаре» Брокгауз-Ефрона.

26. *Н. Н. Златовратский.* «Из литературных воспоминаний. А. И. Левитов», «Почин», сборник Общества любителей российской словесности на 1895 год, М. 1895, стр. 93 — 107.

27. *А. Б.* [*Богданович*]. «Критические заметки», «Мир божий» 1898, № 7, отд. 2-й, стр. 2. — Краткий отзыв о творчестве Левитова.

28. *А. М. Скабичевский.* «Мужик в русской беллетристике», «Русская мысль» 1899, № 4.

29. А. И. Левитов», «Галлерея русских писателей», изд. С. Скирмунта, М. 1901, стр. 300.

30. *Д. П. Сильчевский.* «А. И. Левитов», «Новости» 1902, № 3.

31. *И.* [*И. Н. Игнатов*]. «А. И. Левитов», «Русские ведомости» 1902, № 4.

32. *В. Шулятиков.* «Критические этюды. Памяти А. И. Левитова», «Курьер» 1902, № 14.

Характеристика творчества Левитова.

33. «А. И. Левитов» в «Большой энциклопедии», изд. т-ва «Просвещение», т. XII, Спб. 1903, стр. 60 — 63.

34. *А. И. Яцимирский.* «Из переписки русских писа-

телей. (А. И. Левитов, И. З. Суриков, Л. И. Пальмин)», «Русская мысль» 1903, кн. IV, стр. 146—153.

Письмо Левитова к И. З. Сурикову от 21 октября 1875 г.

35. *А. П. Налимов*. «Живописатель нравов. А. И. Левитов», «Образование» 1904, отд. 2-й, стр. 99—104.

36. *В. А. Никольский*. «А. И. Левитов как человек и писатель», вступительная статья к «Полному собранию сочинений А. И. Левитова», изд. Н. Ф. Мертца (бесплатное приложение к журналу «Север» 1905: «Библиотека «Севера»), Спб. 1905, т. I, стр. III—XLVI.

37. «Критика о Левитове», приложено к т. IV «Полного собрания сочинений А. И. Левитова» (изд. Н. Ф. Мертца», Спб. 1905), стр. 301—343.

38. *Ю. Айхенвальд*. «Силуэты русских писателей», вып. III, издание «Научного слова», М. 1910.

Статья о Левитове.

39. *И. Н. Игнатов*. Александр Иванович Левитов (1835—1877). «История русской литературы XIX века», под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. Изд. т-ва «Мир», т. III, М. 1911, стр. 356—361.

40. «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке». Под ред. М. К. Лемке, т. V, Спб. 1913.

10 писем А. И. Левитова к Стасюлевичу 1870—1872 гг., стр. 249—256.

41. *Евг. Соловьев (Андреевич)*. «Очерки из истории русской литературы XIX века», изд. 4-е, исправл., «Новая Москва», М. 1923, стр. 376—377.

СОДЕРЖАНИЕ

Очерки, рассказы и повести

Редактор Н. С. Ежов. Техн редактор Г. Л. Гилес. Сдана в набор 15/II 1932 г. Подписана к печати 17/X 1932 г. Уполномоч. Главлита №Б 16330 Индекс А-О. Изд. № 33. Тираж 8300. Печатных л. 23. Бумага 74 × 105 см. 1/32. Типографских знаков в 1 п. л. 60000. Гос. тип. „Ленинград. Правда", Ленинград. Социалистическая ул., д. 14.